

И * Л

*Издательство
иностранной
литературы*

АНТОНИО
ГРАМШИ



.

ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

В ТРЕХ
ТОМАХ



0

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва, 1959

АНТОНИО ГРАМШИ

ТОМ
ТРЕТИЙ

ТЮРЕМНЫЕ ТЕТРАДИ

Перевод с итальянского

В. С. БОНДАРЧУКА, Э. Я. БЕРМАНА

И. Б. ЛЕВИНА



0

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва, 1959

ANTONIO GRAMSCI

QUADERNI DEL CARCERE

TORINO

В редактировании настоящего тома принимали участие:

Э. Я. ЕГЕРМАН (II и III разделы), Э. Н. МЕЛЕШЕНКО (I раздел),
Д. Е. МИХАЛЬЧИ (IV раздел)

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В настоящем, третьем и последнем, томе русского перевода избранных произведений Антонио Грамши опубликованы работы, написанные им в 1929—1935 годы — в годы тюремного заключения.

Даже в темном и душном каменном мешке тюрьмы, куда Грамши был брошен фашистскими палачами, не прекращалась кипучая деятельность этого негибаемого коммуниста и выдающегося мыслителя-революционера, борца за дело рабочего класса.

В тридцати объемистых тетрадах (2884 густо исписанные страницы) сконцентрировано огромное идейно-теоретическое наследие Грамши.

Всякого, кто знакомится с этими знаменитыми «Тюремными тетрадами», прежде всего поражает широта и многогранность тематики его исследований.

Здесь и исследования по целому ряду проблем исторического материализма, и критика воззрений буржуазных философов-идеалистов (в которой основное внимание Грамши уделяет «властителю дум» итальянской буржуазной философии — Бенедетто Кроче), и другие философские работы, очерки и заметки по истории Италии, итальянской интеллигенции, итальянской культуры в целом и литературы в частности, по проблемам создания и развития политической партии рабочего класса, его борьбы за свою гегемонию и за создание социалистического государства и многие другие проблемы.

Материал «Тюремных тетрадей» весьма разнообразен и по своему характеру. Наряду с большими сериями статей и заметок, объединяемых единством темы, в «Тюремных тетрадах» содержатся и отдельные замечания и записи, не связанные между собой тематически, но тем не менее сохраняющие свое значение как перво-

начальные мысли и наброски по тем темам, которые автор в дальнейшем собирался развить.

Исключительно требовательный к себе, предельно скрупулезный в своих научных исследованиях, Грамши сам неоднократно отмечал, что содержащиеся в «Тюремных тетрадах» записи и заметки отнюдь не представляют собой законченных произведений, что они в основном носят характер записей «для памяти» и могут послужить основой не органически единого труда, а целого ряда независимых статей, что часто в них идет речь о еще непроверенных утверждениях и предположениях, которые можно назвать лишь «первым приближением», что не все предварительные выводы могут оказаться верными при дальнейшем изучении им того или иного вопроса. Говоря о распределении материала по тетрадам, Грамши отмечал, что он также не считает это распределение окончательным, что в отдельных местах еще может не быть различия между главным и второстепенным, между тем, что должно войти в основной текст, и тем, что следует отнести к примечаниям.

Трудно представить себе те поистине нечеловеческие усилия, каких требовала от Грамши эта напряженная научно-теоретическая работа в суровых условиях фашистской тюрьмы. Эти условия, не идущие ни в какое сравнение с нормальными условиями свободной и систематической деятельности ученого-исследователя, не могли не наложить свой отпечаток и на характер изложения материала «Тюремных тетрадей».

Одним из главных препятствий в работе Грамши была не только цензура тюремных властей, но даже реальная угроза ее. Надо было писать так, чтобы у его тюремных «опекунов» не возникли подозрения, что эти записи могут иметь политические цели, могут быть использованы коммунистической партией в своей деятельности. По этой причине Грамши весьма часто приходилось отказываться от общепринятых марксистских терминов, заменять их условными выражениями, такими, как философия практики (исторический материализм, марксизм), *élite*, «современный государь» (партия), социальная группа (класс), государство-сила (диктатура пролетариата) и т. п., порой даже заменять имена описательными псевдонимами.

Огромные трудности доставляло и отсутствие необходимых литературных источников, этого неперменного атрибута творческой научной деятельности. Автор не только был лишен возможности пользоваться произведениями классиков марксизма, но даже зачастую избегал упоминания подлинного и полного названия их произведений. Не могло быть и речи о систематическом и широком использовании автором даже буржуазной литературы. «Научной библиотекой» служили Грамши главным образом его исключительная эрудиция и недюжинная память, лишь в незначительной степени дополняемые немногими книгами или журналами, которые автору удавалось прочитывать в тюрьме.

Нетрудно понять, что все эти трудности исключали возможность для Грамши придать законченную и органически стройную форму своим произведениям, систематизировать их и снабдить подробными пояснительными примечаниями и точными ссылками на литературные источники.

И если учесть еще те тягчайшие душевные и физические страдания, которые Грамши приходилось испытывать в фашистском застенке, то станет ясным, какой железной волей, какой героической самоотверженностью нужно было обладать, чтобы выполнить эту поистине гигантскую работу.

Труды Грамши являются не только крупным научно-теоретическим вкладом в сокровищницу марксизма, но и руководством к действию для коммунистической партии и рабочего класса Италии. Но и этим не исчерпывается значение «Тюремных тетрадей». Они представляют большой интерес и с точки зрения изучения самого процесса и методов теоретической деятельности Грамши.

Несмотря на то, что Грамши не имел возможности придать своим записям в «Тюремных тетрадях» ту законченную форму, которую имеют научные труды, подготовленные к печати в нормальных условиях, несмотря на то, что степень завершенности различных произведений настоящего тома весьма неодинакова, и даже более того — пожалуй, именно в силу всего этого в «Тюремных тетрадях» Грамши с еще большей наглядностью видна «творческая лаборатория» этого выдающегося теоретика-марксиста.

При отборе произведений для настоящего тома Издательство в основном руководствовалось планом, предложенным Институтом Грамши (Рим).

В первый раздел — «Проблемы исторического материализма» — входят философские произведения Антонио Грамши, опубликованные во втором томе итальянского издания собрания его сочинений, озаглавленном «*Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce*».

Второй раздел — «Проблемы революции» — представляет собой перевод (с небольшими сокращениями) работы Грамши «Современный государь» («*Il moderno Principe*»), опубликованной в пятом томе итальянского издания («*Note sul Machiavelli, sulla politica e sullo stato moderno*») и посвященной вопросам борьбы коммунистической партии за гегемонию рабочего класса в революции, исследованию политических задач, стоящих перед рабочим классом и его партией в борьбе за создание социалистического государства.

Третий раздел — «Проблемы истории и политики» — состоит из двух частей: «Рисорджименто» (эта работа опубликована в четвертом томе итальянского издания — «*Il Risorgimento*») и «Американизм и фордизм» (из пятого тома итальянского издания).

В четвертый раздел — «Проблемы культурной жизни», — посвященный вопросам истории интеллигенции и ее роли в создании новой, социалистической культуры, вопросам литературы и литературной критики, входят работы Грамши, опубликованные в третьем («*Gli intellettuali e l'organizzazione della cultura*») и шестом («*Letteratura e vita nazionale*») томах итальянского издания его сочинений.

Как и в предыдущих томах русского издания, все примечания, составитель которых не упомянут особо, принадлежат А. Грамши. Примечания редакции русского перевода в данном томе даны в конце книги.

Р а з д е л п е р в ы й



ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛИЗМА



I. ВВЕДЕНИЕ В ИЗУЧЕНИЕ ФИЛОСОФИИ И ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА

НЕСКОЛЬКО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАМЕЧАНИЙ К ТЕМЕ

Нужно разбить широко распространенный предрас-судок, что философия представляет собой нечто очень трудное, потому-де, что это такая интеллектуальная деятельность, которая свойственна лишь определенной категории ученых-специалистов, или, иначе говоря, профессиональных философов, систематически работающих в этой области. Для этого нужно предварительно доказать, что все люди — «философы», определив границы и особенности этой «стихийной философии», свойственной «всему миру», то есть философии, которая заключена: 1) в самом языке, представляющем не только (и не столько) набор слов, лишенных всякого содержания, кроме лексического, но и совокупность определенных грамматических понятий и представлений; 2) в житейском и здравом смысле (*senso comune e buon senso*); 3) в народной религии, а, следовательно, также во всем комплексе народных верований, суеверий, воззрений, образов жизни и действий — словом, во всем том, что обычно объединяют под общим понятием «фольклор».

Доказав, что философами являются все, каждый на свой лад, бессознательно, потому что в самом минимальном проявлении любой интеллектуальной деятельности, в «языке», уже заключено определенное мировоззрение, перейдем ко второму моменту, к моменту критики и сознательной деятельности — ответим на вопрос: какой способ мышления предпочтительнее. Можно «думать», не осознавая критически собственных мыслей, «думать» бессвязно и случайно, иными словами, «разделять» какое-то мировоззрение, механически навязанное внешним окружением, одной из социальных

групп, в которые каждый оказывается автоматически втянутым с момента своего вступления в сознательный мир (этот мир может быть размером с собственную деревню или провинцию, и истоки его могут восходить к приходской церкви и «интеллектуальной деятельности» местного священника или патриархального старца, чья мудрость приобретает силу закона, к бабке, унаследовавшей науку колдунов, или к интеллигенту, прокишшему в соку собственной глупости и неспособности к действию). Но можно предпочесть и другой способ мышления, выработать посредством сознательного и критического мышления собственное мировоззрение и таким образом выбрать в результате напряженной работы мозга собственную сферу деятельности, принимать деятельное участие в свершении мировой истории, быть руководителем самого себя, а не ждать пассивно и покорно, пока окружающий мир сформирует твою личность.

Примечание 1. По своему мировоззрению человек всегда принадлежит к определенной группировке и именно к той, в которую входят все социальные элементы, разделяющие тот же, что и он, образ мысли и действий. Человек стремится находиться в соответствии с той или иной системой соответствия; человек — это всегда человеческая масса или человеческий коллектив. Вопрос в следующем: к какому историческому типу относится данная система соответствия, данная человеческая масса, элементом которой является человек? Когда мировоззрение не критично и последовательно, а случайно и бессвязно, человек принадлежит одновременно ко множеству человеческих масс, его собственная индивидуальность причудливо пестра: в ней уживаются элементы, роднящие его с пещерным человеком, и принципы новейшей и передовой науки, пережитки всех ушедших в прошлое узкоместных исторических фаз и интуитивные зародыши будущей философии всемирно объединенного человечества. Поэтому критиковать собственное мировоззрение — значит придать ему единство и последовательность, поднять его до той высоты, которой достигла самая передовая мысль мира. Следовательно, это означает также критиковать всю

предшествующую философию, поскольку она оставила прочные наслоения в народной философии. Эта критическая переработка человеком собственного мировоззрения начинается с того, что он осознает, кем он является в действительности, то есть с некоего «познай самого себя» как продукта всего предшествовавшего исторического процесса, оставившего в тебе самом бесчисленные свои следы — тот багаж, который ты принял, не прибегая к инвентарной описи. Для начала необходимо составить такую опись.

Примечание 2. Нельзя отделить философию от истории философии и культуру от истории культуры. Нельзя быть философом в самом прямом и полном смысле слова, то есть иметь критически осмысленное и последовательное мировоззрение, не осознавая его историчности, не представляя себе, какую фазу развития данное мировоззрение представляет, не осознавая того, что оно находится в противоречии с другими мировоззрениями или элементами других мировоззрений. Наше собственное мировоззрение отвечает на определенные, поставленные действительностью вопросы, вопросы вполне определенные и «оригинальные» в их актуальности. Как можно характеризовать настоящее, и притом вполне определенное настоящее, понятиями, выработанными для изучения проблем прошлого, часто довольно далекого и уже преодоленного? Если так обстоит дело, значит, мыслитель стал «анахроничен» для собственного времени, значит, он — ископаемое, а не современный живой человек. Или по крайней мере это говорит о том, что он нелепо «скроен». И в самом деле, бывает так, что социальные группы, в некоторых аспектах выражающие самую развитую современность, в других являются отсталыми по отношению к собственному социальному положению и, поэтому, неспособными добиться полной исторической самостоятельности.

Примечание 3. Если верно, что язык каждого содержит элементы мировоззрения и культуры, должно быть так же верно, что по языку можно судить о большей или меньшей сложности мировоззрения говорящего.

Кто говорит только на диалекте или понимает национальный язык в недостаточной степени, тот по необходимости связан с мироощущением более или менее узким и провинциальным, безнадежно отсталым, анахроническим по сравнению с великими течениями мысли, господствующими в мировой истории. Его интересы будут узкими, более или менее корпоративными и экономистскими, а отнюдь не всеобщими. Если не всегда имеется возможность изучать многие иностранные языки, чтобы познакомиться с различными культурами, нужно по крайней мере хорошо изучить национальный язык. Одна великая культура может быть переведена на язык другой национальной культуры; на великий национальный язык, исторически развитый и богатый, может быть переведена любая другая великая культура, иными словами, на национальном языке может быть выражена мировая культура. На диалекте же этого сделать нельзя.

Примечание 4. Создавать новую культуру означает не только делать в одиночку «оригинальные» открытия; оно означает также — и это особенно важно — критическое распространение уже открытых истин, их, так сказать, «социализацию» и тем самым превращение в основу практической деятельности, в элемент координации, деятельности людей, в элемент их духовного и нравственного уклада. Масса людей, приведенная к единому и последовательному образу осмысления реальной действительности, — это «философский» факт, куда более значительный и «оригинальный», чем открытие каким-нибудь философским «гением» новой истины, остающейся достоянием узких групп интеллигенции.

Связь между житейским смыслом, религией и философией

Философия есть духовный уклад, то, чем не могут быть ни религия, ни житейский смысл. В действительности нет совпадения и между религией и житейским смыслом. Религия при этом оказывается одним из разрозненных элементов житейского смысла. Впрочем, «житейский смысл» есть имя собирательное, такое же, как

«религия»: единого житейского смысла не существует, потому что он также является продуктом истории в ее становлении. Философия есть кригика и преодоление религии и житейского смысла, и в этом случае она совпадает со «здравым смыслом», противопоставляющимся смыслу житейскому.

Отношения между наукой, религией и житейским смыслом

Религия и житейский смысл не могут образовать духовный уклад, потому что они не могут быть приведены к единству и последовательности даже в индивидуальном сознании, не говоря уже о создании коллективном; они не могут быть приведены к единству и последовательности «свободно», потому что даже «принудительно» это могло быть достигнуто — и действительно достигалось в прошлом — лишь в известных пределах. Проблема религии берется не в конфессиональном, а в светском смысле, как проблема единства убеждений, определяющих как мировоззрение, так и соответствующую ему норму поведения; но почему же тогда не называть это единство убеждений не «религией», а «идеологией» или просто «политикой»?

На самом деле не существует философии вообще: существуют разные философии или мировоззрения, среди которых всегда приходится делать выбор. Как происходит этот выбор? Является ли этот выбор чисто интеллектуальным актом или он более сложен? И не бывает ли часто так, что между интеллектуальным актом и нормой поведения обнаруживается противоречие? Какое же мировоззрение будет в этом случае подлинным: то, которое утверждается логически, как интеллектуальный акт, или то, которое вытекает из реальной деятельности каждого, которое заключено в его делах? А так как наша деятельность есть всегда деятельность политическая, нельзя ли сказать, что настоящая философия каждого заключена целиком в его политике? Это противоречие между мыслью и делом, то есть сосуществование двух мировоззрений — одного, утверждаемого на словах, и другого, проявляющегося в реальных делах, — не всегда является результатом не-

искренности. Неискренность может быть удовлетворительным объяснением для нескольких отдельно взятых личностей или даже более или менее многочисленных групп, однако оно неудовлетворительно, когда противоречие обнаруживается в жизненных проявлениях широких масс; тогда оно не может не быть выражением более глубоких противоречий социально-исторического порядка. Это значит, что, когда социальная группа, имеющая собственное мировоззрение (пусть еще только в зародыше, пусть проявляющееся только в ее действиях, а следовательно, не непрерывно, а от случая к случаю), приходит в движение как органическое целое, она, будучи интеллектуально зависима от другой социальной группы и подчинена ей, руководствуется не своим мировоззрением, а позаимствованным ею у этой другой группы. Она утверждает это мировоззрение на словах и даже верит в необходимость следовать ему, потому что она следует ему в «нормальные времена», то есть когда ее поведение еще не стало независимым и самостоятельным, а остается подчиненным и зависимым. Нельзя, таким образом, отрывать философию от политики; и более того, можно показать, что выбор и критика мировоззрения также являются политическим актом.

Необходимо, следовательно, объяснить, как получается, что во все времена сосуществуют многие философские системы и течения, объяснить, как они рождаются, как они распространяются, почему при распространении они дают определенные трещины, принимают определенную направленность и т. д. Это показывает, как велика необходимость критически и последовательно систематизировать собственные миро- и жизнеощущения, установив с точностью, что должно подразумеваться под словом «система», чтобы оно не было понято в педантском и профессорском смысле. Но эта работа должна и может быть выполнена только в план истории философии, показывающей, какое развитие претерпела мысль в течение веков и каких коллективных усилий стоил наш нынешний образ мыслей, который сжато и конспективно содержит в себе всю эту прошлую историю вместе с ее ошибками и бредовыми идеями, хотя, с другой стороны, не исключено, что ошибки, сделанные и исправленные в прошлом, не мо-

гут повториться в настоящем и не потребуют еще раз исправления.

Какое народное представление о философии? Его можно воссоздать из выражений обиходной речи. Одно из самых распространенных выражений — это «философски смотреть на вещи»; анализ его показывает, что и в этом выражении кое-что заслуживает внимания. Верно, что в нем содержится скрытый призыв к покорности и терпению, но, по-моему, самое важное в нем — это как раз призыв к размышлению, к тому, чтобы отдавать себе отчет и сознавать, что все происходящее в сущности рационально и что именно так его и следует воспринимать, сосредоточивая все собственные рациональные силы и не давая себя увлечь инстинктивным и необузданным порывам. Эти выражения простонародной речи со словами «философия» и «по-философски» можно было бы объединить с подобными же выписанными из больших толковых словарей выражениями авторов, пишущих в народной манере; мы увидим тогда, что эти слова имеют очень точный смысл, означая преодоление животных и примитивных страстей в общей концепции необходимости, которая придает деятельности индивидуума сознательное направление. Именно в этом состоит здоровое зерно житейского смысла, то, что как раз могло бы называться здравым смыслом, заслуживающим дальнейшего развития в единую и стройную систему. Так вырисовывается еще одна причина, по которой невозможно отделить так называемую «научную» философию от так называемой философии «вульгарной» и народной, представляющей лишь разрозненную совокупность идей и мнений.

Но здесь встает главная проблема любого мировоззрения, любой философии, ставшей культурным движением, «религией», «верой», иначе говоря, вызвавшей к жизни практическую деятельность и волю, в которых она сама скрыто содержится как теоретическая «предпосылка» (можно было бы сказать, как «идеология», если только термин «идеология» берется именно в самом высоком его смысле, в смысле мировоззрения, скрыто содержащегося в искусстве, праве, экономической деятельности — во всех индивидуальных и коллективных проявлениях жизни), то есть как проблема сохранения идеологического единства во всем социаль-

ном блоке, скрепленном и объединенном именно этой определенной идеологией. Сила религий, и в особенности сила католической церкви, состояла и состоит в том, что они остро чувствуют необходимость объединения всей «религиозной» массы на основе единой доктрины и борются, чтобы не дать интеллектуально более высоким слоям оторваться от слоев низших. Римская церковь всегда настойчивее всех боролась против «официального» образования двух религий: религии «интеллигенции» и религии «простых душ». Эта борьба не обошлась без крупных неприятностей для самой церкви, но эти неприятности связаны с историческим процессом, который преобразует все гражданское общество и содержит в целом разъедающую критику религий; тем более выделяются организационные способности церковников в сфере культуры, а также абстрактно рациональное и справедливое отношение, которое церковь сумела установить в своей области между интеллигенцией и «простым народом». Иезуиты, без сомнения, были самыми искусными мастерами по установлению этого равновесия, и для того, чтобы сохранить его, они придали католицизму внешность прогрессивного движения, стремящегося удовлетворять в некоторой мере требования науки и философии, но делали это так методично и такими замедленными темпами, что изменения не доходили до массы «простых людей» даже тогда, когда «интегралистам» они казались «революционными» и демагогическими.

Одна из наибольших слабостей всех имманентных философий вообще состоит как раз в том, что они не сумели создать идеологического единства между низами и верхами, между «простыми людьми» и интеллигенцией. В истории западной цивилизации этот факт обнаружился во всеевропейском масштабе в быстром крахе Возрождения и отчасти также Реформации, их недолговечности по сравнению с римской церковью. Эта слабость проявляется и в постановке вопроса о школьном образовании, поскольку имманентные философии даже не попытались создать концепцию, которая могла бы заменить религию в деле воспитания детей; отсюда тот псевдоисторичный софизм, прикрываясь которым неверующие педагоги — по существу атеисты — сдают

позиции, мирясь с преподаванием религии, потому что религия — это, мол, детство философии человечества, возрождающееся в каждом неметафорическом детстве — детстве человеческих индивидуумов. Идеализм показал себя также врагом культурнических «хождений в народ» — движений, вылившихся в так называемые народные университеты и подобные им учреждения, и эта враждебность объясняется отнюдь не только их дурными аспектами (ибо в этом случае идеалистам следовало лишь попытаться улучшить их). Эти движения все же были достойны интереса и заслуживали изучения: они увенчались успехом в том смысле, что доказали наличие у «простых людей» искреннего энтузиазма и твердой воли подняться к более высокой форме культуры и более высокому мировоззрению. Однако в этих движениях отсутствовала как всякая органическая связь философской мысли с интересами «простых людей», так и организационная устойчивость и централизация культурной деятельности; они походили скорее на первые встречи английских купцов с африканскими неграми: грошové товары обменивались на слитки золота. С другой стороны, ограниченность мысли и устойчивость культурного движения могли иметь место только при условии, что между интеллигенцией и «простыми людьми» существует такое же единство, какое должно существовать между теорией и практикой, то есть если бы интеллигенция была органической частью этих масс, если бы она, другими словами, разрабатывала и приводила в стройную систему принципы и проблемы, поставленные практической деятельностью этих масс, образуя с ними таким образом культурный и социальный блок. Вновь возникает уже затрагивавшийся вопрос: является ли философское движение таковым лишь постольку, поскольку философия применяется для развития специализированной культуры узких групп интеллигенции, или же оно является философским лишь при том условии, что, разрабатывая научно последовательную и более высокую, чем житейский смысл, мысль, оно никогда не забывает поддерживать связь с «простыми людьми» и в этой связи находит источник проблем, требующих изучения и решения? Только благодаря этой связи философия становится «исторической»,

очищается от интеллектуалистских элементов индивидуального характера, делается жизнью*.

Философия практики в начале своего развития не может выступать иначе, как с позиций полемических и критических, как доказывая свое превосходство над предшествовавшим образом мыслей и конкретно существующей мыслью (или существующей в мире культурой). Поэтому она выступает в первую очередь как критика «житейского смысла» (использовав прежде этот житейский смысл как базу для доказательства, что «все» являются философами и что речь идет не о введении ех пово** некоей науки в индивидуальную жизнь «всех», а о том, чтобы обновить и придать критическое направление уже существующей мыслительной деятельности), а затем уж как критика философии интеллигенции, породившей историю философии; и поскольку философия интеллигенции индивидуальна (а ее действительно развивают главным образом отдельные особо одаренные индивиды), ее можно рассматривать как цепь «вершин» в развитии житейского смысла, по крайней мере житейского смысла наиболее образованных слоев общества, а через них и житейского смысла народа. Вот почему введение в изучение философии должно обобщенно излагать проблемы, возникшие в процессе развития всеобщей культуры, лишь частично отражающейся в истории философии, которая, однако, ввиду отсутствия истории житейского смысла (такую историю невозможно воссоздать из-за отсутствия доку-

* Может быть, полезно «практически» различать философию и житейский смысл, для того чтобы лучше показать переход от одного момента к другому; в философии на первый план выдвигаются черты индивидуально разработанной мысли; в житейском смысле, — наоборот, неясные и распыленные черты обобщенной мысли какой-то эпохи в какой-то народной среде. Но любая философия стремится стать житейским смыслом какого-нибудь, пусть даже узкого слоя (например, всей интеллигенции). Речь идет поэтому о выработке философии, уже обладающей распространенностью или имеющей способность распространяться (благодаря тому, что она связана с практической жизнью и вытекает из нее), — философии, которая стала бы обновленным житейским смыслом, отличающимся последовательностью и силой убеждения индивидуальных философов; однако невозможно сделать это, если хоть на мгновение будет забыта необходимость культурного контакта с «простыми людьми».

** Заново (лат.) — Прим. перев

ментального материала) остается главнейшим источником исследования для критики этих проблем, доказательства их реальной ценности (если они ее еще имеют) или значения, которое они имели как уже преодоленные этапы пути, и для определения новых актуальных проблем или актуальной постановки старых проблем.

Связь между «высшей» философией и житейским смыслом обеспечивается «политикой» так же, как обеспечивается политикой связь между католицизмом интеллигенции и католицизмом «простых людей». Однако по характеру связи эти два случая коренным образом отличаются один от другого. Именно то, что церкви пришлось столкнуться с проблемой «простых людей», означает, что сообщество «верующих» дало глубокую трещину, которую если и можно залечить, то не путем поднятия «простых людей» до уровня интеллигенции (церковь даже не ставит себе такой задачи, идеологически и экономически непосильной для нее в нынешнем положении), а путем введения железной дисциплины для интеллигенции, чтобы она не переходила известных различительных границ и не превратила трещину в незаполнимую и катастрофическую пропасть. В прошлом такие «бреши» в сообществе верующих заполнялись мощными массовыми движениями, которые приводили к образованию новых религиозных орденов вокруг сильных личностей (Доминик, Франциск) * и в этом находили свое завершение.

Но Контрреформация выхолостила эти бурлившие народные силы: «Общество Иисуса» [орден иезуитов] — это последний большой религиозный орден реакционного и авторитарного происхождения, репрессивного и «дипломатического» характера, который ознаменовал своим рождением окостенение организма католической церкви. Новые ордена, возникшие впоследствии, для

* Еретические движения средневековья (возникавшие на базе социальных конфликтов, обусловленных рождением коммун) как реакция на политиканство церкви и на схоластическую философию, бывшую одним из проявлений этого политиканства, означали глубокую трещину, появившуюся в отношениях между массой и интеллигенцией в вопросе о церкви. Эта трещина «зарубцевалась» с появлением народных религиозных движений, которые церковь вобрала в себя, создав нищенствующие ордена и новое религиозное единство.

массы верующих имеют совершенно незначительное «религиозное» значение, но «дисциплинарное» значение их огромно: они являются с момента рождения или становятся потом разветвлениями и щупальцами «Общества Иисуса», орудиями «обороны» приобретенных политических позиций, а не обновительными силами развития. Католицизм стал «незуитизмом». Модернизм¹ породил не «религиозные ордена», а политическую партию: христианскую демократию*.

Позиция философии практики противоположна позиции католицизма: философия практики стремится не удерживать «простых людей» на уровне их примитивной философии житейского смысла, а, наоборот, подвести их к более высокой форме осознания жизни. Если она утверждает необходимость контакта между интеллигенцией и «простыми людьми», то это не для того, чтобы ограничить научную деятельность и поддержать единство на низком уровне масс, а именно для того, чтобы создать интеллектуально-моральный блок, который делает политически возможным прогресс всей массы, а не только узких группок интеллигенции.

Активный человек — элемент массы действует практически, но у него нет ясного теоретического осознания этой его деятельности, которая тоже есть познание мира, поскольку она изменяет мир. Более того, его теоретическое сознание исторически может оказаться в противоречии с его деятельностью. Можно, пожалуй, сказать, что у человека — элемента массы есть два теоретических сознания (или одно противоречивое сознание): одно — содержащееся в самой его деятельности и реально объединяющее его со всеми его сотоварищами по практическому изменению действительности, и второе — поверхностно выраженное, или словесное, что досталось массе в наследство от прошлого и было воспринято ею без критики. Тем не менее это «словесное» сознание не бес-

* Здесь уместно вспомнить анекдот, который рассказывает Стив² в своих «Воспоминаниях» [Steed, Memories] о кардинале, который объясняет английскому протестанту, склоняющемуся к католицизму, что чудеса св. Януария являются предметом веры лишь для неаполитанского простонародья, а не для интеллигенции, что даже в Евангелии имеются «преувеличения», и на вопрос: «Да разве мы сами не христиане?» — отвечает: «Мы — «прелаты», то есть «политики» Римской церкви».

плодно: оно привязывает к определенной социальной группе, влияет на моральное поведение, на направление воли — все это с большей или меньшей силой, которая может достигнуть такой точки, когда противоречивость сознания не допускает больше никакого действия, никакого решения, никакого выбора и приводит в состояние моральной и политической пассивности. Критическое постижение самого себя осуществляется, следовательно, через борьбу политических «гегемоний», противостоящих направлений, сначала в области этики, затем политики, чтобы вылиться наконец в высшую разработку собственной концепции действительности. Сознание, что ты являешься частицей определенной силы-гегемона (то есть сознание политическое), — это первая фаза дальнейшего и прогрессирующего самосознания, в котором в конечном счете соединяются теория и практика. Значит, и единство теории и практики существует не как механическое исходное данное, а как процесс исторического становления, в котором оба понятия проходят весь путь от элементарной и примитивной фазы, характеризующейся почти инстинктивным осознанием «различия», «разрыва», независимости теории и практики друг от друга, вплоть до реального и полного овладения стройным и единым мировоззрением. Вот почему следует подчеркнуть, что развитие политического понятия гегемонии означает огромный философский прогресс, а не только прогресс в практических политических действиях, потому что оно с необходимостью влечет за собой и подразумевает интеллектуальное единство и этику, соответствующую такой концепции действительности, которая преодолела житейский смысл и стала (пусть пока еще в ограниченных пределах) критической.

Тем не менее даже в самых последних трудах по философии практики углубление понятия единства теории и практики все еще не вышло из своей начальной стадии: живы еще остатки механицизма, ибо о теории говорится как о «придатке», о «дополнении» к практике, как о служанке практики. Этот вопрос также было бы правильным ставить исторически, то есть как политический аспект вопроса об интеллигенции. Исторически и политически критическое самосознание выражается в создании интеллектуальной *élite*: челове-

ская масса не может «выделиться» и стать независимой «сама собой», не организуясь (в широком смысле); а эта организация невозможна без интеллигенции, то есть без организаторов и руководителей. Иначе говоря, теоретический аспект единства теория — практика обособляется в конкретном виде в деятельности слоя лиц, специализировавшихся на разработке философских понятий. Но этот процесс создания интеллигенции долог, труден, полон противоречий, полон наступлений и отступов, моментов разброда и перегруппировок, во время которых «верность» масс (а верность и дисциплина являются первоначальной формой, в которой выражается участие и сотрудничество масс в развитии всей культуры) не раз подвергается суровым испытаниям. Процесс развития связан с диалектикой развития единства интеллигенция — массы; слой интеллигенции развивается количественно и качественно, но каждый скачок к новой степени «обширности» и сложности слоя интеллигенции связан с аналогичным движением массы «простых людей», которая поднимается к более высоким уровням культуры и одновременно, выдвигая отдельных индивидов или более или менее значительные группы, расширяет круг своего влияния среди специализированной интеллигенции. Однако в этом процессе постоянно повторяются моменты, когда между массой и интеллигенцией (отдельными ее представителями или какими-то группами их) образуется разрыв, потеря контакта — отсюда впечатление чего-то «придаточного», дополнительного, зависимого. Настаивание на господствующей роли элемента «практика» в единстве теория — практика, после того как эти два элемента не только выделены, но и разъединены, оторваны друг от друга (операция сама по себе чисто механическая и условная), означает, что движение не вышло еще из относительно примитивной исторической фазы, что оно еще проходит фазу экономико-корпоративную³, когда общая картина «базиса» изменяется количественно, а соответствующее качество-надстройка только возникает, но еще не обрело органической формы. Следует особенно подчеркнуть важность и значение политических партий в разработке и распространении мировоззрений в современном мире, поскольку они разрабатывают в основном этику и политику, соответствующие этим миро-

воззрениям, то есть действуют как своего рода «экспериментаторы», исходящие в своей исторической деятельности из этих мировоззрений. Партии производят индивидуальный отбор из активной массы, и отбор этот идет взаимосвязанно как в области практической, так и в области теоретической; при этом поддерживается тем более тесная связь теории с практикой, чем более жизненным, радикально новаторским, антагонистичным по отношению к старому образу мыслей проявляет себя новое мировоззрение. Можно сказать поэтому, что партии вырабатывают новые интеллекты, цельные и всеохватывающие, то есть являются тем тиглем, в котором теория сплавляется воедино с практикой, понимаемой как реальный исторический процесс. Отсюда ясно, сколь необходима организация, основанная на принципе индивидуального вступления, а не организация «лейбористского» типа, потому что если речь идет об органическом руководстве «всей экономически активной массой», то это означает, что руководить ею надо не по старым схемам, а по-новаторски; новаторство же на первых порах не может распространиться на всю массу иначе, как через *élite*, в которой мировоззрение, пронизывающее человеческую деятельность, уже стало в известной мере актуальным сознанием, стройным и систематическим, четкой и решительной волей.

Одну из этих фаз можно изучить по дискуссии, в ходе которой обозначились новейшие изменения в философии практики,— дискуссии, изложенной в статье сотрудника «Культуры» Д. С. Мирского*. Из дискуссии видно, что произошел переход от концепции механистической и чисто внешней к концепции активистской, которая, как уже было отмечено, в большей мере приближается к правильному пониманию единства теории и практики, хотя она и не охватила еще всего значения этого единства, представляющего диалектический синтез. Можно заметить, что детерминистский, фаталистический, механистический элемент придавал философии

* Здесь, вероятно, намек на статью Д. С. Мирского «Демократия и партия в большевизме» (D. S. Mirskij, *Democratie und Partei im Bolschewismus*), опубликованную в сборнике «Демократия и партия» под ред. П. Р. Родена, Вена, 1932, о котором упоминает Глезер в «*Bibliografia Fascista*», 1933.— *Прим. ит. ред.*

практики непосредственный идеологический «аромат», своеобразную форму религии и возбуждающего (но на манер наркотиков) средства; но то была историческая необходимость, оправданная «зависимым» характером определенных социальных слоев.

Когда утрачивается инициатива в борьбе и в результате наступает период поражений, механистический детерминизм превращается в могущественную силу морального сопротивления, сплочения, упрямой и терпеливой настойчивости. «В данный момент я потерпел поражение, но сила обстоятельств работает на меня исподволь и т. д.». Реальная воля преобразается в акт веры в некую рациональность истории, в эмпирическую и примитивную форму страстного финализма⁴, выступающего как заменитель предназначения, провидения и тому подобных учений конфессиональных религий. Но и в этом случае — и на этом необходимо настаивать — продолжает реально существовать сильная волевая деятельность, непосредственное вмешательство в «силу обстоятельств», однако лишь в скрытой, завуалированной форме, которая стыдится себя самой, и потому сознание — противоречиво, ему не хватает критического единства и т. д. Но когда «подчиненный» становится руководителем и ответственным за экономическую деятельность массы, механицизм вырастает в определенный момент в грозящую опасность, происходит ревизия всего образа мыслей, поскольку произведена перемена в образе социального бытия. Границы господства «силы обстоятельств» сужаются. Почему? Потому что, если вчера подчиненный был в сущности вещью, ныне он уже не вещь, а историческое лицо, главный действующий герой; если вчера он был безответственным, так как «сопротивлялся» чужой воле, ныне он чувствует себя ответственным, потому что он более не сопротивляется, а действует, и действует по необходимости активно и предприимчиво. Но даже и вчера разве он когда-нибудь представлял собой только «сопротивление», только «вещь», только «безответственность»? Конечно, нет, и, более того, следует подчеркнуть, что фатализм — это не что иное, как наряд, в который слабые переодевают активную и реальную волю. Вот почему необходимо постоянно вскрывать пустоту механистического детерминизма, который если и может еще найти себе объяснение как наивная философия

масс (и единственно в этом случае он служит их усилению), то, будучи возведен интеллигенцией в ранг продуманной и стройной философии, превращается, не дожидаясь даже, пока подчиненный станет руководящим и ответственным, в причину пассивности, причину идиллической самоудовлетворенности. Часть массы, даже находясь в подчиненном положении, всегда является руководящей и ответственной, и философия этой части всегда предваряет философию целого не только в смысле теоретического опережения, но и как актуальная необходимость.

То, что механистическая концепция есть религия подчиненных, с наглядностью вытекает из анализа развития христианской религии, которая в известный исторический период и в определенных исторических условиях была и продолжает оставаться «необходимостью», необходимой формой воли народных масс, определенной формой рациональности мира и жизни и которая создала общие нормы реальной практической деятельности. В следующем отрывке из статьи, напечатанной в «Чивильта каттолика» («Индивидуализм языческий и индивидуализм христианский», номер от 5 марта 1932 г.) *, мне кажется, неплохо выражена эта функция христианства: «Вера в обеспеченное будущее, в бессмертие души, уготованной для блаженства, в то, что можно наверняка достичь вечного наслаждения, была движущей пружиной напряженной работы по внутреннему совершенствованию и духовному возвышению. Здесь настоящий христианский индивидуализм нашел импульс для своих побед. Все силы христианина были собраны для достижения этой благородной цели. Избавленный от спекулятивных терзаний, изматывающих душу сомнениями, и просвещенный бессмертными принципами, человек почувствовал, как воскресает в нем надежда; уверенный, что высшая сила поддерживает его в борьбе со злом, он совершил насилие над самим собой и победил мир». Но и в этом случае речь идет, понятно, о наивном христианстве, а не о христианстве иезуитированном, ставшем настоящим наркотиком для народных масс.

Позиция же кальвинизма с его железной концепци-

* «Civiltà Cattolica», Individualismo pagano e individualismo cristiano.

ей милосердия и предопределения, которая обуславливает широкое распространение духа предпринимательства (или становится формой этого движения), еще более выразительна и характерна *.

Отчего и как распространяются, делаясь популярными, новые мировоззрения? Влияют ли (как, в какой мере) на этот процесс распространения (который в то же время является процессом замены старого и очень часто процессом комбинации нового со старым) рациональная форма, в которой изложено и представлено новое мировоззрение, авторитет излагающего (поскольку он признан и оценен хотя бы в общих чертах) и авторитет тех мыслителей и ученых, которых он призывает себе в поддержку, принадлежность к той же организации, в которую входит тот, кто поддерживает новое мировоззрение (после вступления в эту организацию по совсем иным соображениям, чем солидарность с новым мировоззрением)? На практике эти элементы соединяются в различном сочетании в зависимости от социальной группы и от культурного уровня данной группы. Найти ответ на эти вопросы было бы интересно, поскольку это касается народных масс, мировоззрение которых меняется с бóльшим трудом и которые, во всяком случае, никогда не меняют его на какое-либо другое путем принятия последнего, так сказать, в «чистой» форме; новое мировоззрение всегда утверждается только в виде более или менее странной и причудливой комбинации старых и новых взглядов. Рациональная, логически стройная форма, полнота рассуждения, не упускающего из виду ни одного мало-мальски значимого аргумента, как позитивного, так и негативного, имеет свое значение, но это значение далеко не решающее; правда, в определенных условиях оно может стать решающим, например, когда данный человек уже переживает интеллектуальный кризис, колеблется между старым и

* По этому поводу посмотреть «Протестантскую этику и дух капитализма» Макса Вебера, опубликованную в «Нюови студии» за 1931 год и в последующих номерах (Max Weber, L'etica protestante e lo spirito del capitalismo) и книгу Гретхюйзена о религиозных истоках буржуазии во Франции: «Происхождение буржуазной мысли во Франции. I. Церковь и буржуазия» [Groethuyzen, Origines de l'esprit bourgeois en France; I: L'Eglise et la bourgeoisie; Paris, 1927.—Прим. ит. ред.]

новым, потерял веру в старое и еще не решился на новое и т. д.

Примерно то же можно сказать об авторитете мыслителей и ученых. Он очень велик в народе, но ведь у каждого мировоззрения есть свои мыслители и ученые, которых оно выдвигает, и авторитет дробится; кроме того, любого мыслителя можно выделить по сравнению с другими, поставить под сомнение, высказался ли он именно так, а не иначе и т. д. В заключение можно сказать, что процесс распространения новых мировоззрений определяется политическими, а в конечном счете — социальными причинами, но формальный элемент, элемент логической стройности, так же как элемент авторитетности и элемент организационный, обретают в этом процессе очень важную функцию тотчас же после того, как массы (в виде ли отдельных индивидов или в виде многочисленных групп) в общем оказали предпочтение тому или иному новому мировоззрению. Из этого, однако, следует вывод, что массы как таковые не могут усваивать философию иначе, как веру. Впрочем, представим себе интеллектуальную позицию человека из народа; она сформирована из мнений, убеждений, различительных критериев и норм поведения. Всякий сторонник точки зрения, противоположной его собственной, обладающий более высоким интеллектом, умеет аргументировать свои доводы лучше, чем он, логически «припирает его к стенке» и т. д. Должен ли из-за этого человек из народа изменить свои убеждения, изменить только потому, что в непосредственной дискуссии он не может доказать их правоту? Но тогда ему пришлось бы менять их каждый день, то есть всякий раз, как ему встретится идеологический противник, интеллектуально стоящий выше его. Итак, на каких элементах зиждется его философия и, в особенности, та его философия, которая облечена в форму (самую существенную для него) нормы поведения? Самым значительным является, несомненно, элемент иррационального характера, элемент веры. Но веры в кого и во что? Прежде всего в социальную группу, к которой принадлежит он сам, поскольку она мыслит в основном и целом так же, как он: человек из народа думает, что много людей вместе не могут ошибаться, ошибаться целиком и полностью, как это пытается внушить ему его противник в споре; верно,

сам он неспособен так хорошо поддержать и развить собственные доводы, как противник свои, но в его собственной группе есть кое-кто, кто наверняка сумел бы это сделать даже лучше, чем этот его противник; и он вспоминает, что в самом деле когда-то слышал обширное, связное изложение основ своей веры, которое его убедило. Он не помнит этих конкретных доводов и не смог бы их повторить, но знает, что они существуют, потому что слышал, как их излагали, и был ими убежден. И если эта твердая убежденность была однажды внушена ему, она сама является постоянной причиной ее сохранения в нем, даже если потом человек не может сам аргументировать в ее защиту.

Но эти замечания приводят к выводу о крайне неустойчивом характере новых убеждений в народных массах, особенно если эти новые убеждения вступают в противоречие с ортодоксальными (и тоже новыми) убеждениями, социальная сущность которых приводится в соответствие с основными интересами господствующих классов. Это можно видеть на примере судьбы религии и церквей. Религия или какая-то определенная церковь удерживает общность своих верующих (в известных рамках потребностей общего исторического развития) в той мере, в какой она поддерживает, постоянно и организовано, собственную веру, без устали повторяя свою апологетику, защищая ее каждое мгновение и всегда при помощи одинаковых аргументов, взяв на свое содержание целую иерархию интеллигентов, призванных придавать этой вере хотя бы внешнее достоинство мысли. Всякий раз, когда непрерывность отношений между церковью и верующими прерывалась насильственно, по политическим причинам, как это произошло во время Французской революции, потери, понесенные церковью, были неисчислимы, и, если бы условия затрудненного исполнения ею своих повседневных функций были продлены во времени за известные пределы, такие потери, надо думать, стали бы решающими и возникла бы новая религия; такая религия, впрочем, и возникла во Франции в комбинации со старым католицизмом. Отсюда вытекают некоторые необходимые требования, которым должно удовлетворять каждое культурное движение, стремящееся заменить житейский смысл и старые мировоззрения вообще: 1) всегда и без устали пов-

торять собственные аргументы (видоизменяя их литературную форму): повторение есть самое эффективное дидактическое средство для воздействия на народное мышление; 2) непрестанно трудиться для интеллектуального возвышения все более широких слоев народа, то есть для того, чтобы придать индивидуальность аморфному элементу массы; это означает, иначе говоря, трудиться, чтобы вызвать к жизни интеллектуальные *élites* нового типа, которые вырастали бы непосредственно из массы, оставаясь при этом в контакте с массой, с тем чтобы стать для нее тем же, что китовый ус для корсета. Это второе необходимое требование (если оно выполняется) как раз и является тем, что реально изменяет «идеологическую панораму» эпохи. С другой стороны, эти *élites*, конечно, не могут сложиться и развиться, не выявляя из своей среды иерархии авторитетных, высокоинтеллектуальных и компетентных представителей — иерархии, которая может достичь высшей точки развития в отдельном великом философе, если он окажется способным конкретно прочувствовать настоятельные требования крепко сколоченного идеологического сообщества, понять, что оно не может обладать живостью мысли, присущей индивидуальному уму, и, следовательно, если он сумеет точно разработать коллективное учение так, чтобы оно возможно более соответствовало и было близким образу мыслей коллективного мыслителя.

Очевидно, что такого рода организация масс не может осуществиться «произвольно», вокруг любой идеологии, по формально-конструктивной воле одного человека или одной группы, ставящей себе такую задачу вследствие фанатизма собственных философских или религиозных убеждений. Поддержка массой той или иной идеологии или нежелание поддержать ее — вот каким способом проверяется реальная критика рациональности и историчности образа мыслей. Произвольные построения более или менее скоро оказываются вытесненными из исторического соревнования, даже если, как это иногда бывает, им удастся благодаря благоприятной комбинации непосредственных обстоятельств некоторое время пользоваться кое-какой популярностью; построения же, органически соответствующие требованиям сложного исторического периода, всегда в конечном счете берут

верх и удерживают превосходство, даже если им приходится проходить через многие промежуточные фазы, когда их утверждение происходит лишь в более или менее странных и причудливых комбинациях.

Развитие этих соображений ставит множество проблем, важнейшие из которых сконцентрированы вокруг способа и качества отношений между слоями различного интеллектуального уровня, иначе говоря, сводятся к вопросу о том, какое значение должен и может иметь и в какого рода деятельности может и должен проявляться творческий вклад высших групп в связи с органической способностью интеллектуально зависимых слоев к дискуссии и развитию новых критических понятий. Речь идет, следовательно, о том, чтобы установить границы свободы дискуссии и пропаганды, свободы, которую нужно понимать не в административном и полицейском смысле, а в смысле самоограничения, накладываемого руководителями на собственную деятельность, или, попросту говоря, о том, чтобы установить определенное направление в политике по вопросам культуры. Другими словами: кто установит «права науки» и границы научного исследования и могут ли вообще быть установлены эти права и эти границы? Необходимо, видимо, чтобы поиски новых истин и лучших, более стройных и более ясных формулировок уже открытых истин были предоставлены свободной инициативе отдельных ученых, даже если они беспрерывно возвращаются к дискутированию тех принципов, которые нам представляются самими основными. Нетрудно к тому же будет выяснить, когда инициатива такой дискуссии вызвана корыстными причинами, а не причинами научного характера. Впрочем, не так уж невозможно представить, что индивидуальная инициатива будет дисциплинирована и упорядочена и каждое начинание, прежде чем быть обнародованным, должно будет проходить через сито академий и разного рода культурных институтов, подвергаясь отбору и т. д.

Было бы интересно изучить конкретно, на примере какой-нибудь отдельной страны, культурную организацию, поддерживающую в движении всю сферу идеологии, и проследить, в чем выражается ее практическая деятельность. Полезно было бы также исследовать численное соотношение между количеством лиц, профессионально

посвятивших себя активной работе в области культуры, и населением в каждой отдельной стране с приблизительным подсчетом свободных сил. Школа во всех ее ступенях и церковь — вот две самые крупные культурные организации в каждой стране по количеству лиц, которое в них профессионально занято. Газеты, журналы, книгоиздательская деятельность, частные школьные заведения (как дополняющие государственную школу, так и культурные институты типа народных университетов). Немалую часть культурных сил привлекают для своей специализированной деятельности другие профессии, например профессии медиков, офицеров армии, юристов. Но следует отметить, что во всех странах, хотя и в разной мере, существует глубокий разрыв между народными массами и интеллектуальными группами, даже теми из них, которые наиболее многочисленны и наиболее близки к низам, к народным массам, как, например, учителя и священники. Следует также отметить, что это происходит потому, что даже там, где правители утверждают это на словах, государство как таковое не является носителем единой, последовательной и однородной концепции, из-за чего интеллектуальные группы оказываются раздробленными между различными общественными слоями или в пределах одного и того же слоя. Университет же, за исключением нескольких стран, не выполняет никакой объединительной функции; часто один свободный мыслитель оказывает большее влияние, чем весь университет и подобные ему учреждения.

По поводу исторической функции, выполненной фаталистической концепцией философии практики, можно было бы написать хвалебный некролог, напомнив о пользе, которую она принесла в определенный исторический период, и именно поэтому обосновывая необходимость похоронить ее со всеми приличествующими случаю почестями. Функцию этой концепции можно было сравнить, пожалуй, с функцией теории милосердия и предопределения, которая сыграла свою роль на заре современного мира, однако потом была превзойдена немецкой классической философией с ее концепцией свободы как сознания необходимости. Она была популярным суррогатом восклицания «Так богу угодно», но тем не менее даже в этом примитивном и элементарном пла-

не она открывала мировоззрение, более современное и плодотворное, чем то, что заключалось в возгласе «Так богу угодно» или в теории милосердия. Возможно ли, чтобы «формально» новое мировоззрение вступало в мир в ином одеянии, чем грубое и непритязательное платье плебея? И все-таки историку, вооруженному всей необходимой перспективой, удастся понять и установить, что первые камни нового мира, пусть еще грубые и неотесанные, прекраснее заката агонизирующего мира и его лебединых песен*.

ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ И ИСТОРИИ

Научная дискуссия

При постановке историко-критических проблем не следует представлять научную дискуссию как судебный процесс с обвиняемым и прокурором, который по дол-

* Увядание «фатализма» и «механицизма» знаменует великий исторический поворот; отсюда большое впечатление, произведенное суммирующим очерком Мирского. В связи с этим очерком вспоминается состоявшаяся в ноябре 1917 года во Флоренции дискуссия с адвокатом Марио Троцци⁵ и его первые обвинения в бергсо-нианстве, волюнтаризме и т. д. Можно было бы нарисовать полусерьезную картину того, как на самом деле выглядела эта его концепция. Вспоминается также дискуссия с проф. Презутти⁶ в Риме в июне 1924 года; сравнение его с капитаном Джульетти⁷, сделанное Дж. М. Серрати; это сравнение решило его судьбу, было для него смертным приговором. Для Серрати Джульетти был то же, что конфуцианец для таоиста, что китаец с Юга, активный и деятельный торговец, для начитанного мандарина Севера, который с крайним презрением просвещенного и мудрого, для которого жизнь не таит больше никаких загадок, смотрит на этих людишек Юга, верящих, что своими беспокойными муравьиными движениями они смогут ускорить «путь». Вспоминается и речь Клаудิโอ Тревеса об искуплении. Было в этой речи что-то от библейского пророка: тот, кто хотел войны и кто развязал войну, кто сорвал земной шар с его оси и чьи действия явились причиной послевоенного беспорядка, должен искупить зло, неся ответственность за этот самый беспорядок. Они грешили «волюнтаризмом» — и они должны быть наказаны за этот их прех и т. д. Было в этой речи какое-то жреческое величие, скрежет проклятий, которые должны были бы превращать в камень от ужаса, а в действительности были, как раз наоборот, большим утешением; они ясно указывали, что могильщик еще не готов и Лазарь может воскреснуть.

гу службы должен доказать, что обвиняемый виновен и заслуживает того, чтобы его «изъяли из обращения». В научной дискуссии (поскольку предполагается, что цель ее — найти истину и обеспечить прогресс науки) более «передовым» оказывается тот, кто становится на ту точку зрения, что противник может выражать требование, которое должно быть включено, пусть даже как зависимый элемент, в собственную концепцию. Постигнуть и реалистично оценить позицию и доводы противника (а иногда им оказывается вся предшествующая мысль) как раз и означает освободиться от оков идеологии (в низменном смысле слепого идеологического фанатизма), то есть стать на «критическую» точку зрения, единственно плодотворную в научном исследовании.

Философия и история

Важно установить, что нужно понимать под философией, под философией одной исторической эпохи, и каковы значение и смысл философий философов в каждую из таких исторических эпох. Если принять сформулированное Б. Кроче определение религии как мировоззрения, ставшего жизненной нормой (здесь жизненная норма понимается не в книжном смысле, а именно как претворенная в практическую жизнь), большая часть людей окажется философами, поскольку они совершают практические дела, а в этих их практических делах (в направляющих линиях их поведения) уже заключено определенное мировоззрение, определенная философия. История философии, как она понимается обычно, то есть как история философий философов, — это история принимаемых определенным классом лиц идеологических попыток изменить, исправить, усовершенствовать мировоззрения, существующие в каждую определенную эпоху, изменить, следовательно, соответствующие и зависящие от них нормы поведения, то есть изменить практическую деятельность в целом.

С интересующей нас точки зрения недостаточно изучить историю и логику философских систем различных философов. Необходимо, хотя бы в порядке методического указания, привлечь внимание к другим частям истории философии, а именно: к изучению мировоззре-

ний широких масс, мировоззрений самых узких руководящих (или интеллектуальных) групп и, наконец, связей между этими различными культурными комплексами и философией философов. Философия эпохи — это не философия того или иного философа, той или иной группы интеллигенции, того или иного крупного подразделения народных масс — это комбинация всех этих элементов, которая развивается и совершенствуется в определенном направлении и при этом все в большей мере становится нормой коллективных действий в данном направлении, то есть становится «историей» конкретной и полной (цельной).

Значит, философия определенной исторической эпохи — это не что иное, как «история» этой эпохи, не что иное, как совокупность изменений, которые руководящая группа сумела произвести в действительности, доставшейся ей от прошлого; в этом смысле история и философия неразделимы, они образуют «блок». Можно, однако, различить собственно философские элементы, и притом на всех их ступенях: в виде философии философов, в виде концепций руководящих групп (философская культура) и в виде религии широких масс; можно увидеть также, что на каждой из этих ступеней приходится иметь дело с различными формами идеологической «комбинации».

„Созидательная“ философия

Что такое философия? Представляет ли она собой лишь чисто рецептивную [созерцательную] или, самое большее, упорядочивающую деятельность или же это деятельность абсолютно созидаящая? Необходимо дать определения терминам «рецептивный», «упорядочивающий» и «созидательный». «Рецептивный» подразумевает уверенность в наличии внешнего абсолютно неизменного мира, существующего «вообще», объективно, в самом вульгарном смысле этого слова. «Упорядочивающий» приближается по смыслу к термину «рецептивный»: он хотя и признает какую-то деятельность мысли, но деятельность эта скудная и ограниченная. А что же означает термин «созидательный»? Может быть, он означает, что внешний мир создан мыслью? Но какой мыслью и чьей? Так можно впасть в солипсизм, и действитель-

но, всякая форма идеализма по необходимости впадает в солипсизм. Чтобы избежать, с одной стороны, солипсизма, а с другой — механистических концепций, заключенных уже в самом понимании мышления как рецептивной или упорядочивающей деятельности, необходимо рассматривать вопрос «исторически», ставя одновременно в основу философии «волю» (а в конечном счете практическую или политическую деятельность), но не произвольную, а рациональную, осуществляющуюся постольку, поскольку она соответствует объективной исторической необходимости, то есть постольку она сама является всеобщей историей в момент ее прогрессивного развития. Если эта воля представлена вначале отдельным индивидуумом, ее рациональность доказывается тем, что ее принимают многие и принимают надолго; тем, что она, иначе говоря, становится культурой, «здравым смыслом», мировоззрением со своей соответствующей ему этикой. До немецкой классической философии философию рассматривали как рецептивную или, самое большее, как упорядочивающую деятельность; ее понимали, иными словами, как познание некоего механизма, объективно функционирующего вне человека. Немецкая классическая философия ввела понятие «созидающей» мысли, но она наполняла его идеалистическим и спекулятивным содержанием. Пожалуй, только философия практики, опираясь на немецкую классическую философию и избегая всех тенденций к солипсизму, заставила мысль сделать шаг вперед. Мысль рассматривается ею исторически как мировоззрение, как «здравый смысл», распространенный среди многих (а такая распространенность была бы как раз немислимой, если бы этот «здравый смысл» не был рационален и историчен), причем распространенный таким образом, что он превращается в активную норму поведения. Термин «созидательный» необходимо, следовательно, понимать как «относительный», в том смысле, что мысль изменяет способ восприятия действительности большинством, а следовательно, и самую действительность, которую нельзя мыслить без этого большинства. «Созидательный» также потому, что он указывает, что не существует «действительности» самой по себе, в себе и для себя, но всегда в историческом взаимоотношении с людьми, которые ее изменяют и т. д.

Историческое значение философии

Многочисленные исследования и труды, написанные относительно исторического значения различных философий, являются абсолютно бесплодными порождениями фантазии, так как в них не учитывается, что многие философские системы представляют собой проявления чисто индивидуальной (или почти индивидуальной) деятельности и что та часть ее, которая имеет право называться исторической, зачастую исключительно мала и к тому же задавлена грудой абстракций чисто рационального и схоластического происхождения. Можно сказать, что историческая ценность философии может быть «высчитана» по достигнутой ею «практической» действительности («практической» в широком смысле). Если верно, что всякая философия есть проявление деятельности определенного общества, то она должна была бы оказывать обратное воздействие на общество, обуславливать определенные положительные и отрицательные результаты его. Именно мера, в которой она оказывает это обратное воздействие, и есть мера ее исторического значения, мера того, что она не плод индивидуального учебного корпения, а «исторический факт».

Философ

Выдвинув положение, что все люди — «философы», или, иначе, что между философами по профессии, «специалистами» в области философии, и остальными людьми существует не «качественная», а только «количественная» разница (слово «количество» в этом случае обладает своим особым смыслом: его нельзя путать с арифметической суммой, ибо оно указывает на большую или меньшую «однородность», «последовательность», «логичность» и т. д., то есть на количество качественных элементов), следует все же выяснить, в чем состоит эта разница. Так, будет неточным назвать «философией» любую тенденцию мысли, любое общее направление и т. п. и даже любое «мировоззрение». Философа можно было бы назвать «квалифицированным рабочим», противопоставляя его чернорабочим, но и это будет неточно, потому что в промышленности, кроме чернорабочих и квалифицированных рабочих, есть еще инженер, который знает ре-

мелко не только практически, но также и теоретически и исторически. Философ по профессии, или специалист в области философии, не только «думает» с большей логической строгостью, более последовательно и систематично, чем другие люди, он также знаком со всей историей мысли, то есть способен отдать себе отчет о развитии, продолжении мысли до него, он в состоянии критически рассматривать проблемы в том их виде, который они приобрели после всех попыток их разрешения и т. д. В области мышления он осуществляет ту же функцию, что специалисты в различных областях науки.

Однако имеется различие между философом-специалистом и специалистами других областей, а именно философ-специалист гораздо ближе к остальным людям, чем специалисты в других областях. То, что философа-специалиста превратили в фигуру, напоминающую других специалистов в науке, как раз и породило карикатуру на философа. В самом деле, для того чтобы представить себе специалиста-энтомолога, вовсе не обязательно, чтобы все остальные люди были эмпирическими «энтомологами»; чтобы представить себе специалиста по тригонометрии, вовсе не обязательно, чтобы большинство остальных людей занимались тригонометрией и т. д. (можно найти самые что ни на есть утонченные, специализированные, необходимые науки, но от этого они еще не делаются «общими» для всех), но нельзя себе представить человека, который не был бы одновременно философом, который не мыслил бы, нельзя именно потому, что мышление свойственно человеку как таковому (если только он не идиот в патологическом смысле слова).

Речь, языки и житейский смысл

В чем же именно заключается ценность того, что принято называть «житейским смыслом» или «здравым смыслом»? Не только в том, что житейский смысл, пусть даже не признавая того открыто, пользуется принципом причинности, но и в гораздо более ограниченном по своему значению факте — в том, что житейский смысл в ряде суждений устанавливает ясную, простую и доступную причину, не позволяя никаким метафизическим, псевдоглубокомысленным, псевдоученым и т. д. ухищре-

ниям и премудростям совлечь себя с пути. «Житейский смысл» не могли не превозносить в XVII и XVIII веках, когда люди стали восставать против догматического принципа авторитетов, какими считались Библия и Аристотель; в самом деле, люди открыли, что в «житейском смысле» имеется известная доза «экспериментализма» и непосредственного, пусть даже эмпирического и ограниченного, наблюдения действительности. В этом люди и поныне продолжают видеть ценность житейского смысла, хотя положение изменилось и реальная ценность сегодняшнего житейского смысла значительно снизилась.

Если мы определяем философию как мировоззрение и рассматриваем философскую деятельность уже не только как «индивидуальную» разработку понятий, складывающихся в стройную систему, но также (и в особенности) как борьбу в области культуры за переделку народного «склада ума» и за распространение философских нововведений, которые докажут собственную «историческую правильность» в той мере, в какой станут конкретно, то есть исторически и социально, всеобщими, то проблема речи и языков «технически» должна быть выдвинута на первый план. Следовало бы, пожалуй, еще раз просмотреть статьи прагматистов и по этому вопросу*.

В случае с прагматистами, как и вообще при любой другой попытке органически систематизировать философию, не сказано, идет ли речь о системе в целом или же только о ее основном зерне. Можно сказать, мне думается, что концепция языка Вайлати и других прагматистов неприемлема; и все же создается впечатление, что они почувствовали реальные потребности и «описали» их с приближительной точностью, даже если они и не смогли поставить проблемы и разрешить их. Можно, пожалуй, сказать, что «язык» — это в сущности имя собирательное, которое вовсе не предполагает существование чего-то «единственного» ни во времени, ни в пространстве. Язык означает также культуру и философию (пусть даже на ступени житейского смысла), и потому явление «язык» в действительности оказывается множеством явлений, более или менее органично взаимосвязанных и

* См. «Статьи» Дж. Вайлати⁸ и среди них очерк «Язык как препятствие на пути устранения иллюзорных противоречий» [G. Vailati, Scritti («Il linguaggio come ostacolo alla eliminazione di contrasti illusori»), Firenze, 1911].

взаимозависимых; прибегая к крайности, можно сказать, что каждое разговаривающее существо обладает собственным персональным языком, то есть собственной манерой думать и чувствовать. Культура на ее различных ступенях объединяет большее или меньшее число индивидов в многочисленные слои, между которыми существует более или менее тесный контакт и которые в той или иной степени понимают друг друга и т. д. Именно эти историко-социальные различия отражаются в народном языке и порождают те «препятствия» и «причины ошибок», о которых толкуют прагматисты.

Отсюда вытекает важность культурного момента и в практической (коллективной) деятельности: любой исторический акт может быть совершен лишь «человеческим коллективом». Это предусматривает достижение такого «культурно-социального» единства, при котором множество разрозненных желаний, преследующих разнородные цели, сплавляются воедино для одной и той же цели на основе одинакового и единого мировоззрения (общего или частного, действующего временно — эмоциональным путем — или постоянно, когда интеллектуальная основа этого мировоззрения так укореняется, усваивается и приживается, что становится способной превратиться в страсть). Оттого, что все это происходит именно так, становится ясной важность общего вопроса о языке, то есть о коллективном создании одинакового культурного «климата».

Эта проблема может и должна быть сближена с современной постановкой педагогической теории и практики, согласно которым отношения между учителем и учеником — это активные отношения: они обратимы, и потому каждый учитель — это в то же время ученик, и каждый ученик — учитель. Но педагогические отношения не могут быть сведены лишь к специфическим «школьным» взаимоотношениям, в рамках которых молодые поколения вступают в контакт со взрослыми и перенимают от них опыт и исторически необходимые ценности, развивая и «взращая» собственную личность как исторически и культурно более высокую. Эти взаимоотношения существуют во всем обществе в целом и применительно к каждому отдельному индивиду в его отношении к другим индивидам, между слоями интеллигентными и неинтеллигентными, между правящими и управляемыми, между

élites и массой последователей, между руководителями и руководимыми, между авангардом и главными силами. Каждое отношение «гегемонии» — это по необходимости отношение педагогическое, и оно обнаруживается не только внутри одной нации, между силами, составляющими ее, но и в международном и мировом масштабе: между комплексами национальных и континентальных цивилизаций.

Поэтому можно сказать, что историческая личность отдельного философа выражается также в его активных взаимоотношениях с культурной средой, которую он хочет изменить, средой, которая оказывает на философа обратное воздействие и, вынуждая его к постоянной самокритике, действует в качестве «учителя». Так, одним из самых сильных требований современной интеллигенции в области политики оказалось требование так называемой «свободы мысли и свободы выражения мысли (печати и собраний)», потому что только там, где существует это политическое условие, отношения учитель — ученик осуществляются в самом широком из вышеуказанных смыслов, и на деле, «исторически» воплощается новый тип философа, который может быть назван «философом-демократом», то есть философом, убежденным, что его личность не ограничивается его физической индивидуальностью, но что она выражается в социально активных взаимоотношениях, изменяющих культурную среду. «Мыслитель», довольствующийся собственной, «субъективной», то есть абстрактно свободной мыслью, в наши дни вызывает смех: единство науки и жизни — это как раз единство активное, в котором только и реализуется свобода мысли, это отношение учитель — ученик, философ — культурная среда, в которой он действует и из которой извлекает проблемы, требующие постановки и решения, иначе говоря — это взаимоотношение философия — история.

Что такое человек?

Вопрос этот первый и основной в философии. Как на него можно ответить? Определение можно найти в самом человеке, то есть в каждом отдельном человеке. Но верно ли оно? В каждом отдельном человеке можно найти ответ на вопрос, что такое каждый «отдельный человек». Но нас не интересует, что такое каждый отдельный чело-

век и, в частности, что такое каждый отдельный человек в каждый отдельный момент. Поразмыслив, мы видим, что, поставив вопрос: что такое человек? — мы хотим спросить: чем человек может стать, то есть может ли человек стать господином собственной судьбы, может ли он «сделать» себя самого, создать свою собственную жизнь? Итак, мы говорим, что человек — это процесс, точнее — это процесс его поступков. Если разобраться, то вопрос: что такое человек? — не есть вопрос абстрактный или «объективный». Он родился из того, что мы думаем о себе и о других, из нашего желания узнать — в связи с тем, что мы продумали и увидели, — чем мы являемся и чем можем стать, действительно ли и в каких пределах мы «кузнецы самих себя», своей жизни, своей судьбы. И знать это мы хотим «сегодня же», в условиях, существующих сегодня, в «сегодняшней» жизни, а не в какой-то жизни вообще какого-то человека вообще.

Вопрос этот родился и получил свое содержание от особых определенных воззрений на жизнь и на человека. Самым значительным из этих воззрений является «религия» и притом одна определенная религия: католицизм. Действительно, задавая себе вопрос, что такое человек, каково значение его воли и его конкретной деятельности в создании самого себя и своей собственной жизни, мы как бы хотим спросить: дает ли католицизм точное представление о жизни и человеке? Будучи католиками, то есть сделав католицизм жизненной нормой, заблуждаемся мы или следуем истине? Интуитивно все понимают, что люди, делающие католицизм своей жизненной нормой, заблуждаются. Это тем более верно, что никто, даже из объявляющих себя католиками, не придерживается католицизма как жизненной нормы. Стопроцентный католик, то есть такой, который применял бы католические нормы в каждом своем поступке, выглядел бы чудовищем, а это, если разобраться, и есть самая сильная, да и самая безапелляционная критика католицизма.

Католики ответят нам, что никакая другая концепция не выполняется пунктуально, и они будут правы, но это доказывает лишь то и ничего более, что на самом деле, исторически, не существует абсолютно одинакового для всех людей образа мыслей и поступков; здесь нет никакого довода в пользу католицизма, хотя как образ мыслей и поступков католицизм сложился еще несколько

веков назад именно для достижения этой цели. Ни одна другая религия еще не обладает такими же средствами, такой же систематичностью, такими же постоянством и централизацией. С «философской» точки зрения неприемлемым в католицизме является то, что он видит корень зла в самом человеке, то есть берет человека как индивида вполне законченного и ограниченного. Можно сказать, что все существовавшие до сего дня философии повторяют эту догму католицизма, то есть рассматривают человека как индивида, ограниченного в своей индивидуальности, которая рассматривается ими как его дух. Именно в этом пункте и необходимо переделать представление о человеке. Иначе говоря, необходимо рассмотреть человека как ряд активных отношений (как процесс), среди которых индивидуальность если и обладает наибольшим значением, то отнюдь не является единственным из рассматриваемых элементов. Человечество, отражающееся в каждом индивидууме, состоит из нескольких элементов: 1) сам индивидуум; 2) остальные люди; 3) природа. Но второй и третий элементы не столь просты, как может показаться. Индивидуум вступает в отношения с другими людьми, не просто арифметически суммируясь с ними: он вступает в отношения органично, то есть в том смысле, что он участвует в различных общественных организациях, от простейших до самых сложных. Точно так же человек вступает в отношения с природой не просто потому, что он сам — часть природы, а активно, посредством труда и техники. Более того, эти отношения не являются механическими. Они активны и сознательны, то есть соответствуют большей или меньшей степени осознания их отдельным человеком. Можно сказать поэтому, что каждый переделывает и изменяет самого себя в той мере, в какой он изменяет и переделывает весь комплекс взаимоотношений, в котором сам он является узлом, куда сходятся все нити. В этом смысле реальный философ есть и не может быть не кем иным, как политиком — человеком, активно изменяющим окружающий мир, то есть совокупность всех взаимоотношений, в которых принимает участие каждый индивид. Если индивидуальность есть совокупность этих отношений, то создать собственную личность значит познать эти отношения, а изменить собственную личность — значит изменить совокупность этих отношений.

Но эти отношения, как уже было сказано, не просты; причем одни из них необходимы, другие — добровольны. Кроме того, более или менее глубокое познание их (большее или меньшее знание того, как их можно изменить) уже изменяет их. Те же самые необходимые отношения, поскольку они познаны в их необходимости, меняют свой вид и значение. Познание в этом смысле есть власть. Но проблема сложна и благодаря другому своему аспекту: недостаточно познать совокупность отношений, поскольку они существуют в данный момент как некая данная система; важно познать их генезис, познать их в процессе формирования, ибо каждый индивид — это синтез не только существующих отношений, но и истории этих отношений, то есть итог всего прошлого. Скажут, пожалуй, что отдельный индивид, если принять во внимание его силы, не может произвести крупные изменения в положении вещей. Эта мысль верна лишь в известных пределах, ибо отдельный индивид может объединиться со всеми, кто стремится к тому же изменению, и если это изменение разумно, его силы могут многократно умножиться, стать внушительными и произвести перемену, значительно более радикальную, чем та, которая на первый взгляд могла казаться возможной.

Общества, к которым может принадлежать отдельный индивид, очень многочисленны, гораздо более многочисленны, чем это может показаться. Именно при посредстве этих «обществ» отдельный индивид участвует в жизни рода человеческого. Так, способы, при помощи которых он вступает в отношения с природой, очень многообразны, ибо под техникой, в отличие от обыкновения, должна подразумеваться не только совокупность научных знаний, применяемых в промышленности, но и «умственные» орудия, философское познание.

Что нельзя себе представить человека иначе, как живущим в обществе, — это общее место. Однако из этого не сделаны все необходимые выводы, — необходимые даже в индивидуальном плане. То, что определенное человеческое общество предполагает определенный мир вещей и что человеческое общество возможно лишь постольку, поскольку существует определенный мир вещей, — это также общее место. Верно то, что до сих пор этим внеиндивидуальным понятиям придавался механи-

стический и детерминистский смысл (как в отношении *societas hominum*, так и в отношении *societas rerum* *), а отсюда и реакция на них. Нужно разрабатывать учение, в котором все эти отношения являются активными и находятся в движении, установив с предельной ясностью, что источник этой активности — сознание отдельного человека, который познает, хочет, восторгается, создает уже постольку, поскольку он познает, хочет, восторгается, создает и т. д. и осознает себя не изолированным, а богатым возможностями, представленными ему другими людьми и миром вещей, о котором он не может не иметь некоторого представления. (Так же как каждый человек есть философ, каждый человек есть ученый и т. д.)

Утверждение Фейербаха: «Человек — это то, что он ест», взятое само по себе, может быть истолковано по-разному. Толкование скудное и нелепое: материально человек постепенно становится тем, что он ест. Иначе говоря, пища оказывает непосредственное определяющее влияние на образ мыслей. Вспомнить утверждение Амадео **, что если известно, например, что человек съел перед тем, как произнести речь, то можно лучше понять самую речь. Утверждение детское и, по сути дела, чуждое даже позитивной науке, ибо мозг не питается бобами и трюфелями: пища восстанавливает клетки мозга после того, как превратится сама в однородные и ассимилируемые вещества, то есть вещества, которые имеют «ту же самую потенциальную природу», что и мозговые клетки. Если бы это утверждение было верным, то всеопределяющим источником истории была бы кухня, а революции совпадали бы с радикальными изменениями в питании масс. Исторически же верно обратное: революции и сложное историческое развитие — вот что изменило питание и создало впоследствии «вкусы» в выборе пищи. Не регулярный посев пшеницы привел к исчезновению кочевничества, а, наоборот, условия, выступившие против кочевничества, привели к регулярным посевам и т. д. ***

* Мир людей и мир вещей.— *Прим. перев.*

** Имеется в виду Амадео Бордига, бывший коммунистический руководитель, экстремист, впоследствии исключенный из партии.— *Прим. ит. ред.*

*** Сравнить это утверждение Фейербаха с кампанией, поднятой «Его Превосходительством Маринетти» против макарон, и полемикой «Его Превосходительства Бонтемпелли» в их защиту — и все это в 1930 году, в самый разгар мирового кризиса.

С другой стороны, совершенно верно, что «человек — это то, что он ест», поскольку питание есть одно из выражений социальных отношений, взятых в целом. Каждая социальная группировка имеет свое, установившееся питание. Но точно так же можно сказать, что «человек — это его одежда», «человек — это его жилище», «человек — это его особый способ воспроизведения потомства, то есть его семья» — ибо наряду с питанием одежда, дом, воспроизведение потомства составляют элементы социальной жизни, в которых как раз и выявляется самым очевидным и распространенным (то есть распространенным на всю массу) образом комплекс социальных отношений.

Итак, проблема «что такое человек?» — это всегда проблема так называемой «человеческой природы» или же так называемого «человека вообще», то есть поиски науки о человеке (философии), которая отправлялась бы от «единого» вначале понятия, представляла бы абстракцию, заключающую в себе все «человечество». Но чем является это единое понятие и проявление «человеческого»: отправным или конечным пунктом? И не являются ли эти поиски скорее «теологическим» и «метафизическим» пережитком, поскольку «человеческое» берется как отправной пункт? Философию нельзя свести к некой натуралистической «антропологии»: не в «биологической» природе человека заключено единство рода человеческого — различия между людьми, принимаемые в счет историей, не являются биологическими (раса, форма черепа, цвет кожи и т. д., а к этому сводится в конечном итоге утверждение: «человек — это то, что он ест» — ест пшеницу в Европе, рис в Азии и т. д., — утверждение, которое можно было бы затем свести к другой формуле: «человек — это страна, в которой он живет», ибо большинство продуктов питания вообще связано с населяемой территорией); но даже и «биологическое единство» имело в истории не бог весть какое значение (человек — это то животное, которое поедало само себя в тот период, когда пребывало в состоянии, наиболее близком к «естественному», то есть когда оно не могло «искусственно» увеличить производство естественных благ). Даже «способность рассуждать», или «дух», не создает единства и не может быть признана обобщающим фактором, потому что является лишь формальным понятием, нося-

щим характер категории. Людей объединяет или разделяет не «мышление», а то, что конкретно мыслится.

Ответ, что «человеческая натура» есть «комплекс социальных отношений», является самым удовлетворительным, потому что он включает идею становления: человек становится, он непрерывно изменяется с изменением социальных отношений, изменяется потому, что отрицает «человека вообще». Действительно, предполагается, что социальные отношения выражены различными группами людей, единство которых не формально, а диалектично. Человек может быть аристократом только в том случае, когда есть человек-крепостной и т. д. Можно сказать также, что природа человека — это «история» (а в этом смысле — то есть приравнивая понятие «история» понятию «дух» — можно сказать, что природа человека есть дух), если истории придается именно смысл «становления», смысл «concordia discors» *, которое не исходит из единства, а несет в себе основы этого возможного единства. Поэтому «человеческую натуру» нельзя отыскать ни в одном отдельно взятом человеке, но только во всей истории человеческого рода (то, что употреблено слово «род», слово натуралистического характера, не лишено своего значения), в то время как особенности каждого отдельного индивида выделяются противопоставлением их особенностям других. Концепцию «духа» в традиционных философиях, так же как и концепцию «человеческой природы», основывающуюся на биологии, следовало бы объяснить как «научные утопии», которые пришли на смену самой большой утопии — поискам «человеческой природы» в боге (причем люди рассматриваются как дети бога); они свидетельствуют о непрерывных муках исторического развития, об устремлении разума и чувств и т. д. Верно то, что как религии, утверждавшие равенство людей как детей бога, так и философии, утверждавшие равенство их как существ, наделенных способностью рассуждать, были выражениями сложных революционных движений (переворот классического мира — переворот средневекового мира), которые закладывали самые мощные основы исторического развития.

Тот факт, что гегелевская диалектика была последним отзвуком этих великих исторических сдвигов и что диа-

* Согласие несогласий.— *Прим персв.*

лектика из выражения социальных противоречий должна была бы превратиться с исчезновением этих противоречий в диалектику чистых понятий, видимо, составляет основу новейших утопических философий, как, например, философии Кроче.

В истории действительное «равенство», то есть «духовная» ступень, достигнутая «человеческой натурой» в процессе ее исторического развития, находит выражение в системе ассоциаций, «частных и общественных», «явных и скрытых», которые, сплетаясь между собой, образуют «Государство» и всемирную политическую систему. Речь идет о «равенствах», которые ощущаются именно как таковые между членами одной ассоциации, и о «неравенствах», ощущаемых между различными ассоциациями, о равенствах и неравенствах, имеющих значение постольку, поскольку они отражаются в сознании одного индивида или целой группы. Так мы подходим и к равенству или приравниванию «философии и политики», мысли и действия — иначе говоря, к философии практики. Политика есть во всем, в том числе и в философии или философиях *, а единственная «философия» — это история в действии, это сама жизнь. В этом смысле можно истолковать тезис о немецком пролетариате, наследнике немецкой классической философии, и можно утверждать, что теоретизация и осуществление гегемонии, проделанные Ильичом **, явились великим «метафизическим» событием.

Прогресс и становление

Говорим ли мы о двух разных вещах или о разных аспектах одного и того же понятия? Прогресс — это идеология, становление — это философское представление. «Прогресс» зависит от определенного уровня духовного развития, в достижении которого участвуют некоторые исторически определенные культурные элементы; «становление» — это философское понятие, в котором может отсутствовать «прогресс». Понятие прогресса подразумевает возможность количественного и качественного измерения: больше и лучше. Оно предполагает, следовательно

* См. заметки о характере идеологий.

** Лениным. — *Прим. ит. ред.*

но, некую «установленную» или установимую меру, но мера эта обусловлена прошлым, определенной фазой прошлого, определенными измеримыми аспектами его и т. д. (Конечно же, речь идет не о метрической системе прогресса.) Как родилась идея прогресса? Представляет ли рождение этой идеи определяющий факт в области развития культуры, способный сделать эпоху? Пожалуй, действительно представляет. Рождение и развитие идеи прогресса соответствует широкому распространению сознания, что достигнуто некоторое соотношение между обществом и природой (включая в понятие природы понятие случайности и «иррациональности»), — соотношение, благодаря которому люди, взятые в целом, получают большую уверенность в своем будущем, получают возможность создавать всеобъемлющие планы своей жизни. Для сокрушения идеи прогресса Леопарди пришлось прибегнуть к примеру вулканических извержений, то есть к тем явлениям природы, которые пока являются «неудержимыми» и непоправимыми. Но ведь в прошлом существовало куда больше неудержимых сил: неурожай, эпидемии и т. д., которые в известных пределах уже укрошены.

То, что прогресс — это демократическая идеология, несомненно. Что он способствовал образованию современных конституционных государств и т. д. — тоже. Что ныне он уже миновал пору своего расцвета — также. Но в каком смысле? Не в том, что потеряна вера в возможность рационального покорения природы и случая, а в смысле «демократическом», — в том, что официальные «носители» прогресса стали неспособны осуществить это покорение, так как они вызвали к жизни современные разрушительные силы, столь же опасные и угнетающие, как и разрушительные силы прошлого (ныне забытые, по крайней мере «социально»; правда, мы не можем сказать: забытые всеми членами общества, не можем сказать только потому, что крестьяне продолжают не понимать «прогресс», то есть продолжают верить во власть сил природы и случая и действительно еще слишком зависят от их власти, сохраняя, следовательно, «магическое», средневековое, «религиозное» мышление), такие, как «кризисы», безработицу и т. д. Следовательно, кризис идеи прогресса — это не кризис самой идеи, а кризис носителей этой идеи, превратившихся в ту самую «природу»,

что подлежит покорению. Атаки против идеи прогресса в этой ситуации являются крайне корыстными и тенденциозными.

Можно ли отделить идею прогресса от идеи становления? Думается, что нет. Они родились вместе, как политика (во Франции), как философия (зародившаяся в Германии, а затем получившая значительное развитие в Италии). В понятии «становления» пытались спасти то, что есть наиболее конкретного в «прогрессе» — движение и именно движение диалектическое (а следовательно, и углубление этого понятия, так как прогресс связан с вульгарной концепцией эволюции).

Вот некоторые выдержки, выражающие вульгарные сомнения по поводу этих проблем, из статьи Альдо Капассо в «Италия леттерариа» от 4 декабря 1932 года:

«Насмехаться над гуманным и демократическим оптимизмом в стиле XIX века принято и у нас, и Леопарди не одинок, когда он говорит о «прогрессивных судьбах» с иронией; но при этом придумано хитрое переодевание «прогресса» в идеалистическое «становление», идея, которая в истории останется скорее даже как итальянская, чем как немецкая. Но какой смысл может иметь становление, продолжающееся *ad infinitum* *, улучшение, которое никогда нельзя будет сравнить с физически ощутимым благом? Без твердого критерия «последней» ступени «улучшение» лишено какой-либо единицы измерения. Более того, у нас нет даже оснований питать надежду, что мы, реальные живые люди, лучше... ну, скажем, римляне или первых христиан, потому что, если «улучшение» понимается целиком и полностью идеально, можно прекрасно допустить, что все наше общество ныне находится в состоянии «упадка», тогда как в те времена почти все они были людьми полноценными, а то и прямо святыми. Так что с точки зрения этической идея восхождения *ad infinitum*, скрытая в понятии становления, остается несколько неоправданной, принимая во внимание, что этическое «совершенствование» есть дело индивидуальное, а именно в индивидуальном плане и можно сделать вывод, что вся современная эпоха, если рассматривать случай за случаем, сплошь порочна... Но тогда оптимистическое понятие становления оказывается

* До бесконечности.— *Прим. перев.*

неуловимым как в идеальном, так и в реальном плане... Известно, что Кроче отрицал значение Леопарди как мыслителя, утверждая, что пессимизм и оптимизм являются сентиментальными, а не философскими категориями. Но пессимист мог бы заметить, что как раз идеалистическая концепция становления есть проявление оптимизма, проявление чувства, потому что и пессимист и оптимист (если только оба не воодушевлены верой в «трансцендентное») представляют себе историю одинаково — как течение реки без устья, — ставя затем ударение либо на слове «река», либо на словах «без устья», в зависимости от своего душевного состояния. Одни говорят: устья нет, но, как в гармоничной реке, есть непрерывность волн и их преемственность во времени: рожденное вчера развивается сегодня... А другие: да, есть непрерывность реки, но нет устья... Одним словом, не будем забывать, что оптимизм — это чувство, ничуть не меньшее, чем пессимизм. Остается вывод, что любая «философия» оказывается вынужденной определиться в чувственном отношении «как пессимизм или как оптимизм» и т. д. и т. д.»

В мыслях Капассо не слишком много связности и последовательности, но сам образ мыслей показателен для распространенного настроения снобизма и неуверенности, отличающегося большой расплывчатостью и поверхностью; этот образ мыслей не обладает также излишней интеллектуальной честностью и порядочностью и лишен даже необходимой формальной логики.

Вопрос остается все тем же: что такое человек, что такое человеческая природа? Если мы определяем человека психологически или спекулятивно как существо индивидуальное, эти проблемы прогресса и становления оказываются неразрешимыми или остаются пустыми словами. Но, если мы понимаем человека как совокупность социальных отношений, выясняется, что никакое сравнение между людьми во времени невозможно, потому что речь будет идти в этом случае о разных, если не различных, вещах. С другой стороны, так как человек — это также совокупность условий его жизни, можно измерить количественное различие между прошлым и настоящим, ибо можно измерить ту меру, в какой человек покорил природу и случайность. Возможность не есть действитель-

ность, но в каком-то смысле и она является действительностью: то, что человек может или не может что-то сделать, имеет свое значение при оценке того, что реально делается. Возможность означает «свободу». Мера свободы входит в понятие человека. То, что существуют объективные возможности не умереть с голоду, и то, что от голода умирают, имеет, на мой взгляд, свое значение. Но наличие объективных условий, или возможностей, или свободы — этого еще недостаточно: необходимо «познать» их и уметь их использовать. Надо хотеть их использовать. Человек в этом смысле есть конкретная воля, то есть практическое приложение абстрактного хотения или жизненного импульса к конкретным средствам, которые реализуют эту волю. Чтобы создать собственную личность, необходимо: 1) придать определенное и конкретное («рациональное») направление собственному жизненному импульсу или воле; 2) определить средства, которые сделают эту волю конкретной и определенной, а не произвольной; 3) способствовать в пределах собственных сил и в самой плодотворной форме изменению комплекса конкретных условий, реализующих эту волю. Человека следует понимать как исторический блок, сложившийся из элементов чисто индивидуальных и субъективных и элементов массовых и объективных, или материальных, с которыми индивидуум поддерживает активные отношения. Преобразовать внешний мир, общие отношения означает усилить самого себя, развивать самого себя. Представлять себе этическое «совершенствование» как дело чисто индивидуальное — это иллюзия и заблуждение. Синтез элементов, из которых складывается индивидуальность, «индивидуален», но этот синтез не может осуществиться и развиваться дальше без деятельности, направленной изнутри наружу, без деятельности, изменяющей отношения с внешним миром, начиная с отношений с природой и кончая отношениями с другими людьми, находящимися на разных ступенях общественной лестницы, принадлежащими к разным социальным кругам, — вплоть до самых общих отношений, охватывающих весь род человеческий. Можно сказать поэтому, что человек по существу есть «политик», ибо его «человечность», его «человеческая натура» реализуется в деятельности по сознательной переработке и управлению другими людьми.

Индивидуализм

Несколько слов по поводу так называемого «индивидуализма», то есть по поводу взглядов каждого исторического периода на позицию индивидуума в мире и исторической жизни. То, что ныне называется «индивидуализмом», ведет начало от культурной революции, следовавшей за средневековьем (Возрождение и Реформация), и указывает на определенную позицию по отношению к проблеме божественного и, следовательно, церкви: это переход от трансцендентной мысли к мысли имманентной.

Проанализировать предрассудки против индивидуализма, вплоть до повторения более чем критических иеремиад католиков и ретроградов. Антиисторическим стал ныне тот «индивидуализм», который проявляется в индивидуальном присвоении богатства, в то время как производство богатств все более социализируется. Католикам менее всего пристало роптать на индивидуализм; это следует из того, что политически они всегда признавали политической личностью только собственность, то есть человек что-то значил для них не сам по себе, а лишь поскольку он ассоциировался с определенными материальными благами. Что, как не принижение «духа» перед лицом «материи», означает тот факт, что человек мог быть избирателем лишь тогда, когда он имел имущественный ценз, что он входил в столько политико-административных объединений, в скольких владел материальными благами? Если «человеком» считается только тот, кто ими обладает, и если стало невозможным, чтобы обладали все, то почему же было бы антидуховным искать такую форму собственности, в которой материальные силы дополняли бы личность каждого, участвовали бы в создании личности каждого? На самом-то деле молчаливо признается, что человеческая «натура» — не внутри индивидуума, а в единстве человека с материальными силами; поэтому завоевание материальных сил есть способ, и притом самый важный способ, завоевать собственную личность *.

* В самое последнее время была очень расхвалена книга молодого французского католического писателя Даниэля Ропса «Мир без души» (Daniel Rops, *Le monde sans âme*, Paris, Plon, 1932), вышедшая также в итальянском переводе. Следовало бы рассмот-

Анализ понятия „человеческая натура“

Источники чувства «равенства»: религия с ее идеей бога-отца и людей — его детей, которые, следовательно, равны между собой; философии по афоризму: «*Omnis enim philosophia, cum ad communem hominum cogitandi facultatem revocet, per se democratica est; ideoque ab optimatibus non injuria sibi exstimatur pernicioса*»*. Биологическая наука, которая утверждает «естественное», то есть психофизическое равенство всех индивидуальных элементов человеческого «рода»: все рождаются одинаковым образом и т. д. «Человек смертен. Икс есть человек. Икс смертен». Икс уравнивает всех людей. Так возникает эмпирико-научным (эмпирико-научно-фольклористским) образом формула: «При рождении все мы голы».

Следует вспомнить и новеллу из серии новелл Честертон «Простота отца Брауна» о почтальоне и мелком ремесленнике, мастеровившем чудесные машины. Там есть замечание такого рода: «Одна старая дама живет в замке с двадцатью слугами. К ней в гости приходит другая дама, которой она говорит:— Я здесь все время совершенно одна и т. д. Врач сообщает ей, что в округе появилась чума, есть опасность заражения и т. д., и тогда она говорит:— А нас так много здесь!» (Честертон использует этот эпизод лишь для дальнейшего развития сюжета новеллы.)

Философия и демократия

Можно заметить параллель в развитии современной демократии и определенных форм идеализма и метафизического материализма. Французский материализм XVIII века выводил равенство путем сведения человека к категории естественной истории, особи биологического вида, различающейся не по социальным и историческим определениям, а по природным данным и в любом случае в сущности равной среди себе подобных. Концепция эта

реть в этой книге целый ряд понятий, при помощи которых софистически вновь извлекаются на свет, под видом современных, позиции прошлого и т. д.

* Философия, поскольку она исходит из общей всем людям способности мыслить, демократична сама по себе; поэтому власть имущие не без основания считают ее опасной для себя (лат.).— *Прим. перев.*

перешла в житейский смысл; в нем она выражена народным утверждением: «При рождении все мы голы» (даже если это житейское утверждение и не предшествует идеологической дискуссии интеллигентов). Идеализму принадлежит утверждение, что философия — это исключительно демократическая наука, поскольку она опирается на способность размышлять, свойственную всем людям. Этим как раз и объясняется ненависть аристократии к философии и юридические запреты, налагаемые на учение и культуру классами, поддерживающими старый строй.

Количество и качество

Так как количество не может существовать без качества, а качество без количества (экономика без культуры, практическая деятельность без способности ее осмысления, и наоборот), всякое противопоставление этих двух терминов с точки зрения здравого разума есть бессмыслица. В самом деле, когда качество противопоставляется количеству, со всеми неумными вариациями в стиле Гульельмо Ферреро и К°, то в действительности противопоставляется какое-то определенное качество другому качеству, какое-то определенное количество другому количеству, то есть тут мы имеем дело с какой-то определенной политикой, а не с философским утверждением. Если сочетание количество — качество неразъединимо, встает вопрос: к чему полезнее приложить свою силу воли, что следует развивать — количество или качество? Какой из двух аспектов больше поддается контролю? Какой легче измерить? По отношению к какому можно составлять прогнозы и строить рабочие планы? Ответ не представляет сомнений: количественный аспект. Поэтому утверждать, что ты хочешь работать над количеством, развивать «вещественный» аспект действительности, не означает намерения пренебречь «качеством». Наоборот, это означает, что ты хочешь поставить качественную проблему самым конкретным и реалистическим образом, то есть развивать качество тем единственным способом, при котором это развитие возможно контролировать и измерить.

Этот вопрос связан с другим, выраженным в пословице: «Primum vivere, deinde philosophari» *. Действительно, жизнь невозможно оторвать от философии. Однако посло-

* Сначала жить, потом философствовать.— *Прим. перев.*

вица имеет и практический смысл: жить значит заниматься прежде всего практической экономической деятельностью; философствовать — заниматься интеллектуальной деятельностью, *otium litteratum* *. И все же получается, что одни только «живут», что одни вынуждены заниматься трудом, рабским, изнуряющим и т. д., — тем трудом, без которого другие не имели бы возможности избавиться от экономической деятельности для философствования. Выдвигать «качество» в противовес «количеству» означает единственно следующее: поддерживать в неприкосновенности определенные социальные условия жизни, при которых одни представляют чистое количество, другие — качество. А как приятно считать самих себя узаконенными представителями качества, красоты, мысли и т. п.! Нет такой великосветской синьоры, которая не была бы убеждена, что на земле она выполняет функцию сохранения качества и красоты!

Теория и практика

Следует исследовать, проанализировать и подвергнуть критике различные формы, в которых выступало на протяжении истории идей понятие единства теории и практики, ибо не было как будто такого мировоззрения или философии, которые не занимались бы этой проблемой. Утверждение св. Фомы и схоластов: «*Intellectus speculativus extensione fit practicus*» **, гласящее, что теория благодаря простому распространению ее делается практикой, то есть утверждение необходимой связи между строем идей и действий. Афоризм Лейбница, сказанный им о науке и столько раз повторенный итальянскими идеалистами: «*Quo magis speculativa, magis practica*» ***. Фразу Дж. Б. Вико: «*Verum ipsum factum*» ****, столько раз обсужденную и по разному толкуемую (см. книгу Кроче о Вико и другие полемические статьи того же Кроче). Кроче развивает ее в идеалистическом смысле, по которому познание есть действие и познается то, что делается, где «делать» имеет свое особое значение, настолько особое

* Книжной праздностью.— *Прим. перев.*

** Ум созерцательный путем его распространения становится практическим.— *Прим. перев.*

*** Чем более созерцательна, тем более практична.— *Прим. перев.*

**** Истинное есть действительное.— *Прим. перев.*

что вовсе и не означает ничего другого, как «познавать», то есть раскрывается в тавтологии (эту концепцию тем не менее надо поставить в связь с концепцией философии практики).

Поскольку всякое действие есть результат не одной воли, а нескольких и разных, в разной мере интенсивных, сознательных и однородных по отношению ко всему комплексу коллективной воли, ясно, что и теория, соответствующая этому действию и скрыто в нем заключенная, будет комбинацией столь же разрозненных и разнородных убеждений и точек зрения. И все же в этих пределах и условиях теория полностью примыкает к практике. Если проблема отождествления теории и практики и ставится, то в таком смысле: как на основе определенной практики построить теорию, которая, совпадая и отождествляясь с решающими элементами самой практики, ускорила бы происходящий исторический процесс, сделала бы практику более однородной, последовательной, действенной во всех ее элементах, то есть максимально усилила бы ее. Или же, если уже имеется какая-то теоретическая позиция, — как организовать практический элемент, необходимый для приведения ее в действие. Отождествление теории и практики является критическим актом, в котором доказывается рациональность и необходимость практики или реалистичность и рациональность теории. Вот почему проблема тождества теории и практики встает в особенности в определенные исторические, так называемые переходные периоды, то есть в периоды, когда преобразующее движение становится наиболее быстрым, когда развязанные практические силы действительно требуют оправдания своих проявлений, чтобы стать еще более действенными и экспансивными, или же когда множатся теоретические программы, также нуждающиеся в реалистическом оправдании, поскольку выясняется, что они могут быть приняты практическими движениями, для которых это единственный путь стать еще более практическими и реальными.

Базис и надстройка

Содержащаяся в предисловии к «Критике политической экономии» фраза о том, что конфликты, имеющие место внутри базиса, люди осознают в идеологических

формах, должна рассматриваться как утверждение, обладающее не только морально-психологическим, но также и гносеологическим значением. Из этого следует, что и теоретико-практический принцип гегемонии тоже обладает гносеологическим значением, и поэтому величайший теоретический вклад Ильича в философию практики следует искать именно в этой области. Ильич на деле двинул вперед философию как таковую тем, что он двинул вперед политическую теорию и практику. Поскольку строительство аппарата гегемонии образует новые идеологические формы, поскольку оно обуславливает реформу сознания и методов познания, постольку оно является актом познания, философским актом. Или, говоря крочеанским языком: когда удастся внедрить новую мораль, соответствующую новому мировоззрению, это приводит к тому, что внедряется также и это мировоззрение; другими словами, внедрение новой морали влечет за собой целую философскую реформу.

Базис и надстройки образуют «исторический блок». Другими словами, сложный, противоречивый, неоднородный комплекс надстроек есть отражение совокупности общественных производственных отношений. Отсюда вытекает следующий вывод: только всеобъемлющая система идеологий рационально отражает противоречие базиса и наличие объективных условий для ниспровержения практики.

Если образуется социальная группа, однородная в идеологическом отношении на 100 процентов, это означает, что существует 100 процентов предпосылок для этого ниспровержения, что «рациональное» стало подлинно действенным и актуальным. Это рассуждение опирается на необходимую взаимосвязь базиса и надстроек (взаимосвязь, которая как раз и есть реальный диалектический процесс).

Термин „катарсис“⁹

Термин «катарсис» может быть употреблен для обозначения перехода от чисто экономического (или чувственно-эгоистического) момента к моменту этико-политическому, то есть к высшему преобразованию базиса в надстройку в сознании людей. Это означает также переход от «объективного к субъективному» и «от необходимости к свободе». Базис из внешней силы, которая давит чело-

века, поглощает его, приводит к пассивности, превращается в орудие свободы, в средство создания новой этической политической формы, в источник новой инициативы. Установление момента «катарсиса» становится, таким образом, на мой взгляд, отправным пунктом всей философии практики; катартический процесс совпадает с цепью синтезов, завершающих каждый этап диалектического развития *.

Кантовский „ноумен“

Вопрос об «объективности внешнего мира», поскольку он связан с понятием «вещи в себе» и кантовским «ноуменом». Трудно отрицать, по-моему, что «вещь в себе» обязана своим происхождением «объективности внешнего мира» и так называемому греко-христианскому реализму (Аристотель — св. Фома). Это видно и из того, что определенная тенденция вульгарного материализма и позитивизма породила неокантианскую и неокритическую школы.

Если действительность такова, какой мы ее познаем, а наше познание непрерывно меняется, если, иными словами, ни одна философия не окончательна, но всегда является исторически обусловленной, то трудно вообразить, что объективная действительность изменяется по мере того, как изменяемся мы сами; это трудно допустить не только с точки зрения житейского смысла, но и с точки зрения научной мысли. В «Святом семействе» говорится, что действительность вся исчерпывается в явлениях и что по ту сторону явлений ничего нет. Так оно, конечно, и есть. Однако доказать это не так-то легко. Что представляют собой явления? Представляют ли они нечто объективное, что существует в себе и для себя, или же это качества, которые человек выделил в результате борьбы за свои практические (строительство собственной экономической жизни) и научные интересы, то есть в результате необходимости найти в мире некий

* Следует всегда помнить о двух точках, между которыми колеблется этот процесс: 1) ни одна общественная формация не ставит себе задач, для решения которых не существовали бы уже или не находились бы в процессе становления необходимые и достаточные условия, и 2) ни одна общественная формация не погибает, не выразив прежде всего своего потенциального содержания.

порядок, описать и классифицировать вещи вокруг нас (эта необходимость также связана, косвенно, с практическими интересами, с интересами будущего)? Высказав утверждение, что то, что мы познаем в вещах, есть не что иное, как мы сами, наши нужды и наши интересы, что наши познания, иначе говоря, есть надстройки (или философии, не претендующие на окончательность, завершенность), трудно отказаться от мысли, что что-то реальное все же существует по ту сторону нашего познания, существует не в виде метафизического «ноумена» или «неведомого бога» или «непознаваемого», а в смысле конкретной, «относительно неведомой» действительности, чего-то, что еще «не познано», но что сможет быть познано в один прекрасный день, когда «физические» и «умственные» инструменты людей станут более совершенными, то есть когда изменятся в прогрессивном направлении социальные и технические условия человечества. Мы прибегаем в этом случае к историческому предвидению, которое состоит в простом мыслительном акте, проектирующем в будущее процесс развития таким, каким он выявлен нами с древнейших времен и до наших дней. В любом случае необходимо изучать Канта и тщательно пересмотреть выдвинутые им положения.

История и антиистория

Следует заметить, что нынешняя дискуссия между «историей и антиисторией» есть не что иное, как повторение, в понятиях и терминах современной философской культуры, спора, развернувшегося в конце прошлого века в понятиях и терминах натурализма и позитивизма, о том, развиваются ли природа и история «скачками» или же только эволюционируют постепенно и прогрессивно. Следы этой же самой дискуссии мы находим и у предшествующих поколений, как в области естественных наук (доктрины Кювье), так и в области философии (где эта дискуссия проявляется, например, в трудах Гегеля). Следовало бы написать историю этой проблемы во всех ее конкретных и характерных проявлениях; мы обнаружили бы тогда, что во все времена она оставалась актуальной, потому что всегда были консерваторы и якобинцы, прогрессисты и ретрограды. Но «теоретическое» значение этой дискуссии, по-моему, состоит

в следующем: она указывает на точку, в которой происходит «логический» переход от любого мировоззрения к морали, соответствующей этому мировоззрению, от любого «созерцания» к «действию», от любой философии к политическому действию, обусловленному этой философией. Иными словами, это именно та точка, в которой мировоззрение, созерцание, философия становятся «реальными», так как ставят своей задачей изменить мир, ниспровергнуть практику. Можно сказать поэтому, что здесь и находится центральный узел философии практики, здесь она актуализируется и начинает жить исторически, то есть социально, а уже не только в мозгу отдельных индивидов; перестает быть «произвольной» и становится необходимо-рационально-реальной.

Проблему следует рассматривать именно исторически и никак иначе. И то, что столько ницшеанцев, нацепивших маски титанов, подняли словесный бунт против всего существующего, против всех условностей и т. п., а кончили тем, что вызвали всеобщее отвращение и ряд серьезных позиций превратили в несерьезные,— все это так; но в своих собственных суждениях не следует идти за кривляками. Выступая против манерной игры в титанов, игры в безвольные желания и абстракции, нужно напомнить о необходимости быть «скупыми» на слова и на позы именно для того, чтобы была сила в характере и в конкретной воле. Но это уже не «теоретический» вопрос, а вопрос стиля.

Классическую форму таких переходов от мировоззрения к практической норме поведения можно наблюдать, по-моему, на примере того, как из кальвинистского предопределения рождается один из сильнейших на протяжении мировой истории импульсов практической инициативы. Точно так же и всякая другая форма детерминизма в определенный момент развивалась в дух инициативы и в крайнее напряжение коллективной воли.

Из рецензии Марио Миссироли¹⁰ (опубликованной в «И. Ч. С.» [«I. C. S.»]* в январе 1929 года) на книгу Тильгера¹¹ «Очерки этики и философии права (*Saggi di Etica e di Filosofia del Diritto*», Torino, Bocca, 1928, pp. XV—218)

* «Italia che scrive», литературно-библиографический журнал, издававшийся в Вероне.— *Прим. перев.*

явствует, что основной тезис брошюрки «История и антиистория» (*Storia e Antistoria*) имеет большое значение в философской системе (!) Тильгера.

Миссироли пишет: «Вполне справедливо говорится, что итальянский идеализм, идущий от Кроче и Джентиле, выливается в чистый феноменализм. В нем не остается места для личности. Против этой тенденции горячо выступает Адриано Тильгер в настоящем томе. Восходя к традиции классической философии, в особенности к Фихте, Тильгер с силой подтверждает учение о свободе и «долге». Там, где нет свободы выбора, есть «природа». Невозможно скрыться от фатализма. Жизнь и история теряет смысл, а вечные вопросы совести остаются без ответа. Не опираясь на нечто находящееся по ту сторону эмпирической действительности, нельзя говорить о морали, о добре и зле. Все это давно известно. Оригинальность Тильгера состоит в том, что он первым распространил это требование на логику. Логике понятие «долга» необходимо не меньше, чем морали. Отсюда неразрывность логики и морали, которые авторы старых трактатов любили рассматривать отдельно. Из того, что свобода берется как необходимая предпосылка, вытекает теория свободного произвола как абсолютной свободы выбора между добром и злом. Так, наказание (страницы, посвященные уголовному праву, отличаются особой проницательностью) находит свое основание не только в ответственности (классическая школа), но и в том единственном и простом факте, что индивид может совершать зло, познав его как таковое. Причинность может заменить ответственность. Детерминизм совершающего преступления эквивалентен детерминизму наказующего. Все это так. Но этот энергичный призыв к «долгу», к антиистории, которая творит историю,— не восстанавливает ли он логически дуализм и трансцендентность? Кто рассматривает трансцендентность как один из «моментов», неизбежно впадает в имманентность. Здесь явное расхождение с Платоном».

Спекулятивная философия

Не нужно скрывать от самих себя трудности, которые представляют обсуждение и критика «спекулятивного» характера некоторых философских систем, а так-

же теоретическое «отрицание» «спекулятивной формы» философских концепций.

Вопросы, которые при этом возникают: 1) Всякой ли философии свойствен «спекулятивный» элемент, является ли он той формой, которую должно принять любое теоретическое построение как таковое, иначе говоря, является ли «спекуляция» синонимом философии и теории? 2) Или же следует поставить вопрос «исторически»: является ли данная проблема проблемой исключительно исторической, а не теоретической, в том смысле, что всякое мировоззрение в какой-то определенной своей исторической фазе приобретает «спекулятивную» форму, которая знаменует его апогей и начало разложения? Можно было бы провести аналогию и выявить связь с развитием государства, которое от «экономико-корпоративной» фазы переходит к фазе «гегемонии» (при активном согласии). Можно сказать иными словами, что каждая культура проходит через свой спекулятивный и религиозный момент, который совпадает с периодом полной гегемонии социальной группы, выражающей данную культуру, и, может быть, даже с тем именно периодом, когда реальная гегемония разлагается в основе, полностью, тогда как система идей именно поэтому (именно для противодействия этому разложению) совершенствуется догматическим путем, становится трансцендентной «верой».

Вот почему было замечено, что каждая так называемая эпоха упадка (когда происходит разложение старого мира) характеризуется утонченной и высоко «спекулятивной» мыслью.

Однако критика должна выразить эти спекулятивные суждения в собственных реальных формах политической идеологии — орудия практического действия. Но и сама критика будет иметь свою спекулятивную фазу, которая ознаменует ее апогей. Весь вопрос в следующем: не будет ли этот апогей преддверием исторической фазы нового типа, в которой, в органическом взаимопроникновении свободы и необходимости, исчезнут социальные противоречия и единственной диалектикой станет диалектика идеальная, диалектика понятий, а не исторических сил?

В отрывке о «французском материализме XVIII века» («Святое семейство») достаточно хорошо и четко указы-

вается генезис философии практики: она является «материализмом», достигшим благодаря работе самой спекулятивной философии своего завершения и совпадающим с гуманизмом. Правда, от старого материализма в процессе этого завершения не остается ничего, кроме философского реализма.

Другой момент, над которым следовало бы поразмыслить,— это не является ли концепция «духа» спекулятивной философии старым понятием «человеческой натуры», переодетым по современной моде,— понятием, свойственным как трансцендентной философии, так и вульгарному материализму, то есть не является ли концепция «духа» не чем иным, как спекулятивизацией старого «Святого духа». В этом случае можно утверждать, что внутренне идеализм теологичен.

Не ввела ли «спекуляция» (в идеалистическом смысле) трансцендентализм нового типа в философскую реформу, охарактеризовавшуюся имманентными концепциями? Пожалуй, только философия практики является последовательно «имманентной» концепцией. Особое внимание следует уделить критическому пересмотру исторических теорий спекулятивного характера. С этой точки зрения можно написать нового «Анти-Дюринга», который мог бы называться «Анти-Кроче». В нем следовало бы сжато изложить полемику не только против спекулятивной философии, но также и против позитивизма, механицизма и искаженных форм философии практики.

„Объективность“ познания

Для католиков «...вся идеалистическая теория поконит-ся на отрицании объективности любого нашего познания и на идеалистическом монизме «духа» (равноценного, поскольку он является монизмом, позитивистскому монизму «материи»), согласно которому самая основа религии, бог, не существует объективно вне нас, а представляет собой создание нашего интеллекта. Поэтому идеализм, не в меньшей мере, чем материализм, в корне противоположен религии» *.

* См. статью отца Марио Барбера в «Чивильта каттолика» от 1 июня 1929 года.

Вопрос об «объективности» познания в философии практики можно разработать, исходя из фразы (в предисловии к «Критике политической экономии») о том, что люди осознают конфликт между материальными производительными силами в идеологических формах: в формах юридических, политических, религиозных, художественных, философских. Но ограничивается ли это сознание конфликтом между материальными производительными силами и производственными отношениями — в соответствии с буквой цитируемого текста — или же оно относится ко всякому сознательному познанию? Именно этот момент следует разработать, а разработать его возможно лишь со всем философским учением о значении надстроек. Какой же смысл будет выражать в этом случае термин «монизм»? Конечно, не материалистический и не идеалистический. Этот термин будет обозначать тождество противоположностей в конкретном историческом акте, то есть человеческую деятельность (история — дух) в ее конкретности, неразрывно связанную с некой организованной (историзированной) «материей», с природой, преобразованной человеком. Философия действия (практики, развития), но не «чистого» действия, а именно действия «нечистого», реального, в самом грубом и мирском смысле слова.

Прагматизм и политика

По-моему, нельзя критиковать «прагматизм» (Джеймса¹² и др.), не учитывая исторической обстановки в англосаксонских странах, где он зародился и получил значительное распространение. Если верно, что всякая философия есть политика, а каждый философ — это в сущности политический деятель, то в еще большей мере это можно сказать про прагматиста, который строит свою философию в самом прямом смысле «утилитарно». И если это немыслимо (как движение) в католических странах, где религия и культурная жизнь разделены глубокой пропастью со времен Возрождения и Контрреформации, то зато это вполне мыслимо в англосаксонских странах, где религия тесно смыкается с повседневной культурной жизнью и при этом не является бюрократически централизованной и интеллектуально догматизированной. Во всяком случае, прагматизм выходит за

пределы религиозно-позитивной сферы, он стремится создать светскую мораль (не французского типа), стремится создать «народную философию» ступенью выше житейского смысла; прагматизм — это скорее непосредственно «идеологическая партия», чем философская система.

Если взять принцип прагматиста так, как он изложен Джеймсом: «Лучший метод обсудить различные положения какой-нибудь теории — это начать с установления практической разницы между тем случаем, когда из двух альтернатив оказалась бы истинной одна, и тем, когда истинной была бы другая» * — видно, сколь непосредственно связана философия прагматиста с ее политической основой. «Индивидуальный» философ итальянского или немецкого типа связан с «практикой» опосредствованно (причем часто посредством цепи из многих звеньев), прагматист же хочет установить с ней прямую и непосредственную связь; на деле же получается так, что философ итальянского или немецкого типа более «практичен», чем прагматист, который исходит в своих суждениях из непосредственной действительности, часто вульгарной, в то время как первый имеет перед собой более высокую цель, выбирает самую высокую из мишеней и, следовательно, стремится повысить существующий культурный уровень (все сказанное, разумеется, верно лишь тогда, когда он действительно стремится к этому). Гегеля можно рассматривать как теоретического предвестника либеральных революций XIX века. Прагматисты способствовали самое большее возникновению движения «клуба деловых людей»¹³ или оправданию всех консервативных и реакционных движений (причем оправданию их на деле, а не только в результате искажения истины, допущенного в полемике, как это было у Гегеля по отношению к прусскому государству).

Этика

Максима И. Канта: «Поступай так, чтобы твоё поведение могло стать нормой для всех людей в подобных

* У. Джеймс, Различные формы религиозного опыта. Исследование о человеческой натуре (W. James, *Le varie forme della esperienza religiosa* — Studio sulla natura umana, trad. di G. C. Ferrari e M. Calderoni, ed. Bocca, 1904, p. 382).

же условиях» — не так проста и очевидна, как это может показаться на первый взгляд. Что понимается под «подобными условиями»? Непосредственно условия, в которых действует человек, или же общие условия, сложные и органические, познание которых требует длительного и критически разработанного исследования? (По существу это основа сократовой этики, в которой «моральная» воля опирается на интеллект, на знание, а дурные действия объясняются невежеством и т. д. и в которой исследование критического познания составляет базу для более высокой морали или морали в абсолютном смысле.)

Кантовскую максиму можно рассматривать как трюизм, ибо трудно найти человека, который действовал бы, не будучи убежден, что всякий в этих условиях будет действовать так же, как он. Кто идет на кражу из-за голода, считает, что всякий, кто испытывает голод, украдет. Кто убивает неверную жену, считает, что все обманутые мужья должны убивать и т. д. Только «безумцы» в клиническом смысле действуют, не считая себя правыми. Вопрос этот связан с другими: 1) каждый снисходителен с самим собой, потому что, когда человек действует, не «сообразуясь» с общепринятой моралью, он знает весь механизм собственных ощущений и суждений, всю цепь причин и следствий, которая привела его к действию, и в то же время по отношению к другим людям он ригорист, так как не знает их внутренней жизни; 2) всякий действует в соответствии со всеми особенностями своей культуры, то есть в соответствии со своеобразной культурой своей среды, а его среда — это «все люди», все те, кто мыслит так же, как он: максима Канта предполагает одну единую культуру, одну единую религию, «мировой» конформизм¹⁴.

В то же время мне кажется неточным возражение, по которому «подобных условий» не существует потому, что в числе условий подразумевается и сам действующий, его индивидуальность и т. д. Можно сказать, что максима Канта определяется эпохой, космополитическим просветительством и критической концепцией автора, то есть что она связана с философией интеллигенции как космополитической прослойки. Поэтому сам действующий и есть носитель «подобных условий», иначе говоря, создатель их. Значит, он «должен» действовать в соот-

ветствии с тем «образцом», который он хотел бы видеть образцом для всех людей, в соответствии с тем типом цивилизации, для прихода которой он трудится или для сохранения которой «сопротивляется» разлагающим ее силам.

Скептицизм

Возражение, которое может быть выдвинуто против скептицизма с позиций житейского смысла, заключается в следующем: если скептик хочет быть последовательным, ему не остается ничего другого, как вести растительный образ жизни, не вмешиваясь ни в какие дела общественной жизни. Если скептик вступает в спор, это значит, что он верит в возможность убедить другого, то есть не является больше скептиком, а представляет определенное позитивное мнение, которое обычно бывает плохим и восторжествовать может, лишь убедив общество, что остальные мнения еще хуже, поскольку они бесполезны. Скептицизм связан с вульгарным материализмом и позитивизмом: интересен тот отрывок Роберто Ардиго, где говорится, что следует хвалить Бергсона за его волюнтаризм. Что это означает? Разве это не признание бессилия собственной философии объяснить мир, если приходится прибегать к противоположной философской системе для того, чтобы найти необходимый для практической жизни элемент? Эти мысли Ардиго (см. том «Разные произведения», собранные и отредактированные Дж. Маркезини [*«Scritti vari» raccolti e ordinati da G. Marchesini; Firenze, Le Monnier, 1922*]) нужно поставить в связь с тезисами Маркса о Фейербахе; это сравнение показывает, как высоко поднялся Маркс над философской позицией вульгарного материализма.

Понятие „идеологии“

«Идеология» была одним из аспектов «сенсуализма» или, что то же, французского материализма XVIII века. Ее первоначальное значение было «наука идей», а так как анализ был единственным признанным и применяемым наукой методом, то она означала «анализ идей», то есть «исследование происхождения идей». Идеи раскла-

дывали на их конечные «элементы», и эти последние не могли быть не чем иным, как «ощущениями»: идеи происходят от ощущений. Но сенсуализм мог без особого труда соединяться с религией и даже с крайностями веры в «могущество Святого духа» и «бессмертие его судьбы». Так произошло и с Мандзони, который даже после своего обращения в католическую веру (или возврата к католицизму), даже когда он писал «Священные гимны», оставался принципиальным приверженцем сенсуализма до тех пор, пока не познакомился с философией Розмини *.

То, как содержание термина «идеология» изменилось и вместе «науки об идеях», «анализа происхождения идей» под ним стали подразумевать определенную «систему идей», следует рассмотреть исторически, ибо логически этот процесс легко понять и объяснить.

Можно утверждать, что Фрёйд был последним из идеологов и что «идеологом» был также Де Ман; «энтузиазм» Кроче и крочеанцев в отношении Де Мана мог бы показаться тем более странным, если бы у этого энтузиазма не было «практического» оправдания. Следует проследить, как автор «Популярного очерка» ** запутался в «идеологии», в то время как философия практики отчетливо преодолевает «идеологию» и исторически противостоит именно «идеологии». Само значение, которое термин «идеология» приобрел в философии практики,

* Самым влиятельным литературным пропагандистом «идеологии» был Дестют де Траси (1754—1836) благодаря доходчивости и популярности языка его работ; другим — д-р Кабанис с его «Соотношением физического и духовного в человеке» («Rapport du Physique et du Moral de l'homme») (Кондильяк, Гельвеций и др. были философами в более узком смысле). Следует отметить и связь «идеологии с католицизмом» Мандзони, Кабаниса, Бурже, Тэна (Тэн является родоначальником по отношению к Моррасу и другим авторам католического направления), с «психологическим романом» (Стендаль был учеником Де Траси и т. д.). Главным произведением Дестюта де Траси является его книга «Элементы идеологии» («Eléments d'idéologie», Paris, 1817—1818), которая в более полном виде вышла в итальянском переводе («Elementi di Ideologia del conte Destutt de Tracy», tradotti da G. Compagnoni; Milano, Stamperia di Giambattista Sonzogno, 1819); во французском тексте отсутствует целый раздел — вероятно, раздел о любви; Стендаль впервые ознакомился с этим разделом по итальянскому переводу книги, которым он и пользовался для своих сочинений.

** Н. Бухарин, Теория исторического материализма, Популярный учебник марксистской социологии. — *Прим. ит. ред.*

подразумевает мысль об уменьшении значения идеологии. Оно исключает самую мысль, что основоположники философии практики могли искать происхождение идей в ощущениях и, следовательно, в последнем счете, в физиологии: по философии практики эта самая «идеология» должна рассматриваться исторически как надстройка.

Один из элементов ошибки, совершающейся при анализе значения идеологий, объясняется, по-моему, тем фактом (факт этот, впрочем, не случаен), что идеологией называют как необходимую надстройку определенного базиса, так и произвольные построения, плод научного корпения определенных индивидов. Искаженный смысл слова лег в основу его расширительного значения, и это изменило и извратило теоретический анализ понятия идеологии. Процесс этого заблуждения можно легко восстановить: 1) устанавливается отличие идеологии от базиса и делается утверждение, что не идеологии изменяют базис, а наоборот; 2) делается утверждение, что определенное политическое решение (предполагающее возможность изменить базис) является «идеологическим», иначе говоря, недостаточным для изменения базиса; делается утверждение, что это решение бесполезно, глупо и т. д.; 3) совершается переход к утверждению, что всякая идеология есть лишь «чистая» видимость, бесполезная, глупая и т. д.

Необходимо, следовательно, различать исторически органичные идеологии, то есть необходимые определенному базису, и идеологии произвольные, рационалистические, «придуманные». Будучи исторически необходимыми, они крепки «психологически», они «организуют» людские массы, служат той почвой, на которой люди движутся, осознают свои собственные позиции, борются и т. д. Будучи «произвольными», они только и создают, что индивидуальные «движения», полемику и т. д. (но даже и эти идеологии не являются совершенно бесполезными, потому что они как бы представляют то заблуждение, которое, будучи противопоставлено истине, утверждает ее).

Следует вспомнить частые утверждения Маркса о «прочности народных суеверий» как необходимом элементе определенной ситуации. Он говорит примерно следующее: «когда этот образ мыслей приобретет проч-

ность народных суеверий» и т. д. Другое утверждение Маркса о том, что народные убеждения часто обладают энергией материальных сил, или что-то вроде этого, очень знаменательно. Думаю, что анализ этих утверждений приведет к укреплению концепции «исторического блока», где материальные силы образуют как раз содержание, а идеологии — форму; разграничение формы и содержания имеет лишь дидактическое значение, потому что материальные силы исторически оказались бы непостижимы вне формы, а идеологии без материальных сил представляли бы плод индивидуальной фантазии.

II. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИЗУЧЕНИЮ ФИЛОСОФИИ ПРАКТИКИ

Постановка проблемы

Создание новых *Weltanschauungen* *, питающих и оплодотворяющих культуру определенной исторической эпохи, и творчество, философски направленное уже существовавшими первоначально *Weltanschauungen*. Маркс — творец *Weltanschauung*; а какова в данном случае роль Ильича? Является ли она чисто зависимой и подчиненной? Объяснение заключается в самом марксизме — науке и действии.

Переход от утопии к науке и от науки к действию. Создание руководящего класса (то есть государства) равноценно созданию *Weltanschauung*. Как следует понимать выражение о том, что немецкий пролетариат есть наследник немецкой классической философии? Не хотел ли этим Маркс указать на историческую миссию своей философии, сделавшейся теорией класса, который станет руководящим классом в государстве? Для Ильича это реально произошло на определенной территории. В другом месте я уже указывал на философское значение понятия и самого факта гегемонии, разработанной и осуществленной Ильичом. Осуществленная гегемония означает реальную критику философии, ее реальную диалектику. Сравнить с тем, что пишет Грациаден ** во введении к «Цене и сверхцене» («*Prezzo e sorgrapprezzo*»); он рассматривает Маркса как синтез нескольких великих ученых. Грубейшая ошибка: никто из

* *Weltanschauung* (нем.) — мировоззрение.— *Прим. перев.*

** Грациаден отстал по сравнению с монсиньором Ольджати, который в своем томике о Марксе не находит для него иного сравнения, как с Христом. Для прелата это действительно крайняя уступка, ибо он верит в божественную природу Христа.

других ученых не породил оригинального и цельного мировоззрения. Маркс является интеллектуальным родоначальником исторической эпохи, которая, вероятно, продлится века, то есть до тех пор, пока не исчезнет политическое общество и установится общество упорядоченное. Только тогда его мировоззрение будет превзойдено (концепция необходимости, превзойденная концепцией свободы). Проводить параллель между Марксом и Ильичом с целью расставить их по ступенькам какой-то иерархической лестницы — это нелепость и пустая трата времени: они выражают две фазы: наука и действие, которые являются однородными и разнородными в одно и то же время.

Так исторически было бы нелепо проводить параллель между Христом и св. Павлом: Христос — *Weltanschauung*, св. Павел — организатор, действие, распространение *Weltanschauung*. Оба они необходимы истории в равной мере, и вместе с тем фигуры их одинакового роста. Исторически христианство могло бы называться христианством-паолинизмом (от Паоло, соответствующего русскому Павел. — *Прим. перев.*); такое выражение было бы более точным (лишь вера в божественность Христа помешала тому, чтобы сложилось название в таком роде; но ведь и сама эта вера представляет лишь исторический, а не теоретический элемент).

Вопросы метода

Если мы хотим изучить, как возникло мировоззрение, которое никогда не было систематически изложено его основателем (и последовательность которого по существу следует искать не в каждой отдельной статье или серии статей, а во всем развитии интеллектуального труда, несущего в себе элементы этого мировоззрения), необходимо проделать предварительно работу филологического характера, проделать с максимумом тщательности, точности и скрупулезности, научной честности и интеллектуальной добросовестности, без какой бы то ни было предвзятости и априоризма или партийного пристрастия. Нужно прежде всего воссоздать процесс интеллектуального развития данного мыслителя, чтобы установить, какие элементы в его мышлении стали устойчивыми и «постоянными», то есть претворились в его собственную мысль, иную и

более высокую, чем предварительно изученный им «материал», выполнивший свою роль стимула. Только эти элементы представляют существенные моменты процесса развития. Такой отбор можно произвести по периодам большей или меньшей продолжительности, отталкиваясь от того, что составляет сущность каждого из этих периодов, а не от внешних сведений о них (которые также могут быть использованы); он приводит к «отсеиванию» ряда частичных учений и теорий, таких, иначе говоря, к которым данный мыслитель мог в определенные моменты питать симпатию, вплоть до временного признания их и использования для своей критической работы, для своего исторического или научного творчества.

Общим выводом, сделанным на основе личного опыта, наблюдений всех ученых является то, что всякая новая теория, изучаемая в течение какого-то времени с «героическим рвением» (то есть когда она изучается не из чисто поверхностного любопытства, а из-за глубокого интереса к ней), в течение определенного времени, особенно в молодости, обладает собственной притягательной силой, овладевает всей личностью изучающего, и предел ей кладет лишь новая, изученная позже теория. Эта новая теория ограничивает старую до тех пор, пока между ними не установится критическое равновесие, после чего теория будет изучаться глубоко, но уже без импульсивного воздействия обаяния изучаемой системы или ее автора. Эти наблюдения имеют тем большее значение, чем более отличается данного мыслителя бурный, полемический характер и отсутствие систематичности, или в том случае, когда речь идет о личности, в которой теоретическая и практическая деятельность неразрывно переплелись, о непрерывно творящем уме, находящемся в постоянном движении и чувствующем мощную потребность в самой беспощадной и последовательной самокритике.

Исходя из этих предпосылок, наша работа должна иметь следующие направления: 1) воссоздание биографии не только в части, относящейся к практической деятельности, но, и в особенности, в области интеллектуальной деятельности; 2) составление хронологического списка всех, даже самых незначительных произведений, подразделенного на периоды в соответствии с переменами, совершавшимися в самой личности автора: его интеллект-

туальным формированием, зрелостью, моментом овладения и применения нового образа мыслей и познания мира и жизни. Исследование лейтмотива и ритма развития мысли важнее отдельных случайных утверждений и разрозненных афоризмов.

Эта предварительная работа делает возможным любое дальнейшее исследование. Кроме того, среди произведений данного мыслителя нужно отличать те, которые он довел до конца и опубликовал, от тех, которые остались неизданными (из-за незавершенности) и были опубликованы кем-нибудь из друзей или учеников, причем не без ревизии, переделок, купюр и т. п., иначе говоря, не без активного вмешательства издателя. Очевидно, что к содержанию этих посмертных произведений нужно подходить с большим вниманием и осторожностью, так как оно может рассматриваться не как окончательное, а только как еще разрабатываемый, временный материал. Не исключено, что эти произведения, в особенности подготавливавшиеся в течение длительного времени, которые автор никак не решался завершить, были им самим отвергнуты частично или в целом и не удовлетворяли его.

Что касается данного, конкретного случая с основателем философии практики, то его литературное творчество может быть подразделено на следующие части: 1) труды, опубликованные под непосредственной ответственностью автора: среди таких трудов необходимо рассматривать не только произведения, материально переданные им для напечатания, но и вообще произведения, «опубликованные» автором или пущенные им в обращение любым способом: в форме писем, циркуляров и т. п. (типичным примером могут служить «Заметки на полях Готской программы» и письма); 2) посмертно изданные произведения, за печатание которых прямую ответственность несет не автор, а другие. Было бы хорошо иметь их точнейшим образом сверенный текст (и сейчас это уже делается) или по крайней мере тщательное описание оригинального текста, выполненное с научным критерием.

Обе части следовало бы восстановить по критико-хронологическим периодам, чтобы можно было провести реально полезные, а не только механические и произвольные сравнения.

Следовало бы тщательно изучить и проанализировать работу, которую автор проделал, перерабатывая материалы для своих произведений, опубликованных впоследствии им самим. Такое исследование дало бы по крайней мере некоторые критерии и указания, чтобы критически оценить, насколько достоверна произведенная другими редакция посмертных произведений этого автора. Чем больше подготовительный материал отдалается от окончательного текста произведений, изданных и отредактированных самим автором, тем менее достоверна редакция, проделанная другим литератором над материалом того же типа. Ни одно произведение никогда не может быть отождествлено с черновым материалом, собранным для его составления. Окончательный отбор, расположение составных частей, больший или меньший вес, придаваемый тому или иному элементу, собранному в подготовительный период,— вот это все как раз и составляет реальное произведение.

Переписку также следует изучать с некоторой осторожностью: то или иное решительное утверждение, допущенное в письме, может быть, не было бы повторено в книге. Стилистическая живость письма, зачастую художественно более убедительная, чем взвешенный и размеренный стиль книги, приводит иногда к пробелам в аргументации; в письмах, как и в речах, как и в беседах, чаще обнаруживаются логические ошибки; большая скорость мысли часто достигается за счет ее глубины и обоснованности.

При изучении оригинальной и новаторской мысли только во вторую очередь мы интересуемся вкладом, сделанным другими лицами в процессе ее документальной регистрации. Так, по крайней мере в принципе, как метод, должен ставиться вопрос об отношениях однородности, об отсутствии различий во взглядах между двумя основателями философии практики. Утверждение одного и другого о взаимном согласии действительно лишь в рамках данного аргумента. Даже то, что один написал несколько глав для книги другого, не является неоспоримым основанием, чтобы считать всю книгу результатом абсолютного согласия. Не следует недооценивать вклад второго, но не следует также отождествлять второго с первым, как не следует думать, что все то, что второй приписывал первому, было абсолютно подлин-

ным и не содержало никаких примесей. Конечно, второй дал единственный в истории литературы пример бескорыстия и отсутствия личного честолюбия, но об этом и речи нет; ни об этом и ни о том, чтобы поставить под сомнение абсолютную научную честность второго. Речь идет о том, что второй — это не первый и что если мы хотим познать первого, то его нужно искать в особенности в его подлинных произведениях, опубликованных под его прямой ответственностью. Из этих замечаний вытекают некоторые методические соображения и указания для побочных исследований. Каково, например, значение книги Родольфо Мондольфо «Исторический материализм Фридриха Энгельса» [*«Materialismo storico di Friedrich Engels»*], изданной Формиджини в 1912 году? Сорель (в одном из писем к Кроче) ставит под сомнение возможность изучения подобной темы, выражая таким образом свое мнение об ограниченности способностей Энгельса к оригинальному мышлению, и неоднократно повторяет, что не следует смешивать двух основателей философии практики. Оставляя в стороне вопрос, поставленный Сорелем, по-моему, уже в силу самого того факта, что высказывается предположение об ограниченности теоретических способностей второго из двух друзей (или по крайней мере о его подчиненной позиции по отношению к первому), необходимо выяснить, кому же принадлежит оригинальная мысль в данном вопросе и т. д. Действительно, до сих пор в мире культуры никто (за исключением книги Мондольфо) не проделывал систематически исследования подобного рода. Более того, произведения второго (некоторые из которых отличаются относительной систематичностью) ныне выдвинулись на первый план и воспринимаются как подлинный первоисточник, более того, как единственный подлинный первоисточник. Поэтому книга Мондольфо мне представляется очень полезной, по крайней мере из-за направления, которое она намечает.

Философия практики и современная культура

Философия практики была одним из моментов современной культуры; в известной мере она обусловила или оплодотворила некоторые философские течения. Изучение этого факта, очень существенного и значи-

тёльного, игнорировалось так называемыми ортодоксами или было попросту неведомо, и вот почему. Так называемым ортодоксам, связанным в основном с особым течением в культуре последней четверти прошлого века (позитивизмом и сциентизмом¹⁵), утверждение, что имело место самое существенное сочетание философии практики и различных идеалистических тенденций, казалось бессмыслицей, если не просто шарлатанством (правда, в очерке Плеханова «Основные вопросы марксизма» есть несколько указаний на этот факт, но лишь самых беглых и без какой-либо попытки критического объяснения). Поэтому представляется необходимым произвести переоценку постановки проблемы так, как это попробовал сделать Антонио Лабриола.

Произошло следующее: философия практики в действительности претерпела двойную ревизию, то есть оказалась компонентом двоякого философского сочетания. С одной стороны, некоторые ее элементы, в выраженном или скрытом виде, вошли как составные части в некоторые идеалистические течения (достаточно назвать философские концепции Кроче, Джентиле¹⁶, Сореля, того же Бергсона, прагматизм). С другой стороны, так называемые ортодоксы, озабоченные тем, чтобы найти философию, которая была бы, в соответствии с их очень ограниченной точкой зрения, чем-то большим, нежели «простое» толкование истории, в основном отождествили ее с традиционным материализмом. Другое течение вернулось к кантианству (в качестве примера можно привести, кроме венского профессора Макса Адлера, двух итальянских профессоров — Альфредо Поджи и Адельки Баратоно). Можно отметить, что вообще течения, которые пробовали сочетать философию практики с идеалистическими тенденциями, были представлены в основном «чистыми» интеллигентами, в то время как ортодоксальное течение было представлено такими людьми интеллектуального труда, которые более решительно посвятили себя практической деятельности и, следовательно, были больше связаны (более или менее поверхностными связями) с широкими народными массами (что, впрочем, не помешало большинству из них проделывать головокружительные трюки немалого историко-политического значения).

Это разделение очень важно. «Чистые» интеллиген-

ты, как авторы самых распространенных идеологий господствующих классов, как лидеры интеллектуальных течений в своих странах, не могли не воспользоваться хотя бы некоторыми элементами философии практики, для того чтобы подпереть свои хилые концепции и одобрить чрезмерное спекулятивное философствование историческим реализмом новой теории, для того чтобы пополнить новым оружием арсенал социальной группы, с которой они связаны. С другой стороны, представители ортодоксальной тенденции были вынуждены бороться с наиболее распространенной в широких народных массах идеологией — религиозной трансцендентальностью — и думали, что преодолеют ее одним только грубым и банальным материализмом, который также был одним из немаловажных наслоений житейского смысла, наслоением, существование которого поддерживалось — в гораздо большей степени, чем это полагали и полагают, — самой религией, принимающей в народе свое пошлое и низменное обличье суеверия и колдовства, где материя выполняет немалую роль.

Лабриола отличается от одних и от других своим утверждением (по правде сказать, не всегда уверенным), что философия практики является независимой и оригинальной философией, несущей в себе самой элементы дальнейшего развития, способные превратить толкование истории во всеобщую философию. Необходимо работать именно в этом направлении, развивая позицию Антонио Лабриолы. Книгу Родольфо Мондольфо о Лабриоле нельзя считать (насколько я помню по крайней мере) последовательным ее развитием*.

Почему философии практики выпала такая участь, что ее основные элементы используются для образования философских сочетаний как с идеализмом, так и с материализмом? Работа по выяснению этой особенности не может не быть сложной и деликатной: она требует большой тонкости анализа и трезвости ума, потому что иначе можно очень легко увлечься внешним сходством

* Мондольфо, помнится, так никогда и не покинул основную точку зрения позитивизма, как и подобало ученику Роберто Ардиго. Книга ученика Мондольфо, Диамбрини Палацци (с предисловием Мондольфо) «О философии Антонио Лабриолы» — это документальное свидетельство скудости и ограниченности университетского образования, полученного самим Мондольфо.

и не увидеть сходства скрытого, не увидеть необходимые, но замаскированные связи. Лишь с большой критической осторожностью можно взяться за уточнение понятий, которые философия практики «уступила» традиционным философиям и благодаря которым они смогли пережить какой-то миг омоложения; это означает ни больше ни меньше, как написать историю современной культуры за период, начавшийся после окончания деятельности основателей философии практики.

Явное заимствование, очевидно, проследить нетрудно, но, как бы то ни было, и его нужно критически проанализировать. Классический пример такого заимствования представлен крочеанским сведением философии практики к эмпирическому канону исторического исследования; эта концепция проникла даже в среду католиков (см. книгу монсиньора Ольджати); она способствовала созданию итальянской экономико-юридической школы историографии, нашедшей распространение не только в Италии, но и за ее пределами. Значительно более трудным и тонким является исследование «скрытых», непризнаваемых заимствований, происшедших именно потому, что философия практики была одним из моментов современной культуры, ею была пронизана сама атмосфера, которая, воздействуя косвенно и незаметно, изменяла старый образ мыслей. Особенно интересно с этой точки зрения изучить Сореля. Сорель и его успех дают как раз немало указаний на этот счет; то же следует сказать и о Кроче. Однако самым важным, по моему, должно быть изучение бергсониапской философии и прагматизма, так как некоторые их позиции становятся совсем непонятными, если удалить историческое звено философии практики.

Другой аспект вопроса — это практические уроки политической науки, преподанные философией практики как раз тем, кто вступил с нею в ожесточенный принципиальный бой, подобно иезуитам, которые теоретически сражались с Макиавелли, будучи на практике его лучшими учениками. В одном из «Мнений» Марио Мисироли, напечатанных в «Стампе» тех времен, когда он был ее римским корреспондентом (около 1925 года), говорится примерно следующее: если заглянуть в самую душу капиталистам, то вполне может оказаться, что наиболее умные из них убеждены, что «Критическая

[политическая] экономия» * очень хорошо разбирает все их дела, и пользуются уроками, извлеченными оттуда. И все это нисколько не является неожиданным, так как основоположник философии практики, с точностью проанализировав действительность, лишь систематизировал рационально и последовательно то, что исторические участники этой действительности чувствовали и чувствуют инстинктивно и расплывчато и что они осознали гораздо более глубоко после критики противника.

Еще интереснее другой аспект вопроса. Почему так называемые ортодоксы тоже «сочетали» философию практики с другими философиями, и не со всеми, а по преимуществу именно с одной вполне определенной философией? В самом деле, если какое-то сочетание идет в счет, так это, конечно, соединение с традиционным материализмом; сочетание с кантианством имело лишь ограниченный успех, да и то только у немногих интеллектуальных течений. По этому вопросу следует посмотреть очерк Розы «Застой и прогресс в развитии философии практики» **, где подчеркивается, что составные части этой философии развились в разной степени, хотя и всегда в соответствии с потребностями практической деятельности. Иначе говоря, основоположники новой философии, по ее мнению, намного опередили потребности своего времени, а также потребности последующей эпохи и якобы создали арсенал оружия, которое еще не могло пригодиться, так как было несвоевременным, и час которого еще должен был наступить в будущем. Эта версия несколько казуистична, так как в качестве объяснения преподносится в значительной мере тот же самый объясняемый факт, только уже в абстрагированном виде; и все же в этом объяснении есть кое-что верное, и это «кое-что» можно углубить. Одну из исторических причин возникновения этих сочетаний, по-моему, следует искать в том, что философия практики должна была вступать в союз с чуждыми тенденциями, для того чтобы победить сохранившиеся в народных массах пережитки докапиталистической формации, в особенности в области религии.

* «Капитал» Карла Маркса.— *Прим. ит. ред.*

** Имеется в виду статья Розы Люксембург «Stillstand und Fortschritt im Marxismus», напечатанная в «Vorwärts» от 14 марта 1903 года.— *Прим. ит. ред.*

Перед философией практики стояли две задачи: победить современные идеологии в их наиболее утонченной форме, для того чтобы быть в состоянии образовать собственную группу независимой интеллигенции, и воспитать народные массы, культура которых была средневековой. Эта вторая задача, которая была основной, учитывая характер новой философии, поглотила все силы не только количественно, но также и качественно; именно из «дидактических» соображений новая философия вошла в сочетание, принявшее форму культуры, несколько более высокой, чем средняя народная культура (чрезвычайно низкая), но абсолютно непригодной для борьбы с идеологиями образованных классов, в то время как сама эта новая философия родилась как раз для того, чтобы превзойти самое высокое проявление культуры того времени — классическую немецкую философию — и вызвать к жизни интеллигенцию, принадлежащую к новой социальной группе, мировоззрением которой и была эта философия. С другой стороны, современная культура, в особенности культура идеалистическая, не может выработать никакой народной культуры, не может наполнить моральным и научным содержанием собственные школьные программы, остающиеся абстрактными теоретическими схемами; она остается культурой узкого круга интеллектуальной аристократии, если и оказывающей влияние на молодежь, то только от случая к случаю, когда она становится непосредственно политикой.

Следует выяснить, является ли такая «расстановка» культурных сил исторической необходимостью и нельзя ли в истории прошлого найти аналогичные ситуации с учетом обстоятельств времени и места. Классическим предшествующим современности примером несомненно является пример Возрождения в Италии и Реформации в протестантских странах. В томе «История эпохи барокко в Италии» * Кроче пишет: «Движение Возрождения осталось движением аристократическим, избранных кругов и в самой Италии, которая была его матерью и кормилицей. Оно не вышло из придворных кружков, не проникло в самый народ, не сделалось обычаем и «пред-рассудком», иначе говоря, коллективным убеждением и

* B. Croce, Storia dell'età barocca in Italia, p. 11.

верой. Реформация же, наоборот, «обладала именно этой действительностью проникновения в народ, но она заплатила за это отставанием в своем внутреннем развитии», медленным и много раз прерывавшимся созреванием своего жизненного зародыша». И выше, на стр. 8: «И Лютер, как эти гуманисты, порицает печаль и торжественно приветствует радость, осуждает праздность и призывает к труду; но, с другой стороны, это приводит его к безразличию и враждебности по отношению к литературе и наукам, так что Эразм мог сказать: «*ubicumque regnat lutheranismus, ibi litterarum est interitus*» *; и точно, чуть ли не единственно по причине той враждебности, которую питал его основатель, немецкий протестантизм в течение ряда веков оставался почти что бесплоден в науках, в критике, в философии. И наоборот, итальянские реформаторы, в особенности из кружка Хуана де Вальдеса, и их друзья без усилий соединили гуманизм с мистицизмом, культ наук с суровой моралью. Кальвинизм, с его жесткой концепцией милосердия и жесткой дисциплиной, также отнюдь не благоприятствовал свободному исследованию и культу красоты; но именно кальвинизму, толкующему и развивающему концепции милосердия и предназначения, приспособляющему одну к другой, выпало на долю энергично двинуть вперед экономическую жизнь, производство, накопление богатства». Лютеранская реформация и кальвинизм вызвали широкое народно-национальное движение, в котором они и растворились; более высокая культура родилась лишь в последующие периоды. Деятельность же итальянских реформаторов не была отмечена крупными историческими успехами. Правда, сама Реформация в своей высшей фазе приняла облик Возрождения и в этой форме распространилась также и в непротестантских странах, где отсутствовал период созревания ее в гуще народных масс. Но протестантским странам фаза народного развития позволила упорно и победоносно сопротивляться крестовому походу католических армий; так родилась германская нация как одна из наиболее могущественных в современной Европе. Франция была растерзана религиозными войнами,

* Повсюду, где царит лютеранство, литература бездействует.— *Прим перев.*

закончившимися видимой победой католицизма, но она пережила великую народную реформу XVIII века — просветительство, вольтерьянство, «Энциклопедию», — реформу, которая предшествовала революции 1789 года и сопровождала ее. Речь шла о действительно великой духовной и нравственной реформе французского народа, более полной, чем немецкая лютеранская реформа, потому что она охватила также широкие крестьянские массы в деревне, потому что она развивалась на явно светской основе и сделала попытку целиком заменить религию светской идеологией, нашедшей свое выражение в национальных и патриотических связях. Но даже эта реформа не привела к непосредственному расцвету высокой культуры, исключая науку политики в форме позитивной науки права*.

Пожалуй, лишь Жорж Сорель, с янсенистской¹⁷ яростью ополчаясь против уродств парламентаризма и политических партий, сумел предвидеть, более или менее расплывчато и по-интеллигентски, что философию практики следует понимать как современную народную реформацию (ибо те, кто, подобно Миссироли и К⁰, ждет религиозной реформы в Италии, ждет нового итальянского издания кальвинизма, являются чистыми схоластами). Сорель взял у Ренана мысль о необходимости духовной и нравственной реформы; он утверждал (в одном из писем к Миссироли), что часто великие исторические движения бывают представлены одной из современных культур и т. д. Но мне кажется, что эта концепция проскальзывает у Сореля, когда он пользуется примитивным христианством как сравнительным критерием, правда, очень по-книжному, но с некоторыми крупными истинами; хотя он и прибегает к ссылкам, носящим формальный характер и зачастую надуманным, все же у него можно обнаружить проблемы глубокой интуиции.

Философия практики предполагает все это культурное прошлое: Возрождение и Реформацию, немецкую

* Вспомнить, как Гегель сравнивал особые национальные формы, которые одна и та же культура приняла во Франции и в Германии в период Французской революции, вспомнить эту гегелевскую концепцию, которая, проделав довольно долгий путь, привела к знаменитым стихам:

«...Движимые противоположной верой, они обезглавили: Иммануил Кант — бога, Максимилиан Робеспьер — короля».

философию и Французскую революцию, кальвинизм и классическую английскую [политическую] экономию, светский либерализм и историзм, который лежит в основе всей современной концепции жизни. Философия практики венчает собой все это движение за духовную и нравственную реформу, вылившееся в диалектическое противоречие между высокой культурой и культурой народной. Она соответствует сочетанию: протестантская Реформация плюс Французская революция; это философия, которая является также политикой, и политика, которая является также философией. Философия практики еще не вышла полностью из простонародной фазы: вызвать к жизни группу независимой интеллигенции нелегко, для этого требуется длительный процесс, включающий действия и противодействия, слияния и распады, создание новых, очень многочисленных и сложных образований. Пока это концепция социально-подчиненной группы, лишенной исторической инициативы и расширяющейся непрерывно, но не органически; группы, которая все еще не в состоянии перешагнуть некую качественную ступень, еще не созрела для овладения государственной властью, для осуществления своей реальной гегемонии над всем обществом в целом; а только эта гегемония позволяет поддерживать некоторое органическое равновесие в развитии интеллектуальной группы. Философия практики также сделалась «предрассудком» и «суевением»: в том виде как она есть, она представляет народный аспект современного историзма, но в то же время содержит в себе принцип преодоления этого историзма. В истории культуры (которая гораздо шире, чем история философии) всякий раз, когда общество переживало переворот и от общенародной руды отделялся металл нового класса, наблюдался расцвет народной культуры, налицо был расцвет «материализма», и, наоборот, в тот же самый момент старые классы цеплялись за спиритуализм. Гегель, опираясь на опыт Французской революции и Реставрации, диалектизировал обе стороны человеческой мысли, материализм и спиритуализм, но результатом синтеза оказался «человек, который стоит на голове». Последователи Гегеля разрушили это единство и вернулись: одни к материалистическим, другие к спиритуалистским системам. Философия практики в лице ее основателя повторила весь этот опыт гегельянства, фейербахизма,

французского материализма, для того чтобы восстановить синтез диалектического единства, но уже как «человека, который стоит на ногах». Для философии практики повторилась участь гегельянства: ее также пытались разорвать на части; кое-что от диалектического единства вновь отошло к философскому материализму, в то время как высокая идеалистическая культура попыталась включить в себя то из философии практики, что ей было необходимо для изготовления какого-нибудь нового эликсира.

«Политически» материалистическая концепция близка народу, близка к житейскому смыслу; она тесно связана со многими верованиями и предрассудками, почти со всеми народными суевериями (колдовство, нечистая сила и т. д.). Это видно в народном католицизме, и в особенности в византийском православии. Народная религия грубо материалистична, и тем не менее официальная религия интеллигенции стремится воспрепятствовать образованию двух отдельных религий, двух обособленных слоев, чтобы не оторваться от масс и не стать официально тем, чем она уже стала в действительности — идеологией узких групп. Но с этой точки зрения не следует смешивать позицию философии практики и позицию католицизма. В то время как первая поддерживает постоянный динамический контакт со всеми слоями народных масс и постоянно стремится поднимать их до все более высокого уровня культуры, второй стремится поддерживать чисто механическое, внешнее единство, основывающееся в особенности на церковных ритуалах и на наиболее резко быющем в глаза культе внушения, которому подвержена толпа. Многие еретические попытки были проявлениями борьбы народных сил за реформу церкви и приближение ее к народу путем поднятия культуры народа на более высокий уровень. Церковь быстро реагировала на эти попытки и зачастую самым жестоким образом: она создала «Общество Иисуса»*, пыталась одеться в броню постановлений Трентского собора; и, как бы то ни было, она организовала замечательный механизм «демократического» отбора своих интеллигентов, но отбора их

* Орден иезуитов.— *Прим. перев.*

именно как отдельных индивидуумов, а не как представителей определенных народных групп.

В истории культурного развития особое внимание необходимо обращать на организацию культурной деятельности и на тех людей, в которых эта организация принимает конкретную форму. В книге Дж. Де Руджеро «Возрождение и Реформация» (G. De Ruggiero, *Rinascimento e Riforma*) можно видеть, какова была позиция очень многих интеллигентов во главе с Эразмом Роттердамским; они склонились перед кострами и преследованиями. Носителем Реформации был поэтому именно немецкий народ в целом, как один нерасчленимый народ, а отнюдь не интеллигенция. Как раз этим дезертирством интеллигенции перед лицом врага и объясняется «бесплодность» Реформации непосредственно в сфере высокой культуры до тех самых пор, пока из народной массы, сохранившей верность делу Реформации, не выделилась постепенно новая группа интеллигенции, которая достигла своей вершины в классической философии.

Нечто подобное происходило до сих пор с философией практики: крупные представители интеллигенции, сформировавшиеся на ее почве, помимо того, что они были малочисленны, не были связаны с народом, не были выходцами из народа; они являлись выразителями традиционных промежуточных классов, к которым и возвращались во время крутых исторических «поворотов». Другие из них оставались на своих позициях, но не для того, чтобы обеспечить новой теории самостоятельное развитие, а чтобы подвергать ее систематической ревизии. Утверждение о том, что философия практики является новой, независимой, оригинальной теорией, оставаясь при этом одним из моментов всемирного исторического развития, есть утверждение о независимости и оригинальности новой, вызревающей культуры, которая разовьется по мере развития социальных отношений. То, что существует до сих пор, есть лишь постоянно меняющееся сочетание старого и нового, лишь возникающее на мгновение равновесие культурных отношений, соответствующее равновесию социальных отношений. Только после создания государства [рабочего класса] культурная проблема встает во всей своей сложности и требует последовательного разрешения. Во всяком случае, позиция, предшествующая образованию

этого государства, должна быть критико-полемиической (но ни в коем случае не догматической); это должна быть романтическая позиция, но ее романтизм должен сознательно стремиться к переходу в выдержанную фазу классицизма.

Примечание 1. Нужно изучить период Реставрации как период выработки всех современных исторических учений, в том числе и философии практики, которая венчает собой этот период, будучи созданной как раз накануне 1848 года, когда Реставрация рушилась повсеместно, а Священный союз распался на куски. Известно, что Реставрация — это только метафора: никакой подлинной реставрации старого строя на самом деле не произошло, произошла лишь новая расстановка сил, при которой революционные завоевания средних классов были ограничены и кодифицированы. Король во Франции и папа в Риме сделались вождями соответствующих партий, перестав быть непререкаемыми представителями Франции или христианства. Особенно пошатнулась позиция папы. Именно с тех пор ведет начало образование постоянных группировок «воинствующих католиков», которые, пройдя другие промежуточные этапы — 1848—1849 годы, 1861 год (когда произошел первый распад Папского государства и присоединение провинций Эмилии [к королевству Италии]), 1870 год и послевоенный период, — становятся мощной организацией «Ационе каттолика» («Католическое действие»), — мощной, но выступающей с оборонительной позиции. Исторические теории Реставрации противопоставляются идеологиям XVIII века, абстрактным и утопическим, продолжавшим существовать вплоть до 1870 года в качестве пролетарской философии, этики и политики, особенно широко распространенных во Франции. Философия практики противостоит этим народным концепциям XVIII века как философия масс, противостоит всем их формам, от самых младенческих до концепции Прудона. Прудон претерпел своего рода прививку консервативного историзма, и его, пожалуй, можно назвать французским Джоберти, но Джоберти народных классов, что обусловлено, как это обнаружилось в 1848 году, отсталостью итальянской истории по сравнению с историей французской. Если историки-консерваторы, теоретики старого, сильны в критике утопиче-

ского характера мумифицированных якобинских идеологий, то философы-практики еще сильнее как в оценке исторически реального, а не абстрактного значения якобинства, являющегося созидающим элементом в формировании новой французской нации (то есть фактором, действовавшим в реальных, определенных обстоятельствах), так и в оценке исторической задачи самих консерваторов, которые на деле были стыдливymi детьми якобинцев: проклиная их крайности, они в то же время заботливо распоряжались их наследством. Философия практики не только претендовала на объяснение и оправдание всего прошлого, но и на историческое объяснение и оправдание самой себя; другими словами, она явилась максимальным «историзмом», полным освобождением от всякого абстрактного «идеологизма», реальным завоеванием исторического мира, началом новой цивилизации.

Спекулятивная имманентность и имманентность историческая, или реалистическая

Утверждают, что философия практики родилась на почве максимального развития культуры первой половины XIX века, культуры, представленной классической немецкой философией, английской классической [политической] экономией и французской [революционной] политической литературой и практикой, что эти три культурные движения являются истоками философии практики. В каком смысле нужно понимать это утверждение? В том смысле, что каждое из этих движений способствовало разработке соответственно философии, [политической] экономии, [революционной] политики философии практики? Или же что философия практики синтетически переработала все эти три движения, иначе говоря, культуру эпохи, и что в этом новом синтезе, какой бы из его моментов мы ни стали исследовать: теоретический, экономический, политический,— в любом из них мы найдем в качестве «основного фактора» каждое из этих трех движений. Именно так это представляется мне. А этот синтезирующий, объединяющий момент, мне кажется, следует определить как новое понятие имманентности, которое из его спекулятивной формы, предложенной немецкой классической философией, было пе-

реведено в историческую форму при помощи французской [революционной] политики и английской классической [политической] экономии.

В связи с отношениями тождества по существу между языком немецкой философии и языком французской [революционной] политики следует вспомнить предшествующие заметки. Одно же из самых интересных и плодотворных исследований, по-моему, должно быть проделано по поводу отношений между немецкой философией, французской [революционной] политикой и классической английской [политической] экономией. В известном смысле, мне кажется, можно сказать, что философия практики равна Гегелю плюс Давид Рикардо. Вопрос вначале надо поставить так: следует ли рассматривать новые методологические каноны, введенные Рикардо в экономическую науку, как чисто инструментальные ценности (или, для ясности, как новую главу формальной логики) или же они имели значение философского нововведения? Разве открытие формально-логического принципа «закона тенденции», который позволяет научно сформулировать основные понятия [политической] экономии *homo oeconomicus*'а и «определенного рынка», не была также и открытием гносеологического значения? Не в нем ли именно заключается «имманентность», новая концепция «необходимости» и свободы и т. д.? Этот перевод учения Рикардо на язык философии сделала, по-моему, именно философия практики, которая придала универсальный характер его открытиям, соответствующим образом распространив их на всю историю и тем самым первой используя их при создании нового мировоззрения.

Предстоит разрешить целый ряд проблем: 1. Сжато изложить научно-формальные принципы Рикардо в их форме эмпирических канонов. 2. Исследовать историческое происхождение этих рикардовских принципов, которые связаны с возникновением самой экономической науки, с развитием буржуазии как «конкретно мирового» класса и, следовательно, с формированием мирового рынка. Сложные движения на этом рынке достигают уже такой «плотности», что стало возможным выделить из них и изучить необходимые закономерности, иначе говоря, законы тенденции, законы не в смысле натуралистическом и спекулятивно-детерминистском, а

в смысле «историческом», то есть действующие постольку, поскольку проявляет себя «определенный рынок» или, другими словами, живая и органически связанная в движениях своего развития среда. ([Политическая] экономия изучает эти законы тенденций как количественные выражения явления; при переходе от [политической] экономики ко всеобщей истории понятие количества дополняется понятиями качества и диалектического количества, превращающегося в качество)*. 3. Поставить Рикардо в связь с Гегелем и Робеспьером. 4. Рассмотреть, как философия практики от синтеза этих трех живых течений поднялась до новой концепции имманентности, очищенной от всяких следов трансцендентальности и теологии.

Рядом с вышеуказанным следует поставить исследование, касающееся отношения философии практики к нынешнему продолжению немецкой классической философии в лице современной итальянской идеалистической философии Кроче и Джентиле. Как необходимо понимать фразу Энгельса о наследовании немецкой классической философии? Следует ли понимать ее как ныне замкнувшийся исторический круг, в котором поглощение жизнеспособной части гегельянства уже завершено окончательно, раз и навсегда, или же ее можно понимать как еще происходящий исторический процесс, который снова воспроизводит необходимость культурно-философского синтеза? Мне представляется правильным этот второй ответ: в действительности все еще воспроизводятся взаимно односторонние позиции материализма и идеализма, подвергнутые критике в первом тезисе о Фейербахе, и, как и тогда (хотя мы и достигли более высокой ступени), необходим синтез на более высокой ступени развития философии практики.

Единство составных элементов в марксизме

Единство дано диалектическим развитием противоречий между человеком и материей (природа — материальные производительные силы). В политической эконо-

* Количество = необходимости; качество = свободе. Диалектика (диалектическая взаимосвязь) «количество — качество» тождественна диалектике «необходимость — свобода».

нонии объединяющим центром является стоимость, иначе говоря, отношение между работником и промышленными производительными силами (противники теории стоимости впадают в грубый вульгарный материализм, беря машины сами по себе — постоянный технический капитал — и рассматривая их как производителей стоимости вне связи с человеком, управляющим ими). В философии — практика, то есть отношение между человеческой волей (надстройкой) и экономическим базисом. В политике — отношение между государством и гражданским обществом, то есть вмешательство государства (централизованной воли) для воспитания воспитателя, социальной среды вообще. (Это все углубить и изложить терминологически более точно.)

Философия, [революционная] политика, [политическая] экономия

Если эти три рода деятельности являются необходимыми составными элементами одного и того же мировоззрения, в их теоретических принципах по необходимости должна содержаться способность превращения одного рода в другой, взаимопереводимость на собственный специфический язык каждого из составных элементов: один содержится в другом, а все вместе образуют однородный круг*.

Из этих предпосылок (которые должны быть еще разработаны) для историка культуры и идей вытекают некоторые критерии исследования и критические каноны большой важности. Может случиться, что крупный деятель выражает свою мысль более плодотворно не в том жанре, который, по видимости, должен казаться самым «логичным» с точки зрения внешней классификации, а в совершенно иной области, которая, по видимости, может быть расценена как чуждая ему. Политик нередко пишет труды по философии, но может оказаться, что его «подлинную» философию следует разыскивать как раз в его политических статьях. У всякого человека есть основная и преобладающая род деятельности; именно в

* См предшествующие заметки о взаимопереводимости научных языков [в русское издание эти заметки не включены]

этом последнем следует искать его «подлинную» мысль, содержащуюся чаще всего в скрытой форме и иногда в противоречии с мыслью, выраженной *ex professo*. В таком подходе к оценке исторических суждений, правда, заключена большая опасность дилетантства, и в его применении нужно быть очень осторожным, что, впрочем, не отнимает у этого критерия его плодотворности при поисках истины.

Действительно, такому «случайному философу» труднее абстрагироваться от течений, господствующих в его время, от ставших догматическими толкований определенного мировоззрения и т. д.; в то же время как ученый-политик он чувствует себя независимым от этих идолов времени и класса и воспринимает то же самое мировоззрение со всей непосредственностью и оригинальностью; он проникает в самую его сердцевину и развивает его в тесной связи с жизнью. В этом отношении все еще остается полезной и плодотворной выраженная Люксембург мысль о том, что пока еще невозможно браться за разрешение некоторых вопросов философии практики, поскольку течение всеобщей истории или истории данной социальной группировки еще не сделало их актуальными. Каждой из фаз: экономико-корпоративной фазе, фазе борьбы за гегемонию в гражданском обществе, государственной фазе — соответствует своя определенная интеллектуальная деятельность, которую нельзя создать произвольно или вызвать раньше времени. В фазе борьбы за гегемонию развивается наука о политике; в государственной фазе должны развиваться все части надстройки, иначе государству грозит распад.

Историзм философии практики

То, что философия практики рассматривает себя самой исторически, то есть как преходящую фазу философской мысли, не только видно из всего духа этой философской системы, но и содержится открыто в известном положении, что в определенный момент историческое развитие будет ознаменовано переходом из царства необходимости в царство свободы. Все философии (философские системы), существовавшие до сих пор, были выражением внутренних противоречий, раздирав-

ших общество. Но ни одна из философских систем, взятая сама по себе, не была сознательным выражением этих противоречий, ибо такое выражение могла дать лишь совокупность всех систем, борющихся между собой. Каждый философ убежден и не может не быть убежденным, что он выражает единство человеческого духа, то есть единство истории и природы; в самом деле, если бы этого убеждения не существовало, люди не действовали бы, не творили бы новую историю, философии не могли бы становиться «идеологиями», не могли бы на практике приобретать гранитную фанатическую крепость «народных предрассудков», обладающих энергией «материальной силы».

Гегель в истории философской мысли занимает особое место, ибо его система, тем или иным образом, пусть даже преподнесенная в форме «философской беллетристики», дает возможность постичь, что такое действительность; то есть в одной системе и в одном философе заключено то сознание противоречий, которое прежде вытекало лишь из совокупности систем, из совокупности философов, полемизирующих между собой и противоречащих друг другу.

Следовательно, в известном смысле философия практики является реформой и развитием гегельянства, является философией, освобожденной (или старающейся освободиться) от каких бы то ни было элементов идеологической односторонности и фанатизма, полным осознанием противоречий, при котором сам философ, понимаемый как индивидуум или как целая социальная группа, не только постигает противоречия, но и берет самого себя как элемент противоречия и поднимает этот элемент до принципа познания, а следовательно, действия. Философия практики отрицает «человека вообще», как бы он ни преподносился, она высмеивает и разрушает догматические понятия, придающие системе видимость единства, поскольку они также выражают понятие «человека вообще» или «человеческой натуры», имманентной каждому человеку.

Но если философия практики также является выражением исторических противоречий, более того — выражением сознательным и потому самым законченным, это означает, что и она тоже связана с «необходимостью», а не со «свободой», которой не существует и исторически

еще не может существовать. Итак, если доказано, что противоречия исчезнут, тем самым доказываемся, что исчезнет, то есть будет преодолена, также и философия практики: в царстве «свободы» мысль, идея не смогут рождаться на почве противоречий, на почве необходимости борьбы. В настоящий момент философ (практики) может высказать лишь это общее утверждение, не больше: в самом деле, он не может убежать с нынешней земли противоречий, не может говорить иначе, как в общих чертах (чтобы не создавать непосредственно утопию), о существовании мира, лишенного противоречий.

Это не означает, что утопия не может обладать философской ценностью, ибо она имеет политическую ценность, а во всякой политике кроется философия, пусть даже нестройная и еще только в черновом виде. В этом смысле религия — это самая гигантская утопия, то есть самая гигантская из появлявшихся в истории «метафизик», ибо она представляет грандиознейшую попытку примирить в мифологической форме реальные противоречия исторической жизни. В самом деле, она утверждает, что все люди обладают одной и той же «натурой», что существует человек вообще, как созданный богом, как сын бога и потому брат и равный всем остальным людям, свободный среди других людей и сам, как они, что таковым он может считать себя, смотрясь в зеркало бога, этого «самосознания» человечества; но она утверждает также, что все это не в этом мире и не для этого мира, а для иного (утопического) мира. Так идеи равенства, братства, свободы бурлят в людях, в тех слоях людей, которые не видят себя ни равными, ни братьями другим людям, ни свободными по сравнению с другими. Вот почему при всяком волнении глубинных слоев масс выдвигались, тем или иным образом, в определенных формах и под видом определенных идеологий, именно эти требования.

В этом месте на память приходит примечание, сделанное Виличи [Ильичом] к апрельской программе, 1917 года *, в параграфе, посвященном единой школе, а

* Речь идет о проекте пересмотренной программы партии большевиков, представленном Лениным VII партийной конференции в апреле 1917 года. Новая программа была затем одобрена VIII съездом партии в марте 1919 года.— *Прим. ит. ред.*

точнее, в пояснительном добавлении к этому параграфу (цитировано по женевскому изданию 1918 года). Он вспоминает, что химик и педагог Лавуазье, гильотинированный в период якобинского террора, выдвигал как раз идею единой школы и делал это в прямой связи с чувствами, которые владели в его времена народом, видевшим в демократическом движении 1789 года развивающуюся действительность, а не только известную идеологию — орудие господства определенного класса, и делавшим конкретные выводы насчет равенства. В случае с Лавуазье мы имеем дело с элементом утопическим (элементом, который в большей или меньшей мере проявился во всех культурных течениях, исходивших из «единого начала» человеческой «натуры»); однако для Ильича он имел теоретически доказуемое значение политического принципа.

Если философия практики теоретически утверждает, что всякая «истина», считающаяся вечной и абсолютной, имела практическое происхождение и представляла «временную» ценность (в силу историчности всякого мировоззрения), то очень трудно заставить «практически» постигнуть, что такое толкование остается в силе также и для самой философии практики, не сокрушая при этом убеждений, без которых невозможно действие.

С другой стороны, это та трудность, с которой сталкивается любая историческая философия. Этим злоупотребляют дешевые полемисты (в особенности католики) для того, чтобы в одном и том же индивидууме противопоставить «ученого» «демагогу», философа — человеку действия и т. д. и сделать вывод о том, что историзм с необходимостью приводит к моральному скептицизму и разврату. Эта трудность порождает множество «драм» в сознании маленьких людей, а великих заставляет рядиться в «олимпийскую» тогу а ля Вольфганг Гете.

Вот почему фразу о переходе из царства необходимости в царство свободы нужно анализировать и разрабатывать с большой тонкостью и тщательностью.

Поэтому и с самой философией практики получается так, что она стремится стать идеологией в таком смысле слова, то есть сделаться догматической системой абсолютных и вечных истин, в особенности когда ее смешивают

вают, как это делается в «Популярном очерке»*, с вульгарным материализмом, с метафизикой «материи», которая не может не быть вечной и абсолютной.

Следует также сказать, что переход от необходимости к свободе происходит для человеческого общества, но не для природы (хотя он и сможет оказать воздействие на восприятие природы, на научные взгляды и т. д.). Можно даже утверждать, что в то время, как вся система философии практики в новом, едином мире станет клониться к упадку, многие идеалистические концепции или по крайней мере некоторые аспекты их, являющиеся утопическими в царстве необходимости, смогут стать «истинной» после этого перехода и т. д. Нельзя говорить о «духе» общества, делящегося на ряд групп, без необходимого уточнения, что речь идет о корпоративном духе (в скрытом виде это признается, когда вслед за Шопенгауэром говорят, подобно тому как это делает Джентиле в своем томе о модернизме**, что религия — это философия толпы, в то время как философия — это религия избранных людей, то есть великих представителей интеллигенции); о «духе» общества можно будет говорить лишь тогда, когда оно станет «унифицированным» [единым] и т. п.

[Политическая экономия и идеология]

Требование (выдвигаемое как основной постулат исторического материализма) представлять и объяснять любое колебание политического и идеологического барометра как непосредственное выражение изменений в базисе должно быть опровергнуто теоретически как примитивный инфантилизм и практически свидетельством самого Маркса, автора трудов по конкретным политическим и историческим вопросам. В этом аспекте особо значительными являются «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» и статья «О восточном вопросе», а также другие статьи («Революция и контрреволюция в Герма-

* Речь идет о книге Н. Бухарина «Теория исторического материализма. Популярный учебник марксистской социологии». — *Прим. перев.*

** G. Gentile, *Il modernismo e i rapporti tra religione e filosofia*; Bari, Laterza, 1909 («Модернизм и взаимоотношения религии и философии»; Бари, Латерца, 1909 год)

нии», «Гражданская война во Франции» и более мелкие). Анализ этих произведений, выявление и собирание воедино, осмысление и толкование разбросанных по их страницам теоретических утверждений позволяют лучше проследить марксистскую историческую методологию.

Можно видеть, сколько практических оговорок Маркс вводит в свои конкретные исследования, оговорки, которые не могли получить места в его трудах по общим вопросам. Среди этих оговорок могут быть названы в качестве примера следующие:

1. Трудность статического (наподобие мгновенного фотографического изображения) определения базиса в каждом отдельном случае. В самом деле, политика в каждом отдельном случае является отражением тенденций развития базиса, тенденций, о которых нигде не сказано, что они обязательно должны осуществиться. Та или иная фаза базиса может быть конкретно изучена и проанализирована лишь после того, как она завершила весь процесс своего развития; во время самого процесса она не может быть изучена иначе, чем гипотетически и с подчеркнутым упоминанием, что речь идет именно о гипотезе.

2. Из этого вытекает, что определенный исторический акт мог быть ошибкой в расчетах руководителей господствующих классов, ошибкой, которую историческое развитие исправляет и преодолевает через парламентские, правительственные «кризисы» правящих классов. Механистический же исторический материализм не принимает во внимание возможность ошибки, а рассматривает каждый политический акт как непосредственно обусловленный базисом, как отражение реального и постоянного (ставшего постоянным) изменения базиса. Принцип «ошибки» сложен: речь может идти об индивидуальном импульсе, порожденном ошибочным расчетом, или даже о попытках определенных групп или группок осуществлять гегемонию внутри правящей группировки, попытках, которые могут провалиться.

3. Недостаточное внимание уделяется тому, что многие политические акты определяются внутренними потребностями организационного характера, что они, другими словами, связаны с необходимостью придать стройность той или иной партии, группе, обществу. Это ста-

повится ясным на примере католической церкви. Если бы мы захотели каждому случаю идеологической борьбы внутри церкви найти непосредственное, изначальное объяснение в базисе, мы сели бы на мель: на этом основании уже написано немало политико-экономических романов. И наоборот, очевидно, что большая часть этих споров связана с сектантскими, организационными требованиями. Было бы смешно в споре между Римом и Византией о происхождении Святого духа искать в базисе Восточной Европы утверждение, что Святой дух происходит только от Отца, а в базисе Запада утверждение, что он происходит и от Отца и от Сына. Обе церкви, существование и конфликт которых находятся в зависимости от базиса и от всей истории, поставили вопросы, являющиеся отправным пунктом разделения и внутреннего сплочения для каждой из них; но могло стать, что каждая из двух церквей стала бы утверждать как раз то, что утверждала другая: основа для разделения и конфликта сохранилась бы все равно, а ведь историческую проблему как раз и составляют это разделение и этот конфликт, а не случайное знамя каждой из сторон.

Примечание 2. «Звездочка» (под этим псевдонимом, должно быть, скрывается пресловутый Франц Вайс), которая пишет идеологические романы с продолжением в приложении к журналу «Проблемы дель лаворо» («Проблемы труда»), в своей развлекательной белиберде на тему «Русский демпинг и его историческое значение» утверждает, говоря именно об этих разногласиях времен раннего христианства, что они были непосредственно связаны с материальными условиями эпохи и что если нам не удастся выявить эту непосредственную связь, то только потому, что факты далеки от нас, а интеллект наш слаб. Такая позиция удобна, но научно совершенно непримечательна. В самом деле, каждая реальная историческая фаза оставляет свои следы в последующих фазах, которые в известном смысле становятся ее лучшим документом. Процесс исторического развития есть единство во времени, благодаря которому настоящее содержит в себе все прошедшее, а то, что было «существенного» в прошедшем, осуществляется в настоящем без каких-либо остатков «непознаваемого», которое якобы и является истинной «сущностью». То,

что было при этом «потеряно», то есть не передалось диалектически в историческом процессе, было само по себе незначительно, было как бы случайным «шлаком», хроникой, а не историей, поверхностным и, в конце концов, непринимаемым во внимание эпизодом.

Наука морали и исторический материализм

Научную основу морали исторического материализма, мне кажется, следует искать в утверждении, что «общество никогда не ставит себе задач, для разрешения которых еще не созрели условия». При наличии условий «разрешение задач *становится* «долгом», «воля» *становится* «свободной». Мораль должна была бы представлять собой исследование условий, необходимых для осуществления свободы воли в определенном смысле, по направлению к определенной цели и одновременно доказательством, что эти условия существуют. Следовало бы также говорить не о целях главных и подчиненных, а о градации целей, которых необходимо достигнуть, имея в виду, что мы хотим «морализовать» не только каждого индивидуума, взятого в отдельности, но и все общество индивидуумов.

Закономерность и необходимость

Каким образом возникло в голове основателя философии практики понятие закономерности и необходимости в историческом развитии? Вряд ли оно было производным от естественных наук; следует думать скорее о разработке понятий, возникших на почве политической экономии, особенно в той форме и при помощи той методологии, которыми обогатил экономическую науку Давид Рикардо. Например, понятие и явление «определенного рынка» и то научное открытие, что определенные решающие и постоянные силы появились исторически и что они действуют с известным «автоматизмом», который позволяет «предугадывать» в определенной мере и с определенной уверенностью результат индивидуальных начинаний, согласующихся с этими силами после их научного выявления и осмысления. Сказать «определенный рынок» — это все равно, что сказать

«определенные отношения социальных сил в производственном аппарате определенного базиса», отношения, гарантированные (в смысле — увековеченные) определенной политической, моральной и юридической надстройкой. После того как ученый выявил эти решающие и постоянные силы и их стихийный автоматизм (то есть их относительную независимость как от индивидуального произвола, так и от произвольных вмешательств правительства), он, в порядке гипотезы, возвел в абсолют самый автоматизм, изолировал чисто экономические факты от более или менее значительных комбинаций, в которых они практически выступают, установил отношения причины и следствия, предпосылки и выводы и дал таким образом абстрактную схему определенной экономической формации (поверх этого научного построения, реалистического и конкретного, впоследствии была нагромождена новая, более обобщенная абстракция «человека как такового», человека вообще, «внеисторического человека», — абстракция, которая и выступила как «истинная» экономическая наука).

Таковы были условия, в которых родилась классическая политическая экономия. Поэтому, прежде чем говорить о новой «экономической науке» или новой постановке экономических проблем (что одно и то же), необходимо доказать, что обнаружилась новая расстановка сил, новые условия, новые предпосылки, что «определился», иначе говоря, новый рынок со своим собственным новым «автоматизмом» и со своими характерными проявлениями, выступающими как что-то «объективное», сравнимое с автоматизмом явлений природы. «Критика политической экономии» родилась в лоне классической политической экономии, однако до сего дня не представляется возможным существование новой науки или новой постановки научных проблем. «Критика» политической экономии исходит из понятия историчности «определенного рынка» и его «автоматизма», в то время как «чистые» экономисты берут эти элементы как «извечные» и «естественные»; критика реалистически анализирует соотношение сил, определяющих рынок, вскрывает глубину противоречий между ними, оценивает возможные изменения, связанные с появлением и укреплением новых элементов, и показывает «брежность» и «заменяемость» критикуемой науки; она

изучает ее как живую и в то же время как уже мертвую, она находит в ней те элементы, которые неминуемо приведут к ее распаду и преодолению, и выводит на свет «наследника», предположительного лишь до того дня, когда он убедительно продемонстрирует собственную жизнеспособность и т. д.

Тот факт, что в современной экономической жизни элемент «произвольного», исходит ли он от отдельных индивидов, концернов или государства, приобрел значение, которого раньше не имел, и глубоко нарушил традиционный автоматизм, сам по себе не оправдывает постановки новых научных проблем именно потому, что эти вторжения «произвольны», разновелики, непредусмотримы. Оправдать ее может утверждение, что экономическая жизнь изменилась, что она чревата «кризисом» (а это понимают все). С другой стороны, нигде не сказано, что старый «автоматизм» исчез: он проявляется по отношению к крупным экономическим явлениям, но только в гораздо больших, чем раньше, масштабах, в то время как отдельные факты действительно стали «ненормальными».

Из этих соображений и следует исходить при установлении понятий «закономерность», «закон», «автоматизм» в применении к историческим фактам. Речь идет не об открытии «детерминистского» метафизического закона и даже не о том, чтобы установить «универсальный» закон причинности. Речь идет о том, чтобы выявить, как в процессе исторического развития складываются относительно «постоянные» силы, действующие с определенной закономерностью и автоматизмом. Даже закон больших чисел, как бы он ни был полезен для сравнения, не может быть использован в качестве «закона» исторических фактов. Чтобы установить историческое происхождение этого элемента философии практики (элемента, который есть не что иное, как ее особое понимание «имманентности»), необходимо изучить постановку экономических законов у Давида Рикардо. Речь идет о том, чтобы понять, что для формирования философии практики Рикардо имел значение не только благодаря открытому им понятию «стоимости» в [политической] экономике, но также «философски», тем, что он подсказал способ осмысления и восприятия жизни и истории. Метод «предположив, что...», то есть метод пред-

посылки, которая приводит к определенному следствию, следует определить, думается мне, как одну из исходных точек (интеллектуальных стимулов) философского опыта основателей философии практики. Надо бы посмотреть, изучался ли когда-нибудь Рикардо с этой точки зрения*.

Получается, что понятие исторической «необходимости» тесно связано с понятиями «закономерности» и «рациональности». «Необходимость» можно понимать и в смысле «абстрактно-спекулятивном» и в «историко-конкретном» смысле. Необходимость существует, когда существует реальная и активная *предпосылка*, которая, будучи осознана людьми, становится действенной, ставя конкретные цели перед коллективным сознанием и создавая комплекс убеждений и идей, обладающих силой «народных предрассудков». В *предпосылке* должны заключаться уже развитые или развивающиеся материальные условия, необходимые и достаточные для реализации импульса коллективной воли; но ясно, что от этой материальной, количественно исчислимой «предпосылки» не может быть оторван известный культурный уровень, иначе говоря, какая-то совокупность интеллектуальных актов, а от них, в свою очередь (как их продукт и следствие), — известная совокупность властных страстей и чувств, таких, которые могут вынудить к действию «любой ценой».

Только следуя таким путем, как уже было сказано, можно постичь исторически (а не абстрактно-спекулятивно) «рациональность» (а следовательно, и «иррациональность») в истории.

О понятии «провидения» и «случая» («*fortuna*») в том смысле, в каком их употребляют (спекулятивно) итальянские философы-идеалисты, и в особенности Кроче: необходимо посмотреть книгу Кроче о Дж. Б. Вико. в которой понятие «провидения» переводится на язык спекулятивной философии; этой книгой кладется начало

* Точно так же следует выяснить философские понятия «случайного» и «закономерного», понятие «рациональности» или «провидения», которое приводит к трансцендентальному, если не к трансцендентному телеологизму, а также понятие «случайного», как оно дается метафизическим материализмом, «что мир на волю случая обречен».

идеалистическому толкованию философии Вико. О том, какое значение имел «случай» у Макиавелли, следует посмотреть Луиджи Руссо * 18. По Руссо, «случай» у Макиавелли имеет двойной смысл: объективный и субъективный. Является ли «случай» естественной силой вещей (то есть причинной связью), выгодным стечением обстоятельств, тем, что у Вико называется провидением, или же это та потусторонняя сила, о которой разглагольствовало старое средневековое учение, то есть бог? Для Макиавелли это не что иное, как добродетель индивида, сила которой коренится в воле самого человека. Добродетель у Макиавелли, как пишет Руссо, это уже не добродетель схоластов, имевшая этический характер и заимствовавшая свою силу у неба, и даже не добродетель Тита Ливия, который в большинстве случаев понимает под этим словом воинскую доблесть,—это добродетель человека Возрождения, добродетель, состоящая из способности, умения, ловкости, личной силы, чуткости, нюха на обстоятельства и чувства меры собственных возможностей.

В своем дальнейшем анализе Руссо начинает колебаться. Для него понятие случая как силы вещей — понятие, которое у Макиавелли, как и у гуманистов, сохраняет еще натуралистический и механический характер,—находит свое историческое воплощение и углубление лишь в *рациональном провидении* Вико и Гегеля. Но не мешает напомнить, что у Макиавелли подобные понятия не имеют метафизического характера, как у настоящих философов-гуманистов, а выражают лишь простое и глубокое мироощущение (а если так, то, следовательно, и философию!); понять и объяснить их можно лишь как символы его чувств **.

* См. примечание на стр. 23 «Государя» («Principe» [Firenze, F. Le Monnier.—Прим. ит. ред.]).

** По поводу медленного формирования этих метафизических понятий в предмакиавеллиевский период Руссо отсылает к книге Джентиле «Джордано Бруно и мысль Возрождения» (глава «Представление о человеке в период Возрождения» и Приложение), Флоренция, Валлекки. (Gentile, Giordano Bruno e il pensiero del Rinascimento [cap. «Il concetto dell'uomo nel Rinascimento» e l'«Appendice»]. Firenze, Vallecchi.)

Об этих понятиях у Макиавелли см. также Ф. Эрколе, «Политика Макиавелли».

Энциклопедия философии практики

Было бы необычайно полезно составить критический свод, снабженный обширной критической библиографией, всех вопросов, которые поднимались вокруг философии практики при ее обсуждении. Материал для подобного специализированного энциклопедического произведения столь обширен, разнороден, разноценен и разноязычен, что лишь специальный редакционный комитет смог бы обработать его, да и то далеко не скоро. Но польза, которую компиляция подобного рода могла бы принести как для дальнейшей научной разработки, так и для образования (и школьного и самостоятельного), была бы огромна. Она стала бы важнейшим орудием расширения масштабов изучения философии практики, орудием укрепления его научной основы; она установила бы четкую грань между двумя эпохами: между современной эпохой и предшествовавшей ей эпохой поверхностно-школярских работ, попутайства и журналистского дилетантизма.

Для уточнения проекта следовало бы изучить весь материал того же типа, опубликованный католиками разных стран на тему о библии, евангелии, патрологии [творениях отцов церкви], церемониях и ритуалах, в защиту и поддержку религии вообще,—большие специализированные энциклопедии, различные по своей ценности, но публикующиеся постоянно и поддерживающие идеологическое единство сотен тысяч священников и других руководителей, которые составляют остои и силу католической церкви. (По вопросу о библиографии философии практики в Германии следует посмотреть компиляции Эрнста Драна, цитированные самим Драном в вводной статье к №№ 6068—6069 «Reklam Universal Bibliothek».)

Для философии практики необходимо проделать ту же работу, какую Бернхейм проделал для исторического метода *. Книга Бернхейма, не будучи трактатом по философии историзма, все же внутренне связана с нею. Так

* E. Bernheim, *Lehrbuch der Historischen Methode*, 6^{te} Ausgabe, 1908, Leipzig, Dunker und Humblot (Э. Бернхейм, Учебник исторического метода, изд. 6-е, 1908, Лейпциг, Дункер и Хумблот, переведен на ит. язык и опубликован изд. Сандрон в Палермо [сокращенный перевод]) — *Прим ит ред.*

называемая «социология философии практики» должна была бы занимать по отношению к этой философии такое же место, какое книга Бернхейма занимает по отношению к историзму вообще, то есть должна была бы представлять систематическое изложение практических правил исследования и толкования для истории, а также политики; она должна была бы стать сборником конкретных критериев, критических оговорок и т. п., своего рода филологией истории и политики, написанной с позиции философии практики. В известном отношении против некоторых тенденций философий практики (как раз самых вульгарных и потому наиболее распространенных) следовало бы обратить ту же критику (или тот же тип критики), которой современный историзм подверг старый критический метод и старую филологию. Этот старый метод и старая филология приводили к наивному догматизму, заменяя толкование и систематизацию истории поверхностным описанием и перечислением необработанных источников, зачастую нагроможденных без всякой последовательности. Непреодолимая сила этих статей состояла в известной разновидности догматического мистицизма, который тогда складывался и завоевывал популярность: его основой служило утверждение (пусть даже ничем не оправданное), что автор является последователем исторического метода и поборником науки*.

* По поводу этих соображений смотри замечания в разделе «Типы журналов» и «Критический словарь». [Эти заметки будут опубликованы в других томах собрания сочинений Грамши.—*Прим. ит. ред.*]

Р а з д е л в т о р о й



ПРОБЛЕМЫ РЕВОЛЮЦИИ



СОВРЕМЕННЫЙ ГОСУДАРЬ

Заметки о политике Макиавелли

Основная черта «Государя» состоит в том, что он является не систематизированным трактатом, а «живой» книгой, в которой политическая идеология и политическая наука сплавляются воедино в драматической форме «мифа».

В отличие от утопии и схоластического трактата, то есть тех форм, в которые политическая наука облакалась вплоть до Макиавелли, такой характер изложения придает его концепции фантастическую и художественную форму, благодаря чему теоретические и рационалистические положения воплощаются в образе кондотьера, представляющем пластически и «антропоморфно» символ «коллективной воли».

Процесс формирования определенной коллективной воли, преследующей определенную политическую цель, изображается не в форме исследования и педантичной классификации принципов и критериев образа действий, а в виде определенных качеств, характерных черт, обязанностей и потребностей конкретной личности, то есть в виде того, что заставляет работать художественную фантазию всякого, кого нужно убедить, и что придает более конкретную форму политическим страстям*.

* Нужно поискать, не существует ли работ, по своей форме сходных с «Государем», у тех, кто писал о политике до Макиавелли. Даже концовка «Государя» связана с этим «мифическим» характером книги: изобразив идеального кондотьера, Макиавелли в замечательном по своей художественной силе пассаже вызывает к реальному кондотьеру, который воплотил бы в себе нарисованный идеал в исторической действительности; этот страстный призыв накладывает отпечаток на всю книгу, придавая ей именно драматический характер. В своих «Пролегоменах к Макиавелли» Л. Руссо

«Государя» Макиавелли можно было бы изучать как наглядный исторический пример сорелианского «мифа», то есть пример политической идеологии, которая выступает не как холодная утопия и не как доктринерское рассуждение, а как порождение конкретной фантазии, воздействующей на разобщенный и распыленный народ, чтобы пробудить в нем и организовать коллективную волю. Утопический характер «Государя» заключается в том, что этот государь не существовал в исторической реальности, не выступал перед итальянским народом как непосредственная объективная реальность, а был чистой доктринерской абстракцией, символом вождя, идеального кондотьера; но мифические элементы и страстность, пронизывающие всю книжечку, наряду с исключительным по своей силе драматизмом повествования сливаются воедино и становятся жизненными в заключительной главе книги, в воззвании к «реально существующему» князю.

Макиавелли посвящает всю книжечку рассмотрению того, каким должен быть государь, чтобы привести народ к созданию нового государства; изложение ведется с логической строгостью и научной отрешенностью, а в заключении сам Макиавелли становится народом, сливается с народом, но не с народом «вообще», а с народом, которого Макиавелли убедил своим предшествующим изложением; в Макиавелли находит свое выражение сознание этого народа, он понимает эту свою роль, он ощущает свое тождество с народом. Кажется, что все «логическое» построение есть не что иное, как рефлексия самого народа, откровенная беседа с самим собой, происходящая в его сознании и завершающаяся непринизвольным страстным криком. Страсть, порожденная размышлением о самом себе, вновь становится «аффектом», лихорадкой, фанатической жадной деятельностью. Вот почему эпилог «Государя» не есть нечто внешнее, «навязанное» со стороны, риторическое; он должен быть истолкован как необходимый элемент произведения, даже как такой элемент, который проливает яркий свет на все произведение и придает ему вид «политического манифеста».

называет Макиавелли художником в политике, и один раз там даже встречается выражение «миф», но оно не совпадает точно с указанным смыслом.

Можно научно показать, что Сорель, исходивший из концепции идеологии-мифа, не дошел до понимания политической партии, а остановился на пороге концепции профессионального союза. Правда, для Сореля «миф» получает свое высшее выражение не в профсоюзе как организации коллективной воли, а в практической деятельности профсоюза и уже сделавшейся активной коллективной воле — в таком практическом действии, наиболее полной реализацией которого должна явиться всеобщая забастовка, то есть, так сказать, «пассивная деятельность», носящая негативный и предварительный характер (позитивный характер она приобретает только при наличии согласия среди ассоциированных волей) и не предусматривающая, собственно, «активной» и «конструктивной» фазы. Следовательно, в учении Сореля сталкиваются два требования: необходимость мифа и необходимость критики мифа, поскольку «всякий заранее составленный план утопичен и реакционен». Окончательное решение отводилось иррациональному, «произвольному» импульсу (в бергсонизмском смысле «жизненного импульса»), то есть импульсу «спонтанности»*.

Может ли, однако, миф быть «неконструктивным», можно ли представить себе, следуя порядку сорелианских интуитивных догадок, что дает какой-то эффект тот инструмент, который оставляет коллективную волю на примитивной и элементарной стадии ее первоначального формирования путем различия (путем «раскола»), пусть даже осуществленного с помощью насилия, то есть разрушает существующие моральные и юридические

* Здесь следовало бы отметить скрытое противоречие между тем, как Кроче ставит свою проблему истории и антинистории, и его взглядами в других вопросах — его враждебностью к «политическим партиям» и его постановкой вопроса о «предвидении» социальных событий (ср. «Критические беседы», серия первая, стр. 150—152, рецензия на книгу Людовико Лиментани «Предвидение социальных событий», Турин, Бокка, 1907). Если социальные события нельзя предвидеть и сама теория предвидения — лишь пустой звук, то иррациональное не может не доминировать и всякая организация людей является антинисторичной, является «предвзвешенной»; остается только одно: время от времени на основе импровизированных критериев решать отдельные практические проблемы, выдвинутые процессом исторического развития (ср. статью Кроче «Партия как благоразумие и как предвзвешенность» в «Культура элита морале»), и признать оппортунизм единственно возможной политической линией.

отношения? И эта коллективная воля, облеченная в столь элементарную форму,— не прекратит ли она тотчас же своего существования, рассеявшись в бесконечности одиночных волей, которые в позитивной фазе движутся по различным и противоречивым направлениям? И это помимо вопроса о том, что не может существовать разрушения и отрицания без скрытого созидания и утверждения — и не в «метафизическом» смысле, а на практике, то есть политически, в виде программы партии. В этом случае видно, что под спонтанностью понимается чистый механицизм, под свободой (жизненная воля-порыв) — максимум детерминизма, под идеализмом — абсолютный материализм.

Современный государь, государь-миф, не может быть реальной личностью, конкретным индивидуумом; он может быть только организмом, сложным элементом общества, в котором уже начала проявлять себя коллективная воля, признанная и частично утверждающаяся в действии. Этот организм, уже порожденный историческим развитием, является политической партией — это первая ячейка, в которой концентрируются зародыши коллективной воли, стремящиеся стать универсальными и всеобъемлющими. В современном мире только прямое и неизбежное историко-политическое действие, характеризующееся необходимостью быстрых, молниеносных мер, может мифически воплотиться в конкретном индивидууме; быстрота может оказаться необходимой только в результате большой и непосредственной опасности, которая как раз и приводит к молниеносному накалу страстей и фанатизма, уничтожая критическое чувство и едкую иронию, могущие разрушить «провиденциальный» характер кондотьера (именно это и произошло с авантюрой Буланже). Но такого рода непосредственное действие по самой своей природе не может быть длительным, не может носить органического характера: почти всегда это будет действие типа реставрации и реорганизации, а не того типа, который присущ процессу создания новых государств и новых национальных и социальных систем (что как раз служило темой «Государя» Макиавелли, где аспект реставрации был лишь риторическим элементом, связанным с утвердившейся в литературе концепцией, согласно которой Италия ведет свое происхождение от Древнего Рима и призвана восстано-

вить его порядки и его могущество *); по своему характеру это будет действие не созидательное и творческое, а «оборонительное», при котором предполагается, что уже существующая коллективная воля находится в ослабленном, распыленном состоянии, переживает опасный, угрожающий, но не катастрофический и не окончательный упадок и что ее необходимо вновь сконцентрировать и укрепить, но уже не иначе, как создавая коллективную волю *ex novo*, творчески, и направляя ее к конкретным, позитивным и рациональным целям, позитивность и рациональность которых, однако, еще не получили подтверждения и проверки на основе эффективной исторической практики, которая приобрела бы всеобщую известность.

«Абстрактный» характер сорелианской концепции «мифа» проявляется во враждебности (она находит страстное выражение в форме этического отвращения) к *якобинцам*, которые, несомненно, явились «категорическим воплощением» Государя Макиавелли. *Современный «Государь»* должен содержать раздел, посвященный *якобинству* (в том интегральном значении, которое это понятие получило в истории и которое оно должно иметь по своему идейному содержанию), *якобинству*, которое служит примером того, как конкретно оформилась и действовала коллективная воля, созданная, по крайней мере в некоторых отношениях, *ex novo*, оригинально. И необходимо, чтобы коллективная и вообще политическая воля была определена в современном

* Помимо образцового примера сильных абсолютных монархий во Франции и Италии, к политической концепции, отстаивающей *необходимость* единого итальянского государства, Макиавелли привели воспоминания о Древнем Риме. Следует, однако, подчеркнуть, что это не дает основания смешивать концепцию Макиавелли с литературно-риторической традицией прежде всего потому, что этот элемент не является исключительным или хотя бы господствующим, и вывод о необходимости сильного национального государства вытекает не из него, а также и потому, что само обращение к Древнему Риму менее абстрактно, чем могло бы казаться, так как оно вышло именно из атмосферы Гуманизма и Возрождения. В книге VII трактата — «О военном искусстве» — читаем: «Эта земля [Италия] кажется созданной для воскрешения всего, что умерло, как это видно на примере поэзии, живописи и скульптуры; и не возродит ли она поэтому и военную доблесть?» и т. д. Следует сгруппировать и другие замечания подобного рода, чтобы определить их истинный характер.

смысле — как деятельное осознание исторической необходимости, как главное действующее лицо реальной, плодотворной исторической драмы.

Один из первых разделов следовало бы посвятить именно «коллективной воле», выдвигая следующий вопрос: «Когда можно сказать, что существуют условия, делающие возможным возникновение и развитие народной, национальной коллективной воли?» Необходим, следовательно, исторический (и экономический) анализ социальной структуры данной страны и «драматическое» изображение попыток, предпринимавшихся на протяжении веков с целью вызвать к жизни эту волю, и причин, обусловивших последующий провал этих попыток. Почему в Италии во времена Макиавелли не создалась абсолютная монархия? Нужно начать анализ с крушения Римской империи (в связи с вопросом о языке, об интеллигенции и т. д.), уяснить функцию средневековых городских коммун, значение католицизма и т. д.; одним словом, нужно сделать очерк всей итальянской истории — очерк синтетический, но точный.

Причину провала последовательно сменявших друг друга попыток создать народную, национальную коллективную волю следует искать в наличии определенных социальных групп, возникавших в результате разложения буржуазии городских коммун, в особом характере других социальных групп, отражающих международную функцию Италии как места пребывания папского престола и хранительницу традиций Священной Римской империи и т. д. Эта функция и обусловленное ею положение определяют внутреннюю ситуацию, которую можно назвать «экономико-корпоративной», то есть в политическом отношении худшей из всех форм феодального общества, формой наименее прогрессивной и наиболее застойной, так как при ней всегда отсутствовала и не могла укрепиться действенная *якобинская* сила — именно та сила, которая в других странах вызвала к жизни и организовала народную, национальную коллективную волю и привела к созданию современных государств. Существуют ли в конечном итоге условия для образования этой воли, то есть каково теперешнее соотношение между этими условиями и враждебными им силами? Враждебной силой по традиции являлась земельная аристократия, а в более широком смысле —

земельная собственность во всей ее совокупности с присущей ей характерной итальянской чертой в виде особой «сельской буржуазии» — паразитическим наследием, доставшимся новому времени в результате разложения как класса буржуазии городских коммун («сто городов», «молчащие города» ¹⁶).

Позитивные условия следует усматривать в существовании городских социальных групп, развившихся соответствующим образом в области промышленного производства и достигших определенного уровня историко-политического развития. Всякое образование народной, национальной коллективной воли остается невозможным, если широкие массы крестьян-земледельцев не вторгнутся *одновременно* в политическую жизнь. Макиавелли считал возможным достичь этого путем создания народного ополчения, и именно это осуществили якобинцы во время Французской революции; вот в таком понимании событий и видно опередившее эпоху якобинство Макиавелли, явившееся источником (более или менее плодотворным) его концепции национальной революции. Начиная с 1815 года вся история свидетельствует о предпринимаемых традиционными классами усилиях предотвратить образование такого рода коллективной воли, сохранить «экономико-корпоративную» власть в международной системе, характеризовавшейся пассивным равновесием.

Важное внимание в современном Государе должно быть уделено вопросу духовной и нравственной реформе, то есть религиозному вопросу или мировоззрению. В этой области мы также находим традиционное отсутствие якобинства и страх перед ним (последним философским выражением этого страха является мальтузианская позиция Б. Кроче по отношению к религии). Современный Государь должен быть и не может не быть глашатаем и организатором духовной и нравственной реформы, что означает создание почвы для последующего развития народной, национальной коллективной воли, воли к достижению высшей и всеобъемлющей формы современной цивилизации.

Эти два основных момента — образование народно-национальной коллективной воли, организатором и одновременно активным, деятельным выразителем которой явится современный Государь, и нравственная и духов-

ная реформа — должны будут составлять структуру книги. Нужно, чтобы конкретные программные пункты были включены в первую часть, то есть они должны быть представлены «драматически», как вытекающие из живого разговора, а не как холодное и педантичное собрание рассуждений.

Но возможна ли эта культурная реформа и, следовательно, гражданский подъем угнетенных слоев общества без предшествующих им экономической реформы и изменения их социального положения и их места в мире экономики? Духовная и нравственная реформа не может не быть связана с программой экономической реформы, более того, именно эта программа является конкретным способом проведения всякой духовной и нравственной реформы.

В своем развитии современный Государь опрокинет всю систему духовных и нравственных отношений, поскольку это развитие как раз и заключается в том, что всякое действие рассматривается как полезное или вредное, как достойное или преступное лишь в зависимости от того, является ли его отправным пунктом сам современный Государь и служит ли оно усилению его власти или противодействует ей. В человеческом сознании Государь займет место бога или категорического императива, станет основой движения за современную светскую культуру и окончательное придание светского характера всей жизни, всем обычаям и нравам.

Политика как наука

Основное нововведение, внесенное философией практики в политическую и историческую науку, сводится к доказательству того, что не существует абстрактной «человеческой природы», постоянной и неизменной (источками противоположной концепции являются, конечно, религиозное мышление и идеи трансцендентности), к утверждению того, что человеческая природа представляет собой совокупность исторически определенных социальных отношений, то есть является историческим фактом, подтверждаемым в определенных пределах методами филологии и критики. Поэтому конкретное содержание (а также логическое выражение) политики как науки нужно рассматривать как находящийся в раз-

витии организм Тем не менее следует отметить, что истолкование проблемы политики, которое дал Макиавелли (то есть содержащееся в его работах утверждение, что политика является самостоятельной областью деятельности с собственными принципами и законами, отличными от принципов и законов морали и религии,— утверждение, имеющее огромное философское значение, ибо в скрытом виде оно обновляет концепцию морали и религии, то есть обновляет мировоззрение в целом),— это истолкование продолжает оставаться дискуссионным и оспаривается даже в наши дни, не став еще «общепризнанной истиной». Что означает этот факт? Только ли то, что духовная и нравственная революция, элементы которой содержатся in писе* во взглядах Макиавелли, еще не осуществилась, еще не стала публичной, общепризнанной формой национальной культуры? Или же этот факт имеет лишь злободневное политическое значение, то есть позволяет выявить разрыв, существующий между правителями и управляемыми, указывает на существование двух культур — культуры правителей и культуры управляемых — и на то, что руководящий класс, подобно церкви, занимает особую позицию по отношению к рядовым людям, которая вызывается необходимостью, с одной стороны, не отрываться от них, а с другой стороны, поддерживать среди них убеждение, что Макиавелли — не что иное, как дьявольское навождение?

Таким образом, встает вопрос о значении, которое для своего времени имел Макиавелли, и о тех целях, которые он преследовал в своих книгах, особенно в «Государе». Во времена Макиавелли его доктрина не была чисто «книжной» доктриной, не была монополией изолированных мыслителей, книгой за семью печатами, распространенной лишь среди посвященных. Стиль Макиавелли — это не стиль сочинителей систематизированных трактатов, который был присущ средневековой или гуманизму; напротив, это стиль человека действия, человека, стремящегося вызвать действие, это стиль партийного «манифеста». «Моралистическая» интерпретация, принадлежащая Фосколо, является, конечно, ошибочной; несомненно, однако, что Макиавелли кое-что *разоблачал*, а не только занимался теоретизированием. Но ка-

* В зародыше (лат.).— Прим. перев.

кова была цель этих разоблачений? Нравственная или политическая? Обычно говорят, что выдвинутые Макиавелли нормы политической деятельности «применяются, но не провозглашаются»; что великие политики начинают с проклятий по адресу Макиавелли, с провозглашения себя антимаккиавеллистами именно для того, чтобы иметь возможность «свято» применять эти нормы. Не был ли сам Макиавелли плохим макиавеллистом, одним из тех, кто «знает игру» и безрассудно обучает ей, тогда как вульгарно понятый макиавеллизм учит поступать наоборот? Утверждение Кроче, что макиавеллизм как наука служит в одинаковой степени и реакционерам и демократам, подобно тому как искусство фехтования одинаково служит и дворянам и разбойникам, чтобы защищаться и убивать, и что именно в этом смысле нужно понимать оценку Фосколо, — это утверждение совершенно абстрактно. Сам Макиавелли отмечает, что вещи, о которых он пишет, применяются и всегда применялись великими историческими личностями; поэтому не видно, что Макиавелли хочет поучать уже осведомленных людей, ведь его стиль — это не стиль беспристрастной научной работы, и нельзя представить себе, чтобы Макиавелли пришел к своим основным положениям политической науки путем философских построений, что в этой специальной области выглядело бы для его времени чем-то вроде чуда, если даже сегодня все это вызывает столько возражений и споров.

Можно, следовательно, предполагать, что Макиавелли имел в виду «неосведомленного», что он преследовал задачу политической подготовки «неосведомленного» — не негативной политической подготовки тираноненавистников, как это истолковывается у Фосколо, а позитивной подготовки человека, который должен признать допустимыми определенные необходимые средства (даже если они свойственны тиранам), поскольку он преследует определенные цели. Тот, кто рожден в традиционной обстановке правителей, почти автоматически приобретает качества политика-реалиста благодаря всему комплексу воспитания, полученного им в окружающей его семейной среде, где господствуют династические или фамильные интересы. Кто же, следовательно, является «неосведомленным»? Революционный класс того времени, «народ», итальянская «нация», городская

демократия, выдвинувшая из своей среды Савонаролу и Пьера Содерини, а не Каструччо и Валентино²⁰. Можно считать, что Макиавелли стремится убедить эти силы в необходимости иметь «вождя», который знал бы, чего он хочет и как достичь того, чего он хочет, и признать этого вождя с энтузиазмом, даже если его действия будут противоречить (или казаться противоречащими) общераспространенной идеологии того времени — религии. Эта политическая позиция Макиавелли вновь повторяется в случае философии практики. Снова возникает необходимость быть «антимакиавеллистами», развивая теорию и технику политики, которые могут послужить двум борющимся сторонам, хотя, как полагают, в конце концов будут служить главным образом «неосведомленной» стороне, поскольку считается, что в ней заключается прогрессивная сила истории. В действительности удается быстро достигнуть одного определенного результата — разрушить единство, основывающееся на традиционной идеологии, без краха которой новая сила не смогла бы обрести сознания собственной независимой индивидуальности. Макиавеллизм послужил усовершенствованию как традиционной политической техники правящих консервативных групп, так и политики, вытекающей из философии практики. Это не должно скрывать его по существу революционный характер, который чувствуется даже сегодня, чем и объясняются все и всяческие проявления антимакиавеллизма — от антимакиавеллизма иезуитов до ханжеского антимакиавеллизма Паскуале Виллари²¹.

Политика как самостоятельная наука

Вопрос, который прежде всего нужно поставить и разрешить в исследовании о Макиавелли, — это вопрос о политике как самостоятельной науке, то есть о месте, которое политическая наука занимает или должна занимать в систематизированном (цельном и последовательном) мировоззрении, в философии практики.

В этом смысле действительный успех, достигнутый Кроче в работах о Макиавелли и о политической науке, заключается главным образом (равно как и в других областях критической деятельности Кроче) в развенчании ряда фальшивых, надуманных или неверно постав-

ленных проблем. Кроче исходит из своего принципа различия отдельных стадий в развитии духа и из признания стадии практики, стадии практического духа, который является самостоятельным и независимым, несмотря на то, что он связан циклически с действительностью во всей ее совокупности через диалектику различий. В философии практики принцип различия будет применен, конечно, не к ступеням Абсолютного духа, а к ступеням надстройки, и поэтому речь будет идти об установлении диалектической позиции для политической деятельности (и соответствующей ей науки) как определенной ступени надстройки: можно будет сказать в порядке предварительного замечания на подступах к разрешению вопроса, что именно политическая деятельность является первой ступенью или первой стадией, той ступенью, на которой надстройка находится еще в непосредственной фазе чистого, свободного утверждения — первоначального и неотчетливого.

В каком смысле можно отождествить политику и историю и, следовательно, бытие и политику? Каким образом в силу этого всю систему надстроек можно рассматривать как систему различий политики и, следовательно, как можно оправдать введение концепции различия в философию практики? Можно ли говорить о диалектике различий и как может быть понята концепция круга между ступенями надстройки? С этим вопросом надо связать концепцию «исторического блока», то есть концепцию единства между природой и духом (экономический базис и надстройка), единства противоречий и различий.

Можно ли применить критерий различия и по отношению к экономическому базису? Как нужно будет понимать экономический базис, каким образом в системе социальных отношений можно будет различать такие элементы, как «техника», «труд», «класс» и т. д., понимаемые исторически, а не «метафизически»? В связи с этим встает вопрос о критике позиции Кроче, который в полемических целях утверждает, что экономический базис становится «скрытым божеством», «ноуменом» в противоположность «внешним проявлениям» надстройки. Вопрос о «внешних проявлениях» рассматривается в метафорическом и в позитивном смысле. Почему «исторически» и в качестве манеры выражения можно го-

говорить о «внешних проявлениях»? Интересно отметить, как Кроче, исходя из этой общей концепции, развил свою особую теорию ошибки и практического источника ошибки. Для Кроче источник ошибки заключается в непосредственной «страсти», то есть носит индивидуальный или групповой характер; но чем порождается «страсть», имеющая более широкое историческое значение, «страсть» как «категория»? Непосредственная «страсть-интерес», являющаяся источником «ошибки», представляет собой то, что в «Тезисах о Фейербахе» носит название «schmutzig-jüdisch»^{*} интереса; но как «schmutzig-jüdisch» страсть-интерес приводит к непосредственной ошибке, так и страсть, присущая более широкой социальной группе, вызывает философскую «ошибку» (промежуточной между ними является ошибка-идеология, которой Кроче занимается отдельно). В ряду: «Эгоизм (непосредственная ошибка) — идеология — философия» важно общее понятие «ошибки», которое связано с различными ступенями страсти и которое следует понимать не в морализующем или доктринерском, а в чисто «историческом» и диалектическом смысле — в смысле того, «что является исторически отжившим и подлежит гибели». в смысле «незавершенности» всякой философии, в смысле «жизнь — смерть», «бытие — небытие», то есть в смысле диалектического предела, который должен быть преодолен в развитии.

Понятие «внешне проявляющийся», «внешнее проявление» означает именно это и ничего иного, кроме этого, и его следует отстаивать против догматизма, так как оно представляет собой утверждение того факта, что всякая идеологическая система подлежит гибели, наряду с утверждением исторической необходимости и закономерности всякой системы. («В идеологической области человек приходит к осознанию социальных отношений» — говорить так не означает ли утверждать необходимость и закономерность «внешних явлений»?!)

Выдвинутая Кроче концепция политики-страсти исключает партии, потому что нельзя представить себе организованную и непрерывно существующую «страсть»: непрерывная страсть есть условие оргазма и судорожного состояния, которое вызывает неспособность к дей-

^{*} Грязно-торгашеского (нем.). — Прим. перев

ствию. Она исключает партии и исключает всякий «план» конкретного, заранее намеченного действия. Однако партии существуют, а планы действия вырабатываются, применяются и зачастую почти целиком реализуются — следовательно, в концепции Кроче существует «изъясн».

Не следует говорить о том, что самый факт существования партий не имеет большого «теоретического» значения только потому, что выступающая в момент действия «партия» не является тем же самым, чем была ранее существовавшая «партия»; отчасти это может быть и верно, однако между двумя «партиями» существуют такие совпадения, что в действительности можно сказать, что речь идет об одном и том же организме.

Но теория будет иметь силу только в том случае, если ее можно применять также к «войне» и, следовательно, если с ее помощью можно объяснить существование постоянных армий, военных академий, офицерских корпусов. Ведь война на практике также является «страстью», самой сильной и лихорадочной, является моментом политической жизни, продолжением в иных формах определенной политики; следовательно, надо уметь объяснить, каким образом «страсть» может сделаться моральным «долгом» — и не в политическом, а в этическом смысле.

По поводу «политических планов», связанных с существованием партий как постоянных организаций, надо вспомнить высказывание Мольтке, говорившего, что при составлении военных планов предварительно могут быть выработаны только основная схема, общий план, а не детали, потому что частности в их осуществлении зависят в большой степени от передвижений противника. Страсть проявляется именно в частности, но это не значит, что принцип Мольтке должен оправдать теорию Кроче; во всяком случае, остается еще объяснить, к какому роду страсти относится «страсть» генерального штаба, который выработал план трезво и «бесстрастно».

Крочеанская концепция страсти как момента политики испытывает затруднения в объяснении и оправдании существования постоянных политических организаций, каковыми являются партии, и, в еще большей степени, национальные армии и генеральные штабы, потому что нельзя представить себе, чтобы страсть, вылившись

в постоянную организованную форму, не превратилась бы в рациональный фактор, в обдуманное суждение, то есть перестала бы быть страстью; выход из этого затруднения можно найти только путем отождествления политики и экономики. Политика представляет собой постоянную деятельность и порождает постоянно существующие организации именно постольку, поскольку она отождествляется с экономикой. Но она также и отличается от экономики, и поэтому можно отдельно говорить об экономике и политике и можно говорить о «политической страсти» как о непосредственном импульсе к действию, которое, рождаясь на «органической и постоянной» почве экономической жизни, превосходит ее, вводя в игру такие чувства и устремления, в накаленной атмосфере которых самый расчет человеческой жизни подчиняется законам, которые отличаются от законов, обеспечивающих выгоду индивидууму и т. д.

Наряду с заслугами современного «макиавелливедения», берущего свое начало от Кроче, необходимо отметить также вызванные им «преувеличения» и заблуждения. Так, вошло в обычай преувеличивать значение Макиавелли, рассматривая его как «политика вообще», как «ученого от политики», сохраняющего значение для всех эпох.

Макиавелли нужно рассматривать главным образом как необходимое выражение его эпохи, тесно связанное с ее условиями и потребностями, определявшимися, во-первых, борьбой внутри Флорентийской республики и особой структурой флорентийского государства, которому не удалось освободиться от муниципально-коммунальных пережитков, то есть от такой формы, которая стала феодальным тормозом; во-вторых, борьбой между итальянскими государствами за установление равновесия в пределах Италии, чему препятствовало существование папства и других феодальных муниципалистических пережитков, которые были присущи государству, имевшему тогда форму государства-города, а не территориального государства; в третьих, борьбой более или менее солидарных между собой итальянских государств за установление европейского равновесия, то есть противоречиями между необходимостью внутритальянского равновесия и потребностями европейских государств в борьбе за гегемонию.

На Макиавелли оказал влияние пример Франции и Испании, которые достигли сильного территориально-государственного единства; употребляя выражение Кроче, Макиавелли сделал «эллиптическое сопоставление» и выработал нормы для сильного государства вообще и для итальянского в частности. Макиавелли — с головы до ног человек своей эпохи, и его политическая наука олицетворяет в себе философию эпохи, которую отличала тенденция к образованию национальных абсолютистских монархий — той политической формы, которая создает возможность и облегчает последующее развитие производительных сил буржуазии. У Макиавелли можно найти *in pace* идеи разделения властей и идеи парламентаризма (представительного режима); его «ярость» обращена против пережитков феодального мира, а не против прогрессивных классов. Государь должен положить конец феодальной анархии — и именно это делает Валентино в Романье, опираясь на производительные классы, на купцов и крестьян.

Исходя из военно-диктаторского характера власти главы государства, который является необходимым в период борьбы за утверждение и консолидацию новой власти, указание классового характера, содержащееся в трактате «О военном искусстве», нужно рассматривать также применительно к общегосударственной структуре: городские классы, если они хотят положить конец внутренним беспорядкам и внешней анархии, должны опираться на крестьянскую массу, создавая надежную и верную вооруженную силу такого типа, которая абсолютно отлична от наемных отрядов. Можно сказать, что политическая по своему существу концепция оказывается у Макиавелли настолько доминирующей, что это приводит его к ошибкам военного характера: он думал главным образом о пехоте, массы которой могут быть набраны при помощи политической активности, и поэтому не признавал значения артиллерии.

Л. Руссо (в «Пролегоменах к Макиавелли»), правильно отмечая, что трактат «О военном искусстве» дополняет «Государя», не делает, однако, всех необходимых выводов из своего наблюдения. «О военном искусстве» Макиавелли также нужно рассматривать как произведение политика, который должен заниматься военным искусством; его односторонность (наряду с

Другими «курьезами» вроде теории фаланги, дающими повод для дешевых остроумий в духе самой распространенной из них, откопанной Банделло²²⁾ вытекает из того факта, что мысль и интересы Макиавелли концентрируются не на военно-техническом вопросе, которым он занимается лишь постольку, поскольку это необходимо для его политических построений. Несомненно, что с «Государем» нужно связать не только его трактат «О военном искусстве», но также и «Историю Флоренции», и ее нужно рассматривать как содержащую в себе анализ конкретных условий итальянской и европейской действительности, определивших те первоочередные задачи, которые изложены в «Государе».

От концепции Макиавелли, как наиболее связанной со своей эпохой, берет свое начало как нечто производное отличающаяся большим историзмом оценка так называемых «антимакиавеллистов» или по крайней мере наиболее «откровенных» из них. По существу речь идет не об антимакиавеллистах, а о таких политиках, которые выразили потребности или условия своей эпохи, отличавшиеся от тех, которые оказывали влияние на Макиавелли; полемическая форма является при этом чисто литературной случайностью. Типичной фигурой среди этих «антимакиавеллистов» является, по моему мнению, Жан Бодэн (1530—1596), который в 1576 году был депутатом Генеральных штатов от Блуа и добился того, что третье сословие отказалось предоставить субсидии, испрошенные для гражданской войны*.

Во время гражданских войн во Франции Бодэн выступает как представитель партии, называвшейся партией «политиков», которая исходила из национальных интересов, то есть из интересов внутреннего классового равновесия, при котором гегемония принадлежала третьему сословию, осуществлявшему ее через короля.

* Работы Бодэна: «*Methodus ad facilem historiarum cognitionem*» («Метод к легкому изучению истории»), 1566 год, в которой он выясняет влияние климата на форму государств, указывает на идею прогресса и т. д.; «*République*» («Республика»), 1576 год, в которой он выражает точку зрения третьего сословия на абсолютную монархию и ее отношения с народом; в «*Heptaplomeres*» («Семеро в одной партии»), увидевшей свет только в современную эпоху, он сравнивает все религии и оправдывает их существование в качестве различных выражений единственно разумной религии природы, в равной степени достойных внимания и терпимости.

Отнести Бодэна к «антимакиавеллистам» означало бы, на мой взгляд, сделать крайне легковесный, совершенно необдуманный вывод. Бодэн создает политическую науку во Франции на основе значительно более развитых и более сложных отношений по сравнению с теми, которые существовали в Италии при жизни Макиавелли.

Для Бодэна задача заключается не в том, чтобы создать единое национальное государство, охватывающее всю территорию страны (это означало бы возвращение к эпохе Людовика XI), а в необходимости достигнуть внутри этого государства — уже достаточно сильного и упрочившегося — равновесия борющихся социальных сил. Его интересует не проблема силы, а проблема согласия. В Бодэне олицетворяется тенденция к развитию абсолютной монархии: третье сословие, уже достаточно осознавшее свою силу и свое достоинство, прекрасно понимает, что судьба абсолютной монархии связана с его собственной судьбой и с его собственным развитием, и поэтому *обуславливает свою поддержку монархии рядом условий*, выдвигает собственные требования, стремится к ограничению абсолютизма. Во Франции учение Макиавелли служило уже интересам реакции, так как могло быть использовано для оправдания того, будто мир вечно будет оставаться в «колыбели» (по выражению Бертрандо Спавенты²³); поэтому, участвуя в полемике, нужно было занимать антимакиавеллистические позиции.

Нужно отметить, что в Италии во времена Макиавелли не существовало достаточно развитых и игравших сколько-нибудь значительную роль в национальной жизни страны представительных учреждений, подобных Генеральным штатам во Франции. Когда в наши дни высказывают тенденциозные замечания по поводу того, что парламентские институты были привнесены в Италию из-за границы, то при этом упускают из виду, что в этом факте отражается лишь отсталость и застойность политических и социальных условий Италии в XVI—XVII веках, вызванные в значительной степени преобладанием международных сил над парализованными и окостеневшими внутренними силами. Таким образом, в этот период государственная структура Италии в силу преобладания иностранцев оставалась полуфеодальной,

являясь объектом иностранного сюзеренитета. Не было ли это «оригинальной» чертой национального развития, изжитой в результате привнесения извне парламентских форм, которые, напротив, открыли путь национальному освобождению и переходу к образованию современного, независимого и единого национального государства?

Впрочем, представительные учреждения существовали в Италии, в особенности в Неаполе и в Сицилии, но их значение было крайне ограничено по сравнению с Францией вследствие незначительного развития третьего сословия в этих частях Италии; это явилось причиной того, что парламенты использовались баронами как средство для увековечения анархии, как орудие против реформаторских попыток монархии, которая была вынуждена опираться на городских «лаццарони» из-за неразвитости буржуазии *. Вполне понятно, почему задача и тенденция к соединению города и деревни могли быть выражены у Макиавелли лишь в военном аспекте; это говорит о том, что французское якобинство было бы невозможно, если бы предварительно не появилась теория физиократов, столь ярко показавшая, какую важную экономическую и социальную роль играет земледelec. Экономические взгляды Макиавелли исследовал Джинио Ариас (в «Аннали д'экономии» университета Боккони); но следует задуматься над тем, была ли вообще у Макиавелли экономическая теория. Вопрос сводится к тому, можно ли перевести политический по своему существу язык Макиавелли на язык экономических понятий и можно ли свести его политическую концепцию к определенной экономической системе. Нужно подумать над тем, не опередил ли Макиавелли, живший в период меркантилизма, свою эпоху в политическом отношении и не предвосхитил ли он некоторые требования, которые впоследствии нашли свое выражение у физиократов **.

* Надо снова просмотреть работу Антонио Панелла об «Антимакиавелистах», опубликованную в «Марцокко» в 1927 году (или даже в 1926 году?) в виде одиннадцати статей. Нужно посмотреть, как он оценивает Бодэна в сравнении с Макиавелли и как он вообще ставит проблему антимакиавелизма.

** Можно ли также представить себе Ж. Ж. Руссо без физиократов? Мне кажется, было бы неверно утверждать, что физиократы представляли одни лишь интересы сельского хозяйства и что только с появлением классической политэкономии получили свое выражение интересы городского капитализма. Учение физиократов

Элементы политики

Нужно подчеркнуть, что чаще всего предаются забвению как раз основные элементы, самые простые понятия, присущие политике; с другой стороны, повторяясь бесконечное число раз, они становятся опорой политики того, кто является необходимым для коллективного действия.

Первый элемент состоит в том, что действительно существуют правители и управляемые, руководители и руководимые. Все искусство и вся наука политики построены на этом первичном факте, от которого никуда не уйдешь (при известных общих условиях). Вопрос о его происхождении составляет самостоятельную проблему, требующую отдельного изучения (по крайней мере можно и нужно будет изучить эту проблему с целью выяснения, каким образом можно свести до минимума масштабы этого явления и даже полностью изжить его, изменяя некоторые идентичные условия, обнаруживающие свое воздействие в этом направлении). Но факт остается фактом: существуют руководители и руководимые, правители и управляемые. Исходя из существования этого факта, следует рассмотреть, каким образом можно осуществить наиболее эффективное руководство (при определенных целях), и в связи с этим — как можно наилучшим образом подготовить руководителей (в этом, точнее говоря, и состоит первая задача политики как науки и как искусства). С другой стороны, следует рассмотреть, как находить пути наименьшего сопротивления, то есть наиболее рациональные пути, обеспечивающие повиновение руководимых, или управляемых.

представляет собой разрыв меркантилизмом и с цеховым строем и было этапом на пути к классической политэкономии; и мне кажется, что именно поэтому физиократы выступали как представители некоего будущего общества — значительно более сложного по сравнению с тем обществом, против которого они боролись, и даже по сравнению с тем, которое непосредственно вырисовывается в их учении. Их манера выражения в очень большой степени определяется их эпохой и отражает конкретное противоречие между городом и деревней, но в ней заключено предвидение будущего внедрения капитализма в сельское хозяйство. Выражение *laissez faire, laissez passer*, то есть требование свободы промышленной деятельности и инициативы, конечно, не связано с аграрными интересами.

Основная предпосылка при подготовке руководителей заключается в следующем: желают ли, чтобы всегда существовали правители и управляемые, или же стремятся создать такие условия, при которых исчезнет необходимость в существовании этого разделения? Иными словами, исходят ли из предпосылки, что человечество вечно будет разделено, или же считают, что это деление является только преходящим историческим явлением, связанным с определенными условиями? Необходимо тем не менее отдавать себе ясный отчет в том, что деление на правителей и управляемых, если даже оно в конечном счете восходит к разделению на социальные группы, постоянно существует (если брать вещи такими, какими они являются на деле) даже в рамках одной и той же группы, хотя бы она и была однородной в социальном отношении; в известном смысле можно сказать, что это разделение является результатом разделения труда, техническим явлением. На совпадении этих моментов спекулируют те, кто видит во всем только «техническую» сторону, все сводит к «технической» необходимости и т. д., чтобы не рассматривать главную проблему.

Вследствие того, что даже в одной и той же группе существует деление на правителей и управляемых, возникает необходимость установить ряд непреложных принципов, а между тем именно на этой почве совершаются наиболее грубые «ошибки», которые проявляются в самой преступной неспособности и наиболее трудны для исправления. Считается, что если изложены принципы самой группы, то это должно автоматически обеспечить ей полную поддержку, и поэтому нет нужды отстаивать «необходимость» и разумность этих принципов. Более того, считается бесспорным (кое-кто убежден в этом и, что еще хуже, действует в соответствии с этим «убеждением»), что поддержка «придет», даже если не попросить о ней, даже если не намечен путь, по которому предстоит двигаться. Так, например, трудно вытравить присущий руководителям «кадорнизм»²⁴, то есть убеждение в том, что дело будет осуществлено только потому, что руководитель считает справедливым и разумным, чтобы оно было осуществлено; если этого не происходит — возлагается «ответственность» на того, кто «должен был бы...» и т. д. Так же трудно вытравить

преступные замашки, состоящие в том, что пренебрегают необходимостью избегать бесполезных жертв. В самом деле, всем известно, что провал коллективных (политических) действий происходит большей частью потому, что не пытаются избежать бесплодных жертв или не учитывают жертв других и играют чужими жизнями. Каждый знает из рассказов офицеров-фронтовиков, как солдаты действительно рисковали жизнью, когда это было очень необходимо, и, напротив, как солдаты бунтовали, когда видели, что их жизнями пренебрегают. Например, одна рота оказалась в состоянии голода много дней, так как видела, что продовольствие нельзя доставить в сложившейся обстановке, но она начинала бунтовать, если пища не выдавалась хотя бы один раз из-за невнимательности, бюрократизма и т. д.

Этот принцип распространяется на все действия, которые сопряжены с жертвами. В соответствии с этим принципом после любой неудачи необходимо прежде всего найти руководителей, несущих ответственность за поражение, имея в виду непосредственную ответственность. Например: фронт состоит из отдельных частей, и в каждой части имеются свои руководители; возможно, что руководители в одной части фронта несут за поражение большую ответственность, чем руководители другой. Однако это никогда не исключает ответственности каждого руководителя — речь идет только о большей или меньшей степени ответственности.

Если исходить из принципа, что существуют руководители и руководимые, правители и управляемые, то, несомненно, что «партии» до сих пор представляют собой самый удобный способ для выработки руководителей и навыков руководства («партии» могут выступать под самыми различными названиями, даже под вывеской антипартии и «отрицания партий»; но даже так называемые «независимые» («индивидуалисты») в действительности являются партийными людьми, только они хотели бы быть «вождями» милостью божьей или по глупости тех, кто следует за ними).

Развитие общего понятия, содержащегося в выражении «государственный дух». Это выражение имеет вполне точное, исторически определенное значение. Но возникает вопрос: существует ли что-либо подобное тому,

что называется «государственным духом», в любом серьезном движении, то есть в таком, которое не является лишь произвольным выражением индивидуализма (более или менее обоснованного) отдельных лиц, а более или менее [исторически] оправданно? В то же время понятие «государственного духа» предполагает «непрерывность» как по отношению к прошлому (через сохранение традиции), так и по отношению к будущему, то есть предполагает, что всякое действие составляет определенный момент в цепи сложного процесса, который начался в прошлом и которому предстоит развиваться в будущем. Нести ответственность за этот процесс, за участие в этом процессе, за солидарность с силами, материально «невидимыми», но ощущаемыми как деятельные, активные и принимаемые в расчет, как если бы они были «материальными» и физически ощутимыми,— вот что именно называют в определенных случаях «государственным духом».

Очевидно, что такое понимание «длительности» движения должно носить конкретный, а не абстрактный характер, то есть в известном смысле не должно переходить определенные границы. Предположим, что наиболее узкими границами служат предшествующее и будущее поколение, а это уже не мало, ибо поколения исчисляются не тридцатью годами до или тридцатью годами после сегодняшнего дня, их надо понимать органически, исторически. Что представляет собой поколение с исторической точки зрения, с точки зрения его органических черт, легко понять по крайней мере на примере отношения к старому поколению: мы солидарны с людьми, ставшими уже глубокими стариками и олицетворяющими в себе «прошлое», которое еще живо среди нас, которое нужно знать, с которым нужно свести счеты, которое является одним из элементов настоящего и одной из предпосылок будущего. Соответствующим образом мы относимся также к детям, к возникающим, растущим поколениям, за которые мы несем ответственность. (К этому не имеет отношения культ «традиции», который носит тенденциозный характер, включает в себя отбор и определенную цель, то есть является базой идеологии.) Но если можно говорить, что «государственный дух» в таком его понимании присущ всем, то необходимо время от времени бороться против его извращений и уклонений от него.

Существует «жест ради жеста», «борьба ради борьбы» и т. п. и, в особенности, убогий и мелочный индивидуализм, который является прихотливой формой удовлетворения минутных порывов и т. п. (В действительности все это лишь разновидности итальянской «аполитичности», принимающей различные живописные и причудливые формы.) Индивидуализм есть лишь выражение звериной аполитичности; в сектантстве также выражается «аполитичность» — и действительно, при его внимательном рассмотрении, оно оказывается формой личного «покровительства», поскольку при этом отсутствует партийный дух, являющийся основным элементом «государственного духа». Показать, что партийный дух является основным элементом государственного духа — в этом состоит одна из актуальных и особенно важных задач, подлежащих разрешению. Напротив, «индивидуализм» — это нечеловеческая, звериная черта, «восхищающая иностранцев», подобно тому как вызывают восхищение повадки обитателей зоологического сада.

Политическая партия

Выше уже отмечалось, что если бы в современную эпоху был написан новый «Государь», то его главным действующим лицом была бы не героическая личность, а определенная политическая партия, которая — в различные времена и при различных внутренних отношениях различных наций — стремится к основанию нового типа государства (будучи сознательно и с исторической необходимостью основана для этой цели).

Следует обратить внимание на то, что там, где устанавливаются тоталитарные режимы, традиционная функция института верховной власти присваивается на деле определенной партией, которая является тоталитарной именно потому, что выполняет эту функцию. Хотя всякая партия является выразителем интересов социальной группы и только одной определенной социальной группы, тем не менее определенные партии при известных условиях представляют интересы такой группы, поскольку они осуществляют равновесие и выполняют роль арбитра между интересами собственной группы и других социальных групп, а также заботятся о том, чтобы развитие представляемой ими группы шло при согласии и с помощью союз-

ных ей социальных групп, если они не являются прямо, решительно враждебными ей группами. Конституционная формула, определяющая положение короля (или президента республики) — «царствует, но не управляет», — представляет собой юридически оформленное выражение этой арбитражной функции, выражение заботы конституционных партий о том, чтобы не «разоблачать» корону или президента. Содержащееся в конституции положение о том, что глава государства не несет ответственности за действия правительства, и положение о министерской ответственности представляет собой казуистическое выражение общего принципа, состоящего в защите концепции государственного единства, концепции согласия управляемых с государственной деятельностью вне зависимости от того, кто входит в состав правительства и какая партия находится у власти.

При господстве тоталитарной партии эти конституционные положения теряют свое значение и деятельность функционировавших в соответствии с ними институтов ослабевает. Однако выполнение этой функции арбитра берет на себя тоталитарная партия, превозносящая абстрактную концепцию «государства» и старающаяся различными способами создать впечатление того, будто функция «беспристрастной силы» осуществляется действительно и эффективно.

Является ли необходимым политическое действие (в узком смысле), чтобы можно было говорить о «политической партии»? Можно отметить, что во многих странах современного мира органические, основные партии вследствие необходимости вести политическую борьбу или по другим соображениям разбиты на фракции, каждая из которых именует себя «партией» и даже независимой партией. Поэтому часто случается, что духовный генеральный штаб органической партии не принадлежит ни к одной из таких фракций, а действует так, как если бы он был самостоятельно существующей руководящей силой, стоящей над партиями; и подчас люди этому даже верят. Эту функцию можно очень точно изучить, если исходить из того, что газета (или ряд газет), журнал (или ряд журналов) являются также «партиями» или «партийными фракциями» или выполняют «функцию определенной пар-

тии». В этой связи следовало бы подумать о той функции, которую «Таймс» выполняет в Англии, которая принадлежала «Коррьере делла сэра» в Италии, а также о той функции, которую выполняет так называемая «информационная» и «аполитичная» и даже спортивная и техническая печать. Впрочем, это явление обнаруживает очень интересные черты в таких странах, где безраздельно господствует тоталитарная партия, ибо такая партия не выполняет больше чисто политических функций — она выполняет теперь только технические, пропагандистские и полицейские функции, а также функции нравственного и культурного воздействия. Политическая функция выполняется в таком случае косвенным путем, потому что если отсутствуют другие легальные партии, то всегда существуют некоторые фактические партии и тенденции, которые нельзя подавить легальным путем; полемика и борьба против них напоминает игру в жмурки. Во всяком случае, несомненно одно, что в тоталитарных партиях преобладают культурные функции, порождающие политический жаргон, то есть политические вопросы облачаются в культурные формы и как таковые становятся неразрешимыми.

Но одна традиционная партия имеет по существу «косвенный» характер, то есть она прямо, откровенно выступает как партия, выполняющая чисто «воспитательную» («*lucis*» и др.), морализующую, культурную (*sic*) роль. Речь идет о либертаристском * движении, причем даже так называемое прямое действие (террор) рассматривается как «пропаганда» примером. Это в еще большей степени может укрепить мнение о том, что либертаристское движение не является самостоятельным, а существует на периферии других партий с целью их «воспитания». Можно говорить о том, что либертаризм присущ любой органической партии. (Что представляют собой «интеллектуальные или мыслящие либертарии **», как не один из аспектов такой «периферийной деятельности» по отношению к крупным партиям господствующих социальных групп?) Сама секта приверженцев «экономизма»²⁵ была историческим аспектом этого явления.

Таким образом, выявляются две формы «партии», сво-

* Анархистском.— *Прим. перев.*

** Анархисты.— *Прим. перев.*

дящей непосредственное политическое действие к голой абстракции. Во-первых, она может представлять собой *élite* деятелей культуры, функции которых заключаются в том, чтобы с точки зрения культуры, с точки зрения общих идеологических принципов осуществлять руководство огромным движением родственных между собой партий (которые являются в действительности фракциями одной и той же органической партии). Во-вторых, в более близкий период такая партия представляет собой не *élite*, а массовую партию, причем политическая роль массы заключается только в том, что она должна (подобно армии) во всем следовать и доверять открытому или скрытому политическому центру (открытый политический центр часто является механизмом управления в руках тех сил, которые стремятся остаться в тени и действуют косвенно, через посредников и через «посредническую идеологию»). Масса служит здесь попросту «маневренной силой», и ее «занимают» моральными наставлениями, сентиментальными внушениями, мессианскими мифами о наступлении легендарной эпохи, во время которой сами собой будут разрешены все бедствия, устранены все противоречия современности.

Чтобы написать историю политической партии, в действительности приходится решать целый ряд проблем, значительно более сложных, чем думает, например, Роберто Михельс, хотя он и считается специалистом в этой области. Что должна представлять собой история партии? Должна ли она быть простым повествованием о внутренней жизни политической организации, о ее возникновении, о первых группах, на основе которых она образовалась, об идеологической борьбе, в которой формируется ее программа и ее мировоззрение? Будь это так, получилась бы история ограниченных групп интеллигенции, а чего доброго и политическая биография отдельной личности. Поэтому рамки картины должны быть более широкими и вместительными.

История партии должна быть историей определенной массы людей, которые следуют за инициаторами, поддерживая их своим доверием, своей преданностью, своей дисциплиной, или «реалистически» критикуют их, оставаясь пассивными (к начинаниям инициаторов) или вовсе рассеиваясь. Но следует ли рассматривать эту массу как состоящую только из членов партии? Достаточно ли будет

проследить историю съездов, результаты голосования и т. д., то есть всю совокупность деятельности во всех ее формах, в которых партийная масса проявляет свою волю? Совершенно очевидно, что следует также принимать в расчет ту социальную группу, выразителем интересов и передовой частью которой является партия, иными словами, история партии не может не быть историей определенной социальной группы. Но эта группа не существует изолированно — у нее есть друзья, родственные ей группы, противники и враги. Только сложная картина всего комплекса социальных, государственных (а часто также и международных) отношений дает правильное представление об истории определенной партии. Поэтому можно сказать, что написать историю партии — значит написать с определенной монографической точки зрения историю страны в целом, выделяя ее наиболее характерную сторону. Партия имеет большее или меньшее значение и влияние именно в зависимости от того, в какой степени ее собственная деятельность отражает и предопределяет весь ход исторического развития страны. Таким образом, самый метод написания истории партии показывает, каков взгляд ее автора на вопрос о том, что представляет собой партия и чем она должна быть. У сектанта вызывают воодушевление незначительные факты внутрипартийной жизни, которые имеют для него тайный смысл и наполняют его мистическим энтузиазмом. Историк, определяя значение каждого фактора и события в рамках общей картины, уделяет, однако, главное внимание реальной боеспособности партии, направляющей силе ее воздействия, позитивного и негативного, благодаря которой она внесла свой вклад в осуществление одних и предотвращение других событий.

Вопрос о том, когда можно считать партию сформировавшейся, то есть имеющей ясную и постоянную цель, вызывает оживленную полемику и часто, к сожалению, порождает даже партийную спесь, не менее смешную и опасную, чем «национальная спесь», о которой писал Вико. Действительно, можно сказать, что партия никогда не будет окончательно оформлена в том смысле, что историческое развитие выдвигает новые задачи и обязанности, а также в том смысле, что по отношению к некоторым партиям применим тот парадокс, что окончательное оформление и завершение развития этих партий произой-

дет тогда, когда они прекратят свое существование, то есть когда они станут исторически бесполезными. Так, поскольку каждая партия является принадлежностью класса, очевидно, что партия, стремящаяся уничтожить деление на классы, достигнет самой высшей и совершенной формы своего развития тогда, когда перестанет существовать, потому что перестанут существовать классы, а следовательно, и выразители их интересов. Но здесь необходимо указать на особый момент в этом процессе развития, наступающий вслед за тем моментом, когда партия может существовать, а может и не существовать в том смысле, что необходимость ее существования не стала еще «безусловной» и зависит в «огромной степени» от существования личностей с исключительной силой воли и с исключительной целеустремленностью.

Когда партия становится исторически «необходимой»? Тогда, когда условия ее «триумфа», ее неизбежного превращения в правительственную партию находятся по крайней мере в стадии формирования и позволяют с уверенностью предвидеть их последующее развитие. Но можно ли при этих условиях утверждать, что партию не смогут уничтожить обычными средствами? Для ответа на этот вопрос нужно развить следующий тезис: для того чтобы существовала партия, необходимо добиться слияния воедино трех основных элементов (то есть групп элементов).

1) Наиболее распространенный элемент — обычные, средние люди. Их вклад состоит не в привнесении творческого духа или духа высокой организации, а в их дисциплинированности и преданности. Несомненно, что без них партия не могла бы существовать, но также несомненно, что партия не могла бы существовать, если бы состояла «только» из них. Они представляют собой силу постольку, поскольку есть кому обеспечить их централизацию, организацию и дисциплинированность: если бы не было этой связующей силы, они раздробились бы на бесчисленные частицы, обессилили друг друга и бесследно исчезли. Нельзя отрицать, что каждый из этих людей может стать одной из таких связующих сил; но в качестве таковых о них говорят именно тогда, когда они не являются такой силой и не в состоянии быть ею; или же если они и являются такой силой, то только в узких гра-

никах, что не имеет политического значения и остается без последствий.

2) Главный связующий элемент, осуществляющий централизацию в национальном масштабе и делающий эффективной и мощной совокупность тех сил, которые, будучи предоставлены самим себе, оказались бы равными нулю или немногим больше того. Этот элемент обладает мощной связующей силой — централизующей, дисциплинирующей и даже (вероятно, в силу этих качеств) изобретательной (если рассматривать «изобретательность» в определенном направлении, в соответствии с определенной расстановкой сил, с определенными перспективами, а также с определенными предпосылками).

Конечно, партия также не могла бы сформироваться только из одного этого элемента; тем не менее это формирование обеспечивалось бы им в большей мере, чем первым из рассматриваемых элементов.

Принято говорить о генералах без армии, но в действительности значительно легче создать армию, чем вырастить генералов. Также бесспорно, что уже существующая армия разрушается, если она оказывается без генералов. Между тем, если существует группа военачальников, умеющих сотрудничать между собой, хорошо понимающих друг друга и стремящихся к общим целям, то дело не станет и за созданием армии даже там, где ее вовсе не существует.

3) Средний элемент, который соединил бы первый элемент со вторым, который установил бы контакт между ними не только в «физическом», но также в нравственном и духовном отношениях. В действительности для каждой партии существуют «определенные пропорции» между этими тремя элементами, и максимальный эффект достигается тогда, когда такие «определенные пропорции» претворяются в жизнь. Исходя из этих соображений, можно сказать, что партию нельзя уничтожить обычными средствами в том случае, когда существует в качестве необходимого условия второй элемент, чье возникновение связано с существованием объективных материальных условий, пусть еще непрочных и неустойчивых (если второй элемент отсутствует, всякое рассуждение бессмысленно), и когда вследствие этого не могут не сформироваться два других элемента, то есть первый, который, в свою очередь,

неизбежно создает третий как свое продолжение и как средство собственного выражения.

Для того чтобы все это осуществилось, должно сложиться твердое убеждение, что определенное разрешение назревших проблем является необходимостью. Без этого убеждения не сможет образоваться второй элемент, который легче всего разбить из-за его немногочисленности; но необходимо, чтобы этот элемент, даже в случае, если он будет разбит, оставил после себя фермент, который позволил бы ему снова возродиться. Но где этот фермент сможет лучше прижиться и лучше сформироваться, как не в первом и третьем элементах, которые, очевидно, наиболее однородны со вторым? Поэтому основная деятельность второго элемента должна быть направлена на создание такого фермента. Критерием в оценке второго элемента должна служить, во-первых, его реальная деятельность вообще, а во-вторых, его подготовка, связанная с возможностью его разрушения. Трудно сказать, какой из этих моментов является более важным. Поскольку в борьбе всегда нужно предвидеть возможное поражение, подготовка собственных преемников имеет столь же важное значение, как и то, что делается непосредственно для победы.

По поводу партийной «спеси» можно сказать, что она еще опаснее, чем «национальная спесь», о которой писал Вико. Почему? Потому что нация не может не существовать, и в самом факте ее существования всегда можно обнаружить (даже проявляя добрые намерения и приводя убедительные доказательства) веление судьбы и особый глубокий смысл. Партия же может прекратить свое существование по собственной воле. *Никогда* не нужно забывать, что в борьбе между нациями каждая из наций заинтересована в том, чтобы другая была ослаблена внутренней борьбой, и что партии являются как раз участниками этой борьбы. Следовательно, всегда может возникнуть вопрос, существуют ли партии благодаря своим собственным силам, в силу собственной необходимости или, наоборот, только потому, что в этом заинтересованы другие (и действительно, в полемике этот момент никогда не упускается из виду; напротив, он даже настойчиво подчеркивается, особенно тогда, когда дается такой ответ, который не оставляет сомнений; а это и означает, что вопрос этот возбуждал и оставлял сомнения). Но тот, кто

стал бы мучиться этим сомнением, был бы, конечно, дураком. В политическом отношении этот вопрос имеет лишь кратковременное значение. В истории так называемого национального вопроса бесчисленное число раз имело место иностранное вмешательство в пользу тех национальных партий, которые боролись против внутренних устоев враждующих государств, так что, когда говорят, например, о «восточной» политике Кавура, следует подумать о том, шла ли речь о «политике», то есть о постоянной линии поведения, или о ловком ходе, сделанном в определенный момент и рассчитанном на ослабление Австрии в предвидении войны 1859 и 1866 годов. Точно так же в мадзинистских движениях в начале 1870 года (например, в деле Барсанти ²⁶) усматривают вмешательство Бисмарка, который, предвидя войну с Францией и опасность итало-французского союза, надеялся с помощью внутренних конфликтов ослабить Италию. В событиях, происшедших в июне 1914 года некоторые также видят вмешательство австрийского генерального штаба в связи с предстоящей войной. Как видим, казуистические приемы весьма многочисленны, поэтому по данному вопросу нужно иметь ясную точку зрения. Если признать, что все, что кто-то делает, всегда идет кому-то на пользу, то в таком случае важно всеми способами стремиться действовать на пользу самому себе, то есть добиваться полной победы. Во всяком случае, нужно с презрением отвергать партийную «спесь» и вместо нее опираться на конкретные факты. Кто исходит не из конкретных фактов, а из партийной «спеси» и руководствуется ею в политике, тот, бесспорно, заставляет усомниться в себе, как в серьезном политике. Излишне добавлять, что партии должны избегать такого положения, когда их действия, пусть даже «оправданные», выглядели бы как игра на руку кому-то другому (особенно если этот «кто-то» — иностранное государство), но если кто-либо попытается спекулировать на этом, то тут уже ничего не поделаешь.

Трудно допустить, чтобы какая-либо политическая партия (представляющая господствующую группу, а также и подчиненные социальные группы) не выполняла также и полицейскую функцию, то есть функцию защиты определенного узаконенного политического порядка.

Показав это со всей отчетливостью, вопрос следует поставить по-другому, а именно как вопрос о тех путях и о

тех способах, с помощью которых осуществляется эта функция. Что лежит в ее основе — репрессии или убеждение, носит ли она реакционный или прогрессивный характер? Выполняет ли данная партия свою полицейскую функцию с целью сохранения порядка, который является внешним, чуждым живым силам истории и сковывает их развитие, или эти ее действия продиктованы стремлением поднять народ на новую ступень цивилизации, политическое и правовое устройство которой составляет ее программную цель? В самом деле, закон находит тех, кто его нарушает, во-первых, среди реакционных социальных элементов, которых он лишил власти; во-вторых, среди прогрессивных элементов, которых закон подавляет; в-третьих, среди тех элементов, которые не достигли того уровня цивилизации, который закон может представлять. Поэтому выполняемая партией полицейская функция может быть прогрессивной и регрессивной: она прогрессивна, когда направлена на то, чтобы удерживать в рамках законности реакционные силы, отрешенные от власти, и поднять на уровень новой законности отсталые массы; она регрессивна, когда стремится подавить живые силы истории и сохранить уже превзойденную, антиисторическую законность, ставшую чуждой массам. А в остальном отличительным критерием какой-либо партии служит характер ее деятельности: если партия является прогрессивной, она выполняет эту функцию «демократически» (в смысле демократического централизма); если партия является регрессивной, она выполняет эту функцию «бюрократически» (в смысле бюрократического централизма). Во втором случае партия представляет собой простого нерассуждающего исполнителя, она является (в техническом отношении) полицейской организацией и ее название — «политическая партия» — представляет собой простую метафору, носящую мифологический характер.

Промышленники и аграрии

Возникает вопрос, имеют ли крупные промышленники собственную постоянно существующую политическую партию? По-моему, ответ должен быть отрицательным. Крупные промышленники используют время от времени все существующие партии, но у них нет собственной политической партии. Однако их ни в коей мере нельзя считать

«агностиками» или «аполитичными»: они заинтересованы в сохранении определенного равновесия, которого они достигают именно тем, что время от времени поддерживают своими средствами в изменчивой обстановке политической борьбы ту или иную политическую партию (за исключением, разумеется, антагонистической партии, усилению которой они не могут способствовать даже по тактическим соображениям). Но, конечно, если все это происходит в условиях «нормальной» жизни, то в случаях исключительных — а таких случаев, как, например, война, в национальной жизни бывает считанное количество — партией крупных промышленников становится партия аграриев, которые в отличие от первых обладают собственной постоянно существующей партией. Пример, подтверждающий это замечание, можно обнаружить в Англии, где консервативная партия поглотила либеральную, которая, казалось бы, выступала как традиционная партия промышленников.

Английская действительность с ее крупными тред-юнионами объясняет этот факт. Действительно, в Англии формально не существует партии, которая была бы серьезным противником для промышленников, но там существуют массовые рабочие организации, и можно наблюдать, как в определенные, решающие моменты они преобразуются (в рамках конституции) снизу доверху, разбивая бюрократическую оболочку (например, в 1919 и 1926 годах). С другой стороны, имеется постоянная и глубокая общность интересов аграриев и промышленников (особенно теперь, когда протекционизм сделался всеобщим, распространившись и на сельское хозяйство и на промышленность), и бесспорно, что аграрии в «политическом» отношении организованы значительно лучше, чем промышленники, больше привлекают интеллигентов, более «постоянны» в своих директивах и т. д.

Интересно, что представляли собой и какова была судьба таких традиционных «промышленных» партий, как английская «либерально-радикальная», французская «радикальная» (которая, правда, всегда резко отличалась от первой) и блаженной памяти итальянская «радикальная» партия? Они представляли собой переплетение крупных и мелких кланов и отнюдь не являлись выразителями интересов какого-нибудь одного крупного класса; отсюда разнообразные формы их становления и распада. «Манев-

ренной силой» в таких партиях служила мелкая буржуазия, которая оказалась при таком переплетении в постоянно изменяющихся условиях, угрожавших ей полной трансформацией. Сегодня она служит маневренной силой для «демагогических партий», и это понятно.

В общем можно сказать, что самое важное и плодотворное значение для выявления причин трансформации этих партий имеет сравнение условий различных стран. Это относится также к полемике между партиями «традиционалистских» стран, то есть таких, в которых эти партии представляют собой «отрывки» всего исторического «каталога».

При оценке того или иного мировоззрения, и в особенности тех или иных практических действий, нужно прежде всего исходить из следующего критерия: можно ли рассматривать мировоззрение или практическую деятельность как совершенно «изолированные» и «независимые» от жизни общества или же это неверно, и мировоззрение и практическую деятельность следует рассматривать как «интеграцию», усовершенствование, противовес и т. п. по отношению к другому мировоззрению или другим практическим позициям? Если вдуматься, то станет очевидным, что этот критерий играет решающую роль в правильной оценке идейных и практических движений, а также имеет немалое непосредственное практическое значение.

Одним из наиболее распространенных предрассудков является вера в то, что все существующее является «естественным», что оно не может не существовать и что предпринимаемые попытки искоренить зло не смогут прервать течение жизни, потому что традиционные силы будут продолжать действовать и именно поэтому обеспечат сохранение существующего. Конечно, подобное рассуждение содержит известную долю истины, и горе, если бы было иначе! Тем не менее дальше известных границ такой образ мышления становится опасным, так как в ряде случаев приводит к вреднейшей политике; во всяком случае, существует указанный выше и имеющий действительную силу критерий, необходимый для философских, политических и исторических оценок.

Конечно, если углубиться в суть дела, то можно увидеть, что определенные движения рассматривают самих

себя только как побочные, то есть предполагают существование главного движения, к которому они присоединяются, чтобы излечить некоторые предполагаемые или действительные язвы; иными словами, эти движения являются чисто реформаторскими. Этот принцип важен в политическом отношении, так как теоретически правильный тезис, согласно которому каждый класс имеет только одну партию, подтверждается тем фактом, что в решительные моменты различные политические группировки, каждая из которых выступала как «независимая» партия, объединяются, образуя единый блок. Таким образом, тот факт, что ранее существовали многочисленные группировки, носил лишь «реформистский» характер, то есть многочисленность этих группировок была связана с тем, что они занимались частными вопросами; в известном смысле существовало разделение политического труда (полезное в известных рамках); но каждая группа предполагала существование другой, так что в решающие моменты, то есть именно тогда, когда борьба развертывалась по главным вопросам, устанавливалось единство, оформлялся блок. Отсюда следует вывод, что при создании партий за основу следует брать «монолитность», а не второстепенные вопросы; следовательно, необходимо внимательно следить за тем, чтобы существовала неразрывная связь между руководителями и руководимыми, вождями и массой. Если в решающие моменты вожди переходят в их «подлинные партии», массы оказываются обезглавленными, инертными, бессильными. Можно сказать, что ни одно подлинное движение не может внезапно обрести сознание своей цельности — это достигается только в результате приобретения им опыта, когда оно убедится на фактах, что все сущее существует не потому, что оно естественно (в том извращенном смысле, который придается этому слову), а потому, что налицо определенные условия, исчезновение которых вызывает соответствующие последствия. Таким образом, движение совершенствуется, теряет черты стихийности, «симбиоза», становится действительно независимым в том смысле, что оно создает предпосылки, необходимые для достижения определенных последствий, и что в создание таких предпосылок оно вкладывает все свои силы.

Некоторые теоретические и практические аспекты „экономизма“

«Экономизм» — теоретическое движение в защиту свободной торговли (либеризм) — теоретический синдикализм.

Следует рассмотреть, в какой степени теоретический синдикализм ведет свое происхождение от философии практики и в какой степени — от экономических доктрин, обосновывающих необходимость свободы торговли, то есть в конечном счете от либерализма. Следует поэтому выяснить, не является ли экономизм в его наиболее завершенной форме прямым продолжением либерализма, продолжением, имевшим даже при своем возникновении, чрезвычайно слабую и, во всяком случае, только поверхностную, чисто терминологическую связь с философией практики.

С этой точки зрения следует рассматривать полемику между Эйнауди ²⁷ и Кроче *, вызванную новым предисловием (1917 года) к работе Кроче «Исторический материализм и марксистская экономия». Выдвинутое Эйнауди требование о необходимости принимать в расчет литературу по экономической истории, вызванную к жизни английской классической политэкономией, можно удовлетворить, указывая, что эта литература благодаря поверхностному смешению с философией практики породила экономизм; поэтому когда Эйнауди критикует (откровенно говоря, неточно) некоторые экономистские извращения, он делает не что иное, как бросает камни в собственную голубятню. Связь между идеологией свободной торговли и идеологией теоретического синдикализма проявляется особенно отчетливо в Италии, где известно о том восхищении, которое синдикалисты вроде Ланцилло и К^о питают по отношению к Парето ²⁸. Однако по своему смыслу эти тенденции весьма различны: первая присуща господствующей и руководящей социальной группе; вторая — социальной группе, которая еще подчинена, еще не обрела сознания своей силы, своих возможностей и путей своего развития и поэтому еще не в состоянии выйти из стадии примитивизма.

В своих установках движение за свободную торговлю базируется на теоретической ошибке, практический источ-

* См. «Риформа социале» за июль — август 1918 года, стр. 415.— *Прим. ит. ред.*

ник которой установить нетрудно: она базируется на различии между политическим и гражданским обществом, которое из методического различия было превращено в органическое и представлено в качестве такового. Так, например, утверждают, что экономическая деятельность свойственна гражданскому обществу и что государство не должно вмешиваться в его регламентацию. Но так как в реальной действительности гражданское общество и государство отождествляются, то необходимо отметить, что защита свободной торговли также представляет собой «регламентацию» государственного характера, введенную и сохраняемую путем законодательства и принуждения; она является осуществлением сознательного стремления к собственным целям, а не стихийным, автоматическим выражением экономического давления. Поэтому защита свободной торговли является политической программой, ставящей своей целью изменить (поскольку ему удалось восторжествовать) руководящие кадры и экономическую программу самого государства, то есть изменить распределение национального дохода.

По-иному обстоит дело с теоретическим синдикализмом, поскольку он относится к подчиненной группе, для которой невозможно, руководствуясь этой теорией, сделаться когда-либо господствующей, выйти в своем развитии за пределы экономико-корпоративной фазы, чтобы подняться на ступень этико-политической гегемонии в гражданском обществе и стать господствующей в государстве. Что касается защиты свободной торговли, то здесь мы имеем дело с определенной фракцией руководящей группы, которая хочет изменить не структуру государства, а только направление политики, хочет произвести реформу торгового законодательства и только косвенным образом — законодательства промышленного (ибо бесспорно, что протекционизм, особенно в странах с узким, малоемким рынком, ограничивает свободу промышленной инициативы и оказывает нездоровое содействие зарождению монополий); речь здесь идет о постоянном чередовании партий, образующих правительство, а не о создании и организации нового политического общества и тем более — нового типа гражданского общества.

Вопрос о движении теоретического синдикализма более сложен. Бесспорно, что в этом движении независимость и самостоятельность подчиненной группы, провоз-

глашающей себя его поборницей, принесены в жертву интеллектуальной гегемонии господствующей группы, потому что именно теоретический синдикализм представляет собой не что иное, как один из аспектов либеризма, оправдываемого несколькими искаженными (и потому сделавшимися банальными) положениями философии практики. Как и почему приносится эта «жертва»? Она сводится к тому, что исключается возможность преобразования подчиненной социальной группы в господствующую, или потому, что эта проблема вообще даже не ставится (фабианство, Де Ман, значительная часть лейбористов), или потому, что она выдвигается в неподходящей и недейственной форме (социал-демократические тенденции в целом), или же потому, что принимают за постулат скачок непосредственно от строя, при котором существуют социальные группы, к такому строю, который характеризуется полным равенством и синдикальной экономикой.

По меньшей мере странным является отношение экономизма к различным проявлениям воли, активным действиям, политической и духовной инициативе, как будто бы они не являются органическим порождением экономической необходимости и — более того — единственным действенным проявлением экономики. Точно так же ни с чем не сообразно, чтобы конкретная постановка вопроса о гегемонии истолковывалась таким образом, как факт, вызывающий подчинение группы-гегемона. Бесспорно, гегемония предполагает, что будут учтены интересы и тенденции тех социальных групп, над которыми будет осуществляться гегемония, что возникнет определенное компромиссное равновесие, то есть что руководящая группа пойдет на жертвы экономико-корпоративного характера; но также бесспорно, что такие жертвы и такой компромисс не могут касаться основ, потому что если гегемония является этико-политической, то она не может не быть также и экономической и ее основой не может не служить та решающая функция, которую руководящая группа осуществляет в решающей области экономической деятельности.

Экономизм принимает много других форм, помимо либеризма и теоретического синдикализма, в том числе различные формы избирательного абсентеизма (типичным примером его служит абсентеизм клерикалов в Италии после 1870 года; с начала XX века и вплоть до 1919 года

и до образования «народной партии» он все более ослабевал. Органическое различие, которое клерикалы делали между узаконенной и реальной Италией, воспроизводило различие между областью экономики и областью законов и политики); абсентеизм принимает многообразные формы в том смысле, что он может проявляться как «полуабсентеизм», абсентеизм «на одну четверть» и т. д. С абсентеизмом связана формула — «чем хуже — тем лучше», а также принцип так называемой парламентской «непримиримости», присущий некоторым парламентским фракциям. Экономизм не всегда враждебно относится к политической деятельности и политической партии, которую он рассматривает, однако, как простую просветительную организацию синдикалистского типа. Отправным пунктом для изучения экономизма и для понимания взаимоотношений между экономической структурой и надстройками должно служить то место из «Нищеты философии», где говорится, что при развитии социальной группы важное значение имеет период, во время которого отдельные члены профсоюза борются уже не только за свои экономические интересы, но и ради защиты и развития самой организации*.

Надо вспомнить вместе с тем о содержащемся в двух письмах Энгельса, посвященных философии практики (они опубликованы также на итальянском языке²⁰, утверждение, что экономика только «в конечном счете» служит движущей пружиной истории; это утверждение должно быть прямо связано с тем местом в предисловии «К критике политической экономии», где говорится, что кон-

* Надо найти точное выражение. «Нищета философии» представляет собой важный момент в формировании философии практики. Эту работу можно рассматривать как развитие «Тезисов о Фейербахе», между тем как «Святое семейство» является еще промежуточным моментом, еще неопределенным и вызванным случайными обстоятельствами, как это видно из отрывков, посвященных Прудону и в особенности французскому материализму. Отрывок, посвященный французскому материализму, является скорее всего главой, излагающей историю культуры (а не теоретическим очерком, как часто его истолковывают), и как история культуры он превосходит. Следует учесть замечание, что содержащуюся в «Нищете философии» критику Прудона и его истолкования гегельянской диалектики можно распространить на Джоберти и на гегельянство итальянских либералов — умеренных вообще. Параллель Прудон — Джоберти, несмотря на то, что они относятся к различным и разнородным этапам историко-политического развития — и даже именно поэтому, — может оказаться интересной и плодотворной.

фликты, возникающие в экономике, люди осознают в идеологических формах.

В этих заметках* в связи с различными вопросами утверждалось, что философия практики распространена значительно шире, чем это обычно признают. Это утверждение правильно, если учесть, что получил распространение исторический экономизм, как проф. Лория называет сейчас свои более или менее бестолковые теории, и что с того времени, как философия практики вступила в борьбу, совершенно изменилась культурная среда. Можно было бы сказать, используя крочеанскую терминологию, что эта самая великая ересь, возникшая в лоне «религии свободы», претерпела, как и ортодоксальная религия, перерождение и распространилась как «суеверие», то есть она переплелась с либеризмом и породила экономизм. Следует, однако, подумать над тем, не сохраняет ли всегда это еретическое суеверие, в отличие от уже захиревшей ортодоксальной религии, фермент, который дает ей возможность возродиться в качестве высшей религии, то есть не является ли шлак суеверия легко устранимым.

Вот ряд моментов, характеризующих исторический экономизм: 1) При исследовании исторических связей не делается различия между тем, что является «относительно постоянным», и случайными временными отклонениями и под экономической действительностью имеются в виду интересы отдельной личности или маленькой группы, интересы, рассматриваемые в самом непосредственном и «грязно-торгашеском» смысле. Другими словами, не учитываются основные экономические классы со всеми присущими им отношениями и принимаются в расчет лишь грязные, ростовщические интересы, особенно когда они совпадают с преступными формами, предусмотренными уголовными кодексами. 2) Доктрина, согласно которой экономическое развитие сводится к процессу технических изменений в орудиях труда. Проф. Лория дал блестящий образец применения этой доктрины в статье о социальном влиянии аэроплана, опубликованной в 1912 году в «Рас-сенья контемпоранеа». 3) Доктрина, согласно которой экономическое и историческое развитие зависит непосредственно от изменений какого-нибудь важного элемента

* См. А. Грамши, Исторический материализм и философия Б. Кроче.— *Прим. ит. ред.*

производства, от открытия нового вида сырья, нового вида горючего и т. д., которые влекут за собой применение нововведений в конструкции и использовании машин. В последние годы появилась обширная литература о нефти, типичным примером которой может служить статья Антонио Лавиоза в «Нуова антолоджиа» от 16 мая 1929 года. Открытие новых видов горючего и новых видов энергии, как и новых видов сырья, пригодных для переработки, имеет, конечно, огромное значение, так как может изменить положение отдельных государств, но оно не определяет движение истории и т. д.

Часто случается так, что борются против исторического экономизма, будучи уверены, что борются против исторического материализма. В качестве типичного примера можно сослаться на статью парижской газеты «Авенир» в номере от 10 октября 1930 года (перепечатанную в «Рассенья септиманале делла stampa эстера» 21 октября 1930 года, стр. 2303—2304). В ней говорится: «Уже длительное время, но особенно после войны, нам твердят, что материальные интересы господствуют над народами и двигают мир вперед. Изобретателями этого тезиса являются марксисты, присвоившие ему несколько доктринерское название «исторического материализма». Согласно ортодоксальному марксизму, люди в своей массе подчинены не страстям, а экономической необходимости. Известно, что политика есть страсть, родина есть страсть. Но марксисты утверждают, что значение этих двух непреложных идей в истории только кажущееся, потому что в действительности жизнь народов на протяжении веков объясняется изменчивой и постоянно обновляющейся игрой материальных причин. Экономика — это все, говорят они. Многие «буржуазные» философы и экономисты подхватили этот припев. Они кичатся тем, что должны объяснить нам основные направления международной политики конкуренцией на рынке зерна, нефтяных продуктов или каучука. Они изошряются в попытках продемонстрировать нам, что вся дипломатия подчинена вопросам таможенных пошлин и цен. Эти объяснения получили весьма широкое распространение. Они имеют наукообразный вид и ведут свое начало от особого рода крайнего скептицизма, который хотел бы прослыть верхом изящества. Страсть во внешней политике? Чувство в национальных делах? Вздор! Все это годится лишь для простаков. Великие умы,

«посвященные» знают, что над всем этим господствует предложение и спрос. Однако сейчас все это является абсолютной псевдоистинной. Чистая ложь, будто народы могут руководствоваться лишь корыстными интересами, и чистая правда, что ими руководит главным образом горячая вера в престиж и стремление к нему. Тот, кто не понимает этого, не понимает ничего».

В продолжении статьи (озаглавленном «Мания престижа») приводится в качестве такой политики, которая руководствуется соображениями «престижа», а не материальными интересами, политика Германии и Италии. Небольшая статья изобилует самыми банальными полемическими выпадами против философии практики, но по существу эта полемика направлена против безалаберного экономизма лорианского толка. Впрочем, аргументация автора не особенно прочна и по другим причинам: он не понимает, что «страсти» не могут не быть не чем иным, как синонимом экономических интересов, и что трудно добиться того, чтобы политическая деятельность постоянно находилась в состоянии страстного лихорадочного возбуждения; на самом деле, политика Франции предстает перед нами как политика последовательно «рационалистическая», свободная от всяких следов страсти и т. д.

Философия практики в своей наиболее распространенной форме «экономистского» суеверия теряет среди высшего слоя интеллигенции значительную часть своей способности к культурному влиянию, которую она в столь большой степени приобретает среди народных масс и среднего слоя интеллигенции, которая, стараясь не утруждать себя размышлениями, хочет казаться в высшей степени искушенной. Как писал Энгельс, многим очень удобно верить, что они за дешево и без всякого труда могут приобрести несколько формул, вмещающих в себя всю историю и всю политическую и философскую премудрость. Забывают, что тезис, согласно которому люди осознают экономические конфликты в идеологических формах, носит не психологический или нравственный, а органический, гносеологический характер; вследствие этого создается *forma mentis* * рассматривать политику и, следовательно, историю как непрерывный *marché de dupes* **,

* Обычай (лат.).— *Прим. перев.*

** Рынок обманов (франц.).— *Прим. перев.*

как цепь иллюзионистских фокусов и обманов. «Критическая» деятельность сводится к обнаружению обманов, разоблачению скандалов, к подсчету денег, находящихся в карманах представительных деятелей.

Таким образом, забывают, что если даже «экономизм» является объективным (то есть научно-объективным) интерпретаторским канонem или принимается за таковой, то и в этом случае исследование, ставящее во главу угла личные интересы, должно быть распространено на все области истории как на людей, которые представляют определенный «тезис», так и на тех, которые представляют «антитезис». Кроме того, предают забвению другое положение философии практики, а именно, что «народные верования» или идеи этого типа имеют значение материальной силы.

Ошибки, присущие канону, рассматривающему все сквозь призму «грязно-торгашеских интересов», носят порой грубый и комический характер и отрицательно влияют на престиж философии практики. Поэтому нужно бороться с экономизмом не только на почве теории историографии, но также (и в особенности) на почве теории и практики политической деятельности. Борьбу в этой области можно и нужно вести путем разработки теории гегемонии; подобную борьбу практически вели известные политические партии в процессе развития учения о партии и развертывания своей практической деятельности (борьба против теории так называемой перманентной революции, которой противопоставлена теория революционно-демократической диктатуры, важное значение поддержки, которая оказывалась различным идеологическим течениям, лежащим в ее основе и т. д.).

Можно было бы исследовать постепенное развитие взглядов по вопросу о том, как развивались определенные политические движения, типичным примером которых служит буланжистское движение (с 1886 и приблизительно до 1890 года), процесс Дрейфуса или даже государственный переворот 2 декабря. (Здесь необходим анализ классической работы о перевороте 2 декабря 1851 года *, чтобы установить, какое относительное значение придается в ней чисто экономическому фактору и какое место занимает в ней конкретное изучение «идеологии».)

* К. Маркс, Восемнадцатое брюмера Луи-Бонапарта.—
Прим. ит. ред.

Рассматривая эти движения, экономизм выдвигает вопрос: кому принадлежит непосредственно инициатива в движении? И тут же дает ответ сколь упрощенный, столь и ошибочный: инициатива непосредственно принадлежит определенной фракции господствующей группы, и во избежание ошибки указывается та фракция, которая с достаточной очевидностью выполняет прогрессивную функцию и функцию контроля над всей совокупностью экономических сил. В таком случае можно быть уверенным, что не ошибешься, ибо если рассматриваемое движение приведет к захвату власти, то неизбежно, что рано или поздно прогрессивная фракция господствующей группы станет контролировать новое правительство и превратит его в инструмент, с помощью которого она-будет использовать государственный аппарат в собственных интересах.

Таким образом, речь идет о стремлении к дешевой безошибочности, которая не только лишена всякой теоретической ценности, но и имеет ничтожное политическое и практическое значение. В общем это положение экономизма не дает ничего, кроме морализующих проповедей и бесконечных вопросов личного характера.

В том случае, если разворачивается движение буланжистского типа, нужно реалистически проанализировать следующие моменты: 1) социальный состав массы, которая примыкает к движению; 2) роль, выполняемую этой массой в системе равновесия сил, переживающей процесс преобразования, о чем свидетельствует само возникновение нового движения; 3) вопрос о том, какое социальное и политическое значение имеют лозунги, выдвигаемые руководителями движения и встречающие широкую поддержку, и о том, каким фактическим нуждам они соответствуют; 4) вопрос о том, в какой степени средства соответствуют поставленной цели; 5) и лишь в конечном счете, и притом в политической, а не в морализующей форме, может быть выдвинута *гипотеза*, что такое движение неизбежно переродится и послужит совсем иным целям, чем те, которые преследуют массы участников движения. «Экономисты» же выдвигают эту гипотезу заранее, когда еще не существует ни одного реального элемента (реальность которого была бы очевидна для всех, а не вытекала из тайного «научного» анализа), который бы подтвердил ее, так что эта гипотеза выглядит как морализующее обвинение участников движения в двуличии, в

неверии или в недостаточной гибкости, в глупости. Таким образом, политическая борьба превращается в ряд личных столкновений тех, кого не удалось обмануть, кто не выпускает дьявола из бутылки, и тех, кого одурачили их собственные руководители и кто не хочет убедиться в этом ввиду своей неизлечимой глупости. Впрочем, до тех пор пока эти движения не привели к захвату власти, можно всегда предполагать, что они обречены на неудачу, и некоторые из них действительно окончились провалом (тот же буланжизм потерпел крах, а потом был окончательно разбит движением дрейфусаров; такой же провал постиг движение Жоржа Валуа и генерала Гайда). Исследование должно быть направлено поэтому на выявление как сильных, так и слабых сторон этих движений. Согласно же выдвигаемой «экономизмом» гипотезе существует один непосредственно проявляющийся элемент силы, а именно наличие определенной прямой или косвенной финансовой поддержки (косвенной финансовой поддержкой могут служить даже выступления крупной газеты в поддержку подобного движения) — и только. Однако этого слишком мало. И в данном случае кульминационной точкой анализа различных моментов взаимоотношения сил не может не являться проблема гегемонии и этико-политических отношений.

В качестве примера проявления теорий так называемой парламентской непримиримости может служить резкая принципиальная враждебность к так называемым компромиссам, побочным проявлением которой является то, что можно назвать «страхом перед опасностями». Несомненно, что эта принципиальная враждебность к компромиссам тесно связана с экономизмом, поскольку она основывается на непоколебимом убеждении, что историческому развитию присущи объективные законы того же характера, что и законы природы и, больше того, на вере в фаталистическую неизбежность завершающего финала, подобную религиозной вере; так как считается, что возникновение в будущем благоприятных условий исторически неизбежно и что благодаря им неким мистическим образом возникнут явления возрождения, то сознательное действие, направленное в соответствии с определенным планом на создание таких условий, является не только бесполезным, но даже вредным. Наряду с этими фаталистическими убеждениями все еще существует тенденция

слепо и безусловно полагаться на регулирующую силу армии. Правда эта тенденция не лишена известной логичности и последовательности, ибо считается, что вмешательство воли полезно только при разрушении, а не при созидании (которое совершается уже в самый момент разрушения). Разрушение в этом случае рассматривается механически, а не как разрушение-созидание. Придерживающиеся подобных взглядов не учитывают фактора «времени» и в конечном счете самой «экономики» в том смысле, что они не понимают следующего: идеологические представления масс всегда отстают от их экономического положения, и поэтому в определенные моменты движение, автоматически вызванное экономическим фактором, замедляется, тормозится или даже мгновенно ликвидируется воздействием традиционной идеологии. Отсюда вытекает необходимость сознательной и целеустремленной борьбы, необходимость добиться понимания экономических потребностей масс,— потребностей, которые могут находиться в противоречии с лозунгами традиционных вождей. Всегда необходимо обладать инициативой, чтобы освободить экономическое движение от пут традиционной политики, то есть чтобы изменить политическое направление определенных сил, которые необходимо привлечь на свою сторону для создания нового, монолитного, лишенного внутренних противоречий исторического блока, имеющего характер экономико-политического блока. Две «сходные» между собой силы могут слиться в новый организм только на базе ряда компромиссов, сближаясь в результате соглашений о союзе или с помощью вооруженной силы, когда одна из этих сил подчиняется другой в результате открытого принуждения; поэтому вопрос заключается в том, существует ли эта сила, то есть сила принуждения и вооруженная сила, и если существует, то можно ли ее «продуктивно» использовать. Если для победы над какой-либо силой необходим союз двух других сил, то мысль о создании такого союза с помощью оружия и принуждения (даже если бы была возможность этого) является чисто методической гипотезой, и единственной реальной возможностью остается соглашение, ибо насилие можно применять к врагам, а не к части своих собственных сил, которые нужно быстро привлечь на свою сторону, для чего необходим энтузиазм и «добрая воля».

Предвидение и перспектива

Другой вопрос, заслуживающий того, чтобы быть разрешенным и разработанным,— это вопрос о «двойной перспективе» в политической деятельности и в государственной жизни. Существуют различные ступени, на которых двойная перспектива может быть выявлена — от самых простых до самых сложных,— но теоретически они могут быть сведены к двум основным ступеням, соответствующим двойственной природе макиавеллиевского Кентавра, звериной и человеческой,— к ступеням силы и согласия, власти и гегемонии, насилия и гражданственности, индивидуального и универсального («церкви» и «государства»), агитации и пропаганды, тактики и стратегии и т. д. Некоторые свели теорию «двойной перспективы» к чему-то банальному и убогому, и только к этому, то есть к двум формам «конкретного», которые механически следуют друг за другом во времени с большим или меньшим «приближением». Напротив, может случиться, что в чем большей степени первая «перспектива» является «самой конкретной», самой элементарной, тем в большей степени вторая должна быть «отдаленной» (не во времени, а как диалектическое отношение), сложной, возвышенной, то есть может случиться, как в человеческой жизни, что чем в большей степени индивидуум принужден защищать собственное непосредственное физическое существование, тем в большей степени в своих утверждениях и действиях он опирается на все сложные и самые высокие ценности цивилизации и человечества. Бесспорно, что предвидеть означает лишь правильно видеть настоящее и прошлое как находящиеся в движении; правильно видеть означает точно определять основные и постоянно существующие элементы процесса. Но абсурдно думать о чисто «объективном» предвидении. У того, кто выступает с предвидением, в действительности есть определенная «программа», победы которой он желает, и предвидение является именно элементом такой победы. Это не означает, что предвидение всегда должно быть произвольным и необоснованным или совершенно тенденциозным. Можно даже сказать, что лишь в той мере, в какой объективный аспект предвидения связан с программой, этот аспект обретает объективность: 1) ибо только страсть обостряет интеллект и помогает сделать интуицию более

ясной; 2) ибо так как действительность является результатом приложения человеческой воли к общности вещей (воли рабочего к машине), то отбрасывать всякий элемент проявления воли или учитывать лишь вмешательство других волей в качестве объективного элемента в общей игре сил значит искажать самое действительность. Лишь испытывающие сильное желание это сделать отождествляют эти элементы, необходимые для реализации их собственной воли.

Поэтому мнение, что определенное мировоззрение включает в самом себе наивысшую способность к предвидению, является ошибкой, порожденной невежеством самодовольством и легкомыслием. Конечно, во всяком предвидении заключено мировоззрение, и поэтому отнюдь не лишено значения, является ли оно совокупностью не связанных между собой произвольных актов мысли или принимает форму четких и последовательных взглядов; но это значение оно приобретает именно в работающем мозгу того, кто делает предсказания и проводит их в жизнь своей сильной волей. Это видно из предсказаний, сделанных так называемыми «беспристрастными» людьми: они полны празднословия, ничтожных пустяков, изощренных догадок. Лишь наличие у того, «кто предвидит», требующей своего осуществления программы, приводит к тому, что он сосредоточивает свое внимание на главном, на тех элементах, которые, поддаваясь организации, допуская, чтобы их вели вперед или уводили в сторону, являются в действительности единственными элементами, которые можно предвидеть. Это идет вразрез с общепринятым способом рассматривать вопрос. Обычно думают, что любой акт предвидения предполагает выявление постоянно действующих законов, подобных законам естественных наук. Но эти законы не существуют в предполагаемом абсолютном или механистическом смысле. Наряду с этим не учитывают проявлений других волей и не «предвидят» их приложения. Поэтому исходят из произвольных гипотез, а не из реальности.

«Чрезмерный» (и, следовательно, поверхностный и механистический) политический реализм часто приводит к утверждению, что государственный деятель должен исходить лишь из «реальной действительности», интересуясь не тем, что «должно быть», а только тем, что «есть». Это означает, что государственный деятель, бросая перспек-

тивный взгляд, должен заглядывать не дальше собственного носа. Эта ошибка привела Паоло Тревеса к признанию Гвиччардини, а не Макиавелли «настоящим политиком».

Следует проводить различие между «дипломатом» и «политиком», так же как между ученым от политики и активным политиком. Дипломат не может действовать иначе, как в рамках реальной действительности, ибо его специфическая деятельность сводится не к созданию новых систем равновесия, а к сохранению в определенных юридических рамках существующего равновесия. Таким же образом и ученый должен исходить лишь из реальной действительности, поскольку он является только ученым. Но Макиавелли не просто ученый, он человек партии, человек могучих страстей, активный политик, стремящийся к созданию новых соотношений сил, и поэтому он не может не интересоваться тем, что «должно быть», которое понимается, конечно, не в моралистическом смысле. Следовательно, вопрос нельзя ставить в такой форме, он является более сложным; иными словами, речь идет о том, чтобы установить, является ли то, что «должно быть» произвольным или необходимым актом, конкретной волей или безнадежной мечтой, желанием, неясным устремлением. Активный политик — это созидатель, человек, побуждающий к действию, но он не создает из ничего, не вращается в туманной пустоте своих желаний и мечтаний. Он исходит из реальной действительности; но какова эта реальная действительность? Быть может, это нечто статичное и неподвижное, а вовсе не соотношение сил, связанное с находящимся в непрерывном движении и изменении равновесием? Направлять волю на создание нового равновесия реально существующих и действующих сил, опираясь на ту определенную силу, которая считается прогрессивной, создавая условия для ее победы, все это значит, конечно, действовать на почве реальной действительности, но действовать так, чтобы суметь господствовать над ней и превзойти ее (или содействовать этому). Следовательно, «должно быть» является конкретностью и, больше того, оно является единственным реалистическим, основанным на историзме истолкованием действительности, единственной претворяющейся в действие историей и философией, единственной верной политикой.

Противоположность между Савонаролой и Макиавелли является противоположностью не между тем, что есть и

что должно быть (весь раздел в сочинении Л. Руссо, посвященный этому вопросу, представляет собой просто набор пышных фраз), а между двумя «должно быть» — абстрактным и расплывчатым у Савонаролы и реалистическим у Макиавелли — реалистическим, пусть даже это «должно быть» и не превратилось в конкретную действительность, так как нельзя ожидать, чтобы отдельная личность или книга изменили действительность: они могут лишь объяснить ее и наметить возможную линию действий. Ограниченность деятельности Макиавелли состоит только в том, что он являлся «частной личностью», писателем, а не главой государства или армии, который, также являясь отдельной личностью, имеет, однако, в своем распоряжении силы государства или армии, а не только армии слов. Но нельзя, исходя из этого, утверждать, что Макиавелли был «безоружным пророком»: это означало бы преуменьшать его духовное значение. Макиавелли никогда не говорит, что он думает об изменении действительности, или намерен сам лично заняться ее изменением; он стремится лишь конкретно показать, как должны были бы действовать исторические силы, чтобы стать эффективными.

Анализ ситуации. Соотношение сил

Изучение вопроса о том, каков должен быть анализ создавшейся ситуации, то есть каким образом следует определять различные уровни соотношения сил, может содействовать изложению основ политической науки и политического искусства, рассматриваемых как совокупность практических приемов исследования и специальных наблюдений, которые содействуют пробуждению интереса к конкретной действительности и развитию более верной и более тонкой политической интуиции. Вместе с тем надо дать изложение того, что нужно понимать в политике под стратегией и тактикой, под стратегическим «планом», под пропагандой и агитацией, под организацией, то есть под наукой о политической организации и администрации.

Почерпнутые из практики наблюдения, обычно в беспорядке разбросанные в трудах, посвященных политической науке (в качестве примера можно указать на работу Г. Моска³⁰ «Элементы политической науки»), должны — поскольку они не носят абстрактного характера и не лишены солидного обоснования — занять подобающее им

место при определении различных уровней соотношений сил. Начав с соотношения сил международных (здесь следует учесть все то, что написано по поводу определения великой державы, по вопросу о вхождении государств в господствующие блоки и, следовательно, о концепции независимости и суверенитета в той мере, в какой это касается мелких и средних государств), следует затем перейти к объективным социальным отношениям, то есть к уровню развития производительных сил, затем к политическим отношениям, к отношениям между партиями (вопрос о политических блоках, которым принадлежит руководящая роль в государстве) и, наконец, к непосредственным политическим отношениям (то есть отношениям, потенциально связанным с войной).

Предшествует ли развитие международных отношений развитию основополагающих социальных отношений или же их развитие логически следует за этими последними? Несомненно, что следует за ними. Каждое коренное обновление экономического базиса вызывает коренное, как *абсолютное*, так и *относительное*, изменение соотношения сил на международной арене, что находит свое выражение в техническом и военном аспектах. Даже изменения географического положения национального государства не предопределяют перемен в базисе, а сами являются логическим следствием этих перемен; в то же время оно воздействует в известной степени на эти перемены — в такой же степени, в какой надстройки воздействуют на экономический базис, политика — на экономику и т. д. С другой стороны, международные отношения оказывают пассивное и активное воздействие на политические отношения, на отношения, связанные с гегемонией партий. Чем больше непосредственная экономическая жизнь страны подчинена международным отношениям, тем в большей степени это находит свое отражение в деятельности определенной партии, которая использует подобную ситуацию для отвращения того, чтобы получили преимущество враждебные ей партии (можно напомнить знаменитую речь Нитти по поводу того, что итальянская революция *технически невозможна!*). Исходя из такого рода фактов, можно прийти к выводу, что зачастую так называемая «партия иностранцев» вовсе не является подобной партией, именуемой столь вульгарным образом, а представляет собой как раз наиболее националисти-

ческую партию, ибо помимо того, что она является представителем жизненных сил собственной страны, в ее деятельности в еще большей степени находит отражение факт экономической зависимости и подчинения этой страны той или иной господствующей нации или группе наций*.

Для правильного анализа тех сил, которые действуют на протяжении определенного исторического периода, и для уяснения существующих между ними отношений нужно правильно поставить и разрешить проблему соотношения между экономическим базисом и надстройками. При этом следует руководствоваться двумя принципами: 1) ни одно общество не ставит перед собой каких-либо задач, если реальные условия, необходимые для их разрешения, еще отсутствуют или если эти условия не находятся по крайней мере в стадии развития и оформления; 2) ни одно общество не погибнет и не может быть заменено другим до тех пор, пока не разовьются все те формы жизни, которые внутренне присущи его отношениям**. Исходя из этих двух основных принципов, можно разработать целый ряд других принципов, относящихся к методологии истории.

В то же время при изучении экономического базиса нужно делать различие между органическими движениями (то есть относительно непрерывными) и такими, которые можно назвать «конъюнктурными» (последние носят случайный, поверхностный характер и возникают почти внезапно). Конечно, даже такие конъюнктурные движения зависят от органических движений, но они не имеют большого исторического значения, ибо порождают мелочную

* В статьях, опубликованных Д. Вольпе в «Коррьере дель сэра» 22 и 23 марта 1932 года, содержится указание на этот международный фактор, «подавляющий» внутреннюю энергию отдельных стран.

** «Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора, и новые, высшие производственные отношения никогда не появляются раньше, чем созреют материальные условия их существования в лоне самого старого общества. Поэтому человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может разрешить, так как при ближайшем рассмотрении, всегда оказывается, что сама задача возникает лишь тогда, когда материальные условия ее решения уже существуют или, по крайней мере, находятся в процессе становления» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XII, ч. I, стр. 7).

злободневную политическую критику, которая распространяется на отдельные небольшие правящие группы и лиц, непосредственно облеченных властью. Процессы, органические по своему характеру, порождают критику, имеющую социально-историческое значение; она охватывает большие социальные группы и выходит далеко за рамки критики как отдельных, непосредственно облеченных властью лиц, так и правящих лиц вообще.

При изучении того или иного исторического периода выступает огромная важность этого различия. Выявляется существование кризисов, длящихся порой десятилетиями. Столь необычная продолжительность кризисов означает, что в экономическом базисе начали проявляться (назрели) непримиримые противоречия и что политические силы, деятельность которых направлена на сохранение и защиту данного экономического базиса, стремятся тем не менее примирить в какой-то мере эти противоречия и преодолеть их. Эти силы, действующие упорно и непрестанно (ибо ни одна социальная форма никогда не согласится признать, что она изжила себя), образуют ту почву «случайного», на которой происходит организация антагонистических сил, стремящихся доказать, что уже существуют необходимые и достаточные условия, благодаря которым определенные исторические задачи могут и должны быть исторически разрешены: они должны быть разрешены, потому что всякое невыполнение исторического долга усиливает неизбежный хаос и подготавливает еще более тяжелые катастрофы. (Это доказательство в конечном счете оказывается успешным и «истинным» только в том случае, если утверждается новая действительность, если эти антагонистические силы одерживают победу, но поначалу оно принимает форму идеологических, религиозных, философских, политических, юридических и других полемических столкновений, конкретное значение которых определяется силой их влияния и тем, в какой мере им удастся вызвать сдвиг в существовавшей ранее расстановке социальных сил.)

При историко-политическом анализе часто впадают в ошибку, состоящую в том, что не могут найти правильного соотношения между тем, что является органическим, и тем, что является случайным: получается так, что в качестве причин, оказывающих непосредственное воздействие, выдвигают те причины, которые, напротив, оказывают воздействие опосредствованно, или же утверждают,

что причины, оказывающие непосредственное воздействие, являются единственными действующими причинами. В одном случае выступает крайность, присущая «экономизму» или педантичному доктринерству; в другом — крайность, присущая «идеологизму». В первом случае переоцениваются механические причины, во втором — превозносятся волюнтаристский элемент и значение индивидуума. Различие между «органическими» и «конъюнктурными» или случайными движениями и явлениями нужно проводить в ситуациях любого вида, не только в тех, которые характеризуются регрессом и острым кризисом, но и в тех, характерной чертой которых является прогрессивное развитие и процветание, а также в тех, которые отличаются застоєм производительных сил. Трудно точно установить диалектическую связь между двумя видами движения и показать ее в исследовании; и если ошибка оказывается грубой в историографии, то еще более серьезный характер приобретает она в политическом искусстве, когда речь идет не о воссоздании истории прошлого, а о том, чтобы творить историю настоящего и будущего*: собственные желания и собственные порочные и эгоистические страсти служат причиной подобной ошибки, поскольку они заменяют собой объективный и беспристрастный анализ, и сама эта замена не сознательно совершается с целью использовать ее как «средство», побуждающее к действию, а является результатом самообмана.

* Тот факт, что при рассмотрении «соотношения сил» не принимают во внимание момент непосредственных политических отношений, связан с наслоениями вульгарно-либеральной концепции; синдикализм является таким ее проявлением, которое считало себя более передовой теорией, хотя в действительности являлось шагом назад. На самом деле вульгарно-либеральная концепция, придававшая важное значение отношениям между политическими силами, принимавшая различные формы партийной организации (читка газет, парламентские и местные выборы, массовые партийные и профсоюзные организации в узком смысле), была более передовой по сравнению с синдикализмом, который придавал первостепенное значение основополагающим социально-экономическим отношениям, и только им. Вульгарно-либеральная концепция в скрытой форме также принимала в расчет эти отношения (как это явствует из многочисленных признаков), но она обращала большее внимание на политические отношения, которые выражали и на самом деле воплощали в себе другие отношения. Эти наслоения вульгарно-либеральной концепции можно проследить в целом ряде работ, которые, как уверяют некоторые, связаны с философией практики и породили инфантильные формы оптимизма и всевозможные нелепости.

В этом случае змея также жалит шарлатана, иначе говоря, демагог становится первой жертвой собственной демагогии.

Значение этих методологических критериев может полностью раскрыться со всей их поучительной наглядностью в применении к исследованию конкретных исторических фактов. Было бы полезно сделать это применительно к событиям французской истории в период с 1789 по 1870 год. На мой взгляд, для большей ясности изложения необходимо рассматривать весь этот период в целом. В самом деле, лишь в 1870—1871 годах, в связи с начинаниями Коммуны, исторически исчерпало себя все то, что возникло в 1789 году; новый класс, борющийся за власть, наносит поражение не только представителям старого общества, которое не хочет признать, что оно полностью изжило себя, но и новейшим социальным группам, которые считают, что новый базис, возникший в результате событий, начавшихся в 1789 году, уже устарел; тем самым новый класс доказывает свою жизнеспособность как старому классу, так и новейшим социальным группам. Кроме того, начиная с 1870—1871 годов теряет силу весь комплекс принципов политической стратегии и тактики, практически возникших в 1789 году и теоретически развитых в связи с революцией 1848 года,— тех принципов, которые сводятся к формуле «перманентной революции»*. (Было бы интересно проследить, в какой степени эта теория была использована в мадзинистской стратегии, например в связи с восстанием в Милане в 1853 году, и было ли это сделано сознательно или нет.) Подтверждением правильности этого мнения служит тот факт, что историки резко расходятся между собой (да иначе и не может быть) при определении границ того комплекса событий, который составляет Французскую революцию. Некоторые из них (например, Сальвемини) считают, что революция завершилась победой при Вальми: Франция создала новое государство и сумела организовать военно-политическую силу, для того чтобы утвердить и отстоять территориальную целостность и суверенитет страны. Дру-

* Термин «перманентная революция» употребляется здесь Грамши для того, чтобы указать на ошибочное истолкование этой формулы К. Маркса Троцким (то есть как политического переворота, совершаемого меньшинством без поддержки широких масс). Поэтому Грамши берет этот термин в кавычки.— *Прим. ит. ред.*

гие утверждают, что революция продолжалась вплоть до Термидора; они говорят даже о нескольких революциях (вроде того, что 10 августа была самостоятельная революция, и т. д.) *.

Наиболее острые разногласия вызывает вопрос об оценке Термидора и деятельности Наполеона: следует ли здесь говорить о революции или о контрреволюции? Есть и такое мнение, что революция продолжалась вплоть до 1830, до 1848, до 1870 года или даже до мировой войны 1914 года. Во всех этих взглядах есть доля истины.

В самом деле, лишь с установлением Третьей республики внутренние противоречия социального строя Франции, развившиеся после 1789 года, относительно ослабли, и в течение последних шестидесяти лет политическое положение во Франции остается устойчивым после восьми десятилетий бурных переворотов, которые шли все расширяющимися волнами: событий 1789, 1794, 1799, 1804, 1815, 1830, 1848, 1870 годов. Изучение именно этих «волн» различной длины позволяет познать взаимоотношения между базисом и надстройками, с одной стороны, и с другой — соотношение в развитии органического и конъюнктурного движения, происходившего в рамках данного базиса. В то же время можно сказать, что в историко-политической формуле перманентной революции заключена диалектическая взаимосвязь между двумя методологическими принципами, выдвинутыми в начале этой статьи.

Другим аспектом этой же проблемы является вопрос о так называемом соотношении сил. В исторических сочинениях часто встречаются общие выражения: «благоприятное (или неблагоприятное) соотношение сил для той или иной тенденции». В столь абстрактной форме эта формулировка ничего или почти ничего не объясняет, ибо все сводится только к тому, что определенный факт, требующий объяснения, рассматривается дважды: один раз как факт, другой раз — как абстрактный закон, как само объяснение. Теоретическая ошибка заключается здесь, следовательно, в том, что принцип исследования и интерпретации превращают в «причину» исторических событий.

Между тем при рассмотрении «соотношения сил» следует выделять различные моменты или ступени в этом соотношении, главные из которых таковы:

* См. A. Mathiez, *La Révolution française* (в серии, изданной А. Колэном)

1. Отношения между социальными силами, тесно связанные с базисом, объективные, независимые от воли людей отношения, которые можно измерять с такой же точностью, какая достигается в точных или технических науках. Уровень развития материальных производительных сил является основой существования соответствующих ему социальных групп, каждая из которых выполняет определенную функцию и занимает определенное положение в самом производстве. Эти отношения являются таковыми, каковы они есть, это действительность, не подлежащая изменению: ни один человек не может изменить число предприятий и число работающих на них, число городов и количество городского населения и т. д. Эти основополагающие отношения позволяют определить, существуют ли в обществе необходимые и достаточные условия для его преобразования, то есть позволяют определить, в какой мере реалистична и практически осуществима та или иная система идей, возникшая на базе этих отношений в результате противоречий, порожденных ими в процессе развития.

2. Следующая ступень — это соотношение политических сил, то есть оценка того, в какой степени различные социальные группы достигли монолитности, самосознания и организованности. В этих отношениях можно в свою очередь выделить и проанализировать различные ступени, которые соответствуют различным уровням развития коллективного политического сознания, которые до сих пор существовали в истории. Первой и самой элементарной стадией коллективного политического сознания является экономико-корпоративная стадия: купец считает, что он *должен* выступать солидарно с другим купцом, фабрикант — с другим фабрикантом и т. д., но купец еще не ощущает себя солидарным с фабрикантом. Таким образом, профессиональная группа пришла к осознанию своего монолитного единства и необходимости его создания, но этого еще не достигла более широкая социальная группа. Вторая стадия заключается в том, что утверждается сознание солидарности интересов всех членов социальной группы, однако еще в чисто экономической области. Уже на этой стадии встает вопрос о государстве, но пока только с точки зрения достижения политико-юридического равенства с господствующими группами; эта социальная группа добивается права участия в законода-

тельстве и административном управлении и даже права на проведение изменений и реформ в этих областях, но, конечно, без нарушения основ существующего порядка. Третья стадия несет с собой сознание того, что собственно корпоративные интересы в результате их развития в настоящем и в будущем выходят за корпоративные рамки, за рамки чисто экономической группы и могут и должны стать интересами других, подчиненных групп. Эта стадия носит преимущественно политический характер и знаменует собой ясно выраженный переход от экономического базиса к сфере сложных надстроек. На этой стадии ранее возникшие идеологии превращаются в «партию», сталкиваются друг с другом, вступают в борьбу, которая длится до тех пор, пока одна из этих идеологий (или по крайней мере одна из их комбинаций) не начинает становиться преобладающей, стремясь к тому, чтобы стать господствующей, чтобы распространиться по всей социальной арене, порождая тем самым, помимо утверждения единства экономических и политических задач, также духовное и нравственное единство, ставя все вопросы, вокруг которых кипит борьба, не в корпоративном плане, а в плане «универсальном» и добиваясь таким образом гегемонии основной социальной группы по отношению к ряду других зависимых групп. Государство рассматривается на этой стадии, конечно, как механизм, принадлежащий определенной социальной группе и предназначенный создать благоприятные условия для ее максимального развития и для максимального распространения ее влияния. Но развитие этой группы и распространение ее влияния рассматриваются в качестве движущей силы всеобщего развития, развития всех видов «национальной» энергии, то есть интересы доминирующей группы конкретно сочетаются с общими интересами зависимых групп. Государственная жизнь рассматривается при этом как процесс, в результате которого постоянно образуются системы непрочного равновесия между интересами доминирующей группы и интересами зависимых групп, причем эти системы равновесия постоянно удается превзойти, оставаясь в рамках законов. В подобных системах равновесия интересы доминирующей группы превалируют, но лишь до определенной границы, то есть не настолько, чтобы полностью удовлетворить мелкие экономико-корпоративные интересы.

В исторической действительности эти стадии взаимно переплетаются, так сказать, в горизонтальном и вертикальном направлениях, то есть в зависимости от социальной и экономической деятельности (горизонтально) и в зависимости от территории (вертикально), по-разному соединяясь и распадаясь, причем каждая из этих комбинаций может иметь собственное организационно оформленное выражение в экономике и в политике. Нужно учесть, что с этими отношениями, существующими внутри национального государства, переплетаются международные отношения, в результате чего возникают новые оригинальные и исторически конкретные комбинации. Идеология, возникшая в более развитой стране, распространяется в странах менее развитых, втягиваясь в игру этих местных комбинаций. Это соотношение между национальными и международными силами усложняется еще и тем, что в каждом государстве существует ряд областей, имеющих особую экономическую структуру и особые отношения на всех ступенях развития: примером этого служит Вандея, которая была союзницей международных сил реакции и представляла их в лоне французского территориального единства; также и Лион, в котором в период Французской революции соотношение сил представляло особый узел противоречий, и т. д.

3. Третья ступень — соотношение военных сил, непосредственно приобретающее время от времени решающее значение (историческое развитие происходит в виде постоянных колебаний между первой и третьей ступенями, связующим звеном между которыми служит вторая ступень). Но эта ступень также не является чем-то монолитным, однородным, облеченным непосредственно в схематическую форму: даже в ней можно выделить два момента — момент военных (в узком смысле), или военно-технических отношений и такой момент, который можно назвать военно-политическим. В ходе исторического развития эти два момента выступают в виде самых разнообразных комбинаций. Типичным примером, который может служить в качестве образца, являются отношения военного подчинения, существующие между тем или иным государством и нацией, стремящейся обрести государственную независимость. Такие отношения носят не чисто военный характер — это военно-политические отношения. И в самом деле, подобное подчинение нельзя было бы

объяснить, если бы подчиненный народ не был разобщен в социальном отношении и если бы его большинство не оставалось пассивным; поэтому независимости нельзя добиться с помощью одних лишь военных сил — для ее достижения нужны военные и военно-политические силы. Действительно, если бы подчиненная нация, чтобы начать борьбу за независимость, должна была ждать пока государство-гегемон позволит ей создать собственную армию в узкотехническом смысле слова, то этого пришлось бы ждать очень долго. (Может случиться так, что требование относительно собственной армии будет удовлетворено нацией-гегемоном, но это свидетельствует лишь о том, что значительная часть борьбы осталась уже позади и что она принесла победу в военно-политическом отношении.) Следовательно, подчиненная нация противопоставляет сначала военной силе государства-гегемона только лишь «военно-политическую» силу, иначе говоря, противопоставляет ей такие политические действия, которые могут обусловить явления военного характера в том смысле, что они могут, во-первых, вызвать изнутри глубокое разложение в военных силах нации-гегемона, а во-вторых, принудить военные силы государства-гегемона растянуться, рассеяться по большой территории, ослабляя тем самым в большой степени их боевую мощь. Можно сказать, что отсутствие в итальянском Рисорджименто военно-политического руководства имело губительные последствия, особенно для Партии действия (вследствие ее органической неспособности к такому руководству), но также (как до 1848 года так и после него) и для пьемонтской партии умеренных³¹. Конечно, в этой партии такое руководство отсутствовало не из-за неспособности, а в силу «политико-экономического мальтузианства», другими словами, вследствие того, что партия и слышать ничего не хотела о возможности осуществления аграрной реформы и не хотела созыва национального учредительного собрания; она стремилась только к распространению порядков пьемонтской монархии, без всяких условий или ограничений со стороны народа, на всю Италию в силу простого решения, принятого в результате плебисцитов в отдельных областях страны.

С рассмотренными выше проблемами связан также вопрос о том, являются ли непосредственной причиной глубоких исторических кризисов экономические кризисы.

В скрытой форме ответ на этот вопрос содержится в предыдущих заметках, где рассматривается тот же вопрос, но только с других сторон; тем не менее всегда необходимо, исходя из соображений дидактического порядка и имея в виду особую часть публики, рассматривать один и тот же вопрос со всех сторон, как если бы каждая из них представляла собой новую и самостоятельную проблему.

Можно с уверенностью сказать, что экономические кризисы сами по себе непосредственно не порождают основных исторических событий; они могут лишь создать более благоприятную почву для распространения определенного метода мышления, постановки и разрешения вопросов, которые охватывают весь последующий процесс развития государственной жизни. Впрочем, любое утверждение, затрагивающее вопрос о кризисных периодах и о периодах процветания, может дать повод для односторонних оценок. В своем историческом обзоре Французской революции Матъез, в противоположность традиционной вульгарной исторической концепции, которая априори «обнаруживает» существование экономического кризиса, совпадающего с крушением системы социального равновесия, утверждает, что к 1789 году экономическое положение страны было довольно хорошее, вследствие чего нельзя говорить, будто крах абсолютистского государства был вызван опустошительным кризисом. Надо указать на то, что государство находилось в когтях жестокого финансового кризиса, в силу чего встал вопрос о том, какое из двух привилегированных социальных сословий должно пойти на жертвы и лишения, чтобы привести в порядок государственные и королевские финансы. Кроме того, хотя буржуазия в экономическом отношении процветала, народные массы города и деревни находились в тяжелом положении, в особенности в городах и деревнях, истощенных повальной нищетой. Во всяком случае, нарушение равновесия социальных сил не являлось прямым результатом, автоматически возникшим следствием обнищания той социальной группы, которая была заинтересована в уничтожении этого равновесия и которая фактически уничтожила его. Уничтожение этого равновесия произошло в рамках конфликтов, происходивших над сферой самой экономики, конфликтов, связанных с классовым «престижем» (то есть с проблемой борьбы за свои эконо-

мические интересы в будущем), с обострившимся стремлением к независимости, самостоятельности и власти.

Особый вопрос о загнивании или расцвете экономики как причине возникновения новой исторической действительности составляет лишь одну сторону проблемы соотношения сил на их различных ступенях. Новая историческая действительность может возникнуть как потому, что расцвету экономики угрожает мелочный эгоизм враждебной группы, так и потому, что загнивание экономики стало невыносимым и нет ни одной силы старого общества, которая была бы в состоянии ослабить этот процесс загнивания и восстановить нормальное положение с помощью законных средств. Таким образом, можно сказать, что все эти элементы являются конкретным проявлением конъюнктурных колебаний, охватывающих всю совокупность отношений социальных сил, на почве чего осуществляется переход от социальных отношений к отношениям политических сил, а затем к кульминационной точке — к отношениям военных сил, которым принадлежит решающее слово.

Если этот процесс в своем развитии не прошел через указанные ступени и если он по существу представляет собой такой процесс, зачинателями и носителями которого выступают лишь отдельные индивидуумы, их воля и способности, то положение останется неизменным. При этом возможны два противоположных результата: или старому обществу удастся устоять и обеспечить себе период «передышки» путем физического истребления *élite* враждебной ему группы и терроризирования масс, являющихся ее резервом, или же произойдет взаимное уничтожение борющихся сил и воцарится могильный покой, который, вероятно, будет охраняться штыком иностранца.

Но самое важное замечание, которое нужно сделать в связи с любым конкретным анализом соотношения сил, сводится к тому, что такой анализ не может и не должен служить самоцелью (по крайней мере для того, кто не пишет истории прошлого) и что он приобретает значение только в том случае, если служит для обоснования практической деятельности и целеустремленной инициативы. Подобный анализ выявляет те точки наименьшего сопротивления, где применение целеустремленных действий может оказаться наиболее плодотворным; помогает при проведении конкретных тактических операций; показывает,

как наилучшим образом организовать проведение кампании политической агитации, какой язык будет наиболее понятен для масс и т. д. Решающим фактором в любой ситуации является постоянно действующая организованная и заранее подготовленная сила, которую можно выдвинуть вперед, когда будет решено, что обстановка благоприятствует этому (и благоприятствует лишь постольку, поскольку такая сила существует и охвачена боевым порывом); поэтому главная задача состоит в том, чтобы систематически и терпеливо формировать и развивать такую силу, делать ее все более монолитной, сплоченной, понимающей свою сущность и свою роль. Это показывает вся история войн и проявлявшаяся в любую эпоху забота о том, чтобы армии были подготовлены начать войну в любой момент. Великие державы потому и являлись великими, что в любой момент они были готовы к эффективному вмешательству в благоприятствовавшие им международные события, причем последние благоприятствовали им именно потому, что эти державы имели конкретную возможность эффективно вмешиваться в них.

Замечание о некоторых сторонах структуры политических партий в периоды органических кризисов

На определенном этапе их исторического пути социальные группы порывают со своими традиционными партиями. Это значит, что традиционные партии — с данной формой их организации, с теми определенными людьми, которые составляют и представляют эти партии и руководят ими, — больше не рассматриваются как действительные выразители класса или его части. Когда возникают такие кризисы, положение становится очень затруднительным, даже опасным, так как создается возможность для разрешения этих кризисов с помощью насилия, возможность действия темных сил, представленных providенциальными личностями.

Каким образом возникает такое положение, когда несогласие между «представляемыми» и «представляющими» в сфере партийных организаций (партийные организации в узком смысле слова, парламентско-избирательная область, журналистские организации) находит отражение во всем государственном организме, относительно усилен-

вая власть бюрократии (гражданской и военной), финансовой верхушки, церкви и вообще всех тех органов, которые находятся в относительной независимости от колебаний общественного мнения? В каждой стране этот процесс принимает различные формы, хотя содержание его везде одинаково — кризис гегемонии правящего класса возникает или потому, что этот класс терпит неудачу в том или ином крупном политическом предприятии (например, в войне), для осуществления которого он добился согласия широких масс или навязал им его силой; или потому, что широкие массы (особенно крестьянство и мелкобуржуазная интеллигенция) внезапно перешли от состояния политической пассивности к определенной деятельности и отстаивают такие требования, которые, несмотря на то, что они органически не связаны между собой, представляют в своей совокупности революцию. Принято говорить о «кризисе авторитета», а это и есть кризис гегемонии или кризис государства в целом.

Кризис создает такие положения, которые сопряжены с непосредственной опасностью, ибо различные слои населения не обладают одинаковой способностью быстро переориентироваться и перестраиваться в соответствии с ритмом событий. Традиционный правящий класс, обладающий многочисленными обученными кадрами, сменяет людей и программу и вновь восстанавливает ускользавший от него контроль раньше, чем успеют перестроиться классы, подчиненные его власти; он идет даже на жертвы, бросает демагогические обещания, осуществить которые он обязуется в туманном будущем. Таким образом он удерживает власть, добивается в данный момент ее усиления и использует ее для того, чтобы сокрушить противника и разогнать его руководящие кадры, которые не могут быть ни особенно многочисленными, ни очень хорошо подготовленными.

Переход членов многих партий под знамя единственной партии, которая с большим успехом представляет и выражает потребности целого класса, есть явление органическое и вполне нормальное, даже если оно осуществляется в чрезвычайно быстром темпе, почти молниеносно по сравнению с обычным спокойным периодом. Этот переход означает слияние целой социальной группы под единым руководством, которое только и обладает способностью разрешить главную, решающую проблему и ог-

далить смертельную опасность. Если разрешение кризиса не носит такого органического характера, а происходит в результате утверждения провиденциального вождя, то это свидетельствует о существовании статического равновесия (элементы этого равновесия могут быть различными, но отличительной его чертой является незрелость прогрессивных сил); этот факт свидетельствует также о том, что ни одна группа — ни консервативная, ни прогрессивная — не обладает силой, достаточной для завоевания победы, и что даже консервативная группа нуждается в хозяине*.

Явления такого порядка связаны с одним из наиболее важных вопросов, касающихся политической партии. Речь идет о способности партии бороться против застойности, против тенденций, ведущих к ее окостенению, к превращению в анахронизм. Партии возникают и организационно оформляются с тем, чтобы руководить событиями в исторические моменты, жизненно важные для их классов, но они не всегда умеют приспособиться к новым задачам и к новым эпохам, не всегда могут развиваться в соответствии с изменением общего соотношения сил (и, следовательно, в соответствии с изменением положения их классов) в определенной стране или на международной арене. При анализе развития этих партий нужно выделять: социальную группу, партийную массу, партийную бюрократию и генеральный штаб партии. Партийная бюрократия представляет собой наиболее опасную косную и консервативную силу; если она превратится в сплоченную, солидарную группу, которая существует сама по себе и чувствует себя независимой от партийной массы, то сама партия в конце концов станет анахронизмом и в периоды острого кризиса потеряет свое социальное содержание и уподобится пустой оболочке. В этом можно убедиться на примере того, что произошло с рядом партий в Германии в результате распространения гитлеризма. Благоприятную почву для такого исследования представляют собой партии во Франции: все они мумифицировались, стали анахронизмом, являясь как бы историко-политическими документами различных эпох французской истории, устаревшую терминологию которых они повторяют; их кризис может оказаться еще более катастрофическим, чем тот, что постиг немецкие партии.

* См. К. Маркс, Восемнадцатое брюмера Луи-Бонапарта.

При исследовании подобных явлений обычно не заботятся о том, чтобы правильно определить место бюрократии (гражданской и военной), и, кроме того, не учитывают, что подобный анализ должен распространяться не только на военные и гражданские бюрократические элементы, находящиеся на службе, но и на те социальные слои, из которых при данном государственном устройстве обычно рекрутируется бюрократия.

Политическое движение может носить военный характер, даже если армия как таковая открыто не принимает в нем участия; правительство может носить военный характер, даже если армия как таковая не имеет в нем своих представителей. При известных обстоятельствах может оказаться выгодным не «раскрывать» армию, не допускать того, чтобы она вышла за конституционные рамки, как говорят — не вмешивать в политику солдат, чтобы сохранить сплоченность между офицерами и солдатами на основе показной нейтральности армии, якобы стоящей над политическими группировками; и все же именно армия, то есть генеральный штаб и офицерство, определяет характер новой обстановки и играет в ней главную роль. Впрочем, неправильно утверждение, будто армия, согласно конституции, никогда не должна заниматься политикой: именно армии надлежит защищать конституцию (то есть законную форму государства) и связанные с нею институты; поэтому так называемый нейтралитет означает лишь поддержку реакционных сил. Но в подобных ситуациях вопрос надо ставить именно таким образом, с тем чтобы происшедший в стране раскол не распространился также на армию и чтобы власть генерального штаба, имеющая решающее значение, не ускользнула из его рук вследствие разложения военной машины. Все эти замечания не носят, конечно, абсолютного характера — в различные исторические периоды в различных странах они приобретают различное значение.

Прежде всего следует рассмотреть следующий вопрос: существует ли в той или иной стране широкий социальный слой, для которого бюрократическая карьера (гражданская и военная) является чрезвычайно важным элементом его экономического положения и утверждения на политической арене (эффективное участие во всех действиях власти, хотя бы косвенным образом, с помощью «шантажа»)? В современной Европе этот слой можно отождествить со

средней и мелкой сельской буржуазией, в большей или меньшей степени распространенной в различных странах в зависимости от степени развития промышленности, с одной стороны, и от осуществления аграрной реформы — с другой. Конечно, бюрократическая карьера (на гражданском и военном поприще) не является монополией этого социального слоя; и все-таки она особенно удобна для этого слоя как благодаря той социальной функции, которую она выполняет, так и благодаря тем психологическим тенденциям, которые вызываются данной функцией или развитию которых она способствует. Оба эти элемента придают социальному слою в целом определенную монолитность и способность к руководству и тем самым обуславливают его политическую значимость и ту решающую роль, которую он часто играет во всем социальном организме.

Представители этого слоя обладают опытом непосредственного командования отдельными группами людей, пусть даже небольшими, причем опытом «политического», а не «экономического» командования, то есть их умение командовать не включает в себя навыков «командования вещами» или «людьми и вещами» в их органической связи (как это имеет место в промышленном производстве), ибо этот слой не выполняет экономической функции в современном смысле слова. Он получает доход, так как юридически является собственником части национальных земель, и его функция состоит в том, чтобы «политически» препятствовать стремлениям крестьянина-земледельца улучшить условия своего существования, ибо всякое улучшение положения крестьянина вызвало бы крушение социальных позиций этого слоя. Хроническая нищета и тяжелый труд крестьянина, вызывающие его одичание, являются самым необходимым условием существования этого социального слоя. Этим объясняется та исключительная энергия, с которой он сопротивляется и встречает в штыки малейшую попытку создать самостоятельную организацию крестьян-тружеников и любое культурное движение среди крестьян, выходящее за рамки официальной религии. Ограниченность этого социального слоя и источники его органической слабости кроются в его территориальной распыленности и «неоднородности», внутренне связанной с этой распыленностью; этим же объясняются и другие характерные его особенности: неустойчивость и

многообразие идеологических систем, которых он придерживается, и экстравагантность тех идеологий, к которым он обращается по временам.

Решающее значение для достижения цели имеет воля, но она запаздывает со своим воздействием, и обычно требуется длительный срок, чтобы завершился процесс ее организационной и политической централизации. Этот процесс ускоряется, когда специфическая «воля» данного социального слоя совпадает с волей и интересами высшего класса; но происходит не только ускорение этого процесса: внезапно выступает также «военная сила» этого социального слоя, которая, организационно оформившись, диктует порой высшему классу законы, касающиеся если не существа, то по крайней мере «формы» разрешения проблемы. Здесь, если иметь в виду подчиненные классы, действуют те же законы, которые, как отмечалось, проявляются в отношениях между городом и деревней: городская сила автоматически становится силой деревни, но вследствие того, что в деревне конфликты быстро приобретают острую «личную» форму из-за отсутствия свободного поля для экономической деятельности и вследствие самого тяжелого давления, которое систематически осуществляется сверху вниз, «контратаки» этого социального слоя в деревне должны быть более частыми и решительными. Он понимает и видит, что источники его злоключений кроются в городах, в силе городов, и поэтому считает своим «долгом» заставить высшие классы городов разрешить проблему, дабы главный костер был потушен, даже если высшие городские классы не видят в этом непосредственной необходимости — потому ли, что это слишком дорогостоящее дело, или потому, что оно в конечном счете опасно (ведь эти классы видят не один лишь прямой «вещественный» интерес — они учитывают более длительные фазы развития, во время которых можно маневрировать). Именно в таком (а не в абсолютном) смысле надо понимать руководящую функцию этого социального слоя, но и это имеет не малое значение*.

* Влияние этого слоя можно наблюдать в идеологической деятельности консервативной интеллигенции, правых. В этом отношении может служить примером книга Gaetano Mosca, *Teoria dei governi e governo parlamentare* [Гаэтано Моска. Теория правлений и парламентское правление] (второе издание вышло в 1925 году, первое — в 1883 году). Начиная с 1883 года Моску приводила в ужас возможность контакта между городом и деревней.

Следует обратить внимание на то, что если раньше «военный» характер этого социального слоя обычно являлся стихийным отражением определенных условий его существования, то в настоящее время его сознательно культивируют и стремятся превратить в органическую черту этого социального слоя. В ходе этого сознательного движения предпринимаются систематические усилия с целью создать в качестве постоянно существующих организаций различные военные ассоциации, включающие в себя отставных военных и бывших фронтовиков различных частей и родов войск (особенно офицеров). Эти ассоциации связаны с генеральными штабами, и их члены могут быть мобилизованы при первой же необходимости, в результате чего отпадает потребность производить набор в армию на основе обязательной воинской повинности; последняя при этом оставалась бы резервом, используемым только в случае тревоги; и этот резерв был бы усилен и застрахован от политического разложения в результате воздействия этих «частных сил», которые не могут не влиять на «мораль» армии, воспитывая и укрепляя ее. Можно сказать, что в подобном случае имеет место движение «казацкого» типа, но воинские части эшелонируются уже не вдоль границ нации, как было с царскими казаками, а вдоль «границ» социальной группы.

В то же время в государственной жизни целого ряда стран влияние военного фактора вовсе не сводится к влиянию и воздействию одного лишь профессионально-военного элемента, а проявляется в виде влияния и воздействия того социального слоя, который служит основным источником формирования профессионально-военного элемента (особенно младших офицеров). Все эти предварительные замечания необходимы для правильного анализа наиболее характерного аспекта той определенной политической формы, которую принято называть цезаризмом, или бонапартизмом, чтобы отличить ее от другой политической формы, в которой господствующая роль профессионально-военного элемента как такового проявляется, пожалуй, еще более явно и категорически.

Благодаря своей оборонительной позиции (позиции, связанной с «контратаками») Москва в 1883 году понимал технику политики подчиненных классов лучше, чем понимали ее, даже спустя несколько десятилетий, представители самих подчиненных сил, в том числе городских.

Испания и Греция представляют собой два типичных примера, имеющих черты сходства и различия. Необходимо учитывать ряд особенностей Испании: обширность территории и низкую плотность крестьянского населения. Между дворянином-латифундистом и крестьянином не существует многочисленной сельской буржуазии; этим объясняется тот факт, что значение младшего офицерства как самостоятельной силы очень невелико. (Напротив, известную роль во внутренней борьбе играет офицерство специальных родов войск — артиллерии и инженерной службы, — которое пополняется из среды городской буржуазии; эта группа офицерства противопоставляет себя генералам и пытается проводить собственную политику.) Поэтому военные правительства являются здесь правительствами «великих» генералов. Широкие массы крестьянства — и как масса граждан и как войско — ведут себя пассивно. Если армия подвергается политическому разложению, то это происходит не «по горизонтали», а «по вертикали» — в результате конкуренции правящих клик: армия раскалывается, примыкая к вождям, ведущим между собой борьбу. Военное правительство служит промежуточным звеном между двумя конституционными правительствами; военный элемент служит постоянным резервом для сохранения существующего порядка, служит политической силой, которая действует «публично», когда «законность» находится в опасности.

То же происходит в Греции, с той, однако, разницей, что греческая территория представляет собой систему отдельных островов и наиболее энергичная и активная часть населения страны постоянно находится в море, что облегчает военным кругам организацию интриг и заговоров. Греческий крестьянин так же пассивен, как и испанский, однако на фоне всего населения наиболее энергичной и деятельной фигурой является фигура греческого матроса, находящегося почти всегда вдали от центра политической жизни; поэтому применительно к Греции нужно по-иному анализировать всеобщую пассивность населения, и разрешение проблемы не может быть одинаковым в обоих случаях (расстрел в Греции несколько лет назад членов свергнутого правительства, возможно, следует объяснить бурным порывом этого энергичного и деятельного элемента, решившего дать кровавый урок). Особенно следует подчеркнуть тот факт, что опыт воен-

ного правления в Греции и Испании не привел к созданию органически устойчивой оформленной идеологии, охватывающей политические и социальные вопросы, что случилось, напротив, в странах, являющихся, так сказать, потенциально бонапартистскими. Общие исторические условия в обеих странах одинаковы: равновесие, установившееся между борющимися городскими группами, препятствует осуществлению «нормальной демократии», парламентаризма; однако влияние, которое оказывает деревня на это равновесие, различно. В таких странах, как Испания, абсолютная пассивность деревни позволяет генералам из среды дворян-землевладельцев использовать армию в политических целях — для установления опасного по своим последствиям равновесия, то есть господства высших социальных групп.

В других странах деревня не пассивна, но развертывающееся в ней движение не координируется в политическом отношении с городским движением; армия должна оставаться нейтральной, ибо существует возможность того, что в противном случае она подверглась бы разложению «по горизонтали» (конечно, она останется нейтральной лишь до определенного момента); поэтому начинает действовать военная бюрократия, которая, подавляя военными мерами движение в деревне (непосредственно более опасное), добивается в этой борьбе определенного политического и идеологического единства, приобретает союзников в средних городских слоях (средних — с точки зрения итальянской действительности), поддерживаемых проживающими в городах студентами — выходцами из деревни, навязывает свои политические методы высшим классам, которые вынуждены пойти на многочисленные уступки и провести в ее интересах ряд законодательных мер. Одним словом, ей удается до определенных пределов навязать государству свои интересы и, вытеснив часть старых руководящих кадров, занять их место, оставаясь вооруженной (между тем как остальные разоружены) и угрожая гражданской войной, которая может возникнуть между ее собственными вооруженными отрядами и постоянной армией, если высший класс проявляет слишком настойчивое стремление к сопротивлению.

Эти замечания нужно рассматривать не как непреложные схемы, а лишь как практическое руководство в исто-

рическом и политическом анализе. В конкретном анализе действительности исторические явления выступают всегда со своими индивидуальными чертами, почти как «уникальные». Цезарь был связан с таким стечением конкретных обстоятельств, которые резко отличались от обстоятельств, выдвинувших Наполеона I, подобно тому как различна обстановка, в которой действуют Примо де Ривера и Живкович и т. д.

При анализе третьей ступени (или третьего момента) в соотношении сил, сложившемся в определенной обстановке, бесполезно было бы обратиться к теории, которая в военной науке называется теорией «стратегической обстановки», или, говоря точнее, к теории, рассматривающей степень стратегической подготовки арены борьбы, одним из важных элементов которой является качество руководящих кадров и боевых сил, которые можно назвать силами первой линии (в том числе сил, предназначенных для атаки). Высокая степень стратегической подготовки может принести победу тем силам, которые «внешне» (то есть в количественном отношении) уступают силам противника. Можно сказать, что стратегическая подготовка проводится с целью свести к нулю так называемые «не поддающиеся учету» факторы, то есть исключить возможность неожиданной реакции в определенный момент со стороны сил, которые обыкновенно остаются пассивными и инертными. Среди элементов, участвующих в подготовке благоприятной стратегической ситуации, следует назвать как раз те элементы, которые рассматриваются в замечаниях, касавшихся существования — наряду с профессиональным организмом национальной армии, — военного сословия и его организации*.

* Интересны замечания Т. Титтони, связанные с «военным сословием», в «Воспоминаниях очевидца о внутренней политике» [T. Tittoni, *Ricordi personali di politica interna*] («Нуова антология», 1—16 апреля 1929 года). Титтони пишет о своих размышлениях по поводу того факта, что при собирании сил, способных противостоять мятежу, вспыхнувшему в том или ином месте, приходится оставлять незащищенными другие районы: во время красной недели в июле 1914 года для подавления движения в Анконе была оставлена без защиты Равенна; вслед за этим префект, лишившийся вооруженной силы, вынужден был запереться в префектуре, оставив город на волю восставших. «Много раз я спрашивал себя, что могло бы сделать правительство, если бы восстание вспыхнуло одновременно по всему полуострову». Титтони пред-

Понятие о других элементах может дать следующий отрывок из речи, произнесенной в Сенате военным министром генералом Гадзера 19 мая 1932 года («Коррьере делла сэра» от 20 мая 1932 года): «Дисциплина, утвердившаяся в нашей армии, волей фашизма становится сегодня руководящей нормой, имеющей значение для всей нации. В армиях других стран существовала и до сих пор господствует суровая формальная дисциплина. Мы всегда придерживаемся того принципа, что армия предназначена для войны и должна готовиться к ней, поэтому дисциплина в мирное время должна быть такой же, как и во время войны, причем в мирный период должны быть заложены духовные основы такой дисциплины. Наша дисциплина покоится на духе спаянности между командирами и рядовыми, что является закономерным результатом системы, которой мы придерживаемся. Эта система с успехом выдержала продолжительную и труднейшую войну, завершившуюся победой. Заслуга фашистского режима состоит в том, что он распространил на весь итальянский народ великолепную традицию дисциплинированности. От дисциплины отдельных лиц зависит выполнение стратегического замысла и исход тактических операций. Война научила многому, в том числе и тому, что существует глубокий разрыв между подготовкой в мирное время и действительностью войны. Всем ясно, что, какова бы ни была подготовка, первые же военные операции выдвигают перед воюющими сторонами новые проблемы, которые застигают врасплох как ту, так и другую сторону. Но из этого не следует делать вывод, что бесполезно иметь заранее выработанный план и что из прошлой войны нельзя извлечь никаких уроков. На опыте минувшей войны можно выработать военную доктрину, которая должна быть воспринята с необходимой интеллектуальной трезвостью как средство утверждения единых взглядов и такого единообразного языка, который был бы понятен всем и заставил понимать себя. Если единство военной доктрины порой вырождалось в схематизм, то тотчас же следовала быстрая реакция, которая незамедлительно вела к изменениям в тактике,

ложил правительству провести набор «добровольцев порядка» из среды бывших фронтовиков, которых возглавили бы отставные офицеры. Было решено, что проект Титтони заслуживает рассмотрения, но практического применения он не получил.

вызывавшимся также прогрессом в военной технике. Следовательно, подобная регламентация не является статичной и не имеет характера традиции, как о ней иногда думают. Традиция учитывается только до тех пор, пока она представляет собой силу, уставы же подвергаются постоянному пересмотру не из-за любви к переменам, а с целью привести их в соответствие с действительностью». (Иллюстрацию «подготовки стратегической обстановки» можно найти в «Мемуарах» У. Черчилля, в том месте, где он пишет о ютландском сражении.)

Цезаризм

Рассмотреть на примере Цезаря, Наполеона I, Наполеона III, Кромвеля и др. Следует выделить исторические события, кульминационной точкой которых было появление великой «героической» личности.

Можно сказать, что цезаризм является отражением такой ситуации, когда борющиеся между собой силы находятся в состоянии катастрофического равновесия, то есть такого равновесия, при котором продолжение борьбы может иметь лишь один исход: взаимное уничтожение борющихся сил. Когда прогрессивная сила А борется с реакционной силой В, может случиться не только так, что сила А победит силу В или сила В победит силу А; может создаться такое положение, когда сила А и сила В, не добившись победы, взаимно истощат друг друга, а извне вторгнется третья сила С, которая подчинит себе остатки сил А и В. Именно это и произошло в Италии после смерти Лоренцо Великолепного.

Цезаризм всегда служит выходом из историко-политической ситуации, характеризующейся таким равновесием сил, которое грозит завершиться катастрофой; этот выход принимает форму «арбитража», доверенного великой личности. Однако историческое значение цезаризма не всегда одинаково: он может носить прогрессивный и реакционный характер, и истинное значение каждой формы цезаризма в конечном счете может быть точно установлено лишь с помощью конкретных исторических данных, а не на основе социологической схемы. Цезаризм прогрессивен, когда его вмешательство помогает восторжествовать прогрессивной силе — хотя бы и с помощью определенных компромиссов и условий, ограни-

чивающих значение одержанной победы; цезаризм носит реакционный характер, когда его вмешательство помогает восторжествовать реакционной силе также с помощью компромиссов и ограничений, но имеющих в этом случае иной смысл, иную силу, иное значение. Цезарь и Наполеон I служат примерами прогрессивного цезаризма. Наполеон III и Бисмарк — цезаризма реакционного.

Речь идет о выяснении того, какой из элементов является преобладающим в диалектическом процессе «революции — реставрации» — элемент революции или элемент реставрации, ибо известно, что историческое движение не может идти вспять и что не существует реставраций *in toto*. Впрочем, цезаризм — это полемико-идеологическая формула, а не канон исторической интерпретации. Обстоятельства могут привести к установлению цезаризма без Цезаря, без великой «героической» и представительной личности.

Парламентская система также создала механизм для подобных компромиссных решений. В известной степени подобным компромиссом явилось «лейбористское» правительство Макдональда, причем степень цезаризма возросла, когда Макдональд возглавил правительство, которое имело поддержку среди консервативного большинства парламента. В Италии в период с октября 1922 года и до откола «народной партии», а затем через ряд стадий, вплоть до 3 января 1925 года и, наконец, до 8 ноября 1926 года, имело место историко-политическое движение, заключавшееся в смене одних ступеней цезаризма другими, вплоть до установления его наиболее чистой и устойчивой формы (впрочем, также не остающейся без движения).

Всякое коалиционное правительство представляет собой начальную ступень цезаризма, которая может развиваться (а может и не развиваться) до наиболее показательных его ступеней; те, кто придерживается вульгарной точки зрения, естественно, считают, что коалиционное правительство служит, напротив, самым «надежным оплотом» против цезаризма. В современном мире с его широкими коалициями, нссящими профсоюзно-экономический и партийно-политический характер, механика цезаристских движений во многом отлична от той, какая была вплоть до Наполеона III. В период, заканчивающийся вместе с Наполеоном III, регулярные войска (или

пехота) выступали в качестве решающей силы при установлении цезаризма, который утверждается в результате открытых государственных переворотов, военных действий и т. д. В современную эпоху проблема усложняется тем, что существуют профсоюзные и политические силы с неисчислимыми финансовыми средствами, которыми могут располагать небольшие группы граждан. Функционеры партий и профсоюзов могут быть подкуплены или терроризированы без применения военной силы в крупном масштабе, как это имело место при Цезаре или при перевороте 18 брюмера. В таких случаях возникает та же ситуация, которая была рассмотрена в связи с якобинской формулой 1848 года, формулой так называемой «перманентной» революции. Техника современной политики коренным образом изменилась после 1848 года в связи с распространением парламентаризма и политического устройства, имеющего форму ассоциации профсоюзов и партий, в связи с образованием широкого слоя государственной и «частной» бюрократии («частной» в политическом смысле, то есть партийной и профсоюзной бюрократии) и, наконец, в связи с преобразованиями, которые происходят в организации полиции — в широком смысле этого слова, то есть полиции не только как государственной службы, предназначенной для борьбы с преступностью, но как совокупности всех сил, организованных государством и частными лицами для охраны политического и экономического господства правящих классов. В этом смысле целые политические партии, экономические и другие организации надо рассматривать в качестве органов политической полиции, выполняющих разведывательную и охранительную функцию.

Намеченная в общих чертах схема борьбы между силами А и В, борьбы, которая может завершиться катастрофой, то есть может привести к тому, что ни сила А, ни сила В не добьются победы в борьбе за создание (или воссоздание) органического равновесия, порождающего (или могущего породить) цезаризм, — эта схема является именно общей гипотезой, социологической схемой (удобной в политическом искусстве). Гипотеза может становиться все более конкретной, приблизиться в наибольшей степени к конкретной исторической действительности; этого можно достигнуть путем уточнения некоторых ос-

новых положений. Так, по поводу силы А и силы В было лишь сказано, что одна из них в целом прогрессивна, а другая — в целом реакционна: можно уточнить, о каком типе прогрессивных и реакционных сил идет речь, и таким образом приблизиться к реальной действительности в большей степени. О случае с Цезарем и Наполеоном I можно, например, сказать, что хотя силы А и В различались между собой и противостояли друг другу, однако не настолько, чтобы было «абсолютно» невозможным слияние и взаимная ассимиляция этих сил в результате подспудно протекавшего процесса, что в действительности и произошло, по крайней мере в определенной степени (достаточной, однако, для осуществления задач историко-политического характера, для прекращения органической борьбы между основными силами и, следовательно, для преодоления катастрофической ситуации). Вот один из элементов, позволяющих более правильно познать историческую действительность. Другой элемент заключается в следующем: катастрофическая ситуация может возникнуть только как результат «минутной» политической слабости традиционной господствующей силы, а не как следствие ее органического бессилия в политике, которое уже нельзя преодолеть. Это подтверждается на примере Наполеона III. Во Франции с 1815 по 1848 год господствующая сила в политическом (партийном) отношении оказалась расколотой на четыре фракции: легитимистскую, орлеанистскую, бонапартистскую и якобинско-республиканскую. Внутренняя борьба партий носила такой характер, что становилось возможным «преждевременное» выдвижение прогрессивной силы, враждебной силе В; однако существовавший социальный строй еще не исчерпал своих возможностей развития, что было чрезвычайно ярко продемонстрировано дальнейшим ходом истории. Наполеон III по-своему выразил (в соответствии со способностями этого отнюдь не великого человека) скрытые, имманентные возможности; поэтому его цезаризм имеет особую окраску. Цезаризм, установленный Цезарем, а также Наполеоном I, носил, так сказать, количественно-качественный характер, то есть в нем нашла свое выражение историческая эпоха, в которую совершался переход от одного типа государства к другому, переход, со-

пряженный со столь многочисленными и разнообразными переменами, что в своей совокупности они означали полный переворот. Цезаризм же Наполеона III носил узко количественный и притом ограниченный характер, был сопряжен не с переходом от одного типа государства к другому, а только лишь с «эволюцией» государства одного и того же типа, происходившей по непрерывной линии.

В современном мире явление цезаризма в общем носит особый характер, отличаясь как от прогрессивного цезаризма (Цезарь — Наполеон I), так и от цезаризма такого типа, который был связан с Наполеоном III, хотя явления цезаризма в наше время и близки к последнему. В современную эпоху равновесие, сопряженное с возможностью катастрофы, устанавливается не между силами, которые в конечном счете могли бы слиться воедино, хотя бы и в результате тяжелого и кровопролитного процесса; такое равновесие устанавливается теперь только между силами, которые разделены исторически непримиримыми противоречиями, причем оно особенно усиливается именно в результате установления цезаристского порядка. Тем не менее даже в современную эпоху для развития цезаризма имеется известное поле деятельности, более или менее широкое (в зависимости от характера страны и того места, которое она занимает в мировой структуре), потому что эта социальная форма «всегда» имеет потенциальные возможности для последующего развития и организационного оформления. Она может особенно рассчитывать на относительную слабость противостоящей ей прогрессивной силы, вытекающей из самой ее природы и особенностей ее существования, слабость, в сохранении которой эта социальная форма заинтересована; поэтому и говорят, что современный цезаризм носит скорее полицейский, а не военный характер.

Мы допустили бы методологическую ошибку (в духе социологического механицизма), если бы признали, что при цезаризме — будь то цезаризм прогрессивный, реакционный или носящий эпизодический промежуточный характер — новое историческое явление целиком и полностью вызвано равновесием «основополагающих» сил; нужно видеть помимо них те отношения, которые связывают главные группы основных классов (отношения различного характера — социально-экономические и техни-

ко-экономические) со вспомогательными силами, на которые распространяется гегемония или которые подвержены ее влиянию. Так, например, нельзя было бы понять природу государственного переворота 2 декабря [1851 года], не изучив роль военных групп и роль французского крестьянства.

С этой точки зрения важным историческим эпизодом является движение, развернувшееся во Франции в связи с делом Дрейфуса. Его также следует рассмотреть в этих замечаниях, но не потому, что оно привело к «цезаризму», а, напротив, именно потому, что оно сорвало попытки установить явно реакционную форму цезаризма. Тем не менее движение в защиту Дрейфуса является характерным, ибо в нем участвовали элементы из среды самого господствующего блока, которые препятствовали наиболее реакционной части того же самого блока установить цезаризм, причем они опирались не на крестьян, не на деревню, а на зависимые от них городские элементы, руководимые реформистским социализмом (но, впрочем, и на более передовую часть крестьянства). Можно указать и на другие современные историко-политические движения, подобные движению дрейфусаров, не являющиеся, конечно, революционными, но и не целиком реакционные, по крайней мере в том смысле, что они ликвидируют в господствующем лагере реакционные государственные наслоения и приобщают к государственной жизни и социальной деятельности новые кадры, более многочисленные по сравнению с ранее существовавшими. Такие движения могут иметь даже относительно «прогрессивное» значение, поскольку они свидетельствуют о том, что в недрах старого общества были скрыты жизнеспособные силы, которые не сумели использовать старые правящие круги, пусть даже эти силы и были «побочными», а не абсолютно прогрессивными, поскольку они не могли «сделать эпоху». В историческом отношении эти движения оказываются действенными вследствие конструктивной слабости антагонистических сил, а не благодаря собственной внутренней силе; таким образом, они связаны с такой ступенью в равновесии между борющимися силами, когда ни одна из них не в состоянии проявить в собственном лагере волю, которая была бы созидательной в полном смысле этого слова.

Политическая борьба и война

Если в ходе войны достигнута стратегическая цель, разбита армия противника и оккупирована его территория, то война завершается миром. Больше того, для окончания войны достаточно, чтобы стратегическая цель была достигнута лишь потенциально, то есть чтобы состоялось положение, не оставляющее сомнения в том, что армия противника больше не в состоянии сражаться, а победоносная армия «в состоянии» оккупировать вражескую территорию.

Политическая борьба неизмеримо сложнее: в известном смысле ее можно сравнить с колониальными войнами или с завоевательными войнами прошлого, когда победившая армия устанавливала (или намеревалась установить) постоянную оккупацию всей завоеванной территории или части ее. В таком случае побежденная армия разоружалась и распускалась, но борьба продолжалась на политической почве и в форме военных «приготовлений».

Так, например, политическая борьба против англичан в Индии (и в известной степени борьба Германии против Франции или борьба Венгрии против Малой Антанты) принимает следующие три формы войны: маневренной, позиционной и подпольной войны. Кампания пассивного сопротивления, возглавляемая Ганди, является войной позиционной, которая в определенный момент превращается в маневренную войну или в подпольную. Бойкот является позиционной войной, забастовки — маневренной, тайная подготовка войск и ударных элементов — подпольной войной. Последний вид войны представляет собой форму движения «отважных»³², но она применяется с большой осторожностью. В случае, если бы англичане были уверены, что готовится мощное восстание с целью ликвидации их нынешнего стратегического превосходства, позволяющего душить массы (и состоящего в известном смысле в том, что они имеют возможность маневрировать по внутренним коммуникациям и концентрировать свои силы в пунктах, которые «спорадически» становятся наиболее опасными), — восстание, которое заставило бы англичан распылить свои силы по всему театру военных действий, в который одновременно превращается вся страна, — то в этом случае англичанам

было бы выгодно *спровоцировать* преждевременное выступление боевых сил индийцев, чтобы выявить эти силы и обезглавить всеобщее движение. Подобно этому, Франции было бы выгодно, чтобы правые немецкие националистические партии оказались вовлеченными в авантюристическую попытку совершить государственный переворот, что вынудило бы к преждевременному выступлению те военные организации, в нелегальном существовании которых есть подозрение, и тем самым позволило бы начать интервенцию, которая с точки зрения французов была бы чрезвычайно своевременна.

Вот почему при таких смешанных формах борьбы, носящей в основном военный характер, но проявляющейся преимущественно в политических формах (всякая политическая борьба всегда имеет в качестве своей первоосновы военную борьбу), использование «отважных» требует развития оригинальной тактики, для теоретического обоснования которой опыт войны в состоянии дать только стимул, но не может служить образцом.

Особо следует рассматривать вопрос о балканских *комитаджиях*³³, существование которых связано с особыми физико-географическими условиями страны, с формированием сельских классов, а также с характером реальной силы властей. Это относится также к ирландским отрядам: форма их организации и формы их борьбы были связаны с характером социальной структуры Ирландии. Вопрос о комитаджиях, ирландских отрядах и других формах партизанской войны нужно отличать от вопроса о движении «отважных», хотя, на первый взгляд, между ними имеются точки соприкосновения.

Партизанскую борьбу в указанных выше формах ведет слабое, но ожесточившееся меньшинство против хорошо организованного большинства, между тем как движение «отважных» в современную эпоху предполагает существование крупных резервов, не используемых по различным причинам, но сильных потенциально, поддерживающих это движение и укрепляющих его посредством поддержки отдельных индивидуумов.

Неправильное понимание взаимоотношений, существовавших в 1917—1918 годах между частями «отважных» и регулярной армией, может привести и действительно приводило политических руководителей к выдвиганию ошибочных планов развития политической

борьбы. Во-первых, они забывают, что отряды «отважных» имеют лишь тактическое назначение и предполагают существование армии, хотя и мало действенной, но не абсолютно инертной, ибо, если дисциплина и воинский дух ослабели и остаются в таком состоянии вплоть до выработки новой тактической диспозиции, они тем не менее все же существуют в определенной степени, которая как раз соответствует новому тактическому построению; в противном случае дело кончилось бы разгромом и бегством — только и всего. Во-вторых, не учитывают, что движение «отважных» надо рассматривать не как свидетельство общей боеспособности армии, а, напротив, оно является выражением ее пассивности и относительной деморализации.

Все вышесказанное заключает в себе в скрытой форме тот общий критерий, что сравнения между военным искусством и политикой всегда надо делать *cum grano salis* *, то есть что такие сравнения могут служить лишь в качестве стимулов для мысли и для образования терминов силлогизма, облегчающих доказательства *ad absurdum* **. В самом деле, в практике политической «милиции» отсутствуют жестокие карательные санкции для тех, кто ошибается или не соблюдает беспрекословного подчинения; отсутствует военно-полевой суд, не говоря уже о том, что характер построения политических сил не может идти даже в отдаленное сравнение с построением военных сил.

Помимо маневренной и осадной (или позиционной) войны, политическая борьба имеет и другие формы. Движение «отважных» в подлинном смысле этого слова, то есть движение «отважных» в современную эпоху, свойственно позиционной войне, как это выявилось в период 1914—1918 годов. Но в маневренных и осадных войнах предшествующих эпох в известном смысле также существовали отряды «отважных»: легкая и тяжелая кавалерия, берсальеры и т. д., и подвижные силы вообще отчасти выполняли роль таких ударных отрядов; так, в искусстве организации боевого охранения содержался зародыш современного движения «отважных». Зародыш этого движения содержится в большей степени не в ма-

* С умом (лат.).—Прим. перев.

** Путем сведения к нелепости (лат.).—Прим. перев.

невренной, а в осадной войне: с ней связана организация более широкой охранной службы, и в особенности искусство организации внезапных вылазок и неожиданных бросков, в которых участвуют специально отобранные лица.

Нужно помнить также о том, что в политической борьбе не следует копировать методы борьбы господствующих классов, иначе можно легко попасть в ловушку. Это часто подтверждается на опыте современной борьбы. Ослабевшая государственная машина подобна ослабевшей армии; в таком случае выступают отряды «отважных», то есть самостоятельно возникшие вооруженные организации, преследующие двоякую цель: использовать незаконные действия в качестве средства реорганизации государства, добиваясь в то же время, чтобы само государство действовало при этом в рамках законности. Было бы глупо полагать, что незаконным действиям таких организаций можно было бы противопоставить подобные действия других организаций, то есть что с помощью ударных отрядов «отважных» можно бороться с ударными же отрядами другой стороны; думать так — значит верить в то, что государство вечно будет оставаться инертным, чего на деле никогда не случается (не говоря уже о других различных обстоятельствах).

Положение классов приводит к коренному различию в их возможностях: класс, члены которого вынуждены ежедневно работать установленное количество часов, не может иметь постоянно существующих и специализированных ударных отрядов, между тем как класс, обладающий широкими финансовыми средствами и не связанный в лице всех своих членов постоянной работой, имеет такую возможность. Эти ударные организации, приобретающие профессиональный характер, в любой час дня и ночи могут наносить решительные удары и нападать врасплох. Таким образом, тактика ударных отрядов не может иметь для определенных классов такого же значения, какое она имеет для других; некоторым классам необходимо вести маневренную, подвижную войну (ибо она удобна для них), которую — в сфере политической борьбы — полезно, а быть может, и необходимо комбинировать с тактикой, связанной с применением отрядов «отважных». Но делать это по военному образцу —

значит совершать глупость: политические соображения в этом случае должны быть поставлены выше собственно военной части, и только политика создает возможность маневренных, подвижных действий.

Из всего вышесказанного следует, что в движении «отважных», имеющем военный характер, надо различать его техническую функцию как функцию специальных войск, связанных с современной позиционной войной, и его военно-политическую функцию: в качестве специальных войск движение «отважных» существовало в армиях всех стран, участвовавших в мировой войне; военно-политическую функцию движение «отважных» выполняло в странах, в политическом отношении ослабленных и не монолитных, выражением чего является низкая боеспособность национальной армии и превращение генерального штаба в бюрократическую и окостеневшую в своей деятельности организацию.

В связи с сопоставлением концепций маневренной и позиционной войны, бытующих в военном искусстве, и подобных же концепций, применяемых в политическом искусстве, следует напомнить о брошюре Розы *, переведенной на итальянский язык в 1919 году К. Алессандри (перевод с французского). Эта брошюра представляет собой попытку теоретически обобщить исторический опыт 1905 года; однако это делается несколько торопливо и даже поверхностно. В самом деле, Роза упускает из виду «добровольческие» и организаторские элементы, которые в ходе тех событий имели значительно большее распространение и сыграли значительно большую роль, чем могла бы допустить Роза вследствие присущих ей в известной мере предрассудков «экономизма» и стихийности. Тем не менее эта брошюра, как и другие очерки того же автора, является одним из самых показательных документов, теоретически рассматривающих маневренную войну применительно к политическому искусству. Непосредственный экономический элемент (кризисы и др.) рассматривается в качестве полевой артиллерии, которая в ходе войны пробивает в обороне противника брешь, достаточную для вторжения войск и достижения

* Rosa Luxemburg, Lo sciopero generale.— Il partito e i sindacati, Società Editrice «Avanti!», Milano, 1919 [Роза Люксембург, Всеобщая забастовка. Партия и профсоюзы].— *Прим. ит. ред.*

окончательного (стратегического) успеха или по крайней мере такого, который важен с точки зрения выработки общего направления стратегической линии.

Естественно, что в исторической науке действие непосредственного экономического элемента рассматривается как фактор, значительно более сложный, чем тяжелая артиллерия в маневренной войне, ибо с точки зрения исторической науки этот элемент приносит тройной результат. Во-первых, он рассматривается как фактор, пробивающий брешь в обороне противника, после того как он вызвал расстройство в его рядах и отнял у него веру в самого себя, в собственные силы и в свое будущее; во-вторых, как фактор, вызывающий молниеносную организацию собственных войск, создание собственных кадров или по крайней мере приводящий к тому, что уже существующие кадры (выработанные ранее ходом всего исторического процесса) мгновенно занимают свои места, концентрируя вокруг себя распыленные части; в-третьих, как фактор, вызывающий мгновенную идеологическую консолидацию на базе единства преследуемой цели.

Таким образом, это была форма железного экономического детерминизма, усугубляющегося еще тем, что принято было считать, что его действия проявляются с чрезвычайной быстротой во времени и пространстве; таким образом, это был самый настоящий исторический мистицизм, вера в проявление своего рода чудодейственной силы.

Содержащееся в романе генерала Краснова * утверждение, что Антанта, не желая победы Российской империи из опасения, как бы эта победа не привела к окончательному разрешению в пользу царской России восточного вопроса, навязала якобы русскому генеральному штабу позиционную войну (которая действительно была бы абсурдом, учитывая огромную протяженность фронта от Балтики до Черного моря при наличии огромных пространств, покрытых болотами и лесом), между тем как единственно возможной была маневренная война, — утверждение это является чистейшей нелепицей.

* *Pietro Krasnov, Dall'aquila imperiale alla bandiera rossa, Firenze, Solani, 1928* [Петр Краснов, От имперского орла к красному знамени]. — *Прим. ит. ред.*

В действительности русская армия пыталась вести маневренную и наступательную войну, особенно в австрийском секторе фронта (но также и в Восточной Пруссии), и результаты ее были столь же блестящи, сколь и эфемерны. Истина заключается в том, что нельзя по собственному желанию выбрать ту или иную форму ведения войны и еще в меньшей степени — добиться немедленного подавляющего превосходства над противником; известно, сколь многих потерь стоило упорство, проявленное генеральными штабами, не пожелавшими признать, что позиционная война была «навязана» общим соотношением сил борющихся сторон. В самом деле, позиционная война — это не просто окопная война; она определяется всей организационной и промышленной системой той территории, которая находится в тылу действующей армии. Сюда относятся, в частности, скорострельность орудий, пулеметов, винтовок, концентрация войск в определенном пункте, не говоря уже о непрерывном снабжении, позволяющем быстро пополнить материальные потери после разгрома и отступления. Другой элемент — это огромная масса людей (с различной боеспособностью), участвующих в построении и могущих действовать только как масса. Хорошо известно, что на восточном фронте одно дело было осуществить прорыв в немецком секторе фронта, а другое — в австрийском, и что даже на австрийском фронте, когда он был усилен отборными немецкими войсками и перешел под немецкое командование, наступательная тактика потерпела провал. То же самое можно было наблюдать во время польской войны 1920 года, когда казалось бы неустойчивое наступление было остановлено под Варшавой генералом Вейганом на линии, находившейся под командованием французских офицеров. Однако существование этих военных технических элементов, о которых сейчас говорилось в связи с позиционной войной и о которых раньше шла речь в связи с маневренной войной, не означает, конечно, что предыдущий тип нужно рассматривать как отвергнутый наукой. Существование таких элементов свидетельствует лишь о том, что в случае войны между более развитыми в промышленном и гражданском отношениях государствами значение этого типа следует рассматривать как ограничивающееся выполнением скорее тактической, чем стратегической функции и что его нужно рас-

смагивать в той же плоскости, в какой ранее осадная война рассматривалась в сравнении с маневренной.

То же самое ограничение нужно сделать в политическом искусстве и в политической науке, по крайней мере в отношении более развитых государств, в которых «гражданское общество» превратилось в очень сложную структуру, выдерживающую катастрофические «вторжения» непосредственного экономического элемента (кризисов, депрессий и т. д.): надстройки гражданского общества в этом случае играют роль как бы системы траншей в современной войне. В такой войне ожесточенный артиллерийский обстрел, который, казалось бы, должен был уничтожить всю оборонительную систему противника, на самом деле разрушает лишь ее внешнее прикрытие, так что в момент атаки и наступления атакующие наталкиваются на все еще эффективную линию обороны. Подобное же явление имеет место в политике в период сильных экономических кризисов: несмотря на последствия кризиса, атакующие не могут ни организовать с молниеносной быстротой свои силы во времени и пространстве, ни тем более обрести наступательный дух; в свою очередь атакуемые не оказываются деморализованными, не прекращают обороняться даже среди руин и не теряют веры в свои силы и свое будущее. Положение, конечно, не остается неизменным, но верно и то, что происходящим событиям не хватает быстроты, ускоренного темпа, ясно выраженного прогрессирующего развития, на что, вероятно, надеются в таких случаях стратеги политического диктаторства.

Последним выражением такого рода политических явлений были события 1917 года. Они ознаменовали собой решающий поворот в истории политического искусства и политической науки. Вопрос сводится, таким образом к тому, чтобы со всей глубиной изучить, каковы те элементы гражданского общества, которые соответствуют оборонительной системе в позиционной войне. Я сознательно подчеркиваю необходимость глубокого изучения, ибо эти элементы изучались, но изучались на основе поверхностных и банальных исходных положений (подобно тому как некоторые специалисты по истории одежды изучали прихотливые изменения женской моды), или же с «рационалистической» точки зрения, то есть исходя из убеждения, что определенные явления исчезают, как

только они получили «рационалистическое» объяснение, словно это народные суеверия (которые, впрочем, вовсе не исчезают, даже если они и получили научное объяснение).

Следует подумать над тем, не является ли пресловутая теория Бронштейна о *перманентности* движения* отражением в политике теории маневренной войны (в этой связи надо вспомнить о замечаниях казачьего генерала Краснова), а в конечном счете — отражением общих экономико-культурно-социальных условий страны, в которой кадры национальной жизни находятся еще в эмбриональном, расслабленном состоянии и не могут сыграть роль «траншей» или «крепости». В этом случае можно было бы сказать, что Бронштейн, который выглядит «западником», на самом деле был космополитом, то есть он был лишь поверхностно национален, и столь же поверхностными были его западничество и его европеизм. Напротив, Ильич был глубоко национален, и столь же глубоким был его европеизм.

В своих мемуарах Бронштейн вспоминает о том, как ему сказали, что лишь спустя... пятнадцать лет выяснилось, что его теория правильна. В действительности его теория как таковая не оказалась правильной ни пятнадцатью годами раньше, ни пятнадцатью годами позже; как бывает с теми упорствующими, о которых говорил Гвиччардини, он сделал предвидение в общем и целом, то есть он был прав в общем практическом предвидении. Таким же образом можно предвидеть, что четырехлетняя девочка станет матерью, и когда она действительно становится ею в двадцать лет, говорят: «я предсказывал это», не напоминая, однако, о том, что, когда девочке было четыре года, ее собирались изнасиловать, надеясь, что она станет матерью.

Мне кажется, что Ильич понял необходимость превратить маневренную войну, победоносно примененную на Востоке в 1917 году, в войну позиционную, которая была единственно возможной на Западе, где (как отмечает Краснов) на небольшом пространстве армии могли сконцентрировать бесчисленное количество боеприпасов и где социальные кадры сами по себе были еще способны сыграть роль сильнейших укреплений. По-моему, это и

* Теория «перманентной революции» Троцкого.— *Прим. ит. ред.*

означало бы осуществление формулы «единого фронта», которая соответствует концепции единого фронта Антанты под единым командованием Фоша. Ильич только не имел времени, чтобы углубить свою формулу; однако надо учесть, что он мог углубить ее только теоретически, между тем как основная задача носила национальный характер, то есть требовала разведки территории и выявления тех элементов гражданского общества, роль которых можно уподобить роли траншей и крепостей и т. д.

На Востоке государство было всем, гражданское общество находилось в первичном, аморфном состоянии. На Западе между государством и гражданским обществом были упорядоченные взаимоотношения, и если государство начинало шататься, тотчас же выступала наружу прочная структура гражданского общества. Государство было лишь передовой траншеей, позади которой была прочная цепь крепостей и казематов; конечно, это относится к тому или иному государству в большей или меньшей степени, и именно этот вопрос требует тщательного анализа применительно к каждой нации.

Теорию Бронштейна можно сравнить с теорией всеобщей стачки, выдвинутой некоторыми французскими синдикалистами, и с теорией Розы, изложенной ею в брошюре, переведенной Алессандри. Впрочем, ее теория и ее брошюра носят на себе отпечаток влияния французских синдикалистов, как это явствует из некоторых статей Росмера в «Ви увриер», посвященных Германии (первая серия вышла в виде брошюрок); отчасти они связаны также с теорией стихийности.

Концепция пассивной революции

Концепция «пассивной революции» должна быть точно сформулирована на основе двух главных принципов политической науки, состоящих в следующем: во-первых, ни одна социальная формация не исчезает до тех пор, пока остается возможность дальнейшего прогрессивного развития ее производительных сил; во-вторых, общество не выдвигает таких задач, для разрешения которых еще не созрели необходимые условия. Естественно, что сначала эти принципы должны быть освобождены от всяких наслоений механицизма и фатализма и критически развиты во всех своих аспектах. Эти принципы должны быть

сведены к рассмотрению трех основных вопросов: во-первых, вопроса о «ситуации», или о системе равновесия сил; во-вторых, вопроса о равновесии политических сил, которому следует уделить максимальное внимание, и, в-третьих, вопроса о равновесии военно-политических сил, который имеет особое значение. Можно отметить, что Пизакане в своих «Очерках о революции» занимается рассмотрением именно этого третьего вопроса: он понимал, в отличие от Мадзини, всю важность того факта, что в Италии находилась закаленная австрийская армия, всегда готовая вторгнуться в любую часть полуострова и имевшая за собой, помимо всего прочего, военную мощь всей Габсбургской империи, то есть опорную базу, всегда готовую послать ей в поддержку вновь сформированные войска.

Следует напомнить также о другом историческом явлении — о развитии христианства в лоне Римской империи — и в этой же связи о гандизме в современной Индии и о теории непротивления злу Л. Толстого, которые в значительной степени приближаются к христианству в той форме, в которой оно существовало на начальной ступени его развития (до издания Миланского эдикта). Гандизм и толстовство представляют собой наивное и религиозно окрашенное выражение теории «пассивной революции». Надо указать также на ряд движений так называемых «ликвидационистов» и на те ответные реакции, которые они вызывали — в зависимости от времени и от форм указанных ситуаций (особенно от ситуации третьего типа). При изучении этого вопроса отправной точкой должен послужить трактат В. Куоко³⁴. Несомненно, однако, что взгляды Куоко на неаполитанскую революцию 1799 года могут послужить именно лишь отправной точкой и ничем иным, ибо с тех пор эта концепция обогатилась и претерпела полное изменение.

Можно ли концепцию «пассивной революции», в том смысле, в каком В. Куоко применяет ее к первому периоду Рисорджименто, поставить в один ряд с концепцией «позиционной войны» в противоположность войне маневренной? Другими словами, могут ли быть объяснены эти концепции, возникшие после Французской революции, равно как и двуединая концепция Прудона — Джоберти,

той паникой, которая была вызвана террором 1793 года, а сорелизм — паникой, последовавшей за парижской бойней 1871 года? Иначе говоря, существует ли абсолютное тождество между концепциями позиционной войны и пассивной революции? Или по крайней мере существует ли целый исторический период (или: можно ли допустить существование этого периода), на протяжении которого обе концепции должны быть признаны тождественными, вплоть до того момента, когда позиционная война превращается в войну маневренную?

Существует «динамическая» точка зрения, которую нужно распространить на «реставрации»; последние в соответствии с этой точкой зрения были «превратностями судьбы» в том смысле, какой придал этому понятию Вико. Проблема состоит в следующем: не являлись ли одинаково необходимыми и Кавур и Мадзини в той борьбе, которая происходила между ними и в которой Кавур олицетворял собой пассивную революцию, позиционную войну, а Мадзини — народную инициативу, маневренную войну? Нужно всегда иметь в виду, что Кавуру было присуще понимание своей задачи (по крайней мере в известной степени), поскольку он понимал, в чем состоит задача Мадзини, между тем как сам Мадзини, по моему, не осознавал ни собственной задачи, ни задачи Кавура. Если бы, напротив, Мадзини обладал таким пониманием задач, то есть был бы реальным политиком, а не апостолом-просветителем (иначе говоря, если бы Мадзини не был Мадзини), то равновесие сил, возникшее в результате слияния деятельности двух направлений, было бы иным, более благоприятным для мадзинизма; иначе говоря, итальянское государство было бы основано на более современной, а не на столь отсталой базе. И так как в любом историческом явлении почти всегда возникают подобные ситуации, то следовало бы подумать, нельзя ли извлечь из этого факта какой-то общий принцип политической науки и политического искусства.

К концепции пассивной революции можно применить критерий, поясняющий те подспудные изменения, которые в действительности приводят к быстрому изменению в прежнем соотношении сил и превращаются таким образом в источник новых изменений (возможность применения такого критерия может быть доказана на фактах

итальянского Рисорджименто). Так, в период Рисорджименто можно было наблюдать, как после 1848 года переход на сторону кавуризма все новых и новых приверженцев Партии действия привел к быстрой перемене в структуре сил умеренных; с одной стороны, он вызвал ликвидацию неогельфизма³⁵, с другой — оскудение мадзинистского движения (с этим процессом связаны также колебания Гарибальди и др.). Таким образом, этот процесс является начальной фазой того явления, которое позднее получило название «трансформизма»³⁶ и значение которого как формы исторического развития до сих пор, кажется, еще не было освещено должным образом.

Следует настойчиво развивать указанное выше положение, смысл которого состоит в том, что в то время как Кавур создавал, каковы стоящие перед ним задачи, поскольку он критически воспринимал задачи Мадзини, сам Мадзини, плохо или вовсе не понимавший задачи, стоявших перед Кавуром, в действительности недостаточно ясно понимал и свои собственные задачи; отсюда его колебания (например, в Милане в период после «пяти дней»³⁷ и в других случаях) и его несвоевременные попытки поднять восстания, игравшие благодаря этому на руку пьемонтской политике. Все это служит иллюстрацией к поставленной в «Нишете философии» теоретической проблеме: каким образом надо понимать диалектику; что каждый член диалектического противоречия должен стремиться быть целиком самим собой и вовлекать в борьбу все свои политические и моральные «ресурсы» — этого не понимали ни Прудон, ни Мадзини. Можно сказать, что этого также не поняли Джоберти и теоретики пассивной революции (или «революции-реставрации»*), но в этом случае вопрос стоит по-иному: у них теоретическое «непонимание» являлось практическим выражением существующей для «тезиса» необходимости развивать целиком самого себя до тех пор, пока не удастся поглотить часть антитезиса, чтобы не дать последнему возможности «превзойти» себя [тезис]; с их точки зрения, в диалектическом противоречии только тезис

* Нужно будет посмотреть, что говорится на этот счет в политической литературе о 1848 годе, принадлежащей исследователям философии политики, но мне кажется, что от нее нельзя ожидать многого. Так, например, при рассмотрении итальянских событий ее представители следовали лишь сочинениям Болтона Кинга и т. п.

развивает в действительности все свои способности к борьбе, вплоть до перетягивания на свою сторону так называемых представителей антитезиса; именно в этом и заключается пассивная революция, или революция-реставрация.

Несомненно, что с этой точки зрения надо рассматривать вопрос о переходе, происходящем в политической борьбе,— переходе от «маневренной войны» к «позиционной войне». Такой переход произошел в Европе после 1848 года, что не было понято Мадзини и мадзинистами, но зато было понято кое-кем из другого лагеря; подобный же переход имел место после 1871 года и т. д. В ту эпоху таким людям, как Мадзини, было трудно понять эту проблему вследствие того, что войны не представляли им подобного образца; более того, разрабатываемые военной наукой в этот период доктрины были выдержаны в плане маневренной войны. В этой связи следовало бы посмотреть, нет ли у К. Пизакане — военного теоретика мадзинизма — каких-либо указаний на этот счет.

На Пизакане следует обратить особенно пристальное внимание, потому что он был единственным человеком, попытавшимся придать Партии действия не формальное, а истинное, глубокое содержание, превратить ее в антитезис, преодолевающий традиционные позиции. Излишне говорить о том, что для выполнения подобной исторической задачи было необходимо решительное вооруженное восстание народа, идеей которого был совершенно одержим Мадзини. Но это как раз означает, что он подходил к организации такого восстания не как реалист, а как миссионер-апостол.

Вмешательство народа, которое тогда не могло вылиться в форму концентрированного и одновременно возникающего восстания, не приняло и «рассеянной», «капиллярной» формы косвенного давления, хотя такая форма была возможна и могла стать необходимой предпосылкой восстания. Невозможность вмешательства народа в форме концентрированного и одновременного восстания только частично обуславливалась состоянием военной техники того времени; главная причина, делавшая невозможным такое вмешательство, состояла в том, что не было проведено длительной политической и идеологической подготовки восстания, которая органически под-

готовила бы пробуждение народных страстей и сделала бы возможным концентрацию сил и взрыв восстания по всей стране.

После 1848 года только умеренные выступили с критикой методов, бытовавших до поражения революции, и их лагерь в целом действительно подвергся обновлению: был ликвидирован неогвельфизм, новые люди заняли важнейшие места в руководстве. Напротив, со стороны мадзинизма не последовало никакой самокритики, кроме ликвидаторской самокритики, выразившейся в том, что многие приверженцы покинули Мадзини и образовали левое крыло пьемонтской партии. Единственной «ортодоксальной» попыткой, то есть предпринятой в рамках самого мадзинизма, были работы Пизакане, которые, однако, так и не сделались платформой новой органической политики, хотя сам Мадзини признавал, что Пизакане обладал «стратегической концепцией» итальянской национальной революции.

Проблема соотношения «пассивной революции» и «позиционной войны» в итальянском Рисорджименто может быть изучена и в других аспектах. Важнейший из них можно назвать проблемой «собираания» революционных сил. Вопрос о кадрах в эпоху Рисорджименто можно сравнить с подобным же вопросом, возникшим в период мировой войны во взаимоотношениях между кадровыми офицерами и офицерами запаса, с одной стороны, и солдатами-рекрутами и добровольцами — «отважными» — с другой. В период Рисорджименто кадровым офицерам соответствовали традиционные, органические, регулярно функционирующие (и т. п.) политические партии, которые в момент действия (1848 год) продемонстрировали свою полную или почти полную неспособность и в 1848—1849 годах были захлестнуты волной народного, мадзинистско-демократического движения, — хаотического, неорганизованного, так сказать «импровизированного», но такого, которое, хотя и было возглавлено неподготовленными или почти неподготовленными вождями (во всяком случае — не заранее созданной организацией, какой была партия умеренных), все же бесспорно достигло больших успехов, чем умеренные: Римская республика и Венеция показали весьма значительную силу сопротивления. После 1848 года через Кавура и Гарибальди наладилась связь между двумя силами — регу-

лярной и «стихийной», и это дало максимальный результат, хотя впоследствии он был присвоен одним лишь Кавуром. С этой проблемой связана другая проблема — проблема «собрания» революционных сил. Следует заметить, что той технической трудностью, о которую всегда разбивались мадзинистские предприятия, было именно «собрание» революционных сил. С этой точки зрения было бы интересно изучить попытку вторжения в Савойю, предпринятую генералом Раморино, и последовавшие за ней экспедиции братьев Бандьера, Пизакане и другие, сопоставив условия, в которых она предпринималась, с той обстановкой, с которой Мадзини столкнулся в Милане в 1848 году и в Риме в 1849 году и которую он не сумел использовать. Эти попытки небольших групп не могли не быть подавлены в самом зародыше: было бы чудом, если бы концентрированные реакционные силы, имевшие возможность свободных действий (то есть не встречавшие никакого сопротивления в виде широких движений населения), не сумели бы расстроить начинания, подобные экспедициям Раморино, Пизакане и братьев Бандьера, даже если бы эти экспедиции были значительно лучше подготовлены, чем это было на самом деле. Во время второго периода (1859—1860 годы) то «объединение» революционных сил, каким была гарибальдистская «тысяча», стало возможным сначала благодаря тому, что Гарибальди примкнул к армии Пьемонта, а впоследствии благодаря тому, что английский флот фактически прикрывал высадку в Марсале, содействовал взятию Палермо и нейтрализовал флот Бурбонов. В Милане после «пяти дней», в Риме в период республики Мадзини имел, вероятно, возможность создать плацдарм для органических объединений, но он не попытался сделать этого; отсюда его конфликт с Гарибальди в Риме и бесполезность его действия в Милане по сравнению с Каттанео и миланской демократической группой.

Во всяком случае, развитие процесса Рисорджименто, хотя оно и показало исключительное значение «демагогического» движения масс, возглавлявшихся случайными, неподготовленными (и т. п.) вождями, в действительности было завершено традиционными органическими силами, то есть давно сформировавшимися партиями с тщательно подготовленными руководителями и т. д. Все политические движения подобного типа всегда за-

вершались таким же результатом. Так, в 1830 году во Франции орлеанисты взяли верх над радикально-демократическими народными силами; по существу то же самое произошло в итоге Французской революции 1789 года: Наполеон в конечном счете олицетворял собой победу органических буржуазных сил над мелкобуржуазными якобинскими силами. В ходе мировой войны это проявилось в превосходстве, которое приобрели старые кадровые офицеры над офицерами запаса, и т. д. Во всяком случае, отсутствие у радикальных народных сил понимания задач противостоящей им партии мешало им полностью осознать собственные задачи и, следовательно, мешало сыграть значительную роль в окончательном равновесии сил в соответствии с эффективностью их вмешательства в события и, следовательно, с эффективностью их воздействия на достижение более значительного результата в смысле большей его прогрессивности и большего соответствия современности.

При рассмотрении «пассивной революции» или «революции-реставрации», имевшей место в итальянском Рисорджименто, надо всегда иметь в виду, что в связи с этим необходимо правильно поставить проблему, которую представители некоторых историографических направлений называют проблемой соотношения объективных и субъективных условий, сопутствующих историческим событиям. Совершенно очевидно, что так называемые субъективные условия порой могут отсутствовать при наличии объективных условий, поскольку речь идет о простом различии дидактического порядка; поэтому вопрос о размере субъективных сил, об их эффективности и, следовательно, о диалектическом взаимоотношении противостоящих друг другу субъективных сил может стать предметом дискуссии.

Не следует допускать того, чтобы вопрос ставился в «интеллектуалистическом» плане; его следует рассматривать в историко-политических границах. Интеллектуальная «ясность» в представлении о границах борьбы является необходимой; это общепризнано, но эта ясность имеет политическое значение, поскольку она становится широко распространенной страстью и служит предпосылкой создания сильной воли. В последнее время во многих работах, посвященных Рисорджименто, было «открыто», что существовали исторические личности, об-

ладавшие большой дальновидностью (можно указать, например, на оценку Орнато³⁸, данную Пьеро Гобетти). Но эти «открытия» рушатся сами собой именно потому, что они являются открытыми; они свидетельствуют, что речь здесь идет об исследовательском корпении отдельных лиц — из тех, что «крепки задним умом». Действительно, иногда эти открытия пытаются оспаривать реальную действительность, иногда они становятся распространенной и активной формой народно-национального сознания. Кто обладал действенной «субъективной силой» в эпоху Рисорджименто — партия умеренных или Партия действия? Конечно, партия умеренных и именно потому, что ей было присуще понимание задач Партии действия. Благодаря этому пониманию ее «субъективизм» был качественно более высоким и более решительным.

Во фразе: «Партия действия у нас в кармане» (даже если эту фразу бросил унтер-офицер, каким был Виктор Эммануил II) — содержится больше историко-политического смысла, чем во всех рассуждениях Мадзини.

О бюрократии

1. Тот факт, что в ходе исторического развития экономических и политических форм создается тип «кадрового» чиновника, профессионально приспособленного к бюрократической работе (гражданской и военной), имеет первостепенное значение и в политике как науке и в истории государственных форм. Идет ли речь о необходимости или о деградации их по сравнению с самоуправлением (selfgovernment), как представляют дело «чистые» либеристы? Бесспорно, что каждой социальной и государственной форме свойственна своя проблема чиновников, свой метод ее постановки и ее разрешения, своя система отбора, свой тип чиновника, который она должна воспитать.

Воссоздание развития всех этих элементов имеет важнейшее значение. Проблема чиновников частично совпадает с проблемой интеллигентов. Но если верно, что всякая новая государственная и социальная форма нуждается в новом типе чиновника, то так же верно, что новые правящие социальные группы никогда не могут пренебрегать, по крайней мере в течение определенного

времени, традициями и установившимися интересами, то есть структурой чиновничества, уже существующей и узаконенной еще до их появления (особенно в церковной и военной области). Единство физического и умственного труда и более тесная связь между законодательной властью и властью исполнительной (в силу чего избранные чиновники вне зависимости от контроля над ними были бы заинтересованы в исполнении государственных дел) могут стать побудительными мотивами для возникновения нового направления как в разрешении проблемы интеллигенции, так и проблемы чиновников.

2. С вопросом о бюрократии и о ее «лучшей» организации связана дискуссия о так называемом «органическом централизме» и «демократическом централизме» (которые, впрочем, не имеют ничего общего с абстрактной демократией, так же как формы органического централизма, получившие развитие во время Французской революции и Третьей республики, были неизвестны ни абсолютной монархии, ни Наполеону I). Нужно исследовать и изучить реальные политические и экономические отношения, которые приобретают свою организационную форму, свое сочленение, свое назначение в различных проявлениях органического и демократического централизма во всех областях — в государственной жизни (унитаризм, федерация, союз федеральных государств, федерация государств или федеральное государство и т. д.); в международной жизни (союзы, различные формы международных политических «созвездий»); в жизни политических и культурных организаций (масонство, «клуб деловых людей», католическая церковь); в жизни профсоюзов, экономических организаций (картели, тресты); в одной и той же стране, в различных странах и т. д.

Вопрос о полемике, возникавшей в прошлом (до 1914 года) по поводу преобладания немцев в высшей сфере культуры и в сфере некоторых международных политических сил; было ли реальным это преобладание и в чем оно действительно состояло? Можно заметить: а) что никакая органическая и дисциплинарная связь не приводила к установлению такого преобладания, которое являлось поэтому просто фактором, оказывавшим абстрактное культурное влияние и имевшим очень непрочный престиж; б) что такое культурное влияние со-

вершенно не затрагивало практической деятельности, которая, напротив, оставалась разобщенной, локальной, лишенной общего направления. Поэтому нельзя говорить ни о новом централизме — ни об органическом, ни о демократическом, ни о каком-либо другом его виде или смешанной форме. Ощущали его влияние и подвергались его воздействию лишь незначительные группы интеллигенции, не имевшие связей с народными массами; и именно отсутствие этой связи характеризовало ситуацию. Тем не менее такое состояние вещей заслуживает изучения, так как следует объяснить процесс, который привел к оформлению теории органического централизма, явившейся односторонней и интеллигентской критикой этого разброда и этого распыления сил.

В то же время среди теорий органического централизма необходимо проводить различие между теми, которые скрывают четкую программу действительного преобладания одной части над целым (части, состоящей из одного слоя, например интеллигентов, или включающей в себя «привилегированную» территориальную группу), и теми, которые представляют собой просто одностороннюю позицию сектантов и фанатиков и которые, хотя и могут скрывать программу преобладания (обычно отдельной личности, подобно личности непогрешимого папы, для которого католицизм превратился в своего рода культ первосвященника), непосредственно не кажутся скрывающими такую программу с сознательной политической целью. Более точно было бы называть это явление бюрократическим централизмом. «Органичность» может быть присуща лишь демократическому централизму, который является «централизмом», так сказать, в движении, то есть предусматривает постоянное приведение организации в соответствие с реальным движением, сочетание толчков снизу с приказом сверху, постоянное внедрение элементов, входящих из народных глубин, в прочный остов аппарата управления, что обеспечивает непрерывное и регулярное накопление опыта. Демократический централизм является «органическим» потому, что он принимает в расчет движение, которое представляет собой органическую форму проявления исторической действительности и не окостеневает, механически превращаясь в бюрократию; и в то же время потому, что он учитывает то, что является относительно постоянным

и стабильным, или то, что по крайней мере движется в легко предугадываемом направлении, и т. д. Этот элемент стабильности в государстве воплощается в органическом развитии центрального ядра руководящей группы, так же как это происходит в более узком масштабе в жизни партий. Если в государстве преобладает бюрократический централизм, то это означает, что руководящая группа, достигнув насыщенности, становится узкой кликой, которая стремится увековечить свои эгоистические привилегии, регулируя или даже предотвращая возникновение противодействующих сил, причем даже тогда, когда эти силы по своей природе однородны с основными господствующими интересами (например, в протекционистских системах беспощадная борьба с экономическим либеризмом). В партиях, которые представляют подчиненные в социальном отношении группы, элемент стабильности необходим, чтобы обеспечить гегемонию не привилегированных групп, а прогрессивных элементов, органически прогрессивных в сравнении с другими родственными и союзными, но неоднородными и колеблющимися силами.

Во всяком случае, нужно подчеркнуть, что вредные проявления бюрократического централизма имеют место из-за недостатка инициативы и ответственности в низах, то есть из-за политической незрелости периферийных сил, даже если они однородны с группой, являющейся гегемоном на определенной территории (роль Пьемонта в первые десятилетия итальянского единства). Возникновение такой ситуации может оказаться крайне пагубным и опасным для международных организаций (Лига наций).

Демократический централизм дает эластичную формулу, которая поддается многообразным воплощениям; она существует постольку, поскольку постепенно подвергается истолкованию и приспособлению в соответствии с потребностями: эта формула состоит в критическом исследовании того, что является одинаковым в кажущемся различии, и того, что является, наоборот, различным и даже противоположным в кажущемся единообразии,— исследовании с целью организовать и тесно связать то, что является сходным, но таким образом, чтобы организация и связь выглядели как «индуктивная» и практическая, экспериментальная необходимость, а не как ре-

зультат абстрактной, дедуктивной, рационалистической деятельности, то есть деятельности, свойственной «истинным» интеллигентам (или истинным ослам). Эта непрерывная работа по изысканию «интернационального» и «унитарного» элемента в национальной и местной действительности является на деле конкретным политическим действием, единственной эффективной деятельностью в историческом прогрессе. Она требует органического единства между теорией и практикой, между интеллигентами и народными массами, между правителями и управляемыми. С этой точки зрения формулы единства и федерации теряют значительную часть своего смысла, в то время как они сохраняют свой яд в бюрократической концепции, которая в конце концов приводит не к единству, а к застою болоту, внешне спокойному и «безмолвному», и создает не федерацию, а «мешок картофеля», то есть механическое сочетание отдельных, не связанных между собой единиц «единства».

Вопрос о „человеческом коллективе“ и „социальном конформизме“

Это, по существу, вопрос о воспитательной и созидательной задаче государства, целью которой всегда является создание новых и более высоких типов цивилизации, приведение «цивилизаций» и моральных норм широких народных масс в соответствие с потребностями непрерывного развития экономической системы производства и, следовательно, выработка также и в физическом отношении новых типов человеческого общества. Но каким образом каждому отдельному индивидууму удастся влиться в человеческий коллектив и как будет осуществляться воспитательное воздействие на отдельных индивидуумов, с тем чтобы заручиться их согласием и сотрудничеством, чтобы превратить в «свободу» необходимость и принуждение? Встает вопрос о «праве», концепция которого должна быть расширена за счет включения также тех видов деятельности, которые сегодня подпадают под формулу «юридически индифферентного» и относятся к сфере гражданского общества, действующего без «санкций» и без категорических «обязательств», но оказывающего коллективное воздействие и достигаю-

шего объективных результатов в сфере обычаев, образов мышления и действия, морали и т. д.

Вопрос о появившейся еще до 1848 года политической концепции так называемой «перманентной революции» как научно-выработанным выражении якобинского опыта в период от 1789 года до Термидора. Эта формула относится к историческому периоду, во время которого еще не существовало крупных массовых политических партий и крупных синдикатов в экономике и общество находилось еще во многих отношениях, так сказать, в состоянии текучести: большая отсталость деревни и почти полная монополия немногих городов или даже одного города (Париж во Франции) в политико-государственной деятельности; относительно менее развитый государственный аппарат и большая независимость гражданского общества от действий государства; определенная система вооруженных сил и вооружения нации; большая независимость экономики отдельных наций от экономических отношений на мировом рынке и т. д. В период после 1870 года в связи с европейской колониальной экспансией все эти элементы изменяются, организация внутренних и международных отношений государства становится более сложной и прочной, и формула «перманентной революции», выдвинутая в 1848 году, была переработана и превзойдена в политической науке в формуле «гражданской гегемонии». В политическом искусстве произошло то же, что и в военном искусстве: маневренная война становится все больше позиционной войной, и можно сказать, что государство выигрывает войну, если оно тщательно и глубоко подготавливает ее в мирное время. Прочная структура современных демократий — и как государственных организаций и как комплекса ассоциаций в гражданской жизни — представляет с точки зрения политического искусства как бы систему «траншей и долговременных фронтовых укреплений» в позиционной войне: они составляют только «частный» элемент движения, которое раньше было «всей» войной, и т. д.

Вопрос имеет отношение к современным государствам, а не к отсталым странам или к колониям, где сохраняют еще силу формы, которые в других местах преодолены и сделались анахроническими. В исследовании, посвященном политической науке, нужно изучить также во-

прос о значении идеологий (в том виде, как он обрисовывается в полемике между Малагоди и Кроче) вместе с замечаниями Кроче о сорелианском «мифе», которые можно обратить против теории «страсти».

Гегемония (гражданское общество) и разделение властей

Разделение властей и вся дискуссия, происходившая в связи с его осуществлением, а также и юридическая догматика, порожденная им, являются результатом борьбы между гражданским и политическим обществом в определенный исторический период при наличии определенного неустойчивого равновесия между классами, обусловленного тем фактом, что некоторые категории интеллигентов (состоящих непосредственно на государственной службе — особенно гражданская и военная бюрократия) сохраняют все еще тесную связь со старыми господствующими классами. Это значит, что в недрах общества происходит то, что Кроче называет «постоянным конфликтом между церковью и государством», в ходе которого церковь стремится представлять гражданское общество в целом (хотя она является относительно менее важным его элементом), а государство — всякую попытку постоянно кристаллизовать определенную ступень развития, определенную ситуацию. В этом смысле сама церковь может стать государством, и конфликт может возникнуть между светским (или становящимся светским) гражданским обществом и государством-церковью (когда церковь превратилась в составную часть государства, политического общества, монополизированного определенной привилегированной группой, которая присоединяется к церкви, чтобы тем лучше утвердить свою монополию, опираясь на помощь той сферы «гражданского общества», которую представляет церковь).

Основное значение разделения властей для политического и экономического либерализма состоит в следующем: вся либеральная идеология, с ее сильными и слабыми сторонами, может быть выражена в принципе разделения властей, и здесь выступает то, что является источником слабости либерализма — бюрократия, то есть обособление руководящих кадров, которые выполняют роль связующей силы и в определенный момент становятся

кастой. Отсюда народное требование выборности всех должностей, требование, являющееся самым крайним проявлением либерализма и в то же самое время выражением его разложения (принцип постоянно действующего учредительного собрания и т. д., а в республиках — периодические выборы главы государства дают иллюзорное удовлетворение этого основного народного требования).

Единство государства при разделении властей: парламент в большей степени связан с гражданским обществом, судебная власть, занимающая промежуточное место между правительством и парламентом, представляет непрерывность действия писаного закона (также и по отношению к правительству). Естественно, все три власти являются также органами политической гегемонии, но в различной степени: 1) парламент, 2) магистратура, 3) правительство. Надо отметить, что в народе особенно неприглядное впечатление вызывают неправильные действия судебных органов: аппарат гегемонии особенно чувствителен в этом секторе, в котором могут проявиться также злоупотребления политики и политической администрации.

Теория права

Теория права нуждается в коренном обновлении. Ее нельзя позаимствовать целиком ни из одной ранее выработанной доктрины (не исключая доктрины так называемой позитивной школы, и особенно доктрины Ферри). Если государство стремится создать и утвердить определенный тип культуры и определенный тип гражданина (и, следовательно, определенный тип общежития и отношений между индивидуумами), стремится искоренить определенные нравы и обычаи и добиться распространения других, то инструментом, необходимым для достижения этой цели, будет служить право (наряду со школами и другими учреждениями и различными видами деятельности). Поэтому право должно быть выработано таким образом, чтобы оно соответствовало поставленной цели, чтобы оно было максимально действенным и эффективным по своим позитивным результатам. Теория права должна быть освобождена от всяких наслоений трансцендентного и абсолютного; практически она должна быть освобождена от всякого морализующего фанатизма.

Однако, по-моему, нельзя было бы исходить из того, что государство не «наказывает» (если этот термин понимать в его общечеловеческом смысле), а только борется против социальной «опасности». В действительности, государство нужно рассматривать как «воспитателя», поскольку оно стремится создать новый тип или новую ступень цивилизации. Из того факта, что усилия сосредоточиваются главным образом на экономических силах, что реорганизуется и развивается система экономического производства, что обновляется экономическая структура, — из всего этого вовсе не следует, что надстроечные явления должны быть предоставлены самим себе, их собственному стихийному развитию, происходящему спорадически, от случая к случаю. И в этой области государство должно служить орудием «рационализации», ускорения, тейлоризации, должно действовать по плану, настаивать, побуждать, принуждать и «наказывать», ибо если созданы такие условия, при которых стал «невозможен» определенный образ жизни, то «преступное действие» или «преступное упущение» должны повлечь за собой меры наказания, в том числе меры морального порядка, а не только общую оценку опасности таких поступков.

Право является негативной, карательной стороной позитивной деятельности государства, направленной на распространение культуры. В правовой теории должна быть также предусмотрена возможность «премирования» отдельных индивидуумов, групп и т. д. Деятельность, достойная похвалы и одобрения, должна премироваться, подобно тому как преступная деятельность должна караться (она должна караться с помощью оригинальных методов, с использованием «общественного мнения» в качестве меры воздействия).

ЗАМЕТКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ФРАНЦИИ

Монархическая партия при республиканском строе, республиканская партия при монархии, так же как национальная партия, не могут не быть партиями *suī generis* *, иначе говоря, они должны, если хотят добиться относительно быстрых успехов, прежде всего стремиться занять центральное место в партийной коалиции, а не

* Особого рода (лат.). — Прим. перев.

заниматься детальной разработкой программ, которые они обязуются осуществлять после прихода к власти. Цель таких партий должна состоять в установлении той или иной системы правления вообще, а не в борьбе за образование того или иного правительства (среди этих партий особое место занимают конфессиональные партии, такие, как немецкий Центр или другие христианско-демократические или народные партии).

Монархическая партия во Франции опирается на остатки старой земельной аристократии, которая еще достаточно сильна, и на часть мелкой буржуазии и интеллигенции. Что, по мнению монархистов, позволит им взять власть и восстановить монархию? Они надеются на крушение буржуазно-парламентского режима и на то, что ни одна из других организованных сил неспособна стать политическим ядром предполагаемой или ими же самими подготовляемой военной диктатуры; никаким другим путем их социальные силы не были бы в состоянии завоевать власть. В ожидании этого руководящий центр «Аксон франсез» развернул систематическую деятельность: он осуществляет организаторскую, военно-политическую деятельность (военную — с точки зрения создания активных ячеек среди армейских офицеров), с тем чтобы заложить наиболее прочную определенную социальную базу, на которую это движение могло бы опираться. Если создана такая база, состоящая из более избранных по сравнению с любым другим движением элементов, включающих в себя представителей интеллигенции, деятелей культуры, административного аппарата и богачей, то в таком случае возможно создание значительной, даже сильной партии; однако она может рассчитывать только на себя, то есть не имеет резервов, которые необходимо бросить в борьбу во время решающего, переломного момента. Поэтому такая партия является значительной только в нормальных условиях, когда число участвующих в политической борьбе определяется десятками тысяч; но в критические периоды, когда в политическую борьбу втягиваются сотни тысяч, а может быть, и миллионы, она оказывается в численном отношении ничтожной.

Развитие якобинства (его сущности) и формулы перманентной революции, претворенной в жизнь во время активной фазы Французской революции, нашло свое кон-

ституционно-юридическое «усовершенствование» в парламентском строе, который в тот период, когда общество особенно богато проявлениями «частной инициативы», осуществляет постоянную гегемонию городского класса над всем населением страны в гегельянской форме правительства, пользующегося неизменной поддержкой. Однако организация этой поддержки предоставлена частной инициативе и носит поэтому моральный или этический характер, ибо эта поддержка оказывается «добровольно» в том или ином виде.

Тот «предел», который якобинцы нашли в законе Ле Шапелье и в законе о *максимуме*, впоследствии преодолевается и постоянно отодвигается все дальше в ходе сложного процесса, в котором пропагандистская деятельность чередуется с деятельностью практической, то есть экономической и политико-юридической. Экономическая база благодаря непрерывному развитию промышленности и торговли постоянно расширяется и углубляется, и наиболее энергичные и предприимчивые социальные элементы из низших классов вливаются в состав господствующих классов; все общество переживает непрерывный процесс созидания и отмирания, в ходе которого возникают все более сложные и более богатые возможности организации — и это продолжается в основных чертах вплоть до эпохи империализма и находит свое завершение в мировой войне. В этом процессе чередуются друг с другом: попытки восстаний и жестокие репрессии; расширение политических прав и урезывание их; введение свободы ассоциаций и ограничение или полная отмена этой свободы; установление свободы профсоюзной деятельности; различный порядок голосования: баллотировка по спискам или голосование за одного кандидата, пропорциональная и мажоритарная системы с различными вытекающими отсюда комбинациями; двухпалатная или однопалатная системы с различным порядком выборов в каждую палату (например, палаты, члены которой обладают пожизненным и передающимся по наследству правом заседать в ней; сенат, выбираемый на определенный срок по такой системе выборов сенаторов, которая отличается от системы выборов в нижнюю палату, и т. д.); различные системы равновесия властей, при которых магистратура может быть независимой властью или только учреждением, контролируемым и руководимым министер-

скими кругами; различные полномочия главы правительства и государства; различные формы внутреннего равновесия территориальных органов (централизм или децентрализация, большая или меньшая власть префектов, провинциальных советов, коммун и т. д.); различные формы равновесия между вооруженными силами, состоящими из призывников, и профессиональными вооруженными силами, составные части которых (полиция, жандармерия) зависят от того или иного государственного органа (от магистратуры, министерства внутренних дел или генерального штаба); большая или меньшая роль, отводимая обычаю или же писаному праву, благодаря чему развиваются такие формы обычного права, которые в определенный момент могут быть отменены именем закона (существовала видимость того, что в некоторых странах утвердились демократические режимы; однако они утвердились лишь формально, без борьбы, без конституционной санкции, и вследствие того, что они не имели морально-юридической и военной поддержки, их оказалось легко — без борьбы или почти без борьбы — упразднить, восстановив старый закон или истолковав в реакционном духе существующий); более или менее глубокое расхождение между основными законами и исполнительными уставами, которые аннулируют первые или дают им ограниченное истолкование; более или менее широкое использование законов-декретов, которые направлены на подмену нормального законодательства и с помощью которых это законодательство удается в известных случаях изменить, «искушая терпение» парламента до тех пор, пока не удастся получить самый настоящий «выкуп» за отказ от развязывания гражданской войны. Развитию этого процесса содействуют теоретики-философы, публицисты, политические партии и т. д. в смысле развития его внешней стороны и массовые движения и давление масс снизу, оказывающие воздействие на развитие его содержания; эти действия связаны с обоюдными выступлениями и столкновениями, с осуществлением «превентивных» мер, прежде чем какое-либо явление примет опасное направление, и с осуществлением репрессий, когда эти превентивные меры недостаточны или оказываются запоздалыми и неэффективными.

В стране с классическим парламентским строем «нормальное» осуществление гегемонии характеризуется со-

четанием силы и согласия, принимающих различные формы равновесия, исключаяющие слишком явное преобладание силы над согласием; напротив, пытаются даже добиться видимости того, будто сила опирается на согласие большинства, выражаемое через так называемые органы общественного мнения — газеты и ассоциации, количество которых вследствие этого при определенных условиях искусственно увеличивается.

Промежуточное положение между согласием и силой занимают коррупция и обман, характерные для определенных ситуаций, когда становится трудно осуществлять гегемонию, а использование силы чревато большими опасностями. Их распространение означает, что противник или противники находятся в состоянии истощения и паралича, вызванного подкупом властей, подкупом скрытым, а в случае непосредственной угрозы — и открытым. преследующим цель внести смятение и расстройство в ряды противника.

В послевоенный период механизм гегемонии дает трещины, и осуществление гегемонии становится все более трудным и рискованным делом. Это явление получает различные названия и истолкования, причем его рассматривают во второстепенных и производных аспектах. Наиболее тривиальные из этих названий таковы: «кризис принципа авторитета» и «разложение парламентского режима». Естественно, что это явление рассматривают лишь с точки зрения «театральных» проявлений, происходящих на парламентской почве и затрагивающих правительство, причем они объясняются именно крахом некоторых «принципов» (парламентаризма, демократизма и др.) и «кризисом» принципа авторитета (о крушении этого принципа будут высказаны другие, не менее поверхностные и суеверные мнения). Практически кризис проявляется в обстановке растущих трудностей, с которыми сопряжено формирование правительства, и возрастающей неустойчивости самих правительств, непосредственным источником которой является рост числа парламентских партий и внутренний кризис, в котором непрерывно находится каждая из них. (Таким образом, в любой из парламентских партий существует такое же положение, как и в парламенте в целом: трудность формирования правительства и неустойчивость руководства.)

Выражением этого явления в известной степени служит также коррупция и моральное разложение. Каждая партийная фракция уверена в том, что она обладает безотказно действующим средством, позволяющим предотвратить ослабление партии в целом, и прибегает к любым методам, чтобы взять в свои руки руководство партией или по крайней мере добиться участия в нем. То же самое происходит в парламенте, где каждая партия считает, что для спасения страны только она должна формировать правительство, или по крайней мере претендует на максимально широкое участие в этом правительстве в качестве условия его поддержки. Следствием этого являются каверзные и крючкотворные сделки между отдельными лицами, заключенные таким образом, что они не могут не принять скандального характера, так как часто не выполняются и вероломно нарушаются.

В действительности, однако, индивидуальная коррупция распространилась, быть может, в меньшей степени, чем это кажется, ибо коррупции подвергся весь политический организм в результате того, что осуществление гегемонии оказалось в состоянии кризиса. Люди, заинтересованные в разрешении кризиса в соответствии с их устремлениями, притворяются, будто они уверены (и были бы готовы объявить об этом во всеуслышание), что дело состоит в «коррупции» и в «крушении» ряда «принципов» (вечных или невечных). Этому факту можно найти оправдание: каждый является лучшим судьей в выборе идеологического оружия, наиболее соответствующего поставленным им целям, а демагогия может рассматриваться как превосходное средство. Но дело принимает комический оборот, когда демагог не умеет быть демагогом и действует на практике так, как будто и на самом деле сутана заменяет собой монаха, а шапка — мозг. Макиавелли таким образом превращается в Стентерелло¹⁹.

Кризис во Франции

Кризис во Франции развивается чрезвычайно медленно. Еще до мировой войны в стране было большое число политических партий. Многочисленность их форм была вызвана богатством революционных и политических событий во Франции в период с 1789 года и до дела Дрей-

фуса: каждое из этих событий оставляло после себя осадки, отложения, которые консолидировались в партии. Но так как различие между ними было гораздо менее значительным, чем сходство, то в парламенте по существу всегда господствовал режим двух партий — либералов-демократов (с различными оттенками радикализма) и консерваторов. Можно даже сказать, что существование большого количества партий, вызванного особыми условиями национального политического развития Франции, сыграло в прошлом чрезвычайно полезную роль: оно позволило осуществить индивидуальный отбор в широком масштабе и создать большое число людей, обладающих умением управлять, что является отличительной чертой Франции.

Любые течения общественного мнения получали прямое отражение и оформление через этот чрезвычайно подвижный и гибкий механизм. Гегемония буржуазии очень сильна и обладает большими резервами. Высока степень концентрации интеллигенции («Энстетью дю Франс», университеты, крупные парижские газеты и журналы), которая, несмотря на свою крайнюю многочисленность в национальных центрах культуры, по существу весьма дисциплинирована. Военная и гражданская бюрократия обладает прочными традициями, и достигнутая ею монолитность чрезвычайно эффективна.

Внутренней слабостью, представляющей большую опасность для государственного аппарата (военного и гражданского), является союз клерикализма и монархизма. Но широкие массы народа, если даже они и являются католическими, не заражены клерикализмом. Дело Дрейфуса явилось кульминационной точкой борьбы, направленной на то, чтобы парализовать клерикально-монархическое влияние на государственный аппарат и обеспечить полное преобладание светского элемента.

Мировая война не ослабила, а усилила гегемонию буржуазии: времени для размышлений не было — почти тотчас же после вступления Франции в войну началось вторжение на ее территорию. Переход от дисциплины мирного времени к военной дисциплине не вызвал особенно серьезного кризиса: старые военные кадры были достаточно многочисленны и эластичны; младшие офицеры и унтер-офицеры являлись, вероятно, самыми лучшими в мире и наиболее испытанными в выполнении функ-

ций, связанных с непосредственным командованием воинскими подразделениями.

В связи с этим следует провести сравнение с другими странами. Здесь встает вопрос об «отважных» и добровольцах, о кризисе кадров, вызванном тем, что в других странах получили преобладание офицеры запаса, которые придерживались противоположных взглядов по сравнению с кадровыми офицерами. В этих странах «отважные» представляли собой новую армию добровольцев, являлись отборными военными кадрами, выполнявшими с самого начала тактическую роль. Соприкосновение с войсками противника осуществлялось только через «отважных», игравших как бы роль заслона между противником и собственными регулярными войсками (подобно костям в корсете).

Французская пехота в своей подавляющей массе состояла из земледельцев, то есть людей, обладавших чрезвычайно большими запасами мускульной энергии и крепкими нервами, что в большой степени препятствовало физическому износу, вызывавшемуся долгим пребыванием в окопах (среднегодовое потребление французского гражданина составляет около 1,5 миллиона калорий, в то время как потребление итальянцев не достигает и 1 миллиона калорий). В сельском хозяйстве Франции батрачество имеет ничтожное значение, безземельный крестьянин служит на ферме, то есть живет жизнью хозяев, и ему не знаком голод, вызванный хотя бы сезонной безработицей. Подлинное батрачество связано с плохой жизнью в деревне, и ряды батраков пополняются за счет беспокойных элементов, кочующих из одного конца страны в другой в поисках мелкой побочной работы. Питание в окопах французской армии было организовано лучше, чем в других странах, а демократическое прошлое, богатое борьбой и взаимными уроками, создало тип современного гражданина, который широко распространен даже в подчиненных классах, гражданина в двойном смысле — как человека из народа, который не только относился сам к себе с известным уважением, но к которому и высшие правящие классы относились с известным уважением, то есть не преследовали его и не придирались к нему по пустякам. В результате этого во время войны во Франции не распространилось то горькое и мрачное ожесточение, которое разлилось по другим странам. Поэтому

борьба, развернувшаяся во Франции после войны, была лишена ожесточения и, что особенно важно, здесь не было колебаний крестьянства, принявших в других странах невиданный размах.

Характерный для Франции кризис парламентаризма указывает на то, что страна находится в состоянии недуга, но этот недуг пока еще не принял острого характера, не извлек на поверхность не ощущаемые пока вопросы. В стране происходит расширение индустриальной базы, следствием чего является усиление урбанизации. Массы крестьян устремляются в город, но не потому, что они не имеют работы в деревне или страдают от хронического безземелья; это вызвано тем, что в городе приятнее жизнь, больше удовольствий и т. д. (цена на землю предельно низкая, и много превосходной земли перешло в руки итальянцев). До сих пор парламентский кризис был скорее отражением нормальных перемещений масс (не обусловленных острым экономическим кризисом). С этими перемещениями связаны трудные поиски новых форм равновесия в системе представительства и в системе партий, а также слабый недуг, который является только предостережением о возможности глубокого политического кризиса. Внешнее же преувеличение симптомов недуга вызывается особой чувствительностью политического организма. До сих пор речь шла преимущественно о борьбе за раздел государственных должностей и доходных мест, что и вызывало кризис партий средних слоев, прежде всего радикальной партии, являющейся представителем мелких и средних городов и передовых слоев крестьянства. Политические силы, готовясь к предстоящим сражениям, стараются найти лучшие формы устройства, а силы, не признающие государство, все ошутимее дают знать о себе и все грубее навязывают своих людей.

Кризис парламентаризма во Франции достигает своей кульминационной точки в 1925 году, и при оценке политической и идеологической сущности организации «Аксон франсэз» надо исходить из позиции, занятой ею по отношению к этим решающим событиям. Моррас⁴⁰ объявил о развале республиканского режима, и его группа приготовилась к захвату власти. Морраса часто восхваляют как крупного политического деятеля и величайшего *Realpolitiker**; на самом же деле он просто-напросто

* Реалиста в политике (нем.).— Прим. перев.

якобинец наизнанку. У якобинцев был особый язык, они были убежденными приверженцами определенной идеологии: в известное время и при известных обстоятельствах этот язык и эта идеология имели ультрареалистический характер, ибо с их помощью удавалось развязать политическую энергию, необходимую для достижения конечных целей революции и для облегчения непрерывного движения революционного класса по пути к власти. Впоследствии, как это почти всегда случается, якобинский язык и якобинская идеология были оторваны от того времени и тех условий, в которых они получили распространение, были сведены к набору формул и получили совершенно иной характер, стали призраками, пустыми и безжизненными фразами. Комическая сторона заключается в том, что Моррас, переключив банальным образом эти формулы, создал из них другие, которые он систематизировал (с литературной точки зрения) в безукоризненном логическом порядке, но и эти новые формулы не могли быть не чем иным, как отзвуком самого простого и самого тривиального просветительства. В действительности именно Моррас является наиболее показательным образцом «глупости XIX века», средоточием всех общих мест масонства, подвергшихся механической переделке.

Относительный успех Морраса обусловлен тем, что его метод вызывает симпатию, ибо он сводится к методу рассуждающего разума, от которого идут традиции энциклопедизма и французской масонской культуры вообще.

Просветительство породило целый ряд народных мифов, являвшихся не чем иным, как проекцией в будущее наиболее глубоких и многовековых устремлений широких народных масс, устремлений, связанных с христианством, с философией здравого смысла; эти мифы, если хотите, были чрезвычайно простыми и наивными, но их источник действительно коренился в чувствах, и они, во всяком случае, не поддавались экспериментальному историческому контролю.

Моррас также создал «наивнейший» миф о фантастическом прошлом французской монархии, но этот миф был «историей», а интеллектуалистские извращения истории могут быть легко исправлены: ведь вся система образования во Франции направлена на то, чтобы добиться в скрытой форме исправления монархического мифа, который в результате этого становится в большей степени

мифом «обороняющимся», чем разжигающим страсти. Одним из основных принципов Морраса является принцип *politique d'abord**, но он же первый отказывается следовать ему. Он считает, что политике всегда предшествует «политическая абстракция», интегральное восприятие «самого усовершенствованного» мировоззрения, которое позволяет предвидеть все случайности (подобно утопиям некоторых писателей) и требует создания определенной исторической концепции, предметом которой должна быть конкретная история Франции и Европы, то есть требует создания предустановленной и застывшей герменевтики.

Леон Додэ писал, что огромной силой «Аксьон франсэз» была нерушимая монолитность и единство ее руководящей группы, в которой в политическом и идеологическом отношении всегда царили согласие и солидарность. Несомненно, единство и монолитность руководящей группы «Аксьон франсэз» представляет собой огромную силу, но это единство и монолитность секты, масонской ложи, а не крупной правительственной партии. Ее политический язык превратился в жаргон, создалась атмосфера заговорщичества, а благодаря вечному повторению одних и тех же формул, вечному применению одних и тех же застывших надуманных схем в конце концов действительно начинают думать совершенно одинаково, ибо перестают думать вообще. Моррас в Париже и Додэ⁴¹ в Брюсселе произносят, не сговариваясь (они заранее согласны во всем), одни и те же фразы об одних и тех же событиях, потому что оба они являются говорящими машинками, которые вот уже двадцать лет заводят для того, чтобы они произносили одни и те же фразы в один и тот же момент. Руководящая группа «Аксьон франсэз» сформировалась путем кооптации: сначала был многоглагольный Моррас, потом к нему присоединился Вожеуа, потом Додэ, Пижо и т. д. Всякий раз, когда от этой группы кто-нибудь откалывался, поднимался настоящий ураган споров и бесконечных ложных обвинений. Это и понятно: ведь Моррас играет роль как бы непогрешимого папы, и если кто-нибудь из его ближайшего окружения порывает с ним, это приобретает значение настоящей катастрофы.

* Политика прежде всего (франц.).— *Прим. перев.*

Большой интерес представляет внутреннее строение «Аксьон франсэз», и с такой точки зрения эта организация заслуживает углубленного изучения. Известная сила, которой обладает «Аксьон франсэз», проистекает главным образом из того, что ее опорой являются отборные (в интеллектуальном отношении) социальные элементы, которых с такой предельной легкостью можно организовать в военном отношении, как будто речь идет о приведении в боевую готовность армии, состоящей из одних офицеров. Конечно, эти элементы можно назвать отборными в интеллектуальном отношении лишь относительно, ибо поражает та легкость, с какой приверженцы «Аксьон франсэз» повторяют, наподобие попугаев, формулы своего лидера (даже если это и не диктуется военной необходимостью в прямом смысле слова) и даже получают от этого «снобистское» удовольствие. В республике знаком отличия могут служить монархические убеждения, при парламентской демократии — последовательно реакционные убеждения.

«Аксьон франсэз» благодаря своему составу обладает (оставляя в стороне субсидии некоторых промышленных групп) столь большими фондами, что это позволяет ей проводить многочисленные кампании, создающие видимость несомненной жизнеспособности и активности этой организации. Социальное положение многих открытых и тайных приверженцев «Аксьон франсэз» дает возможность газете и руководящему центру располагать широкой информацией и массой секретных документов, и это позволяет организовать многочисленные кампании против отдельных лиц. В прошлом, а в ограниченных размерах и в наши дни, Ватикан должен был являться первостепенным по своей важности источником информации (через Государственный секретариат⁴² и высшее французское духовенство). Многие кампании против отдельных лиц должны носить тайный или полутайный характер: публикуется часть правды, чтобы дать понять, что известно все, или делаются тонкие намеки, понятные для заинтересованных лиц. Эти бурные кампании имеют для «Аксьон франсэз» различное значение: они гальванизируют ее приверженцев, ибо щеголянье знанием самых секретных вещей создает впечатление, что она обладает большой способностью проникать в лагерь противника, а также является

сильной организацией, от которой ничто не может ускользнуть. В ходе этих кампаний республиканский режим изображается в виде преступной ассоциации; угрожая компрометацией, инициаторы кампаний парализуют действия некоторых противников, а других делают тайными пособниками «Аксьон франсэз».

Эмпирическая концепция, вытекающая из всей деятельности «Аксьон франсэз», сводится к следующему: республиканский парламентский режим ожидает неизбежное разложение, ибо с исторической точки зрения и с точки зрения разума — это *monstrum*, который нарушает «естественные» законы французского общества, с неумолимой твердостью установленные Моррасом. Отсюда следует, что интегральные националисты, во-первых, должны устраниваться от участия в политической жизни современной Франции, не признавая ее рационально-исторической «законности» (абсентеизм и т. д.), и сообща бороться против нее; во-вторых, они должны создать антиправительство, всегда готовое внезапным ударом занять высокие посты в «традиционных дворцах»; это антиправительство уже сегодня существует в виде находящихся в зародыше служб, которые соответствуют важнейшим сторонам национальной деятельности.

В действительности, однако, эти суровые правила не раз нарушались: в 1919 году было выдвинуто несколько кандидатов, и каким-то чудом был избран Додэ; во время других выборов «Аксьон франсэз» поддержала правых кандидатов, признавших некоторые ее второстепенные принципы. (Такие действия, по-видимому, были введены Моррасу его сообщниками, более искушенными в реальной политике, и это свидетельствует о том, что единство руководства «Аксьон франсэз» не было лишено трещин.) Чтобы выйти из изоляции, было принято решение издавать большую информационную газету, но до сих пор в этом отношении ничего не было сделано (существует только «Ревю универсаль» и «Шаривари», которые лишь косвенным образом занимаются распространением информации среди широкой публики).

Острая полемика с Ватиканом и последовавшая в результате ее реорганизация духовенства и католических ассоциаций порвали единственную связь, которую «Аксьон франсэз» имела с широкими массами; однако эта связь и раньше была весьма ненадежной. Всеобщее изби-

рательное право, так давно введенное во Франции, определило собой тот факт, что широкие массы, формально принадлежащие к католической церкви, в политическом отношении примыкают к республиканским партиям центра, хотя последние занимают антиклерикальные позиции и отстаивают светские принципы: национальное чувство, сложившееся в связи с идеей родины, столь же сильно, а в некоторых случаях, несомненно, даже сильнее, чем религиозно-католическое чувство, которое, впрочем, обладает собственными характерными чертами. Формула «религия есть частное дело каждого» глубоко укоренилась в качестве народного выражения теории отделения церкви от государства. Помимо этого, весь комплекс ассоциаций, составляющих в совокупности организацию «Католического действия», находится в руках земельной аристократии (во главе ее стоит — или стоял — генерал Кастельно); низшее духовенство не выполняет функцию духовно-социального руководства, как это было в Италии (в северной ее части).

Подавляющее большинство французского крестьянства походит на наших южных крестьян, которые любят повторять, что «священник — священник только у алтаря, а вне его он такой же человек, как и все другие». (В Сицилии это звучит так: «*Monaci e parrini, sienticci la missa e stoccacci li rini*».) «Аксьон франсэз» надеялась, что в решающий момент она сможет через руководящую католическую верхушку получить господство над всем разветвленным аппаратом французского католицизма. Этот расчет заключал в себе мало реального и много призрачного: конечно, в эпохи глубоких морально-политических кризисов религиозное чувство, ослабевшее в период нормального развития, может снова укрепиться и обрести притягательную силу; но если видят, что над будущим страны нависают грозные тучи, то чувство национальной солидарности, выражающееся в идее родины, также приобретает притягательную силу, ибо кризис во Франции не может не принимать характер международного кризиса, а в таких случаях «Марсельеза» звучит куда сильнее, чем покаянные псалмы.

Как бы то ни было, Моррас лишился всякой надежды использовать этот возможный резерв. Ватикан не желает больше самоустраняться от внутренней жизни Франции и считает, что в настоящее время домогатель-

ства, направленные на возможную реставрацию монархии, лишены всякого основания. Ватикан занимает более реалистическую позицию, чем Моррас, и лучше понимает смысл формулы *politique d'abord*. До тех пор пока французский крестьянин должен будет выбирать между Эррио и *hobegeau* *, он выберет Эррио; поэтому Ватикан считает, что нужно создать тип «католического радикала», то есть «народного» радикала, что нужно без оговорок признать республику и демократию и на этой почве организовать крестьянские массы, преодолевая разрыв между религией и политикой и делая священника не только духовным руководителем в частных, интимных вопросах, но и социальным руководителем в политико-экономической области.

Поражение Морраса бесспорно (так же как поражение Гугенберга в Германии). Также не может быть никаких сомнений в крахе концепции Морраса, чрезмерное логическое совершенство которой делает ее фальшивой. Впрочем, сам Моррас почувствовал это поражение еще в начале своей полемики с Ватиканом, совпавшей (вряд ли случайно) с парламентским кризисом во Франции в 1925 году. В момент министерской чехарды «Аксьон франсэз» опубликовала заявление, в котором говорилось о ее готовности взять власть в свои руки; дело дошло до того, что появилась статья, призывавшая Кайо к сотрудничеству с «Аксьон франсэз», того самого Кайо, о котором «Аксьон франсэз» постоянно говорила, что она является для него карательным отрядом. Классический эпизод: жесткая, рационалистическая политика Морраса, политика априорного абсентизма, политика, проводимая в соответствии с естественными «космическими» законами, управляющими французским обществом, — все это в решающий момент оказалось обреченным на разложение, на провал, от всего этого суждено было отречься.

В решающий момент оказалось, что огромные потоки развязанной в результате кризиса энергии вовсе не хлынули в искусственно созданные резервуары, а пошли по естественному руслу, которое в прошлом было проложено реальной политикой; что направление этих пото-

* Презрительно: аристократишка, дворянчик (франц.). — *Прим. перев.*

ков изменяется под воздействием тех партий, которые были всегда активны, или даже тех, которые выросли как грибы на почве самого кризиса.

Нечего говорить о том глупом предположении, будто в 1925 году в результате парламентского кризиса был возможен крах республиканского режима (к подобному мономаническому ослеплению приводят чисто рассудочные антипарламентские устремления). Если и имел место крах, то это был моральный крах самого Морраса, который, пожалуй, так и не сумел выйти из овладевшего им состояния апокалипсического озарения, и крах его группы, почувствовавшей свою изоляцию и вынужденной взывать к Кайо и К°.

Концепция Морраса обладает многими чертами, подобными тем, которые присущи известным экономистским и синдикалистским теориям, являющимся формально теориями катастрофы. Такое перемещение в политическую и парламентскую область концепций, возникших на экономической и профсоюзной почве, происходит достаточно часто. Подобные концепции механической катастрофы служат основой не только для парламентского, но и для любого другого вида политического абсентеизма. Согласно этой концепции, можно с математической точностью предсказать крушение сил противника, если с суровой непримиримостью будет бойкотироваться его правительственная деятельность (то есть если с экономической забастовкой сливаются политическая забастовка и бойкот). В качестве классического примера можно указать на действия итальянских клерикалов после 1870 года, которые свелись к подражанию и широкому распространению некоторых методов борьбы, примененных итальянскими патриотами (главным образом в Милане) против австрийского господства.

В исторических очерках Жака Бэнвиля⁴³ часто повторяется утверждение, что всеобщее голосование и плебисцит могли (были в состоянии) в прошлом и, следовательно, смогут в будущем служить легитимизму так же, как они послужили другим политическим течениям (в особенности двум Бонапартам). Это утверждение чрезвычайно наивно, ибо связано с наивным абстрактно-убогим социологизмом: всеобщее голосование и плебисцит рассматриваются как абстрактные схемы, оторванные от условий места и времени. В этой связи нужно

указать, что, во-первых, любое решение выносится всеобщим голосованием, или плебисцитом, уже после того, как главенствующий класс достиг высокой степени сплоченности в политической или, в еще большей мере, в военно-политической области, объединившись вокруг человека, стремящегося к установлению «цезаризма», или после войны, в результате которой нация оказалась в непредвиденном положении. Во-вторых, французской истории были известны различные типы «всеобщего голосования», которые мало-помалу привели к историческим изменениям политико-экономических отношений. Кризисы всеобщего голосования вызывались характером отношений между Парижем и провинцией, то есть между городом и деревней, между городскими и крестьянскими силами. Во время революции XVIII века городской блок Парижа почти целиком сосредоточил в своих руках руководство провинцией, и таким образом создавался миф о всеобщем голосовании, которое всегда должно выносить одобрение действиям парижской радикальной демократии. Поэтому в 1848 году Париж требует всеобщего голосования, но это всеобщее голосование привело к избранию реакционно-клерикального парламента, который позволил Наполеону III сделать свою карьеру. В 1871 году Париж сделал огромный шаг вперед, восстав против Национального собрания в Версале, избранного всеобщим голосованием: в этом проявилось скрытое «понимание» того факта, что между «прогрессом» и всеобщим голосованием может быть конфликт. Однако этот исторический опыт, имевший неопределимое значение, сразу же был утрачен, так как его носители немедленно были уничтожены. С другой стороны, после 1871 года Париж в значительной степени теряет свою политико-демократическую гегемонию над остальной Францией. Это вызывалось различными причинами: во-первых, по всей Франции распространяется городской капитализм, и всюду возникает радикальное социалистическое движение; во-вторых, Париж окончательно теряет свое революционное единство, и его демократия раскалывается между социальными группами и антагонистическими партиями. Развитие всеобщего избирательного права и демократии с течением времени все больше совпадает с утверждением во всей Франции радикальной партии и с распространением антиклерикаль-

ной борьбы. Облегчало этот процесс и благоприятствовало ему развитие так называемого революционного синдикализма. Действительно, проповедуемые синдикалистами отказ от участия в выборах и экономизм служат «неоспоримым» свидетельством отречения Парижа от своей роли революционной главы Франции и являются выражением плоского оппортунизма, распространившегося после кровопролития 1871 года. Таким образом, радикализм унифицирует в промежуточном плане мелкобуржуазную посредственность, рабочую аристократию городов и зажиточного крестьянина деревни. После войны историческое развитие, приостановленное в 1871 году огнем и мечом, снова двинулось вперед, но это было развитие недостаточно определенное, бесформенное, колеблющееся и, главное, лишенное мыслящих людей.

«Ривиста д'Италия» в номере от 15 мая 1927 года опубликовала краткое изложение статьи Ж. Виалату, напечатанной несколькими неделями раньше в «Хроник сосиаль де Франс». Виалату отвергает тезис Жака Маритэна, выдвинутый им в работе под названием «Мнение о Шарле Моррасе и обязанности католиков» [Jacques Maritain, *Une opinion sur Charles Maurras et le devoir des catholiques* (Paris, Plon, 1926)], согласно которому между языческой философией и моралью Морраса, с одной стороны, и его политикой — с другой, существовала лишь поверхностная связь, так что если, абстрагируясь от философии, принять его политическую доктрину, то это дает возможность идти навстречу любой опасности, как и во всяком общественном движении, и эта доктрина не содержит в себе ничего, что заслуживало бы осуждения. Виалату считает вполне оправданным, что политическая доктрина ведет свое происхождение от языческой концепции мира (или по крайней мере неразрывно связана с ней).

(По поводу этого язычества следует сказать, что в нем надо выявить и различать литературную форму, полную языческих метафор и оборотов, и сущность доктрины, которая представляет собой натуралистический позитивизм, заимствованный у Конта при посредстве сенсимонизма, и языческое облачение которой состоит лишь из церковного жаргона и церковной терминологии.

гии.) Государство является конечной целью человека, оно претворяет в жизнь общественный порядок, используя только силы природы (то есть «человеческие» силы в противоположность «сверхъестественным» силам).

Определить, что Моррас ненавидит, еще легче, чем определить, к чему он относится с доброжелательством. Моррас ненавидит раннее христианство (концепцию мира, содержащуюся в Евангелии, в сочинениях первых апостолов христианства и т. д., одним словом, христианство, существовавшее в период до издания Миланского эдикта, которое зиждилось на глубокой вере в то, что появление Христа возвестило конец старого мира и этим вызвало растворение римского политического порядка в моральной анархии, разъедающей весь государственный и гражданский строй); Моррас считает раннее христианство иудейской концепцией, и в этом смысле он хочет дехристианизации современного общества. Он считает, что в прошлом католическая церковь являлась инструментом такой дехристианизации и в еще большей степени будет выполнять эту роль в будущем. Он проводит различие между христианством и католицизмом и превозносит этот последний как ответную реакцию древнеримского порядка на иудейскую анархию. Католический культ, с его суевериями и праздниками, с его пышностью и торжественностью, с его литургией, с его священными изображениями и формулами, с его таинственными обрядами и всесильной иерархией, является как бы спасительным волшебством, способным обуздать христианскую анархию и обезвредить иудейский яд истинного христианства. Виалату считает, что национализм «Аксьон франсэз» представляет собой не что иное, как эпизод в истории религии нового времени.

(В этом смысле любое политическое движение, не контролируемое Ватиканом, является эпизодом в истории религии, то есть вся история является историей религии. Во всяком случае, нужно отметить также, что ненависть Морраса ко всему, что носит протестантский характер и имеет англо-германское происхождение — к романтизму, Французской революции, капитализму и т. д., — является одной из сторон его ненависти к первоначальному христианству. Истоки таких взглядов на католицизм следовало бы поискать у Огюста Конта; в то

же время они связаны с чисто литературной формой возрождения томизма и аристотелевской философии.)

Так называемый «органический централизм» основывается на принципе, согласно которому отбор членов политической группировки происходит в результате «кооптации» отдельных лиц при наличии центральной фигуры — «непогрешимого носителя истины», человека, «озаренного разумом», открывшего естественные непреложные законы исторической эволюции, которые являются непреложными даже в том случае, если речь идет о длительном периоде времени и если даже «кажется», что конкретные реальные события свидетельствуют об их ошибочности. Приложение законов механики и математики к социальным явлениям, которое могло бы иметь только метафорическое значение, становится единственным дающим свет духовным мотором, работающим вхолостую. Связь между органическим централизмом и доктриной Морраса очевидна.

ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

Интернационализм и национальная политика

О работе Иосифа Виссарионовича (в виде вопросов и ответов), посвященной некоторым основным проблемам политического искусства и политической науки (она относится к сентябрю 1927 года) ⁴⁴. По-моему, следовало бы развить вопрос, который заключается в следующем: согласно философии практики (в ее политическом проявлении), согласно формулировке ее основоположника, но в особенности согласно уточнениям, внесенным в нее великим теоретиком нашего времени, международное положение нужно рассматривать в его национальном аспекте. Действительно, понятие «национального» является результатом «оригинальной», единственной (в известном смысле) комбинации, которая должна быть понята и осмыслена во всей своей оригинальности и неповторимости, если хотят овладеть и руководить ею. Конечно, развитие идет к интернационализму, но отправной пункт является «национальным», и от этого отправного пункта и нужно исходить. Однако перспектива является интернациональной и не может не

быть таковой. Поэтому необходимо точно изучить комбинацию национальных сил, которыми интернациональный класс должен руководить и которые он должен развивать в соответствии с интернациональными перспективами и требованиями интернационального развития. Руководящий класс будет таковым только в том случае, если он сумеет дать точное истолкование этой комбинации, составной частью которой он сам является, в силу чего он как раз и может придать движению определенное направление с определенными перспективами. В этом кроется, по-моему, основное расхождение между Львом Давыдовичем и Иосифом Виссарионовичем как истолкователем движения большинства*. Обвинения в национализме бессмысленны, если они относятся к существу вопроса. Изучение деятельности партии большинства в период с 1902 по 1917 год показывает, что ее оригинальная черта состоит в очищении интернационализма от всяких неопределенных и чисто «идеологических» (в извращенном смысле этого слова) элементов, с тем чтобы придать ему реальное политическое содержание. Концепция гегемонии — это такая концепция, в которой соединяются потребности национального характера, и само собой понятно, что существует определенная тенденция совершенно замалчивать или лишь слегка затрагивать ее. Класс интернационального характера — поскольку он ведет за собой социальные слои, имеющие узконациональный характер (интеллигенция), а часто и еще более ограниченный характер — партикуляристские, муниципалистские слои (крестьяне), — постольку этот класс должен в известном смысле «национализироваться» и притом далеко не в узком смысле, ибо, прежде чем будет создана экономика, развивающаяся согласно единому мировому плану, ему предстоит пройти через множество фаз, на которых могут возникнуть различные региональные комбинации отдельных национальных групп. С другой стороны, никогда не следует забывать, что историческое развитие будет протекать в соответствии с законом необходимости до тех пор, пока инициатива полностью не перейдет в руки тех сил, которые стремятся строить в соответствии с планом мирного и согласованного разделения труда.

* То есть большевизма. — *Прим. ит. ред.*

Ошибочность ненациональных концепций (то есть не относящихся к каждой отдельно взятой стране) видна из абсурдности их логических последствий; эти концепции привели бы к пассивности и инертности на двух различных этапах: 1) на первом этапе никто не думал бы, что он должен начать первым, так как каждый считал бы, что если он начнет действовать, то окажется в одиночестве; в ожидании того, что двинутся все вместе, никто не двинулся бы и не организовал бы движения; 2) на втором этапе было бы, вероятно, еще хуже, поскольку ожидали бы развития некой формы «бонапартизма», анахронического и противоестественного (ибо не все исторические этапы повторяются в той же самой форме). Теоретическая слабость этой современной формы старого механицизма замаскирована общей теорией «перманентной революции», которая является всего лишь предположением самого общего характера, облеченным в форму догмы, и рушится сама собой в результате того, что она не подтверждается действительностью.

Государство

Профессор Джулио Мишкольци, директор Венгерской академии в Риме, пишет в «Мадьяр сземль»*, что в Италии «парламент, который раньше был, так сказать, вне государства, по-прежнему остается ценным сотрудником, но он был включен в состав государства и претерпел существенное изменение с точки зрения своего состава и т. д.»

Утверждение, что парламент может быть «включен» в состав государства, представляет собой такое открытие в области политической науки и политической техники, которое под стать какому-нибудь Христофору Колумбу из числа современных монархистов-вешателей.

Тем не менее это утверждение представляет известный интерес, ибо показывает, как многие политики практически представляют себе государство. В самом деле, неизбежно встает вопрос: входят ли парламенты в состав государственной структуры (даже в тех странах.

* Статья была перепечатана в «Рассенья дела stampa эстера» в номерах от 3—10 января 1933 года.

где они как будто бы играют максимально действенную роль), а если нет, то какую функцию они выполняют в действительности? При положительном ответе встает другой вопрос: каким образом они входят в состав государства и каким образом выполняют свою специфическую функцию? И если даже парламенты органически не входят в состав государства, то может ли это тем не менее служить свидетельством того, что их существование не имеет общегосударственного значения? И каково основание тех обвинений, которые выдвигают по адресу парламентаризма и неразрывно связанного с ним многопартийного режима (основание, естественно, объективное, то есть связанное с тем фактом, что само существование парламентов препятствует и замедляет *техническую* деятельность правительства).

Вполне понятно, что представительный режим в политическом отношении может «причинить беспокойство» кадровой бюрократии, но вопрос состоит не в этом. Суть его сводится к следующему: не превратился ли представительный и многопартийный режим, предназначенный служить механизмом для отбора лучших функционеров, которые дополняли бы и уравнивали кадровую бюрократию с тем, чтобы предотвратить окаменение, — не превратился ли этот представительный режим в препятствие, в механизм совершенно противоположного характера, и если да — то по каким причинам?

Впрочем, даже утвердительный ответ на этот вопрос не исчерпывает проблемы, ибо если даже допустить (а это как раз нужно допустить), что парламентаризм утратил свою действенность и, больше того, стал приносить вред, то отсюда вовсе не следует, что нужно реабилитировать и превозносить бюрократический режим. Нужно подумать над тем, не отождествляются ли парламентаризм и представительный режим вообще и нет ли возможности по-иному разрешить как проблему парламентаризма, так и проблему бюрократического режима.

Нужно рассмотреть происходившую в эти годы дискуссию по поводу пределов деятельности государства: эта дискуссия более важна, чем политическая доктрина, и позволяет провести разграничительную линию между либералами и нелибералами. Отправным пунктом может служить небольшая книжка Карло Альберто Биджини «Основа, определяющая границы государственной

деятельности» *. На основе мнения Биджини, что тирания утверждается только в том случае, если существует стремление править вне «конституционных норм социальной структуры», могут быть сделаны широкие выводы, чрезвычайно отличающиеся от тех, которые допускает сам Биджини, ибо под «конституционными нормами» подразумевают не статьи конституции; не подразумевает этого, кажется, и сам Биджини (если судить по рецензии Альфредо Поджи, помещенной в «Италия ке скриве» за октябрь 1929 года).

Поскольку государство есть само упорядоченное общество, оно суверенно. Оно не может иметь юридических границ: для него не могут служить границей субъективные нормы публичного права, государство не может сказать о себе, что оно самоограничивается. Установленное право не может быть границей для государства, ибо в любой момент оно может быть изменено государством во имя новых социальных потребностей и т. д. Поджи признает это правильным и считает, что в скрытом виде такие выводы уже содержатся в доктрине юридического ограничения государства. Согласно этой доктрине, *до тех пор пока* существуют юридические нормы, государство действует в их рамках; если оно решило их изменить, оно заменяет их другими нормами, то есть государство не может действовать иначе, как юридическим путем (но так как оказывается, что все, что делает государство, имеет в силу этого юридический характер, то это может продолжаться до бесконечности). Следует подумать над тем, в какой мере концепция Биджини представляет собой замаскированный и принявший абстрактную форму марксизм.

С точки зрения исторического развития этих двух концепций государства должна, по-моему, представлять интерес брошюра Видара Чезарини-Сфорца **. Древние римляне ввели в употребление слово *jus* (право) для обозначения права как силы воли и рассматривали юридический порядок как систему сил, которые не могут быть сдержаны в их взаимной сфере объектив-

* Carlo Alberto Biggini, *Il fondamento dei limiti all'attività dello Stato*; Città di Castello, Casa Ed. «Il Solco», p. 150.

** Widar Cesarini-Sforza, «Jus» et «directum». Note sull'origine storica dell'idea di diritto; Bologna, Stab. Tipogr. Riuniti, 1930.

ными и рациональными нормами; все употреблявшиеся ими выражения — *aequitas* (справедливость), *justitia* (правосудие), *gesta* или *naturalis ratio* (правильный или естественный образ мышления) — должны рассматриваться в рамках этого главного значения. Христианство, в соответствии с его тенденцией подчинить волю норме, преобразовать силу в долг, в большей степени разработало концепцию *directum*, чем концепцию *jus*. Теория права как власти приписывалась одному богу, чья воля становилась нормой поведения, вдохновлявшегося принципом равенства. В этом случае *aequitas* (справедливость) не отличается от *justitia* (правосудия) и обе нормы скрыто подразумевают *rectitudo* (правильность), которая является субъективным качеством, связанным со стремлением сообразоваться с тем, что является правильным и справедливым. Эти отправные положения брошюры Чезарини-Сфорца взяты мною из рецензии Джоэле Солари («Леонардо», август 1930 года), который часто возражает автору.

Среди новых «юридических тенденций», представляемых в особенности «Нуови студи» во главе с Вольпичелли и Спирито, следует отметить в качестве положения, прежде всего заслуживающего критики, смешение концепции государства-класса и концепции упорядоченного общества. Это смешение получило особенно значительные размеры в докладе «Экономическая свобода», прочитанном Спирито на XIX съезде Общества развития наук, состоявшемся в Больцано в сентябре 1930 года (напечатанном в «Нуови студи» в номере за сентябрь — октябрь 1930 года).

Пока существуют классовые государства, упорядоченное общество может существовать только как метафора, то есть только в том смысле, что и классовое государство также является упорядоченным обществом. Утописты, поскольку они выступали с критикой современного им общества, прекрасно понимали, что классовое государство не может быть упорядоченным обществом, и это подтверждается тем, что, рисуя в утопиях различные типы общества, они вводили в качестве необходимой основы задуманной реформы экономическое равенство. Таким образом, в этом отношении утописты

были не утопиями, а самыми настоящими учеными-политиками и подлинными критиками. Утопический характер сочинений некоторых из них определяется тем, что они считали возможным ввести экономическое равенство с помощью произвольно установленных законов, волевым актом и т. д. Однако остается правильной концепция, присущая также некоторым другим политическим писателям (даже правым, то есть критикующим демократию, поскольку она принимает швейцарскую или датскую систему за образец разумной системы, которую следует установить во всех странах); согласно этой концепции, не может существовать полного и совершенного политического равенства без равенства экономического. Эта концепция встречается у писателей XVII века, например у Людовико Цукколо в его книге «Il Belluzzi», а также, как мне кажется, у Макиавелли. Моррас считает, что в Швейцарии эта форма демократии была бы возможна именно потому, что по своему экономическому положению граждане этой страны находятся на определенном среднем уровне и т. д.

Смещение классового государства и упорядоченного общества свойственно средним классам и мелкобуржуазной интеллигенции, ибо они были бы рады любому виду упорядочения, которое предотвратило бы острые столкновения и катастрофы. Таким образом, эта концепция носит типично реакционный, регрессивный характер.

Что касается этического и культурного государства, то самое разумное и конкретное, что можно сказать по этому поводу, сводится, на мой взгляд, к следующему: каждое государство является этическим, поскольку одна из наиболее важных его функций состоит в том, чтобы поднимать широкие массы населения до определенного культурного и морального уровня (или типа), соответствующего потребностям развития производительных сил и, следовательно, отвечающего интересам господствующих классов. В этом смысле особенно важную роль в государстве играет школа, выполняющая позитивную воспитательную функцию. Однако в реальной действительности на достижение этой цели направлено множество других видов деятельности и инициативы, носящих так называемый частный характер, которые образуют в совокупности аппарат политической или культурной гегемонии господствующих классов.

Концепция Гегеля относится к тому периоду, когда могло казаться, что развитие буржуазии вширь не имеет границ и, следовательно, за буржуазией могли признавать этичность и универсальность и считать, что весь человеческий род станет буржуазным. Но в действительности только та социальная группа, которая стремится упразднить государство и самоё себя, может создать этическое государство, стремящееся положить конец внутренним расколам тех, над кем господствовали, и т. д., и создать единый — и в техническом и в нравственном отношении — социальный организм.

О доктрине Гегеля, рассматривающей партии и ассоциации как результат «частных» интриг государства. В историческом отношении эта доктрина возникла на основе политического опыта французской революции XVIII века, и цель ее заключалась в том, чтобы придать большую конкретность конституционализму. Эта доктрина требовала создания правительства на основе согласия управляемых, но не того общего и неопределенного согласия, которое выражается в момент выборов, а на основе организованного согласия. Государство предполагает согласие и требует согласия, но оно также «воспитывает» своих граждан в духе этого согласия с помощью политических и профсоюзных ассоциаций, которые являются, однако, частными организациями, оставленными на волю частной инициативы руководящего класса. Таким образом, в известной степени Гегель уже идет дальше чистого конституционализма и разрабатывает теорию парламентского государства с его многопартийным режимом. Его концепция ассоциации не может еще не носить расплывчатого и примитивного характера, не может не занимать промежуточного положения между политической и экономической концепцией, что обуславливалось еще очень незначительным историческим опытом того времени, дававшим только один завершённый образец организации, а именно — «корпоративной» организации (то есть политики, внедренной в экономику).

Французская революция XVIII века выдвинула два основных типа ассоциаций. Во-первых, *клубы*, не имевшие строгой организации. Они носили характер

«народного собрания», их централизация осуществлялась отдельными политическими деятелями, каждый из которых имел свою газету и с ее помощью привлекал внимание и возбуждал интерес у определенного круга остающихся в тени лиц, которые погом поддерживали идеи газеты на собраниях клуба. Несомненно, что среди членов клуба должны были существовать узкие группировки, подбиравшиеся из хорошо знавших друг друга лиц, которые собирались на стороне и готовили агитацию собраний клуба, с тем чтобы в нужный момент и в соответствии с конкретными интересами борьбы поддерживать то или иное течение.

Секретным заговорам, получившим впоследствии столь широкое распространение в Италии в период до 1848 года, во Франции суждено было развиваться после Термидора среди последователей второй линии якобинизма. В наполеоновский период из-за неослабного контроля полиции эти заговоры были сопряжены с большими трудностями. Однако в период с 1815 по 1830 год, то есть во время Реставрации, которая в основе своей носила довольно либеральный характер и не была обременена особыми заботами, организация этих заговоров стала более легкой. В этот период, с 1815 по 1830 год, в народном политическом лагере суждено было осуществиться дифференциации, которая получила значительные размеры уже в «славные дни» 1830 года, когда появились организации, формировавшиеся на протяжении предшествовавшего пятнадцатилетия. После 1830 года и вплоть до 1848 года процесс этой дифференциации углублялся и породил в лице Бланки и Филиппо Буонарроти вполне заверченный тип деятелей.

Трудно допустить, чтобы Гегель был подробно знаком с этим историческим опытом. Напротив, в сочинениях Маркса этот опыт приобрел большую жизнеспособность*.

* Сведения об этих событиях можно почерпнуть в таких первоисточниках, как публикация Поля Луи и «Политический словарь» Мориса Блока [Maurice Block, *Dizionario politico*]. Книга Олара особенно необходима для рассмотрения Французской революции. Следует также посмотреть замечания Адлера к «Манифесту». Италии посвящена книга Луцио «Масонство и Рисорджименто» [Luzio, *La massoneria e il Risorgimento*], отличающаяся большой тенденциозностью.

Революция, совершенная буржуазией в теории права и, следовательно, в определении функции государства, состоит главным образом в стремлении к конформизму (следовательно, и в утверждении этического характера государства и права). Прежние господствующие классы были по существу своему консервативными в том смысле, что они не стремились проложить путь, по которому мог бы осуществиться органический переход от других классов к ним самим, то есть не стремились расширить свою классовую сферу в «физическом» и идеологическом смысле, придерживаясь, таким образом, концепции замкнутой касты. Класс буржуазии утверждает-ся как находящийся в непрерывном движении организм, способный адсорбировать все общество и поднять его до собственного культурного и экономического уровня. Вследствие этого роль государства изменяется: государство становится «воспитателем» и т. д.

Вопрос о том, что вынудило бы буржуазию остановиться и вернуться к концепции государства как голой силы и т. д. Класс буржуазии уже «насыщен»: он не расширяется, но, напротив, разлагается, не только не ассимилирует новые элементы, но, напротив, часть его самого охвачена процессом распада (или по крайней мере распад происходит в неизмеримо больших размерах, чем ассимиляция). Класс, который мог бы утвердиться как способный ассимилировать все общество и в то же время действительно был бы способен выразить этот процесс,— этот класс предельно усовершенствует концепцию государства и права, он осознает необходимость упразднения государства и права, ставших бесполезными вследствие того, что они исчерпали свою задачу и им предстоит быть поглощенными гражданским обществом.

Тот факт, что общепринятая концепция государства носит односторонний характер и приводит к грубым ошибкам, можно продемонстрировать на примере недавно вышедшей книги Даниэля Галеви «Упадок свободы» [Daniele Halévy, *Décadence de la liberté*], рецензию на которую я прочел в «Нувель литерэр». Галеви считает «государство» представительным аппаратом и делает открытие, что наиболее важные события

истории Франции в период с 1870 года и до наших дней были обусловлены не деятельностью политических органов, происхождение которых связано со всеобщим голосованием, а деятельностью или частных органов (общества капиталистов, генеральные штабы и т. д.), или великих личностей, оставшихся неизвестными стране. Но что это означает, как не признание того факта, что под «государством» нужно понимать, помимо правительственного аппарата, также «частный» аппарат «гегемонии» или гражданское общество? Нужно отметить, как из подобной критики того «государства», которое уклоняется от вмешательства, которое плетется в хвосте событий и т. д., рождается правое идеологическое течение диктаторского порядка, требующее усиления исполнительной власти и т. п. Следовало бы, однако, прочесть книгу Галеви, чтобы выяснить, вступил ли и он на этот путь: в принципе для него это было бы вовсе нетрудно, если учесть его предшествующие выступления (его симпатии к Сорелю, к Моррасу и др.).

Во введении к своей брошюре «Техника государственного переворота» Курцио Малапарте как будто бы отстаивает тождественность формулы «Все в государстве, ничего вне государства, ничего против государства» с положением «Там, где есть свобода, нет государства». В этом положении термин «свобода» употребляется не в обычном смысле «политической свободы, то есть свободы печати и т. д.», а как противоположность понятию «необходимости» и связан с положением Энгельса о переходе из царства необходимости в царство свободы. Однако Малапарте не имеет даже отдаленного представления о смысле этого положения.

В полемике (кстати сказать, поверхностной) о функциях государства (которая понимается в узком смысле как политико-юридическая организация) выражение «государство — *veilleur de nuit*» * соответствует итальянскому выражению «государство-карабинер» и должно обозначать государство, чьи функции ограничиваются охраной общественного порядка и гарантированием соблюдения законов. При этом умалчивают о том, что

* Ночной страж (франц.). — Прим. перев.

при такой форме режима (который к тому же никогда не существовал иначе, как в форме гипотезы-образца на бумаге) руководство историческим развитием принадлежит частным силам, гражданскому обществу, которое также является «государством» и, больше того, которое именно и составляет само государство.

Выражение «государство — *veilleur de nuit*», которое должно, вероятно, иметь больший саркастический оттенок, чем выражение «государство-карабинер» или «государство-полицейский», принадлежит, кажется, Лассалю. Противоположностью такому государству должно служить «этическое государство» или «государство-интервенционист» («государство, осуществляющее вмешательство»). Нужно, однако, проводить различие между этими двумя выражениями.

Концепция этического государства имеет философское и интеллектуалистское происхождение (она свойственна интеллигентам; пример — взгляды Гегеля), и ее действительно можно было бы поставить в один ряд с концепцией «государство — *veilleur de nuit*», потому что она относится скорее к самостоятельной (воспитательной и моральной) деятельности светского государства в противоположность космополитизму и тому вмешательству, которые характеризуют деятельность религиозно-церковной организации как пережитка средневековья; концепция же государства-интервенциониста имеет экономическое происхождение и связана, с одной стороны, с протекционистскими течениями, или течениями экономического национализма, а с другой стороны — с попыткой заставить определенные государственные кадры феодального и помещичьего происхождения взять на себя «защиту» трудящихся классов от эксцессов капитализма (политика Бисмарка и Дизраэли).

Эти различные тенденции могут вступать в разнообразные комбинации, что и происходит на деле. Естественно, что либералы (сторонники «экономизма») выступают за «государство — *veilleur de nuit*» и хотели бы, чтобы историческая инициатива была предоставлена гражданскому обществу и различным силам, которые развиваются бурно, если существует «государство-страж», заботящееся о том, чтобы «игра» велась «честно» и чтобы соблюдались ее законы. Интеллигенты, будь

то либералы или даже сторонники государства-интервенциониста, относятся очень неодинаково к различным вопросам: они могут быть либералами в экономической области и одновременно интервенционистами в области культуры и т. д. Католики заинтересованы в существовании государства-интервенциониста, которое действовало бы исключительно в их пользу. При отсутствии такого государства или там, где они составляют меньшинство, католики выступают за «индифферентное» государство, которое воздерживалось бы от поддержки их противников.

Нужно подумать над следующим вопросом: не является ли концепция, рассматривающая государство в качестве жандарма или ночного стража (оставляя в стороне вопрос о терминологии — «государство-жандарм», «государство — ночной страж» и т. д.), концепцией такого государства, которое только и могло бы преодолеть последние экономико-корпоративные фазы?

Мы всегда отождествляем государство и правительство, а это отождествление представляет собой как раз новое выражение экономико-корпоративной формы, то есть смешения гражданского общества и общества политического, ибо следует отметить, что в общее понятие государства входят элементы, которые должны быть отнесены к понятию гражданского общества (в этом смысле можно было бы сказать, что государство = политическое общество + гражданское общество, иначе говоря, государство является гегемонией, облеченной в броню принуждения). В доктрине государства, согласно которой существует тенденция к тому, что государству суждено исчерпать себя и раствориться в упорядоченном обществе,— в этой доктрине указанный выше вопрос занимает центральное место. Можно представить себе, как принудительная сторона государства постепенно исчерпывает себя в результате того, что утверждаются все более значительные элементы упорядоченного общества (то есть этического государства или гражданского общества).

Выражения «этическое государство» или «гражданское общество» должны были бы означать, что это «представление» о государстве без государства имелось у круп-

ных ученых в области политики и права постольку, поскольку они становились на почву чистой науки (то есть чистой утопии, поскольку она основывалась на предположении, что все люди действительно равны между собой и, следовательно, в равной степени разумны и нравственны, то есть способны принимать законы свободно, по собственному побуждению, а не в результате принуждения, когда они навязываются другим классом как вещь, чуждая сознанию).

Нужно учитывать, что выражение «ночной страж» применил к либеральному государству Лассаль, который рассматривал государство догматически, а не диалектически. (Следует тщательно изучить доктрину Лассаля как в этом аспекте, так и в ее отношении к государству вообще, с точки зрения ее противоположности марксизму.) В доктрине государства как упорядоченного общества нужно будет от фазы, на которой «государство» будет уподобляться «правительству» и отождествляться с «гражданским обществом», перейти к фазе, на которой государство будет выступать в роли «ночного стража», то есть будет являться принудительной организацией, охраняющей развитие элементов упорядоченного общества, которые будут непрерывно умножаться, вследствие чего авторитетные и хаотические вмешательства этой организации будут постепенно сокращаться. Но это не может послужить поводом для того, чтобы думать о новом «либерализме», хотя бы даже в качестве начала эры органической свободы.

Если ни один тип государства действительно не может не пройти через фазу экономико-корпоративного примитивизма, то не следует ли отсюда, что содержание политической гегемонии новой социальной группы, основавшей новый тип государства, должно носить преимущественно экономический характер? Ведь в таком случае речь идет о преобразовании экономической структуры и конкретных отношений между людьми и экономическим миром, то есть производством. Элементы надстройки не могут не быть при этом слабо развитыми; деятельность этих элементов сведется к предвидению и борьбе, причем «плановое» начало будет играть при этом еще явно недостаточную роль; культурный план

будет носить главным образом негативный характер, сведется к критике прошлого и к тому, чтобы предать забвению старое и разрушить его, а план позитивного строительства будет намечен еще в самых «общих чертах», которые в любой момент можно (и нужно) будет изменять, чтобы план находился в соответствии с вновь создаваемой экономической структурой.

Именно этого не произошло в эпоху средневековых коммун; напротив, культура, которая осталась привилегией церкви, носила как раз антиэкономический характер (имея в виду экономику рождавшегося капитализма) и была направлена не на создание гегемонии нового класса, а, напротив, на то, чтобы воспрепятствовать этому классу завоевать гегемонию. В силу этого Гуманизм и Возрождение носили реакционный характер, ибо они означали поражение нового класса и отрицание той экономики, которую он принес с собой, и т. д.

Другим заслуживающим исследования вопросом является вопрос об органических отношениях между внутренней и внешней политикой государства. Определяет ли внутренняя политика внешнюю политику или наоборот? В этом случае также необходимо проводить различие между великими державами, международные позиции которых отличаются относительной самостоятельностью, и прочими государствами; помимо этого, следует учитывать также различные формы правления (например, правление того типа, которое было при Наполеоне III, явно проводило двоякую политику: реакционную внутри страны и либеральную на международной арене).

Вопрос о состоянии государства до и после войны. Несомненно, что в том или ином союзе держав имеют значение те условия, в которых государство оказывается к моменту мира. Поэтому может случиться так, что тот, кому гегемония принадлежала во время войны, в конце концов утратит ее, будучи ослаблен борьбой, и ему предстоит увидеть, как более «удачливый» или более способный «подчиненный» превращается в гегемона. Так происходит во время «мировых войн», когда географическое положение заставляет государство бросать в горнило войны все свои ресурсы: оно одерживает победу во

имя союзов, но эта победа застаёт его в состоянии прострации. Поэтому в концепции «великой державы» должны быть учтены многие элементы, и в особенности «постоянно действующие» элементы, то есть «экономический и финансовый потенциал» и население.

Человек-индивидуум и человеческая масса

Латинская поговорка: «Senatores boni viri, senatus mala bestia» *— стала избитым выражением. В чем смысл этой поговорки и что она означала? Смысл ее состоит в том, что толпа людей, над которыми довлеют конкретные интересы или которые оказались во власти страсти, порожденной минутными впечатлениями, некритически передаваемыми из уст в уста,— что эта толпа объединяется в принятии дурного коллективного решения, которое соответствует самым низменным животным инстинктам. Это наблюдение справедливо и реалистично, поскольку оно относится к случайно возникшей толпе (подобной той, которая собирается «под навесом во время ливня»), состоящей из людей, не связанных узами ответственности как по отношению друг к другу и к группам людей, так и по отношению к конкретной экономической деятельности, распад которой вызвал бы гибель отдельных людей. Поэтому можно сказать, что в такой толпе индивидуализм не только не преодолевается, но, напротив, усиливается благодаря полной безнаказанности и безответственности.

Однако общеизвестен также тот факт, что «хорошо организованная» масса, состоящая из упрямых и недисциплинированных людей, оказывается единой в принятии коллективных решений, превосходящих те решения, на которые способен средний индивидуум: количество переходит в качество. Без этого было бы невозможно, например, существование армии, были бы невозможны те невиданные жертвы, на которые в определенных ситуациях оказываются способными группы хорошо дисциплинированных людей, когда чувство социальной ответственности, живущее в них, резко обостряется непосредственным ощущением общей опасности и будущее ка-

* «Сенаторы — достойные мужи, сенат — дикий зверь». — *Прим. перев.*

жется более важным, чем настоящее. В качестве примера можно привести митинг на площади, который отличается от митинга в закрытом помещении, от профсоюзного собрания и т. д. Заседание офицеров генерального штаба коренным образом отличается от собрания солдат взвода и т. д.

В современном мире тенденция к конформизму более распространена и носит более глубокий характер, чем в прошлом: стандартизация образа мыслей и действий принимает национальные или даже континентальные размеры.

Экономической основой человеческого коллектива являются крупные фабрики, тейлоризм, рационализация и т. д. Но существовал ли человеческий коллектив в прошлом или нет? Он существовал, говоря словами Михельса, при провиденциальном руководстве. Это означает, что коллективная воля создавалась под воздействием непосредственного внушения, импульса, сообщаемого «героем», представительной личностью. Но эта коллективная воля была обусловлена внешними факторами и постоянно возникала и распадалась. Напротив, в наши дни формирование человеческого коллектива по существу своему происходит снизу вверх на основе того положения, которое фактор коллективности занимает в мире производства. И сегодня в процессе этого формирования представительная личность также играет известную роль, но эта роль теперь настолько незначительна по сравнению с прошлым, что исчезновение такой личности не вызвало бы ослабления сплоченности коллектива и его краха.

Говорят, что «западные ученые считают психику массы не чем иным, как проявлением древних инстинктов первобытной орды, и поэтому рассматривают ее как возвращение к давно пройденным стадиям культуры». Это утверждение, которое должно относиться к так называемой «психологии толпы», то есть к психологии случайно собравшихся людей, является псевдонаучным и связано с позитивистской социологией.

По поводу социального «конформизма» нужно отметить, что этот вопрос не является новым и что тревога, поднятая некоторыми интеллигентами, носит попросту комический характер. Конформизм существовал всегда. Сегодня же речь идет о борьбе между «двумя видами

конформизма», то есть о борьбе за гегемонию и о кризисе гражданского общества. Старые руководители общества, возглавлявшие его в интеллектуальном и нравственном отношении, чувствуют, что почва уходит у них из-под ног, понимают, что их «проповеди» становятся именно «проповедями» — вещью, чуждой действительности, голой формой, лишенной содержания, безжизненным призраком; отсюда их отчаяние и консервативные и реакционные тенденции. Из-за того, что разлагается та особая форма цивилизации, культуры и нравственности, которую они представляют, они кричат о гибели всякой цивилизации, всякой культуры, всякой нравственности и требуют от государства принятия репрессивных мер. Эти руководители образуют сопротивляющуюся группу, стоящую вне реального исторического процесса; тем самым они увеличивают продолжительность кризиса, ибо закат определенного образа жизни и образа мышления не может происходить без кризиса. С другой стороны, люди, представляющие новый порядок, которому предстоит появиться на свет, из-за «рационалистической» ненависти к старому распространяют утопии и надуманные планы.

Что служит исходным пунктом этого нового порядка, которым чревата действительность? Мир производства, труд. В основу всякого анализа нравственных и идеологических установлений, которые предстоит создать, и принципов, которые предстоит распространить, должен быть положен критерий максимального утилитаризма; коллективная и индивидуальная жизнь должна быть организована на базе максимального использования производственного аппарата. Развитие экономических сил на новых основах и прогрессивное развитие новой экономической структуры излечат противоречия, которые не могут отсутствовать, и, создав снизу новый вид «конформизма», откроют новые возможности для самодисциплины, то есть и для индивидуальной свободы.

„Противоречия“ историзма и их литературные выражения (ирония, сарказм)

Рассмотрим работы Адриано Тильгера, направленные против историзма. Из статьи Бонавентура Текки («Деминург Бурцио», «Италия леттерариа» от 20 октяб-

ря 1929 года) взяты некоторые исходные положения Филиппо Бурцио, судя по которым Бурцио (если абстрагироваться от искусственности в языке и от конструкций с литературно-парадоксальными тенденциями) достаточно глубоко изучает «психологические» противоречия, возникающие на почве как идеалистического, так и интегрального историзма.

Нужно обдумать следующий тезис: «Быть выше страстей и чувств, даже если испытываешь их», — из которого, вероятно, могут быть сделаны многочисленные выводы. В самом деле, целый узел вопросов, возникающих в связи с историзмом, узел, который не удастся распутать Тильгеру, заключается в констатации того, что «в одно и то же время можно быть критиком и человеком действия, причем таким образом, что один аспект не только не ослабляет другого, но даже усиливает его». Тильгер очень поверхностно и механически разделяет две грани человеческой личности, ибо не существует и никогда не существовал человек, целиком занятый критикой, как и человек, всецело охваченный страстями. Напротив, надо попытаться выяснить, каким образом в различные исторические периоды эти две грани сочетаются как в отдельных личностях, так и в социальных слоях (эта проблема составляет одну из сторон вопроса о социальной функции интеллигентов), приводя к явному превалированию того или другого аспекта (речь идет об эпохах критики, эпохах действия и т. д.).

Но не заметно, чтобы даже Кроче глубоко проанализировал эту проблему в тех своих сочинениях, где он стремится дать набросок концепции «политики-страсти»: если конкретное политическое действие, как говорит Кроче, осуществляется личностью политического вождя, то в этой связи следует заметить, что характерной чертой вождя как такового является, конечно, не страстность, а холодная, точная, объективная оценка сил, участвующих в борьбе, и их соотношения (это имеет еще большее значение, если речь идет о политике в ее решающей и определяющей форме — в форме войны или любой другой форме вооруженной борьбы). Вождь пробуждает страсти и руководит ими, но сам он «не подвержен» страстям или господствует над ними, чтобы с тем большим успехом развязывать их или обуздывать в нужный момент, дисциплинировать их и т. д. Вождь

должен скорее знать их как объективный элемент действительности, как силу, чем «ощущать» их непосредственно; он должен познать и понять эти страсти, пусть даже испытывая большое сочувствие к ним (в этом случае страсть принимает высшую форму, которую нужно анализировать в соответствии с тезисом, намеченным Бурцио).

Судя по статье Текки, Бурцио часто указывает на «иронию» как на характерную черту (или одну из характерных черт) той позиции, концентрированным выражением которой является формула: «Быть выше страстей и чувств, даже если испытываешь их». Очевидно, что «ироническая» позиция не может быть позицией политического или военного вождя в отношении к страстям и чувствам его приверженцев и руководимой им массы. «Ирония» может быть оправданной в позиции интеллигентов-одиночек, не несущих прямой ответственности даже в созидании культурного мира; она может служить также и для выражения отрешенности художника от тех чувств, которыми проникнуто содержание его произведения (он может «понимать» эти чувства, но не «разделять» их или же «разделять» по-иному: в более утонченной в интеллектуальном отношении форме). В области же исторической деятельности элемент «иронии» носил бы лишь литературный, надуманный характер и выражал бы собой форму отчуждения, связанного скорее с более или менее дилетантским скептицизмом, порожденным разочарованием, усталостью, стремлением стать «сверхчеловеком».

Напротив, в области историко-политической деятельности адекватным стилистическим элементом, отличительной чертой позиции, характеризующейся отчуждением-пониманием, является «сарказм», особой формой которого является «страстный сарказм». В работах основателей философии практики мы находим самое яркое в этическом и эстетическом отношении выражение страстного сарказма. Он принимает и другие формы. Перед лицом народных верований или народных иллюзий (веры в справедливость, в равенство, в братство, то есть в идеологические элементы, распространившиеся благодаря демократическим тенденциям, унаследованным от Французской революции) этот сарказм является

страстно «позитивным», созидательным, прогрессивным: вполне понятно, что он преследует цель осмеять не самые сокровенные чувства, таящиеся в этой вере и в этих иллюзиях, а их внешнюю форму, связанную с определенным «бренным» миром, осмеять зловоние, исходящее от трупа, из-под покрова гуманитарных румян, наложенных специалистами по созданию «бессмертных принципов». В то же время существует также сарказм «правых», который, лишь в редких случаях являясь страстным, всегда носит, однако, «негативный» скептический и разрушительный характер не только по отношению к случайной форме, но и по отношению к «человеческому» содержанию этих чувств и этих верований. (Вопрос о том, какое значение следует придавать определению «человеческий», разбирается в ряде книг, но специально в «Святом семействе».) С помощью первого вида сарказма пытаются облечь в новую форму живое существо тех устремлений, которое содержится в этих народных верованиях, и, следовательно, пытаются обновить и более точно определить эти устремления, а не разрушать их. Сарказм правых, наоборот, направлен именно на уничтожение существа этих устремлений (не среди народных масс, ибо тогда было бы также уничтожено распространенное среди народа христианство, а среди интеллигенции), и поэтому атака на «форму» является лишь «дидактическим приемом».

Как всегда случается, первые оригинальные проявления сарказма имели имитаторский, попугайский характер; стиль превращается в «стилистику», в своего рода механизм, шифр, жаргон, которые могли бы дать повод для пикантных наблюдений. Например, когда слово «цивилизация» употребляется *всегда* с прилагательным «так называемая», то это дает право думать, что говорящие верят в существование абстрактной образцовой «цивилизации» или по крайней мере поступают так, как если бы они в самом деле верили в это, то есть направленность их мыслей изменяется — с позиций критики и историзма они переходят на позиции размышлений утопического характера. В своей первоначальной форме сарказм следует рассматривать как манеру выражения, которая вскрывает противоречия переходного периода. С помощью сарказма пытаются сохранить связь с второстепенными проявлениями гуманизма в

старых концепциях и в то же время подчеркнуть разрыв с этими господствующими и руководящими концепциями в ожидании того, что новые концепции благодаря своей прочности, приобретенной в ходе исторического развития, займут господствующее положение и приобретут в конце концов силу «народных верований». Эти новые концепции уже прочно усвоены теми, кому присущ сарказм, но их нужно выразить и обнародовать в «политике», иначе они представляли бы собой «утопию», так как выглядели бы как «произвол» одиночки или тайного собрания. С другой стороны, «историзм» по самой своей природе не может рассматривать самого себя как нечто, требующее выражения в аподиктической или проповеднической форме, и должен создать новую стилистическую манеру, даже новый язык в качестве средств интеллектуальной борьбы. Поэтому «сарказм» (так же как «ирония» в узко литературном плане воспитания мелких групп) выглядит как литературный компонент целого ряда теоретических и практических потребностей, которые при поверхностном рассмотрении могут казаться противоречивыми; его существенной чертой является «страстность», которая становится критерием силы индивидуального стиля (критерием искренности и глубины убежденности в противоположность попугайничанью и механицизму).

С этой точки зрения нужно рассматривать последние замечания Б. Кроче в написанном в 1917 году предисловии к его книге «Исторический материализм и марксистская экономия», где речь идет о «волшебнице Альчине», а также некоторые его замечания о стиле Лориа. В этой же связи следует рассмотреть очерк Ф. Меринга об «аллегории», содержащийся в немецком издании*, и т. д.

Фетишизм

Каким образом можно охарактеризовать фетишизм? Коллективный организм состоит из отдельных индивидуумов, образующих этот организм постольку, поскольку они отдались во власть иерархии и активно при-

* Франц Меринг, Карл Маркс как мыслитель и революционер, Вена, 1928.— *Прим. ит. ред.*

нимают ее определенное руководство. Если каждый из индивидуальных компонентов рассматривает коллективный организм как нечто для себя чуждое, то очевидно, что этот организм фактически больше не существует и превращается в простую выдумку, в фетиш. Нужно подумать, не унаследован ли этот очень распространенный образ мышления от католической трансцендентности и старых патерналистических режимов, ибо он распространяется на целый ряд организмов, таких, как государство, нация, политические партии и т. д. Естественно, что это произошло благодаря церкви, потому что по крайней мере в Италии многовековая работа Ватикана, направленная на искоренение всяких следов внутренней демократии и вмешательства верующих в религиозную деятельность, увенчалась полным успехом и стала второй натурой верующего, даже если она и создала именно благодаря этому ту особую форму католицизма, которая присуща итальянскому народу.

Вызывает удивление (но в то же время является характерным) тот факт, что такого рода фетишизм производится «добровольными» организациями, не носящими, подобно партиям или профсоюзам, «публичного» характера. Они склонны рассматривать отношения между индивидуумом и коллективным организмом как дуалистические и приходят к внешне критической позиции индивидуума по отношению к коллективному организму (если такая позиция не означает не критического энтузиазма и восхищения). В любом случае это фетишистское отношение. Индивидуум, даже если он сам ничего не делает, надеется, что коллективный организм действует, не догадываясь, что именно благодаря весьма широкой распространенности таких взглядов коллективный организм неизбежно остается в бездействии. Помимо этого, нужно признать, что вследствие чрезвычайно широкого распространения детерминистской и механистической концепции истории (то есть концепции здравого смысла, связанной с пассивностью широких народных масс) любой индивидуум, видя, что, несмотря на его бездействие, постоянно что-то происходит, склоняется к мысли, что именно вне зависимости от отдельных индивидуумов существует нечто фантастическое, существует абстракция коллективного организма, своего рода самостоятельное божество, которое не мы-

слит какой-то конкретной головой и тем не менее все же мыслит, которое не передвигается с помощью определенных человеческих ног и тем не менее все же передвигается и т. д.

Могло бы показаться, что некоторые идеологические течения, как, например, течение современного идеализма (Уго Спирито), отождествляющее индивидуум и государство, должны были бы переделать сознание отдельных индивидуумов, но не заметно, чтобы это происходило на деле, ибо такое отождествление носит чисто словесный, декларативный характер. Это следует отнести к любой форме так называемого «органического централизма», основывающегося на предположении (которое верно только в исключительные моменты, в моменты накала народных страстей) об определяющем значении для отношений между правителями и управляемыми того факта, что правители отстаивают интересы управляемых и поэтому «должны» обладать их согласием, то есть что должно происходить отождествление отдельного индивидуума с целым, причем целое (каким бы коллективным организмом оно ни являлось) должно представляться правителями. Нужно подумать над тем, не является ли такая концепция не только полезной, но нужной и необходимой для католической церкви; действительно, любая форма вмешательства снизу вызвала бы разброд в рядах церкви (что видно на примере протестантских церквей). Но для других коллективных организмов вопросом жизни является не пассивное и косвенное согласие управляемых, а согласие активное и прямое и, следовательно, участие в их деятельности отдельных индивидуумов, даже если это вызовет видимость разложения и беспорядка. Коллективное сознание и, следовательно, жизнедеятельный коллективный организм образуется только после того, как масса пришла к объединению через разногласия отдельных индивидуумов, так что нельзя сказать, что «молчание» означает отсутствие массы.

Оркестр, занятый настройкой, которую каждый инструмент осуществляет самостоятельно, создает впечатление самой ужасной какофонии; однако эта настройка является условием того, чтобы оркестр действовал как единый «инструмент».

Р а з д е л т р е т и й



ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ
И ПОЛИТИКИ

1. РИСОРДЖИМЕНТО

1. РЕФОРМАЦИЯ И ВОЗРОЖДЕНИЕ

Рисорджименто и предшествующая история

Вопрос о Рисорджименто необходимо исследовать в двух направлениях. Одно из них — изучение эпохи Рисорджименто, другое — изучение предшествующей ей истории итальянского полуострова, поскольку она создала культурные элементы, которые получили резонанс (положительный и отрицательный) в эпоху Рисорджименто и продолжают играть определенную роль (хотя бы в качестве идеологических моментов пропаганды) и в жизни итальянской нации, так как она была сформирована эпохой Рисорджименто.

Исследования в этом втором направлении должны будут представлять собой совокупность очерков, посвященных тем эпохам европейской и мировой истории, которые получили резонанс на полуострове. Например:

1) Очерк о различных значениях, которые слово «Италия» имело в различные периоды, принимая за исходный пункт известный очерк проф. Карло Чиппола (этот очерк нужно дополнить и уточнить).

2) О том периоде древнеримской истории, который знаменует собой переход от Республики к Империи, — поскольку он создает общие контуры некоторых идеологических тенденций будущей итальянской нации. Кажется, что до сих пор не показано со всей ясностью, что в действительности именно Цезарь и Август радикальным образом изменяют положение Рима и полуострова в равновесии сил внутри классического мира, лишая Италию «территориальной» гегемонии и передавая функцию руководства «имперскому», то есть наднациональному классу. Если верно, что Цезарь продолжает и завершает демократическое движение Гракхов, Мария и Катилины, то также

верно и то, что Цезарь добивается победы, поскольку проблема, которую Гракхам, Марию и Катилине, предстояло разрешить на полуострове, в Риме, перед Цезарем встает в рамках целой Империи, и в ней полуостров является лишь частью, а Рим «бюрократической» столицей, да и то только до определенного момента.

Этот узловый исторический этап имеет величайшее значение для истории полуострова и Рима, так как он дает начало процессу «денационализации» Рима и полуострова и его превращения в «космополитическую территорию». Древнеримская аристократия, которая с помощью методов и средств, соответствовавших ее времени, объединила полуостров и создала базу для национального развития, подавляется теперь имперскими силами и теми проблемами, которые она сама же вызвала к жизни. Цезарь рубает мечом историко-политический узел, и начинается новая эпоха, в течение которой Восток приобретает столь важное значение, что в конце концов превосходит Запад, а это приводит к разрыву между двумя частями Империи.

3) О средневековье, или эпохе коммун, в которых спонтанно создаются новые городские социальные группы. Однако этот процесс в Италии не достигает той более высокой ступени зрелости, какой он достиг во Франции, в Испании и т. д.

4) Об эпохе меркантилизма и абсолютистских монархий, проявления которой именно в Италии имеют ограниченное национальное значение, потому что полуостров находится под иностранным влиянием, между тем как в крупных европейских нациях новые городские социальные группы, все сильнее внедряясь в государственную структуру с объединительной тенденцией, усиливают как самую эту структуру, так и унитаризм, создавая новое равновесие социальных сил; таким образом здесь образуются условия для быстрого прогрессивного развития*.

* Эти очерки должны быть предназначены для определенной категории читателей с целью разрушить старые схоластические, риторические концепции, пассивно воспринимавшиеся через идеи, распространенные в определенной сфере народной культуры. Цель очерков — возбудить научный интерес к рассматриваемым проблемам, которые поэтому будут представлены как проблемы жизненные и насущные и в настоящее время как неизменно актуальные, динамические силы.

Средневековая буржуазия, развитие которой остановилось на экономико-корпоративной фазе

Следует установить, в чем конкретно заключается независимость и самостоятельность государства и в чем она могла состоять в период после X века. И в настоящее время союзы под гегемонией великой державы делают для множества государств проблематичной свободу действий и особенно свободу определять собственную линию поведения. Это явление должно было проявиться наиболее заметно после X века благодаря международной функции Империи и папства и благодаря той монополии на обладание армиями, которую удерживала Империя.

СРЕДНЕВЕКОВАЯ КОММУНА КАК ЭКОНОМИКО- КОРПОРАТИВНАЯ ФАЗА СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА

Фридрих II

В статье, озаглавленной «Падение Свевской державы и новейшая историография» («Нуова антолоджиа» от 16 марта 1930 года), Раффаэлло Морген приводит некоторые новейшие библиографические данные о Фридрихе II. С точки зрения «понимания» итальянской истории, вы сказанного в разделах, посвященных средневековым коммуна́м и космополитической функции итальянской интеллигенции, представляет интерес небольшая книжка Микеланджело Скипа «Сицилия и Италия при Фридрихе II» (Неаполь, Неаполитанское общество истории Родины, 1929 год). Конечно, это антиисторично, если в самом деле Скипа «кажется возмущенным» коммуна́ми и папой, которые оказывали сопротивление Фридриху; но это свидетельствует о том, что папа оказывал противодействие объединению Италии и что коммуна́ы не вышли за пределы средневековья.

Морген впадает в другую ошибку, когда пишет, что во время борьбы между Фридрихом и папством коммуна́ «с нетерпением и тоской тянутся к будущему и т. д.». «Это Италия, которая готовится дать миру новую цивилизацию, в основе своей *светскую и национальную*, тогда как предшествующая была универсалистской и церковной». Моргену было бы трудно доказать правильность

этого утверждения иначе, как цитируя книги, подобные «Государю». Но для утверждения того, что книги являются не только элементом культуры, но и воплощают в себе нацию,— для этого нужно очень много риторики.

Был ли Фридрих II еще связан со средневековьем? Несомненно. Но несомненно также, что он порывал с ним; его борьба против церкви, его веротерпимость, использование трех цивилизаций — еврейской, латинской, арабской — и попытка их слияния выводят его за пределы средневековья. Он — человек своего времени, но он действительно был в состоянии основать светское и национальное государство, и его скорее можно считать итальянцем, чем немцем, и т. д. Проблема рассматривается здесь в целом, и даже эту статью Моргена можно использовать.

Данте и Макиавелли

Необходимо освободить политическую доктрину Данте от всех последующих наслоений и выявить ее точное историческое значение. Были ли идеи и доктрины Данте настолько действенны и убедительны, чтобы стимулировать и возбуждать национальную политическую мысль благодаря тому значению, которое имел Данте как элемент итальянской культуры,— это еще нужно выяснить; но следует отвергнуть мысль, что подобные теории имели прямое генетическое значение в органическом смысле. Характер разрешения определенных проблем в прошлом помогает найти решение подобных же проблем в настоящем благодаря тому критическому культурному навыку, который создается в области исследования; но никогда нельзя сказать, что характер разрешения проблем в настоящем генетически зависит от разрешения проблем в прошлом; его генезис кроется в современной ситуации и только в ней. Этот критерий не является абсолютным, то есть не должен доводиться до абсурда; в последнем случае это приводило бы к эмпиризму: предельный актуализм и есть предельный эмпиризм.

Надо уметь выделять крупные исторические периоды, которые в своей совокупности выдвинули определенные проблемы и наметили элементы разрешения этих проблем с самого начала их возникновения. Так, я бы сказал, что Данте замыкает средневековье (определенную фазу средневековья), в то время как появление Макиавелли

означает, что одной фазе нового мира уже удалось с большой ясностью и глубиной поставить собственные проблемы и разработать соответствующие методы их разрешения. Думать, что Макиавелли генетически зависит от Данте или связан с ним,— значит совершать грубую историческую ошибку. Чистейшей фантазией является, например, современное построение отношений между государством и церковью (см. Ф. Коппола) на основе дантовской схемы «Креста и Орла». Между Государем Макиавелли и Императором Данте не существует генетической связи, и тем более ее не существует между современным государством и средневековой империей. Попытки установить генетическую связь между проявлениями духовной жизни итальянских культурных классов в различные эпохи как раз и представляют собой национальную «риторику»: подлинная история подменяется историческими призраками. (Вместе с тем это вовсе не значит, что данный факт не имеет значения — он не имеет научного значения, и только. Он является элементом политики; более того — второстепенным и подчиненным элементом политической и идеологической организации мелких групп, которые борются за культурную и политическую гегемонию.)

Мне думается, что политическую доктрину Данте надо рассматривать как простой элемент его биографии (этого ни в коем случае нельзя ни сказать, ни сделать в отношении Макиавелли), но не в общем смысле, потому что во всякой биографии интеллектуальная деятельность изображаемой личности является существенной и потому что важны не только поступки этого человека, но также его мысли и фантазии, а в том смысле, что эта доктрина Данте не обладала никакой эффективностью и плодотворностью в историко-культурном отношении, как и не могла обладать ими, и имеет значение лишь только как момент в развитии самого Данте после поражения его партии и изгнания его самого из Флоренции. Данте переживает процесс радикального изменения своих политико-гражданских убеждений, своих чувств, своих страстей, своего мировоззрения.

Следствием этого процесса была его полная изоляция. Несомненно, что его новая ориентация может называться «гибеллинством» только условно; во всяком случае, это было некое «новое гибеллинство», превосходящее старое

гибеллинство, а также и старый гвельфизм. В самом деле, речь здесь идет не о политической доктрине, а о политической утопии, которая носит на себе отпечатки прошлого, и прежде всего о попытке превратить в доктрину все то, что было лишь поэтическим материалом, находившимся в процессе формирования и творческого горения, зарождавшейся поэтической фантазией, которая найдет свое завершение в «Божественной комедии»: как в «структуре» поэмы — в виде продолжения попытки (на сей раз в стихотворной форме) превратить чувства в доктрину, так и в самой «поэзии» — в форме страстной инвективы и драматического действия.

Поднимаясь над внутренними раздорами в коммунах, которые представляли собой чередование разрушений и истреблений, Данте мечтает об обществе, которое превосходит коммуны, превосходит и церковь, опирающуюся на «черных», и старую Империю, опирающуюся на тибеллинов; он мечтает о такой форме правления, которая предписывала бы законы, стоящие над партиями. Это человек, потерпевший поражение в классовой войне и мечтающий о ликвидации этой войны под эгидой власти арбитра. Но это потерпевший поражение человек, сохранивший все обиды, все страсти и чувства побежденного; вместе с тем это также «ученый», знающий теории и историю прошлого. Прошлое предоставляет ему древнеримскую имперскую схему и ее средневековое отражение — «Священную Римскую империю германской нации». Он хочет возвыситься над настоящим, но его взгляд обращен в прошлое. Макиавелли также смотрел в прошлое, но совсем по-иному, чем Данте, и т. д.

Финансы флорентийской коммуны

В рецензии на книгу Барбадоро *, опубликованной в «Пегазо» в июле 1930 года, Антонио Панелла напоминает о попытке (незавершенной и неудачной) Джузеппе Канестрини опубликовать ряд томов, посвященных науке и искусству Флоренции, построенных на официальных актах Флорентийской республики и Медичи (в 1862 году вышел

* Книга Бернардино Барбадоро «Финансы Флорентийской республики» [Bernardino Barbadoro, Le finanze della Repubblica fiorentina, Olschki, Firenze, 1929].— *Прим. ит. ред.*

первый и единственный том обещанной серии). О финансах Генуэзской коммуны писал Зивекинг, о финансах Венеции — Беста, Чесси, Луццатто.

Барбадоро занялся теперь флорентийскими финансами; хронологически он доводит изложение до основания «Монте»⁴⁵ после правления герцога Афинского, а предметом его изучения являются прямые налоги и государственный долг, то есть главная опора экономической структуры коммуны (пожалуй, Барбадоро следовало бы дополнить исследование, занявшись косвенными налогами).

Первая форма обложения — «фокатико» — еще носит на себе отпечаток феодальных налоговых систем и представляет собой осязаемый признак утверждающейся самостоятельности коммуны, которая берет себе права, принадлежащие Империи.

Более развитая форма — «эстимо», основывавшаяся на общей оценке платежеспособности гражданина. Система прямого обложения как главный источник доходов противоречила интересам господствующего класса, который, будучи главным обладателем богатства, стремится переложить тяжесть налогов на широкие слои населения с помощью пошлин на продовольствие; тогда же возникает первая форма государственного долга в виде займов или антиципаций, которые имущие слои предоставляют для нужд казны, гарантируя себе возвращение ссуд посредством пошлин. Политическая борьба обуславливается колебаниями между «эстимо» и пошлинами на продовольствие. Когда коммуна подпадает под иностранное господство (герцог Калабрийский и герцог Афинский), появляется «эстимо», между тем как в определенные моменты в городе, наоборот, удается отвергнуть «эстимо» (например, в 1315 году). Синьория, поднимаясь над интересами социальных классов (такое мнение Панелла, но в действительности — представляя определенное равновесие социальных классов, благодаря которому народу удавалось ограничивать всемогущество богатых классов), могла проводить принцип справедливого распределения налогов и даже улучшать систему прямого обложения вплоть до 1427 года — до начала принципата Медичи и до заката олигархии, при которой был учрежден кадастр.

Эта книга Барбадоро нужна именно для того, чтобы убедиться, что буржуазии коммун не удалось преодолеть экономико-корпоративную фазу, то есть создать государ-

ство, пользующееся «доверием управляемых» и способное к развитию. Государственное развитие могло осуществляться только в форме принципата, а не в форме коммуны-республики.

Книга представляет также интерес для изучения политического значения государственного долга, возросшего вследствие захватнических войн, то есть стремления обеспечить буржуазии более обширный рынок и свободу перевозок*. Интересны также последствия государственного долга: имущие классы, считавшие, что в займах они найдут средство для переложения на широкие слои граждан большей части налогового бремени, были наказаны неплатежеспособностью коммуны, которая, совпав с экономическим кризисом, содействовала обострению бедствий и поддерживала беспорядок в стране. Эта ситуация вызвала консолидацию долга, который перестал подлежать выкупу (бессрочная рента), и понижение величины процента — с основанием «Монте» после изгнания герцога Афинского и прихода к власти «мелкого люда».

Падение флорентийской коммуны

В XV веке предприимчивость итальянских купцов резко падает: они предпочитают скорее вкладывать приобретенные средства в земельные владения и получать верный доход от сельского хозяйства, чем снова рисковать ими при поездках и во вложениях за границей.

Но чем определялась эта утрата инициативы? Этому содействовал целый ряд элементов: ожесточенные классовые столкновения в городах-коммунах, банковские банкротства, вызванные неплатежеспособностью коронованных должников (банкротства Барди и Перуцци), отсутствие сильного государства, которое могло бы взять под защиту своих граждан за границей; другими словами, основная причина коренилась в самой структуре государства-коммуны, которое не может развиваться в крупное территориальное государство. С этих пор в Италии укореняются отсталые взгляды, согласно которым единственным обеспечением богатства является земельная собствен-

* С этим следует сравнить слова Маркса в «Капитале» по поводу роли и значения государственного долга.

ность. Необходимо тщательно изучить этот период, в течение которого купцы превращаются в земельных собственников, и выяснить, каковы были опасности, связанные с обменом и с банковскими операциями.

Осада Флоренции в 1529—1530 годах является завершением борьбы между экономико-корпоративной фазой истории Флоренции и современным (относительно) государством. Полемика * между историками по поводу значения осады связана с неумением дать оценку этим двум фазам, а это вызвано риторическим подходом к средневековой коммуне: то, что Марамальдо мог бы быть представителем исторического прогресса, а Ферруччи — исторически ретроградом, — все это может не нравиться в нравственном отношении, но в историческом отношении это можно и нужно утверждать.

В связи с тем, что буржуазии коммун не удалось преодолеть корпоративную фазу, вследствие чего нельзя сказать, что она создала Государство (ибо государством были скорее Церковь и Империя), то есть нельзя сказать, что коммуны вышли за рамки феодального государства, — в связи с этим необходимо, прежде чем писать что-либо, прочесть книгу Джоакино Вольпе «Средневековье». Привожу следующий отрывок из статьи Риккардо Баккелли («Многие жизни») в «Фиера литерариа» от 1 июля 1928 года: «Не вдаваясь в предысторию и не выходя за рамки этой книги, отметим, что в «Средневековье» Вольпе повествует о том, как народ коммун возникает и живет в обстановке *«дарованной ему привилегии»*, созданной ранее универсальной церковью и той идеей Священной Империи, которая, будучи навязана (?!) Италией Европе как синоним и эквивалент человеческой цивилизации и будучи воспринята и поддержана Европой как таковая, впоследствии являлась препятствием (!?) наиболее (!) естественного исторического развития Италии в современную нацию». Надо проверить, соглашался ли Вольпе с этими... странными утверждениями.

* См. полемику между Антонио Панелла и Альдо Валори, которая закончилась научной капитуляцией Валори в «Марцокко» и его мелочной журнальной мстостью в «Критика фашиста» [«Марцокко», 22 сентября 1929 года и 13 октября 1929 года; «Критика фашиста», 15 января 1930 года]. — *Прим. ит ред.*

РЕФОРМАЦИЯ И ВОЗРОЖДЕНИЕ

Гуманизм и Возрождение

Что означает выражение: Возрождение открыло «человека», сделало человека центром вселенной и т. д. и т. п.? Разве до Возрождения человек не был центром вселенной и т. д.? Возможно, следует сказать, что Возрождение создало новую культуру или цивилизацию, противостоящую предшествующим или развивающую их. Но необходимо «указать пределы» или «уточнить», в чем состоит эта культура и т. д. Верно ли, что до Возрождения «человек» был ничем, а потом сделался всем? Или получил развитие процесс культурного формирования, в котором человек стремится сделаться всем? Быть может, следует сказать, что до Возрождения трансцендентность составляла основу средневековой культуры, но разве те, кто представлял эту культуру, были «ничем» или разве эта культура не была для них средством быть «всем»? * Если Возрождение является великой культурной революцией, то не потому, что все люди, которые были «ничем», уверовали, что они стали «всем», а благодаря тому, что этот образ мыслей получил распространение, сделался всеобщим ферментом и т. д. Не человек был «открыт», а возникла новая форма культуры, то есть той силы, которая необходима для создания нового типа человека в среде господствующих классов.

Вальсер, долго живший в Италии, замечает, что для понимания характера итальянского Возрождения полезно в известной степени ознакомиться с психологией современных итальянцев. Это замечание, по-моему, очень метко, особенно по отношению к религии; оно выдвигает проблему того, что представляет собой религиозный дух в Италии в настоящее время и можно ли его сравнить — не говоря уже о сравнении с религиозным духом протестантов — хотя бы с религиозным духом в других католических странах, особенно во Франции.

Бесспорно, что религиозность итальянцев очень поверхностна, и также бесспорно, что она носит узко политический характер, характер гегемонии международного

* Во всяком случае, следует отличать фацетии, направленные против духовенства, которые становятся традиционными начиная с XIV века, от более или менее ортодоксальных точек зрения на религиозную концепцию жизни.

масштаба. С этой формой религиозности связана книга Джоберти «О нравственном и гражданском первенстве итальянцев», которая в свою очередь способствовала укреплению и систематизации того, что существовало еще раньше в распыленном состоянии.

Не следует забывать, что начиная с XVI века и в последующий период Италия принимала участие в мировой истории — прежде всего как резиденция папства, а также и потому, что итальянский католицизм рассматривался не только как суррогат государственного и национального духа, но, несомненно, и как мировая руководящая функция, то есть как империалистический дух.

Справедливо также замечание, что антиклерикализм представляет собой форму борьбы против привилегированных сословий; и нельзя отрицать, что в Италии религиозные слои сыграли в экономическом и политическом отношении значительно более важную роль, чем в других странах, где национальное формирование ограничивало роль церкви. Враждебность светских интеллигентов к папской курии, антиклерикальные «фацетии» и т. д. являются также формой борьбы между светскими и церковными интеллигентами, вызванной преобладанием этих последних.

Если скептицизм и язычество интеллигентов носят в большой степени чисто поверхностный характер и могут сочетаться с известной религиозностью, то и народные * проявления безнравственности (карнавальные повозки и песни), которые Вальсеру кажутся более опасными, можно объяснить таким же образом.

Как в наши дни, так и в эпоху Возрождения, пишет Вальсер, итальянцы могли «развивать порознь и одновременно две стороны человеческой способности к восприятию действительности — рациональную и мистическую, — и таким образом рационализм, будучи доведен до абсолютного скептицизма, невидимой нитью, незаметной для жителя Севера, вновь связался с самым примитивным мистицизмом, с самым слепым фатализмом, с фетишизмом и грубым суеверием». Эти соображения являются, вероятно, наиболее важными поправками, которые Вальсер вносит в концепцию Возрождения Буркхардта и Де Санк-

* См. книгу Доменико Гуэрри о народных движениях в эпоху Возрождения [D. Guerri, *La corrente popolare nel Rinascimento. Berte, burle e baie nella Firenze del Brunellesco e del Burchiello*, Sansoni, Firenze, 1931.— *Прим. ит. ред.*].

тиса. Яннер пишет, что Вальсеру не удастся провести грань между гуманизмом и Возрождением и что если без гуманизма, возможно, не было бы Возрождения, то Возрождение по своему значению и последствиям превосходит гуманизм. Но даже и это различие должно быть более тонким и глубоким: пожалуй, более правильно мнение, что Возрождение представляет собой движение огромной важности, которое начинается после X века, причем гуманизм и Возрождение в узком смысле являются двумя завершающими моментами этого движения, главный центр которых находится в Италии, между тем как исторический процесс в целом носит не узко итальянский, а общеевропейский характер.

Главным центром гуманизма и Возрождения как литературного выражения этого общеевропейского исторического движения была Италия, но прогрессивное движение после X века, хотя оно и сыграло большую роль благодаря коммунам, пришло в упадок именно в Италии и именно вместе с гуманизмом и Возрождением, которые в этой стране приобретают регрессивный характер, между тем как в остальной Европе общее движение нашло свое завершение в национальных государствах, а затем — в мировой экспансии Испании, Франции, Англии, Португалии. В Италии национальному государству в этих странах соответствовала организация папства как абсолютистского государства, установленного Александром VI, — организация, разъединившая остальную Италию, и т. д. То, что Возрождение не может быть таковым без создания национального государства, в Италии понимал Макиавелли, но как личность он теоретически обобщает не итальянские события, а то, что происходит за пределами Италии.

Согласно Яннеру *, наше представление о Возрождении определяется главным образом двумя капитальными трудами: «Культурой Возрождения» Якова Буркхардта и «Историей итальянской литературы» Де Санктиса.

Книга Буркхардта по-разному истолковывалась в Италии. Она вышла в 1866 году и вызвала широкие отклики в Европе, оказав влияние на идеи Ницше о сверхчеловеке, и таким образом породила обширную литературу (осо-

* См. рецензию Арминия Яннера в «Нуова антологиа» от 1 августа 1933 года на книгу Эрнста Вальсера (Ernst Walser, *Gesammelte Studien zur Geistesgeschichte der Renaissance*; Benno Schwabe, Basel, 1932).

бенно в северных странах) о художниках и кондотьерах Возрождения,— литературу, в которой провозглашалось право личности на прекрасную и героическую жизнь, на свободу действий без оглядок на моральное ограничение. Таким образом, Возрождение олицетворяется в Сиджисмондо Малатеста⁴⁶, Чезаре Борджа, Льве X, Аретино, в Макиавелли как теоретике и в стоящем особняком Микеланджело. В Италии такое истолкование Возрождения представляет Д'Аннунцио.

Книга Буркхардта (переведена Вальбуза в 1877 году) оказала в Италии различное влияние: итальянский перевод пролил больше света на те тенденции, враждебные папской курии, которые Буркхардт усматривает в Возрождении и которые совпадают с итальянскими политическими и культурными тенденциями в период Рисорджименто. Другой элемент Возрождения, который осветил Буркхардт — индивидуализм и создание нового склада ума,— также рассматривался в Италии как оппозиция средневековому миру, который воплощался в папстве. Восхищение энергической жизнью и чистой красотой проявилось в Италии в меньшей степени; кондотьеры, авантюристы, распутники привлекали меньше внимания.

Эти замечания, пожалуй, следует учесть: это именно то истолкование Возрождения и новой жизни, которое приписывается Италии (как если бы оно действительно было итальянским по своему происхождению), но которое является не чем иным, как истолкованием немецкой книги, посвященной Италии.

Де Санктис подчеркивает в эпохе Возрождения мрачный колорит политического и морального разложения; несмотря на все достоинства, которые могут быть признаны за Возрождением, оно разрушило Италию и сделало ее рабой иноземца.

В целом Буркхардт рассматривает Возрождение как исходный момент новой, прогрессивной эпохи европейской цивилизации, как колыбель нового человека. Для Де Санктиса Возрождение, с точки зрения итальянской истории и применительно к Италии, было отправным пунктом регресса и т. д. Буркхардт и Де Санктис сходятся, однако, в деталях анализа эпохи Возрождения и согласны принять в качестве его характерных элементов формирование нового склада ума, разрыв, со всеми средневековыми связями в отношении к религии, авторитету, родине, семье.

Согласно Яннеру, в последние десять или пятнадцать лет создается мало-помалу противоположное течение среди ученых, главным образом католиков, которые оспаривают реальность этих характерных признаков Возрождения (фактов, подчеркнутых Буркхардтом и Де Санктисом) и пытаются выдвинуть на первый план другие признаки, в значительной степени противоположные. Это Ольджати, Дзабугин, Тоффанин — в Италии, Пастор (в первых томах «Истории пап») и Вальсер — в странах немецкого языка. Вальсеру принадлежит исследование о религиозности Пульчи (*Lebens- und Glaubensprobleme aus dem Zeitalter der Renaissance*, in «*Die Neueren Sprachen*», 10. Beiheft).

Продолжая исследование Вольпи и других, они анализируют характер ереси Пульчи и обстоятельства, связанные с отречением от нее, которое Пульчи должен был принести позднее; в этом исследовании он выявляет «весьма убедительным образом» ее истоки (аверроизм и мистические иудейские секты) и показывает, что у Пульчи речь идет не только о разрыве с ортодоксальными религиозными чувствами, но и о его новой вере (сплетенной из магии и спиритизма), которая позднее превращается в широкий охват всех верований и терпимость к ним.

Следует рассмотреть, не являются ли спиритизм и магия закономерной формой, которую должны были принимать натурализм и материализм той эпохи, то есть реакцией на католическую трансцендентность, или первой формой грубой и примитивной имманентности.

В рецензируемом Яннером томе, пожалуй, особенный интерес могут вызвать следующие три исследования, поскольку они иллюстрируют новое истолкование Возрождения: «Христианство и античность в концепции первого итальянского Возрождения», «Исследование об идейных течениях эпохи Возрождения», «Человеческие и художественные проблемы итальянского Возрождения».

Вальсер считает неверным утверждение Буркхардта, что Возрождение будто бы имело языческий, критический, нерелигиозный характер и было враждебно папской курии. Гуманисты первого поколения, такие, как Петрарка, Боккаччо, Салютати, перед лицом церкви не порывали с положением средневековых ученых. Гуманисты XV века Поджо, Валла, Беккаделли настроены более критично и

независимо, но перед лицом откровения даже и они молчат и принимают его.

В этом утверждении Вальсер единодушен с Тоффанином, который в своей книге «Что представлял собой гуманизм?» [G. Toffanin, *Che cosa fu l'Umanesimo? Il Risorgimento dell'antichità classica nella coscienza degli Italiani fra i tempi di Dante e la Riforma*, Firenze, Sansoni (Biblioteca storica del Rinascimento)] доказывает, что гуманизм с его культом латинизма и романизма был значительно более ортодоксальным, чем ученая литература на народном языке XIII и XIV веков. (Это утверждение можно принять, если в ходе Возрождения выделяется тот разрыв гуманизма с национальной жизнью, которая начала формироваться после X века, и если рассматривать гуманизм как прогрессивный процесс по отношению к культурным «космополитическим» классам и как регресс с точки зрения итальянской истории.)

Возрождение можно рассматривать как выражение в области культуры исторического процесса, в ходе которого в Италии образуется новый класс интеллигентов, получивший европейское значение, класс, который делится на две группы: одна выполняла в Италии космополитическую функцию, будучи связана с папством и имея реакционный характер; другая сформировалась за границей из политических изгнанников и лиц, гонимых церковью, и выполняла прогрессивную космополитическую функцию в различных странах, где они обосновались, или принимала участие в образовании современных государств в качестве технического элемента в войсках, в политике, в инженерном деле и т. д.

Возможно, что гуманизм действительно зарождается в Италии как изучение романизма, а не классического мира в целом (Афины и Рим); но тогда необходимо делать различие. Гуманизм носил «политико-этический», а не художественный характер, он представлял собой поиски основы того «итальянского государства», которое должно было возникнуть одновременно и параллельно с возникновением государства во Франции, Испании и Англии; в этом смысле гуманизм и Возрождение имеют своего наиболее яркого представителя в лице Макиавелли.

Гуманизм был «цицеронианским», как утверждает Тоффанин, то есть он искал основы в том периоде, который предшествовал Империи, имперскому *космополису*

(а в этом смысле Цицерон может служить прекрасным отправным пунктом благодаря его противодействию сначала Катилине, а потом Цезарю, то есть появлению новых антииталийских сил, появлению космополитического класса).

Спонтанно возникшее итальянское Возрождение, которое начинается после X века и в художественном отношении достигает расцвета в Тоскане, было задушено гуманизмом и Возрождением в плане культуры, возрождением латыни в качестве языка интеллигенции в противоположность народному языку и т. д. Бесспорно, что это спонтанно возникшее Возрождение (в особенности начиная с XIII века) можно сравнить только с расцветом греческой литературы, между тем как «политицизм» XV—XVI веков представляет собой такое Возрождение, которое можно отнести к романизму.

Афины и Рим нашли свое продолжение в ортодоксальной и в католической церкви. Здесь также следует утверждать, что Рим получил большее развитие во Франции, чем в Италии, а Афины и Византия — в царской России (западная и восточная цивилизация), и так было вплоть до Французской революции, а быть может, и вплоть до войны 1914 года.

В очерке Ростаньи содержится много метких замечаний частного характера, но концепция его ошибочна. В то же время Ростаньи смешивает книжную культуру с культурой, имеющей спонтанное происхождение.

Может быть, и верно, что принижение значения римлян идет от романтизма, особенно немецкого (в художественной области); возможно также, что это имело непосредственные практические мотивы и т. д. Но Ростаньи при всем том следовало бы задуматься над тем, не было ли истины в этой односторонности. — пусть даже односторонней. Истины культурной, а не эстетической, ибо эстетическая «автономия» является, между прочим, «автономией» отдельных художников, а не культурных группировок; но пусть была бы даже и «культурная автономия», которая, конечно, должна была существовать, о чем свидетельствует как раз факт культурного раскола между Востоком и Западом, между католической церковью и византийской ортодоксией и т. д. Но тогда нужны не поверхностные мотивировки, а углубленные исследования и не только литературы, но и культуры вообще.

Очень важна книга Джузеппе Тоффанина «Что представлял собой гуманизм?» (Возрождение античной классики в сознании итальянцев в период между Данте и Реформацией). Тоффанин в известной степени правильно подмечает реакционный средневековый характер гуманизма: «То особое состояние души и культуры, которое в Италии в период между XIV и XVI веками получает название гуманизма, представляет собой некий *реваниш* и по крайней мере в течение двух веков служило *барьером* против того беспокойного романтического направления, расхोдившегося с общепринятым учением, которое в зародыше существовало еще раньше, в эпоху коммун, а затем одержало верх, и Реформации. Оно было спонтанным примирением противоречивых идейных элементов и по существу антифилософским признанием установленных границ; но та же самая антифилософичность, однажды обдуманная и признанная, является также сама по себе философией» *.

Мне кажется, что вопрос о том, чем был гуманизм, не может быть разрешен иначе, как в более широких рамках истории итальянской интеллигенции и ее роли в Европе.

Тоффанину принадлежит также книга «Конец гуманизма» и работа о XVI веке в собрании Валларди.

Очень интересна и содержательна, несмотря на свою краткость, статья Витторио Росси «Возрождение» в «Нуова антолоджиа» от 16 ноября 1929 года.

Согласно Росси—и это правильно,— расцвет изучения классической литературы был явлением второстепенного порядка, признаком, симптомом (причем не самым заметным) глубокого содержания эпохи, которая по праву называется «Возрождением». «Центральным и фундаментальным явлением, от которого пошли все прочие отростки, было рождение и созревание нового духовного мира, который с помощью активных и тесно сплотившихся творческих сил, высвободившихся после X века во всех областях человеческой деятельности, был в то время выдвинут на сцену *не только итальянской, но и европейской истории*».

* См. статью Витторио Росси «Возрождение» [Vittorio Rossi, Il Rinascimento] («Нуова антолоджиа» от 16 ноября 1929 года), которая частично разделяет положение Тоффанина, но лишь затем, чтобы с тем большим успехом опровергнуть его.

После X века начинается реакция против феодального режима, «который накладывал свой отпечаток на всю жизнь» (с помощью земельной аристократии и духовенства). В течение двух или трех последующих веков глубоко изменяется экономический, политический и культурный строй общества: укрепляется сельское хозяйство, оживают, расширяются и упорядочиваются промышленность и торговля; возникает буржуазия, новый руководящий класс (этот момент нужно уточнить, а Росси не сделал этого), кипящий политической страстью (где? во всей Европе или только в Италии и Фландрии?) и сплотившийся в мощные финансовые корпорации; образуется государство-коммуна с возрастающим духом независимости.

Этот момент также нуждается в уточнении: необходимо установить, что означало понятие «государство» в применении к государству-коммуне: государство здесь имело ограниченное «корпоративное» значение, вследствие чего невозможно было развитие за пределы того среднего периода феодализма, который последовал за периодом феодальной анархии (так сказать, за периодом феодализма без третьего сословия, существовавшего до XI века), и на смену которому приходит абсолютная монархия в XV веке, существовавшая вплоть до Французской революции.

Органический переход от коммуны к строю, который не был уже феодальным, имел место в Нидерландах, и только в Нидерландах. В Италии коммуны не сумели выйти за пределы корпоративной фазы; феодальная анархия одержала победу в форме, соответствовавшей новому положению, а затем установилось иностранное господство*.

Что представляют собой движения за реформацию церкви, возникновение новых религиозных орденов, стремящихся возродить апостолическую жизнь? Являются ли эти движения положительными или отрицательными симптомами нового развивающегося мира? Конечно, они выглядят как реакция на новый экономический строй, даже если требование реформации церкви являлось про-

* Что касается всего развития европейского общества после X века, которое отмечает Росси, то необходимо иметь в виду книгу Анри Пиренна о происхождении городов.

грессивным; однако бесспорно, что они указывают на большой интерес народа к вопросам культуры и большой интерес к народу со стороны крупных религиозных деятелей, то есть наиболее выдающихся интеллигентов эпохи. Но даже эти движения, по крайней мере в Италии, церковь либо душит, либо подчиняет, между тем как в других странах Европы они сохраняются в качестве фермента брожения, чтобы найти выход в Реформации*.

«В философских и теологических школах Франции разгораются бурные диспуты, которые свидетельствуют о возродившихся религиозных настроениях и вместе с тем о возросших требованиях разума». Не вызваны ли эти диспуты аверроистскими доктринами, в которых выражено стремление завоевать европейский мир, то есть влиянием арабской культуры? «Вспыхивает борьба за инвеституру, которая, будучи вызвана проснувшимся чувством имперского духа (что это значит? проснувшимся государственным чувством, означающим стремление государства вобрать в себя всю активность граждан, как в Римской империи?) и сознанием насущных духовных, политических, экономических интересов, потрясает весь мир светских и церковных государей и безымянную массу монахов, буржуазии, крестьян, ремесленников». Возникают ереси (которые удастся удушить мечом и огнем).

«Рыцарство, утверждая и освящая в индивидууме обладание моральными добродетелями, поддерживает любовь к человеческой культуре и насаждает известную утонченность нравов». Но в каком смысле рыцарство можно связать с Возрождением после X века? Росси не различает противоречивых движений, потому что не учитывает различные формы феодализма и местной автономии в общих рамках феодализма. Впрочем, нельзя не говорить о рыцарстве как об элементе подлинного Возрождения в XVI веке, хотя «Неистовый Роланд» [Лодовико Ариосто] является уже его оплакиванием, и чувство симпатии переплетается в нем с иронией и карикатурными зарисовками, а «Придворный» [Бальдассаре де Кастильоне] отражает его уже достаточно развившуюся филистерскую схоластическую и педантическую форму.

* Говоря о культурных тенденциях после X века, не следует забывать о том, что было привнесено арабами через посредство Испании (см. статьи Эцио Леви в «Марцокко» и в «Леонардо»), а вместе с арабами и испанскими евреями.

Крестовые походы, войны христианских королей против мавров в Испании, Капетингов — против Англии, итальянских коммун — против швабских императоров, во время которых якобы вызревает и обостряется чувство национального единства, — это преувеличение. И странно, что у такого эрудита, как Росси, встречается такое утверждение: «В условиях, благодаря которым эти люди возрождаются сами и создают условия новой жизни, они ощущают клочкотание глубоких ферментов своей истории, и в древнеримском мире, столь богатом свободными и полными проявлениями человеческого духа, они находят конгениальные души».

Мне кажется, что все это — ряд туманных и лишенных смысла утверждений: 1) потому что никогда не прерывалась связь между древнеримским миром и периодом после X века (периодом средневековой латыни); 2) потому что выражение «конгениальные души» есть бессмысленная метафора и, во всяком случае, относится к XV—XVI векам, а не к этому первому периоду; 3) потому что в Возрождении не было ничего древнеримского, кроме литературного налета, так как отсутствовало именно то, что является специфической чертой древнеримской цивилизации — государственное и, следовательно, территориальное единство.

Латинская культура, расцветающая в школах Франции в XII веке, отмеченная пышным развитием риторических и грамматических сочинений, поэтических произведений и торжественной, размеренной прозы, чему в Италии соответствуют более поздние и скромные произведения писателей и венецианских поэтов и эрудитов, — эта культура относится к фазе средневековой латыни и является чисто феодальным продуктом в том примитивном духе, который предшествовал XI веку. Так говорится о юридических изысканиях, вновь вызванных к жизни необходимостью придать законный вид новым сложным политическим и социальным отношениям, — изысканиях, которые действительно обращались к римскому праву, но быстро выродились в самую мелочную казуистику именно потому, что «чистое» римское право не могло упорядочить новые сложные отношения; в действительности с помощью казуистики глоссаторов и постглоссаторов складываются местные юридические нормы, которые делают правым сильнейшего (либо дворянина, либо буржуа) и кото-

рые представляют собой существующее «единое право»: принципы римского права забывались или откладывались для глоссаторского толкования, которое в свою очередь подвергалось истолкованию, так что в конечном счете от римского права не оставалось ничего, кроме ясного и простого принципа собственности.

Схоластика, «которая вновь осмысливается и систематизируется в формах античной философии» (возвратившейся, заметьте себе, в мир европейской цивилизации не в силу «брожения» глубинных ферментов истории, а благодаря арабам и евреям, которые внесли ее туда); истины, угаданные христианством.

России имеет полное основание утверждать, что все эти явления периода XI—XIV веков являются не плодом искусственного стремления к подражанию, а спонтанным проявлением творческой энергии, которая бьет ключом из глубин и делает этих людей способными почувствовать и возродить античность. Последнее предположение, однако, ошибочно, потому что в действительности эти люди оказываются в состоянии чувствовать и жить напряженной жизнью в настоящем. Между тем последовательно формируется слой интеллигентов, которые чувствуют и возрождают античность и которые все более отдаляются от народной жизни, потому что буржуазия (в Италии) приходит в упадок и деградирует вплоть до XVIII века. Странно также, что Россия не замечает противоречия, в которое он впадает, утверждая: «Тем не менее, если через Возрождение, взятое само по себе, возможно понять (а в этом я не сомневаюсь) все многообразие проявлений человеческой деятельности в XI—XIV веках, то в качестве отличительного признака Возрождения следует рассматривать не расцвет литературной латыни, а возникновение литературы на народном языке, в чем находит свое выражение одно из самых значительных проявлений этой энергии — раскол средневекового единства на дифференцированные национальные группы».

Концепция Возрождения у России отличается реалистичностью и историзмом, но он не может отказаться полностью от старой риторической и литературной традиции — вот причины его противоречий и его пунктуальности; возникновение народного языка означает разрыв с античностью, и надо объяснить, почему это явление со-

проводится возрождением литературной латыни. Росси правильно отмечает, что «предпочтение, которое народ отдает одному языку перед другим из-за его незаинтересованности в интеллектуальных целях, является не прихотью отдельных индивидуумов или коллектива, но самопроизвольным проявлением особой внутренней жизни, которая выливается в единственной присущей ей форме», то есть что всякий язык представляет собой цельное мировоззрение, а не только одеяние, которое равнодушно служит формой любого содержания. Но тогда не означает ли это, что имела место борьба между двумя мировоззрениями — буржуазно-народным, излагавшимся на народном языке, и аристократически-феодальным, излагавшимся на латыни и обращавшимся к римской древности, и что Возрождение характеризуется именно этой борьбой, а не безмятежным созиданием торжествующей культуры? Росси не может понять, что обращение к античности является просто политическим средством и само по себе не может создать культуры и что поэтому Возрождение должно было волей-неволей превратиться в Контрреформацию, то есть стать поражением буржуазии, вызванной к жизни коммунами, и триумфом романизма — но в форме власти папы над сознанием и в виде попытки возвратиться к Священной Римской империи: фарс после трагедии.

Во Франции литература на языке *ос* и на языке *оïл* возникает в конце XI — начале XII века, когда вся страна находится в состоянии брожения, благодаря великим политическим, экономическим, религиозным и культурным событиям, которые отмечены выше. «И если в Италии появление народного языка, содействующего развитию литературы, запаздывает более чем на век, именно это появление является у нас великим движением, которое на развалинах средневекового универсализма утверждает новую национальную цивилизацию, являющуюся благодаря разнообразию многовековой истории наших городов наиболее разнообразной и повсеместно автохтонной и спонтанной и ей не хватает лишь дисциплинирующей силы монархии и сильных синьоров; поэтому более медленно и трудно происходит формирование единства того нового духовного мира, наиболее выдающимся аспектом которого является новая литература на народном языке».

Другая группа противоречий: в действительности обновительное движение после X века было более бурным в Италии, чем во Франции, и класс, поднявший знамя этого движения, в экономическом отношении развился здесь раньше и в большей степени, чем во Франции, причем ему удалось сокрушить господство своих врагов, чего не произошло во Франции. История развивается во Франции по-другому, чем в Италии,— это трюизм России, который не в состоянии определить действительных различий в процессе развития и сводит их к большей или меньшей степени спонтанности и автохтонности, проверка которых очень трудна и даже невозможна. Между тем во Франции движение также не было единым, потому что между Севером и Югом существует заметное различие, которое выражается в литературном отношении в существовании большой эпической литературы на Севере и в отсутствии эпоса на Юге.

Свидетельство о возникновении различия в истории Италии и Франции можно обнаружить в Страсбургской клятве (842 года), то есть в том факте, что народ принимает активное участие в истории (народ-войско), становясь гарантом выполнения договоров наследниками Карла Великого; народ-войско выступает как гарант, «присягая на народном языке», то есть вводит свой язык в национальную историю, принимая на себя первостепенную политическую функцию, выступая как коллективная воля, как элемент национальной демократии. Этот «демагогический» жест Каролингов, апеллирующих к народу в своей внешней политике, очень важен для понимания развития французской истории и той функции, которую выполнила в ней монархия в качестве национального фактора.

В Италии первые документы на народном языке представляют собой либо клятвы частных лиц, свидетельствующие о праве собственности монастырей на определенные земли, либо надписи, носящие антинародный характер («*Traite, traite, fili de pulte*»). Это уже не спонтанность и автохтонность! Под эгидой монархии — действительного продолжения римского государственного единства — французская буржуазия получила возможность большего развития, чем это давала полная экономическая самостоятельность, достигнутая итальянской буржуазией, которая, однако, оказалась не в состоянии

покинуть скудную почву корпораций и создать собственную цельную общегосударственную цивилизацию*.

Росси отмечает, что развитие литературы на народном языке сопровождается развитием *«современных знаменательных форм той же самой внутренней деятельности нашего народа — коммунальных форм так называемого предгуманизма XIII и XIV веков»* и что за литературой на народном языке и за этим предгуманизмом последовал *«филологический гуманизм конца XIV и начала XV веков»*. Из этого он делает вывод: *«Эти три факта при чисто поверхностном (!) рассмотрении их современниками и потомками могли показаться противоречащими один другому, между тем как они знаменуют собой в области культуры этапы развития итальянского духа, этапы прогрессивные и в целом аналогичные тем этапам, которыми в политической области являются коммуна с соответствующей ей литературой на народном языке и определенными формами предгуманизма и синьория, соотносительным явлением которой в литературе является филологический гуманизм»*.

Таким образом, все оказалось на месте под общим блестящим покровом «итальянского духа». Вместе с Бонифацием VIII, последним из великих средневековых пап, и с Генрихом VII закончилась эпическая борьба между двумя самыми высшими властями мира. Упадок политического влияния церкви: «авиньонское пленение» и раскол. Империя как универсальный политический авторитет умирает (бесплодные попытки Людовика Баварского и Карла IV). «Жизнь таилась в молодой и предприимчивой буржуазии коммун, которая развивалась, укрепляя свою власть против внешних врагов и против простонародья (бедняков), и, идя своим путем в истории, намеревалась выработать или уже выработала национальные синьории». Какие «национальные синьории»? Происхождение синьорий в Италии очень отлично от других стран: в Италии они возникают вследствие того, что буржуазия не может сохранить корпоративный строй, то есть не может управлять «тощим народом» только с помощью наси-

* Следует рассмотреть, как итальянские коммуны, отвоёвывавшая феодальные права графа на территорию, прилежащую к городу, и присоединив ее, превращались в феодальный элемент с властью, осуществлявшейся корпоративным комитетом вместо власти графа.

лия. Во Франции, наоборот, абсолютизм был порожден борьбой между буржуазией и феодальными классами, в которой буржуазия объединяется с городской беднотой и с крестьянами (разумеется, до известных пределов). И возможно ли говорить о «национальных синьориях» в Италии? Что означает «нация» в это время?

Росси продолжает: «Перед лицом этих великих событий идея, казавшаяся воплощенной в универсальной вечности Империи, церкви и римского права и еще присущая Данте, идея универсальной непрерывности в жизни средневековья, универсализма древнеримской жизни уступала место *идее, которой была завершена великая революция* в последние столетия и с которой началась новая эра истории. Она порождала сознание пропасти, отныне отделявшей новую цивилизацию от старой; поэтому население Рима не рассматривалось более как сила, внутренне присущая повседневной жизни; но итальянцы начали рассматривать античность как собственное прошлое, восхищающее силой, свежестью, красотой, которые они должны вернуть с помощью мысли — через размышление и исследование — в интересах воспитания человека, стали рассматривать это прошлое, как сыновья, которые после долгой разлуки вернулись к отцам, а не как старики, вспоминающие или оплакивающие молодость». Это также настоящий «исторический роман», ибо где можно найти *идею, которой была завершена великая революция* и т. д.? Росси распространяет на исторический факт анекдоты книжного происхождения, и чувство презрения гуманиста к средневековой латыни, и высокомерное отношение синьора с утонченным вкусом к средневековому «варварству»; прав Антонио Лабриола, утверждая в своей заметке «От одного века к другому», что только с Французской революции начинает ощущаться разрыв с прошлым, со всем прошлым, и что это чувство находит свое крайнее выражение в попытке ввести новое летосчисление в форме республиканского календаря. Если то, что утверждает Росси, действительно имело бы место, не произошел бы так легко переход от Возрождения к Контрреформации. Росси не может отделаться от риторической концепции Возрождения и поэтому не может оценить того факта, что существовало два течения — прогрессивное и регрессивное — и что в конце концов это последнее восторжествовало после того, как явление в целом достигло своего

наибольшего расцвета в XVI веке (не как национальный и политический факт, но как факт культурный по преимуществу, если не исключительно), как движение среди аристократии, оторвавшейся от народа-нации, между тем как в народе зрела реакция на этот блестящий паразитизм в виде протестантской Реформации, в виде движения Савонаролы с его «сожжением суеты» и в виде народного бандитизма, вроде бандитизма короля Марконе в Калабрии, и других подобных движений, которые было бы очень интересно выявить и проанализировать, — по крайней мере как косвенные симптомы; сама политическая мысль Макиавелли является реакцией на Возрождение, провозглашением политической и национальной необходимости нового сближения с народом, что сделали абсолютные монархи во Франции и Испании и симптомом чего является популярность в Романье герцога Валентино, поскольку он подавляет мелких синьоров, кондотьеров и т. д.

Согласно Росси, «сознание идейного размежевания, которое проявляется в столетия, протекающие между античностью и новой эпохой», содержится уже *потенциально* в самом духе творений Данте, но *по-настоящему* проявляется и воплощается в политическом плане в Кола ди Риенцо, который, «наследуя мысль Данте, стремится отстоять в Империи все римское и, следовательно, все итальянское (почему «следовательно»? Кола ди Риенцо думал, собственно, только о римском народе в материальном понимании) и с помощью священных уз римского духа сплотить в единую нацию всех итальянцев; в литературе это сознание воплощается в Петрарке, который приветствует в Кола «нашего Камилла, нашего Брута, нашего Ромула» и путем терпеливого изучения воссоздает античность; между тем как поэт он проникается античностью и оживляет ее». Это — продолжение исторического романа. Каковы были результаты усилий Кола ди Риенцо? Абсолютно никаких; да и как можно делать историю с помощью бесплодных стремлений и благочестивых пожеланий? А Камиллы, Бруты, Ромулы, которых Петрарка свалил в одну кучу, — не есть ли это чистейшая риторика?

Росси не удается выявить разрыв между средневековой латынью и латынью гуманистической, или филологической, как он ее называет; он не может понять, что

в действительности речь идет о двух языках, ибо они выражают два мировоззрения, в определенном смысле противоположные — даже если они распространены только в среде интеллигентов; к тому же он не хочет понять, что предгуманизм (Петрарка) еще отличается от гуманизма, потому что «количество переходит в качество».

Можно сказать, что Петрарка представляет собой типичную фигуру этого перехода: когда он творит на народном языке, он поэт буржуазии, но как писатель, пользующийся латынью, как «оратор», как политический деятель он духовный представитель антибуржуазной реакции (синьорий, папства). Это объясняет также явление «петраркизма» в XVI веке и его неискренность: это явление носит чисто книжный характер, потому что чувства, которые породили поэзию «нового сладостного стиля» и поэзию самого Петрарки, не господствуют больше в общественной жизни, как не господствует больше буржуазия коммун, вновь загнанная в свои лавки и в свои мануфактуры, переживающие упадок. В политическом отношении господствует аристократия — в значительной своей части всякого рода парвеню, — которая группируется при дворах синьоров и находится под охраной отрядов наемников; она создает культуру XVI века и оказывает поддержку партиям, но в политическом отношении она ограничена и в конце концов попадает под иностранное господство.

Росси не может также разглядеть классовых истоков перемещения первоначальной поэзии на народном языке из Сицилии в Болонью и Тоскану. Он ставит «имперский и церковный предгуманизм (в его понимании) Пьеро делла Винья и маэстро Берардо Неаполитанского, которого так яростно ненавидел Петрарка», — предгуманизм, который «по-прежнему коренится в ощущении универсальной непрерывности античной жизни» (то есть все еще представляет собой средневековую латынь, так же как коммунальный «предгуманизм» веронских и падуанских филологов и поэтов и болонских грамматиков и риторов), — рядом с сицилийской поэтической школой и утверждает, что и то и другое явление были бесплодны, так как были связаны «с политическим и духовным миром, который уже клонился к закату». Сицилийская школа не была бесплодной, потому что Болонью и Тоскану

восхищал ее «пустой техницизм нового демократического культурного духа». Но справедливо ли такое сочетание понятий в объяснении?

В Сицилии торговая буржуазия развилась под эгидой монархии и благодаря Фридриху II была вовлечена в проблему «Священной Римской империи германской нации»; Фридрих II был абсолютным монархом в Сицилии и на Юге, но он был также средневековым императором. Сицилийская буржуазия, как и французская, в культурном отношении развилась более быстро, чем тосканская; сам Фридрих II и его сыновья слагали стихи на народном языке, и с этой точки зрения они приняли участие в новом этапе человеческой деятельности, начавшемся с XI века; но и не только с этой точки зрения; в действительности тосканская и болонская буржуазия в идеологическом отношении была более отсталой по сравнению с Фридрихом II, средневековым императором. Таковы парадоксы истории. Но не нужно фальсифицировать историю, как это делает Росси, играя определениями из любви к общим положениям. Фридрих II потерпел неудачу, но дело шло о совсем иной попытке, чем попытка Кола ди Риенцо, и о совсем ином человеке. Болонья и Тоскана восприняли «пустой сицилийский техницизм» с совершенно иным историческим пониманием, чем Росси: они поняли, что речь идет об «их деле», и в то же время не поняли, что и Энцо⁴⁷ был на их стороне, хотя он и поднял знамя универсальной империи, и обрекли его на смерть в тюрьме.

Росси считает, что в отличие от имперского и церковного «предгуманизма» в «шероховатой и порой причудливой латыни предгуманизма, расцветшего под сенью коммунальных синьорий, таились (!), напротив, реакция на средневековый универсализм и смутные стремления к формам национального стиля (что это значит? что народный язык был переряженной формой латыни?); поэтому новые исследователи классического мира должны были увидеть в них предвестников того римского империализма, к которому стремился Кола как к центру национального объединения и который эти исследователи рассматривали и торжественно провозглашали как форму культурного господства Италии над миром. Национализация (!) гуманизма, которую XVI веку предстоит увидеть завершающейся во всех цивилизованных странах

Европы, будет порождена именно всеобщим господством одной культуры — нашей культуры, которая вырастает из исследования античности, но в то же самое время утверждается и распространяется в виде народной и, следовательно, итальянской национальной литературы». Эта концепция Возрождения целиком риторична; утверждение, что гуманисты предсказали культурное господство Италии над миром, представляет собой всего лишь начало «риторики» — риторики как национальной формы. В это утверждение вкладывают истолкование «космополитической функции итальянских интеллигентов», и эта функция является чем угодно, только не «культурным господством» национального характера: напротив, она служит доказательством того, что отсутствует национальный характер культуры.

Слово *гуманист* появляется только во второй половине XV века, а в итальянском языке только в третьем десятилетии XVI века; слово *гуманизм* — еще позднее. В конце XIV века первые гуманисты называли свои исследования *studia humanitatis*, то есть «исследования, имеющие своей целью общее усовершенствование человеческого духа и, следовательно, являющиеся единственными действительно достойными человека. Для них культура — это не только знание, но также и жизнь... и доктрина, и нравственность, и красота, отраженные в единстве живой литературной деятельности». Росси, запутавшись в противоречиях, вызванных тем, что его концепция истории Возрождения носит механически-унитарный характер, прибегает к помощи фантазии, чтобы объяснить, почему гуманистическая латынь увядала, в то время как народный язык праздновал свои победы во всех областях литературы, «а итальянский гуманизм получил наконец язык, который стал его единственным языком, между тем как латынь сошла в свою гробницу». Однако сошла отнюдь не окончательно, потому что в церковных делах и в науке она господствовала вплоть до XVIII века, показывая тем самым, каково было то социальное течение, которое всегда сохраняло постоянство в отношении латыни; латынь была изгнана из светской области только современной буржуазией, предоставившей различным консерваторам оплакивать ее.

«Гуманизм не есть латинизм: это — утверждение подлинной человечности, а человечность итальянских гума-

нистов была по своему историческому характеру итальянской. Таким образом, гуманизм мог быть выражен только на народном языке, на котором гуманисты говорили также и в повседневной жизни и который, даже когда речь шла о классической тематике, смело ломал препоны их латыни. Они могли, абстрагируясь от жизни, погружаться в мечту и, будучи твердо убеждены, что литература, достойная своего названия, может существовать только на латинском языке, отвергать новый язык. Но историческая действительность была иной, а они сами и их мечтательность были детьми этой исторической действительности, в которой протекала их жизнь,— жизнь людей, рожденных почти через полторы тысячи лет после великого римского оратора». Что означает все это? Откуда это различие между латынью-мечтой и народным языком — исторической действительностью? И почему латынь не была исторической действительностью? Россия не может дать объяснения этому двуязычию интеллигенции, то есть не хочет допустить, что для гуманистов народный язык служил диалектом, то есть не имел национального характера, и что поэтому гуманисты являлись продолжателями средневекового универсализма — разумеется, в других формах,— а не национальным элементом; они представляли собой «космополитическую касту», для которой Италия являлась, вероятно, тем, чем является область в рамках современной нации,— и ничем большим и лучшим: они были аполитичны и анациональны.

«Классицизм гуманистов преследовал уже не религиозно-моралистические цели, а цели всестороннего воспитания человеческого духа; в нем заключалась прежде всего реабилитация человеческого духа как творца жизни и истории» и т. д. и т. д. Абсолютно справедливо: это самый интересный аспект гуманизма. Но противоречит ли это тому, что я раньше высказал о национальном и, следовательно, регрессивном духе — в отношении Италии — самого гуманизма? Мне кажется, что нет. Действительно, в Италии не получила развития эта наиболее оригинальная и имеющая большое будущее черта гуманизма. Гуманизм имел характер реставрации, но, как всякая реставрация, он усвоил и развил — лучше, чем революционный класс, который он задушил в политическом отношении — идеологические принципы побежденного класса, не сумевшего выйти за корпоративные гра-

ницы и создать все надстройки цельного общества. Только эта разработка «повисла в воздухе», осталась достоянием касты интеллигентов, не имевшей контакта с народом-нацией. И когда в Италии реакционное движение, необходимой предпосылкой которого был гуманизм, развилось в Контрреформацию, оно задушило и новую идеологию, и гуманисты (за немногим исключением) клятвенно отреклись от нее перед кострами*.

Идеологическое содержание Возрождения получило развитие за пределами Италии — в Германии и во Франции, в политических и философских формах, но новое государство и новая философия были привнесены в Италию, потому что наша интеллигенция не имела национального характера и была космополитической — как во время средневековья — в других формах, но в тех же самых основных отношениях.

Статья Росси содержит и некоторые другие интересные положения, но они носят частный характер**.

ИСТОКИ НАРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ПОЭЗИИ

Следует рассмотреть очерки Эцио Леви «Угуччоне да Лоди и возникновение поэзии» и другие более поздние его работы, посвященные старым ломбардским поэтам (издано в 1921 году), вместе с изданием стихов этих поэтов, снабженных комментариями и краткими биографиями. Леви утверждает, что речь идет о «литературном явлении», «сопровождавшемся движением общественной мысли» и знаменующем собой «начавшееся утверждение нового итальянского сознания в противоположность сонному и застойному средневековью»***.

* См. опубликованную в «Нуова Италия» главу об «Эразме» из книги Де Руджиеро «Возрождение, Реформация и Контрреформация» [De Ruggiero, Rinascimento, riforma e controriforma, Bari, 1930, 2 voll.].

** Надо изучить книгу Росси «XV век» (серия Валларди), книгу Тоффанина «Что представлял собой гуманизм?», книгу Де Руджиеро, здесь цитировавшуюся, помню классических работ о Возрождении, принадлежащих иностранным авторам (Бурхгардт, Фойгт, Симондс и т. д.).

*** См. С. Батталья, Очерки нашей литературы XIII века [S. Battaglia, Gli studi sul nostro Duecento letterario, «Leonardo», del febbraio 1927].

Положение Леви интересно, и его следует углубить, но, конечно, как положение, относящееся к истории культуры, а не к истории искусства.

Батталья пишет, что «Леви ошибочно принимает скромную рифмованную продукцию, сохраняющую черты и мотивы своего народного характера, за литературное явление». Возможно, что Леви, как часто бывает в подобных случаях, действительно преувеличивает художественное значение этих писателей. Но о чем это говорит? И что означает противопоставление «народного» характера «литературному»?

Разве не естественно, чтобы нарождающаяся новая культура принимала примитивные «народные» формы и чтобы носителями ее были «скромные люди»? И разве это не было особенно естественно для той эпохи, когда культура и литература были монополией замкнутых каст? И, кроме того, разве существовали великие художники и писатели даже среди образованных людей во времена Угуччоне да Лоди и др.?

Проблема, поставленная Леви, интересна, его изыскания ведут к утверждению, что первые элементы Возрождения имели не придворное и не схоластическое, а народное происхождение; они были выражением всеобщего культурного и религиозного движения протеста (патария) против средневековых устоев — церкви и империи. Пусть уровень поэтического мастерства и не был очень высок у ломбардских поэтов, но от этого не уменьшается их значение в истории культуры.

Другое предубеждение Леви, согласно Баттальяе, состоит в том, что истоки «новой итальянской цивилизации» нужно искать и находить в XIII веке.

Такого рода изыскание является чисто риторическим и преследует современные практические интересы. Новая цивилизация является не «национальной», а классовой, и она примет не унитарную, а «коммунальную» и локальную форму как в политическом, так и в «культурном» отношении. Поэтому она рождается как «диалектальная» и должна ожидать высшего расцвета тосканского XIV века, чтобы прийти, в известной степени, к языковому единству. Культурное единство не было заранее данным фактором. Совсем наоборот! Существовала «европейская культурно-католическая общность», и новая цивилизация противодействует этому универсализму,

базой которого являлась Италия, развитием местных диалектов и выдвиганием на первый план практических интересов муниципальных групп буржуазии.

Следовательно, мы имеем дело с периодом разрушения и распада существующего культурного мира, поскольку новые силы не только не стараются включиться в этот мир, но выступают, хотя и бессознательно, против него. Эти силы представляют собой зачатки новой культуры*.

Смешивают два момента истории: 1) разрыв со средневековой цивилизацией, важнейшим проявлением которого было появление народных языков, и 2) разработку «*volgate illustre*» [единый итальянский литературный язык] — факт, который вызвал известную централизацию различных групп интеллигенции, вернее, профессиональных литераторов. Эти два момента действительно связаны друг с другом, но они не сливаются полностью.

Вначале народными языками пользуются с перерывами, от случая к случаю, под влиянием религиозных причин (военные присяги, судебные показания при установлении права собственности, которые давали крестьяне, не знавшие латыни). То, что на родном языке создаются литературные произведения, каково бы ни было их достоинство, является уже новым фактом, фактом действительно важным. То, что среди местных диалектов один, а именно тосканский, становится главенствующим, является еще одним важным фактом, значение которого нужно, однако, ограничить: это событие не сопровождалось установлением социально-политической гегемонии Флоренции и поэтому осталось в границах чисто литературного факта. То, что письменный народный язык появляется в Ломбардии как явление, впервые приобретающее известное значение, является фактом, заслуживающим огромного внимания; то, что язык связан с патаринизмом, также является очень важным фактом.

Нарождающаяся буржуазия действительно вводит собственные диалекты, но ей не удается создать общенациональный язык. Если такой язык и возникает, то толь-

* Изучение средневековых ересей становится необходимым (работы Токко, Вольпе и т. д.). «Очерки нашей литературы XIII века» Батталья («Леонардо» за январь — февраль — март 1927 года) полезны для библиографических справок и т. п.

ко в кругу литераторов, которые поглощаются реакционными классами и дворами государей; таким образом, они являются уже не «буржуазными», а придворными литераторами. И это поглощение происходит не без сопротивления. Гуманизм показывает, что «латынь» еще очень сильна. Однако это культурный компромисс, а не революция.

Народное течение в Возрождении*

Метод Джулио Аугусто Леви — это метод постановки надуманных проблем: в своей рецензии на книгу Луиджи Тоннелле и Луиджи Борде «Св. Филиппо Нери и общество его времени (1515—1595)»**, опубликованной в «Нуова Италия» за январь 1932 года, он пишет: «Распространено вульгарное мнение, будто гуманизм родился и вырос только в кабинетах ученых. Однако Гуэрри напомнил о том живейшем участии, которое приняла в этом улица. Я со своей стороны также подчеркивал народный характер этого движения в «Краткой истории эстетики и вкуса» [G. A. L e v i, *Breve storia dell'estetica e del gusto*] (2-е изд. 1925 г., стр. 17—18). Еще в большей степени распространено мнение, что католическая Контрреформация была делом прелатов и князей, будучи навязана строгостью законов и трибуналами. Это великое, но мрачное (каким оно кажется большинству) движение уважают, но не любят. Но если это религиозное обновление было осуществлено только путем принуждения, то как могла родиться именно в то время, на католической почве, более того — в Италии, великая религиозная музыка? Под угрозой наказания можно подавить волю, но нельзя заставить создать произведения искусства. Тот, кто хочет увидеть, сколько свежести, живости, чистоты, величавого вдохновения, сколько народной любви было в этом движении, пусть прочтет историю этого святого и т. д.»

Автор хорошо делает, сравнивая следующим образом

* Надо будет посмотреть книгу Доменико Гуэрри «Народное течение в Рисорджименто», которую очень хвалят и высоко оценивают.

** [Luigi Tonnelle e Luigi Bordet, *San Filippo Neri e la società del suo tempo (1515—1595)*]. Перевод Тито Казини, предисловие Джованни Папини, издательство кардинала Феррари.

св. Игнатия и св. Филиппа: «Один думал о завоевании христианами всего мира, мечты другого не шли *далее кружка, в котором могла развернуться его личная деятельность, и он неохотно дал согласие на создание филиала своего кружка в Неаполе*». И еще: «Деятельность иезуитов имела результаты более обширные и более долговечные: деятельность Филиппа, *порожденная сердечным вдохновением, слишком зависела от его личности: то, что делается по вдохновению, не может быть ни продолжено, ни повторено другими*; не может быть, если не приняться за него с новым вдохновением, а оно всегда бывает уже иное». Поэтому оказывается, что Филипп не участвует в Контрреформации, но добивается большого успеха вопреки ей, даже если ему не приходится выступать против нее.

Шестнадцатый век

Надо будет прочесть книгу Фортунато Рицци «Дух XVI века и народная лирика» [Fortunato Rizzi, *L'anima del Cinquecento e la lirica volgare*], которая, судя по прочитанным рецензиям, более важна, по-моему, как документ культуры своего времени, чем с точки зрения самого ее содержания*.

Нужно перечитать статью Альфредо Галлетти «Народная лирика XVI века и дух Возрождения» [Alfredo Galletti, *La lirica volgare del Cinquecento e l'anima del Rinascimento*] в «Нуова антолоджиа» от 1 августа 1929 года, посвященную книге Рицци**.

* О Рицци я написал заметку в другой тетради, рассматривая его как «несчастливого итальянца» в связи с его рецензией на книгу одного французского националиста о романтизме, — рецензией, которая показала его полную неспособность ориентироваться в общих идеях и вопросах культуры [см. A. Gramsci, *Gli intellettuali e l'organizzazione della cultura*, pp. 53—54. — *Прим. ит. ред.*].

** Нужно будет также расширить мои собственные сведения о Галлетти. После войны, за которую он ревностно боролся с Сальвемини и Биссолати (ввиду их реформистской природы), дойдя до особой антигерманской направленности, Галлетти уже в первый, но особенно во второй послевоенный период впал в состояние озлобленности против культуры, интеллигентской плаксивости, свойственной тому, кто имел «разбитые идеалы»; его писания полны обвинений, скрытого зубоскальства, критических намеков, бесплодных в их комическом **отчаянии**.

В критике итальянской поэзии XVI века господствует мнение, что эта поэзия на четыре пятых является искусственной, условной, лишенной глубокой искренности. «Теперь,— замечает Риччи с глубоким здравым смыслом,— общее мнение сводится к тому, что в лирической поэзии с особой искренностью и живостью выражается чувство человека, народа, исторической эпохи. Возможно ли, чтобы именно XVI век был тем веком, «который имел несчастье родиться без собственной духовной физиономии», или чтобы (при своей духовной физиономии) ему доставляло удовольствие (?) вносить фальшивые образы именно в лирическую поэзию? Неужели самый живой в интеллектуальном отношении, самый бесстрашный в духовном, самый циничный из веков, как говорят о нем его многочисленные противники (!!), мог бы лицемерно скрывать свою истинную душу под заученной гармонией петраркических сонетов и концов? Или разве могло быть для него развлечением мистифицировать потомков, демонстрируя в стихах овеванный грустью платонический идеализм, который потом открыто опровергали новеллы, комедии, сатиры и многие другие литературные памятники той эпохи?» Проблема здесь целиком извращена, и постановка ее полна внутренних конфликтов и противоречий.

В самом деле, почему XVI век не мог быть полным противоречий? Напротив, разве не является он именно тем веком, когда завязался узел наибольших противоречий итальянской жизни, противоречий, неразрешенность которых определила характер всей национальной истории вплоть до конца XVIII века? Разве нет противоречия между человеком Альберти и человеком Бальдассаре Кастильоне, между добропорядочным человеком и «придворным»? Между цинизмом и язычеством выдающихся интеллигентов и их ревностной борьбой против Реформации в защиту католицизма? Между восприятием женщины вообще (какой была дама у Кастильоне) и обращением с каждой отдельной женщиной, то есть женщиной из народа? Разве правила рыцарской вежливости были применены к женщинам из народа? Женщина вообще стала теперь фетишем, ее образ — надуманным, и столь же надуманной стала почти вся лирическая любовная поэзия, по крайней мере на четыре пятых подражающая Петрарке. Это не означает, что XVI век не по-

лучил своего лирического, художественного выражения: оно существовало, но не в лирической поэзии в собственном смысле слова.

Во второй части своей книги Рицци ставит вопрос о противоречиях XVI века, но он не понимает, что из столкновения этих противоречий могла родиться истинная лирическая поэзия. Однако она не родилась, и он лишь констатирует этот исторический факт. Контрреформация не могла быть и не была преодолением этого кризиса; она лишь авторитарно и механически заглушила его. Отныне не было больше христиан, но не хватало духу быть и нехристианами: трепетали перед смертью, боялись и старости. Поставили проблемы, которых не в состоянии были разрешить, и приходили в уныние; с другой стороны, существовала оторванность от народа.

Человек в XV и XVI веках

Леон Баттиста Альберти, Бальдассаре де Кастильоне и Макиавелли являются, по-моему, тремя писателями, имеющими наибольшее значение для изучения жизни эпохи Возрождения в ее «человеческом» аспекте, а также в ее нравственных и гражданских противоречиях.

Альберти представляет буржуа (см. также Пандольфини), Кастильоне — придворного дворянина (см. также Делла Каза), Макиавелли представляет и пытается органически увязать политические тенденции буржуазии (республики) и государей, поскольку и те и другие стремятся к основанию государств или к расширению их территории и к усилению их военной мощи.

Согласно Витторио Чиану*, Франческо Сансовино, современник, сообщая о том, что Карл V очень мало читал, добавляет следующее: «Ему нравилось читать только три книги, которые он приказал перевести на его родной язык: первая из них — книга об устройстве гражданской жизни — «Придворный» графа Бальдассаре де Кастильоне, другая — о государственных делах — «Государь» и «Рассуждения» Макиавелли и третья — о военном устройстве — «История» Полибия и другие его произведения. Чиан пишет: «Слишком мало обращалось

* См. статью «Граф Бальдассаре де Кастильоне» (1478—1529) в «Нуова антологиа», 16 августа и 1 сентября 1929 года.

внимания на то, что «Придворный», как важнейший исторический документ, подтверждает и ярко иллюстрирует эволюцию средневекового рыцарства, которое, как говорят, недостаточно укоренилось в Италии. В действительности же итальянское рыцарство, отличавшееся по своему происхождению от рыцарства по ту сторону Альп, в условиях итальянского Возрождения становится новым рыцарством, принимает характер гражданского ополчения, сражающегося под знаменем Марса, а также Аполлона, Венеры и всех муз. Но ведь это эволюция, говорю я, а вовсе не вырождение или упадок, как кажется Де Санктису».

Но Чиан основывается только на «Придворном», который был попыткой сплотить аристократию вокруг «государя» и подчеркнуть ее отличие от торжествующей буржуазной морали. Это — рыцарство лишь по внешности, что видно из «Неистового Роланда», который предшествовал «Дон-Кихоту» и подготовил его *.

Реформация в Италии

В книге «Политическая борьба в Италии» [A. Oriani, *La lotta politica in Italia*] (стр. 128 миланского издания) А. Ориани пишет: «Разнообразие итальянских талантов, простирающееся в области науки от великолепно здорового смысла Галилея до ослепительных и причудливых догадок Кардано, приобретает новые краски, несмотря на Реформацию, и сразу бросается в глаза латинский поэт Марко Антонио Фламинио, историк Якопо Нарди, Рената д'Эсте, жена герцога Эрколе II; Лелио Сочини, великий талант, превзошедший Лютера и Кальвина, возносит итальянский гений еще выше, основывая секту унитаристов; живут Бернардо Окино и теолог Пьетро Мартире Вермилли, один из которых перейдет в Оксфордский университет, другой — в Кентерберийский капитул. Франческо Бурламакки сделает попытку повторить невероятное предприятие Стефано Поркари и погибнет как герой-мученик; доблестно погибнут Пьетро

* Во всяком случае, статью Чиана надо просмотреть еще раз: он превосходный знаток «Придворного» в филологическом отношении, и нужно будет достать его издание этой книги (3-е изд., издатель — Сансони).

Карнесекки и Антонио Палеарио. Однако это движение, не распространяющееся на народ, является скорее кризисом философской и научной мысли (связанным, конечно, с великой германской революцией), чем процессом религиозного очищения и возвышения. Действительно, Джордано Бруно и Томмазо Кампанелла, формулирующие суть этого движения, хотя они жили и умерли в сфере монастырских порядков, являются философами, вышедшими в своих умозаклчениях далеко за рамки не только Реформации, но и самого христианства. Поэтому народ остается настолько бесчувственным к их трагедии, что, кажется, почти не обращает на нее внимания».

Что же все это означает? Быть может, Реформация не является все-таки кризисом философской и научной мысли, кризисом мироощущения и миропонимания?

Надо сказать, следовательно, что в отличие от других стран в Италии даже религия не была связующим звеном между народом и интеллигенцией, и именно поэтому кризис философской мысли среди интеллигенции не распространился на народ, так как истоки этого кризиса не были связаны с народом и не существовало «национально-народного блока» в религиозном лагере. В Италии не было «национальной церкви», а существовал религиозный космополитизм, ибо итальянские интеллигенты были связаны непосредственно со всем христианским миром в качестве анациональных руководителей. Отсюда разрыв между наукой и жизнью, между религией и жизнью народа, между философией и религией; драмы Дж. Бруно и других являются драмами европейской, а не итальянской мысли.

Николай Кузанский

В «Нуова антолоджиа» от 16 июня 1929 года опубликована статья Л. Фон Берталанффи «Германский кардинал (Николаус Кузанус)» — любопытная как сама по себе, так и благодаря той замечке, которой редакция «Нуова антолоджиа» сопровождала эту статью. Берталанффи излагает немецко-протестантское мнение о Николае Кузанском в сжатом виде, без критико-библиографического аппарата. «Нуова антолоджиа» обиженно замечает, что Берталанффи не сказал о «многочисленных и важных работах, которые и в Италии были посвящены

Николаю Кузанскому в последние десятилетия» и перечисляет их все, вплоть до работы Ротта.

Единственное упоминание о достоинствах статьи содержится в последних строках: «Бергаланффи видит в Николае Кузанском предшественника современной либеральной научной мысли; Ротта же, напротив, полагает, что епископ Брессанонский по духу, если не по форме своего мирозерцания, целиком остается в орбите средневековой мысли. Правда никогда не бывает целиком на одной стороне». Что это означает?

Несомненно, Николай Кузанский явился реформатором средневековой мысли и одним из первых представителей современной мысли; это доказывается уже тем фактом, что церковь забыла его, а его учение было воспринято светскими философами, признавшими Николая Кузанского одним из предшественников современной классической философии.

Практическая деятельность Николая Кузанского важна для понимания истории протестантской Реформации. На соборе (Констанцском?) он выступал против папы за права собора. Примирился с папой. На Базельском соборе был сторонником реформации церкви. Пытался примирить Рим с гуситами, воссоединить Восток с Западом и, открыв общую основу в Коране и Евангелии, думал даже о том, чтобы подготовить обращение турок в христианство. В «*Docta Ignorantia e coincidentia oppositorum*» Николай Кузанский первым выдвинул мысль о бесконечности вселенной, опередив Джордано Бруно и современных астрономов.

Можно сказать, что лютеранская реформа провалилась потому, что не удалась реформистская деятельность Николая Кузанского, иначе говоря, из-за того, что церковь не смогла реформироваться изнутри*.

Лоренцо Великолепный

Заслуживают внимания работы Эдмондо Ро, посвященные облику и значению Лоренцо Великолепного. Говорят также об очерках Р. Пальмарокки, который, по-

* См. памятную записку Микеле Лозакко «Диалектика Николая Кузанского» (38 стр.), представленную членом общества Лунджи Кредаро на заседании 17 июля в одном институте, который «Нуова антологиа» забыла назвать (быть может, академия Линчеи?).

моему, едва ли способен раскрыть значение Лоренцо *.

С историко-политической точки зрения, утверждает Ро, Лоренцо Великолепный был посредственностью, человеком, лишенным творческих способностей. Будучи дипломатом, а не политиком, он просто продолжал программу Козимо Медичи. В области внешней политики (итальянской, затрагивавшей весь полуостров) у Лоренцо была гениальная идея создать италийскую лигу, которая, однако, не была осуществлена...

Деятельность Лоренцо важна для воссоздания того узлового этапа итальянской истории, который представляет собой переход от периода внушительного развития буржуазных сил к их быстрому упадку.

Самого Лоренцо можно рассматривать как «образа» буржуазии той эпохи, — буржуазии, неспособной сплотиться в независимый и самостоятельный класс вследствие того, что она не в состоянии подчинить свои личные, непосредственные интересы более широким целям. В этой связи нужно рассмотреть взаимоотношения с церковью самого Лоренцо и других Медичи, его предшественников и приемников.

Тот, кто утверждает, что Савонарола был «человеком средневековья», не учитывает в достаточной степени его борьбу с церковными властями, борьбу, которая по существу была направлена на то, чтобы сделать Флоренцию независимой от церковной феодальной системы. Говоря о Савонароле, смешивают, как это обычно делается, идеологию, основанную на мифах прошлого, с его реальной деятельностью, которую нужно отделять от этих мифов...

Контрреформация

В «Нуова антологиа», в номере от 16 апреля 1928 года, Гвидо Кьяльво публикует «Наставление» Эмануэле Филиберто своему канцлеру и военному аудитору Пьерино Белли по поводу «Государственного совета», датированное 1 декабря 1559 года. Вот начало этого «Наставления»: «Так как страх перед богом является

* Пальмарокки опубликовал сборник «Прекраснейшие страницы» Лоренцо в издательстве Ойетти. Во введении он попытался воссоздать образ Лоренцо.

первоисточником знания, то нет большего несчастья и более тяжкого бедствия для управления государствами, чем то, когда люди, участвующие в управлении, не боятся бога и приписывают своему благоразумию то, что должно признаваться только божественным Провидением и Вдохновением. И из этой нечестивой ереси, являющейся источником всяких пороков, проистекают все злодеяния и преступления в мире, и люди дерзают преступать божественные и человеческие законы».

Церковная реакция

В последний раз произведения Макиавелли были полностью напечатаны в Италии в 1554 году, полный «Декамерон» — в 1557 году. После 1560 года издатель Джолито перестал публиковать даже Петрарку.

С этого времени появляются искаженные издания поэтов, новеллистов, романистов: церковная цензура тяготеет и над художниками.

Пастор в «Истории пап» [Pastor, Storia dei Papi] пишет: «Быть может, в других католических странах полное запрещение сочинений в защиту новой солнечной системы Коперника уничтожило бы интерес к астрономии; но галликаны, ссылаясь на свободу французской церкви, не считают для себя обязательными предписания Индекса и Инквизиции. И едва ли можно считать декрет против Коперника причиной того, что в Италии не появился новый Галилей, или Ньютон, или Брэдли». Однако угроза Индекса, как отмечает Бруэрс, вызвала среди ученых панический страх, и сам Галилей за двадцать шесть лет, прошедших после первого процесса, на котором ему был вынесен смертный приговор, не имел возможности свободно работать над углублением учения Коперника и передать его своим последователям. Из книги самого Пастора очевидно, что в Италии реакция в области культуры свирепствовала с особой силой.

Крупные итальянские издательства пришли в упадок; в Венеции они сопротивлялись дольше всех. Но в конце концов сочинения итальянских авторов и произведения Бруно, Кампанеллы, Ванини, Галилея, написанные по-итальянски, стали печататься целиком только в Германии, Франции и Голландии.

С наступлением церковной реакции, достигшей своего апогея в приговоре Галилею, в Италии завершается эпоха Возрождения даже для интеллигенции.

Rinascimento, Risorgimento, Riscossa и т. д.

В историко-политическом итальянском лексиконе следует обратить внимание на целый ряд понятий, тесно связанных с традиционным методом трактовки истории нации и итальянской культуры. Эти понятия трудно, а подчас даже невозможно перевести на иностранные языки. Существует, например, группа терминов «Rinascimento», «Rinascita» (офранцузженное «Rinascenza»), которые вошли теперь в обиход европейской и мировой культуры вследствие того, что, хотя обозначаемое ими явление и достигло наибольшего блеска в Италии, оно, однако, не ограничилось этой страной.

В XIX веке родился термин «risorgimento» в более узком национальном и политическом смысле, а вместе с ним и другие выражения: «riscossa nazionale» («национальное восстание») и «riscatto nazionale» («национальное избавление»). Все эти понятия выражают мысль о возвращении к положению вещей, которое уже существовало в прошлом, либо о «возрождении» наступательных действий («riscossa») распыленных национальных сил вокруг активно борющегося концентрированного ядра, либо об освобождении от рабства, с тем чтобы вернуться к прежней независимости — «избавление» («riscatto»).

Эти понятия трудно перевести точно, так как они неразрывно связаны с национально-литературной традицией, утверждающей внутреннюю непрерывность исторического процесса, развертывающегося на итальянском полуострове, начиная от Древнего Рима и кончая созданием единого современного государства. Согласно этой традиции, итальянскую нацию рассматривают как «родившуюся» («nata») или «возникшую» («sorta») в эпоху Древнего Рима и считают, что греко-римская культура была «возрождена» («rinata»), нация воссоздана («risorta») и т. д. Слово «riscossa» принадлежит по происхождению к военному французскому лексикону, но впоследствии его стали связывать с понятием о живом организме, который впал в летаргию и затем пробудился;

вместе с тем нельзя отрицать, что в этом слове осталось кое-что от первоначального военного значения.

С этой чисто итальянской группой слов можно связать другие понятия того же рода, например термин французского происхождения и определяющий преимущественно французское явление — «Реставрация» («*Restaurazione*»).

Существует пара слов — «*formare*» и «*riformare*» (создавать и реформировать), так как по исторически установившемуся значению слова вещь «созданную» («*formatata*») можно непрерывно «реформировать» («*riformare*»), без чего в соотношении «создания» — «реформирования» подразумевалась бы мысль о катастрофическом или летаргическом состоянии, мысль, которая содержится, напротив, в понятиях «возрождение» («*rinascimento*») и «реставрация» («*restaurazione*»). Отсюда понятно, почему католики утверждают, что римская церковь несколько раз реформировалась изнутри, в то время как в протестантском значении слова «Реформация» («*Riforma*») заключается мысль о возрождении и восстановлении первоначального христианства, задущенного романтизмом. Поэтому на языке светской культуры говорят о Рсформации и Контрреформации, тогда как католики (и особенно иезуиты) не хотят признать, что Тридентский собор был лишь реакцией на лютеранство и на всю совокупность протестантских течений, и утверждают, что там речь шла о самостоятельной позитивной «католической реформации», которая обязательно должна была быть проведена в жизнь. Исследование истории всех этих терминов имеет немалое культурное значение.

2. ЭПОХА РИСОРДЖИМЕНТО

Книга Адольфо Омодео «Эпоха Рисорджименто»^{*} представляется мне в целом неудачной. Это переработка школьного учебника, сохраняющая многие его черты. В ней дано простое описание фактов (событий), лишенное необходимой исторической связности — как это делается в пояснении каталога. Стилль книги небрежный

^{*} Adolfo Omodeo, *L'età del Risorgimento* (ed. Principato, Messina).

и часто вызывает раздражение; суждения тенденциозны, так что иной раз кажется, будто у Омодео личные сче-ты с некоторыми ведущими историческими деятелями (например, с французскими якобинцами). Что касается итальянского полуострова, то намерение Омодео, вероятно, состояло в том, чтобы показать Рисорджименто как явление в основе своей итальянское, истоки которого нужно искать в Италии, а не исключительно или по преимуществу в тех сдвигах в Европе, которые были вызваны Французской революцией и наполеоновским вторжением. Но это намерение автора проявилось только в том, что он начинает изложение с 1740 года, а не с 1789, или 1796, или с 1815 годов.

Наличие в Италии в определенный период просвещенных монархий не представляло собой автохтонного явления, так же как не было «оригинально» итальянским связанное с ним движение общественной мысли (Джанноне и регалисты⁴⁸). Мне кажется, что просвещенная монархия может считаться важнейшим политическим явлением, идущим от эпохи меркантилизма, которая знаменует собой наступление новых времен, появление современной национальной цивилизации. Но разве в Италии эпоха меркантилизма была национальным явлением? Если бы меркантилизм получил здесь органическое развитие, он привел бы к еще более глубокому и, может быть, окончательному разделению региональных государств.

Дезорганизованность и неоформленность различных частей Италии с экономической точки зрения и отсутствие серьезной заинтересованности в установлении сильной государственной меркантильной системы в каждой из них сделали возможным или, во всяком случае, облегчили объединение страны в эпоху Рисорджименто.

Кроме того, казалось бы, что Омодео, превращая свою работу из школьного учебника в книгу общеобразовательного характера под названием «Эпоха Рисорджименто», должен был целиком изменить ее структуру, сократив общеевропейскую часть и расширив итальянскую. С общеевропейской точки зрения следует говорить об эпохе Французской революции, а не об эпохе итальянского Рисорджименто, об эпохе либерализма, понимаемого как общее мировоззрение и как новая форма государственной цивилизации и культуры, а не только о

«национальном» аспекте либерализма. Конечно, можно говорить об эпохе Рисорджименто, но тогда надо ограничить перспективу и поставить в центре внимания Италию, а не Европу в целом, освещая из европейской и мировой истории только узловые моменты, влияющие на изменение общей структуры взаимоотношений сил, действующих на международной арене, которые препятствовали созданию на полуострове единого мощного общетальянского государства, подавляли всякую инициативу в этом направлении, стараясь задушить ее при самом возникновении; надо также охарактеризовать те течения, которые, проникая в Италию из внешнего мира, оказывали влияние на местные автономные силы того же происхождения, воодушевляя их и делая более устойчивыми.

Из этого следует, что эпоха Рисорджименто существовала только в истории Итальянского полуострова, но как таковая отсутствовала в истории Европы. В Европе эпохе Рисорджименто соответствует эпоха Французской революции и либерализма (трактовка, данная ей Кроче, является неполной, так как в нарисованной им картине недостает предпосылки — революции во Франции и последующих войн; производные исторические события он рассматривает не как составные части единого исторического процесса, важнейшими и необходимыми элементами которого должны быть Французская революция и связанные с ней войны, а как самостоятельные, независимые явления, причины существования которых заключены в них самих).

Что означает или что может означать тот факт, что Омодео начинает изложение с Аахенского мира, который кладет конец войне за испанское наследство? Омодео не «обосновывает», не «оправдывает» свой методический критерий, не показывает, что этот критерий выражает тот факт, что определенный европейский исторический процесс есть в то же время и итальянский исторический процесс, который должен быть обязательно включен в развитие итальянской национальной жизни. Однако этот момент можно и нужно «провозгласить». Национальный тип, если его рассматривать вне международных (или социальных) связей, является такой же голой абстракцией, как индивидуум вообще. Национальный тип является выражением «различия» в междуна-

родном комплексе, но вместе с тем он связан с международными отношениями.

Итак, мы имеем период, когда в Италии господствовали иностранцы; некоторое время сохранялось прямое иностранное господство, а затем оно приобрело характер гегемонии (вернее, было смешение прямого подчинения и гегемонии).

Установление иностранного господства на полуострове в XVI веке сразу же вызвало ответную реакцию: возникло национально-демократическое направление Макиавелли, выражавшее одновременно скорбь по поводу потерянной независимости, которая существовала ранее в определенной форме (в форме внутреннего равновесия между итальянскими государствами при руководящей роли Флоренции во время Лоренцо Великолепного), и вместе с тем — зародившееся стремление к борьбе за восстановление независимости в исторически более высокой форме — в форме абсолютной монархии по типу Испании и Франции.

В XVIII веке европейское равновесие «Австрия — Франция» вступает в новую фазу по отношению к Италии: происходит взаимное ослабление двух великих держав и поднимается третья великая держава — Пруссия. Однако истоки движения эпохи Рисорджименто, то есть процесса образования внутренних и внешних условий, которые создадут для Италии возможность стать единой нацией и будут способствовать развитию и росту внутренних национальных сил, — эти истоки надо искать не в том или ином конкретном событии, отмеченном той или иной датой, а в ходе самого исторического процесса, который приводит к преобразованию европейской системы в целом. В то же время этот процесс не происходил изолированно и независимо от внутренних событий, разветвляющихся на полуострове, и от существующих там сил.

Важным, а подчас решающим элементом в европейской системе неизменно являлось папство. В течение XVIII века ослабление позиций папства как европейской силы становится поистине катастрофическим. В результате Контрреформации папство существенно изменило структуру своей власти: оно оттолкнуло от себя народные массы, стало инициатором бесконечных войн, безраздельно слилось с господствующими классами. Таким образом,

оно потеряло способность влиять — как прямо, так и косвенно — на правительства, используя как средство давления на них зараженные фанатизмом народные массы. Достоинно упоминания, что именно в то время, как Беллармино⁴⁹ разрабатывал свою теорию косвенного господства церкви, сама церковь, отрываясь от народных масс, своей конкретной деятельностью разрушала условия существования какой бы то ни было формы своего господства, даже косвенной.

Регалистская политика просвещенных монархий является симптомом этой утраты церковью своего престижа как силы европейского и, следовательно, итальянского значения. Кроме того, эта политика кладет начало Рисорджименто, если только верно (а это действительно так), что Рисорджименто стало возможно только благодаря ослаблению папства как европейской и как итальянской силы, то есть как возможной силы, которая могла бы реорганизовать государства полуострова под своей гегемонией. Но все эти элементы были лишь подготовительными. Историческая действительность не дала еще убедительных свидетельств того, что уже в XVIII веке в Италии сложились силы, действия которых были бы конкретно направлены на создание на полуострове единого и независимого политического организма.

Когда начинается Рисорджименто?

К какому времени следует отнести начало исторического движения, получившего название итальянского Рисорджименто? Ответы на этот вопрос различны и противоречивы, но в основном они делятся на две категории: 1) мнения тех, кто хочет доказать самостоятельное происхождение итальянского национального движения и прямо утверждает, что Французская революция фальсифицировала итальянскую традицию и увела ее с правильного пути; 2) тех, кто утверждает, что национальное итальянское движение находится в тесной зависимости от Французской революции и революционных войн.

Эта историческая проблема замутнена сентиментальными и политическими наслоениями и предвзятыми суждениями всякого рода. Людям со «здравым смыслом» сейчас уже трудно понять, как это единая Италия — та-

кая, какой она стала в 1870 году,— никогда не существовала и не могла существовать раньше: «здравый смысл» заставляет верить в то, что существующее сегодня существовало всегда, что Италия всегда была единой нацией, но ее задушили иностранные силы и т. д. Многочисленные идеологические течения, вскормленные стремлением считать себя наследниками античного мира и т. д., способствовали укреплению этой веры; впрочем, эти течения оказали значительную услугу, выступая в качестве основы организации политической, культурной и другой работы.

Мне кажется, что нужно было бы проанализировать весь ход исторического движения, рассматривая его с различных точек зрения, вплоть до того момента, когда основные элементы национального единства, имеющие положительное и отрицательное значение, национальный и международный характер, объединяются вместе и становятся силой, достаточной для того, чтобы достигнуть цели. Это происходит, как мне кажется, только после 1848 года. Одним из элементов, довольно древним, является сознание «культурного единства», существовавшее в среде итальянской интеллигенции по крайней мере с начала XIII века, то есть с тех пор, как развился единый итальянский литературный язык (дантовский «*volgare illustre*»). Но этот элемент не оказал непосредственного воздействия на ход исторических событий, хотя он больше всего использовался патриотической риторикой; впрочем, он не является выражением конкретного и действенного национального чувства и не совпадает с ним. Другим элементом является сознание необходимости того, чтобы Итальянский полуостров был свободен от иностранного влияния. Этот элемент имел значительно меньшее распространение, чем первый, но, конечно, он был более важным в политическом отношении и исторически более плодотворным в смысле практических результатов. Однако не следует преувеличивать значение этого элемента и особенно масштабы его распространения и силу. Оба эти элемента являлись достоянием лишь незначительного меньшинства, высшего слоя интеллигенции, и никогда не служили выражением широко распространенного и твердого сознания необходимости национального объединения.

Одно из условий создания национального единства — существование равновесия международных сил, которое служило бы предпосылкой единства Италии. Это условие осуществилось после 1748 года, то есть после падения французской гегемонии и полного устранения гегемонии Испании и Австрии, но оно вновь исчезло после 1815 года. Тем не менее период с 1748 по 1815 год имел огромное значение для подготовки объединения, или, точнее, для развития элементов, которые должны были привести к объединению. Среди международных элементов необходимо учитывать позицию папства, сила которого в пределах самой Италии зависела от его международного могущества, а также регализм и политику Иосифа II, то есть первые либеральные и светские шаги, ведущие к укреплению государства, представляющие собой существенные моменты для подготовки объединения. Международная обстановка из фактора отрицательного и пассивного становится активным фактором после Французской революции и наполеоновских войн. Эти события втягивают в сферу политических и национальных интересов мелкую буржуазию и низшие слои интеллигенции, дают им известный военный опыт и создают известное число офицеров итальянцев. Лозунг «Единая и неделимая республика» завоевывает известную популярность и, что бы ни говорили, Партия действия ведет свое происхождение от Французской революции и того резонанса, который она получила в Италии. Этот лозунг изменяется в лозунг «Единое и неделимое государство», в лозунг единой и неделимой, или централизованной монархии и т. д.

Процесс национального объединения развивался вполне определенным путем, и движущей силой этого процесса были Пьемонтское государство и Савойская династия. Поэтому необходимо рассмотреть историческое развитие Пьемонта с общенациональной точки зрения. Начиная с 1492 года и в последующий период (то есть в период засилья иностранцев) Пьемонт был заинтересован в существовании известного внутреннего равновесия между итальянскими государствами, которое стало бы предпосылкой независимости (то есть невмешательства в дела Италии крупных иностранных государств). Пьемонтское государство, конечно, стремилось добиться

главенства в Италии, по крайней мере в северной и центральной части полуострова, но это ему не удалось: слишком сильна была Венеция и т. д.

После 1848 года, то есть после поражения «правой» и пьемонтского политического «центра» и прихода к власти либералов во главе с Кавуром, Пьемонтское государство становится реальной движущей силой в борьбе за единство. «Правая»: Соларо делла Маргарита⁵⁰, то есть «пьемонтские националисты-монополисты», или муниципалисты (согласно патриотической риторике, выражение «муниципализм» своим происхождением связано с концепцией действительного и скрытого итальянского единства). «Центр»: Джоберти и неогвельфы. Однако либералов-кавуристов нельзя назвать итальянскими якобинцами. Они действительно стоят выше «правой», возглавляемой Соларо, но качественно не отличаются от нее, ибо рассматривают единство как расширение Пьемонтского государства и владений Савойской династии, и не как национальное движение «снизу», а как королевское завоевание. Наиболее национальным элементом по существу является Партия действия.

Было бы интересно и необходимо собрать все высказывания по вопросу о происхождении Рисорджименто в собственном смысле слова, о движении, которое привело к территориальному и политическому объединению Италии, учитывая, что многие обозначают термином «Рисорджименто» также пробуждение местных итальянских сил, наступившее после X века, то есть то движение, которое привело к образованию коммун и к Возрождению.

Все эти вопросы, касающиеся происхождения Рисорджименто, находят свое оправдание в том факте, что итальянская экономика была очень слаба и капитализм еще только зарождался: не было еще сильного и широко распространенного класса экономически организованной буржуазии, а его место занимала многочисленная интеллигенция, мелкая буржуазия и т. д. Задача состояла не столько в том, чтобы освободить уже развившиеся экономические силы от устаревших юридических и политических пут, сколько в создании таких общих условий, при которых эти экономические силы могли возникнуть и развиваться по образцу дру-

гих стран. Современная история дает пример, помогающий понять итальянское прошлое. В наши дни существует общеевропейское культурное сознание, и целый ряд представителей интеллигенции и политических деятелей выступает, отстаивая необходимость создания европейского союза; можно даже сказать, что ход истории ведет к этому союзу и что многие материальные силы смогут развиваться только в этом союзе. Если через энное число лет такой союз возникнет, слово «национализм» приобретет такое же археологическое значение, какое в настоящее время имеет «муниципализм».

Другое явление современности, объясняющее прошлое,— это проповедуемые Ганди «непротивление и несотрудничество». Эти идеи помогают понять истоки христианства и причины его развития в Римской империи. Толстовство в царской России имело те же корни, но оно не стало «народной верой», как гандизм; через Толстого Ганди также приходит к идеям первоначального христианства, и благодаря ему на территории всей Индии возрождается особая форма первоначального христианства, которую уже не способен даже понять католический и протестантский мир. Отношения между гандизмом и английской империей подобны отношениям между христианством и эллинизмом, с одной стороны, и Римской империей — с другой. Страны античной цивилизации, разоруженные и технически (в военном отношении) отсталые, подчинились господству государств технически развитых (искусство управления и военная техника у римлян достигли высокого развития), хотя численность населения в последних была ничтожной. Соотношение первоначального христианства и гандизма определяется тем обстоятельством, что над огромной массой лиц, считающихся цивилизованными, господствуют немногие, считающиеся менее цивилизованными, но материально непобедимые. Осознание широкими массами своего материального бессилия перед лицом немногих угнетателей ведет к возвеличиванию чисто духовных ценностей и т. п., к пассивности, к непротивлению, к несотрудничеству, которые тем не менее являются все же защитой, но защитой слабой и трудной, подобной защите матрасом от пуля.

Религиозным народным движениям средневековья, францисканству и другим, присуще то же состояние

политического бессилия широких масс перед угнетателями, немногочисленными, но закаленными в войнах и объединенными: «униженные и оскорбленные» находят прибежище в примитивном евангельском пацифизме, в неприкрытом «выставлении» своей «человеческой природы» — непризнанной и поправленной вопреки утверждениям о братстве перед богом-отцом, о равенстве и т. д.

В истории средневековых ересей Франциск занимает особое, лишь ему одному присущее место: он не хочет бороться, даже не хочет и думать о какой бы то ни было борьбе в отличие от других реформаторов (Вальда и др. и тех же францисканцев). Его позицию рисует один анекдот, содержащийся в старинных францисканских текстах: «Один доминиканский теолог спросил его, как нужно понимать следующие слова Иезикииля: «Если вы не укажете нечестивцу на его злодеяния, вы ответите мне за его душу». На это Франциск ответил ему: «Служитель бога должен поступать в жизни и в служении добродетели так, чтобы свет его благого примера и бальзам его слов служил упреком всем нечестивцам; и тогда, я думаю, получится так, что свет его жизни и благоухание его доброй славы возвестят нечестивцам об их злодеяниях...» (См. статью Антонио Вискарди «Франциск Ассизский и закон евангельской бедности», опубликованную в «Нуова Италия» в январе 1931 года.)

Истоки Рисорджименто

В исследованиях, посвященных истокам национального движения за Рисорджименто, не только итальянские, но и иностранные авторы, особенно французские (или находящиеся под французским культурным влиянием), почти всегда грешат неприкрытой политической тенденциозностью. Существует французская «доктрина» об истоках Рисорджименто, согласно которой Италия обязана своей судьбой Франции, в особенности двум Наполеонам. Эта доктрина имеет также и свою полемическую, негативную сторону: монархические националисты (Бэнвиль) обвиняют обоих Наполеонов (и вообще демократические тенденции, порожденные Французской революцией) в том, что они ослабили соответ-

ствующие позиции Франции в Европе своей «поощрительно-национальной» политикой, то есть в том, что они были против традиций и интересов французской нации, выразителями которых были монархия и партии «правой» (клерикалы), всегда враждебные Италии. По их мнению, интересы Франции состояли в том, чтобы ее соседи оставались на положении конгломерата мелких государств, каким являлись Германия и Италия в XVIII веке.

В связи с этим в Италии были выдвинуты следующие «предвзятые, тенденциозные» взгляды: 1) демократическая франкофильская точка зрения, согласно которой Рисорджименто вызвано Французской революцией и непосредственно ведет от нее свое происхождение, что определило наличие второго, противоположного тезиса; 2) Французская революция своим вторжением на полуостров прервала «подлинно национальное» движение. Этот второй тезис имеет две стороны: а) иезуитскую точку зрения (согласно которой единственным «национальным» элементом, законным и достойным уважения, были санфедисты) и б) точку зрения умеренных, которую следует отнести скорее к реформаторским принципам, к принципам просвещенных монархий. Некоторые добавляют к этому: в) реформаторское движение было прервано из-за паники, вызванной событиями во Франции, поэтому вторжение французских войск в Италию не только не помешало местному движению, но даже сделало возможным его возобновление и завершение.

Многие элементы этих взглядов изложены в той литературе, которая указана под рубрикой «Интерпретация истории итальянского Рисорджименто». Эта литература, быть может, имеет определенное значение для истории политической мысли, но ее роль в развитии историографии ничтожна.

В статье Джоакино Вольпе «Курс истории современной Италии»*, представляющей значительный интерес, автор пишет: «Всем известно, что для понимания Рисорджименто недостаточно идти в глубь истории до 1815 года и даже до 1796 года, когда Наполеон вторгся на полуостров и вызвал там бурю. Рисорджименто как

* «Коррьере делла сэра» от 9 января 1932 года

возобновление итальянской жизни, как процесс формирования новой буржуазии, как растущее осознание не только муниципальных и областных, но и общенациональных задач, как отзывчивость на некоторые идеальные требования, — зарождение этого процесса следует искать задолго до Французской революции: сам он также является симптомом или одним из симптомов наступающей революции — не только французской, но в определенном смысле и мировой. Всем известно также, что история Рисорджименто изучается не только по итальянским документам и не как явление чисто итальянское. Эта эпоха изучается в рамках всей европейской жизни, включая сюда культурные течения, экономические преобразования, новые международные условия — все, что побуждает итальянцев к новым мыслям, новой деятельности, к новому политическому порядку».

В этих словах Вольпе кратко изложено то, к чему должен был стремиться Омодео в его книге и что получило у него бессвязное и поверхностное выражение. Если судить по заглавию и по хронологическим рамкам, то создается впечатление, что Омодео своей книгой хотел только отдать «полемическую» дань исторической тенденции, а не истории по причинам оппортунистической «конкуренции» — причинам, недостаточно ясным и, во всяком случае, не имеющим большого значения.

В XVIII веке происходит некоторое изменение в положении полуострова в рамках европейских отношений как в смысле решающего давления на Италию великих держав, которые не могли допустить появления единого итальянского государства, так и в смысле изменения могущественных политических (в Италии) и культурных (в Европе) позиций папства. (Еще меньше было оснований у великих европейских держав допустить образование единого итальянского государства под верховным главенством папы, то есть допустить, чтобы церковь, опираясь на большое по территории государство и соответствующую армию, могла усилить свое влияние в области культуры и свою дипломатию, которые и так уже значительно подавляли и ограничивали государственную власть в католических странах.)

Вместе с этим изменяются также значение и смысл литературно-риторической традиции, прославляющей древний Рим, величие средневековых коммун и эпохи

Возрождения и универсальную роль итальянского папства.

Такая культурная атмосфера, неопределенная и неясная, сохранялась в Италии вплоть до XVIII века. Это было особенно выгодно папству, так как создавало идеологическую основу его мирового могущества и давало критерий для отбора и обучения церковных и светско-церковных кадров, необходимых папству для практической административной деятельности, для централизации и усиления влияния всего церковного организма, для всей политической, философской, юридической, публицистической и культурной деятельности, приводящей в движение механизм, направленный на осуществление ко священного господства церкви, и служившей в период, предшествующий реформации, для осуществления прямой власти церкви или тех функций прямой власти, которые можно было конкретно осуществить при том соотношении внутренних сил, которое существовало в каждой католической стране.

В XVIII веке это традиционное течение начинает подразделяться. Одно направление все более сознательно (в соответствии с определенной и ясно выраженной программой) смыкается с папством, как воплощением той духовной миссии, которую Италия призвана выполнять во всем мире, миссии этико-политической, носящей характер духовной и гражданской гегемонии. Это направление найдет свое завершающее выражение в книге Джоберти «О нравственном и гражданском первенстве итальянцев» и в неогвельфизме (формируясь предварительно в виде целого ряда более или менее сомнительных течений, таких, например, как санфедизм и ламеннизм⁵¹ первого периода); впоследствии той органической формой, в которую выльется это течение, явится движение «католического действия», непосредственно руководимое самим Ватиканом. В этом движении роль Италии как нации сведена к минимуму (к участию тех руководящих деятелей Ватикана, которые, являясь итальянцами, не могут, как раньше, выдвигать на первый план свое итальянское происхождение).

Развивается также и другое направление, «светское», более того, противостоящее папству и стремящееся отстоять идею итальянского первенства и мировой миссии Италии независимо от папства. Это второе направление не могло опереться на такой все еще могущественный ор-

ганизм, как римская церковь; поэтому оно не имело единого центра, не было таким сплоченным, однородным и дисциплинированным, как первое. Оно развивалось по нескольким разветвляющимся линиям, и можно утверждать, что в конце концов оно влилось в мадзинизм.

В историческом аспекте важен тот факт, что в XVIII веке это традиционное течение начинает дробиться (вернее, конкретизироваться) и развиваться в соответствии со своей внутренней диалектикой. Это означает, что подобная литературно-риторическая традиция становится политическим ферментом и побудительной причиной возникновения той идеологической базы, на основе которой действующим политическим силам удается повести за собой, хотя бы и в беспорядочном строю, широкие народные массы, поддержка которых была необходима им для достижения определенных целей, и создать угрозу для самого Ватикана и для других реакционных сил полуострова, группировавшихся вокруг папства.

Важнейшее политическое достижение Рисорджименто и один из важнейших моментов в разрешении давно накопившихся проблем, которые прежде мешали конкретно поставить вопрос о возможности создания единого итальянского государства, состояли в том, что сторонникам либерального направления удалось привести в движение католико-либеральные силы и добиться того, что сам Пий IX перешел, хотя и ненадолго, на почву либерализма (этого оказалось достаточно, чтобы разложить идеологический и политический аппарат католицизма и подорвать его веру в самого себя *).

Альбер Пэнго, автор книги «Бонапарт — президент Итальянской республики» [Albert Pingaud, Bonaparte, président de la République italienne], подготовляющий новую работу «Первое Итальянское королевство» [«Le premier Royaume d'Italie»] (она почти целиком была уже опубликована отдельными частями в различных периодических изданиях), придерживается точки зрения тех, кто «считает 1814 год исходным пунктом, а Ломбардию очагом политического движения, которое завершилось в 1870 году взятием Рима».

* Если эти элементы, отражающие изменение итальянской культурной традиции, рассматривать как необходимый момент при изучении истоков Рисорджименто, а разрушение этой традиции рассматривать как положительный факт, как необходимое условие

Вальдо Перони в своем обзоре этих отдельных частей сочинения Пэнго в «Нуова антологджиа» от 16 августа 1932 года отмечает: «Наше Рисорджименто, рассматриваемое как политическое пробуждение, начинается тогда, когда любовь к родине перестает быть неопределенным сентиментальным устремлением или литературной темой и становится осознанным намерением, страстью, которая воплощается в жизнь благодаря долгой и упорной деятельности, не останавливающейся перед самыми тяжелыми жертвами. Эта перемена произошла в последние десятилетия XVIII века, и не только в Ломбардии, но также в Неаполе, Пьемонте и почти во всех областях Италии. «Патриоты», которых ссылали и казнили в период с 1789 по 1796 год, замыслили не только восстановление республики, но и завоевание для Италии независимости и единства. В последующие годы именно любовь к независимости вдохновляет и руководит деятельностью целого политического класса Италии — как тех, кто сотрудничал с французами, так и тех, кто пытался организовать восстания, когда стало очевидным, что Наполеон не хочет предоставить торжественно обещанную свободу». Перони, во всяком случае, не считает, что движение в Италии начинается до 1789 года; иными словами, он утверждает тезис о связи Рисорджименто с Французской революцией — тезис, отвергаемый националистической историографией. Однако утверждение Перони будет верно, если принять во внимание одно специфическое и имеющее решающее значение явление, а именно — появление группировки политических элементов, которая разовьется впоследствии в совокупность партий, сыгравших главную роль в период Рисорджименто.

В XVIII веке как внутри Италии, так и вне ее возникают и становятся устойчивыми объективные условия, международные и национальные, которые придают задаче создания национального единства исторически конкретный характер, то есть делают его не только возмож-

возникновения и развития активного либерального движения, имеющего национальный характер, тогда известное (и немалое) значение приобретают такие течения, как, например, «янсенизм», которые иначе выглядели бы как объект простого любопытства ученых. Иными словами, речь шла бы об изучении «катализаторов» в области политической истории Италии, элементов-ускорителей, которые не оставили после себя следов, но сыграли незаменимую и необходимую служебную роль в создании нового исторического организма.

ным, но и необходимым; но, конечно, только после 1789 года эту задачу начинают осознавать группы граждан, готовых на борьбу и на жертвы. Таким образом, Французская революция представляет собой одно из тех европейских событий, которые в наибольшей степени способствуют углублению уже начавшегося «подспудного» движения, укрепляя благоприятные условия самого движения (объективные и субъективные) и действуя как элемент, сплачивающий и централизующий вокруг себя силы, распыленные по всему полуострову. Будь иначе, «сосредоточивание» и взаимопонимание между этими силами осуществилось бы намного позднее.

В связи с этим же вопросом заслуживает внимания статья Джоакино Вольпе «Историки Рисорджименто — конгрессу», опубликованная в «Эдукационе фашиста» за июль 1932 года. Вольпе дает отчет о XX конгрессе Национального общества по изучению истории Рисорджименто, состоявшемся в Риме в мае — июне 1932 года. Историю Рисорджименто сначала рассматривали преимущественно как «историю итальянского патриотизма». Потом ее начали углублять, «рассматривая как вообще итальянскую жизнь в XIX веке, так что она почти растворилась в общем изображении этой жизни, целиком охваченной процессом преобразования, координации и объединения идеалов и практических дел, культуры и политики, частных и общественных интересов». От XIX века восходили к XVIII веку, и тогда обнаруживались скрытые прежде связи и т. п. XVIII век «был рассмотрен сквозь призму Рисорджименто, даже как часть эпохи Рисорджименто; речь шла о буржуазии XVIII века, уже ставшей национальной, *о либерализме той эпохи, который проникает в экономическую, религиозную, а затем и политическую жизнь и который является не столько «принципом», сколько насущной потребностью для производителей*; речь шла о возникших в XVIII веке первых конкретных стремлениях к «установлению какой-нибудь формы единства» (Дженовези), порожденных тем, что уже в то время была осознана неспособность отдельных итальянских государств с их ограниченной и слабо развитой экономикой противостоять экономическому вторжению значительно более обширных и сильных стран.

В том же веке определилась также новая международная ситуация: в самый разгар событий выступили поли-

тические силы Европы, заинтересованные в том, чтобы итальянские государства были более независимы и более тесно связаны между собой и чтобы равновесие между ними было менее статичным. Одним словом, утверждается новая итальянская и европейская «действительность», благодаря чему приобретает смысл и значение также и присущий ряду литераторов национализм, который вновь всплыл на поверхность, сменив космополитизм предшествующей эпохи».

Вольпе не останавливается специально на внутреннем и международном положении церкви, которая в XVIII веке также подвергается коренному преобразованию — ликвидации ордена иезуитов; это событие было кульминационной точкой в укреплении светского государства перед лицом церковного вмешательства и т. д. Можно сказать, что в настоящее время Ватикан, который вновь стал осуществлять свое влияние после Конкордата, сделался одной из самых враждебных (если не наиболее враждебной) для историографии Рисорджименто сил, которые тормозят развитие научной мысли и стараются внедрить метод «мальтузианства». Раньше наряду с этой силой, которая всегда была значительной, ограничению рамок исторического исследования способствовали монархия и страх перед сепаратизмом. Вследствие этого не были опубликованы многие исторические работы (например, книга по истории Сардинии барона Манно, работа, посвященная эпизоду Боллеа во время войны и т. д.). Республиканские публицисты специализировались на «пасквильной» истории, стремясь опорочить каждый исторический труд, который научно восстанавливал события эпохи Рисорджименто; это привело к сокращению объема исследовательской работы, к дальнейшему развитию апологетической историографии, сделало невозможным использование архивов и т. д. — словом, обусловило полное убожество историографии Рисорджименто по сравнению с историографией Французской революции.

Ныне монархические и сепаратистские интересы отошли на задний план, но усилилось влияние Ватикана и клерикалов. Источник большей части нападок на «Историю Европы» Б. Кроче лежит, несомненно, в этой плоскости. Этими же причинами объясняется прекращение издания труда Франческо Салата «К дипломатической истории Римского вопроса» [Francesco Salata, Par

la storia diplomatica della Questione Romana], первый том которого, вышедший в 1929 году, оказался единственным.

В цитируемой выше статье Вольпе следующим образом излагает сущность исследования Пьетро Сильва «Итальянская проблема в европейской дипломатии XVIII века» [Pietro Silva, Il problema italiano nella diplomazia europea del XVIII secolo], представленного XX конгрессу Национального общества истории Рисорджименто: «XVIII век означает для Италии влияние великих держав; однако между ними имеются противоречия, вследствие чего все в большей степени ослабляется прямое иностранное господство и развиваются два сильных государственных организма — на севере и на юге. Со времени договора в Аранхуэсе, заключенного Францией и Испанией в 1752 году, и последовавшего сразу за ним австро-французского сближения оба итальянских королевства в течение сорока лет находятся в состоянии застоя. Однако на протяжении этого сорокалетнего периода там предпринимались многочисленные попытки разорвать австро-французское кольцо и сблизиться с Пруссией, Англией и Россией и шло развитие тех внутренних сил, которые благодаря Французской революции и краху австро-французской системы выступают на борьбу за разрешение итальянской проблемы в духе национального единства. И вот в последнее время вопрос о реформах и реформаторских принципах рассматривается во многих работах, посвященных Королевству обеих Сицилий, Тоскане, Парме, Пьяченце и Ломбардии».

Карло Моранди в своем исследовании «Реформы XVIII века по данным новейшей историографии» [Carlo Morandi, Le riforme settecentesche nei risultati della recente storiografia] подверг рассмотрению (в свете общеевропейского движения за реформы) роль реформ, осуществленных в Италии, и соотношение между реформами и Рисорджименто. О связи между Французской революцией и Рисорджименто Вольпе пишет: «Бесспорно, что революция благодаря своей идеологии и своим страстям, благодаря своей армии и деятельности Наполеона вносит в бурлящий поток итальянской жизни новые элементы. Не менее бесспорно, что Италия эпохи Рисорджименто, будучи живым организмом, поглощавшим все возможное из того, что проникало извне (включая неко-

торые идеи, первоначально возникшие в Италии и переработанные потом за границей), реагирует вместе с тем на все поглощаемое ею, одно отвергая, другое дополняя, и, во всяком случае, ей удастся превзойти все то, что она воспринимает. Италия той эпохи обладает своими традициями, своим образом мыслей; перед ней стоят особые проблемы, которые она разрешает по-своему. Все это и составляет подлинную и глубокую основу Рисорджименто, его действительную характеристику; в этом состоит суть неразрывной связи Рисорджименто с предшествующей эпохой, и это создает условия для обратного воздействия Рисорджименто на другие страны, причем не чудодейственным образом, а обычным историческим путем, которым распространяются влияния между соседними народами».

В этом замечании Вольпе не все правильно: как можно говорить о собственно итальянских «традициях, образе мыслей, проблемах и методах их решения»? По крайней мере, что это означает конкретно? В то время существовало множество противоречивых традиций, идей, проблем и методов разрешения, часто носивших лишь индивидуальный и произвольный характер, и их никогда не рассматривали как единое целое. Силы, стремившиеся к единству, были крайне слабы, разрозненны, не связаны между собой и не способны создать эти связи. Так было не только в XVIII веке, но вплоть до 1848 года. Напротив, этим силам, выступавшим за единство (или, точнее, имевшим тенденцию к единству), противостояли силы могущественные и объединенные и (это относится в особенности к церкви) привлекавшие в свои ряды огромное большинство способных и энергичных людей, которые могли бы составить новые национальные кадры для управления страной; вместо этого их воспитывали и направляли по космополитическо-клерикальному пути.

Международные события, и в первую очередь Французская революция, ослабив эти реакционные силы и приведя их к полному истощению, дают возможность национальным силам, которые сами по себе были еще незначительны и слабы, нанести реакции контрудар. В этом состоит одна из важнейших заслуг Французской революции. Ее очень трудно оценить и определить словами, но о ней можно судить по тому решающему влиянию,

которое оказала Французская революция на развитие итальянского Рисорджименто.

Среди других докладов, представленных конгрессу, обращает на себя внимание работа Джакомо Лумброзо «Народное движение против французов в конце XVIII века» [Giacomo Lumbroso, *La reazione popolare contro i Francesi alla fine de 1700*]. Лумброзо утверждает, что «народные массы, особенно крестьянские, выступали не потому, что их подстрекали дворяне, и даже не из любви к спокойной жизни (в самом деле, они ведь взялись за оружие!), а побуждаемые, хотя бы отчасти, неосознанной и смутной любовью к родине или привязанностью к своей земле, к своим порядкам, к своей независимости (!?); отсюда — часто повторявшиеся уже с 1799 года апелляции «реакционеров» к национальному чувству итальянцев». Лумброзо плохо освещает этот вопрос, постановка его противоречива. Ничего не сказано о «подстрекательстве» священников, гораздо более действенном, чем подстрекательство дворян (которые были не так уж враждебны новым идеям, как это казалось со времен Партенопейской республики). И потом, что означает заключенное в скобки замечание Вольпе, намекающее на то, что нельзя говорить о любви к спокойной жизни у людей, берущихся за оружие? Ведь это только словесное противоречие. «Спокойная жизнь» в политическом смысле тождественна реакционности и консерватизму и вовсе не исключает вооруженную защиту своих социальных позиций. Кроме того, нельзя ставить вопрос о позиции народных масс, не связывая его с вопросом о позиции господствующих классов, потому что народные восстания против «иноземцев» могут быть вызваны непосредственными и случайными причинами, поскольку никто не указал народным массам иной путь борьбы, отличный от локальных и ограниченных выступлений. Самочинные выступления народных масс, поскольку они вообще имеют место, могут лишь служить показателем того, насколько высшие классы способны осуществить свою руководящую роль; в Италии либеральная буржуазия всегда пренебрегала народными массами. Вольпе следовало бы в связи с этим определить свою позицию по отношению к той односторонней и противоречивой литературе, посвященной Рисорджименто, наиболее характерный

specimen * которой дал Лумброзо: кто является «патриотом» или «поборником национального дела» в понимании Лумброзо? Адмирал Караччоло, повешенный англичанами, или крестьянин, восстающий против французов? Доменико Чирилло или Фра Дьяволо? И почему проанглийская политика и английские деньги являются более национальными, чем французские политические идеи?

Интерпретации истории Рисорджименто

Существует целый ряд самых разнообразных интерпретаций Рисорджименто. Наличие множества разноречивых толкований характерно как для всей итальянской историко-политической литературы, так и для состояния, в котором находится изучение эпохи Рисорджименто. Следует подумать над тем, почему то или иное историческое событие или исторический процесс могут создать почву для появления подобной литературы; не являются ли недостаточная ясность и обоснованность, отличающие эту литературу на всем протяжении ее развития, результатом неполноценности тех «скрытых» сил, которые, по видимому, породили ее, результатом скудости тех объективных «национальных» элементов, о которых в ней говорится, наконец, результатом неопределенности и аморфности самого изучаемого явления (в самом деле, часто можно слышать разговоры о «чуде» Рисорджименто).

Нельзя оправдать наличие подобной литературы скудостью документов (трудностью архивных изысканий и т. д.), ибо в таком случае весь ход исторических событий сам по себе мог бы являться документом. Напротив, совершенно очевидно, что именно органическая слабость всего «костяка» в развитии событий эпохи Рисорджименто является причиной, вызвавшей в литературе этот разгул произвольного «субъективизма», подчас причудливого и сумасбродного. Вообще можно сказать, что все эти интерпретации в целом носят непосредственно политический и идеологический характер и не имеют исторического значения. Их национальное значение также очень ограничено — как в результате излишней тенден-

* Образец, образчик (англ.). — *Прим. перев.*

циозности и ввиду того, что они не принесли никакой практической пользы, так и вследствие чрезмерной абстрактности, зачастую отличающейся надуманностью и беллетристичностью.

Можно заметить, что такая литература процветает в наиболее характерные моменты социально-политических кризисов, когда разрыв между правителями и управляемой массой становится особенно серьезным и, как кажется, предвещает катастрофические события в жизни нации. Среди некоторых наиболее чувствительных групп интеллигенции распространяется паника и множатся попытки реорганизовать существующие политические силы, вызвать к жизни новые идеологические течения в истощенных и непрочных партийных организациях, покончить со вздохами и стонами, полными отчаяния и самого мрачного пессимизма.

Правильная классификация рассматриваемой литературы явилась бы необходимым и важным делом; пока, для временной ориентировки, можно наметить в ней несколько направлений:

1. Ряд интерпретаций Рисорджименто в узком смысле, как, например, интерпретация Альфредо Ориани, изложенная в его книге «Политическая борьба в Италии» [Alfredo Oriani, *Lotta politica in Italia*] и в других его полемических сочинениях, затрагивающих вопросы политики и культуры, целый ряд которых он направил против произведений Марио Миссироли. К этой же группе относятся концепции Пьеро Гобетти и Гвидо Дорсо.

2. Ряд интерпретаций, носящих более существенный и серьезный характер, претендующих на историографическую точность, как, например, интерпретации Кроче, Сольми, Сальваторелли.

3. Интерпретации Рисорджименто в произведениях Курцио Малапарте (в книге «Варварская Италия» [Curzio Malaparte, *Italia Barbarica*] и в книге, посвященной борьбе против протестантской реформации и т. д.), Карло Курчо («Наследие эпохи Рисорджименто» [Carlo Curcio, *L'eredità del Risorgimento*, Firenze, La Nuova Italia, 1931, p. 114]) и др.

В качестве «курьеза» следует упомянуть сочинения Ф. Монтефредини (см. по этому поводу очерк Кроче в «Литература делла нуова Италия») и писания Альдо

Феррари (книги, брошюры и статьи в «Нуова ривиста storica»), которые представляют собой и искусственную схему и роман одновременно. Сюда же относится брошюра Винченцо Кардарелли «Разговор об Италии» [Vincenzo Cardarelli, *Parliamo dell'Italia* (ed. Vallecchi, 1931)].

Еще одна важная группа интерпретаций Рисорджименто представлена такими произведениями, как книга Гаэтано Моска «Теория правлений и парламентское правление», опубликованная впервые в 1883 году и переизданная в 1925 году [Gaetano Mosca, *Teorica dei governi e governo parlamentare* (Milano, Soc. An. Istituto Editoriale Scientifico, p. 301)]. Сюда же относятся книги Паскуале Туриэлло «Правительство и подданные»; Леона Карпи «Живая Италия»; Луиджи Циниль «О критериях и способах управления»; Джорджо Арколео «Кабинет в парламентских правительствах»; Марко Мингетти «Политические партии и их участие в правосудии и управлении»*, а также сочинения иностранцев, как, например, книга Лавелей «Письма из Италии»; фон Лохе «Новая Италия» и книга Браше «Италия видимая и невидимая» и, кроме того, опубликованные в «Нуова антолоджиа» и в «Рассенья септиманале» (изд. Соннино) статьи Паскуале Виллари, Р. Бонги, Дж. Пальма и др., включая знаменитую статью Соннино в «Нуова антолоджиа» — «Вернемся к Статуту!»

Появление всей этой литературы является результатом падения «правой» и прихода к власти так называемой «левой» и результатом «фактических» нововведений, внесенных в конституционный режим с целью придать ему форму парламентского режима. Эта литература по большей части наполнена жалобами, взаимными обвинениями и пессимистическими рассуждениями, пророчащими национальную катастрофу. На эти настроения указывает Кроче в первых главах своей «Истории Италии с 1870 по 1915 год».

Этой литературе противостоит литература эпигонов Партии действия, выходящая в свет в виде книг, бро-

* Pasquale Turiello, *Governo e governati*; Leone Carpi, *L'Italia vivente*; Luigi Zinil, *Dei criteri e dei modi di governo*; Giorgio Arcoleo, *Il Gabinetto nei governi parlamentari*; Marco Minghetti, *I partiti politici e la ingerenza loro nella giustizia e nell'amministrazione*.

и журналных статей и включающая работы современных публицистов республиканской партии (типичным образцом ее является посмертная книга аббата Луиджи Анелли, вышедшая недавно с введением и комментариями Арканджело Гислери).

Легко заметить связь между различными периодами процветания такой псевдоисторической и псевдокритической литературы. Это литература консервативных элементов, разъяренных падением «правой» и ее «клики», то есть падением влияния некоторых групп крупных земельных собственников и аристократии в государственной жизни, хотя о замене этого класса другим говорить нельзя. Эта литература желчная, едкая, лишенная конструктивных элементов, не придерживающаяся никакой исторической традиции, ибо все реакционные традиции прошлого таковы, что ни одна из них не может быть выдвинута с целью ее реставрации, если есть хоть небольшое чувство стыдливости и собственного достоинства — ведь в прошлом существовали лишь старые региональные режимы и влияние папы и Австрии.

Предъявляемое парламентарному режиму «обвинение» в том, что он не «национален», а скопирован с иностранных образцов, остается пустым и бесплодным упреком, за которым скрывается лишь панический страх даже перед самым незначительным вмешательством народных масс в жизнь государства. Ссылка на «традиционно»-итальянское правление неизбежно остается пустой абстракцией, ибо такая традиция не имеет значительных исторических перспектив. В прошлом никогда не существовало итальянского территориально-государственного единства, а перспектива папской гегемонии (сохранившейся в течение всего средневековья вплоть до периода ипоштранный господства) была разрушена еще вместе с неогвельфизмом и т. д. *

Рассматриваемая реакционная литература появилась раньше, чем литература группы Ориани — Миссироли.

* В конце концов такое «традиционно»-итальянское правление которое имело бы значительную историческую перспективу, найдут в древнеримской эпохе. Возможность его будут связывать (в зависимости от характера партий) или с республиканским, или с цезарьским Римом. Но этот факт получит новый смысл и явится характерной чертой новых течений, наложивших отпечаток на взгляды народных масс.

имеющая большое народно-национальное значение. А эта литература в свою очередь предшествует появлению литературы группы Гобетти — Дорсо, которая имеет еще более актуальное значение. Однако даже эти две новые тенденции сохраняют абстрактный и чисто литературный характер. Одной из самых интересных проблем, поднимаемых во всей этой литературе, является вопрос об отсутствии в Италии религиозной реформации, подобной протестантской. Но эта проблема поставлена механически и поверхностно и представляет собой повторение одной из идей, проводимых Масариком в его работах по русской истории*.

Вся эта литература в целом имеет «документальное» значение для изучения того времени, когда она появилась. Книги «правых» ярко описывают политическую и моральную коррупцию в период пребывания у власти «левой», а из произведений, принадлежащих эпигонам Партии действия, вовсе не следует, что в период правления «правой» было лучше. Следовательно, переход власти от «правой» к «левой» не вызвал никаких существенных изменений. Таким образом, упадок, в котором находится страна, является следствием не парламентарного режима (который только делает общеизвестным то, что раньше оставалось скрытым или создавало почву для появления тайных пасквильных публикаций), а органической слабости и несостоятельности правящего класса и страшной нищеты и отсталости страны.

Политическая обстановка выглядит абсурдно: на правом фланге стоят клерикалы, партия «Силлабо», в корне отрицающая всю современную цивилизацию и бойкотирующая законное государство. Этот фланг не только препятствует созданию широкой консервативной партии, но поддерживает возникшее в стране впечатление о непрочности и ненадежности нового единого государства. Центр занимают либералы всех оттенков, от умеренных до республиканцев. Среди них живы воспоминания о взаимной вражде во времена борьбы за воссое-

* T. G. Masaryk, *Russland und Europa. Studien über die geistigen Strömungen in Russland*; 2 Bd., Jena, 1913. (Т. Г. Масарик, «Россия и Европа. Исследования о духовной жизни в России») [итальянское издание (в двух томах) в переводе Е. Ло Гатто, Рим, 1925 год.— *Прим. ит. ред.*]

динение, и эту группу раздражают непримиримые противоречия.

На левом фланге — нищие, отсталые, невежественные массы, действия которых носят спорадический, прерывистый, истерический характер и которым присущ ряд анархических разрушительных тенденций. Эти тенденции неустойчивы и лишены конкретного политического направления, у них нет никаких перспектив. «Экономических партий» не существует, а есть лишь идеологические группы, состоящие из деклассированных представителей всех классов; они напоминают петухов, возвещающих о появлении солнца, которое на самом деле никогда не взойдет.

В предвоенные годы снова были пущены в обращение книги группы Моска—Туриэлло (упоминания о Туриэлло постоянно встречаются в «Воче»). Юношеская книга Моска была переиздана в 1925 году с примечаниями автора, напоминающими, что в книге речь идет об идеях 1883 года и что автор в 1925 году не во всем согласен с 24-летним автором, писавшим в 1883 году. Переиздание книги Моска является одним из многих проявлений политического дилетантизма и безответственности либералов в первый и второй послевоенный периоды. Впрочем, это «творение» Моска — недоработанная, поверхностная книга, наспех написанная юношей, который стремится «выделиться», приняв позу экстремиста и употребляя громкие и часто тривиальные фразы в реакционном духе. Политические взгляды Моска туманны и неустойчивы, его философская подготовка равна нулю (и такой она оставалась на протяжении всей его литературной карьеры), его принципы политической деятельности также туманны и абстрактны и носят скорее юридический характер. Концепция «политического класса», защита которой станет центральной проблемой всех сочинений Моска о политической теории, крайне слаба и плохо продумана, теоретически не обоснована. Тем не менее книга Моска может быть полезна как документ. Автор стремится быть беспристрастным, говорить обо всем без обиняков и вследствие этого рассматривает многие стороны итальянской жизни того времени, которые в противном случае не нашли бы своего отражения в документах эпохи. Моска показывает гражданскую и военную бюрократию, полицию и т. д. подчас манерно,

но по существу правильно (например, унтер-офицеров армии, уполномоченных общественной безопасности и др.). Особенно ценны его замечания о Сицилии, хорошо знакомой ему по личному опыту. К 1925 году взгляды Моска и его виды на будущее изменились, материал его первой книги устарел, однако из литературного тщеславия он вновь издал ее, намереваясь отмежеваться от своих старых взглядов с помощью нескольких примечаний*.

Все интерпретации итальянской истории и целый ряд идеологических конструкций и исторических романов, ведущих свое происхождение от этих интерпретаций, в большинстве случаев «претендуют» на то, чтобы доказать наличие национального единства, по крайней мере фактического, на всем протяжении истории страны, начиная от древнего Рима и кончая сегодняшним днем (а часто даже в период, предшествовавший древнеримской эпохе, как, например, в «Пеласагах» Джоберти и в других более поздних сочинениях).

Как родилась эта «претензия», каким образом она укрепилась и почему существует до сих пор? Является ли она признаком силы или слабости? Отражает ли она наличие новых, уверенных в себе социальных групп, ищущих и создавших себе титулы, которыми в прошлом обладало дворянство? Или же, напротив, эта претензия представляет собой отражение смутного «стремления к вере», элемент идеологического фанатизма (и средство его возбуждения), который должен «исцелить» сла-

* О политическом положении в Италии именно в 1883 году и позиции клерикалов можно найти некоторые интересные данные в книге маршала Лиотэ «Письма юности» [Lyautey, Lettres de jeunesse. Paris, Grasset, 1931]. Судя по этой книге, многие итальянцы из числа наиболее ревностных приверженцев Ватикана не верили в будущее молодого королевства. Они предсказывали его разложение, в результате которого должна была бы возникнуть Верхняя Италия со столицей во Флоренции, Южная Италия со столицей в Неаполе, а в центре — Рим с выходом к морю. Лиотэ передает суждение князя Шамбора об итальянской армии того времени, которой не придавали большого значения во Франции: «Не заблуждайтесь в оценке итальянской армии. Все, что я сказал по этому поводу, дает мне основание судить о ней как о серьезной силе, весьма достойной внимания. Офицеры ее, несмотря на несколько театральную наружность и султаны, прекрасно обучены и очень старательны. Впрочем, это мнение моего племянника, живущего в Парме, которому любовь к ним ничего не стоит».

бости государственной структуры и предотвратить грозящую ему гибель? Эта последняя точка зрения является, пожалуй, правильной: Она тесно связана с тем фактом, что интеллигенция, то есть мелкая буржуазия, имеет чрезвычайно важное значение по сравнению с экономически отсталыми и политически бессильными классами.

Действительно, национальное единство рассматривается как непрочное, ибо против его основы непрерывно выступают «дикие», еще мало известные силы, мятежные по самой своей природе. Железная диктатура интеллигенции и некоторых групп горожан, владеющих земельной собственностью, сохраняет свою монолитность только благодаря тому, что она возбуждает воинственные элементы в своих рядах при помощи этого мифа об исторической фатальности, действующего сильнее, чем разговоры о слабости и политической и военной беспомощности государства. И именно на этой основе органическая связь народно-национальных масс с государством заменяется отбором «добровольцев» абстрактно трактуемой «нации». Никто не подумал, что проблема, которую поставил Макиавелли, провозгласив необходимость заменять национальным ополчением временных и ненадежных наемников, не сможет быть разрешена до тех пор, пока набор добровольцев не будет заменен массовым «народно-национальным» ополчением, ибо такой набор представляет собой промежуточное, противоречивое решение вопроса, столь же опасное, как и наемничество.

Изображение исторических событий, бытующее в идеологических концепциях, рассматривающих образование итальянского государства, можно было бы назвать «фетишизированной историей»: действительно, ее главными действующими лицами становятся абстрактные и мифологические «персонажи». В работе Ориани «Политическая борьба» изложена самая популярная из этих мифологических схем, породившая в свою очередь целый ряд уродливых концепций. Здесь мы находим мифологические фигуры «Федерации», «Единства», «Революции», «Италии» и т. д. и т. п. В сочинениях Ориани ясно выражена одна из причин подобного метода истолкования истории с помощью мифологических персонажей.

Критический канон, устанавливающий, что весь процесс исторического развития сам по себе является документом, что настоящее освещает и оправдывает прошлое, — этот канон механизмуется, становится чисто внешним и сводится к детерминистическому закону прямолинейности и «однолинейности» (это происходит также потому, что исторический горизонт ограничивают географическими границами нации и каждое событие вырывают из единого исторического процесса, из системы международных отношений, с которыми оно на самом деле неразрывно связано).

Проблема выявления исторических истоков конкретного и определенного события — образования в XIX веке современного итальянского государства — сводится к тому, что это государство рассматривается как существовавшее в виде Единства, или Нации, или Италии вообще на всем протяжении предшествующей истории, подобно тому как в зародыше курица существует уже в яйце.

Для оценки этого аргумента следует ознакомиться с критическими замечаниями Антонио Лабриолы, содержащимися в его «Избранных сочинениях» [Antonio Labriola, *Scritti vari*, pp. 187—490, pp. 317—442] и в первом из его «Очерков» [Saggi, pp. 50—52]. В этой же связи представляют также интерес стр. 227—228 первого издания «Истории историографии» Кроче и вообще содержащиеся во всей этой работе исследование «сентиментального и практического» происхождения «общей истории Италии» и доказательства «логической невозможности» ее создания. Другие замечания, связанные с вышеупомянутыми, принадлежат Антонио Лабриоле. Они касаются общей истории христианства, которую Лабриола считал несостоятельной, как и все исторические конструкции, предметом которых являются нереальные «существа» (см. его «Очерки», стр. 113).

Подход к конкретной действительности в духе Лабриолы можно наблюдать в исторических (и политических) сочинениях Сальвемини, который не хочет признавать «гвельфов» как партию народа и папства, а гибеллинов — как партию дворянства и короля, он считает их лишь «локальными партиями», борющимися за чисто местные интересы, не совпадающие с интересами папства и империи.

В предисловии к книге Сальвемини «Французская революция» эта точка зрения возводится в теорию, со всеми вытекающими отсюда антиисторическими преувеличениями*. «Бесчисленное разнообразие революционных событий» он сводит к понятию «Революция», вместо того «чтобы связывать каждое событие с определенным индивидуумом или с группами индивидуумов, которые были историческими инициаторами этого события». Но если история сводилась бы к такого рода исследованиям, она была бы очень убогой и, кроме того, стала бы просто непонятной**.

В журнале «Критика» от 20 июля 1932 года на стр. 280 Адольфо Омодео пишет: «Он [Пьеро Маркони] обращался к пагубомам с тезисом, который тогда был выдвинут Сальвемини. Суть его сводится к следующему: Рисорджименто рассматривают как незначительное историческое явление, недостаточно орошенное кровью, как дело рук меньшинства при апатии большинства, а единство считают скорее милостивым даром судьбы, чем завоеванием итальянцев. Этот тезис, порожденный неспособностью исторического материализма оценить моральное величие само по себе, без эмпирического подсчета пролитой крови и учета различных интересов (трудное дело Мадзини и Кавура с виду казалось легким, и ему было суждено стать объектом обсуждения всех журналов и газет, чтобы быть опороченным невеж-

* Книга «Французская революция» уязвима для критики и с других сторон: например, несостоятельно утверждение, что революция завершается битвой при Вальми.

** Интересно, как Сальвемини, рассчитывая на эту осторожную критику, конкретно разрешает противоречия, вытекающие из его слишком односторонней постановки методологической проблемы. Если нельзя было бы узнать из других работ об изложенных здесь событиях и мы располагали бы только этой книгой, разве были бы понятны нам описанные здесь явления? Таким образом, вопрос заключается в том, о каком роде истории идет речь: об истории «интегральной» или «полемической», то есть, иначе говоря, истории полемически-дополнительной, когда автор намеревается (или неизбежно достигает этого, не ставя себе такой цели) только добавить несколько мазков к картине, набросок которой уже сделан другими. Такая осторожность должна была бы всегда присутствовать во всякой критике; в самом деле, мы часто имеем дело с произведениями, которые «сами по себе» далеки от идеала, но могут быть очень полезны в рамках разработки определенной проблемы в качестве «составных и дополнительных» элементов к другим работам и исследованиям.

дами), — этот тезис служил Маркони основой для моралистической аргументации в стиле «Воче» *.

Но самому Омодео в его книге «Эпоха Рисорджименто» не удалось дать ни одного объяснения и ни одного построения, которые не носили бы поверхностный и парадный характер. Тот факт, что Рисорджименто действительно представляет собой итальянский вклад в великое европейское движение XIX века, вовсе не означает, что гегемоном этого движения была Италия, так же как не означает, что даже «большинство активного меньшинства» участвовало в этом движении без сопротивления и показного энтузиазма. Величие таких отдельных фигур, как Кавур и Мадзини, выглядит еще более значительным, если их рассматривать в исторической перспективе, подобно одинокой пальме, растущей в пустыне.

Критические замечания Омодео по поводу концепции Рисорджименто как «мелкого» исторического явления носят недоброжелательный и тривиальный характер. Он не может понять, что эта концепция была единственной более или менее серьезной попыткой представить народные массы как национальную силу, то есть создать концепцию демократического движения с итальянскими корнями и итальянскими требованиями **. Впрочем, можно заметить следующее: если историю прошлого нельзя писать, не учитывая и не преследуя интересов настоящего, то не является ли в таком случае критическая формула, требующая, чтобы воссоздаваемая история Рисорджименто была лишь изложением конкретных событий, недостаточной и слишком узкой? (Если эта формула не означает только призыва к тому, чтобы исторические работы находились в полном и точном соответствии с документацией.)

Сводить историю Рисорджименто к изложению одних лишь голых фактов, к описанию тех ступеней закономерного исторического процесса, завершением которых яви-

* Омодео пишет о погибшем на войне Пьеро Маркони и его книге «Я услышал приказ» [Piero Marconi, Io udii il comando, Firenze, s. d.].

** Странно, что Сальваторелли, упоминая в одной заметке в журнале «Культура» о книге Кроче «История Европы» и о книге Омодео «Эпоха Рисорджименто», считает, что в последней нашло свое выражение демократическое направление, а в «Истории» Кроче — направление, более близкое к либерально-консервативному.

лось Рисорджименто, значит ограничиваться лишь новой формой так называемой «объективности», чисто внешней и механической. В таком случае речь часто идет о «политическом» требовании тех, кто удовлетворен настоящим и кто в процессах, происходивших в прошлом, справедливо видит сходство с процессами, происходящими в настоящем, критику настоящего и программу на будущее.

Группа Кроче — Омодео и К^о слащаво (слащавость особенно свойственна Омодео) славословит либеральный период. Задача книги самого Омодео «Эпизоды военной жизни» [*«Momenti della vita di guerra»*] состоит в том, чтобы показать, что период джолиттианского правления, который был так «обесславлен», на самом деле таил в себе «непревзойденный» клад идеализма и героизма. Впрочем, эти рассуждения неубедительны, поскольку они основаны на чисто эмпирической методологии. И если писать историю прошлого значит творить историю настоящего, то великой исторической книгой будет та, которая сегодня помогает развивающимся силам все больше сознать самих себя и благодаря этому становятся более активными и действенными.

Главный недостаток всех интерпретаций Рисорджименто состоит в том, что они носили чисто идеологический характер, то есть не ставили себе задачей активизацию современных политических сил. Это были работы литераторов, дилетантов, акробатические построения, к которым прибегали люди, желавшие щегольнуть не умом, так талантом; частью они были обращены к мелким интеллигентским кружкам, лишенным будущности, частью написаны с целью оправдания попавших в просак реакционных сил и приписывания им таких намерений и целей, которых у них не было; — мелкие услуги лакействующих интеллигентов (наиболее законченным типом которых является Марио Миссироли) и продажных ученых.

Эти чисто идеологические интерпретации процесса формирования итальянской нации и государства следует изучить также и с другой точки зрения: тот факт, что под влиянием более или менее «гениальных» личностей эти концепции воспринимаются «некритически», свидетельствует о примитивности старых политических партий, об узком эмпиризме всякой конструктивной деятельности

(включая государственную деятельность), об отсутствии в итальянской жизни какого бы то ни было «стержневого» движения, которое заключало бы в себе возможность постоянного и непрерывного развития.

Партийные программы были лишены исторической перспективы, выработанной с максимальной научной серьезностью, перспективы, позволяющей выдвинуть, исходя из всей предшествующей истории, те цели, которые должны быть достигнуты в будущем и которые следует поставить перед народом как необходимость, требующую сознательной борьбы; отсутствие подобной перспективы и обусловило процветание множества идеологических романов, являющихся в сущности предпосылкой (манифестом) таких политических движений, которые теоретически считаются необходимыми, но для развязывания которых впоследствии практически ничего не делается.

Такая позиция чрезвычайно облегчает «операции» тех сил, которые часто называют «скрытыми» или «безответственными» силами и рупором которых являются «независимые» газеты. Эти силы заинтересованы в том, чтобы время от времени создавать связи с тем или иным случаем движения общественного мнения, существование которых они поддерживают до тех пор, пока не достигнут собственных целей, после чего позволяют этим движениям ослабнуть и умереть. Появляются «наемные отряды», отряды подлинных идеологических наемников, которые именно потому, что они готовы служить плутократии или иным группам, часто прикидываются борцами против плутократии и т. д. Типичным организатором таких «отрядов» был Пиппо Нальди, последователь Ориани и вдохновитель Марио Миссироли и его журналистских импровизаций.

Было бы полезно составить полную библиографию работ Марио Миссироли *. Основные тезисы, выдвинутые

* Вот некоторые из его книг: «Социалистическая монархия» [La Monarchia socialista (1913)], «Либеральная полемика», «Мнения», «Государственный переворот» [Polemica liberale, Opinioni, Un colpo di Stato (1925)], «Проигранная битва», «Италия сегодня» [Una battaglia perduta, Italia d'oggi (1932)], «Республика нищих» (о Молинелле) [La repubblica degli accattoni], «Любовь и голод», «Воздайте кесарю кесарево...» [Amore e fame, Date a Cesare... (1929)], «Папа в войне» [Il Papa in guerra (1917)] и др.

Миссиरोли. таковы: во-первых, Рисорджименто было королевским завоеванием, а не народным движением; во-вторых, Рисорджименто не разрешило проблемы взаимоотношения между государством и церковью. Это соображение связано с первым, ибо «народ, не познавший религиозной свободы, не мог познать и свободы политической. Идеал независимости и свободы стал достоянием и программой героического меньшинства, которое помышляло о единстве вопреки уступчивости и бездействию народных масс».

В конечном счете Рисорджименто в целом и всю современную национальную историю можно было бы объяснить отсутствием протестантской реформации в Италии. Миссироли применяет к Италии принципы и критерии герменевтики, с которыми Масарик подходил к русской истории (хотя Миссироли и заявил о своем согласии с критикой, направленной Антонио Лабриолой против Масарика как историка). Подобно Масарику, Миссироли (несмотря на его связи с Ж. Сорелем) не понимает, что духовная и нравственная (то есть «религиозная») «реформация», имевшая народное значение, в современном мире происходила дважды: сначала — с распространением принципов Французской революции, а во второй раз — с распространением ряда концепций, заимствованных из философии практики и часто смешанных с просветительской философией, а впоследствии — с научным эволюционизмом. Тот факт, что эта «реформация» приняла грубые формы и ее идеи распространялись через массовые брошюры, не является достаточным возражением против ее исторического значения. Не следует думать, что народные массы, находящиеся под влиянием кальвинизма, усвоили идеи относительно более сложные и тонкие по сравнению с теми, которые содержались в этих брошюрах. С другой стороны, возникает вопрос о руководителях этой реформации, об их непоследовательности и отсутствии у них сильного, энергичного характера.

Миссироли не пытается проанализировать, почему меньшинство, руководившее движением Рисорджименто, не «пошло в народ», не сумело сделать это ни «идеологически», путем принятия демократической программы, которая все же доходила до народа благодаря переводам с французского, ни «экономически», с помощью аграрной

реформы. А ведь это «могло» произойти, ибо крестьянство в то время составляло подавляющую часть населения Италии и аграрная реформа была его самой насущной потребностью, между тем как протестантская реформация в Германии совпала именно с крестьянской войной, а во Франции сопровождалась столкновениями между дворянством и буржуазией*.

«Единство не могло быть осуществлено папством вследствие его универсальной природы и органической враждебности ко всем современным свободам; но не удалось также и восторжествовать над папством, противопоставив католической идее идею столь же универсальную, которая в равной степени соответствовала бы и индивидуальному сознанию и сознанию всего мира, обновленного реформацией и революцией». Все это абстрактные и по большей части лишенные смысла утверждения. Какую универсальную идею противопоставила католицизму Французская революция? Почему же во Франции движение было народным, а в Италии нет? Знаменитое итальянское меньшинство, называемое «героическим» (у авторов выражение «героическое» имеет чисто «эстетическое» или риторическое значение и прилагается одинаково как к дону Таццоли⁵², так и к миланским дворянам, пресмыкательство которых перед австрийским императором дошло до такой степени, что даже была написана книга о Рисорджименто как о революции «без героев», книга, носившая такой же чисто литературный и книжный характер), — меньшинство, руководившее объединительным движением, в действительности больше интересовалось экономическими вопросами, чем идеальными формулами, и в большей степени боролось не столько против врагов единства, сколько за то, чтобы помешать народу участвовать в движении и тем самым превратить это движение в социальное (в смысле осуществления аграрной реформы).

* Нельзя забывать, что, с другой стороны, на аграрной реформе спекулировала Австрия с целью восстановить крестьян против патриотов, владевших латифундиями, а либералы-консерваторы с помощью школ взаимного обучения и рассчитанных на народные массы учреждений взаимопомощи и мелкого кредита под залог стремились завоевать симпатии только ремесленников и незначительных групп городских рабочих: среди основателей «Всеобщей ассоциации рабочих» Турина был Кавур.

Миссироли пишет, что новый фактор, появившийся в итальянской истории после воссоединения, а именно социализм, стал самой могущественной формой проявления антиунитаристской и антилиберальной реакции (это сущий вздор, который не согласуется с другими суждениями самого же Миссироли, утверждавшего, что социализм в Италии привел в движение народные силы, ранее отсутствовавшие или бездействовавшие). Как пишет сам Миссироли, «социализм не только не разжег политические страсти (?!), но в огромной степени способствовал тому, чтобы потушить их. Это была партия бедноты и голодающих плебеев: экономические вопросы быстро стали главенствующими, политические принципы уступили место (?!) материальным интересам»; возникло «препятствие, направлявшее народные массы в сторону экономических завоеваний и заставлявшее их обходить все правовые вопросы». Таким образом, социализм совершил ошибку, противоположную той, которую совершило знаменитое меньшинство: последнее говорило только об абстрактных идеях и политических учреждениях, а социализм пренебрег политикой во имя чистой экономики. Правда, в другом месте Миссироли именно за это хвалит реформистских вожakov и т. д.; подобные методы, имеющие ориентистское и республиканское происхождение, были восприняты Миссироли легкомысленно и безответственно*.

Разве политическое движение, которое привело к национальному объединению и созданию итальянского государства, должно обязательно вылиться в национализм и милитаристский империализм? Можно утверждать, что подобное превращение является анахроническим и антиисторическим (то есть искусственным и неспособным к широкому распространению) и по существу противоречит всем итальянским традициям — сначала древнеримским, а впоследствии католическим, — носившим космополитический характер.

* На самом деле Миссироли — только блестящий писатель, как это принято говорить. Создается вполне определенное впечатление, что он ни во что не ставит свои идеи, Италию и все прочее, его увлекает только минутная игра некоторых абстрактных понятий, ему нравится каждый раз преклонять колени перед новым идеалом (Миссироли — «ванька-встанька»).

Можно дать объяснение тому факту, что политическое движение должно было выступить против космополитических традиций и открыть дорогу национализму интеллигентов; однако не может быть и речи о том, что выступление против этих традиций носило органически-народный характер. С другой стороны, в период того же Рисорджименто Мадзини и Джоберти стремились связать национальное движение с космополитической традицией, создать миф о миссии возрожденной Италии в новом европейском и мировом космополите. Но это был чисто словесный, риторический миф, опиравшийся на прошлое, а не на такие условия настоящего, которые уже сформировались или находились в процессе развития (подобные мифы всегда являлись ферментом, действовавшим на всем протяжении итальянской истории, включая ее новейший период — от Квинтино Селла до Энрико Коррадини и Д'Аннунцио).

Если какое-либо событие произошло в прошлом, то отсюда не следует, что оно должно повториться в настоящем или будущем. Условий для военной экспансии как в настоящем, так и в будущем не существует. Мне кажется, что их нет даже в зародыше. Современная экспансия носит финансово-капиталистический характер. «Человек» в современной Италии — это либо «человек-капиталист», либо «человек-труженик». Итальянская экспансия может быть только экспансией «человека-труженика», и интеллигент, выражающий его интересы, не является традиционным интеллигентом, начиненным риторикой и книжными воспоминаниями о прошлом. Традиционный итальянский космополитизм должен был стать космополитизмом современного типа, то есть таким, который обеспечил бы лучшие условия развития для итальянского трудящегося, в какой бы части мира он ни находился.

«Гражданин мира» должен появиться — и уже не потому, что он *civis romanus* или католик, а потому, что он творец цивилизации. Поэтому можно утверждать, что итальянскую традицию диалектически продолжают трудящиеся и их интеллигенция, а не традиционный гражданин и традиционный интеллигент. Итальянский народ является таким народом, который «национально» больше всего заинтересован в современной форме космополитизма. В этом заинтересован не только рабочий,

но и крестьянин, и особенно крестьянин Юга. Совместное участие в экономическом преобразовании мира в унитарном плане составляет традицию итальянского народа и итальянской истории. Такое сотрудничество нужно итальянскому народу не для того, чтобы господствовать над миром и присваивать себе продукты чужого труда,— оно необходимо ему для того, чтобы существовать и развиваться именно как итальянскому народу, и можно доказать, что у истоков этой традиции стоял еще Цезарь. Национализм французского типа является анахроническим наростом в итальянской истории, он присущ людям, у которых головы свернуты назад, как у дантовских грешников. «Миссия» итальянского народа состоит в том, чтобы возродить древнеримский и средневековый космополитизм, но в его наиболее современной и развитой форме.

Допустим, что итальянский народ является «пролетарской нацией», как захотелось назвать его Пасколи,— пролетарской, ибо она служила резервной армией для иностранных капиталистов, ибо она вместе со славянскими народами дала всему миру умелые рабочие руки. Именно поэтому итальянский народ должен включиться в современный фронт борьбы за преобразование всего общества (а не только итальянского), в созидании которого он участвовал своим трудом...

История как национальная „биография“

Такой метод написания истории появляется с зарождением национального чувства; он представляет собой политический инструмент, предназначенный для координации и укрепления в широких массах именно тех элементов, совокупность которых и составляет национальное чувство.

Этот метод, во-первых, предполагает, что то, чего стремятся достигнуть, всегда существовало, но не могло открыто утвердиться и проявиться из-за вмешательства внешних сил или из-за того, что внутренние силы еще «дремали»; во-вторых, он открывает дорогу для народной олеографической истории. В самом деле, Италия представляется чем-то абстрактным и в то же время конкретным, даже чересчур конкретным, прекрасной матроной из народных олеографий, оказывающих (всегда ирра-

циональным образом) большее, чем принято думать, влияние — как положительное, так и отрицательное — на психологию отдельных слоев народа. Италия представляется матерью, «детьми» которой являются все итальянцы. При помощи перехода, который кажется грубым и иррациональным, но, несомненно, является действенным, биография матери превращается в коллективную биографию «добрых детей», противопоставляемых детям испорченным, сбившимся с пути истинного, и т. д.

Понятно, что подобный метод написания и популяризации истории вызван практическими пропагандистскими мотивами. Но почему еще и теперь продолжают придерживаться подобной традиции?

В наши дни такое освещение итальянской истории вдвойне антиисторично. Во-первых, потому, что оно находится в противоречии с действительностью; во-вторых, потому, что оно, принижая масштабы и самобытность деятелей Рисорджименто, мешает тем самым правильно оценить их усилия, которые были направлены не только против внешних врагов, но в особенности против тех консервативных сил внутри страны, которые противодействовали объединению.

Чтобы понять «педагогические» мотивы, обусловившие истолкование истории как национальной биографии, следует и в данном случае сопоставить положение в Италии с положением во Франции в тот период, когда осуществлялось Рисорджименто. Наполеон объявил себя императором французов, а не Франции; подобным же образом Луи Филипп объявил себя королем французов. Это наименование имеет глубоко национально-народный характер, оно является явным сколком с эпохи родового строя и свидетельством того, что решающее значение придавалось людям, а не территории. Поэтому во Франции над «Марианной» могут подшучивать даже самые горячие патриоты, между тем как среди итальянцев высмеивание стилизованного образа Италии означало бы безусловную принадлежность к лагерю антипатриотов, каковыми были, например, санфедисты и иезуиты до и после 1870 года.

Одним из источников различных «концепций» итальянского Рисорджименто является особый вид сектантства, характерный для итальянского образа мышления. Это сектантство проявляется в настоящей мании пресле-

дования, в убеждении, что об итальянцах всегда плохо отзываются и недооценивают их, в уверенности, что итальянцы — жертвы международных заговоров, что у них особые исторические права, права непризнанные, попранные и т. д.

Такие представления свойственны как демократическим течениям мадзинистского происхождения, так и консервативным течениям неогвельфского и джобертианского толка. Они связаны с туманно воспринятой и мистически ощущаемой идеей национальной «миссии». И во всех случаях это выливается в галлофобию, ибо считается, что Франция похитила у Италии ее право быть наследницей древнего Рима — право, которым она обладала в силу своего гражданского первородства.

В период Рисорджименто борьба против Австрии заглушила это чувство. Но теперь, после исчезновения Австрийской империи, оно возродилось и обострилось в связи с балканским вопросом, наличие которого рассматривают как результат враждебности Франции.

Были ли «унаследованы» при формировании единого итальянского государства все политико-культурные функции, выработанные ранее отдельными мелкими государствами, или же с этой точки зрения они были полностью утрачены? Иначе говоря, унаследовало ли новое государство в своем международном положении позиции отдельных ранее существовавших итальянских государств или же наряду с новоприобретенными выгодами оно понесло также некоторый ущерб? И был ли этот ущерб ощутимым в жизни объединенного государства в период 1861—1914 годов? Мне кажется, что этот вопрос не является праздным.

Очевидно, например, что отношение Пьемонта к Франции, когда ему принадлежала Савойя, было одним, а отношение к Франции Италии, лишившейся Савойи и Ниццы, — совершенно другим. То же самое можно сказать и в отношении Швейцарии и позиции Женевы. Так же обстоит дело и с Неаполитанским королевством. Единая Италия не могла иметь такого же влияния в восточном Средиземноморье и находиться в таких же отношениях с Россией и Англией, как Неаполитанское королевство. То, что можно было позволить государству Бурбонов, обладавшему слабым военным потенциалом

и относительно небольшому по размерам, нельзя было разрешить итальянскому государству.

Однако мне кажется, что в последние годы сильно преувеличивается неаполитанское влияние на Востоке, преувеличивается по различным мотивам (стремление найти исторические прецеденты для современной политики, а также с целью реабилитации неаполитанских Бурбонов).

Более сложен вопрос о Папском государстве. Возникает также вопрос, унаследовала ли итальянская Венеция то значение, которое имела австрийская Венеция, или это значение полностью перешло к Триесту? В какой мере позиция английского правительства в отношении объединения Италии определялась не только ролью Австрии в Европе (как противовеса Франции и России), но также взаимоотношениями между Неаполем и Россией в Средиземноморье? И в какой мере противодействие, которое Россия оказывала итальянской колониальной политике (в отношении Абиссинии), было вызвано созданием нового итальянского государства и его зависимостью от Англии?

Проблема политического руководства в формировании и развитии нации и современного государства в Италии

К этой основной проблеме сводится весь вопрос о связи между различными политическими течениями Рисорджименто, вопрос об их отношениях друг с другом и с подобными им или зависимыми от них социальными группами, существующими в исторически разнообразных частях (или секторах) национальной территории.

Умеренные представляли собой относительно однородную социальную группу, вследствие чего их руководство испытывало сравнительно ограниченные колебания (во всяком случае, они шли по линии органически прогрессивного развития). В то же время так называемая Партия действия не имела опоры ни в одном определенном историческом классе и колебания, испытанные ее руководящими органами, в конечном счете разрешались в соответствии с интересами умеренных. Это означало, что исторически Партией действия руководили умеренные: выражение, приписываемое Виктору Эммануилу II, относительно того, что Партия действия «находится

у него в кармане» (или что-то в этом роде), было практически точным, и не только в силу личных связей короля с Гарибальди, но также и потому, что фактически Кавур и король «косвенно» руководили Партией действия.

Методологический критерий, который надо положить в основу настоящего исследования, заключается в следующем: главенство социальной группы проявляется в двух формах — в форме «господства» и в форме «духовного и нравственного руководства».

Лишь та социальная группа является господствующей над враждебными ей группами, которая стремится «ликвидировать» или подчинить их себе, не останавливаясь перед вооруженной силой, и которая одновременно выступает как руководитель союзных и родственных ей групп. Социальная группа может и даже должна выступать как руководящая еще до захвата государственной власти (в этом заключается одно из важнейших условий самого завоевания власти). Впоследствии, находясь у власти и даже прочно удерживая ее, становясь господствующей, эта группа должна будет оставаться в то же время «руководящей».

Умеренные продолжали руководить Партией действия даже после 1870 и 1876 года, и так называемый «трансформизм» представляет собой не что иное, как парламентское выражение этой духовной, нравственной и политической гегемонии. Можно даже сказать, что вся итальянская государственная жизнь начиная с 1848 года и в последующее время характеризуется трансформизмом, то есть созданием все более многочисленного руководящего класса в рамках, которые были установлены умеренными после 1948 года и после банкротства неогвельфистских и федералистских утопий, — созданием, сопровождавшимся постепенным, но непрерывным поглощением (это осуществляется различными по своей эффективности методами) активных элементов не только из союзных, но даже из тех неприятельских групп, которые казались непримиримо враждебными. В этом смысле политическое руководство превращается в один из аспектов господства, поскольку поглощение *élite* из враждебных групп приводит к обезглавливанию этих групп и к их разрушению нередко на очень долгий период. Политика умеренных показывает со всей ясно-

стью, что политику гегемонии можно и нужно проводить и в период, предшествующий приходу к власти, и что не следует рассчитывать только на материальные силы, которые власть предоставляет для осуществления эффективного руководства. Именно блестящее разрешение этих проблем сделало возможным Рисорджименто в тех формах и границах, в которых оно было осуществлено — без «террора», как «революция без революции» или как «пассивная революция» (если употребить выражение Куоко в смысле, немного отличном от того, какой он сам в него вкладывает).

В каких же формах и какими средствами умеренным удалось утвердить аппарат (механизм) их духовной, нравственной и политической гегемонии? В тех формах и такими средствами, которые можно назвать «либеральными», то есть через индивидуальную, «молекулярную», «личную» инициативу, а не на основе партийной программы, выработанной и определенной согласно плану еще до начала практической и организационной работы. Впрочем, это было «естественно», если учесть структуру и роль тех социальных групп, чьи интересы выражали умеренные, которые были руководящим слоем этих групп, интеллигентами в органическом смысле.

По-иному вставала эта проблема перед Партией действия, и ей следовало бы использовать другую систему организации. Умеренные были «конденсированным» сгустком интеллигенции. Это вызывалось уже самим органическим характером их отношений с теми социальными группами, интересы которых они выражали (по всей линии этих отношений проявлялась тождественность интересов представляемых и их представителей: умеренные являлись подлинно органическим авангардом высших классов, так как сами они в экономическом отношении принадлежали к этим классам; они были интеллигентами, политическими организаторами и вместе с тем возглавляли крупные хозяйства, были крупными землевладельцами или управляющими имениями, торговыми и промышленными предпринимателями и т. д.). Благодаря такого рода компактности или ограниченной концентрации умеренные оказывали «спонтанно» мощное притягательное воздействие на все слои итальянской интеллигенции, которая была «рассеяна», «распылена» по всему полуострову, что вызы-

валось нуждами просвещения и управления, удовлетворявшимися пусть даже лишь в элементарной степени. Здесь выступает методологическая сущность того критерия, который необходим для историко-политического исследования: не существует независимого класса интеллигентов — каждая социальная группа обладает собственной прослойкой интеллигентов или стремится создать ее. Но интеллигенция, принадлежащая к классу, который в данных условиях исторически (и реально) прогрессивен, обладает такой силой притяжения, что в конечном счете подчиняет себе интеллигенцию других социальных групп и, следовательно, добивается солидарности всей интеллигенции, используя связи психологического (тщеславие и др.), а часто кастового порядка (технические, юридические, корпоративные и др.).

В «спонтанной» форме это явление осуществляется в такие исторические периоды, когда данная социальная группа является действительно прогрессивной, когда она действительно способствует движению вперед всего общества, удовлетворяя не только свои важнейшие требования, но и непрерывно расширяя собственные кадры благодаря тому, что ее производственно-экономическая деятельность постоянно охватывает все новые сферы.

Как только господствующая социальная группа выполнила свою функцию, идеологический блок получает тенденцию к распадению, и тогда «спонтанность» может заменяться «принуждением», которое становится все более неприкрытым и прямым, вплоть до настоящих полицейских мер и государственных переворотов.

По своей природе Партия действия не могла обладать подобной силой притяжения. Напротив, она сама испытывала притяжение со стороны умеренных и находилась под их влиянием. Этому содействовали, во-первых, атмосфера запугивания (боязнь повторения в Италии террористического 93-го года, усиленная французскими событиями 1848—1849 годов), которая определяла нерешительность Партии действия, ее неспособность включить в свою программу определенные народные требования (например, требование аграрной реформы), а во-вторых, тот факт, что некоторые ее крупнейшие представители (Гарибальди) находились, хотя и не постоянно (то есть проявляли колебания), в состоянии личной зависимости от руководителей умеренных.

Для того чтобы Партия действия превратилась в самостоятельную силу и в конечном счете смогла бы по крайней мере придать движению за Рисорджименто более отчетливый народный и демократический характер (большого здесь, вероятно, она не смогла бы достигнуть при тех предпосылках, которые легли в основу самого движения), ей следовало бы противопоставить «эмпирической» деятельности умеренных (эмпирической она была только на словах, ибо превосходно соответствовала цели) органическую правительственную программу, которая отразила бы важнейшие требования народных масс, в первую очередь крестьян; «спонтанному» притяжению, осуществлявшемуся умеренными, следовало бы противопоставить планоно «организованное» сопротивление и контрнаступление.

Типичным примером спонтанного притяжения умеренных может служить формирование и развитие «либерально-католического» движения, которое так взбудоражило папство. Этому движению частично удалось парализовать действие папства, деморализуя его, толкая в первый период далеко влево (либеральничание Пия IX в его манифестах), а во второй период загоняя его на позиции более правые, чем оно само смогло бы занять, что в конечном счете привело к его изоляции на полуострове и в Европе. Папство впоследствии продемонстрировало, насколько оно усвоило урок, проявив в ближайшее же время блестящую способность к маневрированию. Появившийся вначале модернизм, а затем пополяризм⁵³ представляют собой движения, подобные либеральному католическому движению в период Рисорджименто. Оба эти движения многим обязаны силе спонтанного притяжения, присущей, с одной стороны, современному историзму светских интеллигентов высших классов, а с другой — практическому движению философии практики.

Папство ликвидировало модернизм как тенденцию, стремившуюся к реформированию церкви и католической религии, но содействовало развитию пополяризма, то есть социально-экономической базы модернизма, и сегодня руками Пия XI делает пополяризм стержнем своей мировой политики.

Наоборот, Партии действия недоставало именно конкретной правительственной программы. Она в сущности

всегда была не чем иным, как органом пропаганды и агитации на службе у умеренных. Внутренние разногласия и конфликты в Партии действия, страшное негодование, которое Мадзини возбудил против себя лично и против своей деятельности среди наиболее смелых людей действия (Гарибальди, Феличе Орсини и др.), вызывались отсутствием твердого политического руководства. Споры внутри партии были в большой степени настолько же абстрактны, насколько абстрактна была проповедь Мадзини, но из этих споров можно извлечь полезные исторические указания (и они важны для понимания всего написанного Пизакане, который, впрочем, совершил непоправимые военные и политические ошибки; примером их может служить его оппозиция военной диктатуре Гарибальди и Римской республике).

Партия действия была проникнута риторической традицией итальянской литературы: она смешивала культурное единство, действительно существовавшее на полуострове, но ограниченное весьма незначительным слоем населения и зараженное ватиканским космополитизмом, с территориальным и политическим единством широких народных масс, которые были чужды этой культурной традиции и не придавали ей значения, так как не знали о самом ее существовании.

Можно сопоставить якобинцев и Партию действия. Якобинцы настойчиво боролись за обеспечение связей между городом (Парижем) и деревней, и в этом они добились успеха. Их поражение как определенной партии было вызвано тем, что в известный момент они выступили против требований парижских рабочих, но так или иначе их деятельность была продолжена в иной форме Наполеоном, а в наши дни, хотя и в весьма жалком виде, — радикал-социалистами Эррио и Даладье.

Во французской политической литературе всегда живо ощущалась и выражалась необходимость связи между городом (Парижем) и деревней — достаточно вспомнить серию романов Эжена Сю, чрезвычайно распространенных также и в Италии (Фогаццаро в «Отжившем мире» рассказывает, как Франко Майрони тайно получал из Швейцарии выпуски «Парижских тайн», которые рука палача бросала в костер для сожжения в некоторых европейских городах, например в Вене).

В этих романах с особой настойчивостью указывается на необходимость обратить внимание на крестьян и связать их с Парижем. Сю был популярным романистом, писавшим в духе якобинской политической традиции, и «духовным наставником» для Эррио и Даладье по многим вопросам (наполеоновская легенда, антиклерикализм и антииезуитизм, мелкобуржуазный реформизм, теории перевоспитания и т. д.).

Конечно, Партии действия всегда была присуща в скрытой форме антифранцузская направленность благодаря мадзинистской идеологии (см. статью в «Критика» за 1929 год, стр. 223 и далее, очерк Омодео «Французское первенство и итальянская инициатива»), но она имела в истории полуострова традицию, к которой она могла обратиться, чтобы продолжить ее.

В этом отношении богатый опыт дает история коммун: зарождающаяся буржуазия ищет в крестьянстве союзника против Империи и против местного феодализма (правда, вопрос осложняется борьбой между буржуазией и дворянами за приобретение дешевой рабочей силы; буржуазии нужна в изобилии рабочая сила, а она может быть предоставлена только сельскими массами; дворяне же заинтересованы в том, чтобы крестьянство было прикреплено к земле; учащается бегство крестьян в города, где дворяне не могут схватить их. Во всяком случае, даже в иной ситуации, то есть в период развития цивилизации коммун, проявляется роль города как руководящего элемента и как элемента, который углубляет внутренние конфликты в деревне и служит военно-политическим инструментом для ослабления феодализма).

Первоклассный наставник итальянских правящих групп в искусстве политики — Макиавелли — также поставил эту проблему — конечно, в тех границах и в связи с теми задачами, которые были определены его временем. В военно-политических сочинениях Макиавелли достаточно ясно проводится мысль о необходимости органически подчинить народные массы руководящим слоям, чтобы создать национальное ополчение, способное заменить наемные отряды.

К этому направлению, основоположником которого был Макиавелли, вероятно, следует отнести и Карло Пизакане, который проблему осуществления народных

требований (после того, как они вызваны к жизни путем пропаганды) рассматривает преимущественно с военной точки зрения. Здесь было бы уместно проанализировать некоторые противоречия его концепции: Пизакане, неаполитанскому дворянину, удалось усвоить ряд военно-политических теорий, вызванных к жизни военным опытом Французской революции и Наполеона и ставших известными в Неаполе в период правления Жозефа Бонапарта и Иоахима Мюрата, особенно благодаря личному опыту неаполитанских офицеров, которые сражались в войсках Наполеона*.

Пизакане понял, что без демократической политики невозможно создать национальную армию с обязательной воинской повинностью; но необъяснимым остается его враждебное отношение к стратегии Гарибальди и его недоверие лично к Гарибальди — Пизакане относился к нему так же презрительно, как к Наполеону относились штабы старого режима.

В связи с этими проблемами Рисорджименто особенно необходимо изучить личность Джузеппе Феррари⁵⁴, но не столько по его так называемым главным сочинениям, представляющим собой беспорядочную и путаную литературную мешанину, сколько по случайным брошюрам и письмам. Феррари находился, однако, в большей степени вне конкретной итальянской действительности: он очень офранцузился. Часто его суждения кажутся более острыми по сравнению с тем, что существует в действительности, так как он применяет к Италии французские схемы, которые отражают положение страны значительно более передовой, чем Италия. Можно сказать, что по отношению к Италии Феррари находился в положении «потомка» и его ум был в известном смысле «умом будущего». Политик, напротив, должен эффективно действовать, учитывая современную обстановку. Феррари не видел, что между итальянской и французской действительностью отсутствует промежуточное звено и что важно было скрепить именно это звено, чтобы затем перейти к последующему. Феррари

* В своей статье, посвященной памяти Кадорны, в «Нуова антологиа» (1 марта 1929 года) М. Миссиروли настаивает на том, что этот опыт и неаполитанские военные традиции сыграли важную роль (в частности, благодаря Пианелла) в реорганизации итальянской армии после 1870 года.

не умел «переводить» с французского на итальянский, и поэтому сама его «острота» превращалась в элемент путаницы, порождала новые секты и течения, но не оставляла следа в реальном движении.

При более глубоком рассмотрении вопроса оказывается, что в целом ряде отношений различие между многими сторонниками Партии действия и умеренными состояло скорее в различии «темперамента» и не имело органически политического характера.

Термин «якобинец» в конце концов получил два значения: первое — собственное, исторически точное значение, как название определенной партии Французской революции, которая, обладая определенной программой, ставила своей целью осуществить (определенным способом) переворот во всей жизни страны на базе определенных социальных сил и чей метод партийной и правительственной деятельности отличался исключительной энергией, решительностью и смелостью, порожденными фанатической верой в благотворность этой программы и этого метода.

В политическом языке эти два аспекта якобинства раскололись, и якобинцем стали называть энергичного, решительного и фанатичного политика, который фанатически убежден в чудодейственной силе своих идей, каковы бы они ни были. В этом определении преобладали скорее разрушительные элементы, проистекавшие из ненависти к противникам и врагам, чем элементы созидания, которые проистекают из поддержки требований народных масс; скорее преобладал элемент сектантства, заговорщической узости, фракционности, необузданного индивидуализма, чем политический национальный элемент. Если мы читаем, что Криспи был якобинцем, то данное утверждение следует понимать именно в этом извращенном смысле. По своей программе Криспи был стопроцентным умеренным. Самая благородная якобинская страсть, которой он был «одержим», заключалась в стремлении к политико-территориальному единству страны. Этот принцип был всегда его ориентиром не только в период Рисорджименто в узком смысле слова, но также и в последующий период, когда Криспи входил в правительство. Будучи человеком исключительно страстным, он ненавидит умеренных как людей; для него это люди, которые приходят к шапочному разбору, «ге-

рой шестого дня»⁵⁵, которые бы заключили мир со старыми режимами, если бы эти режимы стали конституционными; люди, подобные умеренным Тосканы, которые цеплялись за фалды великого герцога, чтобы не дать ему убежать. Он мало верил в единство, осуществленное не сторонниками единства. Поэтому он связывается с монархией, которая — он знает это — будет решительно выступать за объединение по династическим соображениям, и поддерживает принцип гегемонии Пьемонта с энергией и пылом, каким не обладали даже пьемонтские политики. Кавур предостерегал против введения на Юге осадного положения; Криспи, наоборот, сейчас же устанавливает осадное положение и военные суды в Сицилии для участников движения «фаший», обвиняет руководителей их в тайном сговоре с Англией с целью отторжения Сицилии (псевдотрактат Бизакуино). Он тесно связывается с сицилийскими латифундистами (потому что они наиболее рьяно выступали за объединение из страха перед требованиями крестьян) в тот самый период, когда основная линия политики направлена на усиление промышленности Севера при помощи тарифной войны против Франции и таможенного протекционизма. Он не колеблется ввергнуть Юг и Острова в страшный торговый кризис, лишь бы усилить промышленность, которая смогла бы дать стране действительную независимость и расширила бы состав господствующей социальной группы. Это политика фабрикации фабрикантов.

Правительство «правой» с 1861 по 1876 год, действуя робко, создало лишь главные внешние условия для экономического развития (приведение в порядок государственного аппарата, дорог, телеграфа, железнодорожных линий) и оздоровило финансы, обремененные войнами Рисорджименто.

«Левая» искала средства, чтобы успокоить негодование, вызванное в народе односторонней фискальной политикой «правой». Но ей удалось лишь стать предохранительным клапаном: она продолжала политику «правой» при помощи сторонников «левой» и левых фраз.

Криспи, напротив, действительно дал толчок развитию нового итальянского общества; он был верным человеком новой буржуазии. Для его деятельности характерно тем не менее противоречие между словами и делами, между репрессиями и объектом репрессий, между

орудием действия и методом нанесения удара; он так использовал ржавую кулеврину, как будто бы она была современным артиллерийским орудием. Даже колониальная политика Криспи связана с его страстью к объединению, и для этой политики он сумел использовать политическую неопытность Юга. Южный крестьянин жаждал земли, и Криспи, который не хотел (и не мог) дать ему землю в самой Италии, так как не хотел осуществить «экономический якобинизм», создал миф о колониальных землях, которые можно эксплуатировать. Империализм Криспи был империализмом страстным, ораторским, лишенным какой-либо финансово-экономической базы. Капиталистическая Европа, богатая средствами и достигшая той точки, когда норма прибыли начинала показывать тенденцию к падению, ощущала необходимость расширить сферу приложения своих капиталов, приносящих прибыль,— после 1890 года были созданы огромные колониальные империи. Но еще незрелая Италия не только не имела капиталов для вывоза, но должна была прибегать к иностранному капиталу для удовлетворения своих собственных неотложных нужд. Итальянскому империализму не хватало, следовательно, реального импульса, и этот импульс был заменен крайним возбуждением, охватившим сельских жителей, слепо тянущихся к земельной собственности: речь шла о том, что разрешение насущных проблем внутренней политики откладывалось до бесконечности. Поэтому политика Криспи была враждебно встречена самими же капиталистами (северными), которые больше были заинтересованы в том, чтобы огромные суммы расходовались не в Африке, а в Италии; но на Юге Криспи был популярен благодаря тому, что создал миф о «легкой земле».

Криспи придавал большое значение обширной группе сицилийских интеллигентов (особенно потому, что она оказала влияние на всю итальянскую интеллигенцию, создавая первые ячейки национального социализма, которому в будущем предстояло бурно развиваться). Он создал фанатизм единства, обусловивший появление устойчивой атмосферы подозрительности по отношению ко всему тому, что могло походить на сепаратизм. Однако это не помешало сицилийским латифундистам собраться в 1920 году в Палермо и предъявить настоящий ультиматум

«правительству Рима», угрожая отделением, как и не помешало тому, что некоторые из этих латифундистов продолжали сохранять испанское подданство и заставляли правительство Мадрида вмешаться дипломатическим путем (случай с герцогом Бивона в 1919 году) в защиту их интересов, которым угрожало движение крестьян, бывших фронтовиков.

Положение различных социальных групп на Юге с 1919 по 1926 год делает возможным осветить и показать некоторые слабости объединительного направления, которого с такой страстью придерживался Криспи, и отметить некоторые коррективы, внесенные к нему Джолитти. Эти коррективы были немногочисленны, ибо Джолитти по существу придерживался линии Криспи; якобинизм, присущий характеру Криспи, Джолитти заменил усердием и бюрократическим прилежанием; он сохранил «миф о земле» в колониальной политике, но с еще большей силой поддержал эту политику теорией военной «обороны» и сделанным заблаговременно утверждением, что необходимо создать в будущем свободу для экспансии.

Эпизод с ультиматумом сицилийских латифундистов в 1920 году не является изолированным. Ему можно было бы дать другое истолкование в связи с прецедентом, имевшим место с высшими классами Ломбардии, которые когда-то угрожали «действовать самостоятельно», восстанавливая старое Миланское герцогство (политика кратковременного шантажа по отношению к правительству), если бы не то достоверное истолкование данного эпизода, которое встречается в кампаниях, проводившихся в «Маттино» с 1919 года и вплоть до устранения братьев Скарфольо; было бы слишком упрощенно считать эти кампании целиком висящими в воздухе, то есть не связанными определенным образом с направлениями общественного мнения и с внутренним состоянием людей, которое оставалось невыявленным, скрытым, подспудным благодаря атмосфере запугивания, созданной неистовым унитаризмом. «Маттино» дважды выступала со следующим тезисом: Юг согласился стать составной частью Итальянского государства на договорной основе, на базе статута Карла-Альберта, но фактически (и это вытекает из общего смысла) он продолжает сохранять свою собственную индивидуаль-

ность и имеет право выйти из объединенного государства, если договоренность окажется каким-нибудь образом нарушенной, то есть если окажется измененной конституция 1848 года. В одном истолковании этот тезис был выдвинут против изменения конституции в 1919—1920 годах, а в 1924—1925 годах он снова был использован против изменения конституции, но уже в другом его истолковании. Необходимо помнить о том значении, какое имела «Маттино» на Юге (она была в то время самой распространенной газетой). «Маттино» всегда имела кристианский экспансионистский характер, задавая тон южной идеологии, возникшей на почве земельного голода и тягестей эмиграции, которые толкали к любой туманной идее народного колониализма. Что касается «Маттино», то необходимо, кроме того, напомнить: 1) о неистовой кампании против Севера в связи с незаконной попыткой части ломбардских текстильщиков задуть некоторые отрасли хлопчатобумажного производства на Юге (когда дело дошло до того, что они намеревались ввозить в Ломбардию машины, выдавая их за железный лом, чтобы обойти законодательство в промышленных районах), — попыткой, вскрытой той самой газетой, которая дошла до прославления Бурбонов и их экономической политики (это случилось в 1923 году); 2) о проникнутых «печалью» и «тоской по родине» воспоминаниях Марии-Софии, напечатанных в 1925 году, что вызвало большой шум и скандал. Несомненно, что для оценки такой позиции «Маттино» необходимо учесть некоторые моменты методического порядка: авантюризм и продажность братьев Скарфольо, их идеологическое и политическое дилетантство*.

* Следует напомнить, что Мария-София постоянно стремилась вмешиваться во внутреннюю итальянскую политику из чувства мести, если не в надежде восстановить королевство Неаполя, расходуя на это даже деньги, что не вызывает сомнения. В «Унита» в 1914—1915 годах была опубликована заметка против Энрико Малатеста, в которой утверждалось, что австрийский генеральный штаб мог субсидировать и поощрять события июня 1914 года через Дзиту Бурбон благодаря тому, что между Малатеста и Марией-Софией существовали «дружеские» отношения, которые, кажется, никогда не прерывались. В работе «Люди и дела старой Италии» [Uomini e cose della vecchia Italia] Б. Кроче возвращается к этим отношениям в связи с попыткой организовать побег одного анархиста, который совершил покушение после дипломатического демарша, пред

Но необходимо настаивать на том, что «Маттино» была самой распространенной на Юге газетой и что Скарфольо были прирожденными журналистами, то есть обладали той острой и «чарующей» интуицией, той способностью чувствовать самые глубинные и страстные народные течения, которая делает возможным распространение желтой прессы.

Другим элементом, позволяющим выяснить подлинное значение политики объединения, которую с такой одержимостью проводил Криспи, является комплекс мнений, сложившихся на Севере по отношению к Югу. «Нишета» Юга была исторически «необъяснима» для народных масс Севера: они не понимали, что объединение было осуществлено не на основе равенства, а на базе господства Севера над Югом в территориальных отношениях между городом и деревней, то есть что Север по существу был «спрутом», который обогащался на расходах Юга, и что его промышленно-экономическое развитие находилось в прямой связи с истощением хозяйства и земледелия Юга. Простой человек в Верхней Италии думал, напротив, что если Юг не развивается после его освобождения от тех препятствий, которые режим Бурбонов создавал на пути современного развития, то это означает, что причины нищеты носили не внешний характер и не вытекали из объективных политических и экономических условий, а были, так сказать, врожденными, внутренне присущими южному населению, — тем более, что глубоко укоренилось убеждение о большом естественном плодородии почвы на Юге. Нищету Юга оставалось объяснить лишь одним — органической неспособностью людей, их варварством и биологической неполноценностью. Эти мнения, уже сильно распространившиеся (неаполитанский лаццаронизм является старинной легендой), были закреплены и действительно возведены в теорию социологами-позитивистами (Ничи-

принятого итальянским правительством в адрес французского с целью пресечь ту деятельность Марии-Софии. Следует напомнить, кроме того, анекдоты о Марии-Софии, рассказанные синьорой Б., которая в 1919 году часто навещала бывшую королеву, чтобы написать ее портрет. Наконец, Малатеста никогда не отвечал на эти обвинения, что было его долгом; утверждают, что он действительно ответил письмом в одну газетку, нелегально издававшуюся во Франции С. Скикки под названием «Пиккониере», но и это утверждение весьма сомнительно.

форо, Серджи, Ферри, Орано и др.), мгновенно превратившись из предрассудка в «научную истину».

Так развернулась полемика между Севером и Югом о расах и превосходстве и неполноценности Севера и Юга (см. с этой точки зрения книги Колаяйяни в защиту Юга и серию «Ривиста пополяре»). Между тем на Севере сохранилось убеждение, что Юг был для Италии «свинцовой гирей», что без этой «свинцовой гири» современная промышленная цивилизация Верхней Италии достигла бы огромных успехов и т. д.

В начале века начинается сильная реакция Юга и на этой почве. На конгрессе, происходившем под председательством генерала Руджина в Сардинии в 1911 году, подсчитывается, сколько сотен миллионов было выкачано из Сардинии в пользу континента за первые пятьдесят лет существования объединенного государства.

Кампания, начатая Сальвемини, кульминационной точкой которой было основание «Унита», но которая проводилась еще «Воче» (см. единственный номер «Воче», посвященный «южному вопросу», перепечатанный затем отдельной брошюрой). В Сардинии начинается движение за автономию под руководством Умберто Кау, у которого также была ежедневная газета — «Иль Паезе». В начале этого века образовался также известный «интеллигентский», «панитальянский» блок во главе с Б. Кроче и Джустино Фортунато, который стремился навязать «южный вопрос» как национальную проблему, разрешение которой способно обновить политическую и парламентскую жизнь. В любом журнале, издававшемся молодежью, которой были присущи либеральные и демократические тенденции и которая вообще стремилась к обновлению национальной жизни и культуры и к ликвидации их провинциального характера во всех областях — в искусстве, в литературе, в политике, проявляется не только влияние Кроче и Фортунато, но и их сотрудничество — например, в «Воче» и в «Унита», а также в болонской «Патриа», в миланской «Ациона либерале», в движении молодых либералов под руководством Джованни Борелли и т. д. Влияние этого блока пролагает путь для утверждения политической линии «Коррьере делла сэра» Альбертини, а после войны благодаря новой ситуации проявляется в «Стампа» (через Космо, Сальваторелли, а также и Амброзини) и в джо-

литтизме благодаря участию Кроче в последнем правительстве Джолитти*.

Движение достигает своего наибольшего подъема, при котором начинается также его разложение. Это начало разложения следует отождествлять с той особой позицией, которую занял П. Гобетти, и с его культурными начинаниями. Полемика Джованни Ансальдо (и его сотрудников вроде «Кальканте», то есть Франческо Чиккотти) с Гвидо Дорсо является документом, наиболее ярко отражающим этот решительный переход на новую позицию даже благодаря той комичности, которая теперь ясно видна в гладиаторских позах и в запугивании неистовым унитаризмом**.

Из этих наблюдений и из анализа некоторых элементов итальянской истории периода, последовавшего за объединением, можно извлечь ряд критериев для оценки глубоко противоположной позиции умеренных и Партии действия и для исследования различия в политической «мудрости» этих двух партий и тех различных течений, которые оспаривали политическое и идеологическое руководство последней из них. Очевидно, что Партия действия, если она хотела эффективно противопоставить себя умеренным, должна была связаться с сельскими массами, особенно южными, стать «якобинской» не только по внешней «форме», по темпераменту, но главным образом по своей социально-экономической сущности. Связь различных сельских классов, которая осуществлялась в реакционном блоке с помощью различных слоев легитимистско-клерикальной интеллигенции, могла быть расторгнута — с тем чтобы перейти к новому национально-либеральному объединению — только в том

* Это движение, несомненно очень сложное и многогранное, сегодня тенденциозно истолковывается даже Дж. Преццолини, который был его типичным представителем. Но существует первое издание «Культура итальяна» (1923) самого же Преццолини, как раз со всеми его упущениями, в качестве достоверного документа.

** Ансальдо в 1925—1926 годах считал возможным заставить урвать в возвращение Бурбонов в Неаполь. Это показалось бы непостижимым для того, кто не знает всех предшествовавших событий в этом вопросе и тех скрытых путей, которыми велась полемика, — намеками и высказываниями, загадочными для «непосвященных». Тем не менее известно, что даже среди некоторых народных элементов, которые читали Ориани, существовало тогда опасение, что в Неаполе возможна реставрация Бурбонов, а потом разложение объединенного государства в более широких размерах.

случае, если бы были предприняты усилия в двух направлениях: по отношению к основной массе крестьян благодаря признанию их элементарных требований и превращению их в составную часть правительственной программы и по отношению к средним и низшим слоям интеллигенции, сплывая их и отстаивая те требования, которые больше всего могли их заинтересовать (а уже сама перспектива формирования нового правительственного аппарата, который может использовать того, кто предлагает свои услуги, представляла бы собой очень важный элемент для их привлечения, если бы эта перспектива была представлена как конкретная, то есть основанная на стремлениях крестьян). Между этими двумя усилиями существовала диалектическая взаимная зависимость: опыт многих стран, и прежде всего Франции в период Великой революции, продемонстрировал, что если крестьяне приходят в движение благодаря «спонтанным» импульсам, то интеллигенты начинают колебаться и в свою очередь если группа интеллигентов начинает действовать на новой основе конкретной прокрестьянской политики, то она в конце концов увлекает за собой все более значительные группы масс. Можно сказать, однако, что в силу распыленности и изоляции сельского населения и, следовательно, из-за трудности объединить его в сплоченную организацию необходимо, чтобы инициаторами движения были группы интеллигентов (в общем, однако, между двумя этими действиями существует диалектическая зависимость, о которой необходимо помнить). Можно даже сказать, что из-за этого почти невозможно создать крестьянские партии в узком смысле слова. Вообще крестьянская партия существует только как устойчивое течение в общественном мнении, хотя уже намечаются контуры ее бюрократического оформления. Тем не менее даже существование только организационного костяка приносит огромную пользу, как в силу определенного сплочения людей, так и благодаря осуществлению таким образом контроля над группами интеллигентов и предотвращению того, чтобы кастовые интересы незаметно не заставили их перейти на другую почву.

Эти критерии надо учитывать при изучении личности Джузеппе Феррари, который был непризнанным «специалистом» по аграрному вопросу в Партии дей-

ствия. Необходимо также тщательно исследовать позицию Феррари по отношению к батракам (то есть к крестьянам без земли и поденщикам), которая играет значительную роль в его идеологии, благодаря чему он еще читается и изучается определенными течениями (работы Феррари перепечатаны Монанни с предисловием Луиджи Фаббри). Надо напомнить, что проблема батрачества является труднейшей и даже сегодня ее тяжело разрешить. Вообще необходимо помнить о следующих моментах: еще сегодня большинство батраков представляют собой просто безземельных крестьян (и, следовательно, еще большая часть их находилась на таком положении в период Рисорджименто), а не рабочих сельской промышленности, развившейся на основе концентрации капитала и разделения труда. В период Рисорджименто в значительно большей степени был распространен тип обязанного крестьянина в противоположность типу поденного работника. Поэтому психология батраков является, за необходимыми исключениями, той же психологией колона и мелкого собственника*.

Проблема вставала в острой форме не столько на Юге, где ремесленнический характер сельскохозяйственных работ был достаточно очевиден, сколько в Паданской долине, где он более завуалирован. Даже еще недавно наличие острой проблемы батрачества в Паданской долине частично вызывалось внеэкономическими причинами: 1) перенаселенностью, которая не находила выхода в эмиграции, что имело место на Юге, и искусственно поддерживалась политикой проведения общественных работ; 2) политикой собственников, которые, не желая консолидации трудящегося населения в единый класс батраков и исполнителей, чередовали аренду

* Следует напомнить о полемике между сенаторами Танари и Бассини в «Ресто дель Карлино» и в «Персеверанца», развернувшейся в конце 1917 и в начале 1918 года по поводу осуществления формулы «земля — крестьянам», выдвинутой в этот период времени. Танари был за, Бассини — против. Бассини основывается на своем опыте крупного сельскохозяйственного предпринимателя, собственника земледельческого хозяйства, в котором разделение труда зашло уже так далеко, что сделался невозможным раздел земли — вследствие исчезновения мелких крестьян и появления современных рабочих.

исполу с наймом в своем хозяйстве, используя это чередование для обеспечения лучшего отбора привилегированных исполщиков, которые явились бы их союзниками. На каждом конгрессе аграриев Паданского района всегда обсуждалось, что более выгодно: сдача в аренду исполу или наем, и было ясно, что выбор делался по мотивам социально-политического порядка. В период Рисорджименто проблема паданского батрачества проявлялась в форме устрашающего явления — пауперизма. Это видно из книги экономиста Туллио Мартелло «История Интернационала» [Tullio Martello, Storia dell'Internazionale], написанной в 1871—1872 годах; эту работу надо иметь в виду, потому что она отражает политические страсти и социальные тревоги предшествующего периода.

Позиция Феррари была ослаблена впоследствии его «федерализмом». Этот федерализм, особенно у Феррари, жившего во Франции, еще в большей степени выступал как отражение французских национальных и государственных интересов. Следует вспомнить Прудона и его брошюры, направленные против итальянского единства, на которое он нападал с точки зрения открыто признаваемых французских государственных интересов и интересов демократии. Действительно, главные течения французской политики были резко враждебны итальянскому единству. Еще и сегодня монархисты (Бэнвиль и К^о) ретроспективно «укоряют» обоих Наполеонов за создание «национального» мифа и за содействие его осуществлению в Германии и в Италии, что относительно уменьшало мощь Франции, тогда как Франции «надлежало» быть окруженной карликовыми государствами, вроде Швейцарии, чтобы быть «в безопасности».

Итак, именно на основе лозунга «независимость и единство», не принимая в расчет конкретного политического содержания такой общей формулы, умеренные после 1848 года сформировали национальный блок под своей гегемонией и в различной форме и степени оказывали влияние на двух главных руководителей Партии действия — Мадзини и Гарибальди. О том, как умеренным удалось добиться успеха в их стремлении отвлечь внимание от сущности дела к его внешней стороне, свидетельствует, между прочим, следующее выражение

Гвераци в письме к одному сицилийскому студенту*: «Пусть целью каждого будет все что угодно — деспотизм, республика или что-либо иное, — мы не стремимся размежеваться. На такой основе — провались даже мир — мы выйдем на дорогу». Впрочем, вся деятельность Мадзини практически сводилась к постоянной и непрестанной проповеди единства.

В связи с вопросом о якобинстве и Партии действия на первый план надо выдвинуть следующее: свое положение руководящей партии, положение, которое якобинцы завоевывали неустанной борьбой, они в действительности «навязали» французской буржуазии, толкая ее на позиции, значительно более передовые по сравнению с теми, которые самостоятельно пожелали бы занять более решительные на первых порах группы буржуазии, и даже значительно более передовые по сравнению с теми, которые были возможны благодаря историческим предпосылкам. А отсюда — толчки в обратном направлении и роль Наполеона I.

Эта черта, характерная для якобинства (а еще раньше — для Кромвеля и «круглоголовых») и, следовательно, для всей Великой революции и состоящая в явном форсировании развития событий и в создании положения непоправимых совершившихся фактов, когда группа исключительно энергичных и решительных людей бесцеремонно подгоняет вперед буржуазию, — эта черта может быть схематически намечена следующим образом: третье сословие было наименее однородным из всех сословий; оно включало в себя непропорционально большой слой интеллектуальной *élite* и группу, наиболее передовую в экономическом отношении, но политически умеренную. Развитие событий выливалось в один из самых интересных процессов. Представители третьего сословия вначале поднимают лишь те вопросы, которые интересуют только лиц, фактически входящих в эту социальную группу в данный момент, выдвигают их непосредственные корпоративные интересы (корпоративные — в традиционном смысле; непосредственные, эго-

* Переписка Ф. Д. Гвераци с нотариусом Франческо Паоло Сардофонтана ди Риэлла, опубликованная в «Архивии сторики сицилиано» Эудженио ди Карло, была коротко изложена в «Марпockко» от 24 ноября 1929 года.

истические — в узком смысле, как интересы определенной категории). Предвестники революции являются на деле умеренными реформаторами, которые сильно кричат, но на деле требуют очень малого. Мало-помалу отобралась новая *élite*, интересы которой не ограничиваются исключительно лишь реформами «корпоративного» характера. Она склонна рассматривать буржуазию как группу, руководящую всеми народными силами, и этот отбор происходит под воздействием двух факторов: сопротивления старых социальных сил и угрозы интервенции. Старые силы не хотят ничего уступать, а если уступают в чем-либо, то делают это, чтобы выиграть время и подготовить контрнаступление. Третье сословие попало бы в эти последовательно расставленные «ловушки», если бы не энергичные действия якобинцев, которые противятся всякой промежуточной остановке революционного процесса и посылают на гильотину не только элементы старого общества, которое не хочет умирать, но даже вчерашних революционеров, ставших сегодня реакционерами. Поэтому якобинцы были единственной партией, революционной на деле, поскольку они представляли не только непосредственные нужды и стремления французской буржуазии, но и революционное движение в его целом как единый исторический процесс, потому что они представляли также интересы будущего и, опять же, нужды не только определенных представителей французской буржуазии, но и всех национальных групп, которые должны были быть ассимилированы главной существовавшей тогда группой.

В противоположность тенденциозному и по существу антиисторическому направлению надо настаивать на том, что якобинцы были реалистами типа Макиавелли, а не абстрактными политиками. Они были убеждены в абсолютной правильности лозунга «свобода, равенство, братство», и, что особенно важно, в правильности этого лозунга были убеждены широчайшие народные массы, которых якобинцы пробудили и вовлекли в борьбу.

Язык якобинцев, их идеология, их методы действия превосходно отражали главные потребности эпохи, если даже «сегодня», в иной ситуации и после более чем вековой их «культурной обработки», они могут казаться «абстрактными» и «неистовыми». Естественно, они отражали эти потребности сообразно с французской куль-

турной традицией, и доказательством этого служит анализ якобинского языка, проведенный в «Святом семействе», а также допущение Гегеля, рассматривавшего как параллельные и взаимопереводимые понятия политико-юридический язык якобинцев и концепции немецкой классической философии, за которой сегодня, напротив, признается максимум конкретности и которая положила начало современному историзму.

Первой важнейшей потребностью была потребность разгромить силы врагов или по крайней мере обессилить их, чтобы не допустить возможности контрреволюции. Вторая важнейшая потребность заключалась в том, чтобы расширить ряды буржуазии как таковой и поставить ее во главе всех национальных сил, отождествляя интересы и потребности, общие для всех национальных сил, чтобы привести в движение эти силы, вовлечь их в борьбу и добиться двух результатов: во-первых, противопоставить ударам врагов самый широкий фронт, то есть создать военно-политическое соотношение, благоприятное для революции; во-вторых, лишить противников всякой нейтральной зоны, в которой было бы возможно вербовать вандейские армии. Если бы не аграрная политика якобинцев, Вандея была бы уже у ворот Парижа. Соппротивление Вандеи, собственно говоря, связано с обострением национального вопроса среди брегонского населения, вообще чуждого лозунгу «единой и неделимой республики» и политике военно-бюрократической централизации, отказ от которых означал бы самоубийство для якобинцев. Жирондисты попытались сделать упор на федерализм, чтобы раздавить якобинский Париж, но провинциальные отряды, приведенные в Париж, перешли на сторону революционеров. За исключением некоторых периферийных районов, где национальные (и языковые) различия были громадными, аграрный вопрос получил перевес над стремлениями к местной автономии: сельская Франция приняла гегемонию Парижа, она поняла, что для решительного разрушения старого режима необходимо вступить в блок с наиболее передовыми элементами третьего сословия, а не с умеренными жирондистами. Если верно, что якобинцы прибегали к «насилию», то так же верно, что это происходило всегда в соответствии с действительным историческим развитием, ибо они не только организо-

вали буржуазное правительство, то есть сделали буржуазию господствующим классом, но добились и большего — создали буржуазное государство, сделали буржуазию руководящим классом нации, гегемоном, дали новому государству постоянную, устойчивую базу, создали современную сплоченную французскую нацию.

События, означавшие конец якобинцев как партии с чересчур определенной и окостеневшей организацией, и смерть Робеспьера продемонстрировали, что якобинцы, несмотря на все, всегда оставались на буржуазной почве: они не хотели признать за рабочими право на организацию, сохраняя закон Ле Шапелье, и как следствие, должны были обнаруживать закон о максимуме. Таким образом они сломали городской блок Парижа: их наступательные силы, которые группировались в Коммуне, рассеялись разочарованные, и Термидор одержал победу.

Революция происходила на самой широкой классовой основе; политика союзов и перманентной революции привела в конце концов к постановке новых вопросов, которые в то время нельзя было разрешить, развязала такие первозданные силы, обуздать которые могла бы только военная диктатура.

В Партии действия не существовало ничего похожего на это якобинское направление, на это неудержимое стремление стать руководящей партией. Конечно, необходимо учесть различие: в Италии борьба была направлена против существующего международного порядка и против старых договоров, а также против иностранной державы — Австрии, которая их представляла и сохраняла в Италии, оккупируя одну часть полуострова и контролируя другую. Во Франции эта проблема также существовала, по крайней мере в известном смысле, потому что в определенный момент внутренняя борьба превратилась в борьбу национальную, развернувшуюся на границе. Но это произошло после того, как вся территория была завоевана революцией и якобинцы сумели использовать внешнюю угрозу для осуществления еще более энергичных действий внутри страны. Якобинцы хорошо поняли, что для победы над внешним врагом они должны уничтожить внутри страны его союзников, и не поколебались совершить сентябрьские избиения.

В Италии эта связь, скрытая и явная, также существовала между Австрией и по крайней мере между частью интеллигенции, дворян и земельных собственников, но она не была разоблачена Партией действия или по крайней мере не была разоблачена с должной энергией и практически наиболее эффективным образом; эта связь не сделалась активным политическим элементом политики. Она вылилась «курьезным образом» в вопрос о большем или меньшем патриотическом достоинстве и вызвала затем нудную и бесплодную полемику, которая продолжалась даже после 1898 года*.

В связи с тем, что недавно была взята также под защиту позиция, занятая ломбардской аристократией по отношению к Австрии, особенно после попытки Миланского восстания в феврале 1853 года и в период правления вице-короля Максимилиана, следует вспомнить,

* См. статьи Рерум Скрипторум в «Критика социале» после возобновления публикаций и книгу Ромуальдо Бонфадини «Полвека патриотизма. Исторические очерки» [Romualdo Bonfadini, *Mezzo secolo di patriottismo* — Saggi storici, Milano, Treves, 1866]. Надо напомнить в этой связи о вопросе, связанном с протоколами судебного следствия по делу Федерико Конфалоньери. Бонфадини в упомянутой книге утверждает в одном примечании, что видел сборник «Протоколов судебного следствия» в государственном архиве Милана, и отмечает, что их было около восьмидесяти папок. Другие всегда отрицали существование собрания «Протоколов судебного следствия» в Италии и этим объясняли тот факт, что они не опубликованы. В статье сенатора Салата, получившего поручение разыскать в архивах Вены документы, относящиеся к Италии — статья опубликована в 1925 (?) году, — отмечалось, что «Протоколы судебного следствия» найдены и будут опубликованы. Следует напомнить о том, что в свое время «Чивильта католика» бросила вызов либералам, призывая опубликовать «Протоколы». Она утверждала даже, что «Протоколы следствия», сделавшись известными, взорвали бы единство страны. В вопросе о Конфалоньери самое знаменательное состоит в том, что в отличие от других патриотов, помилованных Австрией, Конфалоньери, который был видной политической фигурой, отошел от активной деятельности и занимал после своего освобождения очень сдержанную позицию. Весь вопрос о Конфалоньери следует пересмотреть критически, изучив одновременно позицию, занятую им самим и его сподвижниками, и углубленно исследовать воспоминания отдельных лиц, установив и время их написания. Для полемики, которую он возбудил, большой интерес представляют воспоминания француза Александра Андриена, который, отдавая дань большого уважения и восхищения Конфалоньери, в то же время нападает на Джорджо Паллавичино за его слабость.

что Алессандро Луцио, чьи исторические работы всегда были тенденциозными и заостренными против демократов, дошел до оправдания деятельности Сальвотти, верного слуги Австрии,— это вам не яacobинский дух!

Комическую ноту внес в эту тему Альфредо Пандзини, который в «Жизни Кавура» разразился целой вариацией, столь же жеманной, сколь и тошнотворно-иезуитской, на тему о «тигровой шкуре», выставленной в окне одним аристократом во время визита в Милан Франца-Иосифа.

Со всех этих точек зрения должны быть рассмотрены отстаиваемые Миссироли, Гобетти, Дорсо и другими концепции итальянского Рисорджименто как «королевского завоевания».

Если в Италии не сформировалась яacobинская партия, то причины этого следует искать в экономике, то есть в относительной слабости итальянской буржуазии и в исторических условиях, сложившихся в Европе после 1815 года.

Пределом яacobинской политики насильственного развязывания энергии народных масс, с тем чтобы сделать их союзниками буржуазии, явился закон о максимуме. В 1848 году он выглядел уже как грозный «призрак» и был сознательно использован Австрией, старыми правительствами, а также Кавуром, не говоря уже о папе. Буржуазия, вероятно, больше не могла распространить свою гегемонию на широкие слои народа, что удалось ей сделать, напротив, во Франции (не могла по причинам субъективным, а не объективным). Но оказать воздействие на крестьянство было, конечно, всегда возможно.

Существует различие в процессе захвата власти буржуазией во Франции, Германии, Италии (и Англии). Во Франции процесс наиболее богат по своему развитию и по наличию политически активных и позитивных элементов. В Германии процесс развивается в таких формах, которые в некоторых отношениях походят на итальянские, а в других отношениях — на английские. Движение 1848 года в Германии потерпело провал ввиду недостаточной сплоченности буржуазии (лозунг яacobинского типа — «перманентная революция» — был выдвинут крайним левым крылом демократии) и потому, что вопрос о государственном обновлении пере-

плёлся с национальным вопросом; войны 1864, 1866 и 1870 годов разрешили одновременно национальный и классовый вопросы в форме компромисса: буржуазия добилась правящего положения в промышленно-экономической области, но старые феодальные классы остались в государстве правящим сословием в политической области и сохранили широкие корпоративные привилегии в армии, в администрации, а также широкие земельные привилегии. Но если эти старые классы сохранили в Германии столь важное значение и пользуются такими привилегиями, то они по крайней мере выполняют национальную функцию, превращаются в «интеллигенцию» буржуазии, имеющую определенный характер, вытекающий из их кастового происхождения и традиций.

В Англии, где буржуазная революция развернулась раньше, чем во Франции, происходит процесс, подобный немецкому процессу слияния старого и нового,— несмотря на крайнюю энергию английских «якобинцев», то есть «круглоголовых» Кромвеля. Старая аристократия остается правящим сословием с определенными привилегиями. Она также становится интеллектуальным слоем английской буржуазии (впрочем, английская аристократия не представляет собой замкнутой группы и постоянно обновляется за счет элементов, происходящих из среды интеллигенции и буржуазии) *.

Истолкование, данное Антонио Лабриолой непрерывному пребыванию у власти в Германии юнкеров и кайзеризма,— несмотря на сильное капиталистическое развитие,— затемняет правильное объяснение: классовые отношения, порожденные промышленным развитием, с достижением предела буржуазной гегемонии и с утратой прогрессивными классами своих позиций, побудили буржуазию не вступать в решительную борьбу со старым режимом, а сохранить часть его фасада, с тем что-

* В этой связи следует посмотреть некоторые замечания, содержащиеся в предисловии к английскому изданию «Утопии и науки», которые необходимо учесть при исследовании вопроса об интеллигенции и ее социально-исторической роли. [См. Ф. Энгельс, Предисловие к английскому изданию (1892 года) работы «Развитие социализма от утопии к науке», перевод на итальянский, Издательство литературы на иностранных языках, Москва, 1947.— *Прим. ит. ред.*]

бы скрывать за ним свое собственное реальное господство.

Эти различные проявления одного и того же процесса исторического развития в разных странах следует связать не только с разнообразными комбинациями внутренних отношений в жизни европейских наций, но также с различными международными отношениями (международные отношения носят обычно подчиненный характер в исследованиях такого типа). Якобинский дух, дерзновенный, порывистый, связан, конечно, с гегемонией, которую Франция так долго осуществляла в Европе, и, кроме того, с существованием такого городского центра, как Париж, и с централизацией, достигнутой во Франции благодаря деятельности абсолютной монархии. Наоборот, войны Наполеона, вызвавшие огромное истребление людей из числа наиболее смелых и предприимчивых, ослабили военно-политическую энергию не только Франции, но также и других наций, хотя в духовном отношении эти войны были очень плодотворны для обновления Европы.

Международные отношения несомненно имели большое значение для определения линии развития итальянского Рисорджименто, но значение их было преувеличено умеренными и Кавуром в партийных целях. В этой связи знаменательным является тот факт, что Кавур, который как огня боялся гарибальдийской инициативы до отплытия экспедиции из Куарто и до перехода через пролив из-за возможных международных осложнений, которые эта экспедиция могла вызвать,— впоследствии сам же под влиянием энтузиазма, вызванного «Тысячью» в европейском общественном мнении, стал рассматривать как вполне осуществимую в ближайшее время новую войну против Австрии. В известной степени мышление Кавура было деформировано его профессией дипломата, что побуждало его видеть «чрезмерные» трудности, приводило его к «конспиративным» преувеличениям и порождало поразительные, прямо-таки акробатические ухищрения и интриги. Во всяком случае, Кавур действовал превосходно как человек партии; что же касается того, представляла ли его партия впоследствии наиболее глубокие и прочные национальные интересы, хотя бы только в смысле самого широкого понимания общности основных требо-

ваний буржуазии и народных масс,— это уже другой вопрос*.

При рассмотрении политического и военного руководства, отпечаток которого носит на себе национальное движение до и после 1848 года, необходимо сделать некоторые предварительные замечания, касающиеся метода и терминологии. Под военным руководством не следует понимать только военное руководство в узком, техническом смысле, то есть изложение стратегии и тактики пьемонтской армии, или гарибальдийских войск, или различных импровизированных ополчений, возникших во время местных восстаний («Пять дней» в Милане, защита Венеции, защита Римской республики, восстание в Палермо в 1848 году и т. д.); наоборот, его надо понимать в самом широком смысле и в смысле, который наиболее тесно связан с собственно политическим руководством. С военной точки зрения важнейшей проблемой была проблема изгнания с полуострова иностранной державы — Австрии; последняя располагала тогда одной из самых крупных армий в Европе и, кроме того, у нее были отнюдь не малочисленные и не слабые сторонники на самом полуострове и даже в Пьемонте. Поэтому военная проблема сводилась к выяснению того, каким путем мобилизовать такие силы для восстания, которые были бы в состоянии не только изгнать с полуострова австрийскую армию, но не допустить того, чтобы она снова могла вер-

* Кстати, следует изучить сложную судьбу «якобинского» лозунга, сформулированного в 1848—1849 годах [перманентная революция]. Будучи вновь поднят в систематизированном, переработанном интеллектуализированном виде группой Парвуса — Бронштейна [Гельфанда — Троцкого], этот лозунг оказался инертным и неэффективным в 1905 году, а впоследствии он превратился в абстракцию, подлежащую кабинетному изучению. Направление [ленинское], которое отвергло этот лозунг в этом его литературном проявлении, вместо того чтобы использовать его «догматически», применило его на деле к конкретной современной живой истории в форме, соответствовавшей времени и месту и целиком определявшейся требованиями, которые проступали из всех пор определенного (подлежащего изменению) общества — в форме союза двух социальных групп [пролетариат и крестьянство] при гегемонии городской группы. В одном случае существовал «якобинский» темперамент без адекватного политического содержания, во втором случае «якобинскими» были и темперамент и содержание, приведенное в соответствие с новыми историческими отношениями, а не с литературным и интеллектуалистическим ярлычком.

нуться, предприняв контрнаступление, ибо ясно, что насильственное изгнание поставило бы под угрозу внутренние связи Империи и, следовательно, гальванизировало бы и сплотило в ней все силы с целью реванша.

В абстрактной форме было выдвинуто несколько решений этой проблемы, но все они были противоречивы и неэффективны. Лозунг «Италия справится сама» был пьемонтским лозунгом 1848 года, но он означал гибельное поражение. Неопределенная, трусливая, двусмысленная и в то же самое время легкомысленная политика, проводившаяся правыми пьемонтскими партиями, была главной причиной поражения. Эти партии олицетворяли собой мелочную хитрость; из-за них ушли армии других итальянских государств — неаполитанские и римские, так как эти партии очень быстро продемонстрировали, что они стремятся к пьемонтской экспансии, а не к итальянской конфедерации; они не содействовали, а препятствовали движению волонтеров, они в общем хотели, чтобы победителями были только пьемонтские генералы, неспособные к руководству столь трудной войной. Отсутствие народной политики оказалось гибельным. Ломбардские и венецианские крестьяне, завербованные Австрией, были одним из наиболее эффективных орудий удушения венской, а следовательно, и итальянской революции. Для крестьян движение в Ломбардо-Венеции, как и венское движение, было делом господ и студентов. Итальянские национальные партии своей политикой должны были вызвать разложение Австрийской империи или содействовать ему. Между тем их инертность привела к тому, что итальянские полки стали одной из надежных опор австрийской реакции. В борьбе между Пьемонтом и Австрией стратегическая цель не могла сводиться к уничтожению австрийской армии и занятию вражеской территории — такая цель была бы недостижима и утопична. Стратегическая цель могла заключаться в том, чтобы нарушить внутренние связи Австрийской империи и помочь либералам установить прочную власть, чтобы изменить политическую структуру империи, превратив ее в федералистскую, или по крайней мере вызвать там состояние продолжительной внутренней борьбы, которая дала бы передышку итальянским национальным силам и позволи-

ла бы им сконцентрироваться в военном и политическом отношении*.

После начала войны под девизом «Италия справится сама», после поражения, скомпрометировавшего все дело, пытались заручиться французской поддержкой — именно тогда, когда под впечатлением нового усиления австрийцев к власти во Франции пришли реакционеры, противники создания единого и сильного итальянского государства и даже расширения границ Пьемонта, когда Франция не захотела дать даже опытного генерала Пьемонту и он обратился к поляку Хжановскому.

Военное руководство было более широким вопросом, чем руководство армией и чем составление стратегического плана, который армия должна была выполнить; оно включало, кроме того, политическую мобилизацию для восстания народных сил, которые выступили бы в тылу врага и этим нарушили бы коммуникации и деятельность тыловых служб, сорвали бы создание вспомогательных сил и резерва, из которых формируются новые полки, и передали бы кадровой армии свой порыв и дух энтузиазма.

Народная политика не проводилась и после 1849 года; выступали даже с нелепыми попытками очернить события 1849 года, чтобы запугать сторонников демократических тенденций. Национальная политика «правой» во второй период Рисорджименто связала себя поисками помощи бонапартистской Франции, и союз с Францией уравнивал силу Австрии. Политика «правой» в 1848 году задержала объединение страны на несколько десятилетий.

Неуверенность в военно-политическом руководстве, постоянные колебания между деспотизмом и конституционализмом имели губительные последствия для пьемонтской армии. Можно утверждать, что чем больше абсолютная численность армии как массы мобилизованных или чем больше ее относительная величина (то есть со-

* Такая же ошибка вопреки сопротивлению Кадорна была допущена Соннино во время мировой войны: Соннино не хотел разрушения Габсбургской империи и отказался от всякой национальной политики; даже после Капоретто национальная политика осуществлялась по принуждению, мальтузиански и поэтому не дала тех наиболее быстрых результатов, которые она могла бы дать.

отношение на вербованных людей ко всему населению), тем более возрастает значение политического руководства по сравнению с руководством военно-техническим. Боеспособность пьемонтской армии была исключительно высокой в начале кампании 1848 года; правые думали, что такая боеспособность является выражением чисто военного и абстрактного династического духа, и начали интриговать, чтобы ограничить народные свободы и покончить с надеждами на демократическое будущее. «Моральный дух» в армии пришел в упадок. Сюда же относится вся полемика о «фатальности» Новары. При Новаре армия не хотела сражаться, поэтому она была разбита. Правые обвиняли демократов в том, что они внесли политику в армию и разложили ее,— нелепые обвинения, потому что именно конституционализм «национализировал» армию, сделал ее элементом общей политики и этим самым усилил ее в военном отношении. Это обвинение тем более нелепо, что армия узнает о перемене в политическом руководстве не с помощью «разлагающих элементов», а через множество тех мелких изменений, каждое из которых может показаться незначительным и ничтожным, но которые в целом создают новую удушливую атмосферу. Ответственными за разложение являются поэтому те, кто изменил политическое руководство, не предусмотрев вытекающих отсюда военных последствий, то есть заменил вредной политикой предшествующую, которая была правильной, потому что соответствовала цели. Армия также является «инструментом» для определенных целей, но она состоит из думающих людей, которых можно использовать в пределах их физической и механической связанности, а не из автоматов. Если можно и даже нужно в этом случае говорить о соответствии между средством и целью, то необходимо отметить и особенность: это соответствие должно обуславливаться природой данного инструмента. Если забивать гвоздь по леном с такой же силой, с какой его забивали бы железным молотком, то гвоздь войдет в дерево, вместо того чтобы войти в стену. Правильное политическое руководство необходимо даже для профессиональных наемников (даже в наемных отрядах был минимум политического руководства, помимо руководства военно-технического); тем более оно необходимо для национальной армии, составленной из рекрутов. Вопрос становится еще более сложным

и трудным в позиционных войнах, ведущихся огромными массами людей, которые, обладая одним лишь большим запасом моральных сил, могут выдержать огромное нервное, психическое и физическое напряжение. Только исключительно умелое политическое руководство, которое могло бы учесть самые глубокие стремления и чувства человеческих масс, предотвращает их разложение и распад.

Военное руководство всегда должно быть подчинено политическому руководству, то есть стратегический план должен быть военным выражением общей политики. Конечно, может случиться, что в данных условиях политики оказываются неспособными, между тем как в армии имеются руководители, которые с военными способностями сочетают политические: пример этого — Цезарь и Наполеон. Но на примере Наполеона видно, как изменение политики, вызванное самоуверенным предположением о возможности обладать инструментом чисто военного характера, приводит к ее провалу — это происходит даже в тех случаях, когда политическое и военное руководство объединено в одном человеке; природа политического момента такова, что он должен превалировать над военным. «Комментарии» Цезаря представляют собой классический пример изложения мудрого сочетания политического и военного искусства: солдаты видели в Цезаре не только великого военного вождя, но прежде всего своего политического вождя, вождя демократии.

Следует напомнить, что Бисмарк, идя по стопам Клаузевица, поддерживал мысль о примате политического момента над военным, в то время как Вильгельм II, по свидетельству Людвига, с яростью отозвался о газете, которая, выражая это мнение Бисмарка, писала: «Таким образом, немцы блестяще выиграли почти все сражения, но проиграли войну».

Существует определенное стремление к переоценке вклада народных классов в Рисорджименто, причем особенно преувеличивают значение движения волонтеров.

Наиболее серьезные и обдуманые статьи по этому вопросу были написаны Этторе Рота в «Нуова ривиста storica» за 1928—1929 годы. За исключением замечания, высказанного Рота в другой заметке, по поводу того, какое значение следует придать волонтерам, надо

подчеркнуть, что из произведений самого Рота явствует, как неодобрительно относились пьемонтские власти к волонтерам и саботировали их действия — то есть, как раз то, что подтверждает плохое политико-военное руководство. Пьемонтское правительство могло произвести обязательный набор солдат среди населения своего государства; это же могла сделать Австрия на своей территории и среди, несомненно, более многочисленного населения. При таких условиях война до победного конца всегда оказалась бы спустя некоторое время гибельной для Пьемонта. Если был выдвинут принцип «Италия справится сама», то нужно было или поддержать сейчас же объединение в конфедерацию со всеми другими итальянскими государствами, или поставить территориальное и политическое единство на такую глубоко народную основу, чтобы массы были вовлечены в борьбу против других правительств и чтобы они создали отряды волонтеров, которые бы выступили рядом с Пьемонтом.

Но именно в этом и заключалась проблема: пьемонтские правые стремились действовать без помощников, думая, что смогут победить Австрию одними только регулярными пьемонтскими силами (непонятно, откуда могла появиться такая самоуверенность), или же намеревались получить бесплатную помощь (здесь также непонятно, как серьезные политики могли допустить столь абсурдное притязание). В действительности нельзя было требовать энтузиазма, духа самопожертвования и т. д. даже от подданных собственного государства без удовлетворения их интересов; тем менее можно было требовать этого от граждан других государств на основе общей абстрактной программы и на основе слепой веры в далекое правительство. В этом состояла драма 1848—1849 годов; но, конечно, было бы несправедливо презирать за это итальянский народ — ответственность за разгром следует приписать или умеренным, или Партии действия, то есть в последнем счете незрелости и ничтожной эффективности действий руководящих классов. Замечания, сделанные по поводу порочности военно-политического руководства в период Рисорджименто, можно было бы опровергнуть весьма тривиальным и избитым аргументом — «эти люди не были демагогами, не зани-

мались демагогией». Другая очень распространенная тривиальность, призванная парировать отрицательную оценку способности к руководству у вождей национального движения, состоит в повторении на все лады того, что если национальное движение смогло осуществиться, то *заслуга* в этом деле принадлежит *исключительно* образованным классам. В чем эта заслуга — трудно понять. Заслуга образованного класса состоит в руководстве народными массами и в развитии в них прогрессивных элементов (а это и составляет его историческую функцию). Если образованный класс не способен выполнять эту свою функцию, то следует говорить не о заслугах, а о вине, о его внутренней незрелости и слабости. Таким же образом надо рассматривать понятие и концепцию демагогии. Если демагогия понимается в своем первоначальном значении, то очевидно, что эти люди не смогли эффективно руководить народом, не смогли вызвать у него энтузиазм и подъем. Достигли ли они по крайней мере той цели, к которой стремились? Они говорили о намерении создать современное государство в Италии, а произвели какого-то уродца; они стремились создать энергичный и обширный руководящий класс — и потерпели неудачу; они планировали включить народ в рамки государства — и это не удалось. Узость политической жизни в период с 1870 по 1900 год, широко распространенное стихийное бунтарство народных классов, скудное и стесненное существование ленивого и скептически настроенного руководящего слоя — таковы последствия этой порочности. И последствием этого является международное положение нового государства, которое оказалось лишенным действительной самостоятельности, ибо ему угрожали изнутри папство и недоброжелательная пассивность широких масс. Впоследствии правые периода Рисорджименто действительно сделали крупными демагогами: из народа-нации они сделали орудие, объект, который они унижают, и вот здесь-то и проявляется самая большая и самая презренная демагогия, причем именно в том смысле, который этот термин получил в устах правых партий в их полемике с левыми партиями, хотя первые всегда использовали худшую демагогию и часто апеллировали к люмпенам (подобно Наполеону III во Франции).

Отношения между городом и деревней в период Рисорджименто и их место в национальной структуре

Единого схематического типа отношений между городским и сельским населением не существует, особенно в Италии. Необходимо поэтому установить, что означает в современной цивилизации понятие «городской» и понятие «сельский» и какие комбинации могут возникнуть благодаря сохранению устарелых и отсталых форм в общей структуре населения, изучаемого с точки зрения его большего или меньшего сосредоточения. Порой оказывается верным тот парадокс, что сельский тип является более прогрессивным по сравнению с так называемым городским типом.

«Промышленный» город всегда более прогрессивен, чем деревня, которая органически зависит от него. Но в Италии не все города «промышленные» и еще меньше городов типично промышленных. Могут ли «сто» итальянских промышленных городов и население, сосредоточенное в несельских центрах и почти вдвое превышающее французское городское население, свидетельствовать о том, что в Италии уровень индустриализации вдвое выше, чем во Франции? Урбанизация в Италии не представляет собой специфического явления, порожденного только лишь развитием капитализма и крупной промышленности. Неаполь, который долгое время был наиболее крупным итальянским городом и по-прежнему остается одним из самых крупных городов, не представляет собой промышленного центра; промышленным центром не является даже Рим, самый крупный город современной Италии. Тем не менее даже в этих городах средневекового типа существуют значительные группы населения современного городского типа — но в каких условиях они находятся? Они подавлены, угнетены, принижены другой частью населения, которая составляет огромное большинство и не является населением современного типа. Таков парадокс «молчащих городов».

В городах этого типа между всеми социальными группами существует городское идеологическое единство, направленное против деревни, — единство, которого не могут избежать даже те из существующих там группировок, которые выполняют наиболее современные граж-

данские функции. Это — ненависть и презрение к «виллану», скрытый единый фронт против требований деревни, которые, будь они реализованы, сделали бы невозможным существование этого типа городов. В свою очередь существует «общая», но отнюдь не менее упорная и страстная вражда деревни к городу — к городу в целом, ко всем группам его населения. Это общее отношение, которое в действительности является очень сложным и формы проявления которого внешне выглядят очень противоречиво, имело особое значение в развертывании борьбы в период Рисорджименто, когда оно носило еще более абсолютный и действенный характер, которого они лишены сегодня.

Первое нашумевшее проявление таких несомненных противоречий следует изучить на примере Партенопейской республики 1799 года. Тогда город был раздавлен деревней, организованной в банды кардинала Руффо, потому что республика как на своей первой, аристократической фазе, так и на второй — буржуазной, с одной стороны, полностью пренебрегла деревней, а с другой стороны, выдвигая перспективу возможного якобинского переворота — в результате чего земельные собственники, тратившие доходы от земельной ренты в Неаполе, могли потерять свои владения, что лишило бы широкие народные массы источников их доходов и средств существования, — тем самым делала неаполитанское простонародье равнодушным, если не враждебным. Больше того, в период Рисорджименто уже проявляется в зачаточной форме историческое отношение между Севером и Югом как отношение между большим городом и большой деревней. Вследствие того, что это отношение не являлось уже нормальным органическим отношением между провинцией и промышленной столицей, а выступало как отношение между двумя обширными территориями с весьма различными гражданскими и культурными традициями, это привело к обострению различных сторон и элементов национального конфликта. Для периода Рисорджименто особенно знаменательным является тот факт, что в моменты политических кризисов инициатива в действиях принадлежала Югу: 1799 год — Неаполю, 1820—1821 годы — Палермо, 1847 год — Мессине и Сицилии, 1847—1848 годы — Сицилии и Неаполю. Другой знаменательный факт заклю-

чается в тех особенностях, которые были присущи любому движению в Центральной Италии как промежуточному этапу между Севером и Югом. Период народных выступлений (относительно народных) продолжается с 1815 по 1849 год и достигает кульминационной точки в Тоскане и в папских владениях (Романью и Луниджану следует всегда относить к Центру). Эти особенности проявляются также и в последующее время: события июня 1914 года достигли кульминации в некоторых районах Центра (Романья и Марке); кризис, начавшийся в 1893 году в Сицилии и распространившийся по Югу и Луниджане, достигает высшей точки в Милане в 1898 году; в 1919 году имели место захваты земель на Юге и в Сицилии, в 1920 — занятие фабрик на Севере. Этот относительный синхронизм и одновременность, с одной стороны, свидетельствуют о том, что уже после 1815 года проявляется относительно однородная политико-экономическая структура, а с другой стороны, показывают, что в моменты кризиса даже самая слабая и отдаленная часть страны может действовать первой.

Отношения между Севером и Югом, имевшие характер отношений между городом и деревней, могут быть изучены на основе различных культурных концепций и идейных позиций. Как отмечалось, Б. Кроче и Дж. Фортунато в начале века стояли во главе культурного движения, которое тем или иным способом противопоставляло себя культурному движению на Севере (идеализм против позитивизма, классицизм или классичность против футуризма). Следует подчеркнуть тот факт, что Сицилия отличается от Юга также и в культурном отношении: если Криспи — человек северной промышленности, то Пиранделло в общих чертах очень близок к футуризму, Джентиле и философия «актуализма» также очень близки футуристическому движению (понимаемому в широком смысле как оппозиция традиционному классицизму, как форма современного романтизма). Различны также структура и происхождение интеллигентских слоев: на Юге преобладает еще тип «пальетта»*, который связы-

* «Соломенная шляпа» (*неаполит. диалект*) — презрительная кличка, которую на Юге дают адвокатам, выполняющим мелкие поручения. — *Прим. перев.*

вает крестьянскую массу с собственниками и с государственным аппаратом. На Севере господствует тип заводского «техника», который служит связующим звеном между рабочей массой и предпринимателями; роль связующего звена между рабочей массой и государством выполняли профсоюзные организации и политические партии, руководимые совершенно новым слоем интеллигентов (современные государственные профсоюзы — вызывающие систематическое распространение в национальном масштабе социальных отношений этого типа очень последовательным образом, каким не могли этого делать прежние профсоюзы,— являются в известном смысле и в известное время инструментом моральной и политической унификации).

Эти сложные отношения между городом и деревней могут быть изучены по основным политическим программам, которые стремились утвердить до прихода фашистов к власти. Программа Джолитти и демократических либералов имела целью создать на Севере «городской» блок (промышленников и рабочих), который стал бы базой протекционистской системы и усилил бы экономику и гегемонию Севера. Юг был сведен на положение рынка полуколониального сбыта, он стал источником накоплений и налогов, и дисциплина там поддерживалась с помощью двух мер: мерами беспощадных полицейских репрессий против всякого массового движения с периодическим убийством крестьян* и полицейско-политическими мерами: персональные подачки сословию «интеллигентов» («пальетта») посредством предоставления должностей в административных органах в форме разрешений на безнаказанный грабеж местных учреждений, в форме церковного законодательства, применяемого менее строго, чем где-либо в другом месте, что дает возможность духовенству располагать значитель-

* В некрологе *Spectator*'а (Миссироли), посвященном Джолитти, который был опубликован в «Нуова антологджиа» (1 августа 1928 года), выражается удивление по поводу того, что Джолитти всегда упорно противился всякому распространению социализма и профсоюзов на Юге. Между тем это вполне понятно и естественно, ибо рабочий протекционизм (реформизм, кооперативы, общественные работы) возможен только в том случае, если он имеет частичный характер, то есть всякая привилегия предполагает существование принесенных в жертву и ограбленных.

ным имуществом и т. д., то есть включение в «персональном порядке» наиболее активных элементов Юга в руководящий государственный персонал с особыми «судебными», «бюрократическими» и другими привилегиями.

Таким образом, социальный слой, который мог бы придать организованность проявлению местного недовольства народа на Юге, превращался, наоборот, в инструмент северной политики, становился придатком тайной полиции. Из-за отсутствия руководства недовольство не приняло нормальной политической формы, и его проявления, выражавшиеся лишь хаотическим, беспорядочным образом, рассматривались в качестве «сферы действия судебной полиции».

В действительности к этой форме коррупции были причастны, пусть пассивно и косвенно, такие люди, как Кроче и Фортунато, благодаря фетишистской концепции единства.

Не следует забывать о политико-моральном факторе, каким являлась кампания запугивания. Она была направлена против любого, даже самого объективного, изложения причин противоположности между Севером и Югом. Следует напомнить выводы, сделанные на основе опроса Пэ-Серра на Сардинии после торгового кризиса 1890—1900 годов, и уже упоминавшееся обвинение, предъявленное Криспи сицилийским «фашиям» в том, что они продались англичанам. Эта форма резкого недовольства единством имела место в особенности среди сицилийских интеллигентов (следствие грозного крестьянского давления на господскую землю и популярности Криспи в этом районе). Даже совсем недавно оно проявилось в выпаде Натоли против Кроче в связи с безобидным намеком на стремление Сицилии отделиться от Неаполитанского королевства (см. ответ Кроче в журнале «Критика»).

Программа Джолитти была «нарушена» двумя факторами: 1) тем, что непримиримые в социалистической партии перешли под руководство Муссолини и начали заигрывать с меридионалистами (свободная торговля, выборы Мольфетта и др.), что приводило к разрушению северного городского блока; 2) введением всеобщего избирательного права, которое расширило неслыханным

образом парламентскую базу Юга и затруднило индивидуальную коррупцию (слишком много людей поддавалось безудержной коррупции, и следствием этого было появление мацциери⁵⁶).

Джолитти переменял *партнера*: городской блок был заменен пактом «Джентилони» (или, лучше сказать, последний был противопоставлен городскому блоку, чтобы предотвратить полный развал) — блоком между северной промышленностью и сельским населением «органической и нормальной» деревни (избирательные силы католиков находились в тех же районах, что и избирательные силы социалистов — они сосредоточивались на Севере и в Центре). Действие этого пакта было распространено также на Юг, по крайней мере в такой степени, которая была необходима для «исправления» последствий, вызванных увеличением численности избирателей.

Другую программу или общее политическое направление можно назвать программой «Коррьере делла сэра», или программой Луиджи Альбертини, и отождествить ее с союзом между частью промышленников Севера (во главе с владельцами текстильных, хлопчатобумажных, шелкопрядильных предприятий, экспортерами и, следовательно, сторонниками свободной торговли) и сельским блоком Юга: «Коррьере» поддерживала Сальвемини против Джолитти на выборах Мольтетта в 1913 году (кампания, проводившаяся Уго Ойетти), она поддерживала сначала министерство Саландра, а потом министерство Нитти — первые два правительства, состоявшие из южных государственных деятелей*.

Уже расширение избирательного права в 1913 году вызвало первые симптомы того явления, которое получает максимальное развитие в 1919—1921 годах благо-

* Сицилийцев надо рассматривать особо: им всегда принадлежала львиная доля во всех министерствах начиная с 60-х годов и в последующий период; они дали несколько президентов Государственного совета в отличие от Юга, первым *leader'ом*, которого был Саландра. Это «сицилийское засилье» следует объяснить шантажистской политикой партий Острова, которые всегда тайно поддерживали «сепаратистский» дух в пользу Англии. Обвинение Криспи явилось необдуманной формой проявления той тревоги, которой действительно была охвачена наиболее ответственная и наиболее восприимчивая группа национальных руководителей.

даря политико-организационному опыту, приобретённому крестьянской массой во время войны, частичному расколу южного сельского блока и разрыву крестьян, руководимых частью интеллигенции (офицерством во время войны), с крупными собственниками, так возникает сардинизм, сицилийская партия реформ (так называемая парламентская группа Бономи состояла из самого Бономи и 22 сицилийских депутатов) с крайним сепаратистским крылом, которое представлялось «Сицилия нуова»; возникает группа «Ринноваменто» на Юге, состоявшая из фронтовиков, которые стремились организовать областные партии действия по типу сардинской*. В этом движении самостоятельное значение крестьянских масс изменялось от Сардинии к Югу и к Сицилии в соответствии с организованной силой, престижем и идеологическим влиянием крупных собственников, которые в максимальной степени организованы и сплочены на Сицилии и, наоборот, имеют сравнительно небольшое значение на Сардинии. Также изменяется относительная независимость соответствующих слоев интеллигенции — естественно, в противоположном смысле по сравнению с собственниками**.

Чтобы проанализировать социально-политическую роль интеллигентов, необходимо вспомнить и рассмотреть их психологическое отношение к тем основным классам, которые они приводят в соприкосновение в различных областях. Занимают ли они «отеческое» положение по отношению к производящим классам? Или они считают, что органически выражают интересы этих классов? Занимают ли они «служебную» позицию по отношению к руководящим классам или они считают самих себя руководителями, составной частью руководящих классов? В ходе развития Рисорджименто так называемая Партия действия занимала «отеческую» пози-

* См. журнал Торрака «Волонта», образовавшийся из «Полопо Романо».

** Под «интеллигентами» следует понимать не только те слои, на которые обыкновенно распространяется это название, но вообще весь социальный слой, который выполняет организационные функции в широком смысле — в области производства, или в области культуры, или в политико-административной области; они соответствуют унтер-офицерам и младшим офицерам в армии и частично даже высшим офицерам, вышедшим из младшего состава.

цию, потому что ей удалось лишь в очень незначительной степени добиться контакта между широкими народными массами и государством. Так называемый «трансформизм» является не чем иным, как парламентским выражением того факта, что умеренные полностью поглотили Партию действия и народные массы оказались обезглавленными и не были втянуты в сферу нового государства.

При исследовании основных движущих сил итальянской истории и программных пунктов, на основе которых необходимо изучить и оценить направление Партии действия в период Рисорджименто, отправной точкой должны послужить отношения между городом и деревней. Схематически можно набросать такую картину: 1) городская сила Севера Италии, 2) сельская сила Юга, 3) сельская сила северо-центрального района, 4) сельская сила Сицилии и 5) сельская сила Сардинии.

Оставляя роль «локомотива» за первой силой, следует рассмотреть различные «наиболее полезные» комбинации, необходимые для того, чтобы составить поезд, который наиболее быстро двигался бы в истории. Между тем деятельность первой силы началась с разрешения ее собственных внутренних проблем, проблем организации, сочленений, необходимых для монолитности, проблем военно-политического руководства (Пьемонтская гегемония, отношения между Миланом и Туринном и т. д.). Установлено, что если такая сила достигла определенной степени единства и боеспособности, то она уже «механически» осуществляет «косвенное» руководство другими силами. В различные периоды Рисорджименто отчетливо видно следующее: когда эта сила становится на непримиримую позицию, на позицию борьбы против иностранного господства, она тем самым вызывает резкий подъем прогрессивных сил Юга — отсюда относительный синхронизм, но не полная одновременность в движениях 1820—1821, 1831, 1848 годов. В 1859—1860 годах этот историко-политический «механизм» действует с максимальным эффектом, так как Север начинает борьбу, Центр мирно или почти мирно присоединяется к ней, а на Юге государство Бурбонов рушится от относительно слабого толчка гарибальдийцев. Это происходит в результате бурного вмешательства Партии действия (Гарибальди), после того как умеренные (Кавур) органи-

зовали Север и Центр. Это — не то военно-политическое руководство (умеренные или Партия действия), которое создает относительную одновременность, а сотрудничество (механическое) двух направлений, которые счастливо сочетаются.

Первая сила должна была, следовательно, поставить проблему организации вокруг себя городских сил других национальных районов, и особенно Юга. Эта проблема была наиболее трудной, осложнявшейся такими противоречиями и такими моментами, которые порождали бурю страстей (смехотворным разрешением этих противоречий была так называемая парламентская революция 1876 года⁵⁷). Но как раз поэтому ее разрешение было одним из мучительных моментов в национальном развитии. Городские силы в социальном отношении являются однородными, следовательно, они должны находиться на положении полного равенства. Это было правильно теоретически, но исторически вопрос вставал по-иному: городские силы Севера стояли, безусловно, во главе своего национального района, чего не произошло — по крайней мере в равной степени — с городскими силами Юга. Городские силы Севера должны были, следовательно, добиваться от городских сил Юга, чтобы их руководящая роль свелась к обеспечению руководства Севера по отношению к Югу в рамках общих отношений между городом и деревней, так как руководящая роль городских сил Юга не могла быть не чем иным, как моментом, подчиненным более широкой руководящей роли Севера. Наиболее резкое противоречие порождалось следующим: городскую силу Юга нельзя было рассматривать как нечто самостоятельное, независимое от городской силы Севера; поставить вопрос таким образом — означало бы заранее признать существование неизлечимого «национального» разногласия, разногласия столь серьезного, что даже федерация не смогла бы разрешить его. Это было бы равносильно утверждению, что существуют различные нации, между которыми можно было бы осуществить только военно-дипломатический союз против общего врага — Австрии (одним словом, единственный элемент солидарности и общности заключался бы только в том, что обе нации имели бы «общего» врага).

Однако в действительности существовали лишь некоторые «аспекты» национального вопроса, а не «все» аспекты и даже не самые важные. Очень серьезным аспектом являлась слабая позиция городских сил Юга во взаимоотношениях с сельскими силами; эти неблагоприятные взаимоотношения проявлялись подчас в самом настоящем подчинении города деревне. Тесная связь между городскими силами Севера и Юга, которая придавала вторым представительную силу престижа первых, должна была помочь этим силам сделаться самостоятельными и приобрести сознание их руководящей роли не просто теоретически и абстрактно, а «конкретным» образом, помогая найти способы разрешения широких проблем Юга. Было естественно, что на Юге нашлись сильные группировки, выступавшие против единства; во всяком случае, самую тяжелую задачу надлежало выполнить городским силам Севера, ибо им не только нужно было убеждать своих «братьев» на Юге, но сначала нужно было убедить самих себя в сложности этой политической системы. Практически, следовательно, вопрос упирался в необходимость наличия сильного центра политического руководства, с которым обязательно должны были бы сотрудничать решительные и популярные люди на Юге и на Островах. Проблема создания единства между Севером и Югом была тесно связана с проблемой сплочения и солидарности в отношениях между всеми городскими силами нации и в значительной степени входила в эту проблему*.

Сельские силы северо-центрального района выдвигали в свою очередь ряд проблем, которые городская сила Севера должна была поставить, чтобы добиться нормальных отношений между городом и деревней, устраняя возможности вмешательства и чуждых влияний на развитие нового государства. Среди этих сельских сил следует различать два направления — светское и клерикальное проавстрийское. Клерикальная сила пользовалась максимальным влиянием в Ломбардо-Венеции, помимо Тосканы и части Папского государства. Светская сила имела максимальное влияние в Пьемонте (в преломленном виде это влияние в большей или мень-

* Приведенное выше суждение относится ко всем трем южным районам — Неаполитанскому, Сицилии, Сардинии.

шей степени распространялось на остальную Италию); ее влияние было распространено и в легатствах, особенно в Романье, а также в других районах, вплоть до Юга и Островов. Правильно разрешая эти непосредственные отношения, городские силы Севера дали бы толчок для разрешения всех подобных проблем в национальном масштабе.

В отношении всего этого комплекса сложных проблем Партия действия потерпела полный провал. Действительно, она ограничивалась тем, что сделала основным принципиальным, программным вопросом то, что было просто вопросом о политической базе, на основе которой такие проблемы могли быть сконцентрированы и разрешены в рамках законности,— вопрос об Учредительном собрании.

Нельзя сказать, что потерпела провал партия умеренных, которая стремилась к органическому расширению Пьемонта и которой были нужны солдаты для пьемонтской армии, а не восстания или слишком крупные гарибальдийские отряды.

Почему Партия действия не поставила аграрный вопрос во всей его широте? То, что его не выдвинули умеренные, было естественным: постановка ими национальной проблемы требовала создания блока всех правых сил (включая классы крупных земельных собственников) вокруг Пьемонта как государства и как армии.

Угроза Австрии разрешить аграрный вопрос в пользу крестьян — угроза, которая была осуществлена в Галиции против воли польских дворян в интересах русинских крестьян,— не только вызвала смятение в Италии среди заинтересованных лиц, определяя все колебания аристократии (события в Милане в феврале 1853 года и выражение почтения Францу-Иосифу самыми знатными миланскими семьями как раз накануне повешения в Бельфьоре⁵⁸), но и парализовала самоё Партию действия, которая в этом вопросе придерживалась таких же взглядов, что и умеренные, считая «национальными» аристократию и собственников, а не миллионы крестьян.

Только после февраля 1853 года Мадзини сделал некоторые демократические по своему существу указания (см. «Переписку» этого периода), но он был не способен

решительно, радикально переработать свою абстрактную программу. Следует изучить линию политического поведения гарибальдийцев в Сицилии в 1860 году, которая диктовалась Криспи: восстания крестьян против баронов были беспощадно подавлены и была создана антикрестьянская национальная гвардия; типичной является карательная экспедиция Нино Биксио в район Катании, где были сильные восстания. Однако следует отметить, что даже в «Заметках» Дж. Ч. Абба⁵⁹ содержатся элементы, которые могут показать, что аграрный вопрос был той пружиной, которая была способна привести в движение огромные массы: достаточно вспомнить разговор Абба с монахом, который встречает гарибальдийцев вскоре после их высадки в Марселе. В некоторых новеллах Дж. Верга⁶⁰ содержатся художественные описания этих крестьянских бунтов, которые национальная гвардия задушила террором и массовыми расстрелами. Этот аспект экспедиции «Тысячи» никогда не изучался и не анализировался.

Из-за того, что не был поставлен аграрный вопрос, оказалось почти невозможным разрешить вопрос о клерикализме и вопрос о враждебном отношении папы к объединению. С этой точки зрения умеренные оказались более решительными, чем Партия действия; правда, они не распределили церковное имущество среди крестьян, но они использовали его для создания нового сословия крупных и средних собственников, связанных с новым политическим положением, и не колебались прибегнуть к отчуждению земельной собственности, хотя бы только одних конгрегаций. Кроме того, политика Партии действия по отношению к крестьянству парализовалась мадзинистским стремлением к религиозной реформе, которая не только не интересовала широкие крестьянские массы, но, напротив, делала их восприимчивыми к подстрекательству против новых еретиков. Перед Партией действия был пример Французской революции, которая показала, как якобинцам — которым на основе аграрного вопроса удалось раздавить все правые партии, вплоть до жирондистов, и не только предотвратить сельскую коалицию против Парижа, но и увеличить число своих сторонников в провинциях — был причинен ущерб вследствие попыток Робеспьера ввести религиозную ре-

форму, которая, однако, имела в реальном историческом процессе определенное значение и непосредственную конкретность *.

Умеренные и интеллигенция

Вопрос о том, почему умеренные должны были иметь преимущество среди интеллигенции. Джоберти и Мадзини.

Джоберти предложил интеллигенции философию, которая выглядела оригинальной и в то же время национальной, преследовавшей цель поднять Италию по крайней мере до уровня наиболее передовых наций и придать новое достоинство итальянской мысли. Мадзини, наоборот, предлагал только туманные положения и философские наброски, которые многим интеллигентам, особенно неаполитанским, должны были казаться пустой болтовней (аббат Галиани учил преследовать этот способ мышления и рассуждения).

Вопрос о школе: деятельность умеренных, преследовавшая цель ввести педагогический принцип взаимного обучения (Конфалоньери, Каппони и др.); движение Ферранте Апорти и движение за организацию приютов, связанное с проблемой пауперизма. Среди умеренных утвердилось только конкретное педагогическое движение, противостоявшее «иезуитской» школе. Это движение не могло не иметь успеха как среди светских лиц, у которых через школу оно формировало собственную индивидуальность, так и среди либерально настроенного и антииезуитского духовенства (резкая враждебность против Ферранте Апорти и т. д.; призрение и воспитание подкидышей было монополией духовенства, а эти начинания подрывали монополию). Деятельность в области просвещения, имеющая либеральный характер или отличающаяся либеральничаньем, имеет большое значение для утверждения механизма гегемонии умеренных среди интеллигенции. Деятельность в области просвещения на

* Следовало бы внимательно изучить действительную аграрную политику Римской республики и истинный характер карательной миссии, которую Мадзини поручил Феличе Орсини в Романье и Марке. В этот период вплоть до 1870 года (и даже позже) под бандитизмом понималось почти всегда бурное и отмеченное жестокостью стихийное движение крестьян за захват земель.

всех ее ступенях имеет громадную важность, даже экономическую, для интеллигентов всех категорий. В тот период она имела даже большее значение, чем в настоящее время, из-за крайней малочисленности социальных кадров и ограниченности путей, открытых для инициативы мелких буржуа (в наши дни — журналистика, партийное движение, промышленность, чрезвычайно разросшийся государственный аппарат и т. д. расширили неслыханным образом возможности их использования).

Гегемония руководящего центра среди интеллигенции утверждается по двум главным линиям: 1) через всеобщую концепцию бытия, философию (Джоберти), придающую своим приверженцам интеллектуальное «достоинство», которое давало бы им основной отличающий их принцип и основу для борьбы против старой идеологии, господствующей в силу принуждения; 2) с помощью школьной программы, оригинального педагогического и воспитательного принципа, который представлял бы интерес и давал бы возможность активной деятельности (в соответствии с их профессией) для той части интеллигентов, которая является самой однородной и самой многочисленной, — преподавателям (преподаватели — от простого учителя до университетской профессуры).

Конгрессы ученых, которые не раз созывались в начальный период Рисорджименто, имели двойное значение: 1) они объединяли интеллигентов высшей категории, сплачивая их и увеличивая их влияние; 2) в кратчайший срок добивались сплочения и наиболее решительной ориентации интеллигентов низших ступеней, которые из-за кастового духа обычно склонялись к тому, чтобы следовать за представителями университетов и крупными учеными.

Изучение энциклопедических и специализированных обозрений выявляет другой аспект гегемонии умеренных. Такая партия, как партия умеренных, удовлетворяла всем основным требованиям интеллигенции, которые могут быть удовлетворены правительством (правлящей партией) посредством предоставления государственных должностей. Эту функцию правящей итальянской партии отлично выполнило после 1848—1849 годов Пьемонтское государство, которое приняло интеллигентов-изгнанников и дало образец того, что сделает объединенное государство в будущем.

Роль Пьемонта

Пьемонт сыграл в итальянском Рисорджименто роль «руководящего класса». Действительно, нельзя утверждать, что на всей территории полуострова существовали первичные группы однородного руководящего класса, неодолимое стремление которых к полному слиянию определило бы формирование нового национального итальянского государства. Эти первичные группы несомненно существовали, но их стремление к слиянию было очень проблематично и, что того важнее, каждая из них в своей сфере не была «руководящей». Руководящий предполагает «руководимого», а кем руководили эти группы? Эти первичные группы никем не хотели «руководить», то есть не хотели согласовать свои интересы и стремления с интересами и стремлениями других групп. Они хотели не «руководить», а «господствовать»; они хотели еще, чтобы господствовали их интересы, но не их персоны, они стремились к тому, чтобы новая сила, не связанная никаким компромиссом и никакими условиями, сделалась арбитром нации: этой силой был Пьемонт, и отсюда — роль монархии. Потому-то Пьемонт выполнил роль, которую в ряде аспектов можно сравнить с ролью партии, — роль руководящего персонала социальной группы (и действительно, всегда говорили о «пьемонтской партии»). Конечно, это определение нужно понимать так, что речь идет о государстве с армией, дипломатией и т. д.

Этот факт имеет важнейшее значение для теории «пассивной» революции: он показывает, что не определенная социальная группа является руководителем других групп, а государство, пусть даже ограниченное в своей силе, выступает в качестве «руководителя» группы, которой самой следовало бы быть руководителем, и может предоставить в распоряжение последней армию и политико-дипломатическую силу.

Можно сослаться на то, что на международном политико-историческом языке стало называться «ролью Пьемонта». Сербия перед войной старалась принять позу балканского «Пьемонта» (впрочем, Франция после 1789 года и в течение многих последующих лет, вплоть до государственного переворота Луи Наполеона, была в этом смысле Пьемонтом Европы). Если Сербия не добилась такого

успеха, какой выпал на долю Пьемонта, то это вызвано тем, что в послевоенные годы произошло политическое пробуждение крестьян, чего не было после 1848 года. Если изучить тщательно события, происходившие в Югославском королевстве, то становится ясным, что «просербские» силы или силы, благожелательно настроенные к сербской гегемонии, враждебно относятся к аграрной реформе. Антисербский сельско-интеллигентский блок и консервативные силы, благожелательно расположенные к Сербии, мы находим как в Хорватии, так и в других несербских районах. В этом случае также не существует местных «руководящих» групп; имеются группы, руководимые сербской силой, между тем как социальная роль разрушительных сил не имеет большого значения. У того, кто поверхностно наблюдал за сербскими событиями, следовало бы спросить, что произошло бы, если бы так называемый бандитизм, который существовал в Неаполитанской провинции и на Сицилии с 60-х до 70-х годов, появился бы после 1919 года. Несомненно, что это одно и то же явление, но социальное значение и политический опыт крестьянских масс после 1919 года во многом отличаются от их социального значения и политического опыта после 1848 года.

Очень важно углубленно изучить то значение, которое функция «пьемонтского» типа имеет в пассивных революциях, то есть тот факт, что государство заменяет социальные группы отдельных районов в руководстве борьбой за обновление. Это один из тех случаев, когда этими группами осуществляется функция «господства», а не «руководства», — диктатура без гегемонии. В этом случае имеет место гегемония одной части социальной группы над всей группой, а не гегемония самой этой группы по отношению к другим силам, которая служит для того, чтобы усилить, углубить движение и т. д. по «якобинскому» образцу.

Следует провести исследования с целью отыскания аналогии между периодом, который последовал за падением Наполеона, и периодом, наступившим после войны 1914—1918 годов. Аналогии возможны только лишь с двух точек зрения: раздел территории и ярче бросающаяся в глаза и более поверхностная аналогия в попытках создать постоянную юридическую организацию в области международных отношений (Священный союз и Лига наций).

Однако представляется, что наиболее важным моментом, требующим изучения, является проблема того, что

называют «пассивной революцией», проблема, которая не сразу бросается в глаза, ибо отсутствует внешний параллелизм с Францией 1789—1815 годов. И тем не менее все понимают, что война 1914—1918 годов представляет собой исторический перелом в том смысле, что весь комплекс вопросов, которые постепенно накапливались до 1914 года, образовал настоящую «грудку», что вызывало изменения в общей структуре процесса в предшествующий период; достаточно вспомнить о том важном значении, которое получило профсоюзное движение; в этом значительном явлении суммируются различные проблемы и разнообразные процессы развития, имеющие различные значения (парламентаризм, организация промышленности, демократия, либерализм и т. д.), однако объективно оно отражает тот факт, что образовалась новая социальная сила, значением которой уже нельзя пренебречь.

События 1848—1849 годов как узловой исторический этап

Мне кажется, что события 1848—1849 годов ввиду их спонтанности можно рассматривать как типичные при изучении социальных и политических сил итальянской нации. Мы находим в эти годы несколько главных объединений: реакционеры — умеренные, муниципалисты; неогвельфы (католическая демократия); Партия действия — либеральная демократия левой национальной буржуазии. Эти три силы ведут между собой борьбу и все три последовательно терпят поражение в течение двух лет. Вслед за поражением, после процесса размежевания и раскола внутри каждой из групп, происходит сдвиг сил вправо.

Самое тяжелое поражение терпят неогвельфы, которые перестают существовать как католическая демократия и после реорганизации выступают в качестве социальных элементов буржуазии города и деревни, образуя вместе с реакционерами новую либерально-консервативную правую силу. Можно провести параллель между неогвельфами и «Народной партией», которая представляет собой новую попытку создать католическую демократию; последняя также потерпела провал и по тем же самым причинам. Точно так же провал Партии действия подобен провалу «разрушительного движения» 1919—1920 годов.

Надо восстановить и тщательно проанализировать последовательность в смене правительств и в партийных комбинациях (конституционисты и абсолютисты) в Пьемонте от начала нового режима до воззвания Монкалиери, от Соларо делла Маргарита до Массимо Д'Адзелио. Изучить роль Джоберти и Раттацци и эффективность их влияния на государственную машину, которая оставалась без изменений или почти без изменений со времени абсолютизма. Определить значение так называемого *брака* Кавур — Раттацци⁶¹. Был ли это первый шаг в разложении демократии? И можно ли было до этого момента называть Раттацци демократическим либералом?

Федерализм Феррари — Каттанео был политико-исторической платформой, отразившей противоречия, существующие между Пьемонтом и Ломбардией. Ломбардия не хотела, чтобы ее как провинцию присоединили к Пьемонту: в экономическом, политическом и культурном отношении она была более развита, чем Пьемонт. Собственными силами и средствами она совершила свою демократическую революцию во время «Пяти дней». Быть может, она была более итальянской, чем Пьемонт, в том смысле, что представляла Италию лучше, чем Пьемонт. Если Каттанео старался представить федерализм как органически присущий всей итальянской истории, то это было не чем иным, как идеологическим, мифическим элементом, преследовавшим цель усиления актуальной политической программы. Зачем *обвинять* федерализм в том, что он задержал объединительное и национальное движение? Необходимо также настаивать на методологическом критерии, а именно: одно дело — история Рисорджименто, а другое — агиография патриотических сил и — тем более — одной части этих сил, выступавшей за единое государство.

Рисорджименто представляет собой сложный и противоречивый исторический процесс, который в целом складывается из всех его противоположных элементов, из активности его главных действующих сил и его противников, борьбы между ними; он является результатом тех взаимных изменений, которые вызывались этой борьбой, а в том числе и той роли, которую играли пассивные и скрытые силы, какими являются широкие сельские массы, не говоря уже о той важной роли, которую играли международные отношения.

Таможенная лига, идею которой выдвинул Чезаре Бальбо и которая была образована в Турине 3 ноября 1847 года представителями Пьемонта, Тосканы и Папского государства, должна была предшествовать образованию политической Конфедерации, которая затем была отвергнута самим же Бальбо, благодаря чему и сама Таможенная лига оказалась недоноском. В создании Конфедерации были заинтересованы мелкие итальянские государства; пьемонтские реакционеры (среди них был Бальбо), считая территориальное расширение Пьемонта уже обеспеченным, не захотели наносить ему ущерб, устанавливая связи, которые воспрепятствовали бы его осуществлению (Бальбо в «Надеждах Италии» [Cesare Balbo, *Speranze d'Italia*] утверждал, что Конфедерация была невозможна, ибо одна часть Италии находилась в руках иностранцев (!?)), и отвергли Конфедерацию, заявляя, что союзы заключают до или после войны (!?). Конфедерация была отвергнута в первые месяцы 1848 года.

Джоберти вместе с другими считал политическую и таможенную Конфедерацию, заключенную даже во время войны, необходимой предпосылкой для осуществления лозунга «Италия справится сама». Эта неверная политика по отношению к Конфедерации наряду с другими столь же ложными директивами относительно волонтеров и Учредительного собрания показывает, что движение 1848 года потерпело провал благодаря низким, плутовским интригам правых, которые сделались умеренными в последующий период. Они не сумели дать ни политического, ни военного направления национальному движению.

В феврале 1849 года Сильвио Спавента посетил в Пизе Д'Адзелио и о беседе с ним вспоминает в одной статье политического характера, написанной в 1856 году во время пребывания на каторге: «Один из самых известных людей Пьемонтского государства говорил мне месяцем раньше: мы не можем победить, но мы будем вновь сражаться; наше поражение будет поражением той партии, которая сегодня толкает нас снова к войне, а между поражением и гражданской войной мы выбираем первое. Поражение даст нам внутренний мир, даст Пьемонту свободу и независимость, которых не сможет нам дать гражданская война. Предвидения этого мудрого(!) человека сбылись. Битва при Новаре была проиграна для дела независимости и была выиграна для свободы Пьемонта.

И Карл-Альберт, по-моему, пожертвовал своей короной скорее ради свободы, чем ради независимости» *. Встает вопрос, действительно ли свершились «предвидения» или это поражение было подготовлено такими «мудрецами», как Д'Адзелио.

В статье, опубликованной в «Коррьере делла сэра» от 14 мая 1934 года («Американские почести, оказанные Филиппо Каронти»), Антонио Монти приводит два следующих эпизода из «Воспоминаний» Каронти (они не изданы и находятся в музее Рисорджименто в Милане): Каронти после победы над австрийцами в Комо в 1848 году сформировал отряд волонтеров и прибыл в Турин, чтобы получить оружие. Министр Бальбо дал ему следующий ответ, который Монти называет «ошеломляющим»: «Бесполезно сейчас вооружаться, ибо сильная регулярная армия одержит победу над врагом. Неужели вы захотите воспользоваться оружием, чтобы разногласия между жителями Комо и миланцами вновь вспыхнули в ущерб победоносному исходу итальянского дела»? (Не бесполезно вспомнить, что незадолго до войны 1848 года Пьемонт отказался от части оружия, чтобы послать его в Швейцарию восставшим реакционерам-католикам из *Sonderbund*'а.)

О «подготовке» поражения при Новаре Каронти рассказывает, что в то время, когда в Комо велась лихорадочная подготовка к вооруженной борьбе и шла организация волонтеров, прибыло известие о перемирии, заключенном после Новары генералом Хжановским (Монти пишет: Чарновский). Каронти встретил генерала, который сказал: «*Nous avons conclu un armistice honorable. — Comment, honorable? — Oui, très honorable, avec un armée, qui ne se bat pas*» **. Этот разговор подтверждается Габриэлем Камочи.

Но важны не слова польского генерала, который был соломинкой, подхваченной бурей, а направление, которое придало военной политике пьемонтское правительство, предпочитавшее поражение общеитальянскому восстанию.

* См. Сильвио Спавента, «От 1848 до 1861 года» — письма, записки, документы, опубликованные Б. Кроче [*Silvio Spaventa, Dal 1848 al 1861, lettere, scritti, documenti, pubblicati da B. Croce, 2^a ed., Laterza, p. 58, nota*].

** «Мы заключили почетное перемирие. — Как почетное? — Да, очень почетное, имея армию, которая не сражалась» (*франц.*). — *Прим. перев.*

Рисорджименто и восточный вопрос

В целом ряде работ (тенденциозно восхваляющих умеренных) придается особое значение литературным произведениям периода Рисорджименто, в которых восточный вопрос рассматривается в качестве одной из итальянских проблем; в этой литературе разрабатываются планы подталкивания Австрии на восток и ее балканизация, с тем чтобы предоставить ей компенсацию за Ломбардо-Венецию, мирно уступленную для дела итальянского национального возрождения и т. д.

Мне кажется, что такие планы не служат доказательством больших политических способностей, как это утверждают; пожалуй, они скорее должны быть истолкованы как выражение политической пассивности и малодушия перед трудностями национального дела, малодушия, которое прикрывается планами, тем более грандиозными, чем более они абстрактны и туманны, поскольку осуществление этих планов не зависит от итальянских сил. На деле «балканизация» Австрии означала бы создание в Европе такой политико-дипломатической ситуации (чреватой войной), в силу которой Австрии оставалось бы только «балканизироваться»; а это означало бы, что надо обладать в Европе политической и дипломатической гегемонией: совершеннейший пустяк!

Непонятно, почему Австрия, сохраняя Ломбардо-Венецию, то есть главенство в Италии и господствующую позицию в центральной части Средиземноморья, не смогла бы добиться также большего влияния на Балканах и, следовательно, в восточной части Средиземноморья — это даже отвечало интересам Англии, которая основывала на Австрии систему равновесия, направленную против Франции и России. Это убогое понимание самостоятельной политической инициативы и неверие в собственные силы, скрытые в плане Бальбо, должны были сделать Англию глухой к таким предложениям. Только сильное итальянское государство, которое смогло бы заменить Австрию в ее антифранцузской роли в центральной части Средиземного моря, могло бы вызвать у Англии симпатии к Италии, что и случилось на деле после присоединений к центральной Италии ряда других итальянских областей и похода «Тысячи» против Бурбонов. До этих реальных событий только большая партия, полная решимости, сме-

лости и уверенности в собственных действиях (благодаря ее прочным связям с широкими народными массами) смогла бы, возможно, добиться такого же результата. Но такой партии как раз не существовало, а Бальбо и его друзья даже не хотели, чтобы она сформировалась. Балканизация Австрии после потери ею гегемонии на полуострове и при сохранении Бурбонов в Неаполе (согласно неогвельфскому плану) имела бы тяжелые последствия для английской политики в Средиземноморье. Неаполитанское государство превратилось бы в русский феодал, Россия получила бы возможность самостоятельных военных действий в центре Средиземноморья*. Не следует забывать, что восточный вопрос, хотя его стратегический узел находился на Балканах и в Турецкой империи, являлся по существу политико-дипломатической формой борьбы между Россией и Англией; это был вопрос о Средиземноморье, Ближней и Центральной Азии, Индии, Британской империи.

Книга Бальбо «Надежды Италии», в которой он защищает свой тезис, была опубликована в 1844 году, и эффективность самого тезиса свелась в ней лишь к тому, что он поднял восточный вопрос, привлекая к нему внимание, и, следовательно, облегчил (возможно) осуществление политики Кавура, связанной с Крымской войной. Он не дал никакого эффекта в 1859 году, когда Пьемонт и Франция задумали поднять против Австрии ее врагов на Балканах, чтобы ослабить этим ее военные силы, потому что такая акция была ограниченной, не приносящей сколько-нибудь длительного облегчения и, во всяком случае, сводилась лишь к эпизоду в организации франко-пьемонтских военных действий. То же самое можно было бы сказать о 1866 году, когда подобная же диверсия была задумана итальянским правительством и Бисмарком с целью ведения войны против Австрии. Стремление осла-

* Надо исследовать и глубоко изучить вопрос об отношениях между неаполитанскими Бурбонами и царизмом; этот вопрос представляет собой особую страницу истории от 1799 до 1860 года; из книги Нитти «Иностранный капитал в Италии», вышедшей в 1915 году [Francesco Nitti, *Capitale straniero in Italia*, Laterza, 1915], явствует, что в то время общая стоимость размещенных в Южной Италии русских государственных облигаций составляла около 150 миллионов лир — отнюдь не ничтожный остаток связей того блока, который создавался между Неаполем и Россией против Англии до 1860 года.

бить врага во время войны, поднимая против него его собственных врагов как внутри страны, так и на всем протяжении военно-политических границ,— такое стремление является не элементом политического плана в отношении Востока, а обычным методом действий военного командования.

Впрочем, после 1860 года и создания итальянского государства, игравшего заметную роль, стремление Австрии на восток приобрело уже иное международное значение, и в Англии и во Франции находились люди, благосклонно относившиеся к нему*.

Отдельные моменты в национальном развитии итальянского народа, когда его действия носили особенно массовый и сплоченный характер

Необходимо исследовать в процессе развития национальной жизни начиная с 1800 года и в последующее время все те моменты, когда итальянский народ поднимался, чтобы разрешить общую задачу (по крайней мере потенциально общую), вследствие чего в эти моменты могло быть достигнуто коллективное по своему характеру (с точки зрения глубины и размаха) и объединенное действие или движение. Эти моменты в различные фазы исторического процесса могли иметь различный характер и разное народно-национальное значение. Важная задача состоит в том, чтобы исследовать потенциальный характер (и, следовательно, степень претворения в жизнь этой потенциальности) коллективности и объединенности; территориальную распространенность (ответ на эту задачу можно найти в рамках большого района, если не в рамках провинции) и интенсивность действия масс (то есть наличие большей или меньшей массы участников, большего или меньшего отклика — как положительного, так

* * В какой-то недавно вышедшей книге рассматриваются проекты Бурбонов (так и оставшиеся проектами) экспансии на Восток с целью извлечения из них аргументов для реабилитации неаполитанского правительства. Такие проекты всегда рассматривались как желательные Россией и как помехи — Англией, которая в вопросе о Мальте не проявляла желания идти на уступки Неаполю.

и резко отрицательного, — который движение получило в различных слоях населения).

Эти моменты могут иметь различную природу и характер. Сюда относятся: войны, революции, плебисциты, всеобщие выборы, имеющие особое значение.

Войны 1848—1849, 1859, 1860, 1866, 1870 годов, африканские войны (Эритрея и Ливия), мировая война. Революции [и революционные выступления]: 1820—1821, 1831, 1848—1849, 1860 годов, сицилийские «фашии» 1898, 1904, 1914, 1919—1920, 1924—1925 годов. Плебисциты в связи с оформлением королевства: 1859—1860, 1866, 1870 годов. Всеобщие выборы с различной широтой избирательного права. Типичные выборы: выборы, которые привели к власти «левую» в 1876 году, выборы, последовавшие за расширением избирательного права после 1880 года; выборы после 1898 года. Выборы 1913 года являются первыми выборами, отличающимися своим народным характером, благодаря широчайшему участию в них крестьян. Выборы 1919 года являются самыми важными из всех вследствие того, что голосование проходило по провинциям и носило пропорциональный характер, что вынудило партии сгруппироваться, и потому, что впервые на всей территории выступают одни и те же партии с одними и теми же (в основном) программами.

В 1919 году в значительно более широкой и более органической степени, чем в 1913 году (когда выборы только одного депутата от избирательной коллегии ограничивали возможности и фальсифицировали политические позиции масс вследствие искусственного разграничения коллегий), по всей территории в один и тот же день вся наиболее активная часть итальянского народа обратилась к одним и тем же вопросам и попыталась разрешить их в своем историко-политическом сознании. Значение выборов 1919 года определяется комплексом тех «унификаторских» элементов, положительных и отрицательных, которые собрались в них, как в фокусе: первостепенным объединяющим элементом была война, поскольку она помогла осознать широким массам, какое важное значение, даже для судьбы отдельных индивидуумов, имеет строение правительства; кроме этого, был поставлен ряд конкретных проблем, общих и частных, которые отражали народно-национальное единство.

Можно утверждать, что выборы 1919 года имели для народа характер выборов в Учредительное собрание*, пусть даже эти выборы не имели такого характера «ни для какой» партии этого времени: в этом противоречии и разрыве между народом и партиями состояла историческая драма 1919 года, которая была непосредственно понята только некоторыми руководящими группами, наиболее умными и предусмотрительными (которым следовало больше всего опасаться за свое будущее). Надо отметить, что именно та партия, традицией которой было отстаивание Учредительного собрания в Италии — республиканская партия, обнаружила меньше всего исторического чутья и политической способности и позволила руководящим группам «правой» навязать себе программу и направление (то есть программу, представляющую собой абстрактную и ретроспективную защиту вступления в войну).

Народ по-своему смотрел в будущее (даже в вопросе о вступлении в войну), и в этом состоит особенность выборов 1919 года, которым народ в скрытой форме придал характер выборов в Учредительное собрание. У партий конкретный взгляд был только на прошлое, а в будущее они смотрели «абстрактно», «вообще» (в форме: «вам следует верить в нашу партию»), а не на основе конструктивной историко-политической концепции.

Среди других различий между выборами 1913 и 1919 годов необходимо отметить активное участие в них католиков со своей собственной массой избирателей, с собственной партией, с собственной программой. В 1913 году католики также участвовали в выборах, но в скрытой форме, через пакт Джентилони, который фальсифицировал значение единения и влияния традиционных политических сил. Что касается 1919 года, то следует напомнить о речи в защиту Учредительного собрания (в ретроспективном плане), произнесенной Джолитти, о позиции джолиттианцев по отношению к католикам, о которой говорится в статьях Луиджи Амброзини в «Стампа». В дей-

* Такой характер имели также выборы 1913 года. Это может вспомнить всякий, кто принимал в них участие в областных центрах, где особенно возросло количество избирателей и был высокий процент участвовавших в голосовании. Было распространено мистическое убеждение, что все изменится после голосования, что наступит подлинное национальное возрождение — по крайней мере на Сардинии.

ствительности джолиттианцы оказались победителями на выборах в том смысле, что они придали последним характер выборов в Учредительное собрание, хотя оно и не избиралось, и что им удалось отвлечь внимание от будущего к прошлому.

По поводу книги Росселли о Пизакане

Истолкования прошлого, когда само прошлое используется для отыскания ошибок и недостатков (определенных партий или течений), представляют собой не «историю», а современную политику, обращенную в прошлое. Вот почему даже часто повторяющиеся в книге «если» не докучают. Следует сказать, что истолкования Рисорджименто в Италии связаны с рядом фактов: 1) с необходимостью объяснить, почему осуществилось так называемое «чудо» Рисорджименто; считается, что активные силы, выступавшие за единство и независимость, были незначительными и что Рисорджименто не может быть объяснено действием только таких сил; но, с другой стороны, не хотят признать этого открыто из-за соображений, связанных с национальной политикой, и создают исторические романы; 2) с тенденцией не затрагивать Ватикан; 3) со стремлением не давать разумного объяснения «бандитизма» в южных областях; 4) в более поздний период — с желанием объяснить слабость государства во время войны с Африкой (в особенности этим вызвана точка зрения Ориани и, следовательно, орианистов), с желанием дать объяснение Капоретто и стихийному «разрушительному движению» в послевоенный период с его прямыми и косвенными последствиями.

Слабость такой «истолковательной» тенденции заключается в том, что она так и осталась чисто интеллектуальным фактором, не сделавшись предпосылкой национального политического движения. Это начинает выясняться только благодаря Пьеро Гобетти (и в биографии Гобетти необходимо напомнить об этом). Поэтому Гобетти порывает с орианизмом и с Миссироли (рядом с Гобетти надо поставить Дорсо и — как тень в игре светотени — Джованни Ансальдо, который более умен, чем Миссироли) *.

* Ансальдо — это «человек гвиччардиниевского типа», сделавшийся литератором и эстетом и прочитавший страницы из Де Санктиса о человеке гвиччардиниевского типа. Можно было бы сказать

Вопрос, который Росселли неправильно ставит в книге о Пизакане, заключается в следующем: каким образом руководящий класс мог бы руководить народными массами, то есть стать «руководителем». Росселли не изучил того, что представляло собой французское «якобинство» и как именно страх перед якобинством парализовал национальную активность. Затем он не объясняет, почему у Пизакане, а следовательно, и у Мадзини составилось мифическое представление о Юге как о «пороховом погребе Италии». Между тем этот момент является основополагающим для понимания личности Пизакане и выяснения источника тех его идей, которые адекватны идеям Бакунина, и т. д. Так, например, нельзя усматривать в Пизакане творящего «предтечу», как его изображает Сорель; он просто представитель «нигилизма» русского происхождения и теории созидательного «всеразрушения» (допускающей даже преступление). «Народная инициатива» от Мадзини до Пизакане окрашена крайними «народническими» тенденциями (может быть, следует глубоко изучить направление деятельности Герцена, отмеченное Гинзбургом в «Культуре» за 1932 год *. Даже под письмом, посланным к родным после бегства с замужней женщиной, мог бы подписаться Базаров из романа «Отцы и дети» **: здесь целая мораль, вытекающая из природы, как ее изображает естествознание и материалистическая философия.

Должно быть, почти невозможно восстановить «книжную культуру Пизакане» и установить «истoki» его идей. Единственный способ добиться успеха состоит в том, чтобы восстановить точную духовную среду определенной группы политической эмиграции во Франции и Англии после 1848 года, восстановить «разговорную культуру» того идеологического общения, которое осуществлялось через дискуссии и беседы.

Надо рассмотреть рецензию А. Омодео (в журнале «Критика» от 20 июля 1933 года) на книгу Н. Росселли

об Ансальдо: «Однажды человек гвиччардиниевского типа прочел страницы из Де Санктиса о самом себе и укрылся сначала под именем Дж. Ансальдо, а позднее под черной звездочкой; но его «особенности» не удалось замаскировать».

* См. статью Л. Гинзбурга «Гарibaldi и Герцен» в журнале «Культура», октябрь — декабрь 1932 года. — *Прим. ит. ред.*

** Письмо опубликовано полностью в «Нуова антологджиа» за 1932 год.

о Карло Пизакане, — рецензию, интересную во многих отношениях. Омодео с большой проницательностью вскрывает не только глубокие дефекты книги, но и органические пороки в постановке проблемы Рисорджименто у Пизакане. Но эта проницательность проистекает из того, что он становится на точку зрения «консерватора и ретрограда».

Представляется неправильным утверждение Омодео, что Пизакане был «фрагментом французских событий 1848 года, включенным в итальянскую историю», как неправильно и допущенное Росселли сближение Пизакане с современными синдикалистами (Сорель и другие воинствующие синдикалисты). Пизакане следует сблизить с русскими революционерами, с *народниками*; в этом смысле представляет интерес указание Гинзбурга о влиянии Герцена на итальянских эмигрантов. Не следует недооценивать того успеха, который Бакунин в более поздний период имел на Юге и в Романье. Этот факт имеет важное значение для понимания идей, выразителем которых выступил в свое время Пизакане, и странно, что именно Росселли не заметил этой связи.

Не следует считать, что отношения между Пизакане и плебейскими массами носили социалистический или синдикалистский характер. Скорее всего их следует рассматривать как отношения якобинского типа, пусть даже самого крайнего. Омодео очень легко критиковать постановку проблемы Рисорджименто на плебейско-социалистическую базу, но критика оказалась бы не столь легкой, если бы эта проблема была поставлена на базу «якобинско-аграрной реформы», как нелегко было бы отрицать мелочный, убогий, антинациональный эгоизм руководящих классов. В данном случае эти классы были представлены землевладельческим дворянством и абсентеистской сельской буржуазией, а не городской буржуазией индустриального типа и не интеллигентами-«идеологами», чьи интересы не были «фатально» связаны с интересами земледельцев (хотя их и следовало бы связать с интересами крестьян), то есть чьи интересы были недостаточно национальны.

Не «сплошь из золота» и замечание Омодео о том, что наличие точно сформулированных программ в период Рисорджименто являлось слабостью, поскольку не была выработана «техника» реализации этих программ.

Оставляя в стороне тот факт, что Пизакане не имел точно сформулированной программы, что ему была свойственна лишь «общая тенденция», более определенная, чем общая тенденция Мадзини (и в действительности более национальная, чем у Мадзини), следует отметить, что теория, отрицающая необходимость точно сформулированных программ, носит ясно выраженный консервативный и реакционный характер.

Несомненно, что точно сформулированные программы должны быть разработаны в практическом отношении, чтобы их можно было применять; несомненно также, что точно сформулированные программы без определения практического пути их реализации оказались бы пустым звуком. Но также несомненно, что политики вроде Мадзини, не имеющие «точно сформулированных программ», работают лишь «на чужого дядю» и представляют собой ферменты восстания, которое наверняка будет монополизировано самыми реакционными элементами, причем последние с помощью «техники» в конце концов возьмут верх над всеми остальными.

В итоге даже и о Пизакане следует сказать, что он не представлял в Рисорджименто «реалистической» тенденции, ибо действовал изолированно, не имел партии, кадров, готовых служить будущему государству, и т. д.

Но вопрос заключается не столько в истории Рисорджименто, сколько в истории прошлого, рассматриваемого с точки зрения самых непосредственных современных интересов, и с этой точки зрения рецензия Омодео, как и другие его работы, является тенденциозной в консервативном и ретроградном духе.

Впрочем, эта рецензия интересна тем, что в ней содержится аргумент, взятый из современных «идеологий», порожденных переосмыслением истории Рисорджименто, — «идеологий», которые имеют такое важное значение для понимания итальянской культуры последних десятилетий.

Этот интересный аргумент, на который указал Джоберти (например, в «Ринноваменто»), сводится к вопросу о технических возможностях национальной революции в Италии в период Рисорджименто, к вопросу о революционном центре (подобном Парижу во Франции) повстанческих сил, расположенных в различных районах страны, и т. д. Омодео критикует Росселли за то, что он не исследовал организацию на Юге, которая в 1857 году была,

видимо, не столь уж бездейственной, если в 1860 году она смогла парализовать силы Бурбонов; однако его собственная критика не отличается большой глубиной. В 1860 году ситуация совершенно изменилась и оказалось достаточно одной пассивности, чтобы деморализовать Бурбонов, между тем как в 1857 году ни пассивность, ни отряды, значившиеся на бумаге, не оказали должного воздействия. Речь идет поэтому не о сравнении состояния организации в 1860 году с состоянием организации в 1857 году, а о сравнении различных ситуаций, особенно «международных». Возможно, напротив, что организация в 1860 году была даже хуже, чем в 1857 году, из-за наступившей реакции.

Из рецензии Омодео уместно процитировать следующий отрывок: «Росселли приходит в энтузиазм от большого богатства программ. Но программа, излагающая будущую ситуацию в виде гипотезы, часто представляет собой громоздкий и бесполезный багаж. Самое важное — это направление, а не подробное перечисление действий. Мы видели все те программы, которые являлись программами для послевоенного периода; они изучались в то время, когда еще не знали, каким образом удастся выйти из испытания при таком душевном состоянии людей, при таких острейших нуждах!

Отсюда—за неопределенностью (за которую так упрекали Мадзини) скрывается искажение конкретной действительности. С другой стороны, немало пунктов социалистических требований постулировались (и постулируются без определения технического процесса их осуществления, и они вызывали и вызывают не только или не столько реакцию обездоленных классов, сколько отвращение тех, кто, будучи свободен от классовых интересов (!), чувствует, что еще не созрел ни новый моральный, ни новый юридический порядок. Такое положение совершенно противоположно тому, что было во время Французской революции, которую хотят скопировать различные социалистические течения,—противоположно, так как новый морально-юридический строй в 1789 году жил в сознании всех и представлялся легко осуществимым»*.

Омодео очень поверхностен и легкомыслен. Его высказывания следует сравнить с очерком Кроче «Партия как

* «Критика» от 20 июля 1933 года, стр. 283—284.

благоразумие и как предрассудок», опубликованном в 1911 году.

Несомненно, что программа Пизакане была столь же неопределенной, что и программа Мадзини, и что она также намечала лишь общую тенденцию, которая как тенденция была не намного яснее, чем тенденция Мадзини. Всякая «конкретная» разработка программы и всякое определение технического процесса ее осуществления предполагают существование партии, партии очень однородной и монолитной. Такой партии не было ни у Мадзини, ни у Пизакане.

Отсутствие конкретной программы с четкой общей тенденцией является формой изменчивого «наемничества», представители которого в конце концов переходят на сторону того, кто наиболее силен, кто лучше платит и т. д. Пример послевоенного периода, вместо того чтобы подтвердить правоту Омодео, обращается против него: 1) потому что в действительности в эти годы вовсе не существовало конкретных программ, а были именно лишь общие тенденции, более или менее туманные и расплывчатые; 2) потому что именно в этот период не было однородных и монолитных партий, а существовали только непостоянные по своему составу «кочующие» группы, которые являлись как раз символом неопределенности программ, а не наоборот. Не годится и сравнение с Французской революцией 1789 года, потому что тогда Париж выдвинул такие кадры, которые в Италии после 1848 года не мог выдвинуть ни один город с какой бы то ни было программой.

Вопрос должен быть поставлен в такой форме: «Маневренная война — осадная война». Другими словами, чтобы изгнать австрийцев и их итальянских приспешников, была необходима, во-первых, сильная, монолитная и сплоченная итальянская партия; во-вторых, было необходимо, чтобы эта партия имела конкретную и детально разработанную программу; в-третьих, чтобы такую программу поддерживали широкие народные массы (такими массами в то время могли быть только сельские массы) и чтобы они были подготовлены к «одновременному» восстанию во всей стране. Только глубоко народный характер движения и одновременность его могли вызвать поражение австрийской армии и ее приспешников. С этой точки зрения имело смысл противопоставлять не столько Пизакане и Мадзини, сколько Пизакане и Джоберти, ко-

торый имел свой стратегический взгляд на итальянскую революцию, стратегический не в узко военном смысле (что Мадзини признавал за Пизакане), но и в военно-политическом. Но у Джоберти также не было партии — не только в современном смысле слова, но даже в том смысле, какой оно имело в то время: то есть в смысле, порожденном Французской революцией, — как движение «просветителей».

Впрочем, в политическом отношении программа Мадзини была для своего времени чересчур «определенной» и конкретной в республиканском и унитарном смысле в отличие от программы Джоберти, которая больше приближается к программе якобинского типа (последняя тогда была необходима для Италии). По существу, даже Омодео (и в этом состоит его антиисторизм) незаметно для себя выступает с точки зрения той «единой Италии», которая якобы предшествовала Италии сформировавшейся, Италии, существующей сегодня в той форме, в какой она сложилась в 1870 году *.

Что же касается позиции людей, «свободных от классовых интересов», то они в послевоенный период вели себя так же, как и в период Рисорджименто. Они не сумели проявить решительность и пошли на сговор с победителем, которому, впрочем, они помогли победить своей нерешительностью, потому что речь шла о том, кто представлял их класс в узком и эгоистическом смысле.

Рецензия на книгу Нелло Росселли о Пизакане, опубликованная в «Нуова ривиста storica» за 1933 год (стр. 156 и сл.), относится к ряду таких же «истолкований» Рисорджименто, как и книга Росселли. Автор рецензии (как и Росселли) также не понимает, что если Рисорджименто не доставало чего-либо, то именно «якобинского» фермента в классическом смысле этого слова, и что Пизакане представлял собой в высшей степени интересную личность, так как он был одним из немногих, кто видел отсутствие этого фермента, хотя он сам и не был «якобинцем», в котором тогда так нуждалась Италия. Можно еще отметить, что тем призраком, который

* Несмотря на свою враждебность к экономическо-юридической тенденции, Омодео придерживается той точки зрения, которую провозгласил Сальвемини в своей брошюре о Мадзини, а именно: проповедь единства вообще, которую вел Мадзини, является устойчивым ядром мадзинизма, его реальным вкладом в Рисорджименто.

устрашал Италию до 1859 года, был не призрак коммунизма, а призрак Французской революции и террора; паническим страхом была охвачена не буржуазия, а «земельные собственники», и, между прочим, в пропаганде Меттерниха под коммунизмом разумелись попросту аграрный вопрос и аграрная реформа.

Луцио и тенденциозная и фальшивая историография умеренных

Следует подчеркнуть, что метод написания истории Рисорджименто, свойственный Алессандро Луцио, часто вызывает похвалу у иезуитов из «Чивильта каттолика». Между Луцио и иезуитами возможно согласие — не постоянное, но в целом ряде случаев и чаще, чем принято думать *. Луцио приходится защищать политику Карла-Альберта (в книге «Мадзини — карбонарий», стр. 498), и он не останавливается перед резким осуждением позиции Джоберти на процессе по делу 1831 года, в полном согласии с иезуитами. Следует подчеркнуть, что статьи о процессе Джоберти, опубликованные «Чивильта каттолика» в 1928 году, показывают на основании документов Ватикана, что папа заранее и в иезуитской форме высказал свое *placet* ** по поводу вынесения и приведения в исполнение смертного приговора Джоберти, между тем как, например, в 1821 году смертный приговор одному священнику в Пьемонте был заменен каторжными работами благодаря вмешательству Ватикана.

По поводу исторических работ Луцио, посвященных судебным процессам в период Рисорджименто, следует сделать несколько замечаний политико-разоблачительного порядка, касающихся его метода и его образа мышления.

Слишком часто кажется, что Луцио (там, где речь идет об арестованных членах демократических партий) как бы порицает обвиняемых за то, что они не были приговорены и казнены. Даже с юридической или судебной точки зрения Луцио ставит вопросы извращенно и

* См. в «Чивильта каттолика» от 4 августа 1928 года, стр. 216—217, статью «Политический процесс и приговор аббату Джоберти в 1833 году».

** «Угодно» (лат.).— *Прим. перев.*

тенденциозно, выступая с точки зрения «судьи», а не с точки зрения обвиняемых; отсюда его попытки (бессмысленные и неумные) «реабилитировать» реакционеров-судей вроде Сальвотти. Даже если допустить, что Сальвотти и как человек, и как австрийский чиновник должен был бы судить безупречно, это не меняет того факта, что организованные им процессы противоречили новому юридическому сознанию, носителями которого были патриоты-революционеры, и казались им чудовищными.

Положение обвиняемого было труднейшим и крайне щекотливым: самое безобидное признание могло вызвать катастрофические последствия, и не только для одного подсудимого, но и для многих людей, как это можно было видеть на примере с Паллавицино. Для государственного «правосудия», которое является формой войны, истина и объективная справедливость не имеют никакого значения: важно не только разбить врага, но разбить его так, чтобы казалось, будто враг заслуживает своего уничтожения и сам признает, что заслужил его.

На основе исследования «историко-судебных» сочинений Луцио можно было бы сделать целый ряд замечаний, касающихся исторического метода,— замечаний, интереснейших в психологическом отношении и важных — в научном*.

Метод писать историю Рисорджименто в духе Луцио показал свой фальшивый характер особенно во второй половине прошлого века (и особенно явно после 1876 года, то есть после прихода к власти «левой»); он является характерной чертой политической борьбы между католиками-умеренными (или умеренными, стремившимися помириться с католиками и найти почву для создания большой правой партии, которая посредством клерикализма создала бы широкую базу в сельских массах) и демократами, стремившимися по аналогичным соображениям разрушить клерикализм. Типичным эпизодом явилась бешеная атака, предпринятая против Луиджи Кастеллаццо в связи с позицией, которую, как предполагали, он занял на процессе в Мантуе, и приведшей к казни в Бельфьоре дона Таццоли, Карло Пома, Тито

* Следует посмотреть статью Марнано д'Амелио «Наследство и право» в «Коррьере дела сэра» от 3 сентября 1934 года.

Спери, Монтанари и Фраттини. Кампания носила совершенно искусственный характер, потому что обвинения, выдвинутые против Кастеллаццо, не были предъявлены другим лицам, чье поведение на всем известных процессах было, несомненно, хуже, чем поведение, приписываемое (и неубедительно) Кастеллаццо; поэтому такие люди, как Кардуччи, оставались солидарными с Кастеллаццо. Но Кастеллаццо был республиканцем, масоном (главой масонской организации?) и даже выразил свои симпатии по отношению к *Коммуне*. Действительно ли Кастеллаццо держался хуже, чем Джорджо Паллавичино на процессе Конфалоньери? (Обратить внимание на выпады Луцио против Андриана из-за его враждебности к Паллавичино.) Правда, процесс в Мантуе завершился приведением в исполнение смертных приговоров, между тем как этого не произошло с Конфалоньери и его товарищами, но, оставляя в стороне тот факт, что это не должно изменить суждения о действиях отдельных индивидуумов, можно ли сказать, что казни в Бельфьоре были вызваны предполагаемым поведением Кастеллаццо, а не являлись, наоборот, молниеносным ответом на миланское восстание 3 февраля 1853 года? И не содействовала ли укреплению жестокой решимости Франца-Иосифа трусливая позиция миланских дворян, которые пресмыкались у ног императора как раз накануне казни?

Следует выяснить отношение Луцио к этой сложной цепи событий. Попытка умеренных уменьшить ответственность миланских дворян имела поистине непристойную форму*.

* См. «Полвека патриотизма» Р. Бонфадини [R. Bonfadini, *Mezzo secolo di patriottismo*]. Выяснить позицию Луцио в вопросе о «Протоколах судебных допросов» Конфалоньери и о поведении Конфалоньери после его освобождения. По вопросу о Кастеллаццо см. Луцио «Мученики Бельфьоре» [A. Luzzo, *I Martiri di Belfiore*] в различных изданиях (4-е издание вышло в 1924 году); «Политические процессы в Милане и Мантуе, организованные Австрией» [I processi politici di Milano e di Mantova restituiti dall'Austria, Milano, Cogliati, 1919] (в этой книжечке речь, вероятно, должна идти о протоколах судебного следствия Конфалоньери, которые, как писал сенатор Салата, он «открыл» в венских архивах); «Масонство и итальянское Рисорджименто», 2 тома [La Massoneria e il Risorgimento Italiano, 2 voll., Bocca] (эта книга вышла, кажется, четырьмя изданиями в очень короткий промежуток времени, что очень удивительно). Ср. также: П. Л. Рамбальди «Ясные и темные стороны на процессах в Мантуе» [P. L. Rambaldi, *Luci ed*

Какую цель преследовали и частично еще преследуют (но в этой области в течение нескольких лет многое изменилось) историки и публицисты умеренных своей неутомимой, чрезвычайно осмотнительной и прекрасно организованной (иной раз кажется, что существует руководящий центр этой деятельности, особая масонская организация умеренных, настолько высока систематичность их действий) пропагандой? Эта цель состояла в том, чтобы «продемонстрировать», что объединение полуострова было величайшей заслугой умеренных, вступивших в союз с династией, и узаконить с исторической точки зрения монополию на власть. Необходимо напомнить, что к умеренным принадлежали самые крупные представители культуры, между тем как «левая» не блистала (за немногим исключением) особой интеллектуальной глубиной, особенно в области исторических исследований и публицистике средней руки. Умеренным с помощью полемики, посредством «демонстрации» их покорности удалось разьединить демократию в идеологическом отношении, перетянуть на свою сторону многих ее представителей и, главное, оказать влияние на воспитание молодых поколений, воздействуя на них через свои концепции, свои лозунги и программы. Кроме того: 1) умеренные в своей пропаганде не были щепетильны, между тем как представители Партии действия были полны патриотического, национального (и т. п.) «великодушия» и относились с уважением ко всем тем, кто действительно перенес испытания в период Рисорджименто, даже если иной раз эти люди и обнаруживали слабость; 2) порядки в публичных архивах благоприветствовали умеренным. Им разрешалось (в индивидуальном порядке) разыскивать документы, направленные против их политических противников, искажать или замалчивать те документы, которые могли оказаться неблагоприятными для них самих.

ombre nei processi di Mantova] в «Архивно сторико итальяно», т. XLIII, стр. 257—331, и Джузеппе Фатини «Выборы Гроссето и масонство» [Giuseppe Fatini, Le elezioni di Grosseto e la Massoneria] в «Нуова антолоджиа» от 16 декабря 1928 года (повествует о выборах в депутаты Кастеллаццо в сентябре 1883 года и о развернувшейся кампании: Кардуччи поддержал Кастеллаццо и выступил в печати против «фарисейского ожесточения умеренных»)

Лишь недавно стало возможным опубликовать полные собрания писем, например, тосканских умеренных, которые еще в 1859 году цеплялись за фалды великого герцога, чтобы не дать ему убежать, и т. д. Умеренные упорно отказываются признать существование в Рисорджименто иной, активно действующей, коллективной силы, кроме династии и умеренных; за Партией действия они признают лишь заслуги отдельных личностей, которые тенденциозно восхваляются за то, что они были арестованы; других они стараются опорочить, стремясь, во всяком случае, показать, что коллективных связей не было.

Партии действия по существу не удалось противопоставить этой пропаганде (которая через школу сделалась официальным руководством в обучении) ничего эффективного, кроме жалоб и излияния чувств; последние носили какой-то наивно-сектантский и пристрастный характер, что не могли убедить образованную молодежь, оставляли равнодушными простой народ и поэтому не оказали влияния на молодые поколения. Таким образом, Партия действия подверглась разложению, и буржуазная демократия никогда не смогла создать себе народной базы. Ее пропаганда должна была опираться не на прошлое, не на полемику, посвященную прошлому, которая всегда мало интересует широкие массы и полезна лишь в определенных границах — для создания и укрепления руководящих кадров, — а на настоящее и на будущее, на конструктивные программы, выработанные в противоположность официальным программам (или включающие их как составную часть). Poleмика, посвященная прошлому, была особенно трудна и опасна для Партии действия, потому что последняя оказалась побежденной, а победитель уже только благодаря тому, что он является победителем, обладает огромными преимуществами в идеологической борьбе.

Знаменательно, что никто никогда не подумал написать историю Партии действия, несмотря на то бесспорное значение, которое она имела в развитии событий: достаточно вспомнить о действиях демократов в 1848—1849 годах в Тоскане, Венеции, в Риме и о походе «Тысячи».

В определенный период все силы демократии объединились и масонство сделалось осью такого союза. Это

период, точно установленный в истории масонства, сделавшегося в гражданском обществе одной из наиболее влиятельных сил государства, способной сдерживать притязания и умерять опасности клерикализма, и этот период закончился вместе с развитием сил рабочих масс. Массинство сделалось мишенью умеренных, которые, очевидно, намеревались привлечь к себе таким образом по крайней мере часть католических сил, особенно молодежь; но в действительности умеренные усилили католические силы, контролируемые Ватиканом, и таким образом формированию современного государства и национального светского сознания (в конечном счете — патриотического чувства) был нанесен контрудар, как это показывают последующие события.

II. АМЕРИКАНИЗМ И ФОРДИЗМ

ВВЕДЕНИЕ

Рассматривая ряд проблем, объединенных этой несколько общей и условной рубрикой «Американизм и фордизм», необходимо иметь в виду тот основной факт, что попытки поставить и разрешить эти проблемы в силу необходимости делались в противоречивых условиях современного общества, что обуславливало их усложнение, пелопый подход к ним, экономические и моральные кризисы, зачастую ведущие к катастрофе, и т. д.

В общем можно сказать, что американизм и фордизм вытекают из имманентной необходимости иметь возможность организовать плановую экономику и что различные проблемы, которые здесь рассматриваются, должны были бы выступать как звенья одной цепи, отмечающие именно этот переход от старого экономического индивидуализма к плановой экономике; проблемы эти рождаются из различных форм сопротивления, с которыми сталкивается процесс в своем развитии, сопротивления, вытекающего из трудностей, которые заключены в самой природе *societas rerum* и *societas hominum*. То, что инициатором прогрессивной попытки выступает та или иная социальная сила, не остается без решающих последствий: подчиненные силы, которым надлежит быть «обработанными» и «рационализированными» в соответствии с новыми целями, начинают по необходимости сопротивляться. Но сопротивляется также и некоторая часть самих господствующих сил, или по крайней мере их союзников. Сухой закон, который в Соединенных Штатах был необходимым условием для развития нового типа работника, соответствующего фордизированной промышленности, был отменен из-за противодействия по-

бочных, еще отсталых сил, а, конечно, не из-за противодействия промышленников или рабочих, и т. д.

Вот перечень некоторых наиболее значительных или интересных по существу дела проблем, хотя на первый взгляд они и не кажутся первостепенными: 1) замена нынешнего плутократического слоя новым механизмом накопления и распределения финансового капитала, базирующегося непосредственно на промышленном производстве; 2) половой вопрос; 3) вопрос о том, может ли американизм составить историческую «эпоху», то есть может ли он обусловить постепенное развитие типа «пассивных революций» (которые рассматриваются в другом месте), свойственных прошлому веку, или же, наоборот, он представляет собой лишь постепенное накопление тех элементов, которые затем произведут «взрыв», то есть переворот французского типа; 4) вопрос о «рационализации» европейского демографического состава; 5) вопрос о том, должна ли отправная точка развития находиться в недрах промышленного и производящего мира или же развитие может получить толчок извне благодаря созданию надежной и прочной формально-юридической надстройки, которая позволяла бы извне руководить всеми необходимыми процессами развития производственного аппарата; 6) вопрос о так называемых «высоких заработках», которые платит фордизированная и рационализированная промышленность; 7) фордизм как последнее звено в цепи попыток, последовательно предпринимаемых промышленностью для того, чтобы преодолеть закономерную тенденцию к падению нормы прибыли; 8) психоанализ (его огромное распространение в послевоенное время) как выражение возросшего морального принуждения, осуществляемого государственным и социальным аппаратом по отношению к отдельным индивидам, и как выражение болезненных кризисов, обусловленных таким принуждением; 9) «Клуб деловых людей» и масонство.

Рационализация европейского демографического состава

В Европе различные попытки ввести некоторые аспекты американизма и фордизма обязаны старому плутократическому слою, которому хотелось бы примирить то, что по логике представляется непримиримым: старую

и анахроническую социально-демографическую структуру Европы с новейшей формой производства и методом труда, представленным самым совершенным американским типом производства — промышленностью Генри Форда. Поэтому внедрение фордизма наталкивается на такое упорное «духовное» и «нравственное» сопротивление и, принимая особенно жестокие и коварные формы, происходит при помощи крайнего принуждения. Короче говоря, Европа хотела бы, чтобы, как говорится, «и бочка была полна и жена пьяна», — хотела бы иметь все преимущества фордизма в области конкурентоспособности, сохраняя при этом свою армию паразитов, которые пожирают огромные суммы прибавочной стоимости, лежащие дополнительным грузом на издержки производства, и подрывают конкурентоспособность Европы на международном рынке. Поэтому следует внимательно изучить европейскую реакцию на американизм: из ее анализа можно будет извлечь немало элементов, необходимых для понимания нынешнего положения ряда государств Старого света и политических событий послевоенного времени.

Американизм в своей наиболее завершенной форме требует одного предварительного условия, которому американцы, разрабатывавшие эти проблемы, не уделяли внимания, потому что его существование в Америке является естественным: это условие можно назвать «рациональным демографическим составом», и состоит оно в том, что отсутствуют многочисленные классы, не играющие сколько-нибудь существенной роли в сфере производства, то есть абсолютно паразитические классы. Европейская «традиция», европейская «цивилизация», наоборот, характеризуются как раз существованием этих классов, порожденных «богатством» и «сложностью» истории прошлого, которая оставила множество пассивных отложений благодаря явлениям перенасыщения и окостенения государственного аппарата и интеллигенции, церкви и земельной собственности, грабительской торговли и армии, сначала профессиональной, потом основанной на повинности, но профессиональной для офицерства. Более того, можно сказать, что чем древнее история страны, тем многочисленнее и обременительнее эти отложения, состоящие из бездельничающих и бесполезных масс, этих пенсионеров истории, живущих «достоянием

предков». Провести статистику этих экономически пассивных (в социальном смысле) элементов чрезвычайно трудно, так как невозможно найти ту «графу», которая смогла бы определить их в целях непосредственного исследования. Пропливающие свет указания можно извлечь косвенно, например из существования определенных форм национальной жизни. Значительное количество больших и средних (а также мелких) человеческих агломератов городского типа, но без промышленности (без заводов) является одним из этих признаков и к тому же еще не самым показательным.

Так называемая «загадка Неаполя». Следует вспомнить замечание Гёте о Неаполе и «утешительные моральные выводы», которые извлек из них Джустино Фортунато *. Гёте был прав, разбивая легенду об органическом «лаццаронизме» неаполитанцев и подчеркивая, напротив, что они очень активны и изобретательны. Вопрос же заключается в том, чтобы увидеть, каков реальный результат этой изобретательности: она непроизводительна и не обращена на удовлетворение нужд и требований производительных классов. Неаполь — это город, где большая часть землевладельцев Юга (знатных и незнатных) проживает свою земельную ренту. Вокруг этих нескольких десятков тысяч семей собственников, более или менее значительных в экономическом отношении, с их дворами, состоящими из слуг и собственно лакеев, организуется деловая жизнь подавляющей части города с ручными промыслами, бродячими ремесленниками, с неслыханно дробным непосредственным предложением товаров и услуг бездельникам, которые спуют по улицам. Другая значительная часть города организуется вокруг перевозок и оптовой торговли. «Производительная» промышленность, в смысле создающей и накапливающей новые блага, относительно мала, несмотря на то, что официальная статистика указывает на Неаполь как на четвертый промышленный город Италии после Милана, Турина и Генуи.

* Брошюра Фортунато о Гёте [«Письма из Неаполя» В. Гёте, переведенные Дж. Фортунато, Неаполь, 1917.— *Прим. ит. ред.*] и его суждениях о неаполитанцах была переиздана издательством «Библиотека эдитриче Риэти» в сборнике «Критических тетрадей» под редакцией Доменико Петрини. По поводу брошюры Фортунато следует прочесть рецензию Лунджи Эйнауи в «Риформа сочiale» за 1918 год

Эта экономико-социальная структура Неаполя (а ныне благодаря деятельности провинциальных советов корпоративной экономики стало возможным получить достаточно точные сведения о ней) объясняет многое из истории Неаполя-города, столь полной противоречий и тернистых политических проблем. Положение, наблюдаемое в Неаполе, в крупных размерах повторяется в Палермо и Риме и во всем многочисленном ряде городов (знаменитая фраза о «ста городах») не только Южной Италии и Островов, но и Италии Центральной и даже Северной (добрая часть Болоньи, Парма, Феррара и т. д.). Относительно большей части населения городов этого рода можно повторить народную пословицу: «один с сошкой — семеро с ложкой».

До сих пор не был еще должным образом изучен тот факт, что средняя и мелкая земельная собственность находится не в руках крестьян-земледельцев, а в руках буржуа из маленьких городков и предместий; эта земля отдается в примитивную испольщину (то есть в аренду с выплатой натурой или услугами) или долгосрочную аренду с уплатой сельскохозяйственными продуктами или деньгами. Таким образом, существует огромная масса (по отношению к валовому доходу) мелкой и средней буржуазии, буржуазии «пенсионеров» и «рантье», породившая в определенной экономической литературе, достойной «Кандида», чудовищный образ так называемого «производителя накоплений», то есть целого слоя экономически пассивного населения, который извлекает из примитивного труда определенного числа крестьян не только средства к поддержанию собственного существования, но умудряется делать сбережения. Это один из самых чудовищных и нездоровых способов накопления капитала, ибо он основан на преступной, ростовщической эксплуатации крестьян, поставленных на грань полуголодного существования, и стоит неимоверно дорого, так как небольшому накопленному капиталу соответствуют неслыханные затраты труда, необходимые, чтобы поддержать зачастую довольно высокий жизненный уровень всей этой массы абсолютных паразитов. (Это историческое явление, благодаря которому на итальянском полуострове сложилась подобная ненормальная ситуация, обуславливающая исторический застой, сложилась в несколько приемов после падения средневековых коммун

и упадка духа капиталистической инициативы у городской буржуазии,— это явление было названо историком Никколó Родолико «возвратом к земле» и воспринято прямо-таки как признак благотворного национального прогресса; настолько звонкие фразы способны затуманить критическое сознание.)

Другим источником абсолютного паразитизма всегда был аппарат государственного управления. Ренато Спа-вента подсчитал, что десятая часть населения Италии (4 миллиона жителей) живет за счет государственного бюджета. И поныне относительно молодые люди (немногим старше 40 лет), с прекраснейшим здоровьем, в расцвете духовных и физических сил, проведя двадцать пять лет на государственной службе, перестают заниматься какой-либо производительной деятельностью и прозябают, получая более или менее крупные пенсии, в то время как рабочий может воспользоваться пособием только после 65 лет, а для крестьянина не существует границ трудовой деятельности (поэтому средний итальянец изумляется, когда слышит, что американский мультимиллионер продолжает оставаться активным до последнего дня своей сознательной жизни). Если в семье священник становится каноником, тотчас же «черная работа» становится «позором» для всех родственников; самое большее, чему можно посвятить себя,— это коммерции.

Состав итальянского населения сделался «нездоровым» уже в силу одной долгосрочной эмиграции и малой занятости женщин в труде по производству новых благ; соотношение между «потенциально» активным населением и населением пассивным является одним из самых неблагоприятных в Европе*. Это соотношение тем более неблагоприятно, если учесть: 1) эндемические болезни (малярия и т. п.), уменьшающие средний индивидуальный потенциал рабочей силы; 2) хроническое состояние голодания многих низших слоев крестьянства (как это явствует из исследований проф. Марио Камиса, опубликованных в «Риформа социале» за 1926 год **).

* См. соответствующие исследования проф. Мортара, в частности в «Проспеттиве эконоимике» за 1922 год.

** См. статью «Относительно условий питания итальянского народа» в «Риформа социале» за июнь 1926 года, стр 52—81.—
Прим. ит ред.

для которых средненациональные показатели должны быть расчленены на среднеклассовые: если средненациональные едва достигают необходимого стандарта, установленной наукой, то, естественно, приходится заключить, что немалый слой населения хронически голодает. Во время обсуждения в сенате государственного бюджета на 1929/30 год Муссолини утверждал, что в некоторых областях в течение целых сезонов люди едят одну траву*; 3) повальную безработицу, существующую в некоторых сельскохозяйственных областях и не затронутую официальными обследованиями; 4) массу абсолютно паразитического населения, которая очень велика и которая требует для собственного обслуживания труд другой, огромнейшей массы, паразитирующей косвенно, а также «полупаразитирующее» население, являющееся таковым, потому что оно способствует размножению — ненормальным и нездоровым путем — подчиненных форм экономической деятельности, таких, как торговля и вообще посредничество.

Эта ситуация существует не только в Италии; в большей или меньшей степени она существует во всех странах старой Европы и в еще худшей форме в Индии и Китае, чем объясняется застой в истории этих стран и их военно-политическое бессилие. (При рассмотрении этой проблемы не затрагивается непосредственно форма социально-экономической организации; берется только рациональность пропорций между различными группами населения в существующей социальной системе: всякая система имеет свой закон определенных пропорций в демографическом составе, свои моменты «наилучшего» равновесия и неуравновешенности, которая, не будучи выравнена соответствующим законодательством, может стать сама по себе катастрофической, потому что она иссушает источники экономической жизни нации, не говоря уже о всяких иных элементах разложения.)

У Америки нет великих «исторических и культурных традиций», но зато ее не тяготит этот свинцовый колпак: в этом одна из главных причин (конечно, более важная, чем так называемое природное богатство) накопления

* См. «Парламентские акты» сессии и речь сенатора Уго Анкона.

этой страной огромных капиталов, несмотря на более высокий по сравнению с европейским жизненный уровень народных классов. Отсутствие этих паразитирующих наслоений, оставленных прошедшими историческими фазами, позволило создать промышленность и особенно благоприятствовало развитию торговли на здоровой основе и позволяет все более и более сводить экономическую роль транспорта и торговли до действительно необходимых размеров, зависимых от производства; более того, происходят попытки поглощения этих видов деятельности самим производством. Достаточно вспомнить эксперименты Форда и экономию, достигнутую на его предприятии благодаря прямому управлению транспортом и продажей готового товара,— экономию, которая повлияла на себестоимость, то есть позволила повысить заработную плату и понизить продажную цену. Ввиду того, что существовали эти предварительные условия, уже рационализированные историческим процессом, было относительно легко рационализировать производство и труд, искусно комбинируя применение силы (уничтожение рабочего синдикализма, базирующегося на территориальной основе) с методами убеждения (высокая заработная плата, различные социальные благодеяния, искуснейшая политическая и идеологическая пропаганда) и подчиняя таким образом всю жизнь страны интересам производства. Гегемония рождается на фабрике и для своего осуществления нуждается лишь в минимальном количестве профессиональных посредников в политике и идеологии.

Явление «масс», так поразившее Ромье, есть не что иное, как форма этого типа «рационализованного» общества, где «базис» более непосредственно господствует над надстройками, а эти последние «рационализированы» (упрощены и уменьшены в числе).

В Америке рационализация обусловила необходимость выработки нового человеческого типа, соответствующего новому типу труда и производственного процесса: эта выработка пока находится лишь в своей начальной и поэтому (по видимости) идиллической фазе. Это еще только фаза психофизического приспособления к новой структуре промышленности, создаваемой с помощью высокой заработной платы; пока еще не обнаружилось (до кризиса 1929 года), разве что спорадиче-

ски, никакие «надстроечные» явления, иначе говоря, не был еще поставлен основной вопрос — вопрос гегемонии. Борьба ведется взятым из старого европейского арсенала и по-прежнему негодным оружием. Это оружие, следовательно, еще «анахроническое» в сравнении с развитием «вещей». Борьба, которая разворачивается в Америке (ее описал [Андрэ] Филип), — это пока еще борьба за ремесленную собственность против «промышленной свободы», иначе говоря, она похожа на борьбу, происходившую в Европе в XVIII веке, хотя и при других условиях. Американский рабочий профсоюз — это скорее корпоративное выражение собственности квалифицированных ремесел, чем что-либо иное, и поэтому требование промышленников пресечь деятельность этих профсоюзов имеет свою «прогрессивную» сторону. Отсутствие европейской исторической фазы, которая была ознаменована Французской революцией даже и в области экономической, оставило массы американского народа в сыром, необработанном состоянии; к этому следует добавить отсутствие национальной однородности, смешение культур различных рас, негритянский вопрос.

В Италии прозвучали лишь первые такты фордовского марша (восхваление крупных городов, планы реконструкции Большого Милана и т. д., утверждение, что капитализм находится только в начале своего пути и что необходимо подготовить грандиозное поле для его развития, и т. д.; по этому поводу нужно посмотреть в «Риформа социале» кое-какие статьи Скьяви); потом начался поворот к «деревенизации» и к реакционному умалению роли города, восхваление ремесел и патриархальной идилии, призывы к борьбе против промышленной свободы, за «ремесленную собственность». Однако, даже если развитие идет медленно, с понятными оглядками и предосторожностями, нельзя сказать, что консервативная часть, та часть, которая представляет старую европейскую культуру со всеми ее паразитирующими привесками, не имеет своих антагонистов (с этой точки зрения интересна тенденция, представляемая журналами «Нью-ви студи», «Критика фашиста» и ученым центром корпоративных высших учебных заведений, организованным при Пизанском университете).

Книга Де Мана * также на свой лад является выражением этих проблем, сотрясающих весь остов старой Европы, но выражением, лишенным импозантности и не связанным ни с одной из крупнейших исторических сил, соперничающих на мировой арене.

Финансовая автаркия промышленности

В довольно значительной статье Карло Паньи «По поводу попытки создания чистой теории корпоративизма» (в «Риформа социале» за сентябрь—октябрь 1929 года) анализируется одотомник Массимо Фовеля «Экономика и корпоративизм» [Massimo Fovel, *Economia e corporativismo*; Ferrara, SATE, 1929] и содержатся указания на другой труд того же Фовеля — «Рента и заработная плата в профсоюзном государстве» (Рим, 1928); однако автор не замечает и не подчеркивает с необходимой четкостью того, что Фовель в своих трудах понимает «корпоративизм» как предпосылку для введения в Италии наиболее передовых американских систем в методах труда и производства.

Интересно было бы знать, «собственным ли умом» создает свои труды Фовель или же за ним стоят (и конкретно, а не только «вообще») определенные экономические силы, которые его поддерживают и подталкивают. Фовель никогда не был «чистым ученым», выражающим определенные тенденции так, как их обычно выражают другие, тоже «чистые» представители интеллигенции. По многим своим качествам он входит в галерею таких типов, как Чиккотти, Нальди, Бацци, Прециози и т. п., но он сложнее их в силу своей неоспоримой интеллектуальной ценности. Фовель всегда стремился сделаться великим политическим лидером, но у него ничего не получилось из-за отсутствия некоторых основных качеств: тут нужна сила воли, направленной к одной цели, а не интеллигентская переменчивость типа Миссироли; кроме того, он слишком часто и слишком явно руководствовался мелкими грязными интересами. Он начинал перед войной как «молодой радикал» (ему хотелось омолодить традиционное демократическое движение, вложив в него более конкретное и современное содержание), немного

* De Man, *Au delà du Marxisme*. — Прим. ит. ред.

кокетничая с республиканцами, особенно с федералистами и автономистами (см. «Критика политики» Оливьеро Дзуккарини). Во время войны он был нейтралистом-джолиттианцем. В 1919 году в Болонье он вступает в социалистическую партию, но никогда не пишет в «Аванти!» Перед перемирием он совершает несколько поездок в Турин. Туринские промышленники приобрели старую и недоброй памяти «Гадзетта ди Торино», с тем чтобы переделать ее и превратить в свой прямой рупор. Фовель стремился стать редактором в этом новом органе и, конечно, входил в контакт с промышленными кругами. Ответственным же редактором был избран «молодой либерал» Томмазо Борелли, и вскоре вслед за ним в состав редакции вошел Итало Минунни из «Идеа национале» (а «Гадзетта ди Торино», даже под именем «Паэзе» и несмотря на щедро отпущенные для ее развития суммы, так и не прижилась и была прикрыта ее хозяевами).

«Забавно» письмо Фовеля, относящееся к 1919 году: он пишет, что «чувство долга» заставляет его сотрудничать в еженедельнике «Ордине нуово»; затем следует ответ, в котором указаны пределы его возможного сотрудничества, после чего «голос долга» внезапно смолкает. Фовель присоединился к банде Пассильи, Монтелли, Гарденги, которая сделала триестинский «Лавораторе» центром довольно прибыльных делишек и которая, должно быть, имела связи с туринскими промышленными кругами: об этом говорят попытка Пассильи перевести «Ордине нуово» в Триест под предлогом «коммерчески» выгодного ведения дел (посмотреть, за какое число напечатана подписка в 100 лир, собранная Пассильи, который приехал в Турин для непосредственного разговора) * и поднятый в то время вопрос о том, может ли «дворянин» сотрудничать в «Лавораторе». В 1921 году в редакции «Лавораторе» были найдены бумаги, принадлежавшие Фовелю и Гарденги, из которых явствовало, что оба дружка играли на бирже на текстильных акциях во время забастовки, возглавляемой синдикалистами Никола Векки, и руководили га-

* Подписка Пассильи (в то время администратора «Лавораторе») напечатана в «Ордине нуово» от 27 марта 1920 года, № 42 — *Прим ит ред*

зетой в соответствии с интересами своей биржевой игры. После Ливорно Фовель в течение некоторого времени не давал повода говорить о себе. Вновь он объявился в 1925 году в качестве сотрудника «Аванти!», возглавляемой Ненни и Гарденги, и открыл кампанию в пользу закабаления итальянской промышленности американскими финансами, кампанию, которую тотчас же использовала (должно быть, об этом было предварительное соглашение) «Гадзетта дель пополо», связанная с инженером Понти из монополии «Сочьета итальяна пьемонтезе». В 1925—1926 годах Фовель часто выступал со своими статьями в «Воце републикана». Сейчас (в 1929 году) он поддерживает корпоративизм как предпосылку итальянской формы американизации, сотрудничает в феррарском «Коррьере падано», в «Нуови студи», в «Нуови проблеми», в «Проблеми ди лаворо» и, как будто бы, преподает в Феррарском университете.

Что представляется знаменательным в положениях Фовеля, пересказываемых Паньи, так это его концепция корпорации как автономного индустриально-производственного блока, призванного разрешить по-современному и подчеркнуто по-капиталистически проблему дальнейшего развития итальянского экономического аппарата в противовес интересам полуфеодалных и паразитирующих элементов общества, взимающих слишком большую дань из прибавочной стоимости и так называемых «производителей накоплений». Накопление должно стать внутренней (и более доходной) функцией самого производственного блока за счет развития производства на основе снижающейся себестоимости, что позволило бы не только получать большую массу прибавочной стоимости, но и платить более высокую заработную плату, следствием чего является увеличение емкости внутреннего рынка, некоторые сбережения, которые могут сделать рабочие, и более высокие прибыли. Таким образом, накопление капиталов шло бы ускоренными темпами в недрах самого предприятия, а не через посредничество «производителей накоплений», которые в действительности являются пожирателями прибавочной стоимости. В производственно-индустриальном блоке технический элемент (дирекция и рабочие) должен преобладать над элементом «капиталистическим», в самом «убогом» смысле этого слова; другими словами, на место союза между капита-

нами промышленности и мелкобуржуазными «накопителями» должен стать блок всех элементов, непосредственно занятых в производстве, единственно способных объединиться в профсоюз и, следовательно, образовать производственную корпорацию (отсюда крайние выводы, сделанные Спирито, насчет корпорации собственников). Паньи возражает Фовелю, заявляя, что разработанная последним концепция не есть новая политическая экономия, а только новая экономическая политика; возражение формальное, может и имеющее какое-то значение в определенном плане, но не затрагивающее главного довода. Остальные возражения, взятые конкретно, являются не чем иным, как констатацией некоторых отсталых сторон итальянской жизни по сравнению с подобным «организационным» переворотом в экономическом механизме. Наибольшие недостатки Фовеля состоят в забвении экономической функции, которую государство всегда выполняло в Италии из-за недоверия владельцев сбережений к промышленникам, в забвении того, что корпоративный курс вытекал не из требований переворота в технических условиях промышленности и еще менее из требований новой экономической политики, а скорее из требований экономической администрации, усугубленных к тому же кризисом 1929 года и остающихся в силе и поныне.

В действительности итальянские производственные коллективы ни как отдельные единицы, ни как профсоюзы, ни активно, ни пассивно никогда не становились в оппозицию к нововведениям, направленным на снижение себестоимости, на рационализацию труда, на внедрение самых совершенных автоматических механизмов и самой совершенной технической организации в масштабе всего предприятия. Совсем наоборот. Это происходило в Америке и обусловило полуликвидацию свободных профсоюзов и их замену системой изолированных (друг от друга) рабочих организаций на предприятиях. В Италии же, напротив, всякая, даже самая незначительная и робкая попытка превратить фабрику в центр профсоюзной организации (вспомним вопрос о доверенных лицах на предприятиях) встречалась в штыки и решительно пресекалась. Тщательный анализ итальянской истории, доведенный до 1922 или даже 1926 года и позволяющий увидеть за внешней мишурой явлений глубинные движущие силы рабочего движения, должен был бы привести к объ-

ективному заключению, что именно рабочие являлись носителями новых и наиболее современных требований промышленности и на свой лад ревностно утверждали их. Можно даже сказать, что кое-кто из промышленников понял это движение и попытался заручиться его поддержкой ради своих выгод (так следует объяснить старания Аньелли втянуть «Ордине нуово» и его школу в концерн «Фиат» и основать таким образом школу рабочих и техников для обеспечения промышленного переворота и работы по «рационализированным» методам; УМСА⁶² попыталась открыть курсы «абстрактного американизма», но, несмотря на затрату внушительных сумм, эти курсы провалились).

Кроме этих соображений, встает другой ряд проблем: корпоративное движение существует, а в некоторых аспектах проведенные юридические мероприятия уже создали формальные условия, при которых технико-экономический переворот может осуществиться в широких масштабах, потому что рабочие не могут ни противодействовать ему, ни бороться за то, чтобы самим стать его знаменосцами. Корпоративная организация может стать формой такого переворота, но при этом возникает вопрос: будет ли это одной из тех «коварных проделок провидения» Вико, когда люди, не ставя себе такой задачи и сами того не желая, подчиняются императивам истории? В настоящий момент приходится сомневаться в этом. Отрицательный элемент «экономической полиции» до сих пор преобладал над положительным элементом — требованием новой экономической политики, которая обновила бы, поставила бы на современный уровень экономико-социальную структуру нации, пусть даже в рамках старого индустриализма. Возможная юридическая форма — это одно из условий, но не единственное и даже не самое важное; это только самое важное из непосредственных условий. Американизация требует определенной среды, определенной социальной структуры (или решительного желания создать ее) и известного типа государства. Государство это — либеральное, но не в смысле таможенной или практически политической свободы, а в более глубоком смысле свободной инициативы и экономического индивидуализма, достигающих благодаря самому историческому развитию и при помощи собственных сил, в качестве «гражданского общества», режима промышленной концентрации и моно-

полии. В Италии ликвидация рантье полуфеодалного типа — это одно из главных условий промышленного переворота (это отчасти и есть самый переворот), а отнюдь не следствие. Орудием этой ликвидации является финансово-экономическая политика государства: погашение государственного долга, регистрация ценных бумаг, увеличение доли прямых налогов по сравнению с налогами косвенными в доходной части бюджета. Не верится, однако, что это уже стало или станет в ближайшем будущем направлением финансовой политики. Более того, государство создает новых рантье, то есть сохраняет и поощряет старые формы паразитического накопления сбережений и стремится создать социально замкнутые группы. В самом деле, корпоративный курс до сих пор действовал в поддержку неустойчивых позиций средних классов, а не для уничтожения этих последних. Защищая уже установившиеся интересы, порождаемые старым базисом, он все более превращается в механизм сохранения того, что существует в том виде, как оно есть, а не в пружину прогресса. Почему? Потому что корпоративный курс зависит также и от безработицы: занятым он обеспечивает некоторый прожиточный минимум (в случае существования свободной конкуренции и этот минимум резко упал бы, вызвав серьезные социальные перевороты), а также создает занятость нового типа (организационного, а не производственного) для безработных из средних классов. И все же есть выход из положения: корпоративный курс, родившийся как следствие исключительно щекотливой ситуации, основные элементы которой необходимо любой ценой поддерживать в равновесии, чтобы избежать ужасающей катастрофы, мог бы осуществляться путем продвижения крайне медленными, почти неощутимыми шагами, которые видоизменяли бы социальную структуру без внезапных встрясок: ведь и ребенок, как туго его ни запеленают, все же развивается и растет. Вот почему было бы интересно знать, говорит ли Фовель сам за себя или он выступает представителем экономических сил, которые во что бы то ни стало хотят найти свою собственную дорогу. Во всяком случае, процесс этот будет столь долгов и встретит столько трудностей, что за это время могут сложиться новые интересы, способные оказать ему упорное сопротивление и даже совсем прекратить его.

Некоторые аспекты полового вопроса

Одержимость половым вопросом и опасности подобной одержимости.

Выдвигая половой вопрос на первый план, все «пржектеры» разрешают его «не мудрствуя лукаво».

Следует заметить, что в «Утопии» половой вопрос занимает очень много места, часто превалируя над другими. (Кроме делает неуместное замечание о том, что решения Кампанеллы в «Городе солнца» не могут быть объяснены половыми нуждами калабрийских крестьян.) Половые инстинкты — это инстинкты, которые претерпели наибольшее давление со стороны развивающегося общества; их «регламентирование» представляется самым что ни на есть «противоестественным» делом ввиду противоречий, которые оно порождает, и извращений, которые ему приписываются; отсюда и призывы к «природе», которые нигде не раздаются так часто, как в этой области.

«Психоаналитическая» литература — это еще один способ критиковать регламентацию половых инстинктов, порою в «просветительской» форме, путем создания на половой основе нового мифа о «первобытности» (включая отношения между родителями и детьми).

Между городом и деревней в этой области существует разрыв, но не такой, какой способствовал бы поддержанию идиллического представления о деревне, где имеют место наиболее многочисленные и чудовищные половые преступления, где очень распространены бестиализм и педерастия. В материалах парламентского обследования Юга в 1911 году говорится, что в Абрुццах и Базиликате (где очень сильны религиозный фанатизм, патриархальность и очень слабо влияние городских идей, настолько, что в 1919—1920 годах, по данным Серпьеры, там не было ни одного крестьянского волнения) случаи кровосмешения зарегистрированы у 30 процентов семей, и положение там, кажется, не изменилось вплоть до последних лет.

Сексуальность как воспроизводительная функция и как спорт. «Эстетический» идеал женщины колеблется между представлениями о ней как о «производительнице» и как об «игрушке». Но сексуальность стала «спортом» не только в городе; народные пословицы: «мужчина — охотник, женщина — искусительница», «у кого нет ничего лучшего — ложится спать с женой» и т. п. — показывают рас-

пространенность спортивного представления также и в деревне, и в половых отношениях между элементами одного и того же класса.

Экономическая функция воспроизводства. Она является не только общим делом, интересующим все общество в целом, функцией, для которой необходимо известное соотношение между различными поколениями в целях производства материальных благ и поддержания пассивной части населения (ставшей пассивной нормальным путем: по возрасту, инвалидности и т. д.), но и делом «молекулярным», внутренним для таких мельчайших экономических объединений, каким является семья. Выражение насчет «опоры в старости» указывает на инстинктивное осознание экономической необходимости существования известных взаимоотношений между старыми и молодыми на всей социальной арене. Зрелище того, как плохо в деревнях обращаются с бездетными стариками и старухами, заставляет каждую супружескую чету желать потомства (пословица о том, что «одна мать сто детей вырастит, но сто детей одну мать не прокормят», указывает на другую сторону вопроса): в народных массах на бездетных стариков и старух смотрят как на «выродков». Успехи гигиены, увеличившие среднюю продолжительность человеческой жизни, все острее ставят половой вопрос как существенный и самодовлеющий аспект экономического вопроса, такой, который в свою очередь приводит к постановке сложных проблем «надстроечного» характера. Увеличение средней продолжительности жизни во Франции, с ее низкой рождаемостью и необходимостью приводить в движение очень богатый и сложный производственный аппарат, уже сегодня ставит некоторые проблемы, сопряженные с проблемой национальной: старые поколения вступают во все более ненормальные отношения с молодыми поколениями той же национальной культуры, а трудящиеся массы обрастают иностранными, иммигрировавшими элементами, которые изменяют самую их основу; уже начинает появляться, как и в Америке, определенное разделение труда (работа, требующая квалификации, и, кроме того, функции руководства и организации — для коренного населения, работа, не требующая квалификации, — для иммигрантов).

Подобные же отношения, но со значительными антиэкономическими последствиями, устанавливаются в целом

ряде государств между промышленными городами с низкой рождаемостью и плодovitой деревней. Работа в промышленности требует предварительной общей подготовки, процесса психофизического приспособления к определенным условиям труда, питания, жилища, к определенным нравам и т. д., что должно приобретаться, а не является чем-то врожденным, не дается «от природы», в то время как благоприобретенные городские склонности передаются по наследству или впитываются в детстве и отрочестве. Таким образом, низкая рождаемость в городе требует постоянных и существенных затрат для обучения все новых масс, оседающих в городе, и влечет за собой постоянное изменение социально-политического состава города, ставя проблему гегемонии каждый раз на новой основе.

Важнейшим этико-гражданским вопросом, связанным с вопросом половым, является формирование новой женской личности: до тех пор пока женщина не достигнет не только подлинной независимости перед лицом мужской власти, но и не выработает нового взгляда на себя и на свою роль в половых отношениях, половой вопрос сохранит все свои болезненные свойства и нужно будет соблюдать осторожность в каждом законодательном нововведении. Всякое освобождение от одностороннего принуждения в области половых отношений приводит вместе с тем к «романтической» распушенности, которая может быть отягощена отменой легальной и организованной проституции. Все эти элементы усложняют и очень затрудняют всякую регламентацию полового вопроса, всякую попытку создать новую половую этику, которая соответствовала бы новым методам производства и труда. С другой стороны, двигаться по направлению к такой регламентации и созданию новой этики необходимо. Следует обратить внимание на то, как промышленники (в особенности Форд) интересуются половыми отношениями своих работников и вообще устройством их семейной жизни; видимость «пуританства», в которую облачается этот интерес (как и в случае с сухим законом), не должна вводить в заблуждение: истина состоит в том, что новый тип человека, которого требует рационализация производства и труда, не сможет развиваться до тех пор, пока половой инстинкт не будет соответствующим образом урегулирован, не будет рационализирован, как и все остальное.

„Животная природа“ и индустриализм

История индустриализма показывает, что он всегда был (а ныне становится еще более четко и определенно) постоянной борьбой против «животного» начала в человеке, непрерывным, часто мучительным и кровавым процессом подчинения инстинктов (естественных, а значит — животных и первобытных) постоянно новыми, все более сложными и суровыми нормами и упорядоченными навыками точности, тщательности, которые делают возможным появление все более сложных форм коллективной жизни, являющихся необходимым следствием развития индустриализма. Эта борьба навязана извне, и результаты, достигнутые в ней при всей их большой непосредственно практической ценности, до сих пор по большей части носят чисто механический характер — они сделались «второй натурой». Но разве всякий новый образ жизни в период борьбы со старым не становится на некоторое время результатом механического давления? Ведь и инстинкты, которые ныне необходимо преодолевать как еще слишком «животные», на самом деле представляют значительный прогресс по сравнению с предшествовавшими, еще более первобытными инстинктами. Кто смог бы подчитать «цену», выраженную в человеческих жизнях и страданиях, причиненных этим порабощением инстинктов, которую люди заплатили за переход от кочевничества к оседлой, земледельческой жизни? Это относится и к ранним формам крепостного права и ремесленного производства. До сих пор всякая смена образа жизни происходила путем жестокого принуждения, путем установления господства одной социальной группы над всеми производительными силами общества. Отбор или «воспитание» человека, пригодного для нового типа цивилизации, то есть для новых форм производства и труда, сопровождалось неслыханными жестокостями, выбрасыванием на социальное «дно» слабых и непокорных или полным уничтожением их. Всякий раз с приходом цивилизации нового типа или в процессе ее развития наступал момент болезненного перелома. Но кто оказывался захваченным этими кризисами? Не трудящиеся массы, а средние классы и часть самих господствующих классов, также испытавших насильственное давление, которое по необходимости было распространено на всю социальную арену. Периоды *раз-*

вращенности нравов были многочисленны: каждая историческая эпоха имела такой период.

В периоды, когда весь социальный комплекс испытывал насильственное давление (это в особенности ощущалось после падения рабовладельческого строя и прихода христианства), развились пуританские идеологии, придающие применению силы внешнюю форму убеждения и согласия. Но когда результат оказывается достигнутым, хотя бы и не в полной мере, это давление прекращается (исторически такой перелом проявляется, естественно, самым различным образом, так как давление это всегда принимало оригинальные формы, воплощаясь зачастую в отдельной личности: оно то выступало под оболочкой религиозного движения, то создавало свой собственный аппарат среди определенных сословий и каст, принимало то имя Кромвеля, то Людовика XV и т. д.) и наступает период развращения (конечно, французский кризис после смерти Людовика XV, например, нельзя сравнивать с американским кризисом после прихода Рузвельта, а сухой закон с сопутствующим ему расцветом бандитизма и т. п. явлений не находит своих аналогов в предыдущих эпохах), который, однако, трудящиеся массы затрагивает лишь поверхностно, косвенно, тем, что развращает их женщин; в самом деле, эти массы или уже приобрели навыки и привычки, необходимые при новом образе жизни и системе труда, или же продолжают ощущать насильственное давление при удовлетворении элементарных потребностей своего существования (ведь и отмена сухого закона произошла не по желанию рабочих, а коррупция, которую принесли с собой контрабанда и бандитизм, распространилась в высших классах).

В послевоенный период выявился неслыханный по своим масштабам и глубине упадок нравов, но его воздействие было направлено против той формы принуждения, которая была навязана не в целях создания навыков, соответствующих новым формам труда, а в силу необходимости, временный и преходящий характер которой был уже ясен,—необходимости фронтовой, окопной жизни. В особенности эта необходимость проявилась в подавлении половых инстинктов, даже нормальных, у широких масс молодежи, а исчезновение стольких мужчин и постоянное количественное несоответствие между индивидуумами обоих полов сделали кризис, разразившийся в мо-

мент возвращения к нормальной жизни, особенно жестоким. Институты, связанные с половой жизнью, испытали сильное потрясение, и в половом вопросе стали развиваться новые формы просветительской утопии. Кризис сделался (и еще остается поныне) более жестоким оттого, что он затронул все слои населения и вступил в конфликт с требованиями новых методов труда, которые тем временем завоевали место (тейлоризм и рационализация вообще). Эти новые методы требуют подчинения половых инстинктов (нервной системы) суровой дисциплине, требуют, иначе говоря, укрепления «семьи» в широком смысле (а не той или этой формы семейного устройства), усиления регламентации и постоянства половых отношений.

Следует настаивать на том, что в области половых отношений самым растлевающим и «регрессивным» идеологическим фактором является просветительская теория свободы чувств, проповедь распушенности, распространяемая классами, тесно не связанными с производительным трудом, и оказывающая свое вредное влияние на трудящиеся классы. Опасность этого элемента становится гораздо серьезнее в государстве, где трудящиеся массы не испытывают больше насильственного давления вышестоящего класса, где они должны приобретать новые психофизические навыки и привычки, связанные с новыми методами труда и производства, путем взаимных уговоров или индивидуально предлагаемого и принимаемого убеждения. Может сложиться ситуация «с двойным дном», возникнуть внутренний конфликт между «устной» идеологией, признающей новые требования, и реальной «животной» практикой, которая препятствует чисто физическому приобретению новых навыков. Ситуацию, которая создается в этом случае, можно назвать ситуацией всеобщего социального лицемерия. Почему всеобщего? В других ситуациях народные слои принуждены соблюдать «добродетель»; тот, кто ее проповедует, не соблюдает ее, хотя и превозносит на словах, а следовательно, это лицемерие сословное, не всеобщее. Это, конечно, не может долго продолжаться и приводит к состоянию развращенности; но это уже когда «добродетель» перейдет у масс в постоянные или почти постоянные навыки, то есть такие, при которых отклонения от «добродетели» случаются все реже и реже. В случае же когда не существует насильственного давления вышестоящего класса, утверждается

«добродетель» вообще, которая не соблюдается ни по убеждению, ни по принуждению, а поэтому и не приобретаются психофизические навыки, необходимые для новых методов труда. Кризис может стать «перманентным», кризисом с катастрофической перспективой, ибо только принуждение сможет прекратить его, принуждение нового типа, поскольку, будучи осуществляемо *élite* одного класса в отношении своего собственного класса, оно не может быть не чем иным, как самопринуждением, то есть самодисциплиной (Альфьери⁶³, который заставляет привязывать себя к стулу). Во всяком случае, единственное, что можно противопоставить такой функции *élites*, — это просветительские и анархические представления в сфере половых отношений. Борьба с этой теорией и означает как раз создавать *élites*, необходимые для решения исторической задачи, или по крайней мере развивать их до того, чтобы их функции распространились на все сферы человеческой деятельности.

Рационализация труда и производства

По-моему, не было достаточно хорошо освещено то, что тенденция Леоне Давидови * была тесно связана с этим рядом проблем. Основное содержание его тенденции с этой точки зрения состояло в «слишком» решительном (следовательно, не рационализированном) желании поставить в национальной жизни выше всего индустрию и индустриальные методы, ускорить внешними и принудительными средствами установление дисциплины и порядка в производстве, привести нравы в соответствие с потребностями труда. Если учесть общую постановку всех проблем, связанных с этой тенденцией, станет очевидно, что последняя неизбежно должна была вылиться в определенную форму бонапартизма; отсюда вытекала неумолимая необходимость решительной борьбы против нее. Его озабоченность была правильна, но практические решения глубоко ошибочны. В этом расхождении теории с практикой коренилась опасность, которая, впрочем, уже дала себя знать прежде, в 1921 году. Принцип принуждения, прямого или косвенного, в организации труда и про-

* Лев Давыдович Бронштейн, то есть Троцкий.— *Прим. ит. ред.*

изводства правилен, но форма, которую он принял, была ошибочной: военный образец сделался роковым предрассудком, и трудовые армии потерпели крах. Интерес Лео-не Давидови к американизму; его статьи, его исследования насчет «быта»* и литературы; эти области жизни связаны между собой больше, чем может показаться, ибо новые методы труда неотделимы от определенного образа жизни, мыслей и мироощущения; нельзя достичь успехов в одной области, не добившись ощутимых результатов в другой. Рационализация труда в Америке и сухой закон, несомненно, связаны между собой: надзор промышленников над интимной жизнью рабочих, службы инспекции, созданные на некоторых предприятиях для контроля за «моралью» рабочих, вызваны требованиями нового метода труда. Кто смеется над этими начинаниями (пусть даже провалившимися), кто видит в них лишь проявление «пуританского» лицемерия, тот закрывает для себя всякую возможность понять важность, смысл и *объективное значение* американского феномена, который представляет собой также и величайшее из совершавшихся до сих пор коллективных усилий, направленных на создание, с неслыханной быстротой и невиданным в истории сознанием конечной цели, нового типа работника и человека. Тому, кто помнит выражение Тейлора насчет «дрессированной гориллы», это «*сознание конечной цели*» может показаться по меньшей мере юмористическим. Тейлор действительно выразил с жесточайшим цинизмом цель американского общества: развить в трудящемся до максимальной степени машинные и автоматические навыки, разбить старый психофизический комплекс квалифицированного, профессионального труда, требовавшего известного активного участия ума, фантазии, инициативы трудящегося, и свести все производственные операции только к их физическому машинному аспекту. В действительности же здесь нет никаких оригинальных новшеств, речь идет лишь о самой новейшей фазе длительного процесса, начавшегося с самим рождением индустриализма,— фазе, отличающейся от предыдущих большой интенсивностью и проявляющейся в более грубых формах; эта фаза также будет преодолена вместе с созданием нового психофизического

* В подлиннике русское слово в латинской транскрипции: «byt». — *Прим. перев.*

комплекса, отличного от предшествовавших типов и, несомненно, *высшего* по отношению к ним. Будет неизбежен насильственный отбор: какая-то часть старого трудящегося класса будет безжалостно вытеснена из трудовой сферы, а может быть, и вообще вычеркнута из жизни.

Именно с этой точки зрения необходимо изучать «пуританские» мероприятия американских промышленников типа Форда. Конечно, они не заботятся о «человечности», о духовных запросах трудящегося, непосредственно подвергающегося ломке. Эти «человечность» и «духовные запросы» не могут реализоваться иначе, как в мире труда и производства, в производственном «созидании»; они были максимально развиты в ремесленнике, «демиурге», когда личность работника целиком отражалась в созданном предмете, когда была еще очень крепка связь между трудом и искусством. Но именно против этого «гуманизма» и борется новейший индустриализм. «Пуританские» мероприятия преследуют одну лишь цель — сохранить вне сферы трудовой деятельности некое психофизическое равновесие, которое не допустит сильного физиологического истощения работника, выжатого новым методом производства. Это равновесие, конечно, чисто внешнее и механическое; но оно может стать и внутренним, если не будет навязано извне, а предложено самим работником, новой формой общества при помощи соответствующих оригинальных средств. Американский промышленник заботится о поддержании постоянной физической эффективности работника, его мускульно-нервной действенности; в его интересах иметь устойчивый коллектив, постоянный, хорошо сработавшийся комплекс рабочих, ибо человеческий комплекс (коллективный работник) предприятия — это тоже машина, которую нельзя слишком часто разбирать с целью обновления отдельных деталей, не причиняя больших убытков.

Так называемая высокая заработная плата есть элемент, обусловленный этой необходимостью: она является орудием отбора коллектива, приспособленного к системе труда и производства и поддержания его устойчивости. Но высокая заработная плата — это палка о двух концах: нужно, чтобы работник тратил «рационально» более обильные средства для поддержания, обновления, а по возможности и усиления своей мускульно-нервной работоспособности, а не для того, чтобы он разрушал и подрывал

вал ее. И вот, таким образом, борьба с алкоголем, самой опасной причиной разрушения трудовых сил, становится функцией государства. Возможно, что и другие виды «пуританской» борьбы станут функцией государства, в случае если частная инициатива промышленников окажется недостаточной или если среди трудящихся масс разразится слишком глубокий и обширный моральный кризис, что может произойти в результате затяжной и большой безработицы.

С вопросом об алкоголе связан также половой вопрос: злоупотребление и нерегулярное отправление половых функций — это, после алкоголизма, самый опасный враг нервной энергии, и широко известно, что «бешеная» работа вызывает алкоголизм и половую развращенность. Предпринятые Фордом попытки вмешаться с помощью особого штата инспекторов в частную жизнь своих работников и контролировать, как они тратят свой заработок и как живут, являются признаком тех пока еще «частных» и скрытых тенденций, которые в определенный момент могут стать государственной идеологией в сочетании с традиционным пуританизмом, то есть выступая как возрождение морали пионеров «истинного» американизма и т. д. Но самый значительный вывод, который надо сделать из американского примера, поскольку речь идет об этих проявлениях, — это разрыв, который образовался, и в дальнейшем будет обрисовываться все четче, между моралью-нравами трудящихся и моралью-нравами высших слоев населения.

Сухой закон уже показал пример подобного разрыва. Кто употреблял алкогольные напитки, контрабандно введенные в Соединенные Штаты? Алкогольные напитки стали предметом большой роскоши, и широкие массы трудящихся — даже те из них, у кого были наиболее высокие заработки — не могли позволить себе потребление этих напитков; кто работает за заработную плату твердо установленный рабочий день, у того нет времени разыскивать алкогольные напитки, нет времени заниматься спортом и обходить законы. То же самое замечание можно отнести и к сексуальным развлечениям. «Охота за женщиной» требует большого досуга. В рабочем нового типа повторится в иной форме то, что происходит с крестьянином в деревне. Относительная устойчивость половых союзов у крестьян тесно связана с системой сельского труда. Кре-

ствиями, возвращающийся домой вечером, после длинного трудового дня, хочет горациевскую «*Venerem facilem parabilemque*» *; у него нет склонности к тому, чтобы ворковать со случайной женщиной, он любит свою жену, надежную, постоянную, которая для того, чтобы ею овладели, не станет жеманиться и разыгрывать комедию соблазна или изнасилования. Создается впечатление, что, таким образом, половая функция оказывается механизированной, но на самом деле речь идет о возникновении новой формы полового союза — без «ослепляющих» красок романтической мишуры мелкого буржуа и бездельничашей представительницы богемы. Становится ясным, что новый индустриализм требует моногамии, требует того, чтобы человек-работник не растрчивал свою нервную энергию в беспорядочных и возбуждающих поисках случайного полового удовлетворения; рабочий, идущий на работу после ночного «разгула», не может быть хорошим работником: чувственная экзальтация идет вразрез с хронометрированными производственными движениями, связанными с самыми совершенными автоматическими механизмами. Этот комплекс прямого и косвенного давления и принуждения, оказываемого на массу, несомненно, принесет свои результаты, и возникнет новая форма полового союза, характерной и основной чертой которого, видимо, должна будет стать моногамия и относительная устойчивость.

Интересно было бы узнать статистические данные отклонений от половых нравов, официально пропагандируемых в Соединенных Штатах, с анализом по социальным группам: в целом может оказаться, что разводы особенно многочисленны в высших классах. Этот разрыв в морали между трудящимися массами и все более многочисленными элементами руководящих классов представляется одним из самых интересных и имеющих большие последствия явлений в Соединенных Штатах. До недавнего времени американский народ был народом тружеников: «трудолюбие по призванию» было чертой, присущей не одному только рабочему классу, но представляло собой специфическую черту также и классов руководящих. То, что миллионер продолжает трудиться практически до тех пор, пока болезнь или старость не принудят его уйти на

* Любимую, близкую и доступную (лат.).— *Прим. перев.*

отдых, и то, что работа занимает очень значительное количество часов его дня,— вот одно из типично американских явлений, вот самое экстравагантное американство в глазах среднего европейца. Выше было отмечено, что эта разница между американцами и европейцами обусловлена отсутствием в Соединенных Штатах «традиций», поскольку традиция означает также пассивный остаток всех социальных форм, сошедших с исторической арены; в Соединенных Штатах, наоборот, еще свежа «традиция» пионеров, то есть сильных личностей, в которых «трудолюбие по призванию» достигло наибольшей интенсивности и мощи,— людей, которые прямо, а не через посредство армии слуг и рабов вступали в энергичный контакт с природными силами, чтобы покорить и победоносно использовать их. Вот эти-то пассивные остатки и сопротивляются американизму в Европе («они представляют собой определенный образ жизни и т. д.»), потому что они инстинктивно чувствуют, что новые формы труда и производства безжалостно выметут их вон. Но если верно, что старая, еще не погребенная европейская рухлядь будет таким образом решительно уничтожена, то что же произойдет в самой Америке? Вышеупомянутый разрыв в морали показывает, что в обществе складываются все более обширные секторы социальной пассивности. Женщины в этом явлении, по-видимому, выполняют главную функцию. Промышленник-мужчина продолжает работать, даже если он стал миллиардером, но его жена, его дочери все больше превращаются в «роскошных млекопитающих». Конкурсы красоты, кинематографические конкурсы (вспомнить 30 000 итальянских девушек, сфотографировавшихся в купальном костюме, которые в 1926 году послали свои снимки кинокомпаниям Фокс), театр и т. п., отбирая образцы женской красоты в мировом масштабе и выставляя ее напоказ, вызывают протестуемый образ мыслей, а «торговля белыми невольницами» для высших классов ведется легально. Праздные женщины путешествуют, беспрестанно пересекают океан, ездят в Европу, ускользая от действующего на родине сухого закона и заключая «сезонные браки» (стоит вспомнить, что у капитанов морского флота Соединенных Штатов было отнято право скреплять браки на борту корабля, потому что многие пары женились при отъезде из Европы и разводились перед высадкой в Аме-

рике); фактическая проституция разливается широким потоком, едва прикрытым прозрачными юридическими формальностями.

Эти явления, свойственные высшим классам, будут все больше затруднять принуждение, которое оказывается на трудящиеся массы, для того чтобы приспособить их к нуждам новой промышленности; во всяком случае, они обуславливают психологический разрыв и ускоряют процесс кристаллизации и насыщения социальных групп, делая очевидным их превращение в касты, как это уже произошло в Европе.

Тейлоризм и механизация работника

По поводу разрыва, который тейлоризм якобы обуславливает,— разрыва между ручным трудом и «человеческим содержанием» труда, можно сделать некоторые полезные замечания на примере прошлого, а именно на примере профессий, считающихся наиболее «интеллектуальными», то есть профессий, связанных с воспроизводством текстов для печатания или другой формы их распространения и передачи: переписчики (до изобретения печати), наборщики вручную и литьевую, стенографистки и машинистки. Если поразмыслить, станет ясным, что в этих ремеслах процесс приспособления и механизации труднее, чем в других. Почему? Потому что здесь трудно достичь максимальной профессиональной квалификации, которая требует, чтобы рабочий «забыл» про интеллектуальное содержание воспроизводимого текста или не размышлял над ним, фиксируя свое внимание только на каллиграфической форме отдельных букв (если он переписчик), или на том, чтобы разложить фразы на «абстрактные» слова, а эти последние — на буквы-литеры и быстро найти кусочки свинца в клетках наборной кассы, или чтобы разложить контекст какой-то речи, но уже не на отдельные слова, а на группы слов, механически объединяя их в стенографические значки, или чтобы достичь скорости в машинописи и т. д. Интерес работника к интеллектуальному содержанию текста измеряется его ошибками, то есть является профессиональным недостатком: мерилом его квалификации является именно интеллектуальная незаинтересованность, его «механизация». Средневековый переписчик, интересовавшийся пере-

писываемым текстом, изменял его орфографию, морфологию и синтаксис, пропускал целые фразы, которые он не понимал из-за своей скудной культуры; ход мыслей, вызванных у него интересом к тексту, заставлял его вставлять в текст свои толкования и обращения к читателю; если его язык или диалект были отличны от языка текста, он вносил ошибочные языковые оттенки; он был плохим переписчиком, потому что в действительности «переламывал» текст. Медлительность процесса, свойственная средневековому искусству письма, объясняет многие из этих недостатков: слишком много времени оставалось для размышления, а следовательно, «механизация» происходила труднее. Типограф должен быть очень быстрым, его руки и глаза должны находиться в постоянном движении, и это облегчает его механизацию. Но усилие, которое трудящиеся этой категории должны совершать для того, чтобы изолировать от интеллектуального содержания текста, иногда очень увлекательного (и в этом случае действительно работа идет хуже), его графическую символику и заниматься лишь последней — это, если хорошенько вдуматься, быть может, и есть самое большое усилие, которого может потребовать профессия. И все же оно делается и духовно не убивает человека. Когда процесс приспособления завершается, на самом деле оказывается, что мозг рабочего, вместо того чтобы мумифицироваться и высохнуть, достигает состояния полной свободы. Полностью механизированным оказался лишь физический жест; профессиональная память, память ремесла, сведенного к простым, повторяющимся в интенсивном темпе жестам, «обосновывается» в мускульных и нервных узлах и высвобождает мозг для других мыслей. Как человек ходит, не задумываясь над синхронным передвижением всех частей тела в том определенном порядке, который необходим для ходьбы, так и в промышленности (это уже произошло и будет происходить в дальнейшем) основные профессиональные движения совершаются без размышлений; человек ходит автоматически и в то же время думает о чем только хочет. Американские промышленники прекрасно поняли эту диалектику, коренящуюся в самой природе новых промышленных методов. Они поняли, что «дрессированная горилла» — это фраза, что рабочий, «к сожалению», остается человеком, они поняли даже, что во время работы он думает больше

или имеет гораздо бóльшую возможность думать, по крайней мере если он преодолел кризис приспособления и не раздавлен им. Но рабочий не только думает: он чувствует, что труд не дает ему непосредственного удовлетворения, и он понимает, что его хотят довести до состояния дрессированной гориллы, а это может натолкнуть его на размышления, мало способствующие сохранению его покорности. То, что промышленники этим озабочены, видно из целого ряда предосторожностей и «воспитательных» мероприятий, которые можно отметить в книгах Форда и сочинениях [Андрэ] Филипа.

Высокие заработки

Было бы совершенно естественно предположить, что так называемые высокие заработки являются временным явлением в оплате труда. Приспособление к новым методам труда и производства не может идти только лишь через социальное принуждение: именно в этом заключается «предрассудок», очень распространенный в Европе и особенно в Японии, где он, несомненно, не замедлит привести к тяжелым последствиям для физического и психического здоровья трудящихся, — «предрассудок», который, с другой стороны, держится исключительно на повальной безработице, разразившейся после войны. Если бы ситуация была «нормальной», аппарат принуждения, необходимый для достижения желаемого результата, стоил бы дороже, чем высокая заработная плата. Принуждение поэтому должно продуманно комбинироваться с убеждением и добровольным согласием, а это, в формах, свойственных данному обществу, может быть достигнуто при помощи большего вознаграждения, которое позволило бы сохранять определенный жизненный уровень, достаточный для поддержания и восполнения сил, поглощенных новым типом труда. Но как только новые методы труда и производства распространятся и сделаются всеобщими, как только новый тип рабочего будет создан повсеместно, а аппарат материального производства еще более усовершенствован, чрезмерная *turnover** будет автоматически ограничена обширной безработицей и вы-

* Здесь — замена одних методов производства другими, более совершенными. — *Прим. перев.*

сокая заработная плата исчезнет. В самом деле, американская промышленность с высокой заработной платой пока пользуется монополией на внедрение новых методов; монопольным прибылям соответствует монопольная заработная плата. Но эта монополия с необходимостью будет сначала ограничена, а затем уничтожена распространением новых методов как в самих Соединенных Штатах, так и за границей (сравнить с японским явлением низких цен на товары), а с выравниванием прибылей исчезнет и высокая заработная плата. Известно, с другой стороны, что высокая заработная плата необходимо связана с рабочей аристократией и что ее платят не всем американским трудящимся.

Вся фордовская идеология высокой заработной платы — это явление, вытекающее из объективной потребности современной промышленности, достигшей определенной ступени развития: это не первичное явление (что, однако, не освобождает от необходимости изучать значение этой идеологии и то воздействие, которое она сама по себе может оказать). Между тем, что значит «высокая заработная плата»? Является ли заработная плата у Форда высокой лишь в сравнении со средним уровнем американской заработной платы или же она высока как цена рабочей силы, которую работающие у Форда расходуют в процессе производства в результате фордовских методов труда? Такого исследования, кажется, никто систематически не проводил, а ведь только оно одно и могло бы дать окончательный ответ. Такое исследование трудно, но самые причины этой трудности являются косвенным ответом. Ответ труден потому, что фордовские производственные коллективы очень неустойчивы, и поэтому невозможно установить среднюю «рациональную» смертность рабочих Форда, чтобы сопоставить ее со средней смертностью на других промышленных предприятиях. Но откуда же эта неустойчивость? Как это рабочий может предпочесть «более низкую» заработную плату той, которую ему платит Форд? Не означает ли это, что так называемая «высокая заработная плата» в меньшей мере позволяет восстанавливать израсходованную рабочую силу, чем самая низкая заработная плата на других предприятиях? Текучесть производственных коллективов доказывает, что нормальные условия конкуренции среди рабочих (разница в заработной плате), там где дело

касается фордовской промышленности, оказывают свое воздействие лишь в известных пределах; неэффективным оказывается воздействие разного уровня средней заработной платы, неэффективным оказывается давление резервной армии безработных. Это означает, что в фордовской промышленности следует искать какой-то новый элемент, который и будет реальным источником как «высокой заработной платы», так и других указанных явлений (текучесть и т. д.). Этот элемент можно найти лишь в следующем: фордовская промышленность требует от своих рабочих такого разделения труда, такой квалификации, каких еще не требует остальная промышленность; она требует такого нового типа квалификации, такой формы расходования рабочей силы, такого количества расходуемой силы в то же среднее время, которые являются более тягостными и изнуряющими, чем где бы то ни было, и которые заработная плата не может полностью компенсировать, не может восстановить в условиях, предоставляемых обществом в том его виде, как оно есть. Выставив эти доводы, мы наталкиваемся на проблему: являются ли фордовский тип промышленности, фордовская организация труда и производства «рациональными», иначе говоря, можно ли и нужно ли, чтобы они стали всеобщими, или же речь идет о болезненном явлении, против которого следует бороться с помощью профсоюзов и законодательства? Другими словами, возможно ли при помощи материального и морального давления общества и государства заставить рабочих как массу терпеливо переносить весь процесс психофизической трансформации, с тем чтобы средний тип фордовского рабочего стал средним типом современного рабочего, или же это невозможно, потому что повлекло бы за собой физическое вырождение и ухудшение человеческого рода, сопровождаемые уничтожением всякой рабочей силы. Представляется возможным такой ответ: метод Форда «рационален», то есть он должен стать всеобщим, но для этого необходим длительный процесс, в течение которого должно было бы произойти изменение социальных условий и изменение индивидуальных нравов и привычек, чего нельзя достичь одной лишь «принудительностью», что может быть достигнуто только смягчением принуждения (самодисциплина) и убеждением, в том числе и в форме высокой заработной платы, то есть возможности более

высокого жизненного уровня или, может быть, точнее, возможности осуществить жизненный уровень, который соответствует новым способам труда и производства, требующим особой затраты мускульной и нервной энергии.

В ограниченной мере, но все же достаточно заметны явления, сходные с теми, что обусловлены в таких масштабах фордизмом, обнаружались и обнаруживаются в некоторых «нефордизированных» отраслях промышленности или на отдельных предприятиях. Создать органический, хорошо сработавшийся заводской коллектив или рабочую бригаду специализированного профиля никогда не было просто: фабричный коллектив или бригада, будучи однажды создана, дает своим членам — или части их — выигрыш, заключающийся не только в монопольной заработной плате, но и в том, что их не увольняют в случае временной остановки производства; было бы неэкономично позволить распасться элементам с трудом построенного органического целого, потому что почти невозможно будет вновь сколотить их вместе, в то время как восстановление коллектива при помощи новых, случайных элементов будет стоить немалых сил и средств. Именно это служит пределом действия закона конкуренции, обусловленной резервной армией и безработицей, и этот предел всегда граничил с формированием привилегированной аристократии. Из того, что никогда не было и нет совершенного закона уравнивания систем и методов труда и производства для всех предприятий определенной отрасли промышленности, следует, что каждое предприятие в известной, более или менее значительной степени является «единственным» и формирует для себя коллектив с квалификацией, свойственной этому отдельному предприятию: с маленькими секретами труда и производства, с различными «трюками» и комбинациями, которые сами по себе кажутся совершенно ничтожными, но, будучи повторены бесконечное количество раз, могут приобрести огромное экономическое значение. Исключительный случай для исследования представляется в организации работы портов, особенно тех, где существует несоответствие между погрузкой и разгрузкой товаров и где наблюдаются сезонные завалы работы и мертвые сезоны. Необходимо иметь коллектив, которым можно располагать в любой момент (то есть который не удалялся бы от рабочего места) для выполнения минимума сезонной или какой-

нибудь иной работы, а отсюда — образование замкнутых кадровых категорий с высокой заработной платой и другими привилегиями в противоположность массе «сезонников» и т. д. Это обнаруживается также в сельском хозяйстве в отношениях между оседлыми арендаторами и батраками и во многих производствах, где имеют место «мертвые сезоны», обусловленные специфическим характером самого производства (например, в изготовлении одежды) или неправильной организацией оптовой торговли, которая производит свои закупки в соответствии с собственными циклами, не согласующимися с циклами производства, и т. д.

Акции, облигации, государственные ценные бумаги

Какую радикальную перемену в ориентации мелких и средних сбережений внесет нынешняя экономическая депрессия, если она, как представляется вероятным, продлится еще некоторое время? Можно заметить, что падение акций на рынке обусловило не поддающееся измерению перемещение богатств, а также явление «одновременной» экспроприации накоплений широких масс населения во всех странах, а в особенности в Америке; в целом ряде стран возобновились болезненные процессы, вызванные инфляцией первых послевоенных лет; эти процессы охватили и страны, которые в предыдущий период не знали инфляции. Система, которую итальянское правительство укрепило в эти годы (продолжая уже существовавшую, хотя и в меньшем масштабе, традицию), представляется самой рациональной и органической (по крайней мере для группы стран). Но к каким последствиям она сможет привести? Существует разница между обычными акциями и акциями привилегированными, между акциями и облигациями и между акциями и облигациями свободного рынка и государственными облигациями или ценными бумагами. Масса владельцев сбережений стремится полностью отделаться от беспрецедентно обесцененных акций всякого рода; акциям она предпочитает облигации, но государственные ценные бумаги она предпочитает любой другой форме помещения сбережений. Можно сказать, что масса владельцев сбережений захотела порвать всякую непосредственную связь с частнокапиталистической системой, но не отказывает в доверии

государству: она хочет принимать участие в экономической деятельности, но через государство, которое гарантировало бы ей умеренные, но надежные проценты. На государство возлагается, таким образом, первостепенная функция в капиталистической системе, оно как бы превращается в предприятие (государственную холдинг-компанию), концентрирующее сбережения, с тем чтобы предоставить их в распоряжение промышленности, частного предпринимательства, в инвестора долгосрочных и среднесрочных вложений (создание в Италии различных банков «Кредито мобилиаре», банков промышленной реконструкции и т. п., преобразование «Банка коммерчале», укрепление и создание новых форм сберегательных касс и т. д.). Но, взяв однажды на себя эту функцию из-за неотложных экономических нужд, может ли государство быть незаинтересованным в организации производства и товарообмена? Может ли оставить ее, как и прежде, на произвол конкуренции и частной инициативы? Если бы это произошло, недоверие, поразившее ныне частную промышленность и торговлю, распространилось бы также и на государство. Если бы сложилась такая ситуация, которая вынудила бы государство обесценить свои ценные бумаги (путем инфляции или в другой форме), так же как были обесценены частные акции, это означало бы катастрофу для всей социально-экономической организации. Государство, таким образом, по необходимости вынуждено вмешиваться, чтобы проверять, хорошо ли используются средства, вложенные при его посредничестве; так по крайней мере становится понятным один из аспектов теоретических дискуссий о корпоративном режиме. Но одного лишь контроля недостаточно. В самом деле, речь идет не о том, чтобы сохранить производственный аппарат таким, каков он есть в данный момент; речь идет о его реорганизации, для того чтобы развивать его параллельно росту населения и коллективных потребностей. Именно в этом неизбежном развитии и кроется наибольший риск частной инициативы, и должно было бы быть большим государственным вмешательство, хотя, впрочем, и оно отнюдь не свободно от опасностей.

Я указываю на эти факты как на самые существенные и органические, но есть еще и другие факторы, которые ведут к государственному вмешательству или теоретически оправдывают его: усиление таможенных режимов

и автаркических тенденций, премии, демпинг, спасание крупных предприятий, находящихся под угрозой краха или пошатнувшихся, то есть, как уже указывалось, «национализация убытков и промышленного дефицита» и т. д.

Если бы государство поставило перед собой задачу установить такое экономическое руководство, при котором накопление сбережений из «функции» паразитирующего класса превратилось бы в функцию самого производственного организма, эти гипотетические направления развития были бы прогрессивны; они могли бы стать частью широкого плана всеохватывающей рационализации. Для этого нужно было бы осуществить аграрную реформу (с отменой земельной ренты как ренты нетрудящегося класса и включением ее в производственный организм в качестве коллективных сбережений, которые можно употребить на реконструкцию и на дальнейшее расширение производства) и реформу промышленную, для того чтобы свести все доходы до размеров функциональных технико-промышленных потребностей, а не отправляться в дальнейшем от юридического следствия, вытекающего из чистого права собственности.

Из этого комплекса требований (впрочем, не всегда признаваемых) рождается историческое оправдание так называемых корпоративных тенденций, которые преимущественно проявляются как восхваление государства вообще, понимаемого как нечто абсолютное, как выражение недоверия и вражды к традиционным формам капитализма. Из этого следует, что теоретически социально-политическую основу государства должны бы составлять «маленькие люди» и интеллигенция; но в действительности оно остается плутократическим в своей основе и оказывается не в состоянии порвать связи с крупным финансовым капиталом; впрочем, государство само становится крупнейшим плутократическим организмом, держателем огромной массы сбережений мелких капиталистов. (Иезуитское государство в Парагвае может быть с пользой приведено как образец многих современных тенденций.) То, что может существовать государство, политически базирующееся на плутократии и на маленьких людях одновременно,— это не так уж противоречиво, и это доказывает такая образцовая страна, как Франция, где как раз господство финансового капитала было бы

непонятно без политической основы, которую он имеет в демократической среде мелких рантье и крестьян. Все же Франция в силу сложных причин имеет еще достаточно здоровый социальный состав, потому что там мелкая и средняя земледельческая собственность имеет широкую базу. В других же странах владельцы сбережений оторваны от мира труда и производства; накопление в этих странах «социально» слишком дорого, потому что оно достигается ценой слишком низкого жизненного уровня промышленных и в особенности сельскохозяйственных рабочих. Если бы новая структура кредита укрепила эту ситуацию, в действительности наступило бы ухудшение: паразитическое накопление, не подвергаясь благодаря государственной гарантии даже обычному риску на нормальном рынке, привело бы, с одной стороны, к усилению паразитической земельной собственности, а с другой — к тому, что промышленные облигации с гарантированным и ограниченным дивидендом отяготили бы труд еще более гнетущим образом.

Американская и европейская цивилизация

В одном интервью с Коррадо Альваро («Италия леттерариа», 14 апреля 1929 года) Луиджи Пиранделло утверждает: «Американизм нас захлестывает. Я думаю, что там, за океаном, зажегся новый маяк цивилизации». «Деньги, пущенные в обращение по всему свету, — американские (?!), а вслед за деньгами (!) приходит образ жизни и культура. [Это верно для накипи, плавающей на поверхности общества, а по мнению Пиранделло и с ним многих других, из подобной космополитической накипи и состоит «весь свет».] Имеет ли Америка свою культуру? [Нужно было бы спросить: есть ли у нее единая и централизованная культура, то есть является ли Америка нацией по типу французской, немецкой и английской?] У нее есть книги и нравы. Нравы — это ее новая литература, та литература, которая проникает через самые узкие и хорошо защищенные двери. В Берлине вы не чувствуете разрыва между старой и новой Европой, потому что сама структура города не оказывает сопротивления. [Сегодня Пиранделло не смог бы сказать то же самое, а значит, его замечание следует понимать как относящееся к Берлину ночных кафе.] В Париже, где существуют исторические и

художественные традиции, где налицо свидетельства коренной цивилизации, американизм выглядит кричащим, как румяна на лице старой кокетки».

Но проблема совсем не в том, существует ли в Америке новая цивилизация, новая культура, пусть даже еще только в стадии «маяка», и наводняют ли или уже наводнили они Европу. Если бы вопрос ставился таким образом, ответ был бы прост: нет, не существует. Более того, Америка лишь переживает старую европейскую культуру. Проблема состоит в следующем: удастся ли Америке (или она уже делает это) принудить Европу неумолимой тяжестью своего экономического производства (а значит, косвенным образом) к свершению переворота в ее слишком устаревшем социально-экономическом укладе, переворота, который все равно произошел бы, но более медленными темпами, а тут он непосредственно выступает уже как обратное воздействие американского «всевластия»; иными словами: происходит ли процесс преобразования материальных основ европейской цивилизации, что при дальнейшем длительном развитии (впрочем, даже не очень длительном, так как в наше время все происходит быстрее, чем в прошедшие периоды) приведет к перевороту в формах существующей цивилизации и к насильственному рождению новой цивилизации?

Элементы «новой культуры», «нового образа жизни», распространяющиеся ныне под американской этикеткой, — это лишь самые первые, сделанные на ощупь попытки, обусловленные отнюдь не «строем», порожденным новым, еще не сформировавшимся укладом, а поверхностной и чисто обезьяньей инициативой тех элементов, которые начинают чувствовать себя социально смещенными деятельностью (пока разрушительной и разлагающей) нового, формирующегося уклада. То, что ныне называют «американизмом», представляет собой, в значительной мере, превентивную критику со стороны именно тех старых слоев, которые будут раздавлены возможным новым строем и которые уже стали жертвой волны социальной паники, распада и отчаяния; это проявление неосознанной реакции со стороны тех, кто бессилён перестроиться и старается воспользоваться как рычагом отрицательными сторонами переворота. Реконструкцию можно ожидать отнюдь не со стороны социально «обреченных» новым строем групп, а только от тех, кто, страдая и выполняя

возложенный на них долг, заняты созданием материальных основ этого нового строя: они «должны» найти «оригинальную», а не американского образца систему жизни, чтобы превратить в «свободу» то, что ныне является «необходимостью».

Тот критерий, что духовная и нравственная реакция на утверждение нового производственного метода, в равной мере как и поверхностные восхваления американизма, исходят от обломков распадающихся слоев, а не от тех групп, чьи судьбы связаны с дальнейшим развитием нового метода,— этот критерий крайне важен; он объясняет, почему некоторые элементы, ответственные за современную политику и основывающие свой успех на организации всего среднего слоя, не хотят занять четкую позицию, а поддерживают «теоретический» нейтралитет, разрешая практические проблемы традиционным методом эмпиризма и оппортунизма (сравнить, как по-разному толкуют «деревнизацию» Уго Спирито, который хочет «урбанизировать» деревню, и другие экономисты, наигрывающие на флейте Пана).

То, что в случае с американизмом (если понимать его не только как ресторанные нравы, но также и как идеологию «Клуба деловых людей») мы имеем дело не с новым типом цивилизации, видно из того, что ничто не изменилось в характере основных групп и в их взаимоотношениях: речь идет об органическом продлении и интенсификации европейской цивилизации, которая в американском климате лишь обрела новый кожный покров. Замечание Пиранделло о противодействии, на которое американизм наталкивается в Париже (а в Крезе?), и о непосредственном приеме, который он якобы встретил в Берлине, доказывает, во всяком случае, что отличие американизма от «европеизма» состоит не в природе, а лишь в степени. В Берлине средние классы уже были разорены войной и инфляцией, а берлинская промышленность, взятая в целом, носит совсем иной характер, чем промышленность парижская: французские средние классы не испытали ни целой серии кратковременных кризисов типа немецкой инфляции, ни органического кризиса 1929 года в том же ускоренном темпе, в каком его перенесла Германия. Поэтому верно, что в Париже американизм выглядит как румяна, как поверхностная заграничная мода.

Р а з д е л ч е т в е р т ы й



**ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРНОЙ
ЖИЗНИ**



1. ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Формирование интеллигенции

Является ли интеллигенция автономной и независимой социальной группой или же всякая социальная группа имеет свою собственную, особую категорию интеллигенции? Проблема эта сложная, так как реальный исторический процесс формирования различных категорий интеллигенции принимал до сих пор различные формы.

Из этих форм две являются наиболее значительными:

1) Всякая социальная группа, рождаясь на исконной почве экономического производства, органически создает себе вместе с тем один или несколько слоев интеллигенции, которые придают ей однородность и сознание ее собственной роли не только в экономике, но также и в социальной и политической области: предприниматель-капиталист создает вместе с собой техника для промышленности, ученого — специалиста по политической экономии, организатора новой культуры, нового права и т. д. и т. п. Необходимо отметить тот факт, что и предприниматель представляет собой высший социальный продукт, характеризующийся уже известной организационной и технической способностью (то есть способностью к интеллектуальной деятельности): он должен обладать известной технической способностью не только в непосредственной сфере его деятельности и начинаний, но и в других сферах, по крайней мере близких к экономическому производству (он должен быть организатором человеческих масс, организатором «доверия» участников его дела, покупателей его товара и т. д.).

Если не все предприниматели, то по крайней мере избранные должны обладать способностями организатора общества вообще, всего его сложного служебного организма, вплоть до государственного аппарата (в силу не-

обходимости создавать более благоприятные условия для расширения собственного класса) или должны обладать по меньшей мере способностью выбирать «приказчиков» (специальных служащих), доверяя им эту организаторскую деятельность в области общих взаимоотношений за пределами предприятия. Можно заметить, что представители «органической» интеллигенции, которую каждый новый класс создает вместе с собой и вырабатывает в своем поступательном развитии, являются большей частью «специалистами» в области отдельных сторон основной деятельности нового социального типа, который новый класс вывел в свет*.

И феодальные синьоры обладали известной технической способностью (в частности, в области военной деятельности), и именно с того времени, когда аристократия теряет монополию в военно-техническом деле, начинается кризис феодализма. Но формирование интеллигенции в феодальном мире, как и в более раннем — античном, является вопросом, подлежащим самостоятельному рассмотрению; это формирование и выработка идут путями, которые должны быть конкретно изучены. Так, следует заметить, что крестьянство, хотя и играет существенную роль в мире производства, но не вырабатывает собственной «органической» интеллигенции и не «ассимилирует» ни одного слоя «традиционной» интеллигенции, хотя другие социальные группы берут в свои ряды многих интеллигентов — выходцев из крестьян, и поэтому большая часть традиционной интеллигенции — крестьянского происхождения.

2) Однако всякая «существенная» социальная группа, выходя на историческую арену из предшествующего экономического базиса как продукт его развития, могла

* «Элементы политической науки» Моски [Gaetano Mosca, *Elementi di scienza politica*] (новое дополненное изд. 1923 года) надо исследовать под этой рубрикой. Так называемый «политический класс» Моски есть не что иное, как интеллигенция господствующей социальной группы; понятие «политического класса» Моски следует сблизить с понятием *élite* Парето, которое является другой попыткой объяснить исторический процесс образования и развития интеллигенции и ее роль в государственной и общественной жизни. Книга Моски — мешанина социологического и позитивистского характера с большой дозой тенденциозности, обусловленной непосредственно политическими соображениями, что делает ее менее несносной и более живой в литературном отношении.

найти, по крайней мере в предшествующей истории, ранее возникшие категории интеллигенции, которые являлись свидетельством непрерывности исторического развития, не нарушаемой даже самыми сложными и радикальными изменениями социальных и политических форм.

Наиболее типичной из этих категорий интеллигенции являются церковнослужители, узурпировавшие в течение длительного времени (на целую историческую эпоху, которая и характеризуется частично этой монополией) некоторые важные области общественной деятельности: религиозную идеологию, то есть философию и науку эпохи, включая школу, воспитание, мораль, правосудие, благотворительность, общественную помощь и т. д. Категорию церковников можно рассматривать как категорию интеллигенции, органически связанную с земельной аристократией: она была юридически уравнена с аристократией, наравне с которой она участвовала в эксплуатации феодальной собственности на землю и пользовалась государственными привилегиями, связанными с собственностью*.

Но монополия церковнослужителей** в сфере надстроек удерживалась не без борьбы и отнюдь не оставалась неограниченной; этим объясняется и рождение (в различных формах, подлежащих конкретному исследованию и изучению) других категорий, росту которых способствовало усиление центральной власти монарха, нашедшее свое завершение в абсолютизме. Так, мало-помалу

* При изучении одной категории этой интеллигенции, может быть наиболее значительной после «церковнослужителей» благодаря престижу и социальной роли, которую она сыграла в раннем обществе,— категории *медиков* в широком смысле, то есть всех тех, кто «борется» или делает вид, что «борется» против смерти и болезней,— нужно будет использовать «Историю медицины» Артура Кастильони. Вспомнить, что существовала связь между религией и медициной и в известных районах существует и до сих пор: госпитали находятся в руках клириков в силу известных организационных функций, и там, где появляется врач, появляется и священник (заклинание духов, различные виды благотворительности и т. д.). Многие крупные служители церкви были даже большими «терапевтами» (или принимались за таковых) — распространялась молва о чудесах, вплоть до воскрешения из мертвых. Долгое время также верили, что и короли исцеляют наложением рук и т. д.

** Поэтому во многих языках неолатинского происхождения или испытавших — через церковную латынь — сильное влияние этих языков общепринятое понятие «интеллигент» или «специалист» родилось из слова «*chierico*» с соотносительным ему «*laico*» в смысле невежды, неспециалиста.

шло формирование аристократии тоги с ее собственными привилегиями, слоя администраторов и т. д.; ученых, теоретиков и философов — нецерковнослужителей и т. д.

Так как в этих различных категориях традиционной интеллигенции живет «корпоративный дух», так как они чувствуют свою непрерывную историческую преемственность и свои «особые качества», то они и считают себя как бы автономными и независимыми от господствующей социальной группы. Эта позиция «самообособления» не остается без далеко идущих последствий в области идеологии и политики: вся идеалистическая философия может быть легко увязана с этой позицией, занятой социальным комплексом интеллигенции, и определена как выражение той социальной утопии, в соответствии с которой интеллигенты считают себя «независимыми», автономными, обладающими собственными чертами и т. д.

Следует заметить, однако, что если папа и высшая иерархия церкви считаются более связанными с Христом и апостолами, чем с сенаторами Аньелли и Бенни, то это не имеет места, например, для Джентиле и Кроче; Кроче в особенности чувствует себя прочно связанным с Аристотелем и Платоном, но он не скрывает, что он связан и с сенаторами Аньелли и Бенни, и в этом последнем как раз и следует искать наиболее характерную черту философии Кроче.

Каковы «максимальные» границы понятия «интеллигент»?

Можно ли найти единый критерий для характеристики всех различных и разобщенных видов деятельности интеллигенции и для установления в то же время существенных различий между этой деятельностью и деятельностью других социальных группировок?

Наиболее распространенной методической ошибкой является, на мой взгляд, попытка искать этот критерий отличия в сущности интеллектуальной деятельности, а не наоборот — в совокупности системы отношений, поскольку интеллигенты (и, следовательно, группы, которые ими представлены) находятся в общем комплексе общественных отношений. Действительно, характерной особенностью рабочего, пролетария, например, является не то, что он занимается ручным трудом, а то, что он занимается этим трудом в определенных условиях и в определенных общественных отношениях (оставим в стороне

соображение, что не существует чисто физического труда и что даже выражение Тейлора о «дрессированной горилле» есть метафора, указывающая на предел в известном направлении; в любой физической работе, даже наиболее механической и черной, существует минимум технической квалификации, минимум созидательной интеллектуальной деятельности). Выше уже было замечено, что предприниматель в силу самого характера выполняемой им функции должен иметь в определенной мере квалификацию интеллектуального характера, хотя его социальное лицо определяется не ею, а общими социальными отношениями, которые именно и характеризуют место предпринимателя в производстве.

На этом основании можно было бы утверждать, что все люди являются интеллигентами, но не все люди выполняют в обществе функции интеллигентов*.

В действительности различие между интеллигентами и неинтеллигентами проводится только в отношении непосредственной социальной роли профессиональной категории интеллигенции, то есть принимается в расчет направление, в котором находится центр тяжести специфической профессиональной деятельности — в интеллектуальной работе или в нервно-мускульном усилии. Это означает, что если можно говорить об интеллигенции, то нельзя говорить о неинтеллигенции, ибо неинтеллигенции не существует. Но само отношение между интеллектуально-мозговой работой и нервно-мускульным усилием не является всегда одинаковым, и, следовательно, имеются различные ступени специфической интеллектуальной деятельности. Нет такой человеческой деятельности, из которой можно было бы исключить всякое интеллектуальное вмешательство, нельзя отделить *homo faber* от *homo sapiens* **. Всякий человек, наконец, за пределами своей профессии развивает некоторую интеллектуальную деятельность, является «философом», художником, человеком с определенными вкусами, разделяет определенное мировоззрение, имеет определенную сознательную линию морального поведения, следовательно, играет определенную

* Так, о том, кто жарит себе яичницу или пришивает заплату на куртку, не скажут, что он является поваром или портным.

** Человека физического труда от человека умственного труда — *Прим. перев.*

роль в поддержании или в изменении мировоззрения, то есть в пробуждении нового образа мыслей.

Поэтому проблема создания нового слоя интеллигенции заключается в том, чтобы критически преобразовывать интеллектуальную деятельность, которая в той или иной степени свойственна каждому человеку, изменяя соотношение между интеллектуальной и нервно-мускульной деятельностью, устанавливая равновесие между ними на новом уровне и добиваясь того, чтобы сама нервно-мускульная деятельность, поскольку она является элементом общей практической деятельности, непрерывно обновляющей физический социальный мир, стала основой нового и цельного мировоззрения. Традиционный и вулгаризированный тип интеллигента можно видеть в литераторе, философе, художнике. Поэтому журналисты, которые считают себя литераторами, философами, художниками, видят в себе также «истинных» интеллигентов. В современном мире техническое воспитание, тесно связанное с промышленным трудом, хотя бы самым примитивным и неквалифицированным, должно образовывать базы для нового типа интеллигента.

На этой основе работал еженедельник «Ордине нуово», стремясь развить известные формы нового интеллектуализма и определить новые понятия, и это было не последней причиной его успеха, поскольку такая постановка соответствовала скрытым стремлениям и согласовывалась с развитием реальных форм жизни. Возможность стать новым интеллигентом не зависит более от красноречия — внешнего и кратковременно действующего возбудителя аффекта и страстей, но от активного слияния с практической жизнью в качестве строителя, организатора, «непрерывно убеждающего» делом — а не только ораторствующего — и тем не менее возвышающегося над абстрактно-математическим духом; от практики в виде трудовой деятельности необходимо двигаться к практической научной деятельности и к историческому гуманистическому мировоззрению, без которого остается только «специалист», а не «руководитель» (специалист + политик).

Так исторически формируются специализированные категории людей для осуществления функций интеллигенции, формируются в связи со всеми социальными группами, но особенно с наиболее важными из них, подвер-

гаясь при этом самым широким и сложным преобразованием в соответствии с развитием господствующей социальной группы. Одной из наиболее характерных черт всякой группы, которая развивается в направлении установления своего господства, является ее борьба за ассимиляцию и «идеологическое» завоевание традиционной интеллигенции — ассимиляцию и завоевание, которые совершаются тем более быстро и действенно, чем энергичнее данная группа формирует одновременно свою собственную органическую интеллигенцию.

То огромное развитие, которое получили организация школьного обучения и учебно-просветительная деятельность (в широком смысле) в обществах, поднявшихся из средневекового мира, показывает, какое значение приобрели в современном мире интеллигенция и выполняемые ею функции; как прежде пытались углубить и расширить «интеллектуальность» любого индивида, так теперь стремятся увеличить число специальностей и усовершенствовать их. Результатом этого было образование в каждой отрасли науки и техники учебно-просветительных учреждений разных ступеней, вплоть до органов, призванных двигать вперед так называемую «высокую культуру».

Школа является средством подготовки интеллигенции различных степеней. Сложность функций, выполняемых интеллигенцией в различных государствах, можно объективно измерить количеством специализированных школ и числом последовательных ступеней их: чем шире школьный «кареал» и чем многочисленнее «вертикальные ступени» школы, тем сложнее культурный мир, цивилизация определенного государства. Существует определенное мерило для сравнения в сфере промышленного производства: индустриализация страны измеряется технической оснащенностью машиностроительной промышленности и техническим уровнем производства инструментов и наиболее точных приборов, применяемых при изготовлении машин и инструментов для машиностроительной промышленности и т. д. Страна, которая имеет наилучшее оборудование для создания приборов в экспериментальных лабораториях и для выпуска аппаратов для проверки этих инструментов, может называться наиболее передовой в промышленно-техническом отношении, самой цивилизованной и т. д. Таким же образом можно проводить сравнение и в области подготовки интел-

лигентов и создания в этих целях специальных школ. Подобным мерилom здесь может служить высокая культура школ и учебно-просветительных учреждений. Самой строгой культурной технической специализации не может не соответствовать возможно более широкое распространение начального обучения и стремление всемерно поощрять увеличение числа школ средних ступеней. Естественно, что эта необходимость создать возможно более широкую базу для подготовки работников самых высоких и дифференцированных интеллектуальных профессий — то есть дать высокой культуре и высокой технике демократическую структуру — не обходится без затруднений: так, например, возникает возможность широких кризисов, безработицы средних слоев интеллигенции, как это фактически и происходит в современном обществе.

Надо отметить, что формирование ряда слоев интеллигенции в конкретной действительности происходит не на абстрактной демократической почве, но в соответствии с весьма конкретными традиционными историческими процессами. Сложились слои, которые по традиции «производят» интеллигентов, причем такими слоями являются именно те, которые обычно специализируются в «сбережении», а именно мелкая и средняя земельная буржуазия и некоторые слои мелкой и средней городской буржуазии. Различное распределение разных типов школ (классические и профессиональные) в пределах «экономической» территории и различные устремления разных категорий этих слоев определяют или, точнее, придают форму «производству» специалистов разных отраслей. Так, в Италии сельская буржуазия «производит» в основном государственных чиновников и лиц свободных профессий, тогда как городская буржуазия «производит» преимущественно техников для промышленности; поэтому северная Италия производит «техников», а южная — чиновников и лиц свободных профессий.

Взаимоотношения между интеллигенцией и миром производства отнюдь не непосредственные, что характерно для основных социальных групп; они являются в различной степени «опосредствованными» всей социальной тканью, комплексом надстроек, «деятелями» которых и являются интеллигенты. Можно было бы измерить степень «органичности» различных слоев интеллигенции, их более или менее тесную связь с основной социальной

группой, регистрируя градацию функций и надстроек снизу доверху (от структурной базы вверх). Можно отметить два больших надстроечных «плана»: план, который можно называть «гражданским обществом», то есть совокупность организмов, вульгарно называемых «частными», и план «политического или государственного общества», которому соответствуют функции «гегемонии» господствующей группы во всем обществе и функции «прямого господства», или командования, выражающиеся в деятельности государства и «законного» правительства. Эти функции являются именно организационными и связующими. Интеллигенты служат «приказчиками» господствующей группы, используемыми для осуществления функций, подчиненных задачам социальной гегемонии и политического управления, а именно: 1) для обеспечения «свободного» согласия широких масс населения с тем направлением социальной жизни, которое дано основной господствующей группой,— согласия, которое «исторически» порождается престижем господствующей группы (и, следовательно, оказываемым ей доверием), обусловленным ее позицией и ее функцией в мире производства; 2) для приведения в действие государственного аппарата принуждения, «легально» укрепляющего дисциплину тех групп, которые не «выражают согласия» ни активно, ни пассивно; этот аппарат учрежден для всего общества в предвидении возможности наступления такого критического момента в командовании и управлении, когда «свободное» согласие исчезает.

Результатом такой постановки проблемы является очень большое расширение понятия интеллигента, но только таким путем возможно достигнуть первого конкретного приближения к истине. Такой способ постановки вопроса вопиет против кастовых предубеждений. Верно, конечно, что одна и та же организационная функция социальной гегемонии и государственного господства дает место определенному разделению труда и, следовательно, целой градации специальностей, причем некоторые из них уже не имеют какого-либо директивного или организационного предназначения: в аппарате общественного и государственного руководства существует целый ряд должностей, предназначенных для исполнения функций физического и чисто исполнительского характера (долж-

ности, предназначенные для поддержания порядка, а не для выработки идей или мнений, должности агентов, а не чиновников или функционеров и т. д.). Но делать такое различие явно необходимо, как необходимо делать и некоторое другое различие. В самом деле, с точки зрения внутреннего содержания интеллектуальной деятельности также должна проводиться градация ее по ступеням, которые — если брать крайности — дают подлинно качественное различие: на самой высокой ступеньке следует поместить создателей различных наук, философии, искусства и т. д.; на самой низшей — жалких «администраторов» и распространителей уже существующих, традиционных, ранее накопленных интеллектуальных богатств*.

В таком ее понимании категория интеллигенции в современном мире невероятно расширилась. Демократическо-бюрократическая система современного общества произвела внушительную массу интеллигентов, существование которых не всегда оправдано общественными потребностями производства, хотя и необходимо для политических нужд основной господствующей группы. Отсюда берет начало и сформулированная Лориа концепция непроизводящего «работника» (непроизводящего по отношению к кому и к какому роду производства?), которая могла бы частично быть оправдана, если бы учитывалось, что эта масса эксплуатирует свое положение для того, чтобы присваивать огромные суммы, изымаемые из национального дохода. Формирование этой интеллигенции в массовом порядке привело к стандартизации индивидов как в отношении их индивидуальной квалификации, так и в отношении их психологии, определяя те же самые явления, что и во всех других стандартизованных массах: конкуренцию, которая вызывает необходимость в защитных профессиональных организациях, безработицу, школьное перепроизводство, эмиграцию и т. д.

* Военная организация также дает образец таких сложных градаций: нижние чины, высшие чины, главный штаб; и не следует забывать младших командиров войсковой части, реальное значение которых больше, чем это принято думать. Интересно заметить, что все эти части чувствуют себя слитными и — более того — что низшие слои обнаруживают более явный корпоративный дух и черпают из него «амбицию», которая часто делает их предметом острот и постоянных насмешек

Различие позиций интеллигенции городского и деревенского типа

Интеллигенция городского типа выросла вместе с промышленностью и связана с ее судьбами. Ее роль можно сравнить с ролью младших офицеров в армии: у нее нет никакой самостоятельной инициативы в выработке производственных планов. Она является связующим звеном между рабочей массой и предпринимателем, добивается своевременного выполнения производственного плана, установленного главным штабом индустрии, контролирует элементарные участки работы. Средние слои городской интеллигенции очень стандартизованы, в то время как высшие слои все больше смешиваются с главным штабом промышленности.

Интеллигенты сельского типа являются в большей части «традиционными», то есть связанными с крестьянской социальной средой и с мелкой буржуазией города (особенно небольших центров), еще не обработанной и не использованной капиталистической системой: этот тип интеллигента устанавливает контакт крестьянской массы с администрацией, как государственной, так и местной (адвокаты, нотариусы и т. д.), и именно в силу этой своей функции играет большую общественно-политическую роль, поскольку профессиональное посредничество трудно отделить от посредничества политического. Кроме того, в деревне интеллигент (священник, адвокат, учитель, нотариус, врач и т. д.) имеет средний жизненный уровень, более высокий или по крайней мере отличный от уровня среднего крестьянина, и поэтому представляет для него социальный образец, о котором тот мечтает, стремясь выйти из своего состояния и улучшить свое положение. Крестьянин думает всегда, что по крайней мере его сын сможет стать интеллигентом (в особенности священником), то есть сделается синьором и таким образом поднимется на более высокую социальную ступень вместе со своей семьей и облегчит ей экономическую жизнь благодаря связям, которые он сможет установить с другими синьорами. Отношение крестьянина к интеллигенту является, таким образом, двойственным и выглядит противоречивым: он восхищается социальным положением интеллигента и вообще государственного служащего, но временами делает вид, что презирает его: в его восхищение

инстинктивно проникают элементы зависти и страстной ненависти.

Ничего нельзя понять в коллективной жизни крестьян, в тех ростках и ферментах развития, которые существуют в ней, если не принимать во внимание, не изучать конкретно и глубоко это действенное подчинение крестьян сельской интеллигенции: всякое органическое развитие крестьянских масс вплоть до известного предела связано с движениями интеллигенции и зависит от них. Иное положение с городской интеллигенцией: инженеры и техники на фабриках и заводах не развивают никакой политической деятельности в отношении рабочих масс или по крайней мере это уже пройденный этап; временами происходит как раз обратное — эти массы, по крайней мере через свою собственную органическую интеллигенцию, осуществляют политическое влияние на технических специалистов.

Центральным пунктом вопроса остается установление различия между категорией органической интеллигенции любой основной социальной группы и категорией традиционной интеллигенции — различия, которое порождает целый ряд проблем и возможность новых исторических исследований.

Наиболее интересной проблемой является — если рассматривать ее с этой точки зрения — проблема современной политической партии, ее реального происхождения, ее развития, ее форм. Что представляет собой политическая партия с точки зрения проблемы интеллигенции? Здесь необходимо сделать некоторые разграничения: 1) для некоторых социальных групп политическая партия есть не что иное, как присущее им средство выработать категорию собственной органической интеллигенции (которая формируется и может формироваться только таким образом, учитывая общие черты и условия формирования жизнедеятельности и развития данной социальной группы) непосредственно в области политики и философии, но только не в области производственной жизни *;

* В области производственной жизни формируются те слои, которые, можно сказать, соответствуют «младшим командирам войскового подразделения» в армии, то есть квалифицированные и специализированные рабочие в городе и — более сложным образом — исполщики и колонисты в деревне, поскольку исполщики и колонисты вообще соответствуют скорее типу ремесленника, ко-

2) для всех социальных групп политическая партия является механизмом, выполняющим в гражданском обществе ту же самую функцию, которую государство выполняет в более широкой и более синтетической мере в политическом обществе; она заботится об укреплении связей между органической интеллигенцией определенной — а именно господствующей — группы и традиционной интеллигенцией. Эту функцию партия выполняет в зависимости от своей основной функции, заключающейся в подготовке собственных кадров, элементов определенной социальной группы (родившейся и развившейся как «экономическая») вплоть до превращения их в квалифицированных политических интеллигентов, руководителей, организаторов всех видов деятельности и исполнителей функций, присущих органическому развитию интегрального общества, гражданского и политического. Можно было бы даже сказать, что в своей области политическая партия выполняет свою функцию полнее и органичнее, чем государство выполняет свою в более широком диапазоне: интеллигент, который становится членом политической партии определенной социальной группы, смешивается с органической интеллигенцией этой группы, крепко с ней связывается, тогда как в государственной жизни он принимает слабое, а иногда и вовсе ничтожное участие. Однако многие интеллигенты, напротив, считают, что они-то и есть государство. Это мнение, вследствие того, что категория разделяющих его лиц является весьма многочисленной, иной раз влечет за собой значительные последствия и приводит к неприятным осложнениям для основной экономической группы, которая *действительно* является государством.

«Все члены политической партии должны рассматриваться как интеллигенты». Это утверждение может дать повод для шуток и карикатур; и все же, если поразмыслить, ничто не может быть более точным. Следует сделать разграничение ступеней: партия может иметь более или менее многочисленный состав, обладающий более или менее высокими достоинствами, но важно не это: важно то, что она должна выполнять руководящую и организующую роль, то есть роль воспитывающей, духовной силы.

торый, по существу, является квалифицированным рабочим в средневековой экономике.

Коммерсант становится членом политической партии не для того, чтобы с большей выгодой заниматься торговлей, промышленник — не для того, чтобы производить больше с меньшими затратами, и крестьянин — не для того, чтобы усвоить новые методы обработки земли, хотя политическая партия и может удовлетворить в некотором отношении эти требования торговца, промышленника и крестьянина *. Этим целям в известных пределах отвечает профессиональный союз, в котором экономико-корпоративная деятельность торговца, промышленника, крестьянина находит наиболее подходящие рамки. В политической партии лица, принадлежащие к той или иной социально-экономической группе, преодолевают этот момент их исторического развития и становятся проводниками общей деятельности, как национальной по своему характеру, так и интернациональной. Природа этой функции политической партии должна была бы стать более ясной в результате конкретного исторического анализа путей развития органической и традиционной категорий интеллигенции как на специфической почве национальной истории, так и на почве развития разных наиболее значительных социальных групп в рамках различных наций, в особенности тех групп, экономическая деятельность которых была по преимуществу производственной.

Формирование традиционной интеллигенции является наиболее интересной исторической проблемой. Она, конечно, связана с рабством классического мира и с положением вольноотпущенников греческого и восточного происхождения в недрах социальной организации Римской империи.

Примечание. Изменение условий социального положения интеллигентов в Риме со времени республики и до империи (от аристократическо-корпоративного режима до режима демократическо-бюрократического) связано с Цезарем, который дал право гражданства медикам и преподавателям свободных искусств, для того чтобы они охотнее селились в Риме и призывали других. *Omnesque medicinam Romae professores et liberalium artium doctores,*

* Общее мнение противоречит этому, утверждая, что «политиканствующие» торговец, промышленник, крестьянин даже теряют, а не выигрывают от вступления в политическую партию и являются худшими представителями своих категорий, но это уже, вероятно, спорный момент.

quo libentius et ipsi urbem incoherent et coeteri appeterent civitate donavit * (Светоний, Жизнеописание Цезаря, 42). Следовательно, Цезарь поставил перед собой задачу: 1) закрепить за Римом интеллигенцию, которая уже там находилась, создавая таким путем постоянную категорию, поскольку без ее стабильности не могла быть создана культурная организация; необходимо было покончить с имевшими место колебаниями интеллигенции и т. д.; 2) привлечь в Рим лучших интеллигентов всей Римской империи, проводя централизацию больших масштабов. Так берет свое начало та категория «имперской» интеллигенции в Риме, которая найдет своих преемников в католическом клире и оставит столько следов во всей истории итальянской интеллигенции с ее характерной чертой, которой, вплоть до XVIII века, был «космополитизм».

Этот не только социальный, но и национальный, расовый разрыв между значительными массами интеллигентов и господствующим классом Римской империи вновь возникает после падения империи как разрыв между германскими воинами и интеллигентами романизированного происхождения, преемниками категории вольноотпущенников. С этими явлениями переплетается рождение и развитие католицизма и церковной организации, которая на многие века подчинит своим интересам большую часть интеллектуальной деятельности и будет осуществлять монополию в культурном руководстве в сочетании с карательными санкциями по отношению к тем, кто вздумает противиться или обойти эту монополию. В Италии интеллигенция выполняла в большей или меньшей степени, в зависимости от времени, космополитическую функцию.

Я отмечу различия, которые тотчас бросаются в глаза в развитии интеллигенции ряда стран, по крайней мере наиболее значительных; однако следует предупредить, что эти замечания должны быть подвергнуты проверке и углублению.

Для Италии центральным фактом является именно то,

* Он пожаловал право римского гражданства всем, занимавшимся в Риме врачебной деятельностью, и преподавателям свободных искусств, чтобы этим приохотить их к постоянному жительству в Риме, а также привлечь в него новых лиц той же категории (лат.) — Прим. перев.

что ее интеллигенция выполняла интернациональную, или космополитическую, функцию; эта функция являлась причиной и следствием того состояния раздробленности, разобщенности, в котором полуостров пребывал со времени падения Римской империи и до 1870 года.

Франция дает законченный тип гармонического развития всех национальных сил и в особенности категорий интеллигенции. Когда в 1789 году новая социальная группировка появилась на политической арене истории, она была полностью подготовлена для выполнения всех социальных функций и поэтому могла бороться за тотальное господство нации, не идя на существенные компромиссы со старыми классами, а, напротив, подчиняя их собственным целям. Первые ячейки интеллигенции нового типа рождаются с первыми ячейками новой экономики: даже сама церковная организация испытала их влияние (галликанство, весьма упорные битвы между церковью и государством): Эта мощность организации интеллигенции объясняет роль французской культуры в XVIII и XIX веках как излучателя интернациональных и космополитических идей, роль ее экспансии, органически исходящей при ее империалистическом и гегемонистском характере и поэтому весьма отличающейся от экспансии итальянской культуры — распространения последней в других странах путем иммиграции туда отдельных ее представителей, — экспансии, не оказывающей обратного влияния на свою национальную базу, чтобы усилить ее, а, наоборот, стремящейся сделать невозможным создание прочной национальной базы.

В Англии развитие интеллигенции во многом отлично от Франции. Новая социальная группировка, родившаяся на базе современного индустриализма, имеет поразительное экономико-корпоративное развитие, но продвигается ощутимо в интеллектуально-политической области. Очень широка категория органической интеллигенции, рожденной на той же самой индустриальной почве, что и сама экономическая группа, но в более высокой сфере сохранилось почти монопольное положение старого земельного класса, который теряет экономическое главенство, но надолго сохраняет политико-интеллектуальное превосходство и ассимилируется новой группой, находящейся у власти, как «традиционная интеллигенция» и как руководящий слой. Старая земельная аристократия объеди-

няется с промышленниками как бы с помощью «шва», который в других странах является как раз тем, что объединяет традиционную интеллигенцию с новыми господствующими классами.

Это английское явление наблюдается также и в Германии, где оно осложнено другими историческими и традиционными элементами. Германия, как и Италия, была тем местом, где господствовал универсалистский, наднациональный институт («Священная Римская империя германской нации») и такого же характера идеология. Германия дала известное количество деятелей средневековому мировому граду, обедняя собственные внутренние силы; она завязывала битвы, которые отвлекали от проблем национального объединения и поддерживали территориальное расчленение времен средневековья. Развитие промышленности происходило под жесткой полуфеодальной оболочкой, существовавшей вплоть до ноября 1918 года, и юнкера сохраняли свое политико-интеллектуальное превосходство, значительно более могущественное, чем превосходство такой же английской группы. Они были традиционной интеллигенцией немецких промышленников, но с особыми привилегиями и с твердой уверенностью в том, что они являются независимой социальной группой, поскольку они прочно держали в своих руках экономическую власть над земельными угодьями, более «производительными», чем в Англии. Прусские юнкера подобны военно-жреческой касте, которая имеет почти неограниченную монополию организационно-руководящих функций в политическом обществе, но в то же время они имеют свою собственную экономическую базу и не зависят исключительно от щедрости господствующей экономической группы. Кроме того, в отличие от английских землевладельцев, юнкера были той средой, из которой комплектовался офицерский состав большой постоянной армии, и это давало им прочные организаторские кадры, расположенные к сохранению корпоративного духа и политической монополии *.

* В книге Макса Вебера «Парламент и правительство в новом устройстве Германии» можно найти многие элементы, показывающие, что политическая монополия дворян не только препятствовала выработке достаточного количества опытных буржуазных политических деятелей, но и являлась основой непрерывных парламентских кризисов и раскола либеральных и демократиче-

В России совершенно другие отправные начала: политическая и экономико-торговая организация была создана норманнами (варягами), религиозная — византийскими греками; в последующее время немцы и французы несут европейский опыт в Россию и дают первый существенный костяк русскому историческому «студню». Национальные силы инертны, пассивны и восприимчивы, но, может быть, именно поэтому они полностью ассимилируют иностранные влияния и самих иностранцев, руссифицируя их. В более близкий исторический период происходит обратное явление: *élite*, состоящая из наиболее активных лиц, энергичных, предприимчивых и образованных, выезжает за границу, усваивает культуру и исторический опыт более передовых стран Запада, не теряя при этом и наиболее существенных черт собственной национальной культуры, то есть не порывая духовных и исторических связей со своим народом; завершив таким образом свою интеллектуальную подготовку, они возвращаются в страну, припуждая народ к насильственному пробуждению, к ускоренному движению вперед, сжигая за собой мосты. Различие между этой *élite* и импортированной немецкой (Петром Великим, например) состоит в том, что она носит, по существу, народно-национальный характер: ее не может захлестнуть инертная пассивность русского народа, поскольку она сама является энергичной русской реакцией именно на эту историческую инертность.

На другой почве и в совершенно отличных условиях времени и места этот русский вариант может быть сравнен с рождением американской нации (Соединенные Штаты): англосаксонские иммигранты также являются интеллектуальной *élite*, в особенности в нравственном отношении. Нужно говорить, естественно, о первых иммигрантах, о пионерах, участниках английских религиозных и политических битв, побежденных, но не униженных и не подавленных на их родине. Они вносят в Америку вместе с собой, кроме нравственной и волевой силы, известную степень цивилизации, известную фазу европейской исторической эволюции, которая, будучи пересажена на девственную американскую почву такого рода деятелями, продол-

ских партий; отсюда значение католического центра и социал-демократии, которым в имперский период удалось выработать собственный довольно значительный парламентский и руководящий слой

жает развивать силы, заложенные в ее природе, но несравненно более быстрым темпом, чем в старой Европе, где существует целый ряд ограничений (политических, экономических, интеллектуальных, моральных, создаваемых определенными группами населения,— остатками прошлых режимов, не желающими исчезать), которые препятствуют быстрому и равномерному прогрессу, всякой инициативе, растворяя ее во времени и в пространстве.

В Соединенных Штатах надо отметить отсутствие в известном смысле традиционной интеллигенции и, следовательно, необычное равновесие различных категорий интеллигенции вообще. На промышленной базе возникла компактная система всех современных надстроек. Необходимость равновесия определялась не потребностью слить органическую интеллигенцию с традиционной, которой не существовало как кристаллизованной, ненавидящей новизну категории, а тем, что требовалось сплавить воедино в тигле национальной унитарной культуры различные типы культур, привнесенных иммигрантами разного национального происхождения. Отсутствие значительных наслоений традиционной интеллигенции, отложившихся в странах древней культуры, частично объясняет то, что существуют только две большие политические партии, которые можно было бы, по сути дела, легко свести к одной (здесь уместно провести сравнение с Францией, и не только с послевоенной, когда умножение числа партий сделалось общим явлением), и — в противоположность этому — безграничное множество религиозных сект*.

В Соединенных Штатах наблюдается еще одно интересное явление, подлежащее изучению, — формирование поразительно большого числа негров-интеллигентов, которые усваивают американскую культуру и технику. Следует подумать о косвенном влиянии, которое эти негры-интеллигенты могут оказать на отсталые массы Африки, и о прямом влиянии, если сбудется одно из следующих предположений: 1) что американский экспансионизм воспользуется неграми США как своими агентами для завоевания африканских рынков и распространения (в Африке)

* Мне кажется, их было зафиксировано более двухсот; следует сравнить с Францией и с ожесточенными битвами, предпринятыми для поддержания религиозного и морального единства французского народа

собственного типа культуры (кое-что в этом роде уже сделано, но не знаю, в какой мере); 2) что битвы за унификацию американского народа обостряются до такой степени, что приведут к массовой эмиграции негров и возвращению в Африку наиболее независимых и энергичных интеллектуальных элементов, менее склонных, следовательно, подчиняться возможному законодательству, еще более унижительному, чем современные моральные установления. В этих условиях возникли бы два основных вопроса: а) вопрос о языке: смог ли бы английский язык сделаться культурным языком Африки, объединяя существующую распыленность диалектов? б) смог ли бы этот интеллигентский слой иметь ассимилирующую и организующую способность в такой мере, чтобы сделать «национальным» нынешнее примитивное чувство презираемой нации, поднимая значение африканского континента до создания мифа, стимулирующего объединение, до роли родины, общей для всех негров? Мне кажется, что со временем негры Америки должны будут иметь расовый и национальный дух более негативный, чем позитивный; он будет порожден той борьбой, которую белые ведут с целью их изоляции и притеснения: но не то ли самое было с евреями вплоть до начала XVIII века? Уже американизированная Либерия с официальным английским языком могла бы стать Сионом американских негров с тенденцией превратиться в африканский Пьемонт.

Что касается Южной и Центральной Америки, то, на мой взгляд, вопрос об интеллигенции в этих странах нужно исследовать, учитывая следующие основные условия: здесь также не существует обширной категории традиционной интеллигенции, но тем не менее дело здесь обстоит не так, как в Соединенных Штатах. И действительно, в основе развития этих стран лежат испанская и португальская цивилизация XVI и XVII веков, характеризующиеся Контрреформацией и паразитическим милитаризмом. Такие социальные слои, выкристаллизовавшиеся и до сих пор существующие в этих странах, как клир и военная каста, представляют собой категории традиционной интеллигенции, закостеневшие в рамках традиций европейской матери-родины. Индустриальная база очень узка и не развила сложных надстроек; основная масса интеллигенции — интеллигенция сельского типа, и так как в экономике страны господствующую роль играют лати-

фундии и обширные церковные владения, то эти интеллигенты связаны с клиром и с крупными землевладельцами. Национальный состав очень неоднороден даже среди белых и еще сложнее для значительных масс индейцев, которые в некоторых из этих стран составляют большинство населения. Вообще говоря, можно сказать, что в этих американских областях еще существует положение периода Kulturkampf'a и процесса Дрейфуса, то есть положение, при котором светскому и буржуазному элементу еще не удалось достигнуть фазы подчинения светской политике современного государства клерикальных и милитаристских интересов и влияния. Происходит так, что ввиду оппозиции иезуитству все еще имеет большое влияние масонство и такой тип культурной организации, как «позитивистская церковь».

События последнего времени (ноябрь 1930 года) — от Kulturkampf'a Кальеса в Мексике и до народно-военных восстаний в Аргентине, Бразилии, Перу, Чили, Боливии — показывают правильность этих замечаний.

Другие типы формирования категорий интеллигенции и их взаимоотношений с национальными силами можно найти в Индии, Китае, Японии. В Японии образование интеллигенции совершалось по английскому или немецкому типу, то есть происходило на основе промышленной цивилизации, развивающейся внутри феодально-бюрократической оболочки, и имело свои собственные отличительные черты.

В Китае налицо та особая письменность, которая выражает полное отделение интеллигенции от народа. В Индии и в Китае огромная дистанция между интеллигенцией и народом проявляется даже в религиозной области. Проблема различных верований и различия в способе восприятия и исповедания одной и той же религии среди разных слоев общества — в особенности среди клира, интеллигенции и народа — должна быть вообще основательно изучена, поскольку в известной степени такие различия наблюдаются повсюду, хотя в странах восточной Азии можно встретить наибольшие крайности.

В протестантских странах эти различия относительно невелики (размножение сект связано с требованием полного единения интеллигенции и народа, что выявляет в сфере высшей организации всю нечеткость реальных представлений народных масс).

Очень значительны эти различия в католических странах, но и здесь они не всюду одинаковы: не столь велики в католической Германии и во Франции, несколько больше в Италии, особенно на Юге и Островах, и исключительно велики на Иберийском полуострове и в странах Латинской Америки. Это явление в еще больших масштабах проявляется в ортодоксальных странах, где необходимо говорить о трех ступенях одной и той же религии: высшего клира и монахов, мирского клира и народа — и доходит до абсурда в Восточной Азии, где религия народа часто не имеет ничего общего с книжной религией, хотя обе носят одно и то же название.

Организация школьного обучения и культурной деятельности

Можно отметить как общее явление, что в современном цивилизованном обществе все виды практической деятельности сделались столь сложными и науки настолько переплелись с жизнью, что всякая практическая деятельность ведет к созданию школы для руководителей и специалистов, а следовательно, к созданию группы интеллигентов — специалистов более высокой квалификации, которые преподавали бы в этих школах. Таким образом, наряду с такой школой, которую можно было бы назвать «гуманитарной», то есть традиционной, более старой школой, целью которой является развитие в каждом индивидууме общей, пока еще не дифференцированной культуры, развитие основной способности мыслить и уметь самостоятельно ориентироваться в жизни, — наряду с этой школой создается целая система особых школ различных ступеней для тех или иных отдельных производственных отраслей или для профессий, уже специализированных и отличающихся точно определенным профилем. Более того, можно сказать, что свирепствующий сегодня школьный кризис обуславливается именно тем фактом, что этот процесс дифференциации и обособления происходит хаотически, не на основе ясных и точных принципов, без глубоко изученного и сознательно установленного плана; кризис программы и школьной организации, то есть кризис общего направления политики формирования кадров современной интеллигенции, в основном является лишь

одним из аспектов и следствием более широкого и общего органического кризиса.

Основное подразделение школы на классическую и профессиональную представляло собой рациональную схему: профессиональная школа — для трудящихся классов, классическая — для классов господствующих и для интеллигенции. Развитие индустриальной базы как в городе, так и в деревне вызвало растущую потребность в создании нового типа городского интеллигента; таким образом, наряду с классической школой появилась школа техническая (профессиональная, но не для подготовки рабочих), и это обстоятельство поставило под сомнение сам принцип конкретной направленности общей культуры, гуманистической направленности этой общей культуры, основанной на греко-римской традиции. А коль скоро эта направленность поставлена под сомнение, она уже, можно сказать, теряет жизненную силу, поскольку ее воспитательная способность в основном опиралась на общепризнанный и традиционно неоспоримый престиж определенной формы цивилизации.

В наше время проявляется тенденция, с одной стороны, к упразднению всякого типа школы, не преследующей (непосредственным образом) практических целей и чисто «образовательной», или же к сохранению только одной такой школы для небольшого *избранного* круга мужчин и женщин, которым не нужно думать о том, чтобы подготовить себя к определенной профессии, а с другой — ко все более широкому распространению специализированных профессиональных школ, предопределяющих судьбу ученика и его будущую деятельность. Рациональное разрешение кризиса должно осуществиться на базе создания единой начальной школы общей культуры, школы гуманитарной, общеобразовательной, обеспечивающей правильное сочетание развития способности к ручному труду (в области техники, промышленности) и развития способности к умственному труду. От этого типа единой школы путем накопления опыта по профессиональной линии перейдут затем к одной из специализированных школ или к работе на производстве.

В этой связи следует учитывать развивающуюся тенденцию, в силу которой всякая практическая деятельность ведет к созданию соответствующей ей специализированной школы в такой же мере, в какой всякая интел-

лектуальная деятельность ведет к созданию культурных обществ, принимающих на себя функцию послешкольных институтов, специализирующихся в организации условий, которые предоставляют возможность быть в курсе всех достижений в данной научной области.

Можно также наблюдать, что органы, принимающие решения, все более проявляют тенденцию подразделять свою деятельность на два «органических» вида: вынесение решений (их основная функция) и технико-культурную работу; вследствие этого вопросы, требующие разрешения, сначала изучаются экспертами и анализируются с научной точки зрения. Эта деятельность породила уже целый бюрократический аппарат, имеющий новую структуру, поскольку, помимо специальных отделов, состоящих из компетентных сотрудников, которые готовят технический материал для аппарата, выносящего решения, создается второй аппарат чиновников (в большей или меньшей степени «добровольцев» и не преследующих корыстных целей), которые отбираются время от времени из работников предприятий, банков, финансовых органов. И этот аппарат является одним из тех механизмов, при помощи которых кадровое чиновничество в конце концов взяло под свой контроль демократические и парламентские установления; теперь этот механизм органически расширяется, захватывает в свою орбиту крупных специалистов, занимающихся частной практической деятельностью, и таким образом контролирует и эти установления и чиновничество. Поскольку речь идет о необходимом органическом развитии, порождающем тенденцию к пополнению кадров специалистов по практическому осуществлению политики таким персоналом, который специализируется в конкретных вопросах, касающихся руководства основной практической деятельностью крупных и сложных современных национальных обществ, то всякая попытка бороться с этими тенденциями извне не приводит ни к каким другим результатам, кроме нравоучительных проповедей и риторических стенаний.

Возникает вопрос об изменении системы подготовки персонала, компетентного в технике осуществления политики, путем развития его культуры применительно к новым требованиям и вопрос о подготовке новых типов чиновников-специалистов, которые коллегиально вырабатывали бы и принимали решения. Традиционный тип по-

литического «руководителя», подготовленного только для выполнения юридически-формальных обязанностей, становится анахронизмом, опасным для государственной жизни: руководитель должен обладать тем минимумом общей технической культуры, который позволил бы ему если и не «сочинять» самостоятельно справедливые решения, то хотя бы уметь разбираться в решениях, предложенных экспертами, и затем выбирать из них правильные с «синтетической» точки зрения, применительно к политической технике.

Тип выносящей решения коллегии, которая стремится приобрести необходимые практические знания, для того чтобы действовать на реальной основе, описывается в другом месте, где говорится о том, что происходит в некоторых журнальных редакциях, одновременно выполняющих и функции культурных обществ. Подобное общение развивает коллегиальную критику и помогает тем самым подготавливать материалы для работы отдельных редакторов, оперативная деятельность которых организуется в соответствии с планом и рационально подготовленным разделением труда. Путем обсуждения и коллегиальной критики (рекомендации, советы, методические указания, конструктивная и направленная на взаимное воспитание критика), благодаря чему каждый работает как специалист в своей области, внося тем самым вклад в коллективную компетенцию, действительно удается поднять средний уровень отдельных редакторов, достигнуть наивысшей искусности и умения, обеспечивая тем самым журналу все более четкую и органически налаженную работу и, кроме того, создавая условия для образования монолитной группы интеллигентов, подготовленных для регулярной и методической работы с «книгой» (не только в смысле выпуска случайных изданий и опубликования статей по частным вопросам, но также и выполнения работ, представляющих собой органическое целое).

Несомненно, при развитии такого рода коллективной деятельности всякая работа способствует развитию новых способностей и возможностей применить свой труд, поскольку она создает все более подходящие условия для работы: картотеки, библиографические карточки, подборка основных трудов по специальным вопросам и прочее. Требуется жестокая борьба с вредными привычками: со склонностью к дилетантизму, к импровизации, к «ора-

торским» и декламационным решениям. Работа должна выполняться главным образом в письменном виде, и критические замечания также должны быть изложены на бумаге, притом в краткой и сжатой форме, чего можно достичь путем своевременного распределения материала и т. д.; писать заметки и критические статьи — дидактический принцип, обусловленный необходимостью бороться с привычками к многословию и декламации или к паралогизму, порожденному разглагольствованием. Такой способ умственной работы необходим для выработки при самообразовании той дисциплины, которую прививает нормальная учеба в школе, с целью тейлоризации умственного труда. В этом смысле полезно вспомнить принцип «старцев Санта Дзиты», о которых говорил Де Санктис в своих воспоминаниях о неаполитанской школе Базилио Пуоти, то есть полезно своего рода «расслоение» способностей и навыков и образование рабочих групп под руководством людей наиболее опытных и развитых, которые ускоряли бы подготовку более отстающих и менее развитых.

В изучении вопроса о практической организации унитарной школы важное значение имеет вопрос о школьной учебе на различных ее этапах в соответствии с возрастом и интеллектуально-моральным развитием учащихся, а также с учетом целей, которые ставит перед собой эта школа. Школа унитарная, или гуманитарная (здесь термин «гуманизм» следует понимать в более широком смысле, а не только в обычном), или школа общей культуры должна подготовить юношей к общественной деятельности, доведя их до определенной степени зрелости и развив их способности, сформировав их в интеллектуальном и практическом отношении, привив им умение самостоятельно ориентироваться и проявлять инициативу. Установление срока обязательного школьного обучения зависит от общих экономических условий, ибо эти условия могут заставить потребовать от юношей и подростков немедленно же внести свой вклад в производство. Унитарная школа требует, чтобы государство приняло на себя расходы по содержанию школьников, которые сейчас несет семья, а это привело бы к коренному изменению баланса министерства народного просвещения, вызвав его неслыханное увеличение и усложнение; все дело воспитания и формирования новых поколений пре-

вращается из частного в государственное, ибо только в таком виде оно может охватить все поколения, без подразделения на группы или касты. Однако подобное преобразование школьной деятельности требует необычайного увеличения масштабов практических задач в деле организации школьного обучения, имея в виду обеспечение школьными зданиями, научными материалами, преподавательскими кадрами и т. д. Особенно резко должны быть расширены преподавательские кадры, поскольку эффективность работы школы тем больше, чем теснее связь между учителем и учеником, а это в свою очередь ставит другие проблемы, разрешение которых не может быть легким и быстрым. Вопрос о школьных зданиях также не прост, так как этот тип школы должен представлять собой школу-колледж с дортуарами, аудиториями, специальными библиотеками, комнатами для семинарских занятий и т. д. Поэтому вначале новый тип школы должен и может обслуживать лишь узкие группы молодых людей, отбираемых по конкурсу или направляемых соответствующими институтами по своему усмотрению. Период обучения в унитарной школе должен соответствовать периоду нынешнего обучения в начальных и средних школах, реорганизованных не только с точки зрения содержания и метода обучения, но также и в смысле расположения различных ступеней школьной учебы. Срок обучения в начальной школе должен продолжаться не более трех-четырех лет, и наряду с преподаванием «основных» предметов — чтения, письма, начал арифметики, географии, истории — следовало бы специально обучать такому игнорируемому сегодня предмету, как «права и обязанности», то есть давать первые понятия о государстве и обществе в качестве основных элементов нового мировоззрения, вступающего в борьбу с концепциями, присущими различным традиционным кругам общества, — концепциями, которые можно назвать фольклорными. Дидактическая проблема, требующая своего разрешения, заключается в том, чтобы смягчить и сделать плодотворными догматические нормы, а это следует делать именно в первые годы обучения. Остальная часть курса должна занять не более шести лет с таким расчетом, чтобы к 15—16 годам можно было пройти все ступени унитарной школы.

На это можно возразить, что такой курс слишком уто-

мителен из-за быстрых темпов обучения, а к ним придется прибегнуть, чтобы действительно достигнуть тех результатов, которых намеревается, но не может достичь современная классическая школа. Однако можно сказать, что весь комплекс новой организации должен включать в себе все те общие элементы, из-за которых, наоборот (во всяком случае, для части учеников), прохождение курса ведется слишком медленными темпами. Каковы же эти элементы?

В некоторых семьях, в особенности из интеллигентских кругов, дети получают в семье подготовку, удлиняющую и восполняющую школьную жизнь; они схватывают, как говорится, «на лету» множество познаний и навыков, облегчающих школьную учебу в собственном смысле этого слова: они уже знают литературный язык и углубляют эти познания, то есть обладают средствами выражения и познания технически более совершенными, чем те средства, которыми обладает половина всех учащихся в возрасте от 6 до 12 лет. Так, городские ученики, только благодаря тому, что они живут в городе, уже к шести годам имеют большое количество познаний и навыков, делающих для них школьную учебу более легкой, более плодотворной и позволяющих быстрее усвоить школьную программу. Во внутренней организации унитарной школы должны быть созданы хотя бы основные из этих условий, не говоря уже о том обстоятельстве, что параллельно с унитарной школой, надо полагать, разовьется сеть детских садов и других заведений, где еще до достижения школьного возраста детей приучают к какой-то коллективной дисциплине и где они приобретают дошкольные познания и навыки.

В самом деле, унитарная школа должна быть организована как колледж-интернат, где днем и ночью коллективная жизнь учеников не стеснена современными формами лицемерной и механической дисциплины; учение должно проводиться коллективно, с помощью преподавателей и лучших учеников, также и в часы так называемых индивидуальных занятий и т. д.

Основная проблема касается той фазы нынешнего школьного обучения, которая представлена в наши дни лицеем и полностью однотипна с обучением в предыдущих классах; отличие ее состоит (если исходить из абстрактного предположения) разве лишь в большей интел-

лектуальной и моральной зрелости ученика, учитывая, что он стал старше по возрасту и обладает уже ранее накопленным опытом.

В самом деле, между лицеем и университетом, то есть между школой в полном смысле этого слова и жизнью имеется разрыв, нарушение непрерывности, а не рациональный переход количества (возраст) в качество (интеллектуальная и моральная зрелость). От преподавания, можно сказать, чисто догматического, где большую роль играет память, переходят к стадии созидательной, стадии самостоятельной и независимой работы; от школы с навязанной и контролируемой сверху учебной дисциплиной переходят к стадии профессионального обучения или профессиональной работы, где умственная самодисциплина и моральная самостоятельность теоретически неограниченны. Это происходит тотчас же после кризиса возмужалости, когда еще не закончилась борьба инстинктивных и элементарных страстей со сдерживающим началом характера или совести, находящихся в процессе формирования. В Италии, где в университетах не распространен метод «семинарских» занятий, переход является особенно резким и механическим. Следовательно, в унитарной школе последняя стадия должна рассматриваться и быть организована как стадия решающая, на которой стремятся выработать основные качества, присущие «гуманизму», привить умственную самодисциплину и моральную самостоятельность, необходимые для дальнейшей специализации как в области научной (университетские занятия), так и в области непосредственной практически-производственной деятельности (промышленность, бюрократический аппарат, торговая организация и т. д.). Изучение и усвоение творческих методов в науке и в жизни должны начинаться на этой последней ступени школы, с тем чтобы это не было больше монополией университета и не было пущено на самотек в практической жизни. Эта стадия школьного обучения должна уже способствовать развитию элементов личной ответственности и самостоятельности, то есть быть школой созидательной. Здесь необходимо проводить различие между школой созидательной и школой активной, даже исходя из метода «Дальтон-плана». Вся унитарная школа — школа активная, хотя и необходимо установить рамки вольничанью в этой области и потребовать до-

вольно категорически выполнения своего долга со стороны взрослых, то есть государства, в деле «надлежащего формирования» («конформирования») новых поколений. Пока еще мы находимся в романтической стадии активной школы, в которой наблюдается патологически чрезмерный рост проявлений борьбы против механических и иезуитских методов воспитания, что обусловлено стремлением к отрицанию и полемике; нужно вступить в фазу «классическую», рациональную, находя естественный источник для разработки методов и форм в тех целях, которых следует достигнуть.

Созидательная школа является завершением активной школы: на первой стадии обучения пытаются ввести дисциплину, а следовательно, нивелировать, добиваться своего рода «конформизма», который можно назвать «динамическим». На стадии созидательной на основе достигнутого «коллективизирования» социального типа стремятся развить личность, уже обретшую самостоятельность и чувство ответственности, но теперь добиваются этого уже путем привития твердого и непоколебимого сознания нравственного и общественного долга. Таким образом, созидательная школа — это не школа «изобретателей и открывателей», она представляет собой фазу в развитии навыков исследования и познания, обучает методам их, но не претворяет в жизнь заранее установленной «программы» с обязательной целью внести в нее любой ценой оригинальность и новшество. Эта школа показывает, что обучение происходит главным образом благодаря тому, что ученик добровольно и самостоятельно прилагает усилия, а преподаватель выполняет лишь свою функцию дружественного руководителя, как это происходит или должно происходить в университете. Самостоятельное, без подсказывания и посторонней помощи, отыскание истины является процессом творческим (даже если эта истина устарела); он свидетельствует об овладении методом; во всяком случае, он знаменует собой вступление в фазу умственной зрелости, когда могут открываться новые истины. Поэтому на данной стадии основная деятельность школы развивается в семинарах, в библиотеках, в экспериментальных лабораториях; именно на этой стадии накапливаются органические предпосылки для выбора профессии.

Унитарная школа знаменует собой начало новых взаи-

моотношений между умственным и физическим трудом не только в школе, но и во всей общественной жизни. Поэтому унитарный принцип должен оказать воздействие на все организации культуры, преобразуя их и вкладывая в них новое содержание.

Проблема коренного изменения роли университетов и академий

В наши дни эти два вида институтов независимы друг от друга, и академии являются символом (часто вполне справедливо подвергающимся осмеянию) разрыва, существующего между высокой культурой и жизнью, между интеллигенцией и народом (в этом причина некоторого успеха, какой имели футуристы в первый период антиакадемического, антитрадиционного *Sturm und Drang* и т. д.).

При новом состоянии взаимоотношений между повседневной жизнью и культурой, между умственным и физическим трудом академии должны стать культурной организацией (по систематизации знаний, развитию и формированию интеллекта) для тех элементов, которым по окончании унитарной школы предстоит перейти к профессиональной работе, должны стать для них средством установления контакта с университетскими элементами. Члены общества, занимающиеся профессиональным трудом, не должны впадать в интеллектуальную пассивность; они должны иметь в своем распоряжении (по инициативе коллектива, а не отдельных лиц и в порядке осуществления органической социальной функции, признанной общественно-необходимой и полезной) специализированные институты во всех областях исследовательской и научной деятельности, где они смогут работать и где они найдут все необходимые пособия для любой формы культурной деятельности, в которой они захотели бы принять участие.

Академическая организация должна быть коренным образом изменена и оживлена.

В территориальном отношении она должна быть централизована на основе принципа компетенции и специализации: национальные центры, к которым присоединяются существующие крупные институты, затем следуют региональные и провинциальные секции, объединяющие в

свою очередь местные городские и сельские общества. Подразделение на секции будет производиться по научно-культурным функциям, выполнение которых будет целиком предоставлено высшим центрам и лишь частично местным обществам. Следует унифицировать различные существующие типы организации культуры: академии, институты культуры, филологические общества и т. п., объединив традиционную академическую работу, которая выражается главным образом в систематизации знаний, накопленных в прошлом, и в стремлении установить среднюю линию национальной мысли в качестве руководства для интеллектуальной работы путем развития деятельности, связанной с коллективной жизнью, с миром производства, с людьми труда. Будет осуществляться контроль за докладами на индустриальные темы, за деятельностью научных организаций труда, заводскими экспериментальными лабораториями и т. д. Будет создан механизм для отбора и выдвижения из народных масс отдельных талантливых представителей, чьи способности сегодня приносятся в жертву и сводятся на нет в результате заблуждений и бесплодных попыток. Каждое местное общество должно было бы обязательно иметь отделение гуманитарных и политических наук и постепенно организовывать другие специальные отделения для обсуждения технических сторон вопросов промышленности, сельского хозяйства, организации и рационализации труда — фабрично-заводского, аграрного, административно-управленческого и т. д. Периодический созыв съездов на различных уровнях позволит выявить наиболее способных.

Было бы полезно иметь полный список академий и других ныне существующих культурных организаций, а также перечень вопросов, которыми они преимущественно занимались и которые были опубликованы в их «Трудах»; в большинстве случаев эти «Труды» представляют собой кладбище культуры, хотя и выполняют психологическую функцию руководящего класса.

Между этими организациями и университетами должно наладиться тесное сотрудничество, так же как и в отношении специализированных высших школ всех типов (военных, морских и т. д.). Цель состоит в том, чтобы добиться централизации и стимулирования развития на-

циональной культуры, опередив в этом отношении католическую церковь*.

К исследованию принципов воспитания

Реформа Джентиле⁶⁴ предопределила разрыв между начальной и средней школой, с одной стороны, и высшей — с другой. До этой реформы подобный разрыв существовал в особенно острой форме только между профессиональной школой и школой средней и высшей; начальная школа была как бы окружена ореолом в силу некоторых присущих ей особых свойств.

В начальных школах в основу воспитания и образования детей были положены два элемента: первоначальные сведения из области естественных наук и первые понятия о правах и обязанностях гражданина. Научные познания должны были послужить для того, чтобы ввести ребенка в *societas regum*, ознакомить его с совокупностью прав и обязанностей в государственной жизни и в гражданском обществе. Научные познания из области естественных наук вступали в борьбу с магической концепцией мира и природы, которую ребенок воспринимает из среды, проникнутой духом фольклора, точно так же как понятия прав и обязанностей вступают в борьбу с тенденцией к индивидуалистическому и порождаемому узостью местных интересов варварству, которое тоже является одной из сторон фольклора. Обучая ребенка, школа борется против фольклора со всем его традиционным наследием в отношении понимания мира, стараясь распространить более современное мировоззрение, усвоение первых и основных элементов которого дается приобретением знания о существовании законов природы как чего-то объективного и непокорного, к чему нужно при-

* Эта схема организации культурной работы в соответствии с общими принципами унитарной школы должна получить тщательное развитие во всех своих ответвлениях и послужить руководством при создании хотя бы самого элементарного и примитивного центра культуры, который должен будет рассматриваться как зародыш и как начальный элемент всей этой громоздкой структуры. Равным образом и всякие начинания, носящие временный и экспериментальный характер, должны рассматриваться как могущие быть поглощенными общей системой и в то же самое время как жизненные элементы, способствующие созданию общей схемы. Следует внимательно изучить организацию и развитие Rotary Club.

способиться, чтобы покорить его, а также гражданских и государственных законов, которые являются продуктом человеческой деятельности, устанавливаются человеком и могут быть изменены им в целях своего коллективного развития; гражданский и государственный закон управляет людьми способом, исторически более подходящим для того, чтобы управлять законами природы, то есть облегчать свой труд, который является свойственной человеку формой активного участия в жизни природы с целью все более глубокого и широкого ее преобразования и использования в общих интересах. Поэтому можно сказать, что принцип воспитания, положенный в основу начальных школ, заключал в себе концепцию труда, который не может быть реализован со всей присущей ему способностью к развитию и производительной способностью без точного и реального знания законов природы и без установленного законного порядка, органически регулирующего взаимоотношения людей в жизни,—порядка, который должен уважаться по внутреннему убеждению, а не только потому, что он навязан извне; по признанной и осознанной как свобода необходимости, а не просто по принуждению. Концепция и самый акт труда (как теоретико-практической деятельности) являются принципом воспитания, органически присущим начальной школе, потому что социальный и государственный порядок (права и обязанности) есть порядок, установленный трудом и отождествленный с естественным порядком вещей. Идея равновесия между социальным и естественным порядком вещей, базирующаяся на труде, на теоретико-практической деятельности человека, порождает первые элементы понятий о мире, освобожденных от всякой магии и колдовства, и дает стимул к последующему развитию исторического, диалектического миропонимания, к пониманию движения и становления, к оценке того, каких усилий и жертв настоящему стоило прошлому и каких усилий и жертв настоящему стоит будущее, к пониманию современности как синтеза прошлого, синтеза всех прошлых поколений, который найдет отражение в будущем. Это фундамент начальной школы; дала ли школа все свои плоды, осознавали ли кадры преподавателей свою задачу и ее философское содержание — это другой вопрос, связанный с критикой степени гражданского сознания всей нации.

учебные кадры которой составляют лишь часть ее, пока еще весьма незначительную и, конечно, не передовую.

Утверждение, что образование не является в то же время и воспитанием, не совсем правильно: серьезная ошибка идеалистической педагогики состояла именно в том, что делался слишком большой упор на это разграничение, результаты чего видны уже в школе, реорганизованной в соответствии с этим педагогическим принципом. Для того чтобы образование не включало в себя также и воспитание, нужно было бы, чтобы ученик олицетворял собой подлинную пассивность, был «механическим аккумулятором» абстрактных знаний, что, конечно, абсурдно; впрочем, это отрицается «абстрактно» и самими поборниками так называемого чистого воспитания, выступающими именно против механического образования. В сознании ребенка «определенное» становится «истинным». Но, конечно, сознание ребенка — это не есть нечто «индивидуальное» (и тем более индивидуализированное), в сознании ребенка отражается сознание той части гражданского общества, к которой он принадлежит, сознание социальных взаимоотношений, завязывающихся в семье, среди соседей, в деревне и т. д. В индивидуальном сознании подавляющего большинства детей отражаются социальные и культурные взаимосвязи, являющиеся отличными от тех, которые выражены в школьных программах, антагонистическими по отношению к ним; «определенное» в передовой культуре становится «истинным» в рамках культуры окаменелой и устаревшей, отсутствует единство между школой и жизнью, а потому нет и единства между образованием и воспитанием. Следовательно, можно сказать, что в школе единство образования и воспитания может быть воплощено только в живой работе учителя, поскольку он знает противоречия между типом общества и культурой, которую он представляет, и типом общества и культурой, которую представляют его ученики; он понимает также свою задачу, как сводящуюся к ускорению и введению в определенные рамки формирования ребенка в соответствии с идеалом высшего типа и в борьбе против низшего типа. Если учебный персонал недостаточно подготовлен и если образовательно-воспитательное единство распадается из-за стремления решить проблему образования на основе бумажных схем, в которых главная роль от-

водится воспитанности, то работа учителя будет страдать еще большими недостатками: школа будет риторической, несерьезной, потому что в ней определенное будет лишено своей конкретности, а истина станет словесной, чисто риторической. Дегенерацию средней школы можно еще лучше увидеть на примере курсов литературы и философии. Раньше ученики приобретали хотя бы некоторый «багаж», или «приданое» (в зависимости от вкусов), состоящий из конкретных знаний; теперь, когда учитель должен быть обязательно философом и эстетом, ученик пренебрегает конкретными знаниями и «набивает себе голову» формулами и словами, смысл которых в большинстве случаев для него совершенно непонятен и которые он тотчас же забывает. Борьба против старой школы была правильной, но реформа не была столь простой, как это казалось, поскольку речь шла не о программных схемах, а о людях, причем не о людях, являющихся непосредственно учителями, а обо всем социальном комплексе, выражением которого эти люди являются. В самом деле, скромный преподаватель может добиться того, чтобы его ученики стали более *образованными*, но ему не удастся добиться, чтобы они были более культурными: он будет скрупулезно и добросовестно по-бюрократически осуществлять механическую функцию школы, а ученик, если он обладает активным умом, будет самостоятельно и с помощью своей социальной среды распоряжаться накопленным им «багажом». С введением новых программ, совпадающих с общим понижением культурного уровня преподавательских кадров, вовсе не будет «багажа», которым можно было бы распоряжаться. В новых программах следовало бы предусмотреть полную отмену экзаменов; сдача экзаменов теперь, пожалуй, является куда более «азартной игрой», чем это было когда-то. Дата всегда есть дата, какой бы профессор ни экзаменовал ученика, и «дефиниция» всегда есть дефиниция; а где же суждение, эстетический или философский анализ?

Воспитательную эффективность итальянской средней школы старого типа, организованной на основе старого закона Казати, не следовало искать (и даже следовало ее отрицать) в новой постановке вопроса о том, быть или не быть старой школе; эту эффективность следовало искать в том факте, что организация и программы школы являлись выражением в традиционном плане интел-

лектуальной и моральной жизни, культурной атмосферы, распространенной во всем итальянском обществе в силу древнейшей традиции. То обстоятельство, что такая атмосфера и такой образ жизни вступили в фазу агонии и что школа оторвалась от жизни, предопределило кризис школы. Критиковать программы и организацию дисциплины в школе без учета этих условий значит почти ничего не сказать.

Таким образом, мы возвращаемся к вопросу о действительно активном участии ученика в работе школы, а это может иметь место только тогда, когда школа связана с жизнью. Что же касается новых программ, то чем больше в них утверждается и облекается в теоретическую форму активность ученика и его деятельное участие в работе педагога, тем больше они предназначаются для такого ученика, который являлся бы воплощенной пассивностью.

В старой школе чисто грамматическое изучение латинского и греческого языков наряду с изучением латинской и греческой литературы и политической истории представляло собой воспитательное начало, ибо гуманистический идеал, олицетворенный в Афинах и Риме, был распространен во всем обществе, составляя основной элемент жизни и национальной культуры. Даже механистичность чисто грамматического изучения языка оживлялась культурной перспективой. Отдельные понятия усваивались не для достижения конкретной практически-профессиональной цели (такой непосредственной заинтересованности, казалось, не было), так как целью обучения было внутреннее развитие личности, формирование характера путем освоения и ассимиляции всего культурного наследия современной европейской цивилизации. Латынь и греческий изучали не для того, чтобы говорить на них, чтобы работать кельнерами, переводчиками, торговыми конторщиками. Изучали эти языки для того, чтобы конкретно изучать цивилизацию обоих народов как необходимую предпосылку современной цивилизации, то есть чтобы быть самими собой и сознательно познать самих себя. Латинский и греческий изучали по грамматике, механически, но когда обвиняют в механическом подходе и в безрезультатности такого изучения, то в этом много несправедливого и пристрастного. Нужно приложить много труда, чтобы привить

детям некоторые навыки прилежания, пунктуальности, собранности (в частности, физической) и сосредоточения психического внимания на определенных предметах — навыки, которые не могут быть приобретены без механического повторения упражнений, способствующих выработке дисциплины и методичности. Разве сорокалетний ученый был бы способен просидеть за столом шестнадцать часов подряд, если бы с детства, в силу механического принуждения, он не усвоил надлежащие психофизические навыки? Если хотят подготовить великих ученых, то нужно начинать уже с этого момента и оказывать воздействие на учащихся в этом смысле на протяжении всего школьного периода, чтобы выдвинулись те тысячи, сотни или хотя бы десятки выдающихся ученых, в которых нуждается каждое цивилизованное общество (если бы только можно было многое улучшить в этой сфере с помощью соответствующих научных средств, не возвращаясь к схоластическим методам иезуитов).

Овладевают латынью (или, лучше сказать, изучают), анализируют ее во всех самых элементарных частностях, анализируют, как мертвую вещь,— все это верно, но ребенок и может делать анализ только мертвых вещей; однако не нужно забывать, что, когда эта учеба происходит в таких формах, жизнь римлян представляется мифом, который, частично уже заинтересовав ребенка, продолжает интересовать его и в дальнейшем, так что в мертвом всегда присутствует великий живой. Затем, хотя мертвый язык анализируется как нечто инертное, как труп на столе анатома, все это непрестанно оживает в примерах, в рассказах. Можно ли таким же методом изучать итальянский язык? Нет, невозможно, ни один живой язык нельзя изучать, как латынь: это было бы и *выглядело* бы абсурдным занятием. Никто из детей не знает латыни, когда начинает изучать ее по этому аналитическому методу, а живой язык можно было бы знать, и достаточно было бы только одному ребенку знать его, чтобы разрушить все колдовство: все пошли бы немедленно в школу Берлица⁶⁵. Благодаря фантазии латынь (как и греческий) предстает как миф также и для учителя. Латынь изучают не для того, чтобы овладеть языком; латынь уже давно в силу культурно-схоластической традиции, происхождение и развитие которой

можно было бы исследовать, изучают как элемент идеальной школьной программы, элемент, сочетающий в себе целую серию педагогических и психологических требований и удовлетворяющий в этом смысле; латынь учат, чтобы привить детям навык изучать по определенному способу, анализировать историческое явление, которое можно рассматривать как труп, постоянно возвращаемый к жизни, чтобы приучить их рассуждать, абстрагироваться схематически (хотя они и способны немедленно переходить от абстракции к реальной жизни), видеть в каждом факте или в данном элементе общее и частное, идею и индивидуума. А что же выявляет в воспитательном смысле постоянное сопоставление латыни с языком, на котором говорят? Различие и тождественность слов и понятий, всю формальную логику со всеми ее противоречиями противоположностей, а также анализ различий со всем историческим движением лингвистического комплекса, который претерпевает изменения во времени и который может развиваться, а не только находиться в статическом состоянии. За восемь лет пребывания в гимназии и лицее изучают язык в полном объеме как исторически реальный, познакомившись сначала, в какой-то абстрактный момент, с его грамматическими формами на основе метода фотографирования; изучают начиная с Энния (и даже от фрагментов «12 таблиц») и до Федра⁶⁶, до христианской латыни; весь исторический процесс подвергается анализу с момента его возникновения и до смерти во времени, смерти кажущейся, ибо известно, что итальянский язык, с которым непрестанно сравнивали латынь, является современным латинским языком. Изучают грамматику какой-то определенной эпохи, абстракцию, словарь какого-то определенного периода, но в то же время изучают (для сопоставления) грамматику и словарь каждого определенного автора, а также значение каждого термина в каждый определенный (стилистически) период; таким образом обнаруживают, что грамматика и словарь у Федра не те, что у Цицерона, или у Плавта, или у Лактанция и Тертуллиана, что одно и то же сочетание звуков в разные времена у различных писателей не имеет одинакового значения. Постоянно сравнивают латинский и итальянский; но всякое слово — это понятие, образ, который в различные времена у различных

людей приобретает — в каждом из двух, сравниваемых языков — различные оттенки. Изучают литературную историю книг, написанных на данном языке, политическую историю, деятельность людей, говоривших на этом языке. Из всего этого органического комплекса складывается воспитание юноши благодаря тому факту, что он практически прошел (пусть лишь по документам) весь этот путь на всех его этапах, и т. д. Он погрузился в историю, приобрел способность воспринимать мир и жизнь на основе историзма, — способность, которая становится второй его натурой, проявляющейся почти самопроизвольно, потому что все эти знания не вдальбываются ему в голову педантично из чисто воспитательных «побуждений». Такое изучение воспитывало, хотя и без ясно выраженного намерения, воспитывало при минимальном «воспитывающем» участии преподавателя; воспитывало потому, что образовывало. Опыт логического, эстетического, психологического характера приобретался без «размышлений», без постоянного заглядывания в зеркало, и особенно большой опыт приобретался в области «синтеза», философии историко-реального развития мира. Это не означает (и было бы нелепо думать так), что латынь или греческий как таковые обладают внутренне-чудотворными воспитательными качествами; это — целая культурная традиция, которая живет также (и в особенности) вне школы, которая лишь в данной среде дает подобные результаты.

Впрочем, ясно, что с изменением традиционного воспитания культуры школа вступила в полосу кризиса, как вступило в полосу кризиса и изучение латинского и греческого языков.

Латинский и греческий как опора образовательной школы должны быть заменены, и они будут заменены, но не легко будет подчинить новый предмет или новую серию предметов такому дидактическому порядку, который обеспечил бы адекватные результаты в воспитании и формировании личности, начиная от детского возраста и до начала выбора профессии. В самом деле, в этот период учение, или большая его часть, должно быть (или казаться ученикам) бескорыстным, то есть не преследующим непосредственных практических или слишком конкретных практических целей; оно должно быть образовательным, пусть даже «просвещающим», то есть

насыщенным конкретными знаниями. В современной школе, в результате глубокого кризиса культурной традиции и концепции жизни и человека, выявляется процесс постепенной деформации: школы профессионального типа, призванные отвечать непосредственным практическим интересам, берут верх над чисто образовательной школой, непосредственно не преследующей практических целей. Но наиболее парадоксальной стороной этого дела является то, что этот новый тип школы кажется демократическим и выдается за таковой, а между тем эта школа предназначена не только для увековечения социальных различий, но и для выкристаллизовывания их в застывших, неизменных формах.

Традиционная школа стала олигархической, поскольку она предназначена для нового поколения руководящих групп, которое в свою очередь должно стать руководящим: однако она не была олигархической по способу преподавания. Социальный отпечаток на школу определенного типа накладывает не приобретение способности руководить и не тенденция к формированию людей высшего класса. Социальный отпечаток накладывается в силу того факта, что каждая социальная группа имеет школу своего типа, предназначенную для того, чтобы увековечить в этих слоях определенную традиционную функцию, руководящую или производственную. Таким образом, чтобы разрушить этот заговор, нужно не увеличивать количество типов профессиональной школы и не усложнять градацию их, а создать подготавливающую школу единого типа (начально-среднюю), которая подводила бы юношу к рубежу, когда выбирается профессия, формируя тем временем его как личность, способную мыслить, изучать, руководить или контролировать того, кто руководит.

Следовательно, профессиональная школа в силу многообразия ее типов преследует цель увековечить традиционное различие, но поскольку в соответствии с этими различиями она стремится вызвать внутренние расслоения, то именно поэтому создается впечатление, что она имеет демократические тенденции. В обществе существуют, например, чернорабочий и квалифицированный рабочий, крестьянин и геометр, или мелкий агроном и т. д. Однако демократическая тенденция внутренне не может означать лишь то, что чернорабочий становится

квалифицированным рабочим; она означает, что всякий «гражданин» может сделаться «правителем» и что общество ставит его, пусть даже «абстрактно», в такие общие условия, при которых он может этого достичь: политическая демократия стремится к гармонизации взаимоотношений между правителями и управляемыми (имея в виду правление, базирующееся на согласии управляемых), обеспечивая каждому управляемому возможность постепенного развития его способностей и общей технической подготовки, необходимой для достижения этой цели. Однако школа такого типа, которая развивается как школа для народа, даже и не стремится больше сохранить иллюзию; она все более организуется так, чтобы сузить в социально-политической среде базу технически подготовленного руководящего слоя, что еще больше ограничивает «личную инициативу» в том смысле, что развитие этой способности и осуществление технико-политической подготовки происходит таким образом, что в действительности скорее снова возвращаются к разделению на «юридически» оформленные ступени, а не стремятся к преодолению разделения по группам. Наиболее ярким проявлением такой тенденции является увеличение числа профессиональных школ, все более стремящихся с самого начала учебы к узкой специализации.

Что же касается догматизма и критического историзма в начальной и средней школе, то следует отметить, что новая педагогика хотела пробить брешь в собственном догматизме в области образования, в отношении наделения конкретными знаниями, то есть именно там, где некоторый догматизм практически неотъемлем и может быть растворен только лишь в полном цикле школьного курса (нельзя преподавать историческую грамматику в начальных школах и гимназиях); однако эта педагогика была вынуждена затем смириться с проникновением в область религиозной мысли чистого догматизма и, как следствие этого, с трактовкой всей истории философии как чередования бреда и безумств. Что касается изучения философии, то новый педагогический курс (по крайней мере для тех учеников — а их подавляющее большинство, — которые не получают интеллектуальной помощи вне школы, в семье или в окружающей среде и сознание которых должно формироваться

лишь на основе сведений, приобретаемых ими в классе) обедняет преподавание, понижает практически его уровень, несмотря на то, что с рациональной точки зрения эта программа кажется утопически прекрасной. Традиционная описательная философия, подкрепленная введением курса истории философии и чтением произведений некоторых философов, кажется практически наилучшей. Описательная и определительная философия должна представлять собой догматическую абстракцию, как грамматика и математика, но преподавание этой философии необходимо по педагогическим и дидактическим соображениям. «Единица равна единице» — абстракция, и поэтому никто еще не дошел до мысли, что одна муха равна одному слону. Также и правила формальной логики — такого же рода абстракция и представляют собой как бы грамматику нормального мышления, но все же нужно изучать эти предметы, потому что они не являются чем-то врожденным, а должны быть усвоены на основе труда и с помощью размышлений. Новый курс предусматривает, что формальная логика есть нечто, чем человек уже обладает, когда он размышляет. Однако не объясняют, каким образом приобрести эту логику; так что практически как будто предполагают, что это качество врожденное. Формальная логика, как и грамматика, ассимилируется «живым» способом, даже если обучение в силу необходимости было схематичным и абстрактным; это объясняется тем, что ученик не граммофонная пластинка, не пассивный механический аккумулятор, даже если литургическая условность экзаменов и ведет к тому, что он выглядит иногда таким. Взаимосвязь между этими воспитательными схемами и детским умом всегда активна и созидательна, как активна и созидательна взаимопомощь между рабочим и его орудиями труда; калибр — также совокупность абстракций, и все же без калибровки не производятся реальные предметы, отражающие социальные отношения и заложенные в них идеи.

Ребенок, который мучается с *barbara*, *baralipton*⁶⁷, конечно, устает, и нужно найти метод, чтобы он затрачивал лишь столько труда, сколько необходимо, но не больше; верно также и то, что он должен всегда устывать, чтобы научиться принуждать себя к лишениям и ограничениям в физических движениях, то есть подвер-

гаться психофизическому испытанию. Многих людей нужно убеждать в том, что учение тоже своего рода мастерство, и весьма утомительное, что ему сопутствует специальное упражнение — не только умственное, но также мускульно-нервное: это процесс приспособления, приобретения с трудом усваиваемого навыка, что вызывает скуку и даже страдание. Участие широких масс в деятельности школы на средней ступени влечет за собой тенденцию к смягчению дисциплины учебы, требования «облегчить трудности». Многие в самом деле думают, что трудности эти искусственные, так как привыкли считать, что только ручной труд является трудом и вызывает усталость. Но вопрос этот сложный; конечно, ребенок из интеллигентной семьи с устоявшимися традициями легче преодолевает процесс психофизического приспособления; в первый раз входя в класс, он имеет уже некоторые преимущества по сравнению со своими товарищами, он умеет уже ориентироваться в силу усвоенных им в семье навыков; ему легче сосредоточить свое внимание, так как он приучен к физической собранности и т. д. Точно так же сын городского рабочего меньше страдает, поступая на завод, чем крестьянский мальчик или же молодой крестьянин, уже привыкшие к сельской жизни. Режим питания также имеет значение, и т. д. и т. п. Вот почему многие люди из народа думают, что в трудностях учения кроется «трюк» в ущерб им (когда они не думают, что глупы от природы): они видят, как какой-нибудь господин (а для многих, особенно в деревне, господин означает интеллигент) ловко и с видимой легкостью совершает работу, которая их детям стоит слез и крови, и думают, что здесь какой-то «трюк». При новой ситуации эти вопросы могут стать особенно острыми, и следует противиться тенденции облегчать то, что не может быть легким, не перестав быть самим собой. Для того чтобы создать новый слой интеллигентов, включающий самых больших специалистов из числа выходцев из социальной группы, которая по традиции не развивала соответствующих навыков, надо будет преодолеть неслыханные трудности.

II. ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ

Искусство и борьба за новую цивилизацию

Оценка произведений искусства с точки зрения их художественности наглядно показывает, в особенности в философии практики, самодовольное простодушие тех попугаев, которые, располагая несколькими избитыми шаблонными формулировками, считают себя обладателями ключей, открывающих любые двери (эти ключи называются, собственно говоря, «отмычками»).

Два писателя могут выражать один и тот же историко-социальный момент, но один из них может быть художником, а другой просто-напросто мазилкой. Ограничиться описанием того, что показывают или выражают в социальном отношении оба писателя, то есть подытожить более или менее удачно характерные черты определенного историко-социального момента и тем самым исчерпать вопрос, означало бы оставить проблему искусства совершенно незатронутой. Все это может быть полезным и необходимым, более того, действительно является таковым, но только в другой области—в области политической критики, критики нравов, в борьбе за разрушение и преодоление известного рода мнений и верований, известных позиций по отношению к жизни и к миру, но это не критика и не история искусства и может считаться таковой только вследствие полного смешения понятий, отхода назад или застоя научной мысли, что как раз и сделало бы невозможным достижение тех целей, которые преследуются борьбой за культуру.

Определенный историко-социальный момент никогда не бывает единым, напротив, он полон противоречий. Он приобретает «лицо», является «моментом» развития в силу того, что определенный основной вид жизненной дея-

тельности преобладает в нем над другими, представляет собой историческую «вершину». Но это предполагает соподчинение, разногласие, борьбу. Изобразителем данного момента должен бы являться тот, кто показывает преобладающий вид деятельности, эту историческую «вершину»; но как расценивать того, кто показывает другие виды деятельности, другие ее элементы? Разве эти последние не являются также «изобразительными»? И не является ли изобразителем «момента» также и тот, кто выражает его «реакционные» и анахронические элементы? Или же изобразителем нужно считать только того, кто будет выражать все противоборствующие силы, противостоящие друг другу, и элементы, находящиеся в состоянии борьбы, то есть изображающего противоречия всего историко-социального целого?

Можно, конечно, думать, что литературная критика цивилизации, борьба за создание новой культуры является художественной критикой в том смысле, что новая культура породит новое искусство, но это будет софизмом. Во всяком случае, сомнительно, чтобы, отправляясь от подобных предположений, можно было бы лучше уяснить себе соотношение Де Санктис — Кроче и суть дискуссии о содержании и форме. Критика Де Санктиса является воинствующей, а не «бесстрастно» эстетической, это критика периода культурных битв и столкновений антагонистических мировоззрений. Анализ содержания, критика «структуры» произведений, то есть логической и исторически подлинной последовательности всего многообразия чувств, получивших художественное воплощение, связаны с этой культурной борьбой: кажется, именно в этом и состоит та глубокая человечность и тот гуманизм Де Санктиса, которые и сегодня делают этого критика столь привлекательным. Отраднo чувствовать в нем страстный пыл партийного человека, имеющего твердые моральные и политические убеждения, которых он не скрывает и не стремится скрывать. Кроче разъединяет эти различные аспекты критика, которые у Де Санктиса отличались органическим единством и слитностью. В Кроче живут те же самые культурные стремления, что и в Де Санктисе, но они находятся уже в периоде их распространения и триумфа; борьба продолжается, но на этот раз уже за усовершенствование культуры, а не за ее право на существование: страстность и романтический

ныл разрешились в возвышенной ясности духа и в исполненной добродушия снисходительности. Но эта позиция не является постоянной и у Кроче; она сменяется фазой, при которой ясность духа и снисходительность лопаются и на поверхности появляется горечь и с трудом подавляемый гнев. Фаза эта — оборонительная, а не наступательная, исполненная пыла, и поэтому ее нельзя сравнивать с фазой, выражаемой позицией Де Санктиса.

Словом, образец литературной критики, свойственный философии практики, дан Де Санктисом, а не Кроче или кем-либо другим (и менее всего Кардуччи). Эта критика должна слить воедино — со всем пылом пристрастия, пусть даже в форме сарказма — борьбу за новую культуру, то есть за новый гуманизм, критику нравов, мнений и мировоззрений с эстетической или чисто художественной критикой.

В последнее время фазе, выражаемой позицией Де Санктиса, соответствовала, но в низшем плане, фаза, выражаемая позицией «Воче». Де Санктис боролся за создание в Италии ex novo высокой национальной культуры, противостоящей традиционному старью, риторике и иезуитству (Гвераци и падре Брешиани); «Воче» боролась лишь за распространение той же самой культуры в средних слоях, против провинциализма и т. д. и т. д. «Воче» была аспектом воинствующего крочанства, поскольку хотела демократизировать то, что было по необходимости «аристократическим» у Де Санктиса и что сохранилось как «аристократическое» у Кроче. Де Санктис хотел организовать штаб культуры, тогда как «Воче» стремилась распространить тот же самый стиль цивилизации на младших офицеров и поэтому имела определенное значение; ее работа касалась самой сущности и вызвала появление художественных течений в том смысле, что помогла многим найти самих себя, пробудила большую потребность во внутренней духовной жизни и в ее искреннем выражении, хотя рожденное «Воче» движение и не создало ни одного большого художника.

Рафаэлло Рама пишет в «Италия леттерариа» от 4 февраля 1934 года: «Кем-то было сказано, что иногда для истории культуры бывает более полезным изучение второстепенного, а не великого писателя; и это отчасти правильно, ибо если в великом писателе в конечном счете побеждает индивидуальность, которая перестает при-

надлежать какому-либо определенному времени (а это имело место, когда веку приписывались качества, свойственные человеку), то в другом, во второстепенном (лишь бы это был наблюдательный и самокритичный ум), можно различить с большей ясностью моменты диалектики личной культуры, поскольку им не удастся, как это происходит у великого писателя, слиться воедино».

Намеченная здесь проблема находит подтверждение путем доведения до абсурда в статье Альфредо Гарджуло «От культуры к литературе», опубликованной в «Италия леттерариа» 6 апреля 1930 года. В ней, так же как и в других статьях той же серии, обнаруживается полнейшее интеллектуальное истощение Гарджуло (один из многих юношей, лишенных «зрелости»): он совершенно опустил, связавшись с этой бандой из «Италия леттерариа» и в упомянутой статье принимает за истину следующее суждение, высказанное Дж. Б. Анджолетти в предисловии к антологии «Новые писатели», составленной Энрико Фальки и Элио Витторини: «Писатели этой антологии являются, следовательно, новыми не потому, что они нашли новые формы, новые сюжеты, — совсем наоборот! Они являются таковыми, поскольку у них новое понимание искусства, отличное от понимания писателей, которые были их предшественниками. Или, переходя прямо к сути дела, они являются новыми, потому что они *верят* в искусство, тогда как те верили во многое другое, не имеющее ничего общего с искусством.

При такой новизне поэтому может быть допустимо сочетание традиционной формы и старого содержания, она не может допустить лишь отклонений от основной идеи искусства. В чем должна заключаться идея, повторять здесь неуместно. Но да позволено мне будет напомнить, что новые писатели, завершая революцию (!), которая прошла в полном молчании (!), не будучи от этого менее памятной (!), *намерены быть прежде всего художниками* там, где их предшественники удовлетворялись положением моралистов, проповедников, эстетствующих, психологизирующих, гедонистов и т. д.»

Рассуждение недостаточно ясное и стройное: если из него и можно извлечь что-либо конкретное, то это всего лишь тенденцию к «сечентизму»⁶⁸, и только.

Это понимание роли художника является новым вариантом девиза «следить за языком» при разговоре, поведением нового способа создания «мыслишек». И создатели «мыслишек», а не образов больше всех поэтов превозносятся этой «бандой» во главе с Джузеппе Унгаретти (который, между прочим, пишет на неправильном, в значительной степени офранцузенном языке).

Движение «Воце» не могло создать художников *ut sic* *, и это понятно; но, борясь за новую культуру, за новый образ жизни, оно косвенно двигало вперед также и формирование самобытных художественных характеров, ибо искусство есть также и в самой жизни. «Молчаливая революция», о которой говорит Анджолетти, состояла всего-навсего из разговоров (в кафе) и посредственных статей в стандартной газете и в провинциальных журналах. Причудливая фигура «жреца искусства» не такая уж большая новость, даже при изменении ритуала.

Кажется ясным, что в интересах точности следовало бы говорить о борьбе за «новую культуру», а не за «новое искусство» (в прямом значении). Может быть, в интересах точности нельзя также говорить и о том, что борьба идет за новое содержание искусства, поскольку последнее нельзя мыслить абстрактно, отдельно от формы. Бороться за новое искусство — это значило бы бороться за создание отдельных художников нового типа, а это абсурдно, поскольку художников нельзя создавать искусственно. Следует говорить о борьбе за новую культуру, то есть за новую нравственную жизнь, которая не может не быть внутренне связана с новой жизненной интуицией. — о борьбе до тех пор, пока она не станет новым способом чувственного восприятия и видения реального мира, а следовательно, культурой, внутренне присущей новым «возможным художникам» и «возможным произведениям искусства».

Невозможность искусственно создавать отдельных художников не означает, следовательно, того, что новый круг культурных интересов, за который идет борьба, пробуждая гуманные пристрастия и увлечения, не пробудит неизбежно «новых художников»; иными словами, нельзя сказать, что такой-то и такой-то (имя рек) станет художником, но можно утверждать, что движение породит но-

* Как таковых (лат.). — Прим. перев.

вых художников. Новая социальная группа, вступая на историческое поприще в виде руководителя, гегемона, с такой верой в себя, какой она прежде не имела, не может не выдвинуть из своих недр индивидуальностей, которые до того не находили достаточной силы, чтобы выразить себя полностью в определенном направлении.

Таким образом, нельзя сказать, что возникает новая «поэтическая» атмосфера, согласно модной фразе, имевшей хождение несколько лет тому назад. «Поэтическая» атмосфера — это лишь метафора, обозначающая совокупность всех художников, уже сложившихся и проявивших себя или по крайней мере уже положивших начало достаточно устойчивому процессу своего формирования и раскрытия.

В связи с этим следует обратить внимание на главу XII книги Б. Кроче «Новые очерки итальянской литературы XVII века» (1931 год) *, в которой он говорит о поэтических академиях иезуитов и устанавливает их близость к «поэтическим школам», созданным в России (Кроче, вероятно, черпает сведения все из того же Füllop-Miller'a).

Но почему он не устанавливает их близость к мастерским живописи и скульптуры XV—XVI веков? Те тоже были «академиями иезуитов». И почему то, что делалось в отношении живописи и скульптуры, не могло быть сделано в отношении поэзии? Кроче не принимает в расчет социальный элемент, который «хочет иметь» свою собственную поэзию, элемент, «не имеющий школы», то есть такой, который не овладел «техникой» и самим языком: в действительности речь идет о «школе» для взрослых, которая воспитывает вкус и вырабатывает «критическое» сознание в широком смысле слова. Проходит ли «академию иезуитов» живописец, который «копирует» картину Рафаэля? Для него это лучший способ «погрузиться» в искусство Рафаэля, которого он стремится воссоздать, и т. д.

А почему бы рабочие не могли упражняться в стихосложении? Разве это не делало бы их слух более восприимчивым к музыкальности (стиха) и т. д.?

* B. Croce, Nuovi saggi sulla letteratura italiana del Seicento; capitolo XII: Poesia latina nel Seicento: pp. 135—136 (1931).—*Прим. ит. ред.*

„Воспитательное искусство“

«Искусство воспитывает, поскольку оно является искусством, но не «воспитательным искусством»; в последнем случае оно — ничто, а ничто не может воспитывать. Конечно, все мы, кажется, единодушны в стремлении иметь такое искусство, которое походило бы на искусство Рисорджименто, а не на искусство, например, даннунциевского периода; но в действительности, если хорошенько вдуматься, это стремление — не стремление предпочесть одно искусство другому, одну моральную действительность другой. Это подобно тому положению, когда человек, который хотел бы увидеть в зеркале красивое, а не безобразное лицо, пожелал бы иметь не другое зеркало, отличное от стоящего перед ним, а другое лицо» *.

«Когда поэтическое произведение или цикл поэтических произведений уже сложился, этот цикл не может быть продолжен путем изучения, подражания и с помощью вариаций на тему данных произведений: этот путь ведет лишь к так называемой поэтической школе, *servum pesus* ** эпигонов. Поэзия не порождает поэзию; «партеногенез» здесь не имеет места; необходимо вмешательство «мужского» начала — того, что является реальным, страстным, практическим, моральным. Самые авторитетные критики поэзии рекомендуют в этом случае не обращаться к литературным рецептам, а, как они говорят, «переделывать человека». После того как человек будет переделан, дух его обновлен и чувства будут переживать новую жизнь, возникнет новая поэзия ***.

Это наблюдение может быть использовано историческим материализмом. Литература не порождает литературу и т. д., то есть идеологии не создают идеологий, надстройки не порождают надстроек, за исключением того, что наследуется в силу инерции и пассивности: они порождены не путем «партеногенеза», а в результате вмешательства «мужского» начала, истории революционной

* B. Croce, *Cultura e vita morale*; capitolo: *Fede e programmi* (del 1911); pp. 169—170 [Б. Кроче, *Культура и нравственная жизнь*; глава «Вера и программы»].

** Скот (лат. *бранн.*). — *Прим. перев.*

*** B. Croce, *op. cit.*, capitolo: *Trappa filosofia* (del 1922); pp. 241—242 [Б. Кроче, *цит. соч.*, глава «Излишняя философия»]

деятельности, которая создает «нового человека», то есть новые общественные отношения.

Из этого также следует, что и «старый человек» в результате перемен становится «новым», вступает в новые отношения, после того как первоначальные оказались ниспровергнутыми. Этим и объясняется тот факт, что, до того как «новый человек», созданный позитивно, проявит себя в поэзии, можно наблюдать проявление «лебединой песни» старого человека, обновленного негативно; и эта лебединая песня часто обладает удивительным блеском: новое в ней сочетается со старым, страсти достигают несравненного накала и т. д. (Разве «Божественная комедия» не является в какой-то мере лебединой песнью средневековья, которая предвосхищает новые времена и новую историю?)

Критерии литературной критики

Может ли мысль о том, что искусство есть искусство, а не «преднамеренная» и предписанная пропаганда, сама по себе служить препятствием образованию определенных культурных течений, которые являлись бы отражением своей эпохи и способствовали бы усилению определенных политических течений? Думается, что нет. Кажется, напротив, эта мысль дает более радикальную постановку проблемы, делает критику более активной и решительной. Условившись, что в произведении искусства надлежит исследовать только художественные качества, мы никоим образом не исключаем исследования того, скопления каких чувств и какое отношение к жизни пронизывают само произведение искусства. Это допускалось современными эстетическими течениями, это можно видеть у Де Санктиса и у самого Кроче. Исключается лишь то, чтобы произведение искусства считалось художественным благодаря своему моральному и политическому содержанию, а не форме, в которой абстрактное содержание, не будучи таковым по форме, слилось и отождествилось. Исследуется также и то, не оказалось ли произведение искусства неудачным в силу того, что автор отклонился [от избранного им пути] из-за внешних практических, то есть фальшивых и неискренних соображений. На мой взгляд, решающий вопрос полемики состоит в следующем: NN «хотел» искусственно вложить определенное содержание в свое произведение и не создал

художественного произведения. Несостоятельность данного произведения искусства (ибо в других произведениях, действительно прочувствованных и пережитых им, NN показал себя художником) показывает, что подобное содержание у NN является ничего не говорящей и непослушной темой, что энтузиазм NN ложен и предписан извне, что в действительности в данном конкретном случае NN является не художником, а слугой, который старается угодить хозяевам. Имеется, таким образом, два рода фактов: один—эстетического порядка, относящийся к чистому искусству, другой—к культурной политике, то есть просто к политике. Факт, который связан с отрицанием художественных достоинств произведения, как таковой может быть использован политической критикой для доказательства того, что NN как художник не принадлежит к данному определенному политическому миру и что поскольку в нем как в личности преобладает художник, то в его внутренней сугубо личной жизни данный определенный мир не проявляется, не существует. Поэтому NN—политический комедиант, он хочет, чтобы его принимали за другого, не за того, кем он является на самом деле и т. д. и т. д. Политический критик, следовательно, изобличает NN не как художника, а как «политического оппортуниста».

Если политический деятель осуществляет нажим с целью заставить искусство своей эпохи выражать определенный культурный мир—это будет политическим актом, а не проявлением художественной критики, ибо если культура, за которую идет борьба, является живым и необходимым делом, ее стремление к развитию становится неудержимым и она найдет своих художников. Если же, несмотря на нажим, этого стремления не видно и оно не действует, то это означает, что речь шла о ложной и фальшивой культуре, о бумажном корпении посредственностей, которые жалуются на то, что люди, занимающие более высокое положение, не согласны с ними. Самый способ постановки вопроса может служить признаком устойчивости культуры и морали; и действительно, так называемый «каллиграфизм» есть не что иное, как защита мелких, ничтожных художников, которые оппортунистически отстаивают известные правила, но чувствуют свое бессилие дать им художественное выражение, то есть воплотить их в своей непосредственной деятель-

ности, и мечтают о чистой форме, которая является ее собственным содержанием и т. д. Формальный принцип различия духовных категорий и единство их обращения, хотя бы в своем абстрактном виде, позволяет понимать реальную действительность и критиковать произвольность и ложную жизнь тех, кто либо не хочет играть в открытую, либо попросту является посредственностью, случайно занявшей командное положение.

В мартовском выпуске «Эдукационе фашиста» за 1933 год следует посмотреть статью Арго, в которой он полемизирует с Полем Низаном (см. его статью «Заграничные идеи») по поводу понятия новой литературы, которая может возникнуть в результате полного интеллектуального и морального обновления. Думается, что Низан правильно ставит проблему, начиная с определения того, что представляет собой полное обновление культурных предпосылок, и ограничивает область самого исследования. Единственное обоснованное возражение Арго сводится к следующему: невозможность перескочить национальную, автохтонную стадию новой литературы и «космополитические» опасности концепции Низана. С этой точки зрения следует вновь пересмотреть многие критические статьи Низана, предназначенные для групп французской интеллигенции — от «NRF» *, народничества и т. д. вплоть до группы «Monde», — не потому, что эти критические статьи не наносят справедливый удар в политическом отношении, но именно потому, что невозможно, чтобы новая литература не нашла своего «национального» проявления в более или менее гибридных комбинациях и связях различного рода. Необходимо исследовать и объективно изучить все течение.

С другой стороны, необходимо помнить о следующем критерии — о соотношении литературы и политики: литератор неизбежно будет иметь менее точные и определенные перспективы, чем политический деятель, он должен быть менее «сектантом», если так можно выразиться, но в «противоречивом» смысле. Для человека политики всякий «фиксированный» образ *a priori* является реакционным: политик рассматривает все движение в его ста-

* Nouvelle Revue Française.— *Прим. ит. ред.*

новлении. Художник, напротив, должен иметь образы «фиксированные», которым придана их окончательная форма. Политик представляет себе человека таким, каков он есть, и в то же самое время — каким он должен быть, чтобы достигнуть определенной цели; его работа как раз в том и состоит, чтобы привести людей в движение, вывести их за пределы нынешнего дня и сделать их способными коллективным путем достигнуть поставленной цели, то есть «сообразовываться» с целью. Художник показывает по необходимости «то, что есть», в данный момент индивидуального, неоформленного и т. д., — показывает реалистически. Поэтому с политической точки зрения политик никогда не будет доволен художником и не сможет стать им: он будет всегда находить, что тот плетется в хвосте, всегда анахроничен, всегда отстает от реального движения. Если история является непрерывным процессом освобождения и развития самосознания, то очевидно, что любая стадия истории, а в данном случае — истории культуры, будет быстро превзойдена и перестанет представлять интерес. Мне кажется, что с этим следует считаться при оценке суждений Низана о различных группах. Но с определенной объективной точки зрения, подобно тому как Вольтер еще и сегодня является «актуальным» для известных слоев населения, точно так же могут быть актуальными и, более того, — являясь таковыми — и эти литературные группы и объединения, которые они представляют; слово «объективной» означает в этом случае то, что процесс интеллектуального и морального обновления не происходит одновременно во всех социальных слоях, а совсем наоборот: еще и сегодня — и это полезно помнить — многие являются сторонниками Птоломея, а не Коперника.

Существуют многочисленные виды «конформизма», многочисленные проявления борьбы за новые виды «конформизма» и различные комбинации между тем, что есть (завершенные перемены), и тем, над осуществлением чего работают (и существует много людей, которые работают в этом направлении). Встать на точку зрения «одной-единственной» линии прогрессивного развития, на которой всякое новшество аккумулируется и становится предпосылкой других достижений, будет серьезной ошибкой: существует не только много линий (путей), но происходят и отступления назад на «наиболее прогрессив-

ном» пути. Кроме того, Низан не в состоянии поставить вопрос о так называемой «популярной литературе» для массового читателя, то есть об успехе, которым пользуется среди народных масс литература, печатающаяся в разделе «приложений» (приключенческая, детективная, «желтая» и т. д.), — успехе, которому способствовали кино и журналы. И все же это такой вопрос, который представляет собой большую часть проблемы новой литературы, поскольку она является выражением интеллектуального и морального обновления: ведь только из читателей литературы «приложений» можно отобрать публику, необходимую и достаточную для создания культурной базы новой литературы. Мне кажется, что проблема заключается в следующем: как создать отряд литераторов, которые с точки зрения художественного уровня находились бы в таком же отношении к литературе «приложений», как в свое время Достоевский к Сю или Сулье или как Честертон в области детективного романа к Конан-Дойлю и Уэллсу и т. д.? В этих условиях придется отказать от многих предубеждений, но в особенности нужно думать о том, что не только невозможно установить монополию, но что, напротив, существует чудовищная организация по охране издательских интересов.

Более распространенным является предубеждение, что новая литература должна отождествляться с определенной художественной школой интеллектуального происхождения, как это было с футуризмом. Новая литература не может не иметь исторической, политической, народной предпосылки: эта литература должна стремиться к разработке того, что уже существует, — полемически или иным способом — не важно; важно то, чтобы она уходила своими корнями в богатую почву народной культуры, такой, какова она есть, с ее вкусами, тенденциями и т. д., с ее моралью и интеллектуальным миром, пусть даже отсталыми и условными.

III. НАРОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Содержание и форма

Сближение этих двух терминов в художественной критике может принимать многие значения. Допущение, что содержание и форма — одно и то же и т. д., не означает еще, что нельзя делать различия между содержанием и формой. Можно сказать, что тот, кто настаивает на «содержании», в действительности борется за определенную культуру, за определенное мировоззрение против других культур и других мировоззрений; можно также сказать, что если рассматривать вопрос исторически, то до сих пор так называемые «сторонники содержания» были «более демократичными», чем, например, их противники парнасцы, они хотели иметь литературу, которая была бы предназначена не только для «интеллигенции» и т. д.

Можно ли говорить о приоритете содержания над формой? Можно говорить в следующем смысле: что произведение искусства есть процесс и что изменения в содержании являются также изменениями в форме; но «много легче» говорить о содержании, чем о форме, поскольку содержание может быть «резюмировано» логически. Когда говорят, что содержание имеет приоритет над формой, просто хотят сказать, что последовательные усилия, предпринимаемые в процессе отделки произведения, представляются как изменение содержания, только и всего. Начальное содержание, которое не удовлетворяло, тоже было формой, а когда бывает достигнута удовлетворительная «форма», оказывается, что изменилось также и содержание. Известно, что те, кто тараторит насчет формы и т. п., противопоставляя ее содержанию, произносят совершенно пустые, беспорядочно нагроможденные слова и не всегда придерживаются правил

грамматики (например, Унгаретти), а под техникой, формой и т. д. они разумеют бессодержательность жаргона, достойного собрания пустых голов.

Это также один из вопросов национальной истории Италии, и в разных случаях он принимает различные формы. Существует стилистическое различие между сочинениями, предназначенными для публики, и другими, например между литературными произведениями и письмами. Часто кажется, что имеешь дело с двумя различными писателями — столь велика эта разница. В письмах (за некоторым исключением, как, например, Д'Аннунцио, который разыгрывает комедию даже стоя перед зеркалом, только для себя самого), в мемуарах и вообще во всех сочинениях, предназначенных для узкого круга и для себя самого, преобладает умеренность, простота, непосредственность, тогда как в других сочинениях часто преобладает напыщенность, риторика, декламационный стиль, стилистическое ханжество.

Эта «болезнь» настолько распространена, что передается народу, из-за нее «писать» означает теперь взбираться на ходули, создавать праздничную атмосферу и «предпочитать» излишне болтливый стиль, во всяком случае, выражаться не так, как обычно принято; и поскольку народ не является литератором и, что касается литературы, он знает одни лишь оперные либретто XIX века, то и получается, что люди из народа «мелодраматизируются». Вот именно тогда «содержание» и «форма», помимо «эстетического» значения, имеют также значение историческое. «Историческая» форма означает определенный язык, тогда как «содержание» указывает на определенный образ мыслей, не только исторически последовательный, но и выдержанный, выразительный, но без зубогычин; страстный, но без того, чтобы страсти были накаленными докрасна, как в «Отелло» или в мелодраме, словом, без театральной маски. Это, я думаю, имеет место только в нашей стране — разумеется, как массовое явление, поскольку отдельные проявления имеются повсюду. Однако нужно быть внимательным, ибо наша страна является той страной, где вслед за условностью барокко последовала условность «Аркадии», но тем не менее всегда сохранялись театральность и условность. Необходимо сказать, что в эти годы положе-

ние значительно улучшилось: Д'Аннунцио был последним приступом болезни итальянского народа, и его газета, преследуя свои цели, добила многого в деле «рационализации» прозы. Но она ее обеднила и сузила, что также вредно. К сожалению, в народе наряду с «фигуристами-антиакадемистами» существуют еще обращенные «сечентисты». С другой стороны, здесь ставится исторический вопрос, чтобы объяснить прошлое, а не борьбу чисто современную, чтобы уничтожить современное зло, хотя зло и в его прежних формах не совсем исчезло и обнаруживается в некоторых особом рода проявлениях (в торжественных речах, а особенно в надгробных патриотических надписях и т. д.). Можно было бы сказать, что речь здесь идет о различных вкусах, но это было бы ошибкой. Вкус является «индивидуальным» или свойственным небольшим группам, здесь же речь идет о больших массах, и поэтому нельзя не говорить о культуре как историческом явлении, о существовании двух культур: «выдержанный» вкус носит индивидуальный характер, не более, мелодрама же отвечает национальному вкусу, то есть национальной культуре.

И нельзя говорить, что таким вопросом нет необходимости заниматься — напротив, формирование живой и выразительной и в то же время сдержанной и умеренной прозы должно быть одной из культурных целей, которые нужно сознательно поставить перед собой. Таким образом, и в этом случае форма и выражение отождествляются, и настаивать на «форме» есть не что иное, как практическое средство для работы над содержанием с целью подорвать традиционную риторику, которая портит всякую форму культуры, даже — увы! — и «антириторическую»!

На вопрос, существовал ли итальянский романтизм, можно дать различные ответы, в зависимости от того, что понимать под «романтизмом». Конечно, существует много определений термина «романтизм». Нам важно одно из этих определений и важен как раз именно не «литературный» аспект проблемы. Термин «романтизм» среди прочих значений принял значение особого взаимоотношения или связи между интеллигенцией и народом, нацией; он является частичным отражением «демократии» (в широком смысле) в литературе (в широком смысле, в каком даже католицизм может быть «демократиче-

ским» состоянием, тогда как «либерализм» может им не быть).

В этом смысле — а нас проблема интересует применительно к Италии — вопрос о существовании романтизма связан с другими проблемами: с вопросом о том, существовал ли итальянский театр, с вопросом о языке, с вопросом о том, почему литература не была народной, и т. д. Необходимо, следовательно, в необозримой литературе о романтизме выделить этот аспект и проявить к нему как теоретический, так и практический интерес — как к историческому факту, так и к общей тенденции, которая может дать место современному движению, современной проблеме, ожидающей своего разрешения. В этом смысле романтизм предваряет, сопровождает, утверждает и развивает все то европейское движение, которое берет название от Французской революции; это ее сентиментально-литературный аспект (и более сентиментальный, чем литературный, в том смысле, что литературный аспект был только частичным проявлением сентиментального течения, которое пронизало всю жизнь или по крайней мере весьма значительную часть жизни, тогда как только самая малая часть этой жизни нашла свое выражение в литературе).

Исследование литературы является, таким образом, историей культуры, а не литературной историей, или, лучше сказать, не историей литературы, поскольку она является частью и аспектом более широкой истории — истории культуры. Итак, именно в этом смысле романтизм не существовал в Италии и, в лучшем случае, его проявления были самыми незначительными, самыми скудными и, во всяком случае, носили чисто литературный характер*.

Необходимо рассмотреть, как эти дискуссии приняли в Италии рассудочный и абстрактный характер: «пеласги» Джоберти, «доримское население» и т. д. в действительности не имеют ничего такого, что было бы связано с живым современным народом, которым, наоборот, интересовались Тьерри и близкая к нему политическая историография.

* По этому поводу необходимо вспомнить теории Тьерри и их отражение у Мандзони. Теории Тьерри являются как раз одним из наиболее значительных аспектов этих проявлений романтизма, о которых мы намерены говорить.

Уже было отмечено, что слово «демократия» не должно восприниматься в таком смысле — только в «светском» или «полусветском» значении, — в каком его склонны употреблять, и не в его «католическом», даже реакционном, если хотите, значении; важным является именно тот факт, что ищут связи с народом, с нацией, под которыми разумеют необходимое единство, не рабское, вызванное пассивным послушанием, но активное, полное жизни единство, каково бы ни было содержание этой жизни. Это живое единство отсутствовало в Италии; отсутствовало по крайней мере в степени, достаточной для того, чтобы сделаться историческим фактом. Отсюда ясен и смысл вопроса: «существовал ли итальянский романтизм?»

Понятие о „национально-народном“

«Критика фашиста» в номере от 1 августа 1930 года в одной из заметок сетует на то, что две крупные ежедневные газеты — римская и неаполитанская — начали печатать в качестве приложения следующие романы: «Граф Монте-Кристо» и «Джузеппе Бальзамо» Александра Дюма и «Страдание одной матери» Поля Фонтене. «Критика фашиста» пишет: «XIX век во Франции, без всякого сомнения, был золотым периодом романа-приложения⁶⁹, однако какое убогое представление о своих читателях должны иметь эти газеты, которые перепечатывают романы столетней давности, словно вкус, интересы, литературный опыт решительно ни в чем не изменились с тех пор. Почему не принять в расчет, что существует (несмотря на наличие противоположного мнения) современный итальянский роман? Почему нужно думать, что итальянский народ готов проливать чернильные слезы над несчастной судьбой отечественной словесности?»

«Критика» смешивает проблемы различного порядка: проблему малого распространения среди народа так называемой художественной литературы и проблему отсутствия в Италии «народной» литературы, в силу чего журналы «вынуждены» снабжаться из-за границы. (Конечно, теоретически ничто не мешает тому, чтобы существовала художественная народная литература; самый яркий пример этого — успех, который имели в народе

русские романисты и имеют его еще и сейчас; но фактически не существует ни народного характера художественной литературы, ни «народной» литературы местного производства, ибо нет тождества мировоззрения «писателей» и «народа». Иными словами, писатели не живут народными чувствами, как своими собственными, и не играют «национально-воспитательной» роли, то есть они не ставили и не ставят проблему развития чувств народа, после того как последние пережиты ими и сделались их собственными чувствами.) «Критика» не ставит этих проблем и не умеет извлечь «реалистических» заключений из того факта, что если романы столетней давности нравятся, то это означает, что вкус и идеология народа остаются такими, какими они были сто лет тому назад. Газеты являются политико-финансовыми органами и не ставят поэтому цели распространять изящную словесность на собственных полосах, если эта изящная словесность не приводит к увеличению дохода. Форма приложения является средством распространения романов среди народных классов (вспомнить пример гётевской «Лаворо», находящейся под руководством Джованни Ансальдо, который перепечатал всю французскую литературу в виде приложений, стремясь в то же самое время придать другим частям ежедневной газеты тон самой утонченной культуры); а ведь это означает успех политический и финансовый. Поэтому газета ищет такой роман или такой тип романа, который «наверняка» будет нравиться народу, который обеспечит «непрерывную» и постоянную клиентуру. Человек из народа покупает всего одну газету (если только покупает ее); выбор газеты часто не является личным, но определяется семейными интересами: большой вес имеют при этом женщины, которые настаивают на «большом интересном романе» (это отнюдь не означает, что мужчины не читают романов, это означает лишь то, что женщины в особенности интересуются романом и хроникой всякого рода происшествий). Отсюда проистекает тот постоянный факт, что чисто политические и теоретические журналы никогда не могли получить большого распространения (исключая периоды напряженной политической борьбы); они приобретались молодежью, мужчинами и женщинами, не обремененными слишком большими семейными заботами и имеющими устойчивый интерес к

судьбе своих политических мнений, а также небольшим числом семей, прочно спаянных в идейном отношении. Вообще читатели газет не разделяют направления газеты, которую они покупают, или же испытывают лишь незначительное влияние с ее стороны. Поэтому нужно изучать с точки зрения журналистской техники случай «Секоло» и «Лаворо», которые печатали до трех романов-приложений в целях обеспечения большого и постоянного тиража (часто не понимают, что для многих читателей «роман-приложение» то же, что перворазрядная «литература» для образованных лиц; знать «роман», который печатала «Стампа», было своего рода «светским долгом» швейцарской внутренних дворов и задворок города; всякий выпуск давал повод для «бесед», в которых «наиболее выдающиеся» блистали своей психологической интуицией, логической способностью и т. д.). Можно утверждать, что читатели романа-приложения интересуются и восторгаются своими авторами с гораздо большей искренностью и более живым человеческим интересом, чем так называемые «образованные» интересуются в салонах романами Д'Аннунцио или произведениями Пиранделло.

Но самым интересным вопросом можно считать следующий: почему итальянские газеты 1930 года, если они хотят получить распространение (или сохранить свой тираж), должны печатать в приложении романы столетней давности (или современные романы такого же типа)? И почему в Италии не существует «национальной» литературы этого рода, несмотря на то, что она доходна?

Нужно отметить тот факт, что на многих языках «национальный» и «народный» являются синонимами или почти синонимами (так, например, в немецком, в котором *volkisch* имеет еще более интимное значение расы, или в русском, а также в славянских языках вообще; во французском термин «национальный», имеет значение термина «народный», но уже более политически разработан, ибо связан с понятием «суверенитета»: но и здесь национальный суверенитет и суверенитет народа имеют или имели одинаковое значение).

В Италии же термин «национальный» имеет очень узкое идеологическое значение и, во всяком случае, не совпадает с «народным», ибо интеллигенция в Италии

далека от народа, то есть от «нации», и, напротив, связана с кастовой традицией, которая никогда не была разбита мощным политическим народным или национальным движением снизу; традиция является «книжной» и абстрактной, и типичный современный интеллигент чувствует себя связанным в большей степени с Аннибале Каро или с Ипполито Пиндемонте, чем с апулийским или сицилийским крестьянином. Ходячий термин «национальный» в Италии связан с этой интеллектуальной и книжной традицией, откуда идет та глупая и в конечном счете опасная легкость — называть «антинациональным» всякого, кто не разделяет этой археологической, пропахшей нафталином концепции интересов страны.

Нужно посмотреть статьи Умберто Фраккья в «Италия леттерариа» за июль 1930 года и «Письмо Умберто Фраккья о критике» Уго Ойетти в «Пегасо» за август 1930 года. Жалобы Фраккья очень похожи на жалобы «Критика фашиста». «Национальная», так называемая «художественная», литература не популярна в Италии. Кто в этом виноват? Публика, которая ее не читает? Критика, которая не умеет представить и преподнести публике ее литературные «достоинства»? Газеты, которые печатают в приложениях вместо «современного итальянского романа» старого «Графа Монте-Кристо»? Но почему публика не читает ее в Италии, в то время как она читает ее в других странах? И потом верно ли то, что в Италии она не читается? Не лучше было бы поставить вопрос следующим образом: почему итальянская публика читает иностранную литературу, народную и ненародную и, наоборот, не читает итальянскую? Разве тот же Фраккья не напечатал ультиматум издателям, которые печатают (и следовательно, должны продавать соответственно) иностранные произведения, угрожая им правительственными мерами? И разве попытка правительственного вмешательства не была частично делом рук сенатора Микеле Бьянки, заместителя секретаря министерства внутренних дел?

Что означает тот факт, что итальянский народ читает преимущественно иностранных писателей? Он означает, что народ *ощущает* интеллектуальную и моральную гегемонию иностранной интеллигенции, что он чувствует себя связанным в большей степени с иностранной

интеллигенцией, чем с «местной», то есть что в духовном и нравственном отношении в стране не существует национального единого целого — иерархического и тем менее равноправного. Интеллигенты не имеют народного происхождения, хотя некоторые из них и являются выходцами из народа, не чувствуют себя связанными с ним (если оставить в стороне риторiku), не знают его, не понимают его нужд и чаяний, его сокровенных чувств; по отношению к народу они являются оторванной, повисшей в воздухе кастой, а не составной частью самого народа, выполняющей органически присущие ей функции.

Этот вопрос должен быть отнесен ко всей национально-народной культуре, и нельзя ограничиваться только повествовательной литературой; то же самое нужно сказать о театре, о научной литературе вообще (естественные науки, история и т. д.). Почему в Италии не появляются такие писатели, как Фламмарини? Почему не возникла литература, популяризирующая науку, как во Франции и других странах? Ведь переведенные иностранные книги читают и разыскивают, они пользуются большим успехом. Это означает, что весь «образованный класс» со своей интеллектуальной деятельностью оторван от народа-нации, и не потому, что народ-нация не обнаруживает интереса к этой деятельности на всех ее ступенях, от самых низших (романы-приложения) до наиболее возвышенных — а этот факт подтверждается тем, что он разыскивает иностранные книги, — но потому, что перед лицом народа-нации местный интеллектуальный элемент является в большей мере иностранным, чем сами иностранцы. Этот вопрос возник не сегодня; он встал с момента основания итальянского государства, и его предшествующее существование является документом, наглядно показывающим запоздалость формирования политического национального единства полуострова; о ненародном характере итальянской литературы говорится и в книге Руджеро Бонги. Точно так же вопрос о национальном языке является лишь частью вопроса о духовном и нравственном единстве нации и государства, отыскиваемом в единстве языка. Но единство языка является лишь одним из внешних проявлений и притом отнюдь не единственно необходимым проявлением единства национального: во всяком случае, это следствие, а

не причина. Об этом же говорится и в статьях Ф. Мартины о театре: в них утверждается, что на театре держится и продолжает развиваться вся литература.¹

В Италии никогда не было и теперь нет национально-народной литературы, как повествовательной, так и других жанров. А в поэзии не было поэтов типа Беранже и вообще типа французского *chansonnier*. И все же существовали писатели, популярные лично, имевшие большой успех: например, успех Гверацци и его книг, которые продолжают печататься и распространяться; читалась и Каролина Инверницио, а может быть, ее читают и теперь, несмотря на то, что уровень ее много ниже, чем всякого рода Понсонов и Монтепэнов; читался Ф. Мистриани и т. д.*

Ввиду отсутствия «современной» литературы некоторые слои мелкого люда удовлетворяли на разные лады свои интеллектуальные и художественные запросы, которые все-таки существуют, хотя бы в элементарной и неопределенной форме; об этом свидетельствует, например, распространение средневекового рыцарского романа — «Французские королевичи», «Гверино, прозванный Маленьким» и т. д., в особенности в Южной Италии и горных областях; «майские» песни в Тоскане (сюжеты, представленные в них, извлечены из книг, новелл и в особенности из ставших народными легенд, как, например, легенда о Пиа деи Толомеи; существуют различные публикации о «майских» песнях и об их содержании).

Светские интеллигенты провалились со своей исторической задачей воспитателей, вырабатывающих духовное и нравственное сознание народа-нации, они не смогли удовлетворить интеллектуальные запросы народа именно в силу того, что они не представили собой светскую культуру, не сумели выработать современный «гуманизм», способный распространяться вплоть до самых грубых и необразованных слоев, как это было необходимо с национальной точки зрения, остались связанными с устаревшим жалким, абстрактным, слишком индивидуалистическим и кастовым миром. Французская

* Дж. Папини написал статью об Инверницио в «Ресто дель Карлино» во время войны, около 1916 года; посмотреть, входит ли она в том. Папини написал кое-что интересное об этой скромной курице популярной литературы, отмечая, каким образом возникла ее популярность среди мелкого люда.

народная литература, наиболее распространенная в Италии, напротив, представляет собой в большей или меньшей степени (и способом, который может нравиться или не нравиться) этот современный гуманизм, это светское начало в его современном виде; его представляли Гвераци, Мастриани и немногие другие местные популярные писатели. Но если светские интеллигенты провалились, то и на долю католиков выпал не большой успех, и не стоит обольщаться большим распространением, которое имели известные католические книги — оно обязано широкой и мощной церковной организации, а не своим внутренним качествам; книги дарят во время бесчисленных церемоний, и читаются они по принуждению, по обязанности или с отчаяния.

Поразительно, что в области приключенческой литературы католиками достигнуты самые жалкие результаты, а ведь у них был богатейший материал, который дают путешествия и подвижническая, часто рискованная жизнь миссионеров. И все же даже в период наибольшего распространения приключенческого географического романа католическая литература на эту тему была жалкой, никак несравнимой со светской французской, английской и немецкой литературой этого жанра; приключения кардинала Массайя в Абиссинии, пожалуй, самая значительная книга, а вся остальная масса книг такого рода — подобных книгам Уго Миони (тогда отца-иезуита) — ниже всяких требований. И в научно-популярной литературе католики мало преуспели, несмотря на то, что среди них были крупные астрономы, как, например, падре Секки (иезуит), и что астрономия — наука, более всего интересующая народ. Эта католическая литература источает иезуитскую апологетику, как мускусная крыса, и глупа в силу своего полного ничтожества. Несостоятельность интеллигентов-католиков и незначительный успех их литературы — один из наиболее выразительных показателей существования внутреннего разрыва между религией и народом; последний находится в состоянии крайней индифферентности и лишен живой духовной жизни — религия осталась на положении предрассудка, но не была заменена новой светской гуманистической моралью ввиду бессилия светской интеллигенции (религия не была ни заменена, ни внутренне трансформирована и национализирована, как это имело

место в других странах, например в Америке, с тем же иезуитизмом; народная Италия все еще находится в условиях, созданных непосредственно Контрреформацией; более того, религия переплелась с языческим фольклором и осталась на этой стадии).

Роман-приложение заменяет (и развивает в то же самое время) фантазию человека из народа, это сон с открытыми глазами. Следует посмотреть, что говорят Фрейд и психоаналитики о сне с открытыми глазами. В этом случае можно сказать, что в народе мечтание зависит от «комплекса неполноценности» (социальной), который определяет долгие мечтания об идее мести, наказания виновных за перенесенное зло и т. д. В «Графе Монте-Кристо» налицо все элементы, необходимые для того, чтобы лелеять эти мечты и, следовательно, давать наркотик, который смягчал бы ощущение боли.

Различные типы популярного романа

Существует известное разнообразие типов популярного романа, и необходимо заметить, что, хотя все его типы одновременно пользуются известным распространением и успехом, все же при этом превалирует один из них. Из этого преобладания можно сделать вывод об изменении основных вкусов, так же как из одновременности успеха различных типов можно извлечь доказательства того, что в народе существуют различные культурные слои, различные «скопления чувств», превалирующие в том или другом слое, различные «образцы популярных героев». Сделать каталог этих типов и установить их исторически относительно больший или меньший успех важно для цели настоящего очерка: 1) тип, представленный романами Виктора Гюго, Эжена Сю («Отверженные», «Парижские тайны»); в нем отчетливо заметны идеологическо-политические, демократические тенденции, связанные с идеологией 48 года; 2) сентиментальный тип, не политический в узком смысле слова, но выражающий то, что можно было бы определить как «демократию чувства» (Ришбур, Декурсель и т. д.); 3) тип, который представляется в виде чистой интриги, но имеет консервативно-реакционное идеологическое

содержание (Монтэпен); 4) исторический роман А. Дюма и Понсон дю Террайля, который, кроме исторического характера, имеет характер идеологическо-политический, но менее заметный; однако Понсон дю Террайль является консерватором-реакционером, и прославление аристократов и их верных рабов имеет характер, весьма отличный от исторических изображений Александра Дюма, который, правда, также не выражает демократическо-политической тенденции, а скорее захвачен общими и «пассивными» демократическими чувствами и часто приближается к «сентиментальному типу»; 5) детективный роман в его двояком виде (Лекок, Рокамболь, Шерлок Холмс, Арсен Люпэн); 6) черный роман (фантастика, таинственные замки и т. д.: Анна Радклиф и т. д.); 7) научно-приключенческий, географический роман, который может быть тенденциозным или просто романом интриги (Ж. Верн, Буссенар).

Каждый из этих типов романа имеет различные национальные аспекты (приключенческий роман в Америке — это эпопея первых колонистов и т. д.). Можно наблюдать, как в общей продукции каждой страны внутренне ощущаются националистические чувства, выраженные не риторически, но легко проникающие в повествование. У Ж. Верна и других французов очень живо антианглийское чувство, связанное с потерей колоний и горечью морских поражений: в приключенческо-географических романах французы сталкиваются не с немцами, а с англичанами. Но антианглийское чувство имеется и в историческом романе и даже в сентиментальном (например, Жорж Санд; реакция на столетнюю войну, убийство Жанны д'Арк и на кончину Наполеона).

В Италии ни один из этих типов романа не был представлен хоть сколько-нибудь выдающимися писателями (не в литературном отношении, а с точки зрения «коммерческой» ценности, изобретательного построения интриги, затейливости, выработанной, однако, с известной рассудочностью). Даже детективный роман, который имел международный успех (в том числе и финансовый для авторов и издателей), не нашел писателей в Италии; и все-таки многие романы, особенно исторические, брали в качестве сюжета Италию и исторические перипетии, связанные с ее городами, областями, установлениями и людьми. Так, венецианская история с ее политическими,

юридическими и полицейскими организациями дала и продолжает давать темы популярным романистам всех стран, исключая Италию. Известный успех имела в Италии популярная литература о жизни разбойников, но продукция ее ниже всякой критики.

Последний и наиболее новый тип популярной книги — романизированная биография, которая, во всяком случае, представляет бессознательную попытку удовлетворить культурные запросы некоторых слоев народа, наиболее бесхитростных в культурном отношении, которых не удовлетворяют истории типа Дюма. Но и эта литература не имеет в Италии большого количества представителей (Маццукелли, Чезаре Джардини и т. д.); итальянских писателей нельзя сравнить с французами, немцами, англичанами не только по числу, плодovitости и таланту литературной развлекательности, но — что особенно показательно — они выбирают свои сюжеты за пределами Италии (Маццукелли и Джардини — во Франции, Эукардио Момильяно — в Англии), приспособляясь к итальянскому народному вкусу, сложившемуся на исторических романах, в особенности французских. Итальянский литератор не написал бы романизированную биографию Мазаньелло, Микеле ди Ландо, Кола ди Риенцо, не считая себя обязанным наполнить ее скучными риторическими «подкрепляющими мерами», потому что не верится... не думается... и т. д. Верно, что успех романизированных биографий заставил многих издателей начать издание биографических серий, но речь идет о книгах, которые находятся в таком же отношении к романизированной биографии, как «Монахиня из Монцы» к «Графу Монте-Кристо»; речь идет об обычной биографической схеме, часто филологически выверенной, которая может найти самое большее какую-нибудь тысячу читателей, но не сделаться популярной.

Нужно заметить, что некоторые типы вышеперечисленных популярных романов имеют свое подобие в театре, а теперь и в кино. В театре своим значительным успехом Дарио Никкодеми в общем обязан тому, что он сумел драматизировать места и мотивы, явно связанные с народной идеологией; так обстоит дело в «Scampolo», в «Aigrette», в «Volata» и т. д. И у Джоакино Форцано также есть кое-что в этом роде, но по образцу Понсон дю Террайля, с консервативными тенденциями. Драма-

тическим произведением, имевшим в Италии большой успех в народе, была «Гражданская смерть» Джакометти, носившая подлинно итальянский характер; но он не имел значительных подражателей (а если и имел, то всегда не в литературном плане). В связи с театром можно отметить, что целая серия драматургов большого литературного таланта может нравиться также и широким массам народа: «Кукольный дом» Ибсена очень нравится горожанам, поскольку в этой драме чувства и моральная тенденция автора находят глубокий отклик в народной психологии. А что же еще должен делать так называемый «идейный театр», если не изображать страсти, связанные с нравами, с драматическими решениями, которые представляли бы собой «прогрессивный» катарсис, которые показывали бы драму наиболее прогрессивной (в духовном и нравственном отношении) части общества и которые выражали бы историческое развитие, кроющееся в существующих нравах? Но эти страсти и эта драма должны быть представлены, а не развернуты, как тезис, как пропагандистское выступление, то есть автор должен жить в реальном мире со всеми его противоречивыми требованиями, а не выражать чувства, взятые только из книг.

Жюль Верн и научно-географический роман

В книгах Верна никогда не было ничего полностью невозможного: «возможности», которыми располагают герои Верна, выше реально существующих во времени, но не слишком превосходят их и, главное, не лежат «вне» линии развития достигнутых научных завоеваний; воображение не является во всем «произвольным» и поэтому обладает способностью возбуждать фантазию читателя, уже завоеванную идеологией фатального развития научного прогресса, вторжения человека в те области, где до сих пор безраздельно властвуют силы природы.

Совершенно по-другому обстоит дело в случае с Уэллсом и По, у которых именно в большей части царит «произвол», даже тогда, когда исходный пункт может быть логическим и вплетенным в конкретную научную реальность: у Верна — союз человеческого разума и материальных сил, у Уэллса и По преобладает человеческий разум; поэтому Верн был более популярен и более

понятен. Но одновременно это равновесие в романтических построениях Верна сделалось ограниченным во времени и привело к уменьшению его популярности (не говоря о небольшом художественном значении его книг); наука превзошла фантазию Верна, и его книги не являются больше «психическими возбудителями».

Нечто подобное можно сказать и о полицейско-детективных авантюрах, например, Конан-Дойля; в свое время они возбуждали, а сегодня почти никого не трогают, и по разным причинам. Отчасти потому, что мир полицейских битв сегодня известен гораздо больше, между тем как Конан-Дойль его только открывал, по крайней мере огромному числу мирных жителей. И в особенности потому, что в Шерлоке Холмсе есть слишком расщепленное равновесие ума и науки. Сегодня, пожалуй, больше интересуют индивидуальные особенности героя, «психологическая» техника сама по себе, поэтому По и Честертон более интересны, и т. д.

В «Марцокко» от 19 февраля 1928 года Адольфо Фаджи («Впечатление от Жюль Верна») пишет, что антианглийский характер многих романов Верна нужно отнести к тому периоду соперничества между Францией и Англией, высшей точкой которого был фашодский конфликт. Это утверждение ошибочное и анахроническое: антибританизм был (и, может быть, еще остается) основным элементом французской народной психологии; антигерманское чувство относительно более новое и менее укоренилось, чем антибританизм, оно еще не существовало до Французской революции и возникло после 1870 года, то есть после поражения и осознания того печального факта, что Франция не является больше самой сильной военной и политической нацией в Западной Европе, ибо Германия одна, без союзников, победила Францию. Антианглийские настроения восходят к формированию современной Франции как единого и современного государства, то есть к Столетней войне и к отражению в народном воображении эпопеи Жанны д'Арк; они были усилены в новое время войнами за господство на континенте (и на земном шаре) и достигли наибольшей силы во времена Французской революции и Наполеона; фашодский конфликт при всем его значении нельзя сравнивать с этой внушительной традицией, о которой свидетельствует вся литература французского народа.

О детективном романе

Детективный роман возник на задворках литературы, посвященной «громким процессам». Впрочем, с этой литературой связан также роман типа «Графа Монте-Кристо»; но разве и здесь не идет речь о «громких процессах», романизированных и имеющих налет народной идеологии там, где речь идет о применении законности, особенно если к ней примешивается страсть к политике? Разве Родэн из «Вечного жида» не является типом организатора «подлых интриг», не останавливающимся ни перед каким преступлением или убийством, и, наоборот, разве принц Рудольф, в противоположность ему, не «друг народа», расстраивающий другие интриги и преступления? Переход от этого типа романа к чисто авантурным романам ознаменован процессом схематизации чистой интриги, лишенной всякого элемента демократической и мелко-буржуазной идеологии: уже нет борьбы между народом — хорошим, простым и великодушным — и темными силами тирании (иезуиты, тайная полиция, деятельность которой связана с обеспечением государственной безопасности или с честолюбием отдельных правителей, и т. д.), а имеет место лишь борьба между преступностью, профессиональной или специализированной в какой-то определенной области, и силами законного порядка, частными или государственными, действующими на основе установленных законов.

Романы о «громких процессах», выходявшие в знаменитой французской серии, имели свою аналогию в других странах. Романы этой серии, во всяком случае часть их — о процессах, прогремевших на всю Европу, как, например, дело Фюальде, дело об убийстве курьера из Лиона и т. д. — были переведены на итальянский язык. «Судебная» деятельность всегда вызывала и продолжает вызывать интерес; отношение общественности к судебному аппарату (который постоянно себя дискредитирует и поэтому предоставляет широкое поле деятельности для частного сыщика или сыщика-дилетанта) и к преступнику часто менялось или, во всяком случае, носило различные оттенки. Крупный преступник часто ставился выше судебного аппарата, прямо как представитель «истинной» справедливости; велико было влияние романтизма, «Разбой-

ников» Шиллера, рассказов Гоффмана, Анны Радклиф, бальзаковского Вотрена.

Тип Жавера из «Отверженных» интересен в аспекте народной психологии: Жавер был неправ с точки зрения «истинной» справедливости, но Гюго наделяет его привлекательными чертами, изображая его как «человека с характером», преданного «абстрактному» долгу и т. д.; от Жавера берет свое начало традиция, согласно которой даже и полицейский может быть человеком, «пользующимся уважением».

Рокамболь Понсона дю Террайля, Габорио своим г-ном Лекоком, открывающим дорогу для Шерлока Холмса, продолжают реабилитацию полицейского. Неверно, что англичане в своем «судебном» романе выступают в «защиту закона», а французы превозносят преступника. Здесь имеет место «культурный» переход, вызванный тем обстоятельством, что такая литература распространяется также и в некоторых кругах интеллигенции. Вспомним, что Сю, романы которого пользуются очень большим успехом среди демократов средних классов, изобрел целую систему борьбы с профессиональной преступностью.

В этой детективной литературе всегда имелись два течения: одно — «механическое», сюжетное; другое — «художественное»: Честертон является сегодня наиболее видным представителем «художественного» аспекта, каким был одно время По; Бальзак же, изображая своего Вотрена, занимается личностью преступника, но в техническом отношении он не мастер детективного романа.

Обратимся к книге Анри Жаго «Видок» [Henri Jagot. Vidocq, ed. Berger-Levrault, Paris, 1930]. Видок положил начало созданию таких типов, как Вотрен Бальзака и персонажи Александра Дюма (его черты можно найти отчасти и в Жан-Вальжане Гюго и особенно в Рокамболе). Видок был осужден на восемь лет как фальшивомонетчик из-за своей собственной неосторожности, двадцать раз совершал побег и т. д. В 1812 году поступил на службу в полицию Наполеона и в течение пятнадцати лет командовал отрядом агентов, созданным специально для него; он стал знаменит своими сенсационными арестами. Будучи освобожден от службы Луи Филиппом, Видок основал свою частную сыскную контору детективов, но это принесло ему мало удачи, так как он мог действовать только в системе государственной поли-

ции. Умер в 1857 году. Оставил мемуары, написанные не только им одним; в них было много преувеличенного и много фанфаронства.

Посмотрим статью Альдо Сорани: «Конан-Дойль и успех детективного романа», напечатанную в «Пегасе» в августе 1930 года. Она интересна тем, что в ней дается анализ такого рода литературы и приводятся различные характеристики, которые давались ей до сих пор. Говоря о Честертоне и серии новелл об отце Брауне, Сорани игнорирует два культурных элемента, которые представляются тем не менее существенными:

а) он не подчеркивает атмосферы шаржа, которая особенно проявляется в книге «Невиновность отца Брауна», а между тем именно эти черты шаржа и составляют тот элемент художественности, который повышает достоинство детективной новеллы Честертона, когда выразительность ее не во всем достигает совершенства;

б) Сорани не упоминает о том факте, что новеллы об отце Брауне представляют собой «апологию» католицизма и римского духовенства — воспитанного в духе познания всех извилин человеческой души путем использования исповеди и своей роли исповедника, духовного руководителя и посредника между человеком и божеством — как противопоставление «научности» и позитивистской психологии протестанта Конан-Дойля. Сорани в своей статье говорит о различных, имевших весьма большое литературное значение попытках, особенно со стороны англосаксов, улучшить технически детективный роман. Прототипом здесь служит Шерлок Холмс со своими двумя отличительными характеристиками ученого и психолога; обычно пытаются усовершенствовать либо ту, либо другую характеристику, либо обе вместе. Честертон в своем отце Брауне делал упор именно на психологическую сторону, на игру индукций и дедукций, но, видимо, следуя этой своей тенденции, слишком переусердствовал, создавая тип поэта-детектива Габриэля Сайма.

Сорани рисует картину неслыханного успеха детективного романа во всех слоях общества и старается выяснить психологическую причину этого успеха, видя в нем как бы проявление протеста против механичности и обыденщины современной жизни, способ уйти от повседневной банальности. Но такое объяснение применимо ко всем формам литературы, как народной, так и художественной, от ры-

царской поэмы (разве и Дон-Кихот не пытается, даже в прямом смысле, бежать от банальности и обыденщины будничной жизни испанской деревни?) до романа-приложения в его различных видах. Следовательно, не служит ли вся литература и поэзия наркотическим средством против повседневной банальности? Как бы то ни было, статья Сорани дает необходимый материал для дальнейшего, более органического исследования этого типа народной литературы.

Возникает вопрос: в чем причина распространения детективной литературы? Это одна из сторон более общей проблемы: чем объяснить популярность нехудожественной литературы? Несомненно, что причины такого положения носят практический и культурный (политический и нравственный) характер; и этот ответ, данный в такой общей форме, наиболее правилен, то есть ближе всего к истине. А разве художественная литература не получает распространения по причинам либо практическим, либо нравственным и политическим и лишь косвенно потому, что отвечает художественному вкусу, стремлению к познанию и наслаждению красотой? В самом деле, книгу читают из практических побуждений (и нужно попытаться выяснить, почему некоторые побуждения имеют более общий характер, чем другие), а перечитывают ее ради эстетического наслаждения. Эстетические эмоции почти никогда не возникают при первом чтении. В еще большей степени это наблюдается в театре, где эстетические эмоции составляют лишь минимальный «процент» интереса, проявляемого зрителем, так как здесь играют роль другие элементы, многие из которых даже не относятся к факторам интеллектуального порядка, а являются лишь физиологическими, как, например, *sex appeal** и т. п. В других случаях эстетические эмоции в театре возникают не под воздействием самого литературного произведения, а благодаря интерпретации его актерами и режиссером. В таких случаях, однако, для того чтобы литературный текст пьесы поддавался интерпретации, он не должен быть «трудным» и утонченным в психологическом отношении, а, наоборот, должен быть «простым и общепонятным» в том смысле, что изображенные в нем страсти должны быть глубоко «человечными» и близкими каждому по собственному

* Половое влечение (англ.).— Прим. перев.

опыту (мечь, четь, материнская любовь и т. д.), следовательно, анализ осложняется также и в этих случаях. Великим актерам, создавшим традицию, больше рукоплескали на таких спектаклях, как «Гражданская смерть», «Две сиротки», «Корзина отца Мартина» и т. д., чем в громоздких и сложных психологических драмах; в первом случае актеры вознаграждались аплодисментами безоговорочно, во-втором же эти аплодисменты носили более сдержанный характер и адресовались только актеру — любимцу публики, вне связи с представляемой на сцене пьесой и т. д.

Примерно такое же объяснение успеха популярных романов, какое дает Сорани, мы находим и в статье Филиппо Бурцио о «Трех мушкетерах» Александра Дюма (опубликованной в «Стампа» 22 октября 1930 года и перепечатанной в выдержках журналом «Италия леттерариа» в номере за 9 ноября). Бурцио считает роман «Три мушкетера», так же как «Дон-Кихота» и «Неистового Роланда», весьма удачным воплощением духа авантюризма, «чем-то близким человеческой натуре, что, по-видимому, хотя и с трудом, но постепенно вытесняется из современной жизни. Чем более существование становится рациональным (а, может быть, вернее рационализированным по принуждению, ибо если оно рационально для господствующих категорий, то не рационально для тех, над кем господствуют, и к тому же связано с экономико-практической деятельностью, в силу чего это принуждение распространяется, пусть даже косвенно, и на «интеллигенцию») и организованным, чем жестче становится социальная дисциплина, а задача индивидуума все более определенной и все легче предугадываемой (но не для руководителей, как это показывают кризисы и исторические катастрофы), тем меньше остается места для авантюры, подобно тому как для девственного леса остается все меньше места среди давящих на него оград частных владений. Тейлоризм — вещь хорошая, и человек — животное, которое легко приспособляется, но, может быть, и для превращения его в машину имеются какие-то пределы. Если бы меня спросили о глубоких причинах тревоги Запада, я ответил бы не колеблясь: упадок веры и умерщвление авантюристического духа. Кто победит—тейлоризм или «Мушкетеры»? Это уже другой разговор, и ответ, который тридцать лет тому назад, казалось, был наготове, теперь следовало бы

попридержаться. Если нынешняя цивилизация не идет к гибели, то, может быть, мы будем присутствовать при интересном смещении обоих этих явлений».

Дело в том, что Бурцио не принимает во внимание тот факт, что деятельность большей части человечества постоянно тейлоризировалась и вводилась в рамки железной дисциплины и что она пыталась выйти за пределы тесных и давящих рамок существующей организации при помощи фантазии и мечты. А разве религия — самая большая авантюра, самая большая «утопия», какую человечество когда-либо создавало коллективно, — не есть средство бежать от «земного мира»? И не в этом ли смысле говорит Бальзак о лотерее как об опиуме нищеты (эту фразу повторяли потом другие). Но наиболее знаменательным является то, что рядом с Дон-Кихотом существует Санчо Панса, который не хочет «авантюру», а хочет быть уверенным в жизни, а также то обстоятельство, что большинство людей страдает именно оттого, что человечество одержимо навязчивой идеей о «неизвестности завтрашнего дня», страдает от ненадежности своей обыденной жизни, то есть от чрезмерно больших возможностей для «авантюры».

В современном мире этот вопрос принимает иную окраску, чем в прошлом, по той причине, что принудительная рационализация существования, принимающая неслыханные размеры, все в большей степени затрагивает средние классы и интеллигенцию; но даже и в этом случае речь идет не об «упадке» авантюристического духа, а о слишком большой авантюристичности обыденной жизни, то есть о чрезмерной ненадежности существования в сочетании с убеждением, что бороться с этой ненадежностью один человек не в состоянии; поэтому мечтают о «красивой» и интересной авантюре, к которой должна привести своя собственная свободная инициатива, в противовес авантюре «гадкой» и отвратительной, поскольку эта последняя вызвана условиями, навязанными другими, а не предложенными на основе добровольности.

Обоснования, приведенные Сорани и Бурцио, с таким же успехом могут послужить и для объяснения спортивной «горячки», поскольку они объясняют слишком много, а следовательно, ничего. Это явление старо, по крайней мере как религия, и многогранно, а не односторонне; оно имеет и положительную сторону, то есть желание «расши-

рять свой кругозор», познавая тот образ жизни, который люди считают выше собственного; желание возвысить свою личность, следуя идеальным образцам; желание лучше познать мир и людей, чем это возможно в данных условиях, снобизм и т. д.

Культурное воздействие романа-приложения

Обратимся к одному из номеров журнала «Культура» за 1931 год, посвященному Достоевскому. Владимир Познер в своей статье, опубликованной в этом журнале, справедливо отстаивает ту точку зрения, что романы Достоевского с точки зрения преемственности берут свое начало от романа-приложения типа романов Сю и т. п. Эту преемственность необходимо иметь в виду, когда мы анализируем развитие этого жанра народной литературы, поскольку она показывает, что некоторые стороны духовной жизни (духовные побуждения и интересы, чуткость, идеология и т. д.) могут иметь двоякое выражение: чисто механическое, с сенсационной интригой (Сю и др.), и «лирическое» (Бальзак, Достоевский и частично В. Гюго). Современники не всегда замечают пагубность некоторых литературных явлений, как это случилось отчасти в отношении Сю: его читали во всех слоях общества, он «волновал» даже людей «культурных», а затем деградировал до «писателя, читаемого только народом» (от книг «первоначального чтения» остается исключительно или почти исключительно «культурное» восприятие или восприятие сюжета, а «народ», читатель книг «первоначального чтения», некритически относится к прочитанному, и его взволнованность бывает порождена тем, что он симпатизирует общей идеологии, которая в таких книгах зачастую выражена искусственно и произвольно).

По этой же причине следует обратиться к таким исследованиям, как: 1) Марио Праз, «Плоть, смерть и дьявол в романтической литературе» [Mario Praz, *La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica*, pp. X — 505, Milano — Roma, ed. La Cultura] (см. рецензию Луиджи Фосколо Бенедетто в «Леонардо» за март 1931 года; эта рецензия показывает, что Праз не сделал точного разграничения между различными ступенями культуры, а отсюда и некоторые возражения Бенедетто, который, впрочем, и сам, по-видимому, не распознал исторической связи в

историко-литературном вопросе); 2) Сервэ Этьен, «Романтический жанр во Франции с момента появления «Новой Элоизы» и до кануна Революции» [Servais Étienne, *Le genre romanesque en France depuis l'apparition de la «Nouvelle Héloïse» jusqu'aux approches de la Révolution*; ed. Armand Colin] изд. Арман Колен; 3) Алис Киллен, «Роман ужасов, или «черный роман», от Уолпола до Анны Радклиф и его влияние на французскую литературу до 1840 года» [Alice Killen, *Le roman terrifiant ou «roman noir» de Walpole à Anne Radcliffe, et son influence sur la littérature française jusqu'en 1840*; ed. Champion] изд. Шампньон; также Реджинальд В. Хартленд (тот же издатель), «Вальтер Скотт и «неистовый» роман» [Reginald W. Hartland, *Walter Scott et le roman «frénétique»*]. Утверждение Познера, что роман Достоевского — «роман авантюрный», сделано им, вероятно, под влиянием статьи Жака Ривьера об «авантюрном романе» (возможно, опубликовано в «NRF»), который Ривьер характеризует как «широкое полотно, охватывающее драматические и вместе с тем психологические действия», как это понимали Бальзак, Достоевский, Диккенс и Джордж Эллиот.

Обратимся теперь для сопоставления к статье Андреа Муфле «Стиль романа-фельетона», опубликованной в «Меркюр де Франс» 1 февраля 1931 года. Роман-приложение, по словам Муфле, возник на почве потребности в *иллюзии*, которую испытывали, а может быть, и испытывают еще бесчисленные маленькие существа, как бы желая разрушить убогую монотонность жизни, на которую они считают себя обреченными. Общее замечание может относиться ко всякому роману, а не только к роману-приложению: нужно проанализировать, какую *особую иллюзию* дает народу роман-приложение и как эта иллюзия изменяется в зависимости от историко-политического периода; в этом есть доля снобизма, но в этом же коренятся и демократические чаяния, которые отражаются в классическом романе-приложении. Следует рассмотреть в этом аспекте и «мрачный» роман типа романов Радклиф, роман сюжетный, авантюрный, детективный, желтый, из преступной жизни и т. д. Сноб встречается и в романе-приложении, где описывается жизнь знати или вообще высших классов, но это нравится

женщинам, и в особенности молодым девушкам, каждая из которых, впрочем, думает, что красота поможет ей проникнуть в высшие классы.

По мнению Муфле, существуют «классики» романа-приложения, но это надо понимать в определенном смысле: очевидно, под классическим романом-приложением понимается «демократический роман» с различными оттенками, начиная от В. Гюго до Сю и Дюма. Статью Муфле следует прочесть, но при этом необходимо иметь в виду, что он рассматривает роман-приложение как «литературный жанр» по стилю и т. д., как выражение «народной эстетики», что не верно. Народ интересуется содержанием, но предпочитает, чтобы интересующее его содержание было изложено большими художниками. Следует вспомнить о том, что я писал о любви народа к Шекспиру, к греческим классикам, а в наше время — к великим русским романистам (Толстой, Достоевский). А в музыке — к Верди.

В своей статье «Литературный меркантилизм», опубликованной 4 октября 1930 года в «Нувель литтерер», Ж. Х. Рони старший утверждает, что Виктор Гюго писал «Отверженных» под впечатлением «Тайн Парижа» Эжена Сю и под влиянием успеха этого произведения, столь большого, что сорок лет спустя после выхода его в свет издатель Лакруа все еще поражался этому успеху. Рони пишет: «Как редактор газеты, так и авторы литературных приложений в ней стремились к тому, чтобы последние были написаны сообразно вкусам публики, а не вкусам их авторов». Но и это характеристика односторонняя. В самом деле, Рони делает только ряд замечаний относительно «коммерческой» литературы вообще (следовательно, также и порнографической) и о ее коммерческой стороне в частности. То, что «коммерческий фактор» и определенный «вкус» публики совпадают, — явление не случайное; так, например, романы-приложения, написанные около 1848 года, имели определенную политико-социальную направленность, и они еще и сегодня пользуются успехом у публики, воспринимающей жизнь так же, как и люди 1848 года*.

* Говоря о В. Гюго, следует вспомнить о его близких отношениях с Луи Филиппом, а следовательно, и о том, что в 1848 году

„Народное происхождение сверхчеловека“

Каждый раз, когда мы сталкиваемся с каким-либо почитателем Ницше, полезно задать вопрос и постараться выяснить, имеют ли его концепции о «сверхчеловеке», направленные против обычной морали, чисто ницшеанское происхождение, то есть являются ли они плодом работы той мысли, которую следует отнести к сфере «высшей культуры», или же их корни следует искать в сфере значительно более скромной — например, связанной с газетными литературными приложениями. (А разве французские романы-приложения не оказали абсолютно никакого влияния на самого Ницше? Здесь уместно вспомнить, что подобная литература, которая опустилась сегодня до швейцарских и подвалов, была весьма распространена среди интеллигенции, по крайней мере до 1870 года, подобно тому, как сегодня, например, так называемый «желтый» роман.) Во всяком случае, кажется, можно утверждать, что пресловутая ницшеанская «сверхчеловечность» берет свое начало и теоретическую форму отнюдь не от Заратустры, а от «Графа Монте-Кристо» А. Дюма. Тип, наиболее полно представленный А. Дюма в его «Графе Монте-Кристо», неоднократно повторяется в других романах того же автора: например, его можно узнать в Атосе из «Трех мушкетеров», в Джузеппе Бальзамо и, может быть, даже в других персонажах. Таким образом, когда читаешь, что такой-то является поклонником Бальзака, следует насторожиться: ведь и в Бальзаке очень много от романа-приложения. Вотрен по-своему тоже сверхчеловек, и в том, что он говорит Растиньяку в романе «Отец Горио», тоже много... ницшеанского в обыденном смысле; то же нужно сказать и о самом Растиньяке и о Рюампре*.

он занимал конституционно-монархическую позицию. Интересно отметить, что одновременно с «Отверженными» он писал также и заметки «О виденном», опубликованные посмертно, и что оба эти произведения не всегда согласуются друг с другом. Эти моменты нужно иметь в виду, так как обычно В. Гюго считается цельной натурой и т. д. (по этому поводу была напечатана статья в «Ревю де де монд» не то в 1928, не то в 1929 году, вернее всего, в 1929 году). (См. статью Андре ле Бретона «Виктор Гюго — академик», опубликованную в «Ревю де де монд» от 15 февраля 1929 года.— *Прим. ит. ред.*)

* Винченцо Морелло из-за такой филиации духа сделался «Растиньяком» и выступил с защитой Коррадо Брандо.

Ницше не так просто достиг своего успеха: полное собрание его сочинений было выпущено издателем Монанни, а ведь хорошо известны культурные и идеологические корни самого Монанни и его постоянной клиентуры.

Вотрен и «друг Вотрена» оставили глубокий след в литературных произведениях Паоло Валера, в частности в его «Толпе» (вспомните туринца — «друга Вотрена» из «Толпы»). Идеология мушкетера, взятая из романа Дюма, имела широкий отклик в народе.

Легко понять, что оправдывать внутренние свои идеи влиянием романов Дюма и Бальзака как-то стыдятся; поэтому оправдывают их ссылкой на Ницше и восхищаются Бальзаком как художником слова, а не как создателем романических персонажей типа героев романов-приложений. Но, конечно, с культурной точки зрения действительная связь существует. Тип «сверхчеловека» — это Монте-Кристо, освобожденный от того особого ореола «фатализма», который свойствен низкому романтизму и еще более выпукло выражен в Атосе и в Джузеппе Бальзамо. Монте-Кристо, перенесенный на политическую арену, конечно, фигура чрезвычайно живописная (борьба Монте-Кристо против «личных врагов» и т. д.). Можно заметить, что и в этой области некоторые страны остались как бы провинциальными, отстающими по сравнению с другими; в то время как для большинства стран Европы даже Шерлок Холмс стал уже анахронизмом, некоторые страны все еще живут графом Монте-Кристо и Фенимором Купером («краснокожие», «железное кружево» и т. д.).

Обратимся к книге Марио Прази «Плоть, смерть и дьявол в романтической литературе». Наряду с исследованием Прази нужно было бы сделать другое исследование: о «сверхчеловеке» в народной литературе и о его влиянии на реальную жизнь и обычаи (особое влияние эти романтические образы оказывают на мелкую буржуазию и мелкобуржуазную интеллигенцию; это их «опиум», их «искусственный рай» по контрасту с убожеством и узостью их личной жизни); отсюда успех некоторых поговорок, как, например, поговорки «лучше быть один день львом, чем сто лет овцой», которая имеет особенно большой успех именно у тех, кто является самой настоящей, безнадежной овцой. Сколько таких «овец»

говорят: «О, если бы мне иметь власть хотя бы на один только день» и т. д.; быть «неумолимым судьей» — мечта тех, кто испытывает на себе влияние Монте-Кристо.

Адоल्фо Омодео заметил, что религиозная литература — это своего рода «неотчуждаемое имущество» в культуре; ею, видимо, никто не хочет заниматься, как будто она не имеет никакого значения и никакой функции в жизни нации и народа. Оставляя в стороне эпиграмму о «неотчуждаемом имуществе» и чувство удовлетворенности духовенства тем, что его специальная литература не подвергается критическому анализу, мы должны отметить, что существует другая область в культурной жизни нации и народа, которой никто не занимается и к которой никто не думает подходить критически, а именно область романов-приложений в собственном и широком смысле слова (в этом смысле сюда следует отнести Виктора Гюго и даже Бальзака).

В «Графе Монте-Кристо» имеются две главы, где открыто идет речь о «сверхчеловеке» в духе романов-приложений: одна — озаглавленная «Идеология», когда Монте-Кристо встречается с прокурором Вильфором, и другая — где описывается завтрак у виконта Морсерфа в первую поездку Монте-Кристо в Париж. Нужно посмотреть, нет ли и в других романах Дюма подобных «идеологических» ростков. В «Трех мушкетерах» образ Атоса имеет больше черт рокового человека, типичного для низкого романтизма; в этом романе авантюрная (в обход закона) деятельность самих мушкетеров, можно сказать, скорее всего возбуждает индивидуалистические настроения простого народа. В «Джузеппе Бальзамо» сила индивидуума связана с темными силами магии и с поддержкой европейского масонства, поэтому для читателя из народа такой пример менее заразителен. Образы Бальзака получили более конкретное художественное воплощение, но тем не менее они по духу близки народному романтизму. Конечно, не следует смешивать Растиньяка и Вотрена с персонажами Дюма, и именно поэтому их влияние легче «признать» не только таким людям, как Паоло Валера и его сотрудники из «Толпы», но также и средним интеллигентам, как Винченцо Морелло, которые, однако, считают себя (или многие другие их считают) принадлежащими к «высшей культуре». К Бальзаку близко подходит Стендаль со своим обра-

зом Жюльена Сореля и другими типами из его романтического репертуара.

Что касается «сверхчеловека» у Ницше, то, кроме влияния французского романтизма (и особенно культа Наполеона), выявляются расистские тенденции, которые с наибольшей силой проявились у Гобино и затем у Чемберлена, а также в пангерманизме (Трейчке, теория силы и т. д.). Но, может быть, «сверхчеловека» из народа, бытующего в романах Дюма, следует считать не чем иным, как проявлением «демократической» реакции на порожденные феодализмом расистские настроения, и следует поставить в связь с панегириком «галлицизму» в романах Эжена Сю.

Говоря о реакции на эту тенденцию французского народного романа, необходимо вспомнить Достоевского: Раскольников — это Монте-Кристо, «раскритикованный» панславистом-христианином. Ознакомившись с номером «Культуры», специально посвященным Достоевскому, можно видеть, какое влияние оказал на Достоевского французский роман-приложение.

В народном характере «сверхчеловека» много элементов театральных, показных, свойственных скорее «примадонне», чем сверхчеловеку; много формализма «субъективного» и «объективного», ребяческой амбиции в стремлении быть «первым в классе», но прежде всего быть признанным и провозглашенным в качестве такового. По вопросу о связи между романтизмом низов и некоторыми сторонами современной жизни (атмосфера в духе «Графа Монте-Кристо») следует прочесть статью Луи Жийе в «Ревю де де монд» от 15 декабря 1932 года. Этот тип «сверхчеловека» получил свое выражение в театре (особенно во французском, во многом продолжающем тенденции фельетонной литературы 1848 года); достаточно посмотреть «классический» репертуар Руджери Руджери, как, например, «Маркиз из Приола», «Коготь» и т. д., а также многие работы Анри Бернштейна.

Бальзак *

Следует просмотреть статью Поля Бурже «Политические и социальные идеи Бальзака», опубликованную 8 августа 1931 года в «Нувель литерер». Бурже начинает

* Надо напомнить, как восхищались Бальзаком основатели философии практики, и о том неизданном письме Энгельса, в ко-

свою статью с замечания, что теперь идеям Бальзака придают все больше значения: «Традиционалистская (то есть принудительная) школа, которая на наших глазах разрастается с каждым днем, вписала его имя наряду с именами Бональда, Ле Плэ и даже самого Тэна».

Однако в прошлом так не было. Сэн-Бёв в статье, посвященной Бальзаку после его смерти и опубликованной в «Понедельниках», даже не упоминает о его политических и социальных идеях. Тэн, восхищавшийся им как романистом, не признает за его произведениями никакого теоретического значения. Даже католический критик Каро в начальный период Второй империи считал идеи Бальзака бесплодными. Флобер пишет, что не стоит и говорить о политических и социальных идеях Бальзака: «Он был католиком, легитимистом, собственником,— пишет Флобер,— необычайно широкая натура, но человек второго разряда». Золя пишет о нем: «Нет ничего более странного, чем эта поддержка абсолютной власти человеком, талант которого по существу развивался в демократических традициях и который написал самое революционное произведение».

Статья Бурже понятна. Он хочет показать, что Бальзак положил начало роману позитивистскому, но реакционному, что речь идет о науке на службе реакции (тип Морраса), что, впрочем, является подлинной судьбой позитивизма, идущего от Конта.

Бальзак и наука

Возьмем «Общее предисловие» к «Человеческой комедии», где Бальзак пишет, что натуралист заслужил вечную славу, доказав, что «живое существо — это основа, получающая свою внешнюю форму, или, говоря точнее, отличительные признаки своей формы, в той среде, где ему назначено развиваться. Животные виды определяются этими различиями. Проникнувшись этой системой, я понял, что общество подобно природе. Ведь общество создает из человека соответственно среде, где он

тором это восхищение обосновывалось с критической точки зрения. (См. Фридрих Энгельс, письмо к Маргарите Гаркнесс от апреля 1888 года, опубликованное в сборнике «О литературе и искусстве», Париж, издание «Сосьяль Энтернасьональ». [В русском переводе это письмо см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXVIII, стр. 26.— Прим. ред.]— Прим. ит. ред.)

действует, столько же разнообразных видов, сколько их существует в животном мире. Стало быть, виды существуют и всегда будут существовать в человеческом обществе так же, как и в животном мире. Различие между солдатом, рабочим, чиновником, бездельником (!), ученым, государственным деятелем, торговцем, моряком, поэтом, бедняком (!), священником так же значительно, как и то, что отличает друг от друга волка, льва, осла, ворона, акулу, тюленя, овцу».

Что все это Бальзак написал и даже принимал всерьез, воображая, что сможет построить на этих метафорах целую социальную систему, не вызывает удивления и даже отнюдь не умаляет величия Бальзака как художника.

Знаменательно то, что сегодня Бурже и, как он говорит, «традиционалистская школа», создавая свои социально-политические системы, берут за основу эти бедные «научные» фантазии, не подкрепленные никакой творческой деятельностью. Исходя из этих предпосылок, Бальзак ставит перед собой проблему «предельного усовершенствования этих социальных видов» и достижения гармонии между ними, но так как «виды» порождены средой, необходимо «сохранить» и организовать данную среду для поддержания и усовершенствования данного вида. Видимо, Флобер не ошибался, утверждая, что дискутировать на тему о социальных идеях Бальзака не стоит. Статья же Бурже показывает, насколько закоснела французская традиционалистская школа.

Но если вся система Бальзака не имеет никакого значения как «практическая программа», то есть с той точки зрения, с которой ее рассматривает Бурже, то все же она содержит элементы, представляющие интерес для воссоздания поэтического мира Бальзака, его миропонимания, воплощенного в художественных образах, его «реализма», действенность которого не ослабевает, несмотря на то, что его идеологические корни носят характер реакционный, реставрационный, монархический и т. д. И понятно то восхищение, которое вызывает Бальзак у основателей философии практики; ведь Бальзак ясно понял, что человек является выражением всего комплекса социальных условий, в которых он сформировался и живет, и что для «изменения» человека пришлось бы изменить весь комплекс этих условий. То, что с поли-

гической и социальной точки зрения он является реакционером, видно лишь из нехудожественной части его произведений, отступления, предисловия и т. д.). Но верно также и то, что весь этот комплекс условий и среда должны пониматься «натуралистически»; и в самом деле, Балзак является предшественником известного французского литературного течения и т. д.

Замечания статистического характера

Сколько романов итальянских авторов опубликовали наиболее распространенные популярные журналы, такие, например, как «Романцо Менсиле», «Доменика дель коррьере», «Трибуна иллюстрата», «Маттино иллюстрато»? Из почти ста опубликованных «Доменика дель коррьере» за все свое существование (около тридцати шести лет) не напечатала, может быть, ни одного. «Трибуна иллюстрата» — всего несколько (за последнее время серию детективных романов князя Валерио Пиньятелли); тем не менее следует отметить, что «Трибуна» — журнал несравненно менее распространенный, чем «Доменика» — не столь хорошо организован с точки зрения редакционной работы и менее разборчив при выборе типа романов.

Интересно было бы посмотреть, какой национальности авторы опубликованных приключенческих романов и к какому типу эти романы принадлежат. «Романцо Менсиле» и «Доменика» публикуют много английских романов (все же преобладают, должно быть, французские), в частности, детективного типа (они выпустили «Шерлока Холмса» и «Арсена Люпэна»), но также немецкие, венгерские (весьма популярна баронесса Орши, и ее романы из времен Французской революции много раз перепечатывались также и в «Романцо Менсиле», который тоже должен пользоваться большой популярностью) и даже австралийские (романы Гвидо Бутби, вышедшие несколькими изданиями); все же, конечно, преобладает роман детективный или сходный с ним по типу, проникнутый консервативными и отсталыми идеями или же построенный исключительно на интриге. Было бы интересно знать, кто именно в «Коррьере делла сэра» уполномочен отбирать эти романы и какие ему давались директивы, поскольку в «Коррьере делла сэра» все было организовано весьма разумно. «Маттино иллюстрато»

логя и выходит в Неаполе, однако публикует романы того же типа, что и публикуемые в «Доменика», но руководствуется финансовыми соображениями, а подчас стремлением удовлетворить литературные вкусы (помоему, именно этим вызвано опубликование произведений Конрада, Стивенсона, Лондона); то же самое следует сказать и по поводу туринского «Иллюстрационе дель пополо». Редакция «Коррьере делла сэра» является относительно, а может быть, даже и в абсолютном смысле, центром наибольшего распространения популярных романов; она выпускает их по крайней мере по пятнадцати в год и огромнейшим тиражом. Затем идет издательство Сондзоньо, которое также как будто выпускает что-то периодически.

Если сопоставить отдельные периоды деятельности издательства Сондзоньо, то это сопоставление дало бы более или менее правильную картину изменений, происшедших во вкусах простого народа; но сделать это было бы трудно, так как Сондзоньо не указывает года издания и часто не нумерует повторных изданий; все же при критическом рассмотрении каталогов можно было бы добиться некоторых результатов. Уже одно сопоставление каталогов, вышедших пятьдесят лет тому назад (когда «Секоло» был в моде), с сегодняшними каталогами представляло бы определенный интерес: все романы слезливо-сентиментального характера были преданы забвению, за исключением некоторых «шедевров» того типа, который пока еще должен удержаться (как, например, «Капинера дель мулино» Ришебура); впрочем, это еще не означает, что такие книги не читаются в некоторых слоях провинциальной публики, где «наслаждаются» еще «людьми без предрассудков» Поль де Кока и оживленно дискутируют по поводу философии «Отверженных». Таким образом, было бы интересно проследить за изданием романов с продолжением, вплоть до тех, которые являются объектом спекуляции, стоят многие десятки лир и приобретаются из-за премии.

Некоторые из популярных романов издал Эдоардо Перино и совсем недавно Нербини; все они имеют антиклерикальную направленность и продолжают традицию Гверации. Излишне упоминать о Салани, великолепно издающем популярную литературу. Нужно было бы составить список издателей популярных романов.

„Герои“ народной литературы

Одна из наиболее характерных сторон отношения простого народа к своей литературе заключается в следующем: его не интересует ни имя, ни личность автора, а лишь само главное действующее лицо. Герои произведений народной литературы, войдя в сферу интеллектуальной жизни народа, отрываются от своих «литературных корней» и приобретают значение исторического персонажа. Интересует вся их жизнь, от рождения до смерти, и именно этим объясняется успех «продолжений», даже если они поддельные, что может произойти в том случае, когда первосоздатель образа в своей книге заставляет героя умереть, а «продолжатель» воскрешает его к большому удовольствию публики, которая снова страстно им увлекается и обновляет образ, наделяя его новыми чертами на основе поданного ей материала. Чтобы понять, что мир фантастики приобретает в жизни народа своеобразную сказочную конкретность, не нужно понимать «исторический персонаж» в буквальном смысле, хотя случается и так, что читатели из народа не могут уже провести грань между реальным миром истории прошлого и миром фантастики и спорят о персонажах романа, как будто речь идет о людях, действительно живших, но в каком-то преображенном виде. Так случается, например, когда происходит контаминация различных романов из-за того, что персонажи имеют сходные черты: рассказчик из народа объединяет в образе одного героя похождения ряда героев, будучи при этом убежден, что именно так нужно делать, чтобы прослыть «образованным».

ПРИМЕЧАНИЯ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

¹ *Модернизм* — течение в католическом богословии, возникшее в конце XIX — начале XX в. и ставившее своей целью сохранение позиций католической церкви в народных массах путем приспособления католической религии к современному уровню их культурного развития. Модернисты провозгласили своим лозунгом «обновление» религии, «приведение ее в соответствие с новейшими данными позитивной науки и философии».

Модернизм первоначально зародился во Франции (М. Блондель, Ж. Палар и др.). В Италии сторонниками модернизма были Ромоло Мурри, Эрнест Буонаути (издававшие в Милане журнал «Ринновамента»), а также писатель Фогаццаро и философ-позитивист Роберто Ардиго.

Ватикан быстро почувствовал, сколь опасны для него даже эти попытки пересмотра устоев католицизма, и в ряде энциклик объявил модернизм «худшей из ересей», требуя от священников давать при вступлении в сан клятву о неподдержке модернизма. 22.

² *Стид*, Генри (1871) — английский журналист и публицист. В 1897—1902 гг. был корреспондентом газеты «Таймс» в Риме. В 1924 г. были опубликованы два тома его мемуаров «Through Thirty Years («За 30 лет»)». 22.

³ *Экономико-корпоративная фаза* — применяемое А. Грамши на звание первой из трех фаз, на которые он делит процесс развития того или иного класса и его общественного сознания. (См. стр. 64, 94, 116, 148, 168, 247 данного тома.) 24.

⁴ *Финализм* — разновидность телеологии, вера в имманентную цель развития природы и общества, предопределяющую направление данного развития, и в неизбежность достижения этой цели. 26.

⁵ *Дискуссия с адвокатом Марио Троцци*. В ходе этой дискуссии, развернувшейся на собрании социалистов-максималистов, реформист Марио Троцци выступил против Грамши, предлагавшего конкретный, план установления политической гегемонии рабочего класса в Италии его руководства в области культуры. 34.

⁶ *Дискуссия с профессором Презутти*. Во время состоявшейся после IV конгресса Коминтерна дискуссии в Итальянской компартии между ленинским большинством и бордиггянцами Эмеральдо Презутти стоял на сектантских позициях Бордиги. 34.

⁷ *Капитан Джульетти* — Джузеппе Джульетти, руководитель независимого профсоюза моряков и докеров. Хотя он пользовался популяр-

ностью как профсоюзный деятель, его политическая позиция неоднократно резко менялась от активной поддержки коммунистов до одобрения ряда фашистских мероприятий. 34.

⁸ *Вайлати*, Джованни (1863—1909) — итальянский математик, историк и философ, один из виднейших прагматистов и популяризаторов прагматизма в Италии. Занимался проблемами языкознания. 40.

⁹ *Катарсис* (гр.) — «очищение». Термин, применявшийся Аристотелем в учении о трагедии и означавший «очищение» от низменных страстей, которое, по Аристотелю, испытывал зритель на представлениях античной трагедии. Позднее этот термин часто используется в эстетике, где сохраняет в основном то же значение: искупление, преодоление низменных страстей и чувств под влиянием произведений искусства и, как следствие, моральное совершенствование и возвышение человека. 59.

¹⁰ *Миссироли*, Марио (1886) — итальянский буржуазный публицист и писатель либерально-католического направления. Долгое время был редактором болонской газеты «Ресто дель Карлино», затем сотрудничал в туринской газете «Стампа» и в настоящее время является редактором крупнейшей буржуазной газеты «Коррьере делла сэра» в Милане. 62.

¹¹ *Тильгер*, Адриано (1887—1941) — итальянский философ, писатель и литературно-театральный критик. В философии защищал иррационализм, выступая против идеалистического «историзма» Б. Кроче. 62.

¹² *Джеймс*, Уильям (1842—1910) — американский реакционный философ и психолог, один из основателей философии прагматизма. 66.

¹³ «*Клуб деловых людей*» («Rotary Club») — международная идеологическая ассоциация, объединяющая главным образом представителей крупного промышленного и финансового капитала, основанная в США в 1905 г. Подавляющее большинство клубов ассоциации находится в США, где издается и ее центральный орган. Философской основой ассоциации является прагматизм. В Италии в середине 30-х годов было более 30 клубов ассоциации. 67.

¹⁴ *Конформизм* (религиозный, социальный) — приведение нормы поведения, порядков и обычаев в соответствие с основными принципами и требованиями господствующих (в области религии, социальной жизни) сил или классов. 68.

¹⁵ *Сциентизм* — разновидность позитивизма. 79.

¹⁶ *Джентиле*, Джованни (1875—1944) — итальянский реакционный философ-неогегельянец. Сводил всю материальную действительность и духовную деятельность к мыслительному «акту» (отсюда «актуализм» — название его философии). В годы режима Муссолини — идеолог фашизма, министр просвещения в фашистском правительстве. 79.

¹⁷ *Янсенизм* — религиозно-общественное движение, возникшее во Франции в середине XVII века и направленное против абсолютистской феодальной идеологии католической церкви. 85.

¹⁸ *Руссо*, Луиджи (1892) — буржуазный итальянский историк и литературовед. 105.

¹⁹ «Сто городов», «города молчания» — «Страна ста городов» — одно из средневековых названий Италии. «Городами молчания» Габриэлем Д'Аннунцио названы те итальянские города, которые после своего расцвета в древние или средние века пришли в упадок, потеряли бывшее значение. 117.

²⁰ *Савонарола*, Джироламо (1452—1498) — итальянский монах-проповедник, религиозно-политический реформатор во Флоренции. Обличал папство и католическую церковь, оказывал огромное влияние на народные массы, восставшие против тиранов Медичи и добившиеся восстановления республики.

Содерини, Пьеро (1452—1522) — государственный деятель средневековой Италии, глава управления («гонфалоньер справедливости») Флорентийской республики. Провел ряд реформ, отвечавших интересам широких масс населения Флоренции.

Кастраккани, Каструччо (1281—1328) — итальянский государственный деятель и полководец. Вел упорную борьбу с Флорентийской республикой, пытаясь создать сильное монархическое государство.

Валентино (Чезаре Борджа) (1476—1507) — итальянский политический деятель эпохи Возрождения. Стремился создать крупное монархическое государство в Центральной Италии. В 1498 г. получил титул герцога Валентинуа от французского короля Людовика XII. Отсюда наименование (герцог Валентино), под которым Чезаре Борджа часто упоминается в работах итальянских историков. 121.

²¹ *Виллари*, Паскуале (1826—1917) — итальянский буржуазный историк и политический деятель. Автор получивших широкую известность работ о Макиавелли и Савонароле. 121.

²² *Банделло*, Маттео (1480—1561) — итальянский писатель эпохи Возрождения. 127.

²³ *Спавенга*, Бертрando (1817—1883) — видный итальянский философ-гегельянец и социолог. 128.

²⁴ *Кадорнизм* — диктаторские, бюрократические методы руководства (термин образован от фамилии главнокомандующего итальянскими войсками в годы первой мировой войны Луиджи Кадорна). 131.

²⁵ «*Экономизм*» — этим термином Грамши определяет вульгарные истолкования марксизма, экономический материализм. 136.

²⁶ *Барсанти*, Пьетро — капрал, напавший 24 мая 1870 г. вместе с 40 республиканцами на военную казарму в Павии с целью привлечь солдат на сторону мадзинистов. Попытка Барсанти не удалась и в августе того же года он был расстрелян. 142.

²⁷ *Эйнауди*, Луиджи (1874) — известный итальянский экономист. Видный деятель либеральной партии. С 1948 по 1955 г. — президент республики. 147.

²⁸ *Парето*, Вильфредо (1848—1923) — итальянский буржуазный экономист и социолог. 147.

²⁹ *Два письма Энгельса*. — Речь идет о следующих двух письмах Энгельса: И. Блоху (от 21—22 сентября 1890 г.) и к Шмидту (от 27 октября 1890 г.).

В первом из этих писем говорится

«Согласно материалистическому пониманию истории, в историческом процессе определяющим моментом в *конечном счете* является производство и воспроизводство действительной жизни. Ни я, ни Маркс большего никогда не утверждали. Если кто-нибудь это положение извратит в том смысле, что будто экономический момент является *единственно* определяющим моментом, тогда утверждение это превращается в ничего не говорящую, абстрактную, бессмысленную фразу. (См. К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные письма, М., 1953, стр. 422—431.) 150.

³⁰ *Моска*, Гаэтано (1858—1941) — итальянский буржуазный юрист, автор ряда социологических работ. 161.

³¹ *Умеренные* (или либералы) — сторонники возникшего в 40-х годах XIX в. правого, буржуазно-монархического крыла национально-освободительного движения в Италии. Стремясь не допустить превращения движения в народную революцию, умеренные выступали за освобождение Италии «сверху» путем династических войн и дипломатических сделок. Большинство умеренных стремилось к объединению Италии под эгидой Пьемонтской монархии.

Партия действия — политическая организация итальянских буржуазных демократов, созданная Мадзини в 1855 г. Сторонники Партии действия отстаивали программу объединения Италии «снизу» на основе движения народных масс и создания республики. После воссоединения Италии Партия действия распалась; впоследствии группа ее сторонников организовала республиканскую партию. Грамши термином «Партия действия» обозначает буржуазно-демократическое крыло национально-освободительного движения в Италии. 171.

³² *«Отзакные»* — солдаты-добровольцы специальных ударных частей итальянской армии в период первой мировой войны. 191.

³³ *Комитаджи* — участники партизанской освободительной борьбы славянских народов на Балканах против турецких угнетателей в XVIII—XIX вв. 192.

³⁴ *Куоко*, Винченцо (1770—1823) — итальянский буржуазный историк, публицист и политический деятель. Участвовал в неаполитанской революции 1799 г. 201.

³⁵ *Неогвельфизм* — политическое течение, зародившееся в Италии в первой половине XIX в. Его виднейшим представителем был В. Джебберти, выдвинувший идею объединения Италии в форме федерации государств во главе с папой. 233.

³⁶ *«Трансформизм»* — политика тех «левых» элементов итальянской буржуазии, которые, боясь роста народного движения после воссоединения Италии, постепенно отрекались от своих буржуазно-демократических, республиканских взглядов и, совершая непрерывную эволюцию вправо («трансформацию»), превратились в реакционеров и сторонников монархии. 233.

³⁷ *«Пять дней»* в Милане — героическое восстание миланцев 18—22 марта 1848 г. против австрийских войск, положившее начало революции 1848 г. в Ломбардии. 203.

³⁸ *Орнато*, Луиджи (1787—1842) — итальянский литератор и философ. 208.

³⁹ *Стентерелло* — одна из масок флорентийской комедии. 221.

⁴⁰ *Моррас*, Шарль (1868—1952) — французский реакционный политический деятель и писатель, монархист, один из руководителей реакционной организации «Аксон франсэз». 224.

⁴¹ *Додэ*, Леон (1867—1942) — французский реакционный политический деятель и писатель, монархист. Вместе с Ш. Моррасом руководил «Аксон франсэз». 226.

⁴² *Государственный секретариат* — министерство иностранных дел Ватикана. 227.

⁴³ *Бэнвиль*, Жак (1879—1936) — французский реакционный политический деятель и историк, участник организации «Аксон франсэз». 231.

⁴⁴ *О работе Иосифа Виссарионовича*. Речь идет о беседе И. В. Сталина с первой американской рабочей делегацией 9 сентября 1927 г. (см. И. В. Сталин, Соч., т. 10, стр. 92—148). 235.

⁴⁵ *Монте* — центральный финансовый орган Флорентийской республики, управление государственного долга. 267.

⁴⁶ *Малатеста*, Сиджисмондо (1417—1468) — один из властителей Римини, известный кондотьер. Соединял в себе типичные для кондотьера грубость нравов, жестокость и политическую беспринципность с увлечением поэзией и покровительством многим выдающимся гуманистам и художникам. 273.

⁴⁷ *Энцо* (1220—1272) — сын императора Фридриха II Гогенштауфена. Получил от него титул короля Сардинии. Реально выступал за расширение власти германских императоров в Италии. Вел борьбу с Миланом, Болоньей и другими итальянскими городами. В 1249 году в одной из битв был пленен войсками Болоньи и заключен в тюрьму, где и провел последний период своей жизни. 288.

⁴⁸ *Джанноне*, Пьетро (1676—1748) — выдающийся итальянский просветитель, историк и юрист. В его произведениях содержится острая критика злоупотреблений церкви. Отстаивал мысль о недопустимости вмешательства церкви в светскую жизнь общества и о необходимости ограничить ее деятельность исключительно духовной сферой. Его работы были переведены на ряд европейских языков. Джанноне подвергся ожесточенным преследованиям церкви, был заключен в тюрьму, где и умер.

Реалисты — сторонники доктрины верховенства короля в церковных вопросах, выступавшие против вмешательства церкви в светскую жизнь. 305.

⁴⁹ *Беллармино*, Роберто (1542—1621) — кардинал, один из главных идеологов контрреформации в Италии. 308.

⁵⁰ *Соларо дела Маргарита*, *Клементе* (1792—1869) — граф, реакционный государственный и политический деятель Пьемонтского королевства. 311.

⁵¹ *Санфедизм* (от лат. *santa fede* — святая вера) — крайне реакционное политическое движение, организованное в Италии в начале XIX в. Созданные католической церковью террористические организации санфедистов совершали убийства активных участников национально-освободительного движения.

Ламеннизм — католическое течение в Италии, имевшее место в первой трети XIX в. Идеологом и вдохновителем движения был аббат Феликс Робер де Ламенне (1782—1854), проповедовавший крайне реакционные взгляды в вопросах религии, отстаивавший главенствующую роль церкви в жизни общества. Впоследствии Ламенне перешел на позиции либерализма. 316.

⁵² *Дон Таццолли*, Энрико — священник, участник национально-освободительного движения в Италии (был казнен австрийскими властями). 338.

⁵³ *Пополяризм* — идейная основа так называемой «народной партии» («пополяри») — массовой политической партии, созданной в начале 1919 года верхушкой католической церкви. С помощью «народной партии» Ватикан стремится подчинить массы рабочих и крестьян своему влиянию, отвлечь их от борьбы за свое освобождение от ига капитализма. 348.

⁵⁴ *Феррари*, Джузеппе (1811—1876) — итальянский историк и философ, деятель итальянского национально-освободительного движения, сторонник федеративного объединения итальянских государств. 351

⁵⁵ *«Герои шестого дня»* — презрительное наименование тех буржуазных деятелей, которые, уклонившись от участия в Миланском восстании 1848 года (см. прим. 37 «Пять дней» в Милане), стремились позднее воспользоваться плодами народной победы и захватить власть. 353

⁵⁶ *Мацциери* — вооруженные наемники, используемые в период избирательных кампаний для запугивания (часто путем применения физического насилия) противников правительственных партий. 383.

⁵⁷ *Парламентская революция 1876 года*. — В 1876 г., после голосования в парламенте, власть в Италии перешла от «правой» буржуазной политической группировки, представлявшей блок крупной буржуазии, преимущественно земельной и либерального дворянства, к «левой» группировке — к либеральной торгово-промышленной буржуазии. 386.

⁵⁸ *События в Милане в феврале 1853 года*. — Речь идет о смелой, но неудачной попытке сторонников Мадзини поднять народные массы Севера Италии.

Повешение в Бельфьоре. — В местечке Бельфьоре (близ Мантуи) в марте 1853 г. была казнена группа итальянских патриотов, участвовавших в подготовке восстания против австрийских оккупантов. 388.

⁵⁹ *Абба*, Джузеппе Чезаре (1830—1910) — писатель и активный деятель национально-освободительного движения, участник сицилийского похода «Тысячи» добровольцев, возглавлявшихся Гарибальди (1860 г.) Двадцать лет спустя Абба опубликовал книгу «Заметки участника похода». 389.

⁶⁰ *Верга*, Джованни (1840—1922) — итальянский писатель, крупнейший представитель натуралистического течения — веризма. В его романах дается яркая картина разорения сицилийского крестьянства и закабаления его господствующими силами капиталистического государства. 389.

⁶¹ *Брак Кавур — Раттацци* — соглашение о совместных действиях, достигнутое в 1852 г. между главой умеренных либералов Кавуром и лидером буржуазного «левого центра» в пьемонтском парламенте Урбано Раттацци. Соглашение, обеспечивавшее парламентское большинство министерству Кавура, позволило ему провести ряд либеральных реформ. 395.

⁶² *УМСА* (Young Men's Christian Association), Христианская ассоциация молодых людей — международная массовая буржуазная организация. Основную массу членов ее составляют представители Англии, Канады и других стран Британского содружества, а также Соединенных Штатов Америки. Создана в середине XIX в. с целью отвлечь трудящуюся молодежь от политической борьбы за свои классовые интересы, подчинить ее влиянию буржуазии. Политические цели организации тщательно маскируются ее просветительской, культурнической, спортивной и туристской деятельностью. 429.

⁶³ *Альфьери*, Витторио (1749—1803) — крупный итальянский поэт и писатель, создатель итальянской классической трагедии. В своих мемуарах «Жизнь Витторио Альфьери, рассказанная им самим», он пишет, что для того, чтобы приучить себя к усидчивости и трудолюбию, он приказывал привязывать себя к стулу. 437.

⁶⁴ *Реформа Джентиле* — реакционная реформа в области просвещения, проведенная в Италии фашистским правительством (Джентиле — министр просвещения) в 1923 году. Согласно этой реформе, разрешалось создание в стране частных школ, в начальных школах было введено обязательное преподавание католического катехизиса, расширены школьные программы изучения латинского языка, введен официальный курс «истории философии» и т. д. 489.

⁶⁵ *Школа Берлицца* — школа практического обучения иностранным языкам. 494.

⁶⁶ *Энний*, Квинт (239—169 до н. э.) — римский поэт, идеолог умеренной римской аристократии, стремившейся насаждать в Риме литературные и философские традиции Древней Греции.

12 таблиц — древнейший (ок. середины V в. до н. э.) памятник римского права, свод правовых норм, записанных на 12 досках («таблицах»). Содержание законов «12 таблиц» дает представление о многих сторонах общественных отношений в Древнем Риме.

Федр (I в. н. э.) — первый римский баснописец. Перелагал басни Эзопа, наполняя их сатирическими намеками на римскую действительность. 495.

⁶⁷ *Barbara, baralipton (лат.)* — два модуса первой фигуры силлогизма в логике. 499.

⁶⁸ *Сечентизм* — аффектированный стиль, характерный для итальянских писателей XVII века. 504.

⁶⁹ *Роман-приложение* (romanzo d'appendice) — термин, которым А. Грамши обозначает публикуемый в газетах роман с продолжением. 517.

У К А З А Т Е Л Ь И М Е Н

- Абба, Джузеппе Чезаре 388
 Август, римский император 261
 Адлер, Макс 79, 243
 Александр VI, папа римский 272
 Алессандри, К. 195, 200
 Альберти, Леон Баттиста 296, 297
 Альбертини, Луиджи 358, 383
 Альваро, Коррадо 452
 Альфьери, Витторио 437
 Амброзини, Луиджи 358, 402—403
 Амеллио, Мариано д' 411
 Анджолетти, Джованни Батиста 504, 505
 Андриане, Алессандро 368, 412
 Анелли, Луиджи, аббат 327
 Анкона, Уго 422
 Ансальдо, Джованни 359, 403, 405, 518
 Аньелли, Джованни 429, 460
 Апорти, Ферранте 390
 Ардигó, Роберто 69, 80
 Аретино, Пьетро 273
 Ариас, Джино 129
 Ариосто, Лодовико 279
 Аристотель 40, 60, 460
 Арколес, Джорджо 326
- Баккелли, Риккардо 269
 Бакунин, М. А. 404, 405
 Бальбо, Чезаре 396—399
 Бальзак, Оноре 530, 534—536, 538—541, 543, 545
 Банделло, Маттео 127
 Бандьера, братья 206
 Баратоно, Адельки 79
 Барбадоро, Бернардино 266
 Барбер, Марио 65
 Барди (Каза де) 268
- Барсанти, Пьетро, капрал 142
 Бассини, Эдоардо 361
 Батталья, Сальваторе 291—293
 Бацци 425
 Беккаделли, Антонио 274
 Беллармино, Роберто 308
 Бенедетто, Луиджи Фосколо 535
 Бенни, Антонио Стефано 460
 Беранже, Пьер Жан 522
 Бергсон, Анри 69, 79
 Бернхайд, Эрнст 106, 107
 Бериштейн, Анри 541
 Берталанффи, Л. 299, 300
 Беста, Фабио 267
 Биксио, Нино 389
 Биджини, Карло Альберто 238, 239
 Бисмарк, Отто 142, 186, 246, 375, 399
 Биссолати, Леонида 295
 Бланки, Луи Огюст 243
 Блок, Морис 243
 Бодэн, Жан 127, 128
 Боллеа, Луиджи Чезаре 320
 Бональд, Луи 542
 Бонапарт, Жозеф, неаполитанский король 351
 Бонапарт, Луи, см. Наполеон III
 Бонги, Руджеро 326, 521
 Бономи, Иваноз 384
 Боккаччо, Джованни 274
 Бонфадина, Ромуальди 367
 Бонифаций VIII, папа римский 284
 Борде, Луиджи 294
 Борджа, Чезаре, см. герцог Валентинно
 Бордига, Амадео 46
 Борелли, Джованни 358

Брандо, Коррадо 538
 Брешиани, Антонио 503
 Бруно, Джордано 299, 300, 302
 Бруэрс, Антонио 302
 Брэдли, Джеймс 302
 Буланже, Жорж 114
 Буонарроти, Филиппо 243
 Бурже, Поль 70, 541, 543
 Буркхардт, Яков 271—274, 291
 Бурламакки, Франческо 298
 Бурцио, Филиппо 253, 254, 533, 534
 Буссенар, Пьер 525
 Бутби, Гвидо 544
 Бэнвиль, Жак 231, 313, 362
 Бьянки, Микеле 520

Вайлати, Джованни 40
 Вайс, Франц 100
 Валентино, герцог 121, 126, 273, 286
 Валера, Паоло 539, 540
 Валори, Альдо 269
 Валла, Лоренцо 274
 Валуа, Жорж 156
 Вальдо, Пьетро 313
 Вальдес, Хуан де 84
 Вальсер, Эрнст 270—272, 274, 275
 Ванини, Джулио Чезаре 302
 Вебер, Макс 26, 473
 Верга, Джованни 389
 Верди, Джузеппе 537
 Вермилли, Пьетро Мартине 298
 Верн, Жюль 525, 527, 528
 Виалату, Ж. 233, 234
 Вико, Джамбатиста Б. 57, 104, 105, 138, 141, 202, 429
 Виктор-Эммануил II 208
 Виллари, Паскуале 121, 326
 Вильгельм II, кайзер 375
 Вискариди, Антонио 313
 Витторини, Элио 504
 Вольпе, Джоакино 163, 269, 293, 314, 315, 319—323
 Вольпи, Гульельмо 274
 Вольпинчелли, Арнальдо 240
 Вольтер, Франсуа Мари 511

Габорио, Эмиль 530
 Гадзера, Пьетро 184
 Гайда, Р., генерал 156
 Галеви, Даниэль 244, 245

Галиани, Фердинандо, аббат 390
 Галилей, Галилео 298, 302, 303
 Галлетти, Альфредо 295
 Ганди, Мохандас Кармчанд 191, 312
 Гарденги 427
 Гарджуло, Альфредо 504
 Гарибальди, Джузеппе 203, 205, 206, 345, 347, 349, 351, 362, 385
 Гвераци, Франческо Доменико 363, 503, 522, 523, 546
 Гвиччардини, Франческо 160, 199
 Гегель, Георг Вильгельм Фридрих 61, 62, 85, 86, 91, 92, 95, 105, 242, 243, 246, 365
 Генрих VII, Люксембургский, император «Священной Римской империи» 284
 Гельвеций 70
 Герцен, А. И. 404
 Гёте, Вольфганг 97, 419
 Гинзбург, Л. 404, 405
 Гислери, Арканджело 327
 Гобетти, Пьеро 208, 325, 328, 359, 368, 403
 Гобино 541
 Гоффман, Эрнст Теодор Амадеус 530
 Гракхи, братья 261
 Гретхюйзен 28
 Гуэрри, Доменико 271, 294
 Гюго, Виктор 524, 530, 535, 537, 538, 540

Д'Адзелио, Массимо 395—397
 Даладье, Эдуард 349, 350
 Д'Аннунцио, Габриэле 273, 340, 514, 519
 Данте, Алигьери 264—266, 277, 285, 286
 Де Ман 70, 148, 425
 Де Руджеро, Гвидо 88, 291
 Де Санктис, Франческо 271—274, 298, 403, 404, 481, 502, 503, 508
 Джакометти, Пьетро 527
 Джанноне, Пьетро 305
 Джардини, Чезаре 526
 Джеймс, Уильям 66, 67
 Дженовези, Антонио 319
 Джентиле, Джованни 63, 79, 92, 98, 105, 380, 460, 488
 Джентилони, Отторино 383, 402
 Джоберти, Винченцо 89, 150, 201,

- 203, 271, 311, 316, 330, 340,
390, 391, 395, 396, 406, 408—
410, 516
Джолитти, Джованни 355, 359,
381—383, 402
Джульетти, кагг'ан 34
Дизраэли, Бенджамен 246
Диккенс, Чарльз 536
Додэ, Леон 226, 228
Дойль, Артур Конан 512, 528, 531
Дорсо, Гвидо 325, 328, 359, 368
Достоевский, Ф. М. 512, 535—
537, 541
Дран, Эрнст 107
Дрейфус, Альфред 154, 190, 221—
222, 476
Дюма, Александр 517, 525, 526,
537—541
- Жаго, Анри 530
Жанна д'Арк 525, 528
Живкович, Петр 183
Жийе, Лун 541
- Зивекинг 267
Золя, Эмиль 542
- Ибсен, Генрик 527
Инверницию, Каролина 522
Иосиф II, император австрийский
310
- Кавур, Камилло, Бенсо 142, 202,
203, 205, 206, 311, 333, 335,
338, 345, 353, 368, 370, 385,
395, 399
Кадорна, Луиджи 351, 373
Казини, Тито 297
Кайо, Жозеф 230, 231
Кальвин, Жан 298
Кальес, Плутарко 476
Камис, Марио 421
Камоцци, Габриэль 397
Кампанелла, Томмазо 299, 302,
431
Канестрини, Джузеппе 266
Кант, Иммануил 61, 62, 68, 85
Капассо, Альдо 51, 52
Каппони, Джино 390
Караччоло, Франческо 324
Кардано 298
Кардарелли, Винченцо 326
Кардуччи 413, 503
- Карл Альберт, сардинский король
355, 397, 410
Карл Великий, франкский король
283
Карл IV, император «Священной
Римской империи» 284
Карл V, император «Священной
Римской империи» 297
Карнесекки, Пьетро 298—299
Каро, Аннибал 520, 542
Карло, Эудженио ди 363
Каронти, Филиппо 397
Карпи, Леон 326
Кастеллаццо, Луиджи 411—413
Кастельно, Эдуард 229
Кастильоне, Бальдассаре де 279,
296, 297
Кастильони, Артур 459
Каструччо (Кастракани, Каструч-
чо) 121
Катилина 261, 276
Каттанео, Карло 206, 395
Кау, Умберто 358
Киллер, Алис 536
Кинг, Болтон 203
Клаузевиц, Карл 375
Кок, Поль де 545
Кола де Риенцо 286, 288, 526
Колайянни, Наполеоне 358
Колумб, Христофор 237
Кондильяк, Этьен 70
Конрад, Джозеф 545
Конт, Огюст 233, 234, 542
Конфалоньери, Федерико 367, 368,
390, 412
Коперник, Никола 302, 511
Коррадини, Энрико 340
Космо, Умберто 358
Кредаро, Луиджи 300
Криспи, Франческо 352—355, 357,
380, 382, 383, 388
Кромвель, Оливер 185, 363, 369,
435
Кроче, Бенедетто 35, 49, 52, 57,
63, 70, 78, 79, 81, 83, 92, 104,
113, 117, 120—126, 147, 151,
214, 253, 256, 320, 325, 326,
334, 335, 356, 358, 380, 382,
397, 407, 431, 460, 502, 503,
506—508
Кузанский, Николай 299, 300
Куоко, Винченцо 201, 346
Курчо, Карло 325
Кювье, Жорж 61

Лабриола, Антонио 79, 80, 285,
 332, 337, 369
 Лавиоза, Антонио 152
 Лавуазье, Антуан Лоран 97
 Ландо, Микеле ди 526
 Ланцилло, Агустино 147
 Лактанций 495
 Лассаль, Фердинанд 246, 248
 Латерц, Бари 98
 Лев X, папа римский 273
 Леви, Джулио Аугусто 294
 Леви, Эцио 279, 291, 292
 Лейбниц, Вильгельм Готтфрид 57
 Ленин, В. И. 6, 49, 59, 73, 74,
 96, 199, 200
 Леопарди, Джакомо 50—52
 Ле Плэ, Пьер 542
 Ле Шателье 218, 366, 368
 Лиментани, Людовико 113
 Лоди, Угуччоне да 292
 Лозакко, Микеле 300
 Лондон, Джек 545
 Лоренцо Великолепный 185, 300,
 301, 307
 Лориа, Акилле 151, 256, 466
 Лумброзо, Джакомо 323, 325
 Луцио, Алессандро 243, 367,
 410—412
 Луццатто, Джинио 267
 Людвиг, Эмиль 375
 Людовик Баварский 284
 Людовик XI, французский король
 128
 Людовик XV, французский король
 435
 Люксембург, Роза 82, 94, 195, 200
 Лютер, Мартин 84, 298

Мадзини, Джузеппе 201—206, 208,
 333, 334, 340, 349, 362, 363,
 390, 404, 406—409
 Мазаньелло 526
 Майрони, Франко 349
 Макдональд, Джеймс Рамсей 186
 Макиавелли, Никколо ди Бернар-
 до 81, 105, 111, 112, 114—117,
 119—121, 125—129, 160, 161,
 221, 241, 264—266, 272, 273,
 275, 276, 297, 302, 307, 331,
 350, 364
 Максимилиан Габсбург 367
 Малагоди 214
 Малапарте, Курцио 245, 325

Малатеста, Сиджисмондо 273
 Малатеста, Энрико 354, 357
 Мандзони, Алессандро 69, 70, 516
 Манно, Антонио 320
 Марамальдо, Фабрицио 269
 Мария София, королева Неапо-
 литанская 356, 357
 Маритэн, Жак 233
 Маркони, Пьеро 333, 334
 Маркс, К. 69, 71—73, 82, 98, 99,
 154, 163, 166, 176, 243, 268,
 542
 Мартелло, Туллио 362
 Мартини, Фердинандо 522
 Масарик, Томаш Гарриг 328, 337
 Массайа, Гульельмо 522
 Матриани, Франческо 522, 528
 Матъез, Альберт 172
 Маццукелли, Марио 526
 Медичи, Джованни 266, 267
 Меринг, Франц 256
 Меттерних, Клеменс 410
 Микеланджело, Буонарроти 273
 Михельс, Роберто 137, 251
 Мингетти, Марко 326
 Миони, Уго 523
 Миссироли, Марио 62, 63, 81, 85,
 325, 327, 335—337, 339, 351,
 368, 381, 403, 425
 Мишкольци, Джулио 237
 Мольтке, Гельмут 124
 Момильяно, Эукардио 526
 Мондольфо, Родольфо 78, 80
 Монкальнери 395
 Монтанари 412
 Монтепэн, Ксавье 522, 525
 Монтефредини, Ф. 325
 Монти, Антонио 397
 Морген, Раффаэлло 263, 264
 Моранди, Карло 321
 Морелло, Винченцо 538, 540
 Моррас, Шарль 70, 224—226, 228—
 231, 233—235, 241, 245, 542
 Моска, Гаэтано 161, 179, 326,
 329, 330, 458
 Муссолини, Бенито 382, 422
 Муфле, Андре 536, 537
 Мюрат, Иоахим 351

Нальди Пиппо 336, 425
 Наполеон I (Наполеон Бонапарт)
 167, 183, 185, 186, 188, 189, 207,
 209, 231, 313, 314, 318, 321.

349, 351, 362, 363, 370, 375,
525, 528, 530, 541

Наполеон III (Луи Наполеон Бо-
напарт) 98, 185, 186, 188, 189,
231, 232, 249, 313, 342, 362,
377, 392

Нарди, Якопо 298

Натоли, Луиджи 382

Ненни, Пьетро 427

Низан, Поль 510—512

Никкомеди, Дарио 526

Нитти, Франческо Саверио 162,
383, 399

Ницше, Фридрих 538—540

Ничефоро, Альфредо 357—358

Ньютон, Исаак 302

Ойетти, Уго 383, 520

Окино, Бернардо 298

Ольджати, Франческо 81, 274

Омодео, Адольфо 304—306, 315,
333—335, 350, 404—409, 540

Орано, Паоло 358

Ориани, Альфредо 298, 325, 327,
331, 336, 359, 403

Орнато, Луиджи 208

Орсини, Феличе 349, 390

Орши 544

Паллавичино, Джорджо 368, 411,
412

Палацци, Дианбрини 80

Палеарио, Антонио 299

Пальмарокки, Роберто 300

Пандзини, Альфредо 367

Панелла, Антонио 129, 266, 267,
269

Паньи, Карло 425, 427, 428

Папини, Джованни 294, 522

Парето, Вильфредо 147, 458

Пасколи, Джованни 341

Пастор, Людвиг 274, 302

Перони, Вальдо 318

Петрарка 274, 286, 287, 296, 302

Петрини, Доменико 419

Пизакане, Карло 201, 204—206,
349—351, 403—406, 408, 409

Пий IX, папа римский 317, 348

Пий XI, папа римский 348

Пиндемонте, Ипполито 520

Пиньятелли, Валерио 544

Пиранделло, Луиджи 380, 452,
454, 519

Пиренн, Анри 278

Плавт 495

Платон 63, 460

Плеханов, Г. В. 79

По, Эдгар 527, 528

Поджи, Альфредо 79, 239

Поджо, Оресте 274

Полибий 297

Пома, Карло 411

Понсон дю Террайль, Пьер Алек-
сис 522, 525, 526, 530

Понти, Жан Джакомо 427

Поркари, Стефано 298

Праз, Марио 535, 539

Презутти 34

Прецнози, Джованни 425

Преццолини, Джузеппе 359

Примо де Ривера 183

Прудон, Пьер Жозеф 89, 150, 201,
203, 362

Птоломей 511

Пульчи, Луиджи 274

Пуоти, Базилио 481

Радклиф, Анна 525, 530, 536

Рама, Рафаэлло 503

Рамбальди, П. Л. 412

Раморино, Феличе 206

Раттацци, Урбано 395

Рафаэль, Санти 506

Ренан, Эрнест 85

Ривьер, Жак 536

Рикардо, Давид 91, 92, 101—104

Рицци, Фортунато 295—297

Ришбур, Эмиль 545

Риэлла, Франческо Паоло Сар-
дофонтан ди 363

Ро, Эдмондо 300, 301

Робеспьер, Максимилиан 85, 366,
389

Родолико, Никколо 421

Ромье, Люсьен 423

Рони старший, Ж. Х. 537

Ропс, Даниэль 54

Роселли, Нелло 403—407, 409

Росмер 200

Ростаньи, Аугусто 276

Росси, Витторио 277—281

Рота, Этторе 375, 376

Ротта, Паоло 300

Руджери, Руджеро 541

Руджино, генерал 358

Рузвельт, Франклин Делано 435

Руссо, Жан Жак 129
Руссо, Луиджи 105, 111, 126, 160
Руффо, Фабрицио 379

Саландра, Антонио 383
Салата, Франческо 320, 367, 412
Савонарола, Джироламо 121, 160, 161, 286
Салютати, Колюччо 274
Сальваторелли, Луиджи 325, 334, 358
Сальвемини, Газтано 166, 295, 333, 358, 383, 409
Сальвотти, Антонио 367, 411
Санд, Жорж 525
Сансовино, Франческо 297
Светоний 470
Серджи, Джузеппе 358
Секки, Анджелло 523
Селла, Квинтино 340
Серрати, Джачинто Менотти 34
Сильва, Пьетро 321
Симондс, Франк 291
Скарфольо, братья 355—357
Содерини, Пьеро 121
Солари, Джоэле 240
Соларо дела Маргарита, Клементе 311, 395
Сольми, Арриго 325
Соннино, Сидней 326, 373
Сорани, Альдо 531, 533, 535
Сорель, Жорж 78, 79, 81, 85, 113, 245, 337, 404, 405
Сочини, Лелио 298
Спавента, Бертрандо 128
Спавента, Сильвио 396, 397
Спери, Тито 411—412
Спирито, Уго 240, 258, 428, 454
Сталин, И. В. 235, 236
Стендаль (Апри Бейль) 70, 540
Стивенсон, Роберт 545
Стид, Генри 22
Сю, Эжен 349, 350, 524, 530, 535, 537, 541
Сулье, Фредерик 512

Танари, сенатор 361
Таццоли, Энрико 338, 411
Тейлор, Фридрих 438, 460
Текки, Бонавентур 252, 254
Тертуллиан 495
Тильгер, Адриано 62, 63, 252, 253

Тит Ливий 105
Титтони, Томмазо 183, 184
Толстой, Л. Н. 201, 312, 537
Тоннеле, Луиджи 294
Токко, Феличе 293
Торрака, Франческо 384
Тоффанин, Джузеппе 274, 275, 277, 291
Траси, Дестют де 70
Тревес, Клаудио 34
Тревес, Паоло 160
Троцци, Марио 34
Туриэлло, Паскуале 326, 329
Тэн, Ипполит 70, 542
Тьерри, Аугустин 516, 517

Унгаретти, Джузеппе 505, 513
Уэллс, Герберт Джордж 512, 527

Фаббри, Луиджи 361
Фаджи, Адольфо 528
Фальки, Энрико 504
Фатини, Джузеппе 413
Федр 494, 495
Фейербах, Людвиг 46, 69
Феррари, Альдо 325
Феррари, Джузеппе 351, 360—362, 395
Ферреро, Гульельмо 56
Ферри, Энрико 215, 358
Ферруччи, Франческо 269
Филип, Андрэ 424, 445
Фихте, Иоганн Готлиб 63
Фламиньо, Марко Антонио 298
Фламмарон, Камилл 521
Флобер, Гюстав 542, 543
Фовель, Массимо 425, 427, 428, 430
Фогаццаро, Антонио 349
Фонтен, Поль 517
Форд, Генри 418, 423, 433, 438—440, 445—447
Фортунато, Джустино 358, 380, 382, 419
Форцано, Джаккино 526
Фосколо, Уго 119, 120
Фраккья, Умберто 520
Франц Иосиф, император Австро-Венгрии 367, 388, 412
Франциск Ассизский 313
Фраттини, Пьетро 412
Фрейд, Зигмунд 70, 524

Фридрих II Гогенштауфен, император «Священной Римской империи» 263, 264, 288

Хартленд, Реджинальд В. 536
Хжановский, Войцех 373, 397

Цезарь, Гай Юлий 183, 185—189, 261, 262, 341, 375, 470

Циниль, Луиджи 326

Цицерон 274, 495

Цукколо, Людовико 241

Чезарини-Сфорца, Видар 239, 240

Чемберлен, Хаустон Стюарт 541

Черчилль, Уинстон 185

Чесси, Роберто 267

Честертон, Гилберт Кит 55, 512, 528, 530, 531

Чиан, Витторио 297, 298

Чиккотти, Франческо 359, 425

Чиппола, Карло 261

Чирилло, Доменико 324

Шамбор, Анри 330

Шекспир, Уильям 537

Шиллер, Иоганн Фридрих 529

Шопенгауэр, Артур 98

Эйнауди, Луиджи 147, 419

Эллиот, Джордж 536

Энгельс, Ф. 78, 92, 150, 153, 163, 245, 369, 541, 542

Энний 494

Энцо 288

Эразм Роттердамский 84, 88

Эрколе, Ф. 105

Эррио, Эдуард 349, 350

Этьен, Сервэ 536

Яннер, Арминий 272, 274

СО Д Е Р Ж А Н И Е

О т и з д а т е л ь с т в а	5

Раздел первый

Проблемы исторического материализма

I. Введение в изучение философии и исторического материализма	
Несколько предварительных замечаний к теме	11
Связь между житейским смыслом, религией и философией	14
Отношение между наукой, религией и житейским смыслом	15
Проблемы философии и истории	34
Научная дискуссия	34
Философия и история	35
„Созидательная“ философия	36
Историческое значение философии	38
Философ	38
Речь, языки и житейский смысл	39
Что такое человек?	42
Прогресс и становление	49
Индивидуализм	54
Анализ понятия „человеческая натура“	55
Философия и демократия	55
Количество и качество	56
Теория и практика	57
Базис и надстройка	58
Термин „катарсис“	59
Кантовский „ноумен“	60
История и антиистория	61
Спекулятивная философия	63
„Объективность“ познания	65
Прагматизм и политика	66
Этика	67
Скептицизм	69

Понятие „идеологии“	69
II. Некоторые проблемы, относящиеся к изучению философии практики	
Постановка проблемы	73
Вопросы метода	74
Философия практики и современная культура	78
Спекулятивная имманентность и имманентность историческая или реалистическая	90
Единство составных элементов в марксизме	92
Философия, [революционная] политика, [политическая] экономия	93
Историзм философии практики	94
[Политическая] экономия и идеология	98
Наука морали и исторический материализм	101
Закономерность и необходимость	101
Энциклопедия философии практики	106

Раздел второй

Проблемы революции

Современный государь	111
Заметки о политике Макиавелли	111
Политика как наука	118
Политика как самостоятельная наука	121
Элементы политики	130
Политическая партия	134
Промышленники и аграрии	143
Некоторые теоретические и практические аспекты „экономизма“	147
Предвидение и перспектива	158
Анализ ситуации. Соотношение сил	161
Замечание о некоторых сторонах структуры политических партий в периоды органических кризисов	174
Цезаризм	185
Политическая борьба и война	191
Концепция пассивной революции	200
О бюрократии	208
Вопрос о „человеческом коллективе“ и „социальном конформизме“	212
Гегемония [гражданское общество] и разделение властей	214
Теория права	215
Заметки о национальной жизни Франции	216
Кризис во Франции	221

Отдельные заметки

Интернационализм и национальная политика	235
Государство	237
Человек-индивидуум и человеческая масса	250
„Противоречия“ историзма и их литературные выражения (ирония, сарказм)	252
Фетишизм	256

Раздел третий

Проблемы истории и политики

1. Рисорджименто

1. Реформация и Возрождение

Рисорджименто и предшествующая история	261
Средневековая буржуазия, развитие которой остановилось на экономико-корпоративной фазе	263

Средневековая коммуна как экономико-корпоративная фаза современного государства

Фридрих II	263
Данте и Макиавелли	264
Финансы флорентийской коммуны	266
Падение флорентийской коммуны	268

Реформация и Возрождение

Гуманизм и Возрождение	270
Истоки народной литературы и поэзии	291
Народное течение в Возрождении	294
Шестнадцатый век	295
Человек в XV и XVI веках	297
Реформация в Италии	298
Николай Кузанский	299
Лоренцо Великолепный	300
Контрреформация	301
Церковная реакция	302
Rinascimento, Risorgimento, Riscossa и т. д.	303

2. Эпоха Рисорджименто

Когда начинается Рисорджименто?	308
Истоки Рисорджименто	313
Интерпретации истории Рисорджименто	324
История как национальная „биография“	341
Проблема политического руководства в формировании и развитии нации и современного государства в Италии	344
Отношения между городом и деревней в период Рисорджименто и их место в национальной структуре	378

Умеренные и интеллигенция	390
Роль Пьемонта	392
События 1848—1849 годов как узловой исторический этап	394
Рисорджименто и восточный вопрос	398
Отдельные моменты в национальном развитии итальянского народа, когда его действия носили особенно массовый и сплоченный характер	400
По поводу книги Росселли о Пизакане	403
Луцио и тенденциозная и фальшивая историография умеренных	410
II. Американизм и фордизм	
Введение	416
Рационализация европейского демографического состава	417
Финансовая автаркия промышленности	425
Некоторые аспекты полового вопроса	431
„Животная природа“ и индустриализм	434
Рационализация труда и производства	437
Тейлоризм и механизация работника	443
Высокие заработки	445
Акции, облигации, государственные ценные бумаги	449
Американская и европейская цивилизация	452
<i>Раздел четвертый</i>	
Проблемы культурной жизни	
I. Интеллигенция и организация культурной деятельности	
Формирование интеллигенции	157
Различие позиций интеллигенции городского и деревенского типа	467
Организация школьного обучения и культурной деятельности	478
Проблема коренного изменения роли университетов и академий	487
К исследованию принципов воспитания	489
II. Проблемы литературной критики	
Искусство и борьба за новую цивилизацию	501
„Воспитательное искусство“	507
Критерии литературной критики	508
III. Народная литература	
Содержание и форма	513
Понятие о «национально-народном»	517
Различные типы популярного романа	524

Жюль Верн и научно-географический роман . . .	527
О детективном романе	529
Культурное воздействие романа-приложения	535
Народное происхождение „сверхчеловека“	538
Бальзак	541
Бальзак и наука	542
Замечания статистического характера	544
„Герои“ народной литературы	546
Примечания к русскому изданию	547
Указатель имен	554

А н т о н и о Г р а м ш и
ТЮРЕМНЫЕ ТЕТРАДИ

Редактор *В. Е. Репин*
Художник *В. И. Смирнов*
Художественный редактор *Б. И. Астафьев*
Технический редактор *Н. В. Зотова*

Сдано в производство 1, X 1958 г.
Подписано к печати 17, I 1959 г.
Бумага 84×108 ₃₂ = 8,9 бум. л.
29,1 печ. л.,
Уч.-изд. л. 30,4. Изд. № 6 2755
Цена 20 р 25 к. Зак. 2328

*

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва, Ново-Алексеевская, 52

*

Первая Образцовая типография имени
А. А. Жданова
Московского городского совнархоза
Москва, Ж-51, Валовая, 28

Отпечатано в типографии
Госхимиздата. Зак. 1470

ИЗДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

выпущены в свет

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ (в трех томах)

*выдающегося деятеля итальянского и международного коммунистического и рабочего движения, основателя
Итальянской коммунистической партии*

АНТОНИО ГРАМШИ
(перевод с итальянского)

Том первый. „Ордине нуово“ (1919—1920). 512 стр., цена 18 р. 40 к.

В том включены статьи А. Грамши, содержащиеся в двух первых разделах одноименного тома („L'Ordine Nuovo“) итальянского многотомного собрания его сочинений. Статьи были опубликованы впервые в 1919—1920 годах в еженедельнике „Ордине нуово“ („Новый строй“) и пьемонтском издании газеты „Аванти!“ В приложении к первому тому русского издания дана одна из наиболее замечательных теоретических работ Грамши, статья „Некоторые аспекты южного вопроса“ (написанная в 1927 году). Том дает яркую картину деятельности в 1919—1920 годах А. Грамши — крупнейшего итальянского революционера и теоретика рабочего движения.

В начале тома опубликовано обращение к советскому читателю генерального секретаря Итальянской коммунистической партии Пальмиро Тольятти, написанное им в связи с изданием избранных произведений А. Грамши в русском переводе.

Том второй. Письма из тюрьмы. 310 стр., цена 11 р. 55 к.

В книге публикуются письма, написанные Грамши своим родным и близким в 1926—1937 годах. Несмотря на запреты и ограничения свирепой тюремной цензуры, эти письма дают ясное представление о тех суровых испытаниях, которые выпали на долю Грамши, о высоких духовных и моральных качествах этого несгибаемого революционера, об исключительной чуткости и человечности его натуры.

ОПЕЧАТКИ

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
15	12 сверху	создании	сознании
98	18 снизу	[Политическая	[Политическая]
105	8 снизу	отсылает	отсылает
126	6 снизу	искусстве	искусстве
163	5 снизу	рассмотрении,	рассмотрении
305	18 сверху	регалисты ⁴⁸ .	регалисты ⁴⁸).
358	4 снизу	утверждения	утверждения
503	8 снизу	«Вог»	«Воче»
538	1 сверху	«народное проис- хождение сверхчело- века»	народное происхож- дение «сверхчело- века»
553	22 сверху	павительством	правительством

3

АНТОНИО ГРАМШИ

